

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ



Алексей
Барлашов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Андрей Платонов (1899–1951), самый таинственный и неправильный русский писатель XX столетия, прошел почти незамеченным мимо блестящих литературных зеркал эпохи. Однако ни в одной писательской судьбе национальная жизнь России не проявилась так остро и ни в чьем другом творчестве трагедия осиротевшего в революцию народа не высказала себя столь глубоко и полно. Романы, повести, рассказы, статьи, пьесы Андрея Платонова, большая часть которых была опубликована много лет спустя после его смерти, стали художественно веским свидетельством и сердечным осмыслением случившегося с русским человеком в великие и страшные десятилетия минувшего века. Судьба и личность Платонова никогда не ограничивались одной литературой и известны широкому читателю гораздо меньше, нежели его творчество. Между тем обстоятельства его жизни позволяют многое увидеть и понять в непростых для восприятия платоновских книгах. Алексей Варламов, известный прозаик и историк литературы, представляет на суд читателей биографию Андрея Платонова, созданную на основе значительного числа архивных документов и текстов, в том числе совсем недавно открывшихся, прослеживает творческий путь и воссоздает личностные, житейские черты своего героя, который, по выражению Виктора Некрасова, «в жизни не был писателем, но в писательском труде своем всегда оставался человеком».

-
- [Варламов Алексей. Андрей Платонов](#)
 - [Глава первая МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА](#)
 - [Глава вторая ГОРЕ ОТ УМА](#)

- [Глава третья КРАСНЫЙ ВЗРЫВ](#)
- [Глава четвертая ПОПЫТКА БЕГСТВА](#)
- [Глава пятая ДНК](#)
- [Глава шестая ЗАРОСШИЕ ЖИЗНЬЮ](#)
- [Глава седьмая АДОВО ДНО КОММУНИЗМА](#)
- [Глава восьмая ВРЕДИТЕЛЬ ИЗ ТЕТЮШЕЙ](#)
- [Глава девятая ТЬМА КОЛХОЗНОЙ НОЧИ, ИЛИ КТО НАПИСАЛ «КОТЛОВАН»](#)
- [Глава десятая ДУРАК НОВОЙ ЖИЗНИ](#)
- [Глава одиннадцатая ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ](#)
- [Глава двенадцатая ДЛЯ СМЕРТИ НУЖНЫ ЖИВЫЕ](#)
- [Глава тринадцатая ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО](#)
- [Глава четырнадцатая ЛЮБОВНИКИ МОСКВЫ](#)
- [Глава пятнадцатая СРЕДИ ЛЮДЕЙ И ЛИТЕРАТОРОВ](#)
- [Глава шестнадцатая КАЗЕННЫЕ СКАЗКИ](#)
- [Глава семнадцатая О ЛЮБВИ](#)
- [Глава восемнадцатая ДЕЛО И СЛОВО](#)
- [Глава девятнадцатая Ф. ЧЕЛОВЕКОВ И ДРУГИЕ](#)
- [Глава двадцатая ЦАРСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ](#)
- [Глава двадцать первая ВОЙНА](#)
- [Глава двадцать вторая СВЕТ ГИБЕЛИ](#)
- [Глава двадцать третья В ОГНЕ ДРАМЫ](#)
- [Глава двадцать четвертая В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВО](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. П. ПЛАТОНОВА\[80\]](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)

- [78](#)
 - [79](#)
 - [80](#)
 - [81](#)
 - [82](#)
-

Варламов Алексей. Андрей Платонов

Автор выражает искреннюю благодарность Наталье Васильевне Корниенко, доктору филологических наук, члену-корреспонденту РАН, заведующей отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья в НМЛ И им. А. М. Горького, руководителю группы Собрания сочинений Андрея Платонова, за прочтение рукописи этой книги, высказанные замечания и пожелания, а также за помощь в составлении фоторяда.

Издательство благодарит Институт мировой литературы имени А. М. Горького и лично Аллу Владимировну Лавочкину за подготовленные и предоставленные фотоматериалы.

Глава первая МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА



Андр. Плалонев

В 1918 году в статье «Интеллигенция и революция» Александр Блок писал о русском народе, о «миллионах людей пока „непросвещенных“, пока „темных“»: «...

среди них... есть такие, в которых еще спят творческие силы; они могут в будущем сказать такие слова, каких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная литература». В отличие от другого поэта-символиста Валерия Брюсова, знакомого со стихами Андрея Платонова и написавшего на них в 1923 году доброжелательный отзыв, Блок Платонова не знал. Однако ощущение такое, что судьба старшего сына слесаря воронежских железнодорожных мастерских, родившегося в последний год последнего века русского царства и сказавшего то действительно новое, чего не то что давно, а никогда не говорила русская литература, была Блоком таинственным образом предугадана и направлена.

Платонов был не только писателем, драматургом, литературным критиком, философом, публицистом, поэтом, сценаристом, а также электротехником, мелиоратором, инженером, изобретателем, прорабом. Он — явление сродни циклону, атмосферному фронту, возникающему на стыке холода и тепла, света и тьмы, сухости и влаги, ответ на вызовы революции и пути русского большевистского пешеходства. Та чудовищная энергия, которая скопилась в России на рубеже веков и искала, в ком воплотиться, нашла в Платонове выход. Однако тут есть важный нюанс. «Выйти прямо из глубин народных в XX веке литературное явление не может: оно должно прежде определиться в самой литературе», — говорил Михаил Бахтин. Мысль русского философа тем важнее, что Платонов, этот, по определению Валентина Распутина, «изначальный смотритель русской души», вышедший «из таких глубин и времен, когда литературы еще не было, когда она, быть может, только-только начиналась и избирала русло, по которому направить свое течение», — не был ни темным, ни непросвещенным человеком, хотя

именно таким его порой воспринимали самые близкие ему люди.

Неплохо знавший Платонова, часто встречавшийся с ним прозаик Лев Гумилевский писал в мемуарах «Судьба и жизнь»: «Счастье Платонова было в том, что он читал очень мало в период своего писательского возрастания, а потом в зрелом возрасте уже мог противостоять воздействию классического литературного языка». Однако по меньшей мере первая часть этого высказывания не соответствует действительности, да и со второй не все так однозначно. То же самое относится и к воспоминаниям жены писателя Марии Александровны: «Андрей до шестнадцати лет и книг-то не читал». На самом деле, конечно, читал и читал очень много в детстве, в отрочестве, в юности — глубокие, серьезные книги. Вот почему за Платоновым стоят не только почва, не только та степная черноземная полоса, где «лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благодетельность и помогало до зимы вполне разродиться», не только первооснова воды, огня, воздуха и земли, материи и духа, но есть за ним и книжность, и ученость, и культура.

Платонов — фигура рубежа, он находится на самой линии разрыва между жизнью и смертью, между Богом и человеком, человеком и машиной, человеком и природой. Он этот разрыв пропустил через сердце, пытаюсь соединить несоединимое, и, быть может, в этом пограничье и таится ключ к его творчеству и судьбе.

Долгое время считалось, что Андрей Платонович Климентов — такова настоящая фамилия писателя — родился 20 августа 1899 года (1 сентября по новому стилю). Этот день упоминается во многих книгах, энциклопедиях и справочных материалах, Платонову

посвященных, но не так давно воронежский краевед Олег Григорьевич Ласунский установил более точную дату рождения своего земляка — 16 августа (28-го по новому стилю) 1899 года. Число было указано самим Андреем Климентовым в заполненном им «Извещении о принятии на службу» в 1915 году, оно же значится в выписке из метрической книги за 1899 год, выданной родителям при поступлении сына в церковно-приходскую школу. В XX веке, так же как и в нынешнем, на этот день приходится праздник Успения Божией Матери. В веке XIX, на исходе которого Платонов родился, 16-го отмечали попразднство Успения^[1]. Связь Платонова и с материнством, и со смертью слишком очевидна, чтобы считать это совпадение случайным.

«Я родился в Ямской слободе, при самом Воронеже. Уже десять лет тому назад Ямская чуть отличалась от деревни. Деревню же я до слез любил, не видя ее до 12 лет. В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на Задонской большой дороге. Колокол „Чугунной“ церкви был всею музыкой слободы, его умирительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я <...> кроме поля, деревни, матери и колокольного звона я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машины, ноющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не само родится, и долго думал, что и детей где-то делают под большим гудком, а не мать из живота вынимает», — писал он в одной из автобиографий.

О родителях Платонова известно не так много. Мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах они познакомились, какие связывали их отношения, что за атмосфера была в доме, каковы были первые впечатления ребенка, детские раны, радости, мечты и обиды. Пожалуй, лишь одно не очень ясное

воспоминание проливает свет на тайну Андреева детства: «О войне — о чувстве моих состояний на выездах, в глуши, без матери, в поле (на торфу, за глухими посадками, вдалеке, молча много суток, хождение между тремя домами много лет, лишнее время в детстве, в экономии, Латное, китайцы с войны из окопов, на станции, белые известняки, жара, сердце, пустые вокзалы, горе), задумчивость — задумчивость, т. е. терпение мое».

Но эти скупые, отрывистые записи Платонов делал для себя, и за неимением писем, мемуаров или дневников его родных и ввиду нежелания самого писателя о своем детстве рассказывать — «Он вообще не любил говорить о себе, никогда не вспоминал события детства и юности», — писал Гумилевский, хотя в 1927 году намерение написать о себе у Платонова было, о чем свидетельствует его письмо жене: «Думаю теперь засесть за небольшую автобиографическую повесть (детство, 5—12 лет) примерно», а в «Записных книжках» 1931-1932 годов не случайно появится: «Лето, детство, плетень, солнце — и это останется на все будущее» — о многом приходится гадать, предполагать, либо идти вслед за платоновской прозой, которую принято считать автобиографической, но вряд ли она в точности отражала реальную картину тех лет, и переносить механически образы «Ямской слободы», «Чевенгура», рассказа из старинного времени «Семен» на жизненную канву их создателя значило бы вольно или невольно картину его жизни исказить.

К примеру, фрагмент из «Ямской слободы»: «Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так, на потомственном накоплении, только и держалась слобода» — вовсе не означает, что таковыми были нравы в семье автора, хотя очевидно, что в детстве

Платонов видел окрест себя много горя и впоследствии это страдание запечатлел, сгустив краски, возможно, даже больше, чем дореволюционная жизнь заслуживала. Но едва ли дело тут в революционной конъюнктуре и пролетарском диктате времени — то был голос человеческого сердца, восприимчивого прежде всего к трагической стороне бытия, что не отменяло, а усиливало его любовь к Божьему миру.

«Он был когда-то нежным печальным ребенком, любящим мать, родные плетни и поле и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок, и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы».

Так писал Платонов в раннем рассказе «Сатана мысли». И есть великая тайна в том, почему из миллионов русских мальчиков, родившихся на пороге самого страшного русского века в самой русской гуще (Воронежская губерния была одной из наиболее плотно заселенных в России), именно ему, мешанину воронежской Ямской слободы, взявшему даже не псевдоним, а по крестьянской традиции имя отца вместо фамилии — Андрей Платонов сын, Господь судил ближе всего подойти к сердцу русского человека в эпоху смуты. А между тем ничего особенного, что порою

сопровождает появление на свет замечательных людей, в происхождении Платонова не было или пока что нам не открылось.

Отца его звали Платоном Фирсовичем Климентовым. Был он сыном землекопа, погибшего на шахте при аварии. Платон Фирсович родился 18 ноября 1870 года в Задонске, где окончил приходское училище, и с двенадцати лет стал работать, освоив множество профессий — от малярного ремесла до машиниста паровоза. Образ отца не раз встретится в платоновской прозе, начиная с одного из ранних рассказов («Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства»): «Я с детства знал, по отцу, что такое пьяный мастеровой человек — это невыносимо, говорят. Но я люблю пьяных людей, это искреннее племя...» — и заканчивая биографическим замечанием из «Записных книжек»: «„В Задонск!“ — лозунг отца, крестьянский остаток души: на родину, в поле, из мастерских, где 40 лет у масла и машин прошла жизнь».

В 1993 году воронежский исследователь В. А. Свительский опубликовал письмо Платона Фирсовича, адресованное сыну Петру, в котором в ответ на просьбу рассказать о матери и о себе отец сообщал: «Я родился в городе Задонске, мещанин, в 1870 году. Мать твоя родилась в 1875 году... <...> в городе Задонске. Крещение наше было — ее и мое — тоже в Задонске, в Успенском соборе. Где я и отбывал Воинскую повинность в 1891 году, ездил из Воронежа в Задонск, откуда я поехал в Ленинград, где прослужил 5 лет старшим унтер-офицером. Когда возвратился со службы, поступил на ж. д., где проработал почти 40 лет и был на хорошем учете. Петя, может что Вам непонятно, то напишите, я исправлю что не так <...> Петя, может тебе нужна моя биография, то я напишу вкратце <...> Когда вышел со службы военной, поступил на ж. д. рядовым слесарем, потом стал

бригадиром, далее групповод — потом монтер, потом инспектором по приемке деталей. У меня много изобретений. Мой прибор для проверки и постановки ведущих кривошипов, за что я получил патент. В газетах писали, что перегнал Крупа. Вальцевание дымогарных труб. Кольца для укрепления бандажей быстрого гидравлического пресса. За все это я получил благодарность с линии и был представлен к высшей награде — Орденом Ленина, но не получил, хотя играли туш в клубе Карла Маркса и поздравляли. Если это нужно, то я опишу подробно».

К этим простодушным, безыскусным словам стоило бы добавить строки из письма Андрея Платоновича летом 1942 года, когда он получил ошибочное известие о смерти Платона Фирсовича: «Я сильно любил и люблю своего отца, и меня мучает теперь раскаяние, что я ничем не помогал ему, а теперь уже не нужна ему моя любовь и помощь и его нет на свете».

Мать Платонова Мария Васильевна Климентова, урожденная Лобочихина, родилась в семье бывших крепостных помещика Ивана Васильевича Бородина, после отмены крепостного права приписанных, как и Климентовы, к мещанскому сословию. Ее отец Василий Прохорович Лобочихин был часовщиком и золотых дел мастером, и, судя по всему, именно к нему относится краткая характеристика из «Записных книжек»: «Дед закусывал водку, выбирая тесто из своей бороды». Семья была небедная, энергичная, один из братьев Марии Васильевны, Михаил Васильевич Лобочихин, начав свой путь с должности околоточного надзирателя, дослужился до помощника секретаря конторы службы пути в управлении Юго-Восточной железной дороги, стал автором справочной книги о железнодорожных путях и проживал в Воронеже в собственном двухэтажном доме. Его сестре повезло меньше, и с материальной точки зрения ее замужество

— дата которого нам неизвестна, но можно предположить, что оно было не слишком ранним, на это косвенно указывает тот факт, что своего первенца Мария Васильевна родила в 24 года, а дальше дети посыпались как горох — оказалось бесконечно трудным: постоянное вынашивание и выхаживание детей, болезни, нужда. Не случайно много лет спустя, задумав написать рассказ о матери, Платонов отметил в «Записных книжках»: «...ни разу не была в театре, не ездила на поезде».

Не было у Марии Васильевны и того, что составляет одну из главных радостей женской жизни — своего дома, очага. Климентовы в течение многих лет жили на съемных квартирах, семья была большой, а достаток не слишком велик. Впрочем, полной ясности и тут нет. Если исходить из того, что платоновский рассказ «Семен» с его картиной «взрослого детства» отразил, как традиционно принято считать, собственные впечатления писателя, то получается, что многочисленные дети Платона Фирсовича и Марии Васильевны Климентовых росли чуть ли не в нищете. Это подтверждают братья Андрея Платонова, на чьи свидетельства ссылается Олег Ласунский: «Дети спали на полу вповалку, накрывшись общим ватным одеялом. Питались скверно, кусок черного хлеба, посыпанный солью, считался лакомством. Утешали себя мыслью, что бедным арестантам живется еще хуже: тюрьму от астаховских владений отделяло всего лишь несколько дворов». Еще дальше пошел в книге о Платонове «Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества» литературовед В. В. Васильев: «В малолетстве он испытал и тяжесть нищенской сумки... подростком познал непосильный, под стать заматеревшему мужику, наемный труд...»

На первый взгляд в платоновской прозе подтверждение этим мотивам найти можно: именно

так, с сумой, ходит в детстве по окрестным деревням Саша Дванов. Однако если герой «Чевенгура» рос приемным сыном в многодетной семье крестьянина, чье благополучие целиком зависело от урожая, а урожай от погоды, то отец Андрея Платонова крестьянским трудом не занимался. Он был мастером, изобретателем и, используя термин более позднего времени, рационализатором, которого начальство ценило и который как квалифицированный рабочий должен был получать по 40–50 рублей в месяц. (Для сравнения: пшеничная мука в ту пору стоила 1,4 рубля за пуд, ржаная — 1,3 рубля за пуд, мясо — 6 рублей за пуд, ведро молока — 50 копеек, сахар — 6,6 рубля за пуд^[2].) Таким образом, даже с учетом того, что детей в семье было много (Платонов писал в автобиографии, что «семья была одно время в 10 человек»), а Платон Фирсович долгое время был единственным кормильцем, слова о бедных арестантах, чья участь утешала голодных детей, воспринимаются как преувеличение, черный же хлеб, посыпанной солью, может быть любимым детским лакомством в семье аристократов, да и сам Андрей Платонов не случайно написал в одной из статей: «Что такое голод? Я не знаю». Или же были в семье свои тайны, или житейские обстоятельства, так и не раскрытые: например, Климентовы могли откладывать деньги на покупку дома и поэтому экономили на повседневных нуждах, а у растущих детей то и дело возникало ощущение, что им постоянно не хватает еды.

«Голод: как Петя хотел есть в детстве: ел огрызки яблок, тоскуя так (от роста и т. д.), что не мог ни читать, ни думать — и даже плакал от душевной печали, тогда как это была лишь жизнь, растущая и тоскующая от своего недостатка», — писал Платонов позднее об одном из братьев.

Худо ли, бедно ли жила семья железнодорожного слесаря, образование дети Климентовых, те, кому суждено было выжить, а таковых оказалось пятеро — Андрей, Петр, Сергей, Семен и Вера, получили хорошее и по меркам своего времени все вышли в люди. Петр Платонович Климентов — тот самый, кто в детстве не мог ни читать, ни думать от психологического недоедания, — стал доктором наук и известным гидрогеологом, Сергей Платонович избрал военную карьеру и дослужился до полковника, Семен Платонович пошел по линии отца и сделался машинистом, только не тепловоза, а плавал на кораблях, Вера Платоновна выучилась на врач-стоматолога. У всех рожденных в Ямской слободе климентовских детей сложилась удачная карьера, они прожили долгие и в общем-то благополучные жизни, хотя были и не очень дружны меж собой и, более того, если верить воспоминаниям Марии Александровны Платоновой, холодны по отношению к семье старшего брата. «У Андрея — один брат известный ученый, другой тоже не бедствует, сестра — врач, состоятельные люди, а ни разу за все эти годы копейки не прислали, Машеньку к себе не пригласили, уж как мы бедствовали!.. Это они сейчас все разлетаются и Андреем интересуются — им сказали, что он мировой писатель. Сестра Андрея — совсем чуждый человек, Андрей умирал — говорил мне: „Верку к гробу не подпускай“».

Но это дела семейные, стороннему человеку неподсудные и до конца непонятные, да и Мария Александровна могла быть в своих словах пристрастна, ибо в архиве Петра Платоновича Климентова сохранилась платоновская книга сказок «Волшебное кольцо» с дарственной надписью автора, сделанной в октябре 1950 года: «Брату Пете — не оставившему меня

своей братской любовью в страшное время моей жизни».

И все же, рассуждая житейски, только у старшего сына Климентовых судьба сложилась, в отличие от братьев и сестры, неудачно, и по-человечески родителям надо было бы горевать именно о нем. Мать до этой поры не дожила, она умерла накануне первого погрома платоновского творчества в 1929 году, когда ей было всего 54 года, а проживший 82 года и переживший сына на год отец о смерти Андрея печаловался: «Лучше бы я лег на его место, а он должен жить».

А поначалу казалось, что у климентовского первенца все складывалось удачно. После окончания бесплатной церковноприходской школы, на чем образование многих пролетарских детей заканчивалось, и они шли в люди, Андрей Климентов поступил в мужское четырехклассное училище, где обучение стоило 10 рублей в год. Деньги на учебу в семье нашлись, и если уж и говорить о сумке, которую носил мальчик из Ямской слободы, то ближе к истине Олег Ласунский: «Мать сшила холщовую сумку, и Андрюша стал с гордостью ходить с ней через весь город».

С гордостью или нет проделывал путь от Ямской слободы до училища отрок Андрей, но его будущий герой Саша Дванов, которого считают платоновским альтер эго, никакого образования в отрочестве не получает и после бродяжьего голодного детства сразу поступает учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. Здесь между Платоновым и его героем проходит еще одна граница. Правда, у самого автора отношение к полученному им «классическому» образованию менялось: в прошении о приеме на работу в ноябре 1914 года Андрей Климентов указывал, что окончил полный курс городского училища, а шесть лет спустя, в 1920-м, заполняя анкету и опросный лист

лица, вступающего в РКП(б), в графе «Какое получили образование» написал: «нисшее». Тогда же в автобиографии, написанной в связи со вступлением в партию, он отзывался о своей учебе так: «Лет 7-ми меня отдали учиться в церковно-приходскую школу. Но в школу я хоть и ходил, а учился больше дома тому, чему хотел, чему учили книги, где не могла укрыться правда». Однако два года спустя вспоминал с благодарностью: «Потом наступило для меня время ученья — отдали меня в церковно-приходскую школу. Была там учительница — Аполлинария Николаевна, я ее никогда не забуду, потому что через нее я узнал, что есть пропетая сердцем сказка про Человека, родимого „всякому дыханию“, траве и зверю, а не властвующего бога, чуждого буйной зеленой земле, отделенной от неба бесконечностью... Потом я учился в городском училище».

В июне 1914 года Андрей Климентов училище окончил и осенью устроился на работу конторским служащим в губернское отделение страхового общества «Россия». Работал он там недолго — два месяца и в январе 1915-го поступил в «Общество Юго-Восточных дорог», где уже много лет трудился его родной дядюшка Михаил Васильевич Лобочихин.

От той поры сохранился следующий документ, написанный красивым, ровным почерком молодого человека, похоже, действительно пригодного к исполнению тех служебных обязанностей, которые он стремился на себя взять.

«Господину Начальнику Службы Пути и Зданий Ю.-В.-ж.-д.

*Мещанина Андрея Платоновича Климентова
Прошение*

*Чсть имею покорнейше просить не отказать
предоставить мне должность конторщика в вверенной
Вам Канцелярии или Бухгалтерии Службы Пути. Я*

окончил полный курс городского училища, знаком с конторской службой, могу хорошо работать на пишущей машинке и считать на счетах. Возраст мой — 16 лет. Покорнейше прошу не отказать в моей просьбе, т. к. я и мои родители нуждаемся в службе. Безусловно оправдаю порученное мне дело и заслужу доверие к себе. Хотя возраст мой и мал, но условия жизни заставили меня серьезно относиться^[3] к делу и потому покорнейше прошу препятствие к принятию со стороны возраста не чинить, а испытать меня на деле. 1914 г. Ноября 12 дня.

Андрей Климентов.

Адрес: сл. Ямская пригородная города Воронежа д. № 192».

Этот дом 192 с деревянными ветхими воротами по Миллионной улице будет описан в повести «Ямская слобода», а еще раньше в рассказе «Волчок»:

«Был двор на краю города. И на дворе два домика — флигелями. На улицу выходили ворота и забор с подпорками.

Тут я жил. Ходил домой я через забор. Ворота и калитка всегда были на запоре, и я к тому привык».

Конторским служащим с окладом в 20 рублей Климентов проработал полтора года, после чего с характеристикой «Конторщик Климентов к своим обязанностям относится добросовестно» в июле 1916-го поступил литейщиком на трубочный завод. О причинах перехода мелкого служащего в рабочий класс в биографиях писателя ничего не говорится, но можно предположить, что работа на литейном заводе, изготовлявшем оружие, причем работа очень тяжелая (впоследствии она отразилась в одном из первых известных платоновских рассказов «Очередной», а также в рассказе «Серег и я»: «Мастерская давила и ела наши души. Люди там делались злыми. Цельный

день мы таскали носилки со стружками и мусором...»), давала освобождение от воинской повинности, под которую Платонов должен был рано или поздно попасть. Не случайно в заполненном им собственноручно извещении о принятии на службу в контору ЮВЖД в 1915 году в графе «Отбывал ли воинскую повинность, когда, в какой части и где именно» значится ответ: «Жду призыв».

В солдаты императорской армии слобожанин не стремился, и впоследствии Первая мировая война будет изображена в платоновской прозе как страшное бесчеловечное бедствие («...по семь дней на фронте черепа, не спавши, крушил!» — говорит один из героев «Ямской слободы»), и никакой героизации ее, оправдания — в отличие от куда более сложного авторского отношения к войне Гражданской, не говоря уже о войне Великой Отечественной, — у писателя не найти, а мотив уклонения от воинской службы встретится в «Ямской слободе» в разговоре между ее героями: Филатом и Игнатом Княгиным, по-уличному Сватом:

«...— А там, черти-дураки, кровь проливают...

— Где? — спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.

— Где — не на бабьей бороде: на войне! Слышал ты что-нибудь про войну, иль тут анчутки живут?

— Слышал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недомерок есть — бумагу на руки дали, так и хожу с ней — боюсь захватить куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетником стал, а кто белобилетник».

Еще более резко война осуждается загадочным гостем Мишей, большевиком, который приходит в дом к двум шапочникам — Филату и Свату — и остается у них: «Я на фронте был — там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет!

Да разве я дам его какой сволочи! Разве я пущу его на такое мученье...»

И хотя Платон Фирсович Климентов как машинист участия в боевых действиях не принимал, его отношение к перспективе отдать в действующую армию сына вряд ли сильно разнилось.

Окончательно Андрея Климентова освободила от империалистической войны революция. После установления советской власти молодой рабочий вторично пополнил число конторских служащих на ЮВЖД, где занимался продажей пассажирских билетов, и одновременно в сентябре 1918 года поступил сначала на физико-математическое, а затем перевелся на историко-филологическое отделение Воронежского государственного университета. Перед юношей открывалась гуманитарная карьера, однако что-то с ней не сложилось либо увлекло иное, и уже в мае следующего года Платонов оставил университет, проучившись в нем всего один курс, а в июне поступил на электротехническое отделение открывшегося в Воронеже рабочего железнодорожного политехникума.

Это была одна из самых важных развилок в его судьбе, и сделанный выбор многое в ней predetermined. Платонов шел в литературу не через гуманитарное образование, а через техническое, через производство, и позднее настаивал на том, что таким и должен быть путь пролетарского писателя. Учеба часто прерывалась, шла Гражданская война, наступал Деникин, Воронеж превращался в прифронтовой, а то и во фронтовой город и переходил из рук в руки. «Не доучившись в технической школе, я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту, — писал Платонов в автобиографии. — Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе... Позже слова о

революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции».

Революция и Гражданская война в России совпали с тем возрастом в его жизни, когда человеческая душа наиболее отзывчива и восприимчива к происходящему в мире («Бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец», — размышлял он позднее в рассказе «Афродита»), она уже не совсем юна и наивна, но еще не успела огрубеть и покрыться коркой скепсиса и иронии, что отчасти с Платоновым с течением времени произойдет и что с самого начала революции было в той или иной степени присуще его более старшим современникам — Бунину, Куприну, Пришвину, Булгакову, Алексею Толстому, Зинаиде Гippiус, Мережковскому, не увидевшим в случившемся в России в 1917 году никакой музыки, а только кровь, жестокость, бесправие и оттого однозначно воспринявшим русскую смуту как национальную трагедию и катастрофу, а если свое мнение о революции и переменившим, то позднее.

В судьбе Платонова революция сыграла иную, очень личную, животворящую и благотворную роль. «Я жил и томился, потому что жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности. До революции я был мальчиком, а после нее уже некогда быть юношей, некогда расти, надо сразу нахмуриться и биться...» И в черновых вариантах «Чевенгура» осталось не менее лирическое: «А революция? — вспомнил я в тамбуре вагона. — Удар по ветрам, ливням, душевной тоске, по семейной беде, по голодному горю, убийству, одиночеству, землетрясению, — по всем злобам и печалям, чтобы прямо, прочно и уверенно стояло тонкое тело человека на земле, чтобы грустное сердце и синяя мысль стали самой драгоценной и страшной силой в природе...» И

чуть дальше: «Я тогда стоял на распутьи — истории и личной жизни: мне сравнялось 19 лет и столько же было двадцатому веку, я родился ровесником своему столетию, растущему в такт возрасту человека — во мне молодость, острота личной судьбы, а в мире одновременно революция».

Нет сомнения, что Платонов сразу же, без колебаний и промедлений, с огромной доверчивостью и радостью, гораздо ближе и глубже, чем многие из его современников, в том числе и те, кто громогласно заявлял «моя революция!», принял красное дело и очень рано стал ему служить, о чем позднее сказал безо всякого пафоса: «Участие мое в октябрьской революции выразалось в том, что я работал как поэт и писатель в большевистской печати».

Глава вторая ГОРЕ ОТ УМА

Стихи Андрей Климентов начал писать, когда ему было десять-двенадцать лет и он стал «думать надо всем»^[4]. Какими были эти думы, нам неизвестно, но к облику их юного создателя, к психологическому портрету относятся строки одного из ранних рассказов: «Ночью душа выростала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любитесь каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он — рос, и все неудержимее, страшнее клочкотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, — ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге».

Из этих раздумий и снов, из предощущения взрыва, катастрофы складывалась его жизнь, рано высказавшая себя в слове и почувствовавшая необходимость в том, чтобы это слово было услышано. В «Записных книжках» 1930-х годов Платонов отметил: «Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему шесть или семь лет от роду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других — так, чтобы его поняли — отчего ему стало скучно».

По сообщению литературоведа Льва Шубина, сославшегося на свидетельство Марии Александровны Платоновой, еще в 1914 или 1915 году Андрей Климентов посылал стихи в Петербург (Петроград) в какой-то из литературных журналов. «Стихи не опубликовали, но в письме редактора мальчику были сказаны теплые, ободряющие слова о том, что у него Богом данный талант и что ему необходимо продолжать писать».

Долгое время считалось, что первая публикация Платонова относится к лету 1918 года, однако не так давно в платоновском фонде в Институте мировой литературы был обнаружен рассказ «Сережка», опубликованный в неизвестном печатном источнике с дореволюционной орфографией, что позволяет датировать авторский дебют не позднее 1917 года. Не исключено, что будут найдены и другие произведения той или даже более ранней поры, но все же главным образом юный Платонов был связан с литературой советского периода.

Вполне советским (а если быть более точным, написанным в традиции революционной демократии XIX века — что-то вроде песенок Гриши Добросклонова из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо») было и увидевшее свет 1 июня 1918 года в воронежском журнале «Тени» стихотворение «Юноше-пролетарию»:

Где чувства мало — там мысли много.
Где мысли много — там чувства нет...
Идти лишь прямо — одна дорога.
Туда, где Правды сияет свет.
Иди же прямо, иди же смело,
Пока ты молод и полон сил,
Чтоб сердце волей стальной горело,
Чтоб, погибая, ты победил.

Впрочем, это не только не самое лучшее, но и не самое представительное из ранних платоновских стихов. Более характерно какое-нибудь другое из творений 1918 года — например, «Сумрак», в котором прямой идеологии гораздо меньше, зато куда больше подражания символизму:

Дальнее мерцание
Голубых огней,
Вздых или сияние
Грезящих полей...

Нежное дыхание,
Аромат цветов,
Мир, очарование,
Трепеты листов...

Тихое плескание
Позабывших слов,
Свет и угасание
Четких полуснов...

Или такое, очень личностное, исповедальное:

Мир родимый, я тебя не кину,
Не забуду тишины твоих дорог,
За тебя живое сердце выну,
Полюблю, чего любить не мог.

Снова льется теплый ливень песни
И опять я плачу от звезды,
Сам себе — еще я неизвестней,
Мне никто пути не осветил.

Платонов-поэт так и остался известен меньше, чем Платонов-прозаик или драматург. Частично собранная в первом и единственном поэтическом авторском сборнике «Голубая глубина» (1922), ранняя платоновская лирика при всей ее искренности, непосредственности, открытости и доверительности интонации поражает «неплатоновостью» — то есть гладкостью, умелостью, изначальной искусственностью, но при этом неизбежной вторичностью и подражательностью Кольцову ли, Никитину, Фету, Некрасову, Брюсову, Блоку... Про нее никак не скажешь словами Андрея Битова о прозе Платонова — «начал с нуля». В противовес грубому, необычному, первородному и первозданному платоновскому стилю, сразу проявившемуся в прозе, Платонов-поэт кажется отличником литературной учебы, добросовестно изучившим классическое русское стихосложение. Иногда это ученичество сменяется мастеровитостью, поразительной для юноши 19–20 лет, как, например, в стихотворении «Степь» с его подробной и точной картиной пространства, впоследствии ставшего местом действия в «Чевенгуре».

В слиянии неба с землею
Волнистая синяя цепь.
Мутнеет пред ней пеленою
Покойная ровная степь.

Бесшумные ветры грядюю
Волну за волною катят,
Под ними пески чередюю
Бегут — и по травам свистят.

Не дрогнет поблеклой листвою
Кустарник у склона холма —
С обдутой сверху чистотою,

Где ночью не держится тьма.

Скрывается с злобой глухою
В колючках шершавый зверок,
Он спинкой поводит сухую
И потом от страха обмок.

Уж вечер... И, будто сохою,
Гремит у телеги мужик...
Восток позадернулся мглою,
А запад — как пламенный крик.

Свежеет. Над тишью степною
В безветрии тлеет звезда,
И светится ею одною
Холодная неба вода.

Однако успеха автору эти строки не принесли. «Стихи не подошли. В них много прелести и чистой поэзии, но... берите другие темы», — сообщили ему в октябре 1918 года в журнале «Железный путь», издававшемся Юго-Восточными железными дорогами, а в мае 1919 года в органе Северо-Западных железных дорог «Жизнь железнодорожника» было опубликовано стихотворение «Степь», которое сопровождалось ироническим комментарием штатного рецензента:

«А. Платонову. У вас есть способность, пишете вы гладко, но темы настолько мизерны, что не стоит труда выливать их в рифмы. Судите сами —

Знакомой стороною
Лошадка *путь кладет*,
Покорно предо мною
Костлявый зад трясет.

Такая невоспитанная дама, а вы ее воспеваете в стихах. Проникнитесь важностью нашей исторической эпохи и встаньте в ряды ее певцов. Гач».

Еще более резким, откровенно издевательским был отзыв калужского журнала «Факел железнодорожника»: «Ваше „футуристическое“ стихотворение, иначе назвать нельзя, да кстати и без заглавия, поместить не можем, это ведь набор слов без всякой мысли. В Вашем стихотворении, например, есть строка: „Шабаш — доставили! Двугривенный и сотка“. Да, товарищ, доставили Ваше стихотворение в корзину, двугривенный стоит Вам заплатить, все-таки, ну а уж сотку доставайте сами... Товарищ, не теряйте времени, сейчас весна, солнце светит ярко, уж лучше займитесь пусканием матюков под солнце, чем писанием стихотворений».

На севере и на юге, на западе и на востоке начинающего поэта ждал отказ с похожими формулировками, различавшимися разве что по степени язвительности, но платоновский характер был не таков, чтоб рецензенты могли его смутить (хотя нетрудно заметить, что в окончательном варианте стихотворения «Степь» нет строфы про лошадку с костлявым задом, о которой саркастически высказался рецензент из «Жизни железнодорожника»), От поэзии он не отказывался долго, в начале литературного пути считался рабочим поэтом, утверждал, что поэзия — «такое же жизненное отправление, как и потение, т. е. самое обычное», а в другой раз, по словам своего товарища Владимира Келлера, «сравнил ее с еще менее красивым физиологическим отправлением», сочиняя сим нехитрым образом стихи вплоть до 1927 года, то есть до первого крупного успеха в прозе.

С течением лет лирика Андрея Платонова становилась более сложной, насыщенной разными смыслами. В ней причудливо переплетались эстетика

пролеткульта и авангарда, очень точно она была охарактеризована Келлером в опубликованной в 1922 году в журнале «Зори» статьи «Андрей Платонов»: «Всему он свой, близкий. И не поймешь — он ли вышел из этих трав, или они из него. Голубая глубина мира ему открыта и в нем открывается тем, кто умеет видеть <... > Достигнет ли он широкой известности — не знаю. Толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы и кричать о себе он, разумеется, не будет. А без этого теперь нельзя. Но те, кому нужен Платонов, найдут к нему дорогу. А он нужен многим».

Все это так, и последние слова Келлера оправдались в той степени, о которой ни сам автор статьи, ни его герой, ни читатели «Зорь» и не подозревали. Но, пожалуй, даже более яркое впечатление, чем поэзия, оставляет теснее, очевиднее связанная с прозой и с биографией Платонова его публицистика революционных лет, без которой как прозаик он также не состоялся бы.

В апреле 1919 года в журнале «Железный путь», который еще совсем недавно советовал молодому человеку брать другие темы и где с января по июнь 1919 года Платонов наряду с учебой в университете работал помощником секретаря редакции, появилась его статья «К начинающим пролетарским поэтам и писателям». Девятнадцатилетний автор провозгласил революцию в сфере искусства, являющуюся частью революции духа, в ходе которой пролетариат сжигает на костре труп буржуазии вместе с ее мертвым искусством и сметает с земли все чудовищное, злое, пошрое, мелкое, гадкое, враждебное жизни и расчищает место для строительства прекрасного и доброго. Вслед за фазой разрушения начнется фаза созидания. «Это будет музыка всего космоса, стихия, не знающая граней и преград, факел, прожигаящий недра тайн, огненный меч борьбы человечества с мраком и

встречными слепыми силами». И как некий вывод, предвосхищающий мотивы повести «Котлован», — «Чтобы начать на земле строить единый храм общечеловеческого творчества, единое жилище духа человеческого, начнем пока с малого, начнем укладывать фундамент для этого будущего солнечного храма, где будет жить небесная радость мира, начнем с маленьких кирпичиков».

В июле 1919 года с мандатом «Известий Воронежского губ-исполкома» Андрей Климентов был откомандирован в Новохоперск для ведения агитационно-просветительской работы в деревне.

«...я вспоминаю о скучной новохоперской степи, эти воспоминания во мне связаны с тоской по матери — в тот год я в первый раз надолго покинул ее, — писал он об этом эпизоде своей жизни. — Июль 1919 года был жарок и тревожен. Я не чувствовал безопасности в маленьких домиках города, боялся уединения в своей комнате и сидел больше на дворе. В моей комнате висели иконы хозяина, стоял старый комод — ровесник учредителя города, а дверь в любой момент могла наглухо закрыть жилище большевика: через окно тоже не было спасения: под ним лежал ворох колючей проволоки. <...>

Иногда я ходил в клуб рабочей молодежи — комсомол в Новохоперске еще не образовался, — мне странно было читать в доме, из окон которого виднелась бедная душная степь, призывы к завоеванию земного шара, к субботникам и изображения Красной Армии в полной славе. А кругом города, в траве и оврагах, ютились белые сотни, делая степь непроходимой и опасной».

Несколько лет спустя эти впечатления отразились с нежной горечью в «Чевенгуре», однако статьи, написанные сразу после Новохоперска, горели революционным пламенем, и никаких видимых

изменений в сознании их автора в сторону разочарования в революции пребывание в уездном городке не вызвало, а лишь усилило желание «переделать все», как сказал бы Блок, или «преобразить землю так, чтобы здесь было свободно и прекрасно, как в далекой небесной мечте о рае», как писал сам Платонов в апреле 1920-го, да и в течение всего двадцатого года. Но в платоновской поэзии тех лет революционной страсти гораздо меньше. Разумеется, были стихи яростные, одни названия которых чего стоят — «Конный вихрь», «Напор», «Фронт», но случались они не так часто. Муза плохо слушалась голоса молодого коммунара, была тиха и скромна, а ее певец изначально оказался человеком противоречивым.

В публицистике он горел огнем, что прожигал земные недра: «Мы истощены, мы устали, да, — но зато жива, бодра и живородна революция — смысл и цель нашей жизни. Будет сильна революция, оживет и Россия, а с нею и весь мир». Он призывал к мщению, к убийству: «Наступление Врангеля есть последняя судорога мертвеца — русской буржуазии. Последний вздох недодушенной, сипящей гадины... Своих врагов революция не может только временно обессиливать, она должна их расстреливать и забывать о них... Трудно убить змею: каждый отрубленный кусочек ее продолжает жить и шевелиться. Лучше всего ее истоптать и сжечь».

В статье «Белые духом», вызванной впечатлениями от поэтического вечера, на котором читали стихи «поэта-аристократа» Игоря Северянина, Платонов с ненавистью писал: «В том же городе, где истомленные голодные рабочие, еле стоя у станков, последними силами двигают вперед революцию, в труде, терпении и невидном героизме творят свой братский чудесный мир, <...> где потеют маслом наши товарищи — машины, —

в том же городе вечером один господин визжит со сцены другим про ананасы в шампанском, про кружева и оборки и т. п.». А в стихах элегически размышлял о природе, покое, вечности, и кто знает, быть может и сам Игорь Северянин, находившийся о ту пору в Эстонии и ни чутким сном своим, ни белым духом не ведавший о том, какие чувства вызывает его лирика в оставленной стране, приветствовал бы строки неведомого зоила:

На реке вечерней, замирающей
Потеплела тихая вода.
В этот час последний, умирающий
Не умрем мы никогда...
Свет засветится, неведомый и тайный,
Над лесами, ждущий и немой,
Бьет родник, живой и безначальный.
Странник шел и путь искал домой.

Образ этого пилигрима не был ни условностью, ни штампом, ни поэтической красотой — мимо дома в Ямской слободе действительно часто шли ко святым местам богомольцы. Они звали за собой и ставили вопросы, куда и зачем идут, «...можно вытерпеть всю вечность с великой неимоверной любовью в сердце к тому пропавшему навсегда страннику, который прошел раз мимо нашего дома летним вечером, когда пели сверчки под завалинками. Странник прошел, и я не разглядел ни лица его, ни сумки, и я забыл, когда это было, — мне было три или семь лет или пятнадцать», — писал Платонов в одном из ранних произведений, а в «Чевенгуре» появится: «Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа».

И вот еще одно очень важное для понимания молодого Платонова духовное обстоятельство — противоречившее тихой лирике и задушевной прозе богоборчество, доходившее порой до того богохульства, каковое изобразил Михаил Булгаков в образе поэта Ивана Бездомного.

«Мы взорвем эту яму для трупов — вселенную, осколками содранных цепей уьем слепого, дохлого хозяина ее — бога и обрубками искровавленных рук своих построим то, что строим, что начинаем только строить теперь», — писал Платонов в статье 1919 года «К начинающим пролетарским поэтам и писателям».

В статье «Христос и мы» Платонов утверждал, что «мертвые молитвы бормочут в храмах служители мертвого Бога» и «в позолоте и роскоши утопают каменные храмы среди голого, нищего русского народа». Одного из молодых поэтов, сделавшись уже сам штатным рецензентом, он поучал: «Вглядитесь в русский народ, он ищет своего блага, а в бывшем Боге он блага не нашел и навсегда отошел от него».

Бывший Бог, мертвый Бог — это почти по Ницше, которого Платонов читал и о котором размышлял (его «Записные книжки» 1921 года начинаются цитатой из Ницше: «Бог умер»), однако — и в этом как раз отличие Платонова от богохульства булгаковского героя — у воронежского газетчика при его свехбазаровском бунтарстве, нигилизме и ницшеанстве сохранялось сокровенное отношение ко Христу. Спасителя он называл великим пророком гнева и надежды и писал о любви, за которую Христос пошел на крест, как о единственной силе, творящей жизнь.

Андрей Платонов был изначально глубоко религиозен и утрату той веры, в которой он был воспитан, переживал тяжело, свидетельством чему его записи на обороте одной из рукописей: «Отчего так тяжело? Отчего от пустяка возможна катастрофа всей

моей жизни? Господи Боже мой! Если бы Ты был, был, был, каким я знал Тебя в детстве? Этого нет, этого нет. Это я знаю наверное. Наверное». Но ощущение богооставленности было вызвано не только усталостью, разочарованием и ударами судьбы, но прежде всего и раньше всего своеобразной русской религиозностью мятежа, нетерпением молодого сердца, нежеланием мириться со злом, со смертью, страданием и жаждой немедленного переустройства, преображения мира, даром что ли одна из его революционных статей называлась «Преображение», другая «Да святится имя твое», и использование религиозной лексики было не данью пролеткультовской моде.

«Не покорность, не мечтательная радость и молитвы упования изменят мир, приблизят царство Христово, а пламенный гнев, восстание, горящая тоска о невозможности любви. <...> Пролетариат, сын отчаяния, полон гнева и огня мщения. И этот гнев выше всякой любви, ибо только он родит царство Христа на земле. Наши пулеметы на фронтах выше евангельских слов. Красный солдат выше святого <...> Люди видели в Христе бога, мы знаем его как своего друга. Не ваш он, храмы и жрецы, а наш. Он давно мертв, но мы делаем его дело — и он жив в нас» (статья «Христос и мы»).

В статье «Да святится имя твое» он называл Христа «сильнейшим из детей земли, силою своей уверенности и радости подмявшим смерть под себя, и тем остановившим бешеный поток времени, хоронящего человека навеки под пеленой своей», и эта религиозность прорывалась в стихах, где именно через христианские мотивы осмыслялась революция.

Богомольцы со штыками
Из России вышли к Богу,
И идут, идут годами

Уходящую дорогой.

Их земля благословила,
Вслед леса забормотали.
Зашептала, закрестила
Хата каждая в печали...

На груди их штык привязан,
А не дедовы кресты.
Каждый голоден и грязен,
А все вместе — все чисты.

Или в стихотворении «Тих под пустынею звездною»:

Тих под пустынею звездною
Странника избранный путь.
В даль, до конца неизвестную,
Белые крылья влекут.

Ясен и кроток в молчании
Взор одинокой звезды...
Братья мои на страдания
В гору идут на кресты.

Пусть эти братья — революционеры, красноармейцы, кто угодно, крест для Платонова — не условность и не фигура речи, а предмет размышлений, и если он готов от него отказаться — именно отказаться, не отречься! — и понять и принять людей, от креста отказывающихся, то лишь потому, что крест есть орудие казни Спасителя.

«Крест надо сжечь, на нем Христа распяли... Не можно никак молиться тому, на чем замучили Христа,

как же этого никто не узнал?» — говорит один из героев рассказа «Волы» (1920).

Здесь уже не брюсовский юноша, а Достоевский русский мальчик, не случайно так притягивал Платонова этот писатель. «Он удивительно как похож был лицом на молодого Достоевского с редким и длинным волосом на небритых щеках и подбородке и с живым блеском в глазах, когда он отрывался от рукописи и вопрошающе вглядывался в притихших слушателей, — вспоминал Платонова писатель Август Явич в мемуаре „Думы об Андрее Платонове“. — У него был большой лоб, и верхняя более выпуклая часть его нависала над нижней, поражая своей объемной выразительностью».

Именно Достоевскому, «погибающему духу сомнения и неуверенности, ищущему спасения в страдании, искупления — в грехе и преступлении, идущему к жизни неизвестными людям путями», Платонов посвятил в июле 1920 года отчаянную статью, которая так и называлась «Достоевский» (формально это была рецензия на спектакль «Идиот», поставленный в Воронежском театре Губвоенпома в июле 1920 года) и в которой высказал мысли по вопросу, необыкновенно его занимавшему, — о плотской любви. В размышлениях над этой темой он вольно или невольно совпадал с теми поисками, что велись культурой Серебряного века и в первую очередь Розановым, но шел гораздо дальше.

Пол для Платонова — не просто часть человеческой жизни, некогда находившаяся под запретом и теперь требующая родственного внимания. Это тревожная, смертельная страсть, которую он напрямую соотносил с проблемой бессмертия. Однако роковое единение смерти и любви, которое остро чувствовали символисты, наполняло душу не гибельным восторгом, а возмущением, и в пору, когда страсть, чувственность играют в жизни человека особенно важную роль, когда

«пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум», когда «все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы...», крепко сложенный парень из воронежского политеха «с широким русским лицом и пытливыми глазами, в которых словно затаилась какая-то печаль», наверняка нравившийся многим девушкам, да и сам на них заглядывавшийся и чувствовавший в сердце томление и муку, чеканил возвышенным профетическим слогом свое сокровенное и откровенное:

«Мы живем в то время, когда пол пожирается мыслью. Страсть, темная и прекрасная, изгоняется из жизни сознанием. Философия пролетариата открыла это и помогает борьбе сознания с древним еще живым зверем. В этом заключается сущность революции духа, загорающейся в человечестве.

Буржуазия произвела пролетариат. Пол родил сознание. Пол — душа буржуазии. Сознание — душа пролетариата.

Буржуазия и пол сделали свое дело жизни — их надо уничтожить. Пусть прошлое не висит кандалами на быстрых ногах вперед уходящего...

Наша общая задача — подавить в своей крови древние горячие голоса страсти, освободить себя и родить в себе новую душу — пламенную победившую мысль. Пусть не женщина — пол с своей красотой-обманом, а мысль будет невестой человеку. Ее целомудрие не разрушит наша любовь».

Из всего написанного и задуманного Платоновым этот «чевенгурский» проект, направленный на подавление пола и освобождение духа, кажется самым радикальным. В нем прямое посягательство на природу человека, только не в духе замятинского «Мы» или оруэлловского «1984», где регулирование сексуальной жизни является средством порабощения личности и контроля со стороны государства, а в духе

максимализма, исступленного целомудрия, который был, по Платонову, ведом «мученику Достоевскому», бившемуся «на грани мира пола и мира сознания» и создавшему князя Мышкина — «нашего родного брата, пролетария, рыцаря мысли» с его «душой Христа — царя сознания».

В отличие от Блока, ненавидевшего «женственный образ Христа», но не знающего, кем его заменить, для Платонова Христос — наш, пролетарский, мужской, ибо принадлежит сфере духа, и автор готов взять его в коммунистическое далеко, которое, как и Царство Божие, силою берется. На этом штурме Платонов настаивал и призывал беречь для него самую сильную силу. И прежде всего — ту, что забирают у мужчин женщины, коим по этой причине места в будущем не будет, как если бы коммунизм был мужским монастырем со строжайшим уставом, а его строители и насельники иноками-аскетами.

«...коммунистическое общество — это общество мужчин по преимуществу, — утверждал он в статье „Будущий Октябрь“. — Равноправие мужчин и женщин это благородные жесты социалистов, а не истина — истиной никогда не будет. Пора пересмотреть этот вопрос и решить его окончательно. Человечество — это мужество, а не воплощение пола — женщина. Кто хочет истины, тот не может хотеть и женщины. А истины начинает хотеть все человечество. Тут не гибель женщины, а другое...»

Чем и как досадили ему дочери Евы, что заставляло его столь резко о них отзываться и безо всякого разбора ставить на одну доску с буржуями, чего другого хотел он от женщин — вопрос открытый («Вы же есть дочь буржуазии, полная похоти, тоски, ненависти ко многим и любви к одному», — писал штатный рецензент «Красной деревни» некой поэтессе Маргарите Ясной, приславшей в редакцию свои стихи), и, быть может, в

иную эпоху и в иных условиях отрок из Ямской слободы сделался бы монахом иль угодил к скопцам — только обмануть природу и вычеркнуть соблазнительное воплощение пола из собственной жизни, заменить невесту мыслью, направив всю энергию на осуществление великих целей, не смог, а лишь с ужасом чувствовал, как много сил отнимает у него любовь или мысль о любви, сколько забирает у революционного пыла пол.

И дело было не в изменчивой женской природе, но в требующей своего мужской. Здесь таится одно из различий между Платоновым и еще одним из его учителей — философом Николаем Федоровичем Федоровым. От него Платонов унаследовал очень многое, в том числе и взгляды на основной человеческий инстинкт, по словам Федорова, «силу могучую и страшную»; от Федорова перенял и воплотил в ранней прозе и публицистике проповедь целомудрия — но на практике этим заповедям не последовал. Если Федоров прожил всю жизнь аскетом, иноком в миру, не знавшим женщин, то о Платонове такого не скажешь. Рассуждать на эти темы — занятие непростое, однако и уклоняться от них не резон, ибо без них Платонов останется непонятым и непонятным.

«...многие друзья с мягкой улыбкой встречали крайние формулировки Платонова», — писал Лев Шубин в книге «Поиски смысла отдельного и общего существования: об Андрее Платонове», справедливо заметивший, что мироощущение Платонова сильно изменилось после того, как «в жизнь этого проповедника вошла любовь». Скупо говорится об интимной стороне платоновской жизни и в книге Олега Ласунского. «Много шуму в публике произвели читанные Платоновым в 1920–1921 годах докладываемые лекции о судьбе женщины при коммунизме, о взаимоотношениях полов прежде и теперь. Признаться,

само обращение к подобным вопросам слегка озадачило всех, кто считал, что хорошо знает Андрея <...> Б. А. Бобылев рассказывал мне, как газетчики поразились известию о женитьбе Андрея: ведь он уверял, что останется холостым. Платонов был юношей целомудренным, не терпел цинизма и пошлости, разговоров о бабах, полагал, что вожделение возникает от лени и безделия. Кому-то даже присоветовал: „Когда будет совсем невтерпеж, иди колоть дрова родителям, это отобьет от жеребятины!“».

То, что Платонов не любил сальных разговоров, понятно, то, что похоть можно на время одолеть с помощью физического труда, — тоже, но все это говорит о том, что телесные соблазны были докладчику хорошо ведомы и стали предметом мучительных размышлений над падшей природой человека. На сей счет нет и вряд ли когда-нибудь появятся достоверные свидетельства биографического свойства, если, конечно, не отождествлять Платонова с его героями — с Сашей Двановым, например:

«Опытными руками Дванов ласкал Феклу Степановну, словно заранее научившись. Наконец руки его замерли в испуге и удивлении.

— Чего ты? — близким шумным голосом прошептала Фекла Степановна. — Это у всех одинаковое.

— Вы сестры, — сказал Дванов с нежностью ясного воспоминания, с необходимостью сделать благо для Сони через ее сестру. Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения: он все время внимательно слушал высокую точную работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но — уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птице, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых опечаленных крыльях. И сторож заплакал — он плачет

один раз в жизни человека, один раз он теряет свое спокойствие для сожаления».

Это было написано позднее как воспоминание об утраченном целомудрии, в образе сторожа-наблюдателя можно увидеть либо ангела-хранителя, либо, при большом желании и склонностям к литературоведческому фантазированию, самого Николая Федорова, заплакавшего над оступившимся учеником, но с гораздо большей долей определенности предположим, что, когда воронежский журналист женщину познал, это познание стало не просто естественным фактом его взросления, впоследствии вызвавшим ровную печаль (и тот же мотив печали появится в «Реке Потудани» с ее словами о «бедном, но необходимом наслаждении»), — оно стало взрывом.

Долгожданное, мучительное в своем ожидании и, наконец, однажды случившееся любовное соитие сотрясло убежденного врага пола и физической любви не меньше, чем революция. Во всяком случае, иначе вряд ли он писал бы о силе эроса так кровно заинтересованно и наступательно, вряд ли появились бы в плане-конспекте к ненаписанному роману «Зреющая звезда» строки пророческие: «Вновь, как болезнь, настигает любовь — крутая, резкая, душная, граничащая с безумием... Творчество борется с сексуальностью»; вряд ли бы так обостренно чувствовал конфликт между полом и сознанием, выставляя именно это противоречие в качестве основного в своей эпохе и постоянно к нему обращаясь в размышлениях об оборотной, «затратной» стороне любви. Вряд ли, наконец, в «Техническом романе» с его автобиографическим подтекстом возникло бы описание первого любовного опыта героя: «Сначала Душин ожидал лишь пустяков, но женщина, оказалось, устроена неожиданно, и он удивился свободе своего

наслаждения — видимо, природа имела истину в своем основании и не обманывала человека, увлекая его...»

«Технический роман» был написан в начале 1930-х как воспоминание о прошедшей юности, однако уже в первых, ранних стихах «женофобские», «антисексуальные» и «сознательные» мотивы зазвучали у Платонова неоднозначно, сменяясь то восторженностью и приятием важнейшей сферы человеческого бытия, а то сожалением о ее утрате.

По деревням колокола
Проплачут об умершем боге.
Когда-то здесь любовь жила
И странник падал на дороге.

О, милый зверь в груди моей
И качка сердца бесконечная,
Трава покинутых полей
И даль родимая за речкою.

Я сердце нежное, влюбленное
Отдал машине и сознанию,
Во мне растут цветы подводные
И жизнь цветет без всякого названия.

Отдал, да оно не отдалось, не послушалось, не усидело на месте в компании с потеющими механизмами, философскими трактатами и строгим сознанием, и сорвавшийся с места милый зверь пошел гулять по степным дорогам, как ему заблагорассудится, примечая себе подобных и давая название самым древним человеческим чувствам.

На околице визг, чуть задавленный смех,
Парни мечутся с ласковым зовом.

Отпустили с цепей древний прадедский грех,
Льнут друг к другу в желании новом...

И оттого в некоторых ранних платоновских рассказах, а также в иных из стихов жаждущая любви человечья плоть, а вместе с нею и душа не изгоняются с суровостью средневекового аскета, а чувствуют себя на месте, совершенно непринужденно как естественная часть жизни, и никто не собирается свергать их словно проклятую вождедеющую буржуазию. Можно так сказать: город, пролетариат, будущее, машины, коммунизм — связаны с отрицанием пола, а вот крестьянство, деревня, плетни, околицы, земледелие, прошлое и настоящее — с его утверждением, и открытое (пустое) сердце автора вмещало и то и другое.

«Небо было для нее голубым и звезды ясными. А полем хотелось идти и идти без конца, и от того, что оно было таким синим и большим, ей вольнее, счастливее жилось... Она думала, что не умрет никогда, и от этого сильнее росла и пухла ее грудь. По ночам она видела сны, томительные и горячие. Вся земля валилась на нее и душила ее, а она кричала от страха и радости» (рассказ «Апалитыч»).

Вообще если говорить о ранней платоновской эротике, то именно образ девичьих грудей как самого сильного чувственного переживания встречается в ней чаще всего:

Мы пришли на косогор утихший,
На горячую девичью грудь.
После страды нам невесты ближе,
Каждый вечер они кровь сосут.

Руки вскинуты и звезды загораются,

Грудь голые — два тихие холма,
Косари до света белого промаются,
Понавалят в душу хлеба закрома.

Хоть и порочной, мучительной бывает женская любовь, но без чуда, тайны и красоты женского тела существование мужчины невыносимо.

«Появилось в теле у Ивана Копчикова как бы жжение и чесотка — сна нету, есть неохота. Жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать либо яму выкопать в глубину до земного жара... <...>

Бесится в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. <...>

— Тебе б к бабе пора, — говаривал Мартын Ипполитыч — сапожник сосед, мудрое в селе лицо, — взял бы девку какую попрочней, сходил бы с ней в лес — и отживел. А то мощой так и будешь.

А Иван совсем ошалел. Мартын же иногда давал ему направление:

— Аtdжюджюрил бы какую-нибудь лярву — оно и спало бы. Пра говорю!»

К бабе, к лярве, аtdжюджюрить ее, а не дрова колоть или баклажаны пропалывать. Баклажанами жар в животе не зальешь. И если учесть, что советчик главного героя «Рассказа о многих интересных вещах» Ивана Копчикова сапожник Мартын Ипполитыч — лицо биографическое, в платоновской ранней прозе не раз встречающееся (в Ямской слободе, по свидетельству С. П. Климентова, брата Андрея Платоновича, жил сапожник Ипполит: «Перешибал гвоздь с одного удара, гнул пятаки. Андрей любил его безумно, а Ипполит — его»), то эта житейская ситуация кажется взятой из жизни. А насильственный перевод энергии любви на покорение вселенной подчеркивал утопичность, нереализуемость проекта, хотя к подобной идее

Платонов обращался постоянно, заставляя себя забывать про девичьи глаза и нежные груди и решая вечную проблему с непреклонностью скопца, «...была уничтожена половая и всякая любовь <...> И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его — этого требовала смертельная эпоха истории» (рассказ «Потомки солнца»).

Но в то же время есть у раннего Платонова герои, которых чувственная любовь не удовлетворяет не потому, что отнимает силы, предназначенные для штурма мироздания, не потому, что мучит тело и душу, а потому, что безотносительно к требованиям беспощадной истории и природы такая любовь, даже осуществленная, все равно ущербна:

«— Что с тобой? — спросил я у него.

— Я люблю, — сказал он тихо. — Но я знаю — чего хочу, то невозможно тут, и сердце мое не выдержит... <...> ее хочу. Но не такую. Я не дотронусь до нее. Ни губы, ни груди мне не нужны. Я хочу поцеловать ее душу...»

Так говорит безымянный герой рассказа «Невозможное» — предтеча Дмитрия Щеглова из «Технического романа» и Никиты Фирсова из «Реки Потудани» — и вскоре от невозможности осуществления любви умирает, а рассказчик выносит суждение: «Любовь в этом мире невозможна, но она одна необходима миру. И кто-нибудь должен погибнуть: или любовь войдет в мир и распяет его и превратит в пламень и ураган, или любви никто никогда не узнает, а будет один пол, физиология и размножение. <...>

Любовь — невозможность. Но она — правда и необходима мне и вам. Пусть будет любовь — невозможность, чем эта ненужная маленькая возможность — жизнь».

Зараженного «бациллой аморе» юного Платонова лихорадило, бросало из крайности в крайность, он не

был удовлетворен ни одним из результатов поисков и нигде не ставил точку, и поэтому так раздражающе понятен и близок был ему Достоевский с роковым любовным треугольником Мышкин — Настасья Филипповна — Рогожин, а об их создателе он писал в статье «Достоевский»: «...ни живущий, ни мертвый, путающий смерть с жизнью, союзник то бога, то дьявола, пугающийся и раненный насмерть сомнением, падающий, ищущий Достоевский». Поэтому так привлекал и одновременно с этим отталкивал Платонова Розанов с его кредо: «Я не хочу истины, я хочу покоя», которое с негодованием процитировал воронежский идеолог в статье «Культура пролетариата», а в рассказе «История иерея Прокопия Жабрина» иронически отозвался: «Ибо истина и есть покой. Покой же наилучше обретается в супружестве, когда сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнения и движения, да исходит во чрево жены. Жено! Ты спасаешь мир от сатаны-разрушителя, знойного духа, мужа страсти и всякой свирепости».

«Но что такое женщина? — задавался он вопросом в статье „Душа мира“, написанной одновременно с „Достоевским“, и отвечал: — Она есть живое, действительное воплощение сознания миром своего греха и преступности. Она есть его покаяние и жертва, его страдание и искупление. Кровавый крест мира с смеющейся, прекрасной жертвой. Это женщина, это ее тайное, сокровенное существо <...> Женщина — искупление безумия вселенной. Она — проснувшаяся совесть всего что есть...»

Но буквально через пару месяцев в статье «Борьба мозгов» верх брал революционный аскетизм:

«Еще до своего восстания пролетариат уже знал свою главную силу, свою душу — сознание и противопоставлял эту силу старой душе буржуазии — половому чувству. <...> История буржуазии — это

история сжатия мозга и развития челюстей и половых частей. Кто же победит? Выйдет чистым и живым из борьбы, и кто упадет мертвым?

Они ли — дети половой похоти, дети страстей тела...

Мы ли — дети сознания?»

В другой, как сказали бы сегодня, концептуальной работе «Культура пролетариата» автор предсказывал: «И сознание победит и уничтожит пол и будет центром человека и человечества. И перед этим интеллектуальным переворотом мы сейчас живем и готовимся».

Это было написано и опубликовано в октябре 1920 года, а в первый январский день 1921 года Платонов опубликовал в «Воронежской коммуне» рассказ-утопию (либо антиутопию — у этого писателя изначально невозможно провести четкую границу между двумя жанрами и противоположными мирами) «Жажда нищего» с подзаголовком «Видения истории», действие которого относится к далекому будущему, и здесь с авторской позицией все гораздо сложнее, а конфликт между сознанием и полом доведен до предела неразрешимого.

Будущее в «Жажде нищего» показано как осуществившаяся победа юного царя сознания, названного Большой Один, над древним человечеством чувств и красоты, над царством судьбы и стихийности. Казалось бы, все хорошо — выиграли бой с проклятым полом, одолели-таки супостата, но... В ходе борьбы с буржуазией на земле исчезают леса и травы, реки не текут, ветры не дуют, звери не кричат, а лишь воют машины и «блестят глаза электричества». Кроме того, у людей разрастаются головы и за ненужностью отмирает по частям тело. Мужчины при этом бессмертны, женщины — нет, ибо мужчины сокрыли от них самую возможность бессмертия. Большею частью

женщины умирают от близости смерти, спокойные и тихие, как звезды, но когда однажды случается внезапное и вдруг обнаруживается, что у обновленного человечества появился новый враг по имени Тайна — какая именно, правда, не уточняется, но предполагается, что эта тайна связана со все еще неисчезнувшей любовью, — то «для успешности борьбы были уничтожены пережитки — женщины. (Они втайне влияли еще на самих инженеров и немного обессиливали их мысль чувством.)».

Главный из инженеров, нареченный Электроном («... был слеп и нем — только думал. От думы же он и стал уродом»), отдает «приказание по коллективу человечества от имени передовых отрядов наступающего сознания: „Через час все женщины должны быть уничтожены короткими разрядами. Невозможно эту тяжесть нести на такую гору. Мы упадем раньше победы“».

Коллектив замирает в ожидании и вскоре получает от Электрона депешу, начинающуюся словом: «Кончено».

О том, что с точки зрения интересов сознания роль женщины в буржуазном обществе была сомнительной и таковой остается в обществе пролетарском, Платонов говорил в своих статьях и раньше («Только буржуи и бабы могут сегодня безумствовать и забываться от восторга, мы же, пролетарии и мужественные коммунисты...» — статья «В бездну»), но лишь в этом новогоднем антисвяточном рассказе честно предупредил, что одним из условий построения счастливого будущего — да и это еще большой вопрос, так ли оно хорошо и стоит ли в царство к этим головастым уродам стремиться? — в любом случае все это безбожное благолепие станет возможным только после полного уничтожения той половины человечества, что возбуждает в другой и темные

инстинкты, и низменные страсти, и высокие чувства. Лишь после всеобщей стерилизации человеческого рода наступит торжество сознания, к которому призывал автор яростных статей в «Воронежской коммуне» и «Красной деревне» и которое подтверждено в «Жажде нищего»: «Жизнь перешла в сознание и уничтожила собою природу <...> сознание стало душой человека».

Не исключено, что как раз говоря о «Жажде нищего», главный редактор «Воронежской коммуны» Г. З. Литвин-Молотов позднее вспоминал: «Да, надо сказать, очень часто мне приходилось выдерживать бои за его, Платонова, вольные фантазии и отступления в глубь веков будущего».

Но, пожалуй, самое интересное в этом фантазмагорическом рассказе — то, что написан он от имени существа, называющего себя Пережитком, как заноза сидящим в чистом теле Большого Одного, от недобитого «скрюченного пальца воющей страсти», от «древнего темного зова назад, мечущейся злой силы». Это был не просто художественный прием, не способ доказательства истины от противного, но своего рода идейная позиция: в финале Пережиток, находящийся «в глубоко сияющей точке совершенного сознания», ощущает себя победителем в духовном поединке с Большим Одним, ибо сознание дошло до конца, а «я нищий в этом мире нищих, самый тихий и простой... Нет ничего такого большого, что уменьшило бы мое ничтожество, и я оттого больше всех. Во мне все человечество со всем своим грядущим и вся вселенная с своими тайнами, с Большим Одним».

Написанный о будущем, рассказ получился о прошлом, об исторической памяти, о долготе истории, о неистребимости человеческих чувств и инстинктов, о силе слабости, о величии ничтожества, и в этой расстановке акцентов — весь путь Андрея Платонова. Родившийся на сломе двух эпох, пропустивший через

себя самый трагический разрыв в русской истории и готовый возглавить и идеологически обосновать поход в коммунистическое царство сознания, отравленный, вдохновленный самыми сумасшедшими, взаимоисключающими, нестыкующимися идеями, что питали русскую революцию, Платонов физически не мог оторваться от кровного, природного. Очарованность мечтой, жажда немедленного преобразования мира и литая вера в коммунизм, требование «уничтожить личности и родить их смертью новое живое мощное существо — общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы» сосуществовали в сердце воронежского коммунара с тревогами, опасениями и дребезжащими сомнениями, а самые отчаянные утопии и невообразимые образы («Вселенная — невзорванная гора на нашей дороге») уживались с любовью к домашнему очагу, собаке по кличке Волчок, родным полям, лугам, соломе, плетням, которые — неужели — тоже нужно взорвать ради любви к будущему?

«Апалитыч посмотрел на тихое небо, на Дон из белого огня, на все поля, откуда некуда вырваться — все будут те же поля и поля, и соломенные деревни, и девки по вечерам у плетней, и нету ничему конца-краю, как душевной скорби Апалитыча, которая растет с детства из травинки и выросла в дуб, которому земли мало, Бога мало, небо коротко и одно спасение — в светопреставлении, когда он нечестивую землю пожрет.

Все смешалось, сгорело в старой башке Апалитыча, и он сам не знал, что есть и где ему дорога».

То же самое можно было бы сказать и про молодую башку его создателя, в которой все плавилось и горело. Ум с сердцем были у автора не в ладу (вообще в молодом Платонове, несомненно, было что-то от Чацкого, тот же тип личности, появляющийся, как это

верно подметил в известной статье Гончаров, на историческом переломе, но в случае с Платоновым личностное, непокорное, бунтарское начало, любовь, страстность, отрицание исторического прошлого, жажда правды и справедливости, тяга к пророчеству, хотя бы и осмеянному, были в сто тысяч солнц усилены), и в голове молодого искателя бродила смесь самых разных философских систем, взглядов, представлений, убеждений, планов и проектов. Это был чан кипящий, и никто не знал, что выварится в этом чану.

Глава третья КРАСНЫЙ ВЗРЫВ

«Я знаю, что я обречен — это мне говорили многие товарищи, погибну позорно и бесцельно — вот что страшно. Во мне сердце от силы гремит, но я не жалею своих пропадающих сил — их избыток меня и губит», — признавался Платонов в одном из писем той поры.

«Мои товарищи по работе называют меня то ослом, то хулиганом. Я им верю», — писал он в статье, которая называлась «Ответ редакции „Трудовой армии“ по поводу моего рассказа „Чульдик и Епишка“». И хотя в тех словах было много иронии и даже ерничества, а Платонов, по воспоминаниям Августа Явича, бывал в молодости «язвителен, придирчив, особенно как выпьет», дело не только в особенностях его нрава. Дело в самом рассказе, из-за которого Платонов и написал свой резкий ответ.

Короткий, меньше двух страниц, редко становящийся объектом научных изысканий, «Чульдик и Епишка» не имеет ничего общего ни с ранней лирикой, ни с публицистикой Платонова, хотя писался рассказ в том же 1920 году, о котором преимущественно идет пока речь. Трудно даже представить, чтобы человек, который в стихах собирался то целовать горящую от любви вселенную и призывал ее сорвать с себя все одежды и тогда мертвые восстанут во гробах, то намеревался убивать ее, невесту, душу голубую, машинами («для вселенной бьет последний час»), который строил планы, как потушить одно солнце и зажечь другое — железное, осушая до дна небесные тайны и давая людям железные души — как этот сверхчеловек вдруг отвлекся от грандиозных апокалиптических заданий, спустился с небес на землю и сочинил текст такого примерно содержания.

На берегу Дона в жаркий полдень спит деревенский мужик Епишка и видит сон, «что наелся говядины и лежит с чужой бабой в соломе». На самом интересном месте его будит другой мужик, по имени Чульдик, и прогоняет с места. Почему прогоняет, почему Епишка его слушает — не совсем понятно, но Епишка вскакивает, в одежде переплывает Дон и бежит в деревню, где в это время случился страшный пожар, а у Епишки осталась в хате дочка в люльке (жены у него, похоже, нет). Он добегает до деревни, когда она наполовину вместе с его домом сгорает, и ложится «как белый камень с чужого неба» «мертвый и окаянный». А через три дня умирает.

Чульдик хоронит его вместе с дочкой на кладбище в том месте, где «гадили и курили ребята, когда шла обедня», пять дней спокойно ловит рыбу, а на шестой приходит к могиле и бормочет:

«— Кузьма, Кузя... Нешто можно так, идол ее рашшиби-то... Али я, али што...»

А заканчивается все озорной девичьей частушкой:

Я какая ни на есть —
Ко мне, гадина, не лезь!
Я сама себе головка,
А мужик мне не обновка!

Все это было опубликовано 10 августа 1920 года в «Красной деревне», которая всего тремя неделями ранее напечатала возвышенный платоновский трактат «Душа мира», и в контексте его творчества может рассматриваться как важный литературный опыт и своего рода аккумулятор будущих мотивов: внезапная катастрофа, смерть ребенка, образ рыбака, переход через реку и приход героя на могилу. А кроме того, Епишка, уменьшительное от Елпидифора, ведет к

«бесконечной повести» «Приключения Баклажанова», несколько проясняющей темные места и опущенные звенья в «Чульдики и Епишке», например ситуацию с пожаром: «А Епишка ждет не дождется, когда пустят домой: он горевал по маме и боялся, как бы без него не случился дома пожар — не выскочат: жара, ветер, сушь». Да и вообще образ Баклажанова, это своеобразного авторского альтер эго, очень важен в ранней прозе, потому что здесь открыто сказалось то тревожное, катастрофическое видение мира, которое было Платонову присуще. И если верно, что в жизни каждого писателя присутствует некий «спусковой механизм» и происходят те события и накапливаются впечатления, которые и включают определенный образ мышления и чувствования мира, то в жизни Платонова таковым стартером мог быть навязчивый детский страх пожара и ужас от того, что его родные, прежде всего мать, которую он безумно любил и был к ней привязан, не успеют выбежать из горящего дома.

Можно с большой долей уверенности предположить, что именно из сидящего за партой ребенка, мучительно переживающего ясную до мельчайших подробностей картину пожара, встающую в его сознании, и вырос будущий автор «Епифанских шлюзов», «Котлована», «Счастливой Москвы» и прочих произведений, потрясших крещеный мир, а для начала этот мотив проявился, как в сухом семечке, в «Чульдики и Епишке». Только читательской аудитории в 1920 году до психологических тонкостей и перспектив своего земляка дела не было, и реакция воронежского читающего сообщества оказалась негодующей.

Публикация рассказа вызвала возмущенные отклики читателей и разгромную рецензию в газете «Трудовая армия». Ни то ни другое не сохранилось, но известен оскорбленный авторский ответ на критику: «Человека, который ошибается, надо учить, а не смеяться над ним

и не ругать его. А то мне теперь от вашего целомудренного визга еще больше думается, что не вы, а я один прав», — написал Платонов в короткой реплике 19 августа, а три дня спустя развернул свою мысль в «Ответе редакции „Трудовой армии“», превратив ее в манифест нового искусства, направленный против искусства старого, «чистого», фарисейского:

«Вы пишете о великой целомудренной красоте и ее чистых сынах, которые знают, видят и возносят ее.

Меня вы ставите в шайку ее хулителей и поносителей, людей не достойных Ее видеть и не могущих Ее видеть, а потому я должен отойти от дома красоты — искусства и не лапать Ее белые одежды. Не место мне, грязному, там.

Ладно. Я двадцать лет проходил по земле и нигде не встретил того, о чем вы говорите — Красоты. <...>

Это оттого я не встретил и никогда не подумал о Красоте, что я к ней привык, как к матери, о которой я хорошо вспомню, когда она умрет, а сейчас я все забываю о ней, потому что стоит она всегда в душе моей.

Я живу, не думаю, а вы, рассуждая, не живете — и ничего не видите, даже красоту, которая неразлучна и верна человеку, как сестра, как невеста.

Вы мало любите и мало видите.

Я человек. Я родился на прекрасной живой земле. О чем вы меня спрашиваете? О какой красоте? О ней может спросить дохлый: для живого нет безобразия.

Я знаю, что я один из самых ничтожных. Это вы верно заметили. Но я знаю еще, чем ничтожней существо, тем оно больше радо жизни, потому что менее всего достойно ее. Самый маленький комарик — самая счастливая душа.

Чем ничтожней существо, тем прекраснее и больше душа его. Этого вы не могли подметить. Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть.

Для вас быть человеком привычка, для меня редкость и праздник. <...>

Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас.

Но не бойтесь, мы очистимся — мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи. В этом наш смысл. Из нашего уродства вырастает душа мира.

Вы видите только наши заблуждения, а не можете понять, что не блуждаем мы, а ищем. <...>

Мы идем снизу, помогите нам, верхние, — в этом мой ответ».

Рассуждая умозрительно, в самозащите Платонова можно заметить не только очевидную сильную уязвленность и самолюбие молодого автора, не только унижение паче гордости или, как говорил Пушкин об одном из своих героев, «англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты» и таким же нетерпением отличался журналист воронежский столетие спустя, — так вот в его «манифесте», в этой, по удачному выражению Льва Шубина, «декларации прав» молодого писателя можно увидеть определенную стратегию либо по меньшей мере продуманную линию поведения.

В самом деле, если не знать всего написанного автором «Ответа редакции „Трудовой армии“» к той поре, если отвлечься от посвященных красоте Божьего мира стихов, публицистических размышлений о целомудрии и сознании и пройти мимо диалога с Федоровым, Достоевским, Ницше, Розановым, Шпенглером, Ключевским, Фрейдом, Веннигейнером, то можно предположить, что платоновский отлуп хулителям из «Трудовой армии» писался от лица талантливого самоучки, непросвещенного, но жаждущего просветиться рабоче-крестьянского парня из числа тех, о ком упоминал Блок — «бьют себя

кулаками по несчастной голове: мы глупые, мы понять не можем» — даром, что ли, Андрей Платонович и сам сообщал в ту пору в анкетах, что образование у него «нисшее».

Но поскольку очевидно, что автор «Чульдика и Епишки» превосходил своих зоилов не только по природному дарованию, но и по образованию и начитанности и никакие «верхние» помочь ему ни в чем не могли, то из платоновского «Ответа» следует, что за его как бы смирением, за своеобразным литературным юродством и самопровозглашенным убожеством скрывался сознательный полемический прием. Платонов словно предчувствовал, что его писательский удел — раздражать и навлекать на себя гнев, он учился держать удар и отвечать обидчикам. С рабочих позиций в рабочем государстве делать это было удобнее всего, и он свое законное место грамотно занял, благо ему прикидываться рабочим надобности не было.

Только как ни увлекательна версия о Платонове-стратилате, умело разыгрывающем пролетарскую карту, в своей основе она может быть верна лишь частично: человек этот действовал больше по наитию, чем по расчету. С житейскими расчетами у него, несмотря на техническое образование, было неважно, свидетельство чему его достаточно наивная переписка с Госиздатом в 1921-1922 годах, да и вообще вся дальнейшая драматическая история взаимоотношений с официальной литературой и резких столкновений с советской критикой, во время которых он вел себя не совсем ловко. Вместе с тем совпадение самохарактеристик «я один из самых ничтожных» в этой статье и «я... ничтожен и пуст» в рассказе «Жажда нищего» показательны, как показательны и то, что «ничтожнейшим из существ» Платонов называл не кого-нибудь, а Федора Михайловича Достоевского. Так что идеальная компания у воронежского писателя

подобралась что надо. С реальной — картина была разноречивей и пестрей.

В литературное окружение Платонова в Воронеже — а это был город с очень насыщенной культурной, литературной жизнью, недаром позднее его уроженец так заскучал в Тамбове — входили самые разные писатели, поэты, журналисты, критики. Платонова они неплохо знали, проводили с ним много времени, о нем писали, с ним спорили, выпивали, но вряд ли даже приблизительно представляли масштаб его дарования. Георгий Степанович Малюченко, Владимир Борисович Келлер, Михаил Матвеевич Бахметьев (в соавторстве с ним Платонов опубликовал «Рассказ о многих интересных вещах»), Андрей Гаврилович Божко-Божинский, Андрей Никитич Новиков, Николай Павлович Жайворонков (Лев Стальский), поэт-имажинист Борис Владимирович Хижинский (Дерптский), а также Георгий Андреевич Плетнев, Август Ефимович Явич (Семен Пеший), Борис Андреевич Бобылев, Федор Алексеевич Михайлов, Николай Алексеевич Задонский, Владимир Александрович Кораблинов... С иными из них Платонов был знаком только по Воронежу, с другими дружба продолжалась всю жизнь, одни умерли рано, кто естественной смертью, кто наложив на себя руки, а кто замученный в ГУЛАГе. Другие дожили до того времени, когда Платоновым стали всерьез интересоваться и возникла дружина платоноведов, людей, по выражению современного писателя Олега Павлова, «одержимых», «знающих куда больше о Платонове, чем он сам знал о себе», которые стали по крохам, как драгоценнейшее вещество жизни, собирать все, связанное с этим писателем. Но, несмотря на все усилия, платоновская мемуаристика уступает даже довольно скудной булгаковской, не говоря уже о богатейших воспоминаниях об Ахматовой, Пастернаке,

Мандельштаме, Цветаевой, Волошине, Горьком, Бунине... Платонов был не только очень сложен и закрыт от окружающих как личность, но был меньше всего озабочен своим посмертным портретом и инстинктивно стремился уйти от литературной среды, не желая отражаться в ее прямых и кривых зеркалах, а тем более эти отражения ловить и множить, как это было свойственно иным из его современников и современниц.

Более того, про писателя Андрея Платонова можно с некоторыми оговорками сказать, что он умел писать так же, как не умел жить, и в сознательной тактической негибкости жизненного поведения проявился его сознательный стратегический выбор — выбор тех условий, которые были востребованы его писательским даром. Однако сколь бы горько ни складывалась его судьба, она могла бы оказаться еще горше, не случись в его окружении человека, ставшего его первым редактором, издателем, проводником, заступником, покровителем, литературным опекуном, — человека, без которого Платонову не удалось добиться бы и тех крох прижизненного успеха, что выпали на его долю сначала в Воронеже, а потом в Москве. Среди тех, кто разглядел его талант, кого платоновская резкость и неуклюжесть не отвратили, а, напротив, привлекли и он с удовольствием печатал все, выходящее из-под пера молодого автора, и в том числе его непричесанные ответы критикам, кто с ним спорил и не соглашался, но всегда давал ему слово, стал довольно крупный по воронежским меркам партийный деятель Георгий Захарович Литвин-Молотов.

В отношениях между ним и Андреем Платоновым, отношениях между партией и литературой, ставших в этом конкретном, едва ли не уникальном случае моделью, идеалом, осуществившейся утопией и примером того, какими бы эти отношения вообще могли

быть, будь партия поумней и почеловечней, более всего поражают церемонность, полное отсутствие панибратства и удивительное уважение друг к другу. Если к тому прибавить, что Литвин-Молотов был старше Платонова на год, и в момент их знакомства одному был 21 год, а другому — 20 лет, и при этом они с самого начала были и всю жизнь оставались на «вы», обращая друг к другу по имени-отчеству, что вовсе не явилось следствием утонченного воспитания (оба происходили из социальных низов), то в который раз восхитишься богатством человеческого материала на Руси, а также невольно задумаешься над неоднозначностью и не одной только окаянностью того переворота, что назывался Великим Октябрем, и усомнишься в уничижительной характеристике людей, в нем участвовавших. Именно к числу этих неординарных, нашедших себя в революции, очень рано повзрослевших пассионариев и принадлежал Литвин-Молотов, который с точки зрения житейской карьеры к своим двадцати годам успел добиться гораздо большего, чем его молодой друг.

Сын сапожника из уездного городка Воронежской губернии и донской казачки, Юрий (Георгий) Литвинов окончил высшее начальное училище, а затем поступил по конкурсу в частный учительский институт, был юношей музыкально одаренным и живо интересовавшимся философией, которая в семнадцатом году сделала его практикующим большевиком, отрезала от родовой фамилии суффикс «ов» и добавила «Молотов», а в девятнадцатом привела на должность редактора газеты «Воронежская беднота». Именно тогда произошло знакомство Литвина-Молотова с Платоновым («Андрей Платонов рассказывал мне, что много думал он об Иммануиле Канте, об его философских особенностях, вещах познанных и непознанных, не появляющихся наружу „вещах в себе“,

закованных в глубинах своих — не открытых еще, не проявившихся в нашем сознании, а скрытых под спудом еще неясного видения», — вспоминал он позднее), но по-настоящему они стали вместе работать в 1920-м, когда Литвин-Молотов возглавил сначала газету «Красная деревня», а потом «Воронежскую коммуноу» и пригласил Платонова в них сотрудничать.

«Это что же? Мне надо будет резать ножницами чужие мысли и слова, с мясом кромсать письма людей? Нет, я так не могу!» — по преданию, воскликнул уже обжегшийся о рецензии на собственные стихи Платонов, но общий язык редактор и журналист нашли.

«Он всех нас, тогдашних безусых юнцов, начинающих литераторов, сотрудничавших в воронежских газетах, поражал прежде всего своей внешностью, — вспоминал Георгий Захаровича Николай Задонский в своей книге исторических этюдов „Донские вечера“. — Выше среднего роста, хорошо сложенный, с умными строгими глазами, всегда чисто выбритый, с небольшими, ровно подстриженными темными усиками, он неизменно являлся на службу в отглаженных мягких рубашках, в галстукe, с наброшенной на плечи кожаной курткой, и во всем служил нам примером аккуратности, трудолюбия и добросовестности».

Сам Платонов и одевался, и выглядел в те годы иначе. Летом, если верить мемуаристам, ходил «в серых полусуконных брюках на выпуск и такой же рубашке с поясом, а в жаркие дни — в рубашке холстинковой или ситцевой». Зимой — «в малахае и валенках». Писатель Владимир Кораблинов упоминает «сильно, до белизны потертую кожаную куртку», а Литвину-Молотову в рабочем-поэте запомнились, как написал Лев Шубин, «и необычная внешность, чем-то напоминавшая облик молодого Достоевского, и какая-то странная черная хламида, очевидно, старая железнодорожная шинель, и застенчивая немногословность поэта, и длинные узкие

листочки, на которых четким красивым почерком были написаны стихи».

Главный редактор продвигал своего самого талантливого журналиста как мог. В конце апреля 1920 года А. П. Климентов был принят в Коммунистический союз журналистов (Комсожур); в июле благодаря Литвину-Молотову состоялось первое обсуждение творчества рабочего поэта, на котором Платонову наговорили больше лестных, чем нелестных слов («...т. Платонов — редкий самородок, обещающий широко развернуться на поприще литературы и искусства»), а сам Литвин-Молотов своего подопечного и защищал, и в своем выступлении направлял: «Пролетарский писатель или поэт... <...> отражает в своих произведениях революционно-действенный уклад, уклад жизни рабочего класса, его труд, чувствования потому, что они — реальная правда, современность. Деревня же до сих пор косна, рутинна, не имеет в общественной жизни страны того значения, которое имеет город. Деревня не усвоила великого переворота. В силу этого и писать о ней пролетарскому поэту, в особенности же рабочему Платонову, нечего, да и не стоит. Если бы стоило, то из среды крестьянства вышли бы свои — крестьянские поэты. Но их нет. Они не родились еще».

Тут дело даже не столько в том, прав или не прав Литвин-Молотов по существу, особенно когда это касалось крестьянской поэзии, а в том, что эти суждения могли быть предметом разговоров, которые партия и литература в редакции «Воронежской коммуны» вели и каждая оставалась при своем, уважая иную точку зрения, вспомним еще раз платоновское: «Деревню же я до слез любил...»

В августе 1920-го — то есть как раз в ту пору, когда возмущенная общественность громила «Чульдика и Епишку», Андрей Платонов вместе с еще двумя воронежскими писателями Бобылем и Бунтарем вошел

во временное правление вновь образованного воронежского отделения Союза пролетарских писателей. В октябре вместе с Борисом Ирисовым он участвовал в работе Всероссийского съезда пролетарских писателей в качестве делегата с правом решающего голоса от Воронежа в Москве (это была его первая поездка в город, с которым в дальнейшем окажется связана его судьба) и на вопрос: «Каким литературным направлениям сочувствуете или принадлежите?» — самоуверенно, но очень точно на всю жизнь вперед ответил: «Никаким, имею свое». Наконец именно благодаря Литвину-Молотову в самом начале 1921 года была издана первая книга Андрея Платонова — тоненькая 16-страничная брошюра под названием «Электрофикация», в основу которой лег платоновский доклад, сделанный в декабре 1920 года на губернском съезде работников печати.

Съезд проходил одновременно с восьмым Всероссийским съездом Советов, на котором с докладом о плане ГОЭЛРО выступил Кржижановский (сцена, описанная в финале трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»), и таким образом доклад Платонова оказался дорогой ложкой к обеду. «...Не успел еще радиотелеграф полностью передать всего плана героя Всероссийского съезда Советов — инженера Кржижановского, а в нашем городе простой рабочий-журналист смело заявляет, что нужно поддержать предложения великого техника, что они вполне приемлемы и что в них наше спасение от голода, холода и нищеты», — написал в те дни в «Воронежской коммуне» журналист Борис Бобылев, однако когда «Электрофикацию» впоследствии пытались переиздать в Москве, то она получила уничижительную оценку: «Брошюрка написана семинарским высокопарным кликушеским слогом. <...>

написана безграмотно, часто в простом грамматическом смысле».

Тем не менее расхождений у молодого Платонова с генеральной линией партии в 1920-м еще не было, и в июле того года рабочий-журналист стал кандидатом в члены РКП(б).

«Рекомендую т. Климентова. Лучшим обоснованием его мировоззрения служат все (искренние все) статьи и стихотворения, какие через меня, как редактора газеты, прошли. Платонов искренен в своих писаниях — искренен он и в данном случае, вступая в нашу партийную организацию, ибо он действительный пролетарий, рабочий, сознательно воспринимающий все явления. Далее, вступление его не только явилось результатом движения чувства, а также и прежде всего — критикой его действительности, тем, что неясное, туманное политико-экономическое мировоззрение его стало твердым, устойчивым, определенно осознанным.

Платонов — рабочий, молодой пролетарий, но он не только пролетарий по принадлежности к определенному классу — он пролетарий и по духу, интеллигентный пролетарий. Платонов знает в основном Маркса, ибо читал его.

Член президиума Губкомпарта 20.VII.1920 Юр. Литвин (Молотов)

Р. С. Из всех рекомендаций, данных мной (в незначительном количестве) вновь вступающим, эта рекомендация наиболее удачная, и, рекомендуя, я беру на себя политическую ответственность за вступающего в РКП рабочего — поэта и философа Платонова.

20. VII. 1920 г. Юр. Литвин (Молотов)». Последние слова в постскрипуме были, по всей вероятности, призваны еще больше усилить позиции читателя Маркса, а также мотивировать тот индивидуальный стиль, которым была написана его автобиография в связи с подачей заявления о вступлении в ряды партии:

«В коммунистическую партию меня ведет наш прямой естественный рабочий путь. Трудно сказать, почему я ранее не вступил в партию: были какие-то полудетские мечты, которые ели зря мою жизнь, мешали глазам видеть действительный человеческий мир, я жалею об этом. Но теперь я начинаю по-настоящему жить и наверстаю потерянное. <...>

Теперь я сознал себя нераздельным и единым со всем растущим из буржуазного хаоса молодым трудовым человечеством. И за всех — за жизнь человечества, за его срастание в одно существо, в одно дыхание я и хочу бороться и жить.

Я люблю партию — она прообраз будущего общества людей, их слитности, дисциплины, мощи и трудовой коллективной совести; она — организующее сердце воскресающего человечества.

Андрей Климентов (Платонов)».

Его приняли. Об этом факте известила своих читателей «Воронежская коммуна» 7 августа в рубрике «Партийная жизнь». Фамилия Климентов (Платонов) значилась первой в списке «для утверждения в кандидаты РКП(б)».

Был ли Андрей Климентов (Платонов) сразу же разочарован в партии или же несколько погодя и по какой причине это произошло, вопрос спорный (скорее все же не сразу, доказательством чему могут служить его статьи лета 1921 года), но факт тот, что долго среди коммунистов Платонов не задержался. Одной из составляющих его конфликта с партией можно считать перевод Литвина-Молотова из Воронежа в Краснодар, лишивший Платонова и дружеской поддержки, и покровительства, а также необходимости строжайше соблюдать парт-дисциплину, к которой никогда не лежала анархическая душа слобожанина. В этом смысле личностный фактор сыграл в истории кандидата Платонова роль исключительную. Он вступал в одну

партию, а оказался в другой, и эта другая пришлась ему не по нраву. Но случился этот надрыв уже во второй половине 1921 года, отмеченного многими ключевыми событиями в жизни молодого писателя — неудачной попыткой издания своих книг в Москве, фактической женитьбой и выходом из рядов РКП(б).

Однако самым главным оказалось даже не это. Самым важным, лично катастрофичным для Платонова в тот год стал голод в Поволжье, который юный коммунист принял к сердцу так, как, наверное, никто во всей России, а уж среди писателей точно не принимал, и, более того, иные, правда не в России, но в эмиграции записывали в дневнике: «В газетах все то же. „На помощь!“ Призывы к миру „спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян!“. А вот когда миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал. <...> И как надоела всему миру своими гнусостями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!» Факт, который упоминается здесь отнюдь не для дискредитации автора процитированной гневной сентенции Ивана Алексеевича Бунина, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть, обозначить ту степень катастрофического раскола, который прошел через русский народ и русскую литературу в революцию и Гражданскую войну.

Но попытаемся восстановить хронологию этого переломного в судьбе Андрея Платонова «*anno domini*»^[5] по порядку.

В январе 1921 года Платонов вступил в переписку с московским Государственным издательством с предложением издать книги своих произведений. Сохранилось десять его писем в Москву 1921–1922 годов, отразивших нарастающую степень разочарованности молодого искателя в нравах стольного града. Первое письмо было пробным и

несмелым. Оно представляло собой запрос о возможности издания сборника стихов. Целью этого деликатного послания было получить благоприятный ответ и выслать подборку. Однако равнодушная Москва промолчала. Тогда месяц спустя, не дождавшись ответа, Платонов послал 68 стихотворений, которые «местное Воронежское Отделение Госиздата продержало целый год и не могло издать сборника этих стихов за неимением бумаги и технических средств».

В письме содержалась уничижительная оценка деятельности воронежских товарищей — теперь, когда Литвина-Молотова среди них не было, автор давал себе право написать: «...тут громадная косность, лень, отсутствие всякой энергии и мещанская мелочность, так что я встретил только старую гадость и оскорбления сонных людей. <...> Тут нигде нет настоящих коммунистических людей, и я поэтому обращаюсь прямо к вам, в центр».

Кроме того, Платонов настаивал, чтобы его стихи были напечатаны в том порядке и в том виде, в каком они были предложены, — то есть никакой цензуры и редактуры признавать не хотел: «Если будете печатать, то прямо сдавайте в набор как есть». И заканчивалось все краткими сведениями о себе: «По профессии я электромонтер и прошу извинить за письмо и за то, что обращаюсь к вам». Ненужная конфликтность налицо, а те немаловажные факты, которые могли бы продвинуть дело, — членство в воронежском Союзе пролетарских писателей и, более того, в его правлении, участие в работе московского съезда, наконец, принадлежность к РКП(б), — все это выносилось за скобки по причине личной нерасчетливости, скромности либо слишком великой степени идеализма и веры в Москву, которая и так должна все оценить.

Но косность, лень и мещанская мелочность процветали не только в губернском Воронеже. Столица

повела себя по отношению к начинающему поэту ничуть не лучше, заставляя его вновь и вновь о себе напоминать: «Просил я у вас ответа, но вы молчите, и я еще раз прошу его. Я не знаю, что мне делать. Пишу я плохо, это знаю, потому что я электромонтер, а не писатель». С этой самохарактеристикой тем же письмом в Москву была отправлена рукопись рассказов.

Только в мае Платонов получил краткое извещение о том, что его работы посланы на отзыв, и, ободренный, направил в Москву третью рукопись — своих статей. И если бы в Госиздате сидели не бездушные бюрократы от литературы, а пламенные платонолюбы, мы получили бы шанс увидеть рождение Платонова в трех его ипостасях — поэта, прозаика и публициста — уже в 1921 году. Однако несчастная Москва все зарубила, хотя и не безоговорочно. Иные из платоновских статей и рассказов получили одобрение рецензентов: «У автора несомненное дарование. Оригинальное миросозерцание. Интересный подход к изображаемому. Безусловно хорош язык, техника; яркость образов. Всегда глубокое настроение. Утонченность психики. К недостаткам нужно отнести слишком большую болезненность, душевный надрыв, изредка грубость, недостаточная логическая ясность. Автор заслуживает большого внимания. Если рассказы непригодны для Аг. — проп. отдела как такового, их следует направить в Лито».

Увы, не эти скромные и честные люди все решали. Прийти в Москву в 1921-м Платонову было не суждено, и его столичный книжный дебют был отложен на целых шесть лет, в течение которых траектория платоновского пути отклонилась далеко в сторону от торных литературных дорог. В высшем смысле эта отдаленность была для него спасительной, ибо подарила Платонову-писателю судьбу и обстоятельства жизни, каких не было ни у кого из даже самых

одаренных и достойных его современников. Впрочем, если рассуждать умозрительно и придавать истории литературы сослагательное наклонение, то биография воронежского литератора могла бы сложиться иначе, будь он порасторопнее, и эти гипотетические рассуждения важны прежде всего потому, что показывают и доказывают особое положение Платонова в писательском сообществе Советской России.

В то время как воронежский рабочий-электрик боролся с местечковой косностью, многие молодые и не очень молодые люди, чувствовавшие призвание к литературе, уезжали в Москву, чтобы пробиваться на месте, а не ждать ответов из редакций. «Вы же на мои письма не отвечаете, а между тем мне говорили в Госиздате (и у вас, кажется, есть там объявление, что непринятые произведения возвращаются). Что же это такое, товарищи? Почему вы заховали где-то мои рассказы и не хотите их найти и вернуть. Ведь это очень нехорошо, тем более гос. учреждению, тем более по отношению ко мне, рабочему. <...> Я просто теряюсь и не знаю, как же вас еще просить и как мне преодолеть ваше молчание и равнодушие».

Люди, мыслившие более грамотно, действовали совсем не так. Они тоже было посылали первыеopusы в Москву, но, убедившись, что ответа нет и не будет, бросали свои Владикавказы и Одессы, приезжали в столицу и устраивались в газеты, например в «Гудок», и там, голодая, бедствуя, пища для заработка фельетоны, сочиняли в свободное от работы время «Белую гвардию», как Булгаков, или «Зависть», как Олеша. Но они-то были беспартийные поповские либо дворянские дети и внуки с сомнительным белогвардейским прошлым, к тому же к паровозам, гудкам и прочей машинной дребедени равнодушные. А «техническому человеку» Андрею Платонову, железнодорожнику и сыну железнодорожника, участнику Гражданской

войны, пусть не самому активному, но однозначно на стороне красных, сам Бог велел именно в этой газете работать. Случись так, мы имели бы еще более яркое гудковское содружество, случись так, произошла бы личная встреча двух великих — красного Платонова и белого Булгакова, но лично друг с другом незнакомые два сына века оказались связанными лишь посредством третьего — Виктора Борисовича Шкловского, угодившего в качестве героя и в «Белую гвардию» на роль Шполянского, и в «Чевенгур» на роль Симона Сербинова. Гудковский сюжет был в судьбе Платонова тем вероятнее и практически осуществимее, что в 1918–1919 годах в Воронеже проживал и активно работал как издатель поэт-большевик, товарищ Анны Ахматовой по первому Цеху поэтов Владимир Иванович Нарбут, который перетащил в «Гудок» Олешу с Катаевым (последний вывел Нарбута в образе колченогого в «Алмазном моем венце»). Но хотя Платонов в пору деятельности Нарбута уже печатал в Воронеже стихи, колченогий внимания на него не обратил и в журнал не позвал. В жизни Платонова не встреч было вообще гораздо больше, чем встреч...

Но одна и очень важная встреча в тот год у него произошла. Параллельно с неустройством литературных дел Андрей Платонов женился или, точнее, вступил на путь, приблизивший его (ибо брак был оформлен лишь в 1943 году) к этому уникальному событию в своей жизни. Уникальному по двум причинам. Во-первых, потому, что вопреки совету, который писатель Алексей Толстой дал писателю Михаилу Булгакову — жен, батенька, надо менять и настоящий писатель должен жениться не менее трех раз, — Платонов был женат единожды и на всю жизнь. А во-вторых, никто от Андрея не просто скромного, но яростно не приемлющего женскую любовь, утверждавшего, что «человек должен стремиться к

соединению со всеми, а не с одной», ибо «в этом нравственность пролетария», — такого поступка не ожидал, и можно предположить, что позднее эта ситуация отразилась в повести «Эфирный тракт»:

«— Тебе, Егор, влюбиться надо! — говорили ему друзья. — Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травую пахнет!..

— Оставьте, — отвечал Егор. — Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не могу устать — работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

— А ты женись! — советовали все-таки ему.

— Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда...

— Что тогда?

— Тогда... уйду странствовать и думать о любимой.

— Станный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет... Инженер, коммунист, а мечтает!..»

Если учесть, что за этим диалогом стояли реальные переживания реального и несколько сумасбродного молодого человека, который сам не знал, что ему с собою и собственной непослушной природой делать, то вот вопрос: какой должна быть девушка, сумевшая расколдовать закованную в латы целомудрия, изнемогающую от страсти плоть и мечтательную душу, не дав ускользнуть ей в вечное бродяжничество или же пойти по затворническому, по федоровскому пути?

Мария Александровна Кашинцева была дочерью Александра Семеновича и Марии Емельяновны Кашинцевых, приехавших в Воронеже 1918 году. Она родилась 14 апреля 1903 года в Петербурге, где училась в гимназии, и таким образом по социальному происхождению была уроженцу Ямской слободы не чета, да к тому же очевидная «дочь буржуазии» со всеми вытекающими отсюда душевными свойствами. «В классовом невежестве смешна, но по классу

двоюродная сестра», — писал Платонов в шутливом стихе, а сама Мария Александровна меж тем вела происхождение от графского рода Шереметевых.

В ее жизни была романическая предыстория. В 1918 году в Петрозаводске, куда сначала уехала семья Кашинцевых из Петрограда, спасаясь от голода, в пятнадцатилетнюю гимназистку влюбился командир Красной армии Леонид Александров, которого Маша благословила на борьбу с Юденичем. Платонов об этом сюжете знал. «Тебе легче забыть меня, потому что ты знала Александрова», — писал он в одном из писем, и образ революционного командира отразился в чертах Копенкина, что особенно чувствуется в ранних редакциях романа «Строители страны» — будущего «Чевенгура».

В Воронеже Мария Александровна поступила в университет, переменяв несколько факультетов, и, как вспоминала она много лет спустя, именно в университетской библиотеке весной 1921 года произошло ее знакомство с рабочим поэтом: «Однажды, придя в читальню, я увидела нового студента, который стоял с группой товарищей и очень громко говорил: „А что такое филология?“ Позднее я узнала, что у этого студента было больше двухсот публикаций в газетах, журналах, альманахах, но в наш студенческий журнал Платонов ничего не хотел давать. В это время я оформляла журнал, а мне редактор журнала сказал, что новый студент, Платонов, не захочет ничего давать, считая наш журнал мелкобуржуазным».

Существуют также устные воспоминания Марии Александровны, записанные журналистом Евгением Одинцовым (впервые они были опубликованы в «Общей газете» в 1999 году): «На одном из вечеров памяти его 80-летия, в Чеховском доме-музее — [она] показала мне на огромного толстого, неряшливо одетого старика с разбухшим портфелем: „Вот он меня, это Зенон

Балабанович, в 20-м году в Воронеже познакомил с Платоновым, привел его ко мне в общежитие, я училась на литфаке университета, я тогда фыркнула еще: 'Фи, какой!', а потом...»

Как бы то ни было, они встретились. «Андрей пришел к нам в дом такой крепкий, ладный, но у него какой-то особый вид был, не как у всех. Мрачноватый и малоразговорчивый Андрей был. На нем всегда была гимнастерка, вечно засаленная, потому что он постоянно возился с какими-то механизмами, инструментами, все изобретал, ремонтировал что-то», — рассказывала позднее младшая сестра Марии Александровны Валентина. Несмотря на то что вокруг Маши вились блестящие молодые люди, например, «известный в городе человек», платоновский товарищ Георгий Степанович Малюченко, рыжий Жорж, социально куда более ей близкий и в отличие от аномального Платонова обыкновенный — весельчак, женолюб, успешный деятель новой культуры (в 1918 году сын надворного советника Малюченко служил председателем театральной зрелищной комиссии), безо всей этой философской и революционной зауми, она выбрала или же уступила другому — мрачному. Хотя быть женой Андрея Платонова оказалось трудным счастьем, но это выяснилось позднее, если только не принимать во внимание, что еще в пору самого начала их почти тридцатилетней совместной жизни молодой муж написал:

Баю-баю, Машенька,
Тихое сердечко,
Проживешь ты страшненько
И сгоришь, как свечка...

Слова, которые скорее подошли бы к нему самому, или же отвел он от жены страшненькое пророчество ценой собственной жизни...

По-своему предыстория появления юной Марии в Воронеже и ее знакомство с Платоновым описаны в очерке Исаака Крамова «Платонов». Автор основывался на беседах с Марией Александровной Платоновой в последние десятилетия ее жизни, когда память могла подвести, и, например, дата знакомства с Платоновым названа очевидно неверно, а Жорж окрещен почему-то заезжим артистом. Зато остальное заслуживает куда большего доверия.

«Отец привез ее в 1919 году из Петрограда в Воронеж — спасал от голода. Она заканчивала здесь школу, зарабатывала — нужен был паек, ходила переписывать бумаги, получала плату хлебом и солдатским бельем, сбывала белье на рынке.

— Страшно жили, — говорит она задумчиво. И тут же: — Воронеж, какой хороший был город. Дворянские особняки в центре, красивые. Какая культурная жизнь была. И люди — веселые, интересные, крупные люди, командиры гражданской войны. Мне нравились.

С Платоновым познакомилась в 1922 году — познакомил заезжий артист. Платонов — густая шевелюра, большие серо-голубые глаза (есть фотография) — поэт, журналист, мыслитель — местная знаменитость. Печатался в воронежских газетах, выступал на вечерах. Встречались у городского театра и ходили вокруг театра часами».

В этих мемуарах акценты расставлены иначе — и девушка попроще, и юноша познаменитей. Так что никакого мезальянса не было — напротив, случилась обыкновенная русская история: гений соединился с чистой красотой. Маша была действительно очень красива, это признавали все, кто ее знал, — молода, обаятельна, артистична (она обладала прекрасным

голосом, пела и позднее, уже в Москве, брала уроки у певицы Евгении Ивановны Збруевой), хорошо воспитана. И с тех пор, как Платонов стал за ней ухаживать и добился ее благосклонности, рассуждений о вредности пола в его публицистике заметно поубавилось, ни уничтожать, ни изничтожать женщин он более не собирался, а, напротив, писал то прозой: «Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого приснившийся тайный образ во сне, у третьего печная дверка или весенний тоскующий ветер», а то стихами:

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

Да и более поздняя (написанная летом 1922 года), злая и не слишком справедливая рецензия на книгу философа Льва Платоновича Карсавина «Петербургские ночи» — «Л. Карсавин не имеет ни сердца, ни семени — и ненавидит их. Для него никогда не было любимой, русской девушки Маши... Для него любовь — религия, философия, литература, все что угодно, только не крик будущего, не движение семени, не физиология, не теплота, не мужество и не физическая сила...» — косвенно указывает на реабилитацию основополагающих природных сущностей, против которых рецензент яростно восставал в иных из своих статей в «Воронежской коммуне» до знакомства с девушкой Машей.

Их роман строился в соответствии с духом настоящего и уважением к традициям прошлого. «Марии. Вся моя жизнь была только предчувствием Вас. Андрей» — так надписал Платонов своей избраннице

брошюру «Электрофикация», которая стала его первой авторской книгой.

С какими чувствами читала красная девушка рассуждения о том, что «электричество — легкий, неуловимый дух любви», что «электрификация есть осуществление коммунизма в материи — в камне, металле и огне... наша дальнобойная артиллерия в борьбе с этой природой», но Исааку Крамову она позднее рассказывала о том, что «тоже в молодости начинала писать. Это Платонов превратил меня в домашнюю хозяйку».

Но прежде чем так произошло, летом 1921 года студентку Кашинцеву отправили в отстоявшее от Воронежа на 60 верст село Верхнее Волошино для ликвидации крестьянской неграмотности. Как следует из рассказов Марии Александровны, а также из ее набросков к автобиографической повести «История молодого человека и молодой девушки 20 века», в деревню она напросилась сама, «испугавшись своего чувства к Платонову». «Поняв, что А. занял в ее сердце огромное место, она бежит в деревню, на работу. Только что ее отец и мать окончательно разошлись. И любовь А. пугает ее. Она травмирована, — раздоры отца и матери довели ее до того состояния, что она не верит ни в какое чувство».

Драматизм отношений молодых людей XX века отразился и в недавно опубликованной переписке Платонова с невестой.

«Мария, я вас смертельно люблю. Во мне нелюбовь, а больше любви чувство к вам. Восемь дней мое сердце в смертельной судороге. Я чувствую, как оно вспухает во мне и давит душу. Я живу в каком-то склепе и моя жизнь почти равна смерти. Днем я лежу в поле в овраге, под вечер прихожу в город и иду к вам. Ау вас я как-то весь опустошаюсь, во мне все стихает, я говорю великие глупости, я весь болею и хожу почти без

сознания. <...> Не жалости и не снисхождения я хочу, а вас и ваше свободное чувство.

Перепополняется во мне душа и не могу больше говорить. Поймите мое молчание, далекая Мария, поймите мою смертную тоску и невероятную любовь. <...> Простите меня, Мария, и ответьте сегодня, сейчас. Я не могу ждать и жить, я задыхаюсь и во мне лопается сердце. Я вас смертельно люблю. Примите меня или отвергните, как скажет вам ваша свободная душа.

Я вас смертельно люблю».

Судя по всему, слова эти не подействовали, и в следующем сохранившемся письме второй половины 1921 года терзаемый ревностью Платонов свою возлюбленную благородно отпускает: «Я вложил и отдал Вам душу, талант, возможность великого и общего будущего — и мне ничего, никогда. Я снова один, всегда один, и никто не избавит меня от одиночества. И говорить все это зря — ничего не поймете. И пусть поблагодарит меня Ваш будущий друг, что я оставил Вас еще более чистой, святой и прекрасной, чем узнал. Мне ничего не нужно — с меня довольно. Я беру, когда дают, и не вырываю из рук. А у меня Вас рвут — и я отдам, потому что я не на земле живу — не в мире животных. И, отдав Вас, я приобрету Вас — навсегда».

«И опять дальше смертельная любовь, тоска, вселенная, поля и кладбища, и я один среди них, радостных, сытых людей земли, один сточным ослепительным знанием, что я не их, не из этого мира. Мне нужно невозможное, но невозможное — невозможно.

Когда я вижу ее лицо, мне хочется креститься. И я знаю, что Вы меня не поймете никогда. Если бы поняли — сказали бы давно, но Вы молчите, молчите. Боже мой, нет во мне слов. Заперта во мне Вами душа, Вы только

можете ее отпереть. Месяц назад я был богат и полон как царь, теперь я странник».

Но однажды произошло то необратимое изменение в их отношениях, что связало Андрея Платоновича и Марию Александровну на всю жизнь.

«Родимая прекрасная Мария.

Мне сегодня снился сон: на белой и нежной постели ты родила сына. <...> Маша. Знаешь, как нет во мне страсти к тебе и есть только что-то другое. Будто я был нем, безмолвна была тысячелетия душа моя — и теперь она поет, поющая душа. Не страсть во мне, а песнь, а музыка души. Страшная сила скопилась во мне и предках моих за века ожидания любви, и вот теперь эта сила взорвалась во мне».

Подобных поэтических, взрывных писем Платонов писал много, он посылал любимой стихи, описывал свою невозможную любовь в ранней прозе, но как относилась к нему Мария Александровна, сказать трудно. На обороте одного из писем 1921 года сохранился ответ благоразумной барышни хулигану: «Ваше чувство не ко мне, а к кому-то другому. Меня же Вы совсем не можете любить, потому что я не такая какую Вы идеализируете, и еще — Вы любите меня тогда, когда есть луна, ночь, или вечер — когда обстановка развивает Ваши романические инстинкты. Муся». А еще одна дошедшая до нас фраза Муси гласит: «...то, что ты говоришь и делаешь, две совершенно разные вещи, — где же конец?»

Это непонимание они пронесли через всю жизнь, и трудное семейное счастье, конфликты, обиды, ссоры, размолвки, ревность, о чем до последнего времени ничего известно практически не было, стали еще одним из узлов очень негладкой платоновской жизни и судьбы. Да и нежелание зарегистрировать брак исходило от нее, не от него. «Мне не понравилось, что ты спорила и говорила неуверенно о сроке нашей

регистрации. Я знаю, ты ответишь на это бранью и каким-нибудь обличением меня», — писал он в феврале 1927 года. Она как будто для себя окончательно еще ничего не решила, была готова Платонова в любой момент оставить, и эта угроза ощущалась им всю жизнь, мучила его, изводила и... вдохновляла. Мало какая женщина отразилась в сочинениях своего мужа так, как Мария Александровна в повестях, романах, рассказах Андрея Платонова.

В Волошине она проработала по апрель 1922 года, и знаменитый рабочий с журналистским удостоверением там ее с радостью, мукой и нетерпением сердца навещал:

«Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные пространства, далекие темные деревни и одна звезда над головой в мутной смертельной мгле... Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все — далеко. Если взглядишься в звезду, ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности — это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание, мне кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца и стены пропасти не движутся от полета. От вздоха в таком просторе разрывается сердце, от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным.

А кругом поле, овраги, волки и деревни. И все это чудесно, невыразимо, и можно вытерпеть всю вечность с великой, невероятной любовью в сердце...»

Это лирика. Но был у Платонова и другой, более приземленный, «чеховский» взгляд на деревню: «Скорбь и скука в одиннадцать часов ночи в зимней деревенской России. Горька и жалостна участь

человека, обильного душой, в русскую зиму в русской деревне, как участь телеграфного столба в закаспийской степи».

«...каждые десять — двенадцать дней Платонов приходил ко мне в деревню иногда с моим отцом, с Малюченко, но чаще один. Замерзший, весь в ледяных сосульках. Было страшно за него. В сельсоветах ему не всегда давали лошадей, хотя у него был корреспондентский билет от газеты „Воронежская коммуна“, и ему выпадало преодолевать десятки километров пешком по степи, а кругом рыскали волки», — вспоминала Мария Александровна Платонова много лет спустя.

Именно той зимой 1921 /22 года был зачат их первый ребенок — Платон, который, можно предположить, и сблизил молодых людей окончательно, и предрешил их дальнейшую судьбу «Зима дадена для обновления тела. Ее надо спать в жаркой и темной норе, рядом с нежной подругой, которая к осени снесет тебе свежего потомка, чтобы век продолжался...» — писал Платонов явно не о ком-то постороннем, но о самом себе в рассказе «Душевная ночь».

Однако была в семейной жизни Платонова своя драма. Две самые дорогие женщины, две любимые Марии были в судьбе Андрея Платонова — мать и жена, но ни взаимопонимания, ни любви меж ними не было, и это больно ранило их сына и мужа, неизбежно заставляя делать невыносимый, невозможный для себя выбор.

«Вот вы! Зачем так рвете сердце, Мария? По всему телу идет стон от тоски и любви. Зачем и за что я предан и распят, и нет и не будет конца. Но знайте, будет и мне искупление. <...> То, что вы не пришли к маме, мне многое доказало. Я погибну».

Эта развилка в платоновском пути была тем драматичнее, что в детстве Андрей был невероятно

привязан к матери. Позднее, в годы войны, в рассказе «Полотняная рубаха» его герой танкист Иван Фирсович Силин будет вспоминать ранние годы: «И помню, как я горевал, как плакал, когда мать уходила на работу; до вечера я тосковал по ней и плакал. И где бы я ни был, я всегда скорее бежал домой — со сверстниками-ребятишками я играл недолго, скучать начинал, за хлебом в лавку пойду — обратно тоже бегу и от хлеба куска не отщипну, весь хлеб целым приносил. А вечером мне было счастье. Мать укладывала меня спать и сама ложилась рядом; она всегда была усталая и не могла со мной сидеть и разговаривать. И я спал, я сладко спал, прижавшись к матери <...> я целовал ее нательную рубаху и гладил рубаху рукою, я всю жизнь помню ее теплый запах, этот запах для меня самое чистое, самое волнующее благоухание...»

Нет сомнения, так можно было написать, лишь пережив самому. Однако в 1922 году между Платоновым и его матерью произошел разрыв: после возвращения молодой жены из деревни в апреле — причем можно предположить, что именно беременность стала причиной прерывания «контракта» с местной школой, и вряд ли Мария Александровна сильно жалела о том, что ее карьера сельского шкраба завершилась («Паек учительницы в тот год собирался подворно, но учить детей советскому добру крестьяне не посылали и школа была не нужна») — старший сын ушел из родительского дома и стал жить на квартире у Кашинцевых. «Переходить к Климентовым Мария не захотела: разместиться негде, да и вся обстановка была не по душе. Супруга считала, что и так осчастливила Андрея, войдя в его пролетарскую семью», — кратко написал О. Г. Ласунский. Воспоминания младшей сестры Марии Александровны Валентины дополняют картину: «Семья Андрея жила не так далеко от нас, в Ямской слободе, кажется. Она была около леса. Дом их был как

барак: деревянный, длинный. И когда я первый раз пришла к ним, поразила даже: одна большая комната, и стоят скамейки, стол большой во всю комнату и печка русская. Мне, городской, вначале странно все это было видеть».

Должно быть, еще более странно было видеть эту бедность и людскую скученность молодой жене, которую Лев Гумилевский позднее причислил — справедливо, нет ли — к числу женщин, «избалованных мужьями и жизненными удачами», хотя какие уж там были особые жизненные удачи у Андрея Платонова? А писатель Семен Липкин и вовсе назвал ее «злой и холодной».

Так или иначе они могли друг друга невзлюбить — битая жизнью жена воронежского железнодорожника и избалованная в глазах свекрови, да к тому же разлучница — увела сына от матери — петербургская барышня-невестка. Примирить двух Марий в жизни Платонов не сумел, но обеим посвящал свои произведения. Самое известное из обращенных к матери — рассказ «Третий сын». В нем умершую старуху по ее завещанию приходит отпевать священник. Мария Васильевна Климентова действительно была очень религиозна, и, по всей вероятности, именно она настояла на том, чтобы ее внук был крещен. Случилось это на пятую годовщину Великого Октября. Платонов при совершении таинства присутствовал, свидетельством чему служит сохранившаяся запись в приходской книге Вознесенской кладбищенской церкви о крещении «младенца Платона 7 ноября 1922 года (родился 25 сентября) в присутствии родителей: Андрея Платоновича Климентова-Платонова и Марии Александровны». Правда, молодой отец находился к той поре уже за бортом богопротивной партии, из которой

отчасти сам вышел, отчасти был изгнан в конце 1921 года.

Но сначала о другом и очень горестном происшествии в семье Климентовых. «Андрей был старший. Еще братья были — Петр, Сергей и Митя и сестры — Надя и Вера. С Верой я особенно подружилась, — вспоминала Валентина Александровна Трошкина. — Мы были ровесницами, мне было двенадцать в то время, и мы вместе выступали в детском самодеятельном коллективе. Надя и Митя — подростки, очень хорошие, умные были. И вот они однажды поехали в пионерский лагерь. Я тоже должна была с ними ехать, но задержалась: на белье не были сделаны метки. И вдруг через некоторое время, когда я с одним мальчиком должна была поехать, сообщают, что в лагере погибли подростки и учителя, всего 21 человек. И Надя с Митей тоже погибли. Все они отравились грибами, которые там собрали. Так случилась первая трагедия в семье Платоновых...»

«О Наде, о сестре, ведь ее не любили в семье, не любил отец, равнодушна была мать, — вспоминал Платонов позднее в „Записных книжках“, — и общественность, школа, советская власть были для нее все счастье, все — в отличие от враждебной семьи.

Напр.:

„Что-то не слышно твоего голосочка,
Затяни-ка песню, *противная* дочка!“

А „противная“ потом умерла.
Умерла».

Две внезапные детские смерти, ставшие, как очень скоро оказалось, нечаянными предвестниками общенациональной катастрофы, поразили и в каком-то смысле определили душевное состояние молодого

человека, испытавшего почти одновременно счастье любви и ужас утраты. «Вы не знаете, наверное, что такое судороги сердца. Первый раз я узнал это, когда нашел в больничном сарае мертвую сестру. Она лежала вечером на полу. Было тепло и тихо, и я прилег с ней рядом и сказал ей что-то. Она лежала, замолкшая и кроткая, но не мертвая», — писал Платонов Марии Кашинцевой, а в романе «Строители страны» два его героя, Дванов и Гратов, дают клятву на могиле умершего брата Дванова отомстить природе за эту смерть.

Трагедия 1921 года повлияла не только на слова, которые Платонов писал, но и на поступки, которые он совершал. В том числе это коснулось коммунистического сюжета. Драматизм и даже некоторая зловещая его ирония состоят в том, что еще в июле Платонов выступил в воронежской печати с острыми статьями, касающимися членства в РКП(б).

«Что такое коммунисты? Это лучшие люди, передовые борцы человечества. Люди, которые умеют любить больше дальнего человека, чем ближнего. Люди, которые любят себя больше в *будущем* человечества, чем себя в настоящем и, несмотря на их *физическую* зависимость от сегодня, умеют духовно всецело отдать завтра.

И я не представляю себе, чтобы искренний коммунист, человек беспредельного будущего, связь с которым, заметьте, может быть осуществлена только через партию, мог с легким сердцем примириться с исключением из ее рядов, из рядов коллектива, который больше, чем какой-либо другой, носит в себе зачатки коммунистического человечества. <...> Это не коммунист, а *мещанин*, индивидуалист».

Так что же такое должно было произойти, чтобы создатель этих пламенных и искренних строк, подписавшийся Коммунист, вдруг сам вышел из рядов

РКП(б), то есть в системе собственных координат превратился в мещанина-индивидуалиста?

В статье «Коммунист принадлежит будущему» Платонов выдвинул два тезиса: первый — необходимо проводить систематическую чистку в партии, освобождая ее от чистокровных лавочников, «нравственно, морально почаще проверять наших членов, перетряхивать их и перетряхивать решительно», но в то же время — и это второй тезис — «нужно позаботиться о быте коммунистов и сделать все возможное, чтобы не допустить понижения физического и духовного уровня наших товарищей. Это в интересах партии, интересах человечества».

То есть, говоря проще, число коммунистов надо подсократить, а оставшихся подкармливать, чтобы «жизнь не заставила нас думать слишком много о том, что нас в настоящее время в материальном отношении отягчает».

Из всей платоновской публицистики, какие бы сумасшедшие идеи в ней ни провозглашались, эта кажется не самой фантастической, но самой не андрейплатоновской. Впечатление такое, будто ему ее нашептали, либо, увлекшись любовью к дальнему, он просто не отдавал себе отчета в том, к чему призывает. И — получил очень резкое возражение по существу.

Автором реплики оказался хороший знакомый Платонова — журналист Георгий Плетнев, опубликовавший 18 июля в воронежской газете «Огни» статью «О коммунисте», из которой коммунист, то есть Андрей Платонов, мог узнать, что он партийный фанатик, и прочесть следующий горький абзац: «Очень легко быть коммунистом будучи „барином“, не заботясь ни о чем лично-материальном. Таких коммунистов, к сожалению, много и может расплодиться по рецепту автора статьи бесчисленное количество. Groш цена такому коммунисту. Ты голодай вместе со всеми, ходи

оборванным, босым, как и все, болей нуждами всех и будь коммунистом! Только такой коммунизм и можно признать, только такие коммунисты и есть настоящие коммунисты. Коммунист в первую очередь принадлежит скверному, тяжелому сегодня, а уже потом великому, светлому завтра».

Платонов дал ответ три дня спустя, назвав своего оппонента жалким мещанином и в очередной раз пропев «осанну» партии, которая изгоняет тех, кто любит ее недостаточно глубоко, а от вопроса о коммунистических льготах и привилегиях фактически уклонился: «О том, что о коммунистическом быте все-таки нужно позаботиться, несмотря на то, что коммунист Плетнев считает, что коммунисты обязательно должны ходить босыми и голодными, и об аскетизме вообще и Плетневых в частности, я позволю себе высказаться в следующей статье».

Однако в следующих статьях ему пришлось высказываться совсем по другим темам, косвенно признав правоту своего оппонента, ибо стало очевидно, что в стране случилась подлинная трагедия, на фоне которой дискуссия о бегстве или небегстве из партии теряла смысл, и если Платонов и обращался к коммунистам и их быту, то с единственным призывом — отказаться от золота и драгоценных предметов.

«Тяжелое стихийное бедствие свалилось на нашу трудовую республику: миллионы наших братьев — рабочих и крестьян Поволжья, постигнутые неурожаем, переживают кошмарные минуты голода», и это событие заставило его совершенно по-иному взглянуть на роль не только искусства, но и журналистики, и вместе с тем — на свою судьбу.

«Что сейчас делается в Поволжье? Это трудно вообразить днем, когда кругом светло и видим простые, скучные причины хода явлений. <...> какая скука только писать о томящихся миллионах, когда можно

действовать и кормить их. Большое слово не тронет голодного человека, а от вида хлеба он заплачет, как от музыки, от которой уже никогда не заплачет. <...>

Наши песни — наши руки, а не жидкие слова и не веселые театры, где люди гасят безумное бешенство своих сытых кровей».

Отсюда прямой путь из литературы, здесь объяснение, почему Андрей Платонов ушел в гидрофикацию и занялся строительством плотин («Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой», — отмечал он в автобиографии 1924 года), но прежде он успел написать еще несколько яростных статей.

«Есть в душе человека позорная черта: неспособность к долгому пребыванию на высотах страдания и радости... Душа человека — реакционное существо, дезертир кровавого поля жизни, предатель героя — действительности...

Долой сострадание, жалкое кипящее сердце, долой человека, признающего себя дробью и пылинкой, самой по себе!

Человечество — одно дыхание, одно живое, теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все.

Долой человечество-пыль, да здравствует человечество-организм...

Беспощадность, сознание, распыление волжского страдания по всей России, наложение на каждого человека, от Ленина до грузчика, камня голода — пусть каждый несет и не гнется, — вот что надо...

Поволжье — один из станков России-мастерской. Он стал и в буйном крушении рвет наши трансмиссии и контакты. Он должен быть исправлен, чтобы установилось равновесие работы и не полетела к черту вся мастерская.

Будем героями в работе, мысли и борьбе. Будем человечеством, а не человеками в действительности».

Никогда платоновское перо не было таким раскаленным и яростным, никогда в запальчивости своей, в зашкаленности оно не приближалось к тому пределу, за которым наступает бессилие слова и доктор Фауст вносит поправку в Евангелие: «В начале было дело». «Новым Евангелием» назвал одну из своих статей и Платонов, закончив ее обещанием устроить Страшный суд над вселенной, однако отрицаемая автором действительность призывала спуститься с небес на жаждущую воды знойную землю, как уже было в случае с «Чульдиком и Епишкой». И так оказалось, что этот нелепый, абсурдный в глазах большинства читателей рассказ с его вроде бы ничем не мотивированным пожаром, гибелью людей и кладбищем, рассказ-предчувствие, рассказ-катастрофа стал пророческим, а автор от слов перешел к делам, и первым из них стало его освобождение от оков РКП(б), а точнее, от кандидатов в оные.

Утверждать напрямую, что Платонов вышел из партии коммунистов непосредственно по причине разразившегося в стране голода, — значило бы притягивать факты за уши, но несомненно воронежский журналист был электрически сражен в ту пору разностью потенциалов, несоответствием масштабов между трагедией страны и бюрократической повседневностью партийной жизни, с которой он столкнулся и о которую споткнулся во второй половине 1921 года. Следы недовольства Платонова партией, которой он еще в июле пел гимны, можно найти в написанной в августе — сентябре, но не опубликованной до 1999 года от Рождества Христова статье «Всероссийская колымага»:

«На пути к коммунизму Советская власть только этап. Скоро власть перейдет непосредственно к самим

массам, минуя представителей... Мы накануне наступления масс, самих масс, без представителей, без партий, без лозунгов.

Рабочие массы скоро возьмут власть в свои руки без представителей, без учреждений, без исполнительных органов. Масса бесчленна.

Об этом подробно напишу, если советская печать и власть увидит в этом выступлении непосредственно самих масс путь к коммунизму и высшую, следующую форму рабочей диктатуры и не испугается этого мощного взрыва красной энергии».

Советские власть и печать перепугались. Перспектива выступления масс без партий и представителей, а тем более в 1921 году, когда еще свежи были воспоминания о подавленном кронштадтском восстании и о лозунгах «За Советы без коммунистов!», реальная угроза красного взрыва едва ли могла их порадовать, и в глазах Платонова бездействующая партия потеряла былой ореол святости. Но не потому, что она предала революцию. Она предала нечто более существенное — 25 миллионов голодных.

Однако к этим страстным порывам добавились и обстоятельства чисто житейские, окончательно отвратившие кандидата в члены РКП(б) от нее самой.

Летом 1921 года Платонов был зачислен в курсанты губернской советско-партийной школы. Зачислен по личному заявлению, а не по разнарядке, хотя трудно сказать, какие цели он преследовал, поступая на учебу в заведение, также именуемое губернским Рабоче-крестьянским коммунистическим университетом.

В его стенах ему было откровенно скучно, научить его там ничему не могли, то был в чистом виде советский феномен — занудная смесь бессмысленности, тягомотины, а в шестидесяти верстах от университета в деревне жила невеста и занималась настоящим делом

— учительствовала. А еще была работа в газете, где Платонов заведовал отделом, были встречи с крестьянами, которых он призывал учиться орошать землю, и это было настоящее, подлинное, нужное, а то — глупость, чепуха. Живое и мертвое столкнулись друг с другом, и соединить их в своей душе он, умевший соединить, казалось бы, невозможное, не смог. Окажись рядом Литвин-Молотов, все сложилось бы иначе, но Георгия Захаровича в Воронеже уже почти год как не было, и 30 октября 1921 года на заседании комиссии по пересмотру, проверке и очистке личного состава РКП(б) было рассмотрено персональное дело 99 курсантов губсовпартшколы и Андрея Платонова в их числе.

«Платонов А., канд. РКП с 20 г., билет № 33/54, рабочий, курсант. Отзыв ячейки как об отказывающемся посещать партсобрания, говоря, что я все, мол, знаю».

В тот же день в отношении курсанта губсовпартшколы Платонова было принято синтаксически косноязычное решение (как некая нечаянная пародия на будущее косноязычие героев самого виновника торжества): «Тов. Платонова исключить из кандидатов РКП как шаткого и неустойчивого элемента, недисциплинированного члена РКП, манкирующего всякими партийными обязанностями, несмотря на свое развитие, сознательно уклоняется».

Таким образом, в соответствии с этими впервые опубликованными О. Г. Ласунским документами Платонов был из партии исключен. Правда, два с половиной года спустя, вновь попытавшись в нее вступить, бывший коммунист иначе написал об этом инциденте:

«...с конца 1919 г. по конец 1921 (точных дат не помню) я был в партии большевиков, прошел чистку и вышел по своему заявлению, не поладив с ячейкой (вернее, с секретарем ее). В заявлении я указывал, что

не считаю себя выбывшим из партии и не перестаю быть марксистом и коммунистом, только не считаю нужным исполнять обязанности посещения собраний, где плохо комментируются статьи „Правды“, ибо я сам их понимаю лучше, считаю более нужной работу по действительному строительству элементов социализма, в виде электрификации, по организации новых форм общежития, собрания же нужно превратить в искреннее, постоянное, рабочее и человеческое, общение людей, исповедующих один и тот же взгляд на жизнь, борьбу и работу.

Я считаю, что такой поступок мой был отрицательным, я личное счел обязательным для всех, я теперь раскаиваюсь в этом ребяческом шаге и не хочу его ни преуменьшать, ни замалчивать. Я ошибся, но больше ошибаться не буду».

Вопрос, кто кого исключил, Платонов партию или она его, остается открытым, но примечательно, что карьере мелиоратора, журналиста и литератора факт выбывания из РКП(б) в дальнейшем не помешал, как не помешало и то, что в декабре 1921-го последовало отчисление курсанта Платонова из губернского Рабоче-крестьянского коммунистического университета, который он, правда, уже давно забросил.

У Андрея Платонова началась совершенно иная жизнь. Но прежде — еще об одном сюжете и еще одном документе, не так давно введенном в научный оборот воронежским исследователем Олегом Алейниковым.

Рождественским сочельником 1922 года в задонской газете «Свободный пахарь» за подписью Андрея Платонова была опубликована статья «Коммунизм и сердце человека», при чтении которой даже у привыкшего к платоновской запальчивости читателя может екнуть сердце:

«Для осуществления коммунизма необходимо полное, поголовное истребление живой базы

капитализма — буржуазии как суммы живых личностей. Скажут — это крайность, кровожадность, слепое бешенство, а не путь к коммунизму. Нет — честный вывод точного анализа переходной эпохи и истории капитализма и пролетариата. Сердце, чувство всегда мешали человеку познать жизнь. <...>

Мы еще не научились у природы ее беспощадности... <...> Свирепости, жестокости, жертве всем ради единой цели мы должны научиться. Всякое мягкосердие, небесность чувств, прощение мы должны из себя выжечь. Ибо мы имеем дело с неведомой невероятной по жестокости и неумолимости действительностью, ее хотим изменить, а не свое головное понятие.

Если мы хотим коммунизма, то значит нужно истребить буржуазию; истребить не идеологически, а телесно, и не прощать ее, если бы она даже умоляла о прощении и сдавалась группами. Она все равно невольно нам враг — хочет она этого или не хочет. <...>

Буржуазию легче и разумнее уничтожить, чем переделать, она, при всем желании, не может ни помочь нашей работе в перестройке человечества, ни понять ее, а только мешать. <...> Пролетарий не должен бояться стать убийцей и преступником и должен обрести в себе силу к этому. Без зла и преступления ни к чему в мире не дойдешь и умножишь зло, если сам не решишься сделать зло разом за всех и этим кончить его».

Едва ли эти строки, напечатанные «в порядке дискуссии» и вызвавшие неделю спустя ответ некоего подписавшегося МАКом и, судя по всему, близко знакомого с Платоновым оппонента — «Этот непродуманный труд создал в моем воображении тип человека без сердца. Его сухая высокая фигура, поношенное, неопределенной моды платье, нависшие брови, узкий высокий лоб, испещренный морщинами,

сверкающие из-под нависших бровей глаза привели меня в смущение. За пазухой у него хранится какой-то шаровидный предмет. Мысли мои остановились, глаза впились в непрошеного незнакомца. „Вы звали меня“, — обратился он. В недоумении, я едва успел раскрыть рот и произнести протяжное „я“, когда он перебил — „перед Вами стоит человек, который вместо сердца имеет за пазухой камень... Пусть избегает меня толпа, не разделяющая моих взглядов. Она не способна воспринять новую идею — ее необходимо истребить“. Вот герой Андрея Платонова, с его тенденцией и идеологией. <...> Сколько же миллионов людей, т. Платонов, по вашему расчету нужно подвергнуть избиению?» — писал сей МАК в статье «Человек без сердца» 15 января 1922 года — нуждаются в смягчающих комментариях. И вряд ли объясняются лишь тем, что автор «Коммунизма...» не принял новой экономической политики или же вел завьюженными ночами теоретические споры с юной невестой о будущем человечества.

Очевидно, здесь слишком многое, и личное, и общее, сплелось, отозвавшись позднее в двух сценах чевенгурских казней, да и во всей идеологии романа, посвященного сшибке военного коммунизма и нэпа. Но для платоновской биографии важнее то обстоятельство, что написанная выгнанным из партии кандидатом статья о необходимости поголовного истребления буржуазии и опустошения собственного сердца от жалости и милосердия как обязательного условия построения коммунизма на земле совпала с его переходом на работу в ЧК. Только не в ту ЧК, что расстреливала «несчастных по темницам», а в Чрезвычайную комиссию по борьбе с засухой.

Глава четвертая ПОПЫТКА БЕГСТВА

Уход Платонова из литературы и журналистики в мелиорацию был меньше всего эффективным литературным жестом или продуманным тактическим ходом делающего себе биографию пролетарского писателя. Это был поступок, это был протест, это была, если угодно, жертва, особенно значимая потому, что публицист, поэт, прозаик Андрей Платонов был в Воронеже звездой первой величины и ему было что терять и от чего отказываться. В конце января 1921 года он был вновь делегирован в Москву на Второй Всероссийский съезд работников печати, но, как справедливо заметила московская исследовательница Елена Викторовна Антонова, «это второе из известных нам посещений Москвы для Андрея Платонова имело и другую, думается, более важную цель. Сохранилось удостоверение, выданное ему в январе 1922 года: „Выдано сие Губэкономсовещанием Воронежского Губисполкома председателю Чрезвычайной комиссии по борьбе с засухой т. Платонову Андрею Платоновичу в том, что он действительно командировается в Наркомзем для получения инструкций и специальной литературы по общим вопросам развития сельского хозяйства и по борьбе с засухой“».

Пятого февраля 1922 года Андрей Платонов поступил на работу в Губернское земельное управление в качестве председателя комиссии по гидрофикации. Планы у него были грандиозны, особенно после того, как в конце 1921 года по его инициативе была создана, а точнее, пока еще только задумана организация под названием Земчека — «губернский боевой штаб сельскохозяйственного фронта, созданный против расплывавшихся смертельно опасных стихий, грозящих

сплошным истреблением русского народа и революции», «кулак, штык и машина человека-революционера против природы». Автор тех пламенных строк предполагал, что деятельности учреждения будут помогать, а при необходимости подчиняться местные органы советской власти. Однако ничего из его затеи не вышло, и две недели спустя после своего назначения, когда «черный реввоенсовет» был превращен в прозаический и фактически бессильный Энергзем (губернскую сельскохозяйственную энергетическую комиссию), Платонов с горечью признал, что тяжелую артиллерию на войне с врагом заменил простой кастет, и причина тому «обычное безденежье, организационная слякоть и то бюрократическое кольцо, которое не минует никого».

Позднее именно по этому кольцу будет бить Платонов и в «Городе Градове», и в «Усомнившемся Макаре», но бить так резко, что удары обернутся против него самого. А пока что в первой половине 1920-х, несмотря на заведомое численное превосходство противника, руки у председателя не опустились и практическая деятельность продолжилась в тех обстоятельствах, которые были ему даны. Пятнадцатым марта 1922 года датируется постановление Воронежского Губземотдела о назначении т. Платонова политическим руководителем отделения с.-х. мелиорацией. Правда, в подчинении у новоиспеченного политрука было всего четыре человека, которым не из чего было даже платить, и в докладной записке председателю губернской комиссии по гидрофикации, своему хорошему знакомому А. Г. Божко, Платонов писал: «Мне громадного искусства стоит удержать сотрудников, которые работают только из сознания так сказать „святости“ работ».

В бюрократических согласованиях и перетрясках прошел весь 1922 год, контора меняла название и в

марте 1923-го была переведена на самоокупаемость и хозрасчет, что начало приносить ощутимые результаты — строительство мельниц, запруд, электростанций.

В течение 1922-1926 годов достижения шли по нарастающей, хотя и не всегда ровно. Платонов много строил, ездил по губернии, встречался с разными людьми, убеждал, не убеждал, добивался своего, не добивался, проектировал, устраивал опытные огороды, прочищал реки, строил шахтные колодцы, проводил изыскательские работы и эксперименты, чистил и зарыблял пруды, подбирал кадры, закупал оборудование, показывал деревенским жителям кино, давал объявления в газетах, составлял документы, писал отчеты и конфиденциальные циркуляры, поражающие то своей задушевностью и какими-то чеховскими, в духе «Дяди Вани», интонациями («Я понимаю, что технический персонал переутомлен, что условия работ нелегки и пр. Но надо помнить, что отдых недалек... Придет время — мы отдохнем»), а то, напротив, устрашающие напором и требовательностью с примерами из Салтыкова-Щедрина («Темп работ за последние недели упал необычайно низко <...> Нам безвольные трусы и пошехонцы не нужны. Нам требуется энергия, знание и бесстрашие, прокорректированное знанием. Воля, распорядительность, железная организация, четкое и точное выполнение приказов Москвы и ГЗУ нами будут оценены в высшую цену. Бесхарактерность, блуждание в трех соснах, лодырничество и нераспорядительность будут квалифицированы как политические преступления»).

Он страдал от безденежья, жалуясь Литвину-Молотову на тяготы жизни, избирался в вышестоящие органы, ездил сначала в пролетке на жеребце, а потом получил в награду за труды старенький «форд», который сам водил, и все эти сюжеты прямо или

косвенно отражались в литературной судьбе автора — в этом своеобразном советском житнетворчестве-житнестроительстве, каковое и не снилось мэтрам житнетворчества — символистам, преимущественно занимавшимся уводом друг у друга женщин, стрельбой на дуэлях и отражением неудачных покушений, а потом сочинением на эти темы романов и стихов. Здесь же было дело практическое: сначала построить электростанцию, завоевав мужицкие умы и преодолев советские преграды, увидеть, что «свет упал в темную залу, как ливень», год спустя «родину электричества» потерять в результате злодейского кулацкого поджога, а потом написать о сих многих и интересных вещах-происшествиях рассказ и подраться из-за него в кровь с дурой-критикой — вот счастье, вот права!

Эта деятельность казалась на первый взгляд далекой от литературы, но в действительности кратчайшим и самым экономным путем к ней вела. Очень многое из впоследствии Платоновым написанного могло бы быть охарактеризовано как «Записки юного мелиоратора», хотя нетрудно представить, сколь трудно было ему, идеалисту, мечтателю, утописту, грезившему о преобразовании земшара и покорении космоса, заниматься мелкими, по сравнению с этим громадьем, обыденными, крестьянскими делами. И тот факт, что Платонов в течение четырех с лишним лет эту работу не оставлял, есть свидетельство стойкости, мужества и терпеливости его характера. Искренний интерес к практическим делам отвечал самым сокровенным проявлением его натуры.

Недаром жившая все это время в одной квартире с Платоновыми Валентина Александровна Трошкина позднее вспоминала: «Андрей страшно беспокоился за землю. Он ее воспринимал как живую. Очень любил землю. Помню, как он беспокоился, что земля у нас

высохнет. Мне кажется, что и мелиорацией он стал заниматься именно из-за этого. И электрификацией тоже. Хотел, чтобы люди скорее стали жить лучше, ведь кругом разруха была. У нашего дома с большими подвалами стояли старинные сараи, и Андрей с папой стали устраивать в одном из них мельницу, потому что мельница была далеко и люди мучились: негде было молоть муку. Андрей делал все основные колеса и еще что надо, отец ему помогал. Работали дотемна. И вот в этом сарае, в самом центре Воронежа, они сделали мельницу. Написали объявление, что они даром мелют муку. Думали, наверное, что вот-вот коммунизм придет и все без денег будет. В первый же день Бог знает что делалось: понаехала к нам со всех сторон, со всех деревень тьма-тьмущая народу. Но, кажется, всем смололи. А на второй, третий день стали уже выдыхаться, и через несколько дней все дело заглохло: видно, порошу не хватило и денег. Прогорели, в общем...»

Платонов и вправду торопил пришествие нового времени, он был готов душу за него положить и последние деньги вложить, но при этом рядом с утопическими идеями и безрассудными поступками молодого мелиоратора уживались вещи и дела практические. Так, о необходимости создавать капитал, сделав нэп пролетарским орудием, политический руководитель отделения сельхозмелиорации заговорил уже в опубликованной в апреле 1922 года статье «На фронте зноя», где от революционного пафоса 1920-1921 годов осталось одно название. Даже концовка этой «боевой сводки», вопреки привычке автора заканчивать свои мирные либо немирные статьи пламенными призывами или метафизическими умозаключениями, оказалась суха и деловита — доклады, проекты, сметы, отчеты. Если вспомнить, что летом 1921 года во «Всероссийской колымаге»

Платонов фактически отрицал возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране и призывал к мировой революции («А чем дальше мировая революция, тем ниже качество русской революции. И каждый день отсрочки пролетарского восстания есть понижение на градус революционной температуры русского пролетариата...»), если не забывать того, что многие революционеры не смогли пережить нэп вплоть до того, что кончали жизнь самоубийством, то напрашивается естественный вывод о том, что Андрей Платонов, сколь ни был он горяч, к числу несчастных безумцев не принадлежал, и это косвенно корректирует версию Семена Липкина: «Платонов говорил о своем выходе из партии так: был не согласен с нэпом — предательство, мол, революции».

Спору нет, и такое могло быть сказано, и так могло казаться, так расценивал свою «смешную» юность Платонов годы спустя, но все же воронежский губмелиоратор при всей своей несомненной детско-юношеской левизне в коммунизме был изначально человеком очень широким, при отрицании действительности — реалистом в высшем смысле слова и многое вмещал в обширной эпохе, что тоже впоследствии отразилось в «Чевенгуре», где среди прочего изображен драматический переход от Гражданской войны к миру. Только вот нормализованная большевиками эпоха плохо вмещала его в себя, отталкивая от центра на периферию, превращая в своеобразного коммунистического маргинала и подготавливая почву для будущих конфликтов.

Разумеется, нельзя сказать, что начиная с 1922 года Платонов полностью сменил риторику и отказался от революционных идей, как было бы неверно утверждать, что, встав на путь практического земледелия, он полностью отказался от литературы, дела праздного и

ненужного. Из заполненной им в 1926 году анкеты известно, что в 1922–1923 годах Платонов заведовал научно-техническим и крестьянским отделом в «Воронежской коммуне» и «Нашей газете». Год 1922-й оказался для него тем счастливей, что летом в южном городе Краснодаре, куда перевели служить Литвина-Молотова, при беспримерном содействии платоновского литературного опекуна — «У меня не было ни клочка бумаги, ни копейки денег... я „высосал“ бумагу для издания стихов не скоро (а ведь нужно было бумагу хорошую, а не газетную, чтобы издать получше)...» — писал Литвин-Молотов Платонову в июне 1922 года, — с полнейшим уважением к воле молодого автора («Ни одного стиха я не выбросил. Не изменил ни одного слова...») вышла книга платоновских стихов «Голубая глубина» тиражом в 800 экземпляров. Книга состояла из трех разделов, первый включал в себя немногочисленные революционные стихи, а второй и третий — «тихую» лирику, и, что очень ценно и для жизнеописания Платонова важно, в этой книге была помещена автобиография, специально по просьбе издателя написанная, а также «Ответ редакции „Трудовой армии“ по поводу моего рассказа „Чульдик и Епишка“». «Ответ» здесь был в общем-то ни к селу ни к городу, но понятно, зачем Литвин-Молотов его поместил — чтобы усилить пролетарскую, городскую составляющую сборника, в котором явно ощущался перекося в сторону деревни, и в этом смысле текст был как раз к городу, а не к селу.

«Платонов — плоть от плоти и кровь от крови не только своего слесаря-отца, но и вообще русского рабочего, — писал Литвин-Молотов во вступительной статье к „Голубой глубине“. — У него — как и у этого молодого гиганта, познавшего коллектив, машину, производство, но еще не порвавшего с деревней, не освободившегося от „тяги к земле“, — два перепева:

фабричного гудка, потной работы, мускульной отваги, коллективного творчества, мощи Нового Города, с одной стороны, и поля, степи, голубой глубины, ржаных колосьев, „Мани с Усмани“ и большой дороги со странником Фомой — с другой. Эти два главных мотива резко разграничивают поэзию Платонова.

Двойственность эта в нем, как и в русском рабочем вообще, не случайная, а историческая: Новый Город, фабрика еще не всецело завладели им, и тоска по деревне, от которой давным-давно были оторваны его предки, — эта тоска отцовская, наследственная».

Нетрудно увидеть в этих словах полемику с платоновской идеей родимого пятна, всеобщей связи сущностей и явлений, которая проходит через всю «Голубую глубину» («Между лопухом, побирушкой, полевой песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим землю, — есть связь, родство, на тех и других одно родимое пятно. Какое — не знаю до сих пор...» — писал он в автобиографии к сборнику) и которую Платонов воплотил в собственной жизни, когда горожанин, рабочий, он осознанно посвятил несколько лет жизни деревне. Главное, книга вышла, поступила в продажу и дошла до родного города автора, спровоцировав отклик в «Воронежской коммуне»: «Нашему отделению Госиздата не следовало бы зевать. Поистине: не славен пророк в своем отечестве».

А пророк, у которого вместе с выходом книги случилось еще одно событие — в сентябре родился сын, работал мелиоратором и продолжал писать. Но теперь больше прозу, чем стихи. В 1922 году были опубликованы рассказы «Сатана мысли», «Приключения Баклажанова», «Данилок» и, наконец, 7 ноября — в день, когда крестили полуторамесячного Тошу Платонова — рассказ «Потомки солнца», частично перекликающийся с идеями и образами «Жажды нищего» — далекое посткоммунистическое будущее,

победа над любовью, ибо «любовь ведет к падению, и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижей», победа над вселенной, когда люди сначала превращают «липкую и страстную, чувственную, обваливающуюся» Землю в обитель поющих машин, а потом и вовсе покидают ее для того, чтобы жить на других звездах. Но было здесь и одно благоприятное отличие от новогодней утопии 1921 года: теперь женщины не уничтожались, а, напротив, освобождались и уравнивались с мужчинами и даже их превосходили («У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего в ней нет от так называвшейся женщины — мягкого, бесформенного существа»), ибо достигнуто целомудрие, выразившееся в том, что мужское семя делало не детей, а мозг. Как это происходило практически, правда, пока было не вполне понятно (понятно станет в «Антисексусе»), но суть не в деталях, а в идее. А идея заключалась не только в будущем. Фантастика в конечном итоге пишется не для того, чтобы угадать, сольется человечество в один сверкающий металлокусочек или не сольется, фантастика — попытка взглянуть на настоящее как на прошлое, увидеть его с высоты условно прошедших веков и тем самым лучше понять.

Платонов эту цель преследовал наверняка, вложив в уста человека будущего следующую сентенцию: «Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века: как они были сердечны, сентиментальны, литературны и невежественны... Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь — ни одного поэта, ни одного любовника и ни одного непонимающего — в этом величие нашей эпохи».

Тут немалая порция иронии и самоиронии, и очевидно — подразумеваемый конкретный адресат. Автор обращался не просто к читателям «Воронежской коммуны» и уж тем более не к товарищам-потомкам, он

не был также и тем одиночкой, человеком из литературного подполья, кому совершенно не важно, как будет встречено и оценено им написанное. Его жизнь проходила и его произведения создавались в определенном окружении, в обществе, в литературной среде, и, можно предположить, что, пища, он имел в виду и своих ближайших друзей — молодых, жизнерадостных, охочих до обычных земных удовольствий поэтов, журналистов, прозаиков, которые не могли не подтрунивать над его чересчур оригинальными и сумасбродными идеями.

В марте — апреле 1923 года в очень недолго просуществовавшей воронежской газете «Репейник» под псевдонимом Иоганн Пупков была начата публикация рассказа, повести, романа «Немые тайны морских глубин». Героями этого сочинения стали два молодых человека Индиан Чепцов и Жорж, совершающие путешествие на моторной лодке из Воронежа в Турцию и попадающие в весьма благолепную страну, на пороге которой их встречает человек, чье «обличье и рост вещали о питании одной мыслью, и спрятанные в черепе глаза как бы говорили: буржуй, сволочь, укороти свои безмерные потребности, жри пищу не для вкуса, но для здоровья, закупорь свои семенные каналы, не спускай силу зря, гони ее в мозг и в руки».

Образ явно платоновский, не в том смысле, что под этим человеком автор подразумевал самого себя, но здесь были сказаны сниженным языком слова, что на более торжественном наречии произносились в «Культуре пролетариата», «Достоевском», «Невозможном» и пр. И все же это — мысли длинного и сурового человека, похожего скорее на отшельника-обличи-теля, восходящего к образу Иоанна Крестителя, чем на большевика, и не случайно уже в следующем абзаце автор перешел на семинарский высокопарный

кликушеский слог, за который его громили московские рецензенты: «Лодка проплыла мимо, но все стоял сухостоем длинный и суровый человек, как бы предупреждая и грозя и как бы напутствуя: не ходи в сей город, смежи очи от его благолепия: там во дворцах устроены стойла, где сытые самки раскорячились в ожидании твоего оплодотворения, дабы затмить твое святое сознание и опустошить твою борющуюся душу».

А буквально на следующей странице обратился к своим героям обычными, доходчивыми словами, и в этом стилевом многообразии сказалась характерная платоновская черта:

«Боже мой, люди, давайте жить по-иному и ополчимся на мир и на самих себя. Полюбим женщин жарко и на вечность, но не будем спать с ними, а будем биться вместе с ними с ревущей катастрофой, именуемой миром.

Жоржик и ты, Чепцов Индиан, вы же странники и воители, вы шахтеры вселенной, а не то, что вы есть. Жорж, брось пожирать колбасу и масло, перейди на кашу, ты же лучший из многих, дорогой друг мой...»

Фамилия Жоржа — платоновского незадачливого соперника в делах сердечных, а затем и кума, он стал крестным отцом маленького Платоши в пятую годовщину Великого Октября — была Малюченко, и вот вопрос, хохотал или был обижен рыжий Жорж, вечно влюбленный знаменитый фокусник и престиджитатор, читая, помимо дружеского обращения, и такой фрагмент платоновского текста: «Наконец Жорж и Чепцов узрели самую культуру страны: афишу, в коей было обозначено, что гражданин Мамученко прочтет доклад о браке, совокуплении и любви <...> Народу привалило тыщи великие. За самое чувствительное место ухватил Мамученко людей — за их яичники».

Не меньше иронии было и в «Рассказе о многих интересных вещах», написанном в соавторстве с

Михаилом Бахметьевым, хотя, судя по тексту, вклад последнего в это произведение был не столь значительным — слишком много здесь чисто платоновских образов, мотивов, сюжетных поворотов и ходов. Снова возникают подступы к «Чевенгуру»: странничество, утопический город, новая большевицкая нация, в которую собирается босота, мысли о новом человечестве, образ Каспийской Невесты, которая не вовремя родилась, и автор вместе с главным героем, предводителем новой нации Иваном Копчиковым выбрасывает ее из повествования примерно с той же жалостью и решительностью, с какой бросал за борт челна заморскую княжну народный предводитель иных времен («Прощай, Каспийская Невеста!.. Не вовремя ты родилась»), снова все неустроенно, хаотично, и герои стремятся этот хаос одолеть и устроить новую жизнь, и снова вещь не закончена — Платонову как будто было не до литературы. Или что-то в ней глубоко не устраивало. В ней ли самой, в его ли литературном окружении, но очевидно, что за истекшие год-полтора, которые отдалили его от воронежской литературной среды, он переменял свое к ней отношение.

В июне 1923 года, получив приглашение от Георгия Малюченко принять участие в новом журнале, Платонов ответил публично в «Воронежской коммуне» с категоричностью, на первый взгляд превосходящей необходимую степень личной обороны: «В Воронеже некоторые из бывших моих товарищей (Цейдлер и Малюченко) собираются издавать журнал, куда я зачислен без моего ведома ответственным работником. Мне сейчас такими пустяками заниматься некогда, и я работать в этом журнале не буду и не собирался».

Он занимался другим, более насущным — мелиорацией, но дело было не только в ней. Осенью 1923 года на экземпляре сборника «Голубая глубина»,

который Платонов подарил В. Б. Келлеру, автором была сделана следующая надпись:

«Я думаю всегда об одном и том же. Вы тоже об одном думаете и одним живете. Нас сблизило и сроднило лучше и выше любви общее нам чувство: ощущение жизни как опасности, тревоги, катастрофы и страсти разметать ее как таковую.

Человек призван закончить мир, найти место всему и дойти и довести с собою все, что видимо и что скрыто, не до блаженства, а до чего-то, что я предвижу и не могу высказать.

Я клянусь вам, что я буду делать это дело, как бы велико, темно и безнадежно оно ни было.

Я никому этого не говорил и не скажу Вам говорю, потому что вы были мне другом ближе, чем для вас дружба во плоти».

В то время как жизнь после потрясений революции, Гражданской войны и катастрофического голода начала мало-помалу возвращаться к своему обыденному течению и большинство людей, Платонова окружавших, к новому положению дел приспособились, вкушая колбасу и масло, сам он в отличие от современников не был обманут, введен в соблазн видимым успокоением житейского моря, и ощущение жизни как тревоги, жизни как катастрофы или постоянного ее предчувствия его не покидало. Платоновский мир вообще чреват катаклизмами. Если проводить параллели с физическими приборами, то Платонов был сейсмографом (другие писатели — термометрами, барометрами, тахометрами, спидометрами, флюгерами).

Он был зорче и проницательнее многих из своих собратьев, он по-прежнему требовал от себя и от других сверхусилий и настаивал на том, что будет стремиться исполнить предназначенное человеку. В этом последовательном эсхатологизме Платонова

воплотился многовековой русский религиозный опыт, но через пять-шесть лет после свершения революции у «шахтера вселенной» почти не осталось единомышленников. С революцией и революционерами случилось то, о чем насмешливо писал в те годы в дневнике Пришвин: «Балерины, актрисы и машинистки разложили революцию. Революционерам-большевикам, как женщинам бальзаковского возраста, вдруг жить захотелось! И все очень понятно и простительно, только смешно, когда сравнишь, чего хотел большевик и чем удовлетворился». Да и Платонов еще в фельетоне «Душа человека — неприличное животное», написанном летом 1921 года, обозначил новый тип «официального революционера, бритого и даже слегка напудренного. Так, чуть-чуть, чтобы нос не блестел». Только смешное и простительное в глазах Пришвина было совсем не смешным в сердце его серьезного собрата, и именно отсюда брало начало то великое одиночество, которое стало литературным окружением Андрея Платонова. А сам он констатировал несколько лет спустя в письме жене: «Мои идеалы однообразны и постоянны».

Однако давалось это постоянство нелегко. Достаточно сравнить две фотографии: знаменитый портрет с буйной шевелюрой и с серьезным, сосредоточенным, хотя и несколько печальным взглядом уверенного, можно сказать успешного молодого человека, красавца, поэта, революционера (его подарил Платонов своей юной невесте) 1922 года, и — недатированное, но, вероятно, относящееся к 1925–1926 годам фото Платонова-мелиоратора за рулем автомобиля в окружении своих сотрудников. У них обычные, открытые лица, его лицо — особенно по контрасту с другими — поражает неземной пронзительностью, остротой, угловатостью. «Я тело износил на горестных дорогах», — очень точно написал он в стихотворении той поры.

Вместе с тем неприятие современности по причине ее расслабленности, стремления к комфорту, к сытости не означало прекращения диалога с нею. Платонов вглядывался в эпоху, над ней размышлял и следил за тем, что делается в литературе. В 1923 году, бывая в Москве по практическим делам, губернский мелиоратор заходил в литературные объединения столицы, где давно уже был хорошо знаком с редакцией журнала «Кузница» (в марте 1921-го там был напечатан рассказ «Маркун»); во второй половине 1923 года состоялось знакомство Платонова с Александром Константиновичем Воронским, в ноябре в журнале «Печать и революция» вышла рецензия Брюсова на сборник «Голубая глубина» («А. Платонов пишет старыми ритмами... чувствуется у А. Платонова и явное влияние поэтов, которых он читал, даже прямые подражания им. При всем том у него — богатая фантазия, смелый язык и свой подход к темам. В своей первой книге А. Платонов — настоящий поэт, еще неопытный, еще неумелый, но уже своеобразный»), а в январе 1924 года уже сам Платонов опубликовал в журнале «Октябрь мысли» несколько рецензий на текущую периодику, содержащих резкие по форме и левацкие по существу оценки творчества Алексея Толстого, Николая Никитина, Владислава Ходасевича, Андрея Белого, Виктора Шкловского, и именно отсюда берет начало Платонов литературный критик.

В середине 1924 года он послал на конкурс в журнал «Красная нива» рассказ «Бучило», и это произведение вошло в десятку лучших при условиях очень жесткой конкуренции (всего поступило свыше тысячи рукописей). «Бучило» стал фактически первым из платоновских рассказов, оцененных серьезными литераторами (членами жюри были А. Луначарский, Ив. Касаткин, В. Переверзев, В. Правдухин и А. Серафимович). Рассказ, объединивший образы и

мотивы прежних платоновских вещей, рассказ-жизнь, в котором судьба главного героя Евдокима Абабуренко, по-уличному Баклажанова, претерпевает поразительные метаморфозы. В детстве крестьянский ребенок, которому с трудом дается грамотность, в молодости — солдат царской армии, в революцию — комиссар, но об этом, казалось бы, ударном эпизоде биографии — вскользь, хотя и очень лирично («Как великое странствие и осуществление сокровенной души в мире осталась у него революция»), а главное в «Бучиле» — судьба человека после революции, его неприкаянность, сиротство. И хотя в тексте говорится о том, что большевик Абабуренко — оратор и мудрец, «измышляющий благо роду человеческому», человек веский и внушительная личность, рассудительно оглядывающая жизнь и находящая одну благовидность — всё это почти не раскрыто и кажется призрачным, а реальность совсем в другом. Ветеран Гражданской живет бобылем, работает сторожем, скучает, ест картошку с сахарином, зарастая по причине водобоязни вшами и научившись выть волком, так что волки сами приходят к его землянке, и однажды умирает. Вот и вся жизнь, вся странная платоновская агиография.

Была революция, не была — не в том суть. А в том, что «жизнь прошла — как ветер прошумел» — и остается одинокий, никому не нужный старик, которого никто не вспомнит, но жалко его автору до слез, и эту любовь он стремится донести до читателя. Однако «диким, дуроватым, утробным» человеком в «сумрачном миреке платоновских людей» назовет в 1929 году Бучилу литературная девушка В. Стрельникова и не разглядит платоновского «настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда».

«Бучило» стал первой литературной победой молодого писателя, но по причудливым законам платоновской судьбы так получилось, что именно с

выходом рассказа в «Красной ниве» в конце октября 1924 года Платонов еще резче разошелся с литературной жизнью. В этом не было сознательного жеста — так складывались обстоятельства, и не всегда по его воле.

В апреле 1924 года губернский мелиоратор направил по своему обыкновению резкое, напористое письмо в «Кубано-черноморское партийно-кооперативное издательство». Из письма следовало, что коммунистам-кооператорам были давно посланы его произведения и предлагалось их издать, однако ответа автор не получил, «...если они будут напечатаны, то печатайте, но только не несколько лет и берите в отношении меня все обязательства, т. е. платите за работу деньги, потому что я без работы. Если не будете печатать, то пришлите все обратно, и мы останемся друзьями... Считаю такое положение оскорблением и недостойным ни себя, ни Из-ва, оставляя в стороне Г. З. Литвина-Молотова, объясняя такое молчание чрезвычайными неизвестными мне обстоятельствами, прошу срочного исчерпывающего ответа на все мои письма, ранее посланные, иначе я обращаюсь в центральную прессу и суд».

Упоминание безработицы встречается и в более мягком письме к самому Литвину-Молотову, отправленном два с половиной месяца спустя: «Несколько раз (в двух, кажется, письмах) я предлагал Вам свой труд, находясь обремененным нуждой и полубезработицей. <...> Я повторяю содержание прежних писем и говорю Вам: не сможете ли Вы предложить мне постоянную службу или литературную работу в издательстве, т. к. меня работать в литературе тянет, а в Воронеже работать мне негде (нет ни одного издательства, кроме газеты) и я работаю сейчас кое-что, а не литературу. Напишите мне — есть ли у вас работа или нет и пр.».

Литературной работы, судя по всему, не было, книги не издавались, и Платонов все глубже уходил в практические дела, как бы тяжело ему ни приходилось и как ни тянуло обратно в литературу. Однако тут не было бы счастья, да несчастье помогло: открывшиеся по распоряжению правительства общественно-мелиоративные работы в пострадавшей от засухи Воронежской губернии и выделенные государством средства («Центр ассигновал на мелиоративные работы 1924/5 гг. 1 118 800 рублей», — сообщал Платонов 12 августа 1924 года в циркуляре, разосланном по уездным земельным отделам) улучшили ситуацию. Фронт работ был открыт, и вот уже 23 августа присланный из Москвы ревизор А. Прозоров докладывал в столицу о «блестящей организационной работе зав. Мелио частью Платонова», а 10 октября признал, что «общественные работы Воронежской губернии Центром отмечены как лучшие по всему СССР». Платонов призывал подчиненных к социалистическому соревнованию: «На Вас смотрит Правительство страны. Давайте ни за что не допустим позора и бессилия, ни за что не дадим обогнать себя ни одной губернии, а обгоним любую из них. Итак, вперед — к напряжению и работе, к чести, не к позору», а Прозорову писал об одном из своих сотрудников: «Райгидротехник от тележной тряски, недосыпания, недоедания, вечного напряжения стал ползать, перестал раздеваться вечером и одеваться утром, а также мыться. Говорит, зимой сделаю все сразу. Надо беречь штат. Надо принять реальные меры. Мы платим ведь очень мало, если судить по работе».

В том же году Платонов попытался вернуться на еще одну некогда покинутую им территорию: вновь вступить в РКП(б), и его новое заявление существенно отличалось от написанного тремя с половиной годами ранее. Объяснив причины выхода из РКП(б) в 1921 году,

Платонов написал о своей практической работе и просил рассматривать себя не как «интеллигента, припаянного к письменному столу», а как «теоретически образованного рабочего», хотя и заканчивал с неизбежной, но, быть может, вынужденной патетичностью (в 1920-м, понятное дело, никакой вынужденности в пафосе не было): «Еще раз в заключение прошу на меня посмотреть по существу, а не формально, ибо вне Партии я уже жить не могу, вне Партии теряется уже основной смысл жизни и главная к ней привязанность».

На него по существу и посмотрели. Отказали. Не сразу, правда, а два года спустя, но отказали, выдвинув в качестве причины как раз то, что он в себе упорно отрицал, — принадлежность к интеллигенции: «Воздержаться от приема в партию т. Платонова... <...> как интеллигент^[6] недостаточно политически подготовлен».

Это решение было принято 4 марта 1926 года, и о причинах неприязни к Платонову в воронежских партийных кругах можно только гадать. Возможно, они были связаны с его чрезмерной активностью и заметностью в губернском масштабе, но поскольку бюро комячейки при Губзо т. Платонова горячо (девять «за», при одном воздержавшемся) поддерживало и он ожидал положительного решения вышестоящих инстанций, то уже считал себя коммунистом. Именно таковым Платонов предстал в письмах и прозе Виктора Шкловского, встретившегося с губернским мелиоратором летом 1925 года — сюжет, мимо которого пройти невозможно, особенно если учесть, что к той поре двое писателей — сделавший себе имя в литературе 32-летний Шкловский, за спиной у которого была Гражданская война, эмиграция и возвращение в СССР, и 26-летний Платонов с другим, но не менее

глубоким жизненным опытом, — были заочно знакомы по крайней мере односторонне.

В январе 1924-го, обозревая журнал «ЛЕФ», Платонов отозвался о писаниях создателя «гамбургского счета» в литературе взыскательно и сурово: «Статья Шкловского („Техника романа тайн“. — А. В.) в четвертом номере. Зачем она напечатана — непонятно. Что Лефу до техники романа тайн и какое отношение имеет она к производственному искусству — аллах ведает. <...> Почему это — мы накануне оживления романа тайн, и причем здесь все Белые и других цветов покойнички — Шкловский не объясняет. А без доказательств — такое „положение“ весьма... сомнительно. В общем же статья беспартийна... до скуки».

И вот теперь автор и его герой встретились и провели вместе день или несколько, разъезжая на тряской платоновской колымаге по разбитым дорогам Воронежской губернии, о чем прочитала в газете «Правда» вся Советская страна: «...за одну поездку по воронежским дорогам с губернским мелиоратором Платоновым автомобиль потерял: одну рессору, один поршень (доехал на трех), несколько камер и, — увы! — это не всем понятно, он потерял компрессию».

Шкловский оказался в Воронеже в качестве корреспондента центральной газеты, путешествующего на агитсамолете «Лицом к деревне».

«Город здесь полуюжный. Нищих как в Москве, — писал он жене. — А вообще я очень изменился. Мне не хочется смеяться.

Познакомился с очень интересным коммунистом.

Заведует оводнением края, очень много работает, сам из рабочих и любит Розанова.

Большая умница.

У него жена и сын трех лет».

Примерно такими же по стилю и настроению оказались и фрагменты «Третьей фабрики» Шкловского, с Платоновым связанные.

«Платонов прочищает реки. Товарищ Платонов ездит на мужественном корыте, называемом автомобиль. <...>

Платонов — мелиоратор. Он рабочий лет двадцати шести. Белокур. <...>

Товарищ Платонов очень занят. Пустыня наступает. Вода уходит под землю и течет в подземных больших реках».

Второй фрагмент, героем которого был Платонов, получил название «Дешевые двигатели»:

«Качать воду должен был двигатель.

Но доставали ее из другого колодца пружинным насосом. Пружина вбегала в воду и бежала обратно, а вода за нее цепляется.

Крутили колесо пружины две девки. „При аграрном перенаселении деревни, при воронежском голоде, — сказал мне Платонов, — нет двигателя дешевле деревенской девки. Она не требует амортизации“. <...>

Мы сидели на террасе и ели с мелиораторами очень невкусный ужин.

Говорил Платонов о литературе, о Розанове, о том, что нельзя описывать закат и нельзя писать рассказов».

Говорил или нет Платонов про не требующих амортизации деревенских девок, вопрос спорный, запрещал ли мелиоратор описывать закат и вообще сочинять рассказы — тоже неясно; более вероятно, что он говорил про Василия Розанова, и тема эта Шкловскому, написавшему книгу о Розанове, была близка, а обнаружение коммуниста-мелиоратора, знающего и любящего Василия Васильевича, среди знойных воронежских степей, где жажда, по смелому выражению автора «Третьей фабрики», страшней сифилиса, — все это не могло не поразить столичного

литератора. Но насколько Платонов Шкловскому открылся, делился ли сокровенным, как с Келлером, говорил ли о текущих литературных делах, о скуке беспартийности и разъяснил ли Платонову Виктор Борисович механизм романа тайн, обсуждали ли они вообще платоновскую рецензию в «Октябре мысли», читал ли эту рецензию Шкловский, а если читал, то соотносил ли ее авторство со странным губернским философом и, наконец, что на сей счет думал — все это неизвестно.

Сам Шкловский, сколь бы высоко Платонова ни ценил (а в 1930-е он, по свидетельству Льва Гумилевского, публично называл своего водителя по чернозему гением), уже после его смерти сказал о Платонове очень немного и, несмотря на покаянный тон, уклончиво, старательно обходя острые углы личных взаимоотношений и разногласий, особенно проявившихся в платоновских рецензиях конца 1930-х годов^[7].

«С Платоновым я познакомился очень рано. Приехал по журналистской командировке в Воронеж. Встретился с молодым человеком, небольшого роста.

Была засуха, и Платонов хотел дать воду человеку и земле.

Мы говорили о литературе.

Он любил меня, потому что мы были людьми одного дела. <...>

Потом я узнал его как писателя.

Это был писатель, который знал жизнь: он видел женщин, которым были нужны мужчины, мужчин, которым не были нужны женщины; он видел разомкнутый треугольник жизни. <...>

Платонов — огромный писатель, которого не замечали — только потому, что он не помещался в ящиках, по которым раскладывали литературу. Он

верил в революцию. Казалось, что революцией Платонов должен был быть сохранен.

Путь к познанию России — трудный путь. Платонов знал все камни и повороты этого пути.

Мы все виноваты перед ним. Я считаю, что я в огромном долгу перед ним: я ничего о нем не написал.

Не знаю, успею ли».

Слова Шкловского были записаны литературоведом А. Ю. Галушкиным в последний год жизни девяностолетнего автора высказывания: «Писатель в России должен жить долго». Но кроме того, в статье «К истории личных и творческих взаимоотношений А. П. Платонова и В. Б. Шкловского» исследователь сослался еще на одну беседу.

«На вопрос, не показывал ли Платонов ему свои произведения и какими были их разговоры о литературе, Виктор Борисович ответил: „Нет, не показывал ничего. Мы говорили о Розанове“. И немного спустя добавил: „Мне кажется, ему был нужен другой читатель“».

Это позднейшее свидетельство косвенно подтверждается и документами 1925 года. «Стесняется», — фиксирует Шкловский психологическое состояние своего спутника; упоминания о разговорах на литературные темы крайне скупы: «<...> любит Розанова», «Платонов. Розанов».

Эти суждения, особенно в том, что касается другого читателя, в высшей степени проницательны, однако это взгляд Шкловского. А вот что думал о своем более именитом в ту пору собеседнике Платонов, известно, во-первых, по записи, которую он сделал на книге П. А. Миллера «Быт иностранцев в России»: «Эта книга подарена мне высокоуважаемым трагическим маэстро жизни и кинематографии В. Б. Шкловским и притом даром и навеки. Привет изобретателю формализма-бюрократизма литературы! Аллилуйя и аминь.

А. Платонов», а во-вторых, по двум художественным текстам, Платонова (читал ли их маэстро, трудно сказать): это статья «Фабрика литературы» и рассказ «Антисексус».

Если откровенно пародийная при всей своей серьезности и исповедальности «Фабрика литературы» была опубликована уже после смерти Шкловского, то «Антисексус» голландский литературовед Томас Лангерак напечатал в 1981-м, и теоретически Шкловский мог прочесть там «свой отзыв».

«Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застаёт, как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. На свете ведь не хватает одного — существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе».

Последнее было ответом на «Третью фабрику» Шкловского с его «Я живу плохо. Живу тускло, как в презервативе».

Написанный вчерне на рубеже 1925–1926 годов «Антисексус» — одна из самых необычных даже для Платонова вещей. Монтаж высказываний знаменитых людей в связи с рекламной акцией недорогого, доступного, можно сказать, демократичного аппарата, призванного самым элементарным и эффективным образом решить ту проблему, что не давала покоя воронежскому философу с молодых ногтей и одновременно с тем служила источником его вдохновения: что делать с основным инстинктом человеческого тела и на какие цели тратить гигантскую энергию, этому инстинкту подчиняющуюся, а также с тем веществом, которое при том выделяется? Но теперь идеализм и определенный радикализм юности —

пустить мужскую силу на великие свершения — уступил место сарказму и иронии.

«Из грубой стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из человеческих отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе.

Учитывая, однако, высокооцененный момент наслаждения, обязательно присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайней мере, в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет строгой изоляции. Таково наше сравнение — таков эквивалент качества наших патентованных аппаратов».

В этом сочинении одни обороты и детали чего стоят: женщина, которую использует заключенный; планшайба, регулирующая расход семени; душевная и физиологическая судьба... И плюс к этому разноречивые отзывы великих сынов века на изобретение, призванное переменить жизнь человечества и вместо того, чтобы освободить его от проклятой страсти, еще больше ею поработить: «суждения» Ганди, Форда, Чаплина, Шпенглера, Муссолини, а также отзыв вычеркнутого из основного текста Маяковского и обещанные в будущем размышления рапповских и нерапповских критиков и некритиков: Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Гроссмана-Рощина, Бачелиса, Буданцева, Киршона...

«Антисексус» считается своеобразным рубежом в платоновском творчестве, но, возможно, точнее было бы сравнение с железнодорожным тупиком, куда Платонов загнал состав накопившегося у него неразбавленного яда. Действительность, которую воронежский публицист еще в 1921 году объявил контрреволюционной, не только не сдвинулась в

сторону просветления и очищения, не только не удержалась на высоте тех лет и не поднялась выше, но стала еще более грязной, отталкивающей и... более прочной. Никакие революции и потрясения ей не грозили. «Антисексус» — сильнейший протест против тотальной человеческой пошлости, против превращения всего на свете в товар. Платонову нужно было выплеснуть накопившуюся у него желчь против обуржуазивания, омертвления всеобщей, в том числе и советской жизни, ударить молнией в скопившуюся духоту, и он это сделал.

Этот рассказ Платонов настойчиво хотел напечатать в первом сборнике своей прозы, даже согласившись на специальное предисловие, на «сливочное масло издательства, — лишь бы прошел сборник», как писал он жене, однако «Антисексус» застрял в архиве на десятилетия. Зато появилось многое другое, но перед этим в судьбе автора снова случились значительные перемены.

Во второй половине февраля 1926 года состоялся Всероссийский съезд мелиораторов, на котором воронежский мастер был избран в состав ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ — событие, подтолкнувшее его переехать в верховный город Москву. С точки зрения карьеры советского служащего он шел на повышение, причем повышение в высшей степени заслуженное, порукой чему — поражающий воображение документ, подобный которому не мог бы предъявить современникам и потомкам ни один из сладко прославлявших труд советских писателей.

«Удостоверение

Дано предьявителю сего Платонову Андрею Платоновичу в том, что он состоял на службе в Воронежском Губземуправлении в должности губернского мелиоратора (с 10 мая 1923 г. по 15 мая 1926 г.) и заведующего работами по электрификации с.

х. (с 12 сентября 1923 г. по 15 мая 1926 г.). За это время под его непосредственным административно-техническим руководством исполнены в Воронежской губернии следующие работы: построено 763 пруда, из них 22 % с каменными и деревянными водосливами и деревянными водоспусками;

построено 315 шахтных колодцев (бетонных, каменных и деревянных);

построено 16 трубчатых колодцев; осушено 7600 десятин;

орошено (правильным орошением) 30 дес.; исполнены дорожные работы (мосты, шоссе, дамбы, грунтовые дороги) — и построено 3 сельские электрические силовые установки.

Кроме того, под руководством А. П. Платонова спроектирован и начат постройкой плавучий понтонный экскаватор для механизации регулировочно-осушительных работ.

Тов. Платоновым с 1 августа 1924 г. по 1 апреля 1926 г. проведена кампания общественно-мелиоративных работ в строительной и организационной частях, с объемом работ на сумму около 2 миллионов руб. Под непосредственным же его руководством проведена организация 240 мелиоративных товариществ и организационная подготовка работ по мелиорации и сельскому огнестойкому строительству за счет правительственных ассигнаций и банковских ссуд на восстановление с. х. Воронежской губернии.

А. П. Платонов как общественник и организатор проявил себя с лучшей стороны.

Печать: Главное Управление Землеустройства и мелиорации г. Воронежа.

С подлинным верно: Секретарь Отдела Мелиорации (Н. Бавыкин)».

Однако сделать карьеру номенклатурного работника, Льва Чумового из будущего рассказа «Усомнившийся Макар» или Козлова из «Котлована», Платонову суждено не было. 18 июля, на расширенном пленуме Всесоюзного секретариата секции землеустроителей Платонов был неожиданно уволен из ЦК и откомандирован на работу в Наркомзем. По какой причине произошел срыв в его советском восхождении, однозначно сказать трудно.

В семейном архиве сохранился черновик неотправленного письма Платонова, где описаны первые месяцы его московской жизни:

«Прослужил я ровно 4 недели, из них 2 просидел в Центр, штат. ком. РКИ, защищая штатные интересы своих интересов. Я только что начал присматриваться к работе своего профсоюза. Я был производственник, привык и любил строить, но меня заинтересовала профессиональная работа. Что я производственник, что я небольшой мастер профсоюзной дипломатии, было хорошо и задолго известно ЦК и записано в анкетах. Но меня все-таки сорвали из провинции и поставили на выучку.

А через 2 недели фактической работы в ЦК выгнали. А я занимал выборную должность. <...> Я остался в чужой Москве — с семьей и без заработка. На мое место избрали на маленьком пленуме секции другого человека <...> **при полном отсутствии мелиораторов.** Присутствовал один я! <...> Это называется профсоюзной демократией! <...> Чтобы я не подох с голоду, меня принял НКЗ^[8] на должность инженера-гидротехника. <...> Одновременно началась травля меня и моих домашних агентами ЦК Союза (я по-прежнему жил в Центральном Доме специалистов), <...> меня и моих домашних людей называли ворами, нищими, голью перекаточной. <...> У меня заболел

ребенок, я каждый день носил к китайской стене продавать свои ценнейшие специальные книги, приобретенные когда-то и без которых я не могу работать. Чтобы прокормить ребенка, я их продал.

Меня начали гнать из комнаты. Заведующий Домом слал приказ за приказом, грозил милицией и сознательно не прописывал... <...> чтобы иметь право выбросить с милицией в любой час. Я стал подумывать о самоубийстве. Голод и травля зашатала меня окончательно».

Это одна сторона дела. Но есть и другая. В 1975 году Мария Александровна Платонова писала о причинах служебных неурядиц мужа в его первое московское лето: «...По прошествии многих лет нам с Андреем Платоновичем стало ясно, что вызов его на работу в Москву, в Наркомзем, был инспирирован самим Рамзиным с целью удалить с работы Платонова, лишить поддержки его планы и начинания, утвержденные комиссией ГОЭЛРО. Все было рассчитано на то, чтобы сорвать работы в Воронеже. Многие инженеры и профессора, работающие у Платонова или приезжающие для инспектирования его работ, были позднее замешаны в делах Промпартии^[9]».

Никаких комментариев к этому заявлению в кратком очерке жизни Платонова, помещенном в первом томе научного издания, нет, как нет в них и ссылок на свидетельство Марии Александровны, что косвенно говорит о скептическом отношении серьезных авторов к этой версии (О. Г. Ласунский прямо называет ее «наиболее неправдоподобной», а Л. А. Шубин отнес «на счет распространенной в те годы мифологии повального вредительства»), и каким образом на самом деле сложились обстоятельства, а также действительно ли Платонов видел в своих неудачах сознательное вредительство, насколько доверял он официальной

советской пропаганде позднее, когда состоялся процесс Промпартии, — сказать трудно, хотя момент это безусловно важный и нуждающийся в прояснении, тем более что он относится и к последующим политическим процессам в стране.

В 1932 году, выступая с «покаянной речью» во Всероссийском союзе советских писателей, Платонов вспоминал: «...я попал в секцию инженеров и техников ЦК профсоюза и начал общественную работу на выборной должности. Там я встретился с людьми, которые меня поразили. Я прибыл из провинции с производства, а тут я встретился с такими удивительными людьми, часть были профессора, часть инженеры. Совершенно непонятно, как их терпели. Я сказал, что работа в таком виде совершенно никчемная, ненужная, сказал руководителям профсоюза. Я был тогда крайне неопытным в таких делах, там свои внутренние деловые интриги, многие специалисты были чуждыми людьми, большинство из них оказалось впоследствии вредителями, но тогда они меня уничтожили до конца, до самого последнего конца, вплоть до улицы; оставили без жилища и без работы».

Мы имеем возможность выслушать лишь одну сторону конфликта, и насколько объективен был Платонов в его освещении — вопрос, остающийся без ответа, хотя положение действительно было драматическое и все это больно ударило обремененного семьей Платонова. Но что можно утверждать наверняка, так это то, что сознание вновь избранного и свергнутого члена ЦК было занято не одной мелиорацией либо профсоюзной работой. Оно было поглощено тем платоновским основным инстинктом, который он три года в себе подавлял, — страстью к литературе, «темной волей к творчеству».

«Теперь, благодаря смычке губительных обстоятельств, очутился в Москве и без работы, — писал

Платонов Воронскому 25 июня 1926 года. — Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству. И я спую и не знаю, что мне делать, хотя делать что-то умею (я построил 800 плотин и 3 электростанции и еще много работ по осушению, орошению и пр.). Но пишу и думаю я еще по количеству и еще более давно по времени, и это мое основное и телесное. Посылаю Вам 4 стихотворения, 1 статью и 1 небольшой рассказ — все для „Красной нови“. Убедительно прошу это прочесть и напечатать».

Еще несколько лет назад заявлявший о том, что он не может заниматься «созерцательным делом — литературой», Платонов брал свои слова обратно и признавал власть мысли над практическими делами в собственной судьбе. Писатель и мелиоратор все эти годы находились в очень сложных взаимоотношениях в его внутреннем человеке — они спорили, помогали, соперничали, противоречили, дополняли, мешали друг другу, ревновали и соревновались, боролись и сотрудничали, враждовали и сотворчествовали (отношения здесь, безусловно, были гораздо более напряженные, чем в полушутливом чеховском «медицина — жена, а литература — любовница», кроме того, сама судьба Андрея Платонова есть не что иное, как опровержение чеховской фразы: «Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть работает на паровозах»), и в конечном итоге писатель победил «машиниста». Но далась эта победа не сразу, не окончательно и большой ценой.

Своеобразным проявлением вражды и дружбы двух начал в человеческой душе стал созданный летом 1926 года памфлет «Фабрика литературы» — произведение, с одной стороны, очень ироническое и по своей ядовитости не уступающее «Антисексусу», с другой — заключающее в себе неизменные и сокровенные авторские мысли: «Искренние литераторы

отправляются в провинцию, на Урал, в Донбасс, на ирригационные работы в Туркестане, в совхозы сельтрестов, на гидроэлектрические силовые установки, наконец, просто становятся активистами жилтовариществ (для вникания в быт, в ремонт примусов, в антисанитарию квартир и характеров, в склочничество и т. д.). Писатель распахивает душу, — вливайся вещество жизни, полезная теплота эпохи — и превращайся в зодчество литер, в правду новых характеров, в сигналы напора великого класса».

Однако — не превращалось, что-то не получалось, не складывалось, и литература, по Платонову, не поспевала за жизнью. Но не потому, что у пролетарских писателей было мало таланта, а потому — что не было новых методов работы, каковые уже давно использовались в производстве.

«Надо изобретать не только романы, но и методы их изготовления. Писать романы — дело писателей, изобретать новые методы их сочинения, коренным образом облегчающие и улучшающие работу писателя и его продукцию, — дело критиков, это их главная задача, если не единственная. До сих пор критики занимались разглядыванием собственной тени, полагая, что она похожа на человека. Это не то так, не то нет, это подобие критику, а не равенство ему. Критик должен стать строителем „машин“, производящих литературу, на самих же машинах будет трудиться и продуцировать художник».

Какова была в этой шутке доля шутки, сказать трудно. Но при чтении «Фабрики литературы» возникает ощущение, что ее автор был совершенно серьезен. Более того, иные высказывания вводят в соблазн заподозрить писавшего не то в вульгарности, не то в эпатаже: «С заднего интимного хода душа автора и душа коллектива должны быть совокуплены, без этого не вообразишь художника».

Платонов либо не чувствовал эстетического риска подобных утверждений (что маловероятно), либо вел себя нарочито вызывающе, стремясь донести в наиболее парадоксальной, провокационной и хулиганской форме — а он несомненно был хулиганом и позднее наделил этими чертами одну из любимейших своих героинь Москву Ивановну Честнову, — так вот тогда, в 1926 году, он проводил главную мысль: литературный труд — дело общественное, коллективное, и материал для него, иначе называемый полуфабрикатом, должна поставлять художнику окружающая жизнь. И далее ссылался на примеры и способы литературной работы из собственной практики:

«Я сделал так (меня можно сильно поправить). Купил кожаную тетрадь (для долгой носки). Разбил ее на 7 отделов — „сюжетов“ с заголовками: 1) Труд, 2) Любовь, 3) Быт, 4) Личности и характеры, 5) Разговор с самим собой, 6) Нечаянные думы и открытия и 7) Особое и остальное. Я дал самые общие заголовки — только для собственной ориентации. В эту тетрадь я неукоснительно вношу и наклеиваю все меня заинтересовавшее, все, что может послужить полуфабрикатом для литературных работ, как то: вырезки из газет, отдельные фразы оттуда же, вырезки из много и малочитаемых книг (которыми я особенно интересуюсь: очерки по ирригации Туркестана, колонизация Мурманского края, канатное производство, история Землянского уезда, Воронежской губ. и мн. др. — я покупаю по дешевке этот „отживший“ книжный брак), переносу в тетрадь редкие живые диалоги, откуда и какие попало, записываю собственные мысли, темы и очерки, — стараюсь таким ежом кататься в жизни, чтобы к моей выпяченной наблюдательности все прилипало и прикалывалось, а потом я отдираю от себя налипшее — шлак выкидываю, а полуфабрикат — в кожаную тетрадочку.

Тетрадь полнится самым разнообразным и самым живым. Конечно, нужен острый глаз и чуткий вкус, а то насыешь в тетрадь мякину и лебеду вместо насущного хлеба. <...> Взятые из людей и народа, я возвращаю им же, обкатав и обмакнув все это в себя самого. Ежели я имею запах — талант, а не вонь — чернильницу, меня будут есть и читать.

Надо писать отныне не словами, выдумывая и копируя живой язык, а прямо кусками самого живого языка („украденного“ в тетрадь), монтируя эти куски в произведение.

Эффект получается (должен получиться) колоссальный, потому что со мной работали тысячи людей, вложивших в записанные у меня фразы свои индивидуальные и коллективные оценки миру и внедрившие в уловленные мною факты и речь камни живой Истории.

Теперь не надо корпеть, вспоминать, случайно находить и постоянно терять и растрачиваться, надсаживаясь над сырьем, медленно шествуя через сырье, полуфабрикат к полезному продукту, — нужно суметь отречься, припасть и сосать жизнь. А потом всосанная жизнь сама перемешается с соками твоей душевности и возвратится к людям еще более сочным продуктом, чем изошла от них. Если ты только не бесплодная супесь, а густая влага и раствор солей».

В этих рассуждениях — ключ к тому уникальному платоновскому языку, над разгадкой которого бьется не одно поколение филологов, здесь высказывались мысли очень дорогие, и все-таки заканчивалась «Фабрика литературы» пародийно:

«Производство литературных произведений надо ставить по-современному широко, рационально, надежно, с гарантированным качеством.

План такого литературного предприятия мне рисуется в следующем виде.

В центре предприятия стоит редакция (скажем, лит. ежемесячника) коллектив литературных монтеров^[10], собственно писателей, творящих произведения. Во главе редакции („сборочного цеха“, образно говоря) стоит критик или бюро критиков, — бюро улучшений и изобретений методов литературной работы, так же как во главе крупного машиностроительного, скажем, завода стоит сейчас конструкторское бюро.

Это бюро все время изучает процессы труда, копит и систематизирует опыт, изучает эпоху, читателя — и вносит реконструкции, улучшая качество, экономя и упрощая труд. Это — последнее высшее звено литер, предприятия — его сборочный цех. Остальные „цеха“ (отделы моей, скажем, кожаной тетради) находятся в стране, в теле жизни, это литкоры (термин не совсем подходящ — ну, ладно); причем труд их должен быть разделен и дифференцирован, чем детальнее, тем лучше. <...> Гонорар должен делиться примерно так:

50 % — писателю, „монтеру“,

5% — критику, „бюро изобр. литер. Методов“,

5% — нац-обл-литкору,

40 % — литкорам — от каждого произведения, выпущенного данным литер, предприятием. Произведение выпускается под фамилией „монтера“ и с маркой литературного предприятия.

Вот, скажут, развел иерархию и бюрократию. Это не верно, — это не иерархия, а разделение труда, это не бюрократия, а живая творческая добровольная организация сборщиков меда и яда жизни и фабрика переработки этих веществ.

Обиды не должны быть: материально в успехе заинтересованы все сотрудники литер, предприятия, а морально — каждый литкор может стать литмонтером при желании, способностях и энергии».

Этот манифест Платонов послал в журнал «Октябрь» с резолюцией: «Просьба напечатать эту статью в одном из ближайших №№-ов журнала. Можно сделать указание на дискуссионность статьи или вообще сделать редакционное примечание к ней». Однако «Октябрь» отказал. Идея управления литературой, ее организации была доведена в платоновском сочинении до той степени абсурда, при котором происходило обесценивание и роли партии, и РАППа, и передовой марксистской идеологии. В общем, не формат.

Но гораздо хуже было другое: ничего не ответил Воронский. Уйти в литературу не удавалось, если не считать опубликованного в двенадцатом номере журнала «Всемирный следопыт» рассказа «Лунная бомба» с подзаголовком «Научно-фантастический рассказ инж. А. Платонова» (авторское название было «Лунные изыскания», но в редакции сочли, что бомба будет круче) — истории талантливого ученого Петера Крейцкопфа, в жизни которого происходит множество приключений, злоключений и превращений, и среди прочего встречается ничем, казалось бы, не мотивированная смерть ребенка. Крейцкопф случайно сбивает его на дороге, хоронит в яме у межевого столба и клянется за него отомстить, и так снова обнажаются уязвимость, незащитность и подлинное горе человеческой жизни, заставляющее Крейцкопфа забыть о прочих бедствиях.

«Лунную бомбу» Платонов планировал включить в сборник прозы, предназначенный для издательства «Земля и фабрика». Одновременно с этим он подготовил другую книгу для «Кузницы», но шансов на успех у обеих было немного. Больше перспектив обещал договор с издательством «Молодая гвардия», которое по счастливому стечению обстоятельств возглавил в мае 1925 года Литвин-Молотов. Однако с

«Молодой гвардией» все тоже затягивалось, Платонов называл в письмах жене своего благодетеля «невыносимым канительщиком», «страшным волокитчиком» и «ужасным волынщиком», который «любит обещать горы золота умирающим людям <...> все хочет выпустить меня в свет обряженным красавцем, но я подохну, пока он меня управится одеть». И хотя у автора тех горьких строк было множество творческих замыслов и он фактически стоял на пороге прорыва (посланное Воронскому было лишь малой частью), в конце ноября — начале декабря 1926 года, передав доверенность на ведение издательских дел Марии Александровне и впоследствии подробно наставляя ее, как надо себя с издателями вести («Заключила ли ты договора с „Молодой гвардией“? Ответь на это. На сколько денег, на каких условиях? Как вышло у тебя с Поповым?^[11] С Поповым говори обязательно дерзко <...> Крой, Машуха, во всю! Может, вывезет нас какая-нибудь кривая»), Платонов был вынужден один, оставив жену с сыном в Москве и получив письменные гарантии, что они не будут в одночасье выброшены на улицу, выехать в Тамбовскую губернию, чтобы занять ту же должность, которую он занимал в Воронеже, — губернского мелиоратора.

Последней попыткой избежать Тамбова было намерение уехать всей семьей в Ленинград. В Пушкинском Доме сохранилось письмо Платонову некоего Бориса Зыкова: «Пишу тебе, Платоныч, пока варится на примусе гречневая каша, сварится — поставлю точку. Прежде всего о небольшом поручении Марии Александровны. За ту сумму, которую мне назвала Мария Александровна, иметь теперь комнату + отопление + освещение + стол — нельзя. Все это будет стоить, конечно, дороже. На двух больших людей и одного маленького человека нужно не менее 175-200

как зверя и жестокого человека» — а в том, что к той поре как мелиоратор он себя, похоже, исчерпал и был внутренне готов к демобилизации.

Андрей Платонов приехал в Тамбов без семьи, но не один. Он приехал туда сопровождаемый, конвоируемый долго молчавшей и терпевшей все его инженерные измены Музой, которой посторонние, беспорядочные связи и сумасбродные проекты ее подопечного (так, в глазах строгой Музы основная идея «Фабрики литературы» была по сути не чем иным, как призывом к свальному греху) вконец надоели; приехал переполненный, отягощенный замыслами, вследствие чего удельный вес литературы в его личной жизни не просто становился все больше, а катастрофически вытеснял прочие интересы. Возможно потому, что не ладилось на работе, и Платонов находил отдохновение — хотя слово это плохо к нему подходит — в литературе, а может быть, пришло иное время и литература теперь отнимала больше сил, в любом случае произошла не просто перемена слагаемых — изменилась иерархия ценностей и приоритетов: если Платонов последних лет воронежского периода — более мелиоратор, чем писатель, то Платонов тамбовского периода — писатель прежде всего.

Не так давно впервые было опубликовано письмо Андрея Платоновича жене от 19 декабря 1926 года, и здесь хорошо чувствуется, как трудно было разлученному с семьей автору в Тамбове и как много обид накопилось в его сердце на «Москву проклятую» и ее жителей, в том числе тех, кто считался его друзьями.

«Когда мне стало дурно, я без слова уехал, чтобы давать хлеб семье. А когда мне станет лучше, тогда, быть может, я не оценю ничьих дружеских отношений. Все эти Молотовы, даже Божко и все другие позволяют мне быть знакомыми с ними потому, что „боятся“ во мне способного человека, который, возможно, что-нибудь

выкинет однажды и тогда припомнит им! Никто меня не ценит, как человека, безотносительно к мозговым качествам. Когда я падаю, все сожалеют, улыбаясь.

Ты скажешь — я зол! Конечно, милая, зол. Кто же мне примером обучал доброму. Что я вижу? Одиночество (абсолютное сейчас), зверскую работу (6-й день идет совещание, от которого у меня лихорадка), нужду и твои, прости, странные письма (служба у Волкова, Келлер и др.). Пусть любая гадина побудет в моей шкуре — тогда иное запоет. Пусть я только оправлюсь, и тогда никому не прощу! Каждый живет в свое удовольствие, почему же я живу в свое несчастье! Ведь я здоров, работаю, как бык, могу организовать сложнейшие предприятия и проч.

Еще раз — прости за это письмо, но меня доконала судьба... <...> Единственная надежда у меня — создать что-нибудь крупное (литература, техника, философия — все равно из какой области), чтобы ко мне в Тамбов приехали мои „друзья“ и предложили помощь».

Друзья не приехали и помощи не предложили. Но не будь в его жизни литературы, не будь тех драгоценных ночных часов, когда в холодной комнате он писал и боялся закончить, остаться один, без своей волшебной, но так остро ощущаемой им подружки и верил в то, что она его не покинет («Пока во мне сердце, мозг и эта темная воля творчества — „муза“ мне не изменит. С ней мы действительно — одно. Она — это мой пол в душе»), он бы сгинул, пропал.

«В час ночи под Новый год я кончил „Эфирный тракт“, а потом заплакал. <...> Опять придется лечь на свою „музу“: она одна мне еще не изменяет. Полтора страница насильно я в „Эфирном тракте“... <...> Я такую пропасть пишу, что у меня сейчас трясется рука <...> Каждый день я долго сижу и работаю, чтобы сразу свалиться и уснуть <...> Моя жизнь застыла, я только думаю, курю и пишу...»

В Воронеже такого застывания не было, и руки тряслись от другой работы. Но главное из платоновских эпистолярных признаний той поры носило характер мистический, сравнимый с арзамасским ужасом Льва Толстого^[12], хотя и несколько иной природы: «Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью (у меня неудобная жесткая кровать) — ночь слабо светилась поздней луной, — я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, **самого себя**. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я, и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то я, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих слез^[13]. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. В первый раз я посмотрел на себя живого — с неясной и двусмысленной улыбкой, в бесцветном ночном сумраке^[14]. До сих пор я не могу отделаться от этого видения и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это — больше всякого чуда». Чуда, добавим мы, после которого не быть писателем он уже не мог. «Мне кажется, что с той ночи, когда я увидел себя, что-то должно измениться. Главное — это не сон...»

Глава пятая ДНК

Тамбовская печальная и мягкая зима при всех ее повседневных реальных и метафизических кошмарах, где «стыдно даже маленькое счастье» и где было так тихо и спокойно, что «даже слышно дыхание курицы», стала для Платонова-мелиоратора крахом, а для Платонова-писателя временем свершения, приношения плодов, пусть и с довольно горькими корнями. Косвенно он и сам признавал эту горечь в письмах жене: «Вот когда я оставлен наедине с своей собственной душой и старыми мучительными мыслями. Но я знаю, что все, что есть хорошего и бесценного (литература, любовь и искренняя идея), все это вырастает на основании страдания и одиночества. Поэтому я не ропщу на свою комнату — тюремную камеру — и на душевную безотрадность <...> Жизнь тяжелее, чем можно выдумать, теплая крошка моя. Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и пр. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье, а не в блестящей, но поверхностной Москве».

Три самых главных произведения этого периода (а к ним также следовало бы добавить рассказ «Иван Жох» и незаконченную эпистолярную новеллу «Однажды любившие») — это три полноценные повести: «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы» и «Город Градов», где соответственно изображены будущее (вернее, преимущественно будущее), прошлое и настоящее — то есть перед нами своеобразная историческая трилогия, и обращение к истории, к образу времени было для Платонова не случайным. «Нам надо переоценить историю и природу, — писал он еще в статье „Симфония

сознания“, — историю одну сделать вещью достойной познания... история, а не природа — как было, как есть теперь — должна стать страстью нашей мысли, ибо история есть взор вдаль, несвершившаяся судьба... выковка своей судьбы».

Выковка судьбы стала мотивом, эту трилогию объединившим, только с природой все оказалось не столь просто, и во всех трех тамбовских повестях Платонов эту сложность признал. Но Тамбов не случаен — он стал второй, хотя и очень неласковой родиной писателя. Одна из повестей была в Тамбове закончена, другая полностью написана, третья — начата, однако тамбовский отпечаток лежал на каждой из них. Только вот издательские судьбы оказались у всех разными. «Епифанские шлюзы» и «Город Градов» увидели свет в 1927 году, «Эфирный тракт» был опубликован в конце 1960-х в урезанном виде и прошел по разряду фантастики, хотя содержание его гораздо глубже и сложнее.

Идеология «Эфирного тракта» — а эту повесть можно назвать откровенно идеологической, программной — связана с двумя не публиковавшимися при жизни автора, написанными в разные годы, но при этом внутренне связанными статьями — «Симфония сознания» и «Питомник нового человека». Первая выносила приговор старому миру и заканчивалась в духе платоновского «катастрофического оптимизма»: «Из мертвеющей, пропахшей трупами России вырастет новая, венчающая человечество и кончающая его цивилизация — штурм вселенной, вместо прежнего штурма человека человеком — симфония сознания».

Суть второй заключалась в том, что коммунизм не просто прекрасная человеческая мечта, коммунизм есть своеобразное воспоминание о будущем, коммунизм на Земле в давние «изумрудные» времена уже был. Утраченный в результате страшной катастрофы,

«ревущей судороги вселенной» коммунизм, в котором не было времени и как следствие не было истории, вернется тогда, когда история снова кончится и родится иной, новый, а точнее, новый старый человек, которого после катастрофы сменил «терпеливый грубый выродок — человек, тварь эпохи бедствий».

«„Изумрудный человек“ погиб оттого, что не перенес всемирной естественной катастрофы, хотя в свое время он создал „из темной звезды изумрудный мир“. Просто человек — существо, преобразующее неряшливый катастрофический мир, — выжил оттого, что родил в себе и пустил в действие новый жизненный орган тела — мозг. Этот мозг дал человеку волшебную силу для сопротивления всем ревушим смертоносным стихиям. Мозг рос на протяжении неисчислимых эпох, и им ныне освещена почти вся природа. Мозг человека есть обеспечение его конечной победы над всем миром. Но одновременно в человеке существуют десятки чувств и страстей, зовущих его предаться наслаждениям и забыть свою человеческую историческую работу. Человек любит есть, любит женщину, ищет покоя, желает личного смысла жизни и так далее. Каждая из этих страстей, доведенная до предельного напряжения, способна разрушить, рассосать силу сознающего мозга. Мозг непрерывно откупается от этих страстей. Он выдумывает средства, чтобы человек наслаждался, но чтобы от этих наслаждений не разрушалось его тело. Для мозговой силы нужно цепкое здоровье, и в распутном теле не может родиться большая мысль. В сущности, мозг все время хочет стать диктатором человеческого тела — он желает мобилизовать все силы организма только для своего питания. Это ему не удастся — отсюда трагедия личности и быта».

Несложно увидеть в этом фрагменте концентрированное выражение основного комплекса

ранних утопических платоновских идей и проповедей царства сознания, но изменился стиль изложения — стал более сухим, деловитым, научным и по-своему объективным. Свои права есть у человеческого тела, свои у мозга, противоречие меж ними — трагедия, которая должна быть преодолена, и произойдет это в Советской России — вот, если угодно, ее историческое предназначение.

«Что заставит советского человека, и уже заставляет, стать более разумным? Доброе желание? Нет: угроза гибели. Эта причина толкнет советского человека на шаг к своему внутреннему преобразованию».

По Платонову, человечество строит новый мир не оттого, что хочет лучше и качественнее жить, наслаждаться, потреблять или собою гордиться («Вы строите социализм для славы и чести, а мы — для жизни, для необходимости», — появится в «Записных книжках» 1931 года), а оттого, что старый мир несет в себе угрозу гибели. Капиталистическая Европа выхода из тупика, рецепта спасения человечества предложить не может (но заслуживают уважения те, кто не только своей смертью не противятся, но ее любят, как мужественный музыкант слова Шпенглер^[15]), а вот социалистическая Россия — может, и в этом ее главное преимущество.

«Если капитализм произвел условия, в которых пролетарий превращался в идиота, то социализм перевернул эти условия так, что пролетарий превращается в одаренного человека. Это физиологические органические выводы различных социальных порядков. Это очень ясно.

Социализм есть теплый дождь на почву сознания. Социализм есть спрос на мозговую продукцию. Из этого

спроса вырастает предложение. Все вместе создает почву для умственного обогащения человека».

И наконец — «Дальше и последнее. Растущее сознание социалистического человека незаметно, так сказать, демобилизует порочные страсти тела. Сила, которая шла на питание этих страстей, всасывается вверх для мозговой деятельности, оставляя внизу пустое место. Таким образом разрубаются и решаются вопросы пола, быта, искусства, неразрешимые при капитализме».

Если бы эти строки, впервые опубликованные в 1999 году в «Октябре», не датировались 1926 годом (позднее Н. В. Корниенко сделала уточнение — октябрь — ноябрь 1927 года), можно было бы подумать, что статья написана раньше — слишком много в ней от юного, утопического Платонова — хотя бы от рассказа «Жажда нищего». Однако факт есть факт: двадцатисемью — двадцативосьмилетний, житейски очень опытный, много что видевший, испытавший и перенесший человек, практик, прагматик, строитель, по-прежнему носил под сердцем глубокую веру в лучшего человека с мозговым приростом, но теперь идея превращения жидкого земного теста в кристалл еще больше требовала проверки. Испытанием на прочность, художественным осмыслением собственных утопических, космических проектов и стала повесть «Эфирный тракт».

Начатый 7 ноября 1926 года и законченный в начале 1927-го, «Эфирный тракт» (варианты названий: «Медом по яду», «Неповторимое счастье», «Цветущее сердце») — произведение, которое можно считать итоговым, рубежным, прощальным — оно подводило черту под всей платоновской хаотичной, взрывной, утопической линией творчества и обозначало важную с точки зрения его духовного роста и поиска веху и

одновременно с тем было полем, на котором прорастали новые зерна и угадывались иные замыслы.

Здесь снова встречаются мотивы, хорошо известные по ранней платоновской прозе и публицистике, — странничество, одиночество, целомудрие, мучительный поиск истины, противостояние человека и стихии, родившийся в нужде и бедности герой, болезненно переживающий эту жизнь и страстно мечтающий ее изменить («Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже укрыться. У матери оголилась худая нога — и мне жалко, стыдно и мучительно. Захарушке 11 месяцев, его отняли от груди и питают одной моченой булкой. Какая сволочь жизнь! А может, это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой жизни?»), а картина будущего напоминает ту, о которой шла речь в «Сатане мысли» или «Потомках солнца». Только авторский слог избавляется от экспрессивности и «бешенности» произведений 1920-1922 годов и становится плавнее, мягче, напевнее, хотя еще далек от знаменитого платоновского «странноязычия»:

«Как в старину, женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта.

Девственность женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому незнаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством.

Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устройением общества и природы».

Наряду с картинами будущего в «Эфирном тракте» встречаются и образы прошлого, как очень далекого, фантастического — сжатая история народа аюнов,

некогда обитавшего в древней тундре и погибшего в результате цепочки естественных и искусственных катастроф (именно этот сюжет можно считать прозаическим вариантом изумрудного мира в статье «Питомник нового человека», а еще прежде в «Симфонии сознания», которую в 1926 году автор отредактировал, сблизив с идеями и образами повести), так и недавнего прошлого русского: «Домики стояли молча, были снабжены ставнями и в своих чуланах и тайниках хранили бочки, банки и всякие иные сосуды с маринованной и соленой едой, уготованной впрок, на два года вперед. Жители, казалось, были напуганы какой-то недавней страшной катастрофой и скупко собирали крошки со стола в своем занавешенном глухом жилье».

На перекрестке далекого прошлого, краткого настоящего и относительно близкого будущего (Платонов перенес основное действие «Эфирного тракта» в 30—40-е годы XX века) развивается история трех поколений ученых, пытающихся проникнуть в сокровенные тайны «размножения материи», с тем чтобы навсегда решить на земле проблему голода и отсталости, зависимости от природы — история очень драматическая, более того, несмотря на победу социалистического общества («...новая Москва — чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья <...> люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и любви»), неутешительная и трагическая в том, что касалось отдельного человека.

Первое поколение ученых представлено Фаддеем Кирилловичем Поповым, который кончает жизнь самоубийством, так и не добравшись до разгадки тайны эфира, но оставляет к ней ключ в рукописи под названием «Сокрушитель адова дна». Второе поколение — его помощник и ученик Михаил Кирпичников, который продвигает дело дальше, но после ряда

превращений, а также после разговора во сне с автором: «Не помню, где — в Москве или в Тамбове — я видел сон, что говорю с Михаилом Кирпичниковым (я тогда писал „Эфирный тракт“), и через день я умертвил его» — погибает в результате эксперимента своего друга Исаака Матиссена. И третье поколение — сын Кирпичникова — Егор. Он осуществляет то, к чему стремился отец, и даже превосходит его мечты, но жизнь Егора тоже заканчивается странно и печально — великий ученый, гордость советской науки, член партии и Исполкома КИМа умирает в тюрьме Буэнос-Айреса вместе с бандитами, грабившими скорые поезда, и тело его, сброшенное в илистые воды Амазонки, смывается в Тихий океан.

Однако суть не в географии, через которую Платонов переступил так же легко, как через историю в рассказе «Иван Жох», где Пугачев появляется за сто лет до Степана Разина, а в том, что в этой хрупкости, непредсказуемости, непоследовательности человеческой судьбы, неспособной оторваться от прошлого («От отца или давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев, не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым местам; может быть, еще что — неизвестно»), заключена очень важная черта даже не стиля платоновского, а некая молекула ДНК, находящаяся в каждой его строке и связывающая все его чрезвычайно разнообразное, часто внутренне противоречивое и раздробленное творчество в единое целое и очевидно непосредственно присутствующая и в жизни автора, сопрягая с творчеством эту жизнь. Не случайно в «Эфирном тракте» есть поразительный по нежности и глубине образ жены Михаила и матери Егора

Кирпичниковых, которую автор назвал Марией Александровной, а в письме из Тамбова к самой Марии Александровне Платонов писал о своем сочинении: «Ты права, что М. А. Кирпичникова ценнее своего мужа, как жена и человек. Я нарочно рисовал ее скромными и редкими чертами».

Замечателен еще один женский персонаж — Валентина Крохова (имя тут, конечно, от сестры Марии Александровны — Валентины^[16], на чьи воспоминания мы часто ссылаемся), которую связывают, а вернее, так и не связывают любовные отношения с Егором. «Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови, — вот красота Валентины Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица — удивительная красота молодости человека».

Эту влекущую красоту ощущает и Егор, но он как раз слишком занят наукой, «силы его сердца были мобилизованы на другое». И даже тогда, когда «эфирный тракт» изобретен, когда Егором выращен огромный куб чистого железа и переданное правительству его изобретение дает Советскому Союзу «такие экономические и военные преимущества перед остальной капиталистической частью мира, что если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий», даже тогда Егор не слушает совета своих друзей «а ты женись!», не приходит к напрасно ожидающей его в день своего двадцатилетия девушке, а уходит в гибельное странствие в неразумный капиталистический мир, с тем чтобы постоянно о любимой думать, но никогда не быть рядом с ней.

Парадоксальная судьба, но подобная иерархия ценностей в сознании персонажей повести и выбор ими

жизненной стратегии становятся причиной странных сближений и противопоставлений. Егор — это лучший «человеческий материал» в повести, но как далек он от того нового человека, чье рождение предсказывал Платонов в публицистическом «питомнике», как связан, отягощен собственным происхождением, человеческими страстями, сомнениями и борениями живого сердца. Вот и получалось, что призывавший отречься от старого мира, называвший людей современной ему эпохи бедствиями *выродками*, Платонов показывал в прозе, что лишь привязанность к истории и традиционным человеческим ценностям спасает людей от истинного вырождения и превращения в мозговых уродов светлого будущего.

Чрезвычайно важна в «Эфирном тракте» пара двух героев — демонического ученого, человека с «омертвевшим лицом», «с резким разумом и охлажденным сердцем» Исаака Матиссена, фактически построившего жизнь по рецепту «изумрудного человека» и предвосхитившего путь Егора — отказ от семьи, от любви к женщине ради достижения высокой цели («...я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем дети!..»), но при этом лично глубоко несчастного и нечаянно уничтожившего несколько тысяч человек и в их числе Егорова отца Михаила Кирпичникова, и — противопоставленного ему селькора Петропавлушкина, носителя даже не новых коммунистических, а традиционных христианских ценностей и этических норм (отсюда и фамилия апостольская). Вот их спор, во многом проясняющий авторскую позицию:

«— Были цари, генералы, помещики, буржуи были, помнишь? А теперь новая власть объявилась — ученые. Злое место пустым не бывает!

— А я того не скажу, Исаак Григорьевич! Если ученье со смыслом да с добросердечностью сложить,

то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает!

— Нет, Петропавлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать. А чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания! Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать, тогда и лекарства не нужно будет...

— Да разве одна наука уродует, Исаак Григорьевич? Это пустое. Жизнь глупая увечит людей, а наука лечит!

— Ну, хотя бы так, Петропавлушкин! — оживился Матиссен. — Пускай так! А я вот знаю, как камни с неба на землю валить, знаю еще кое-что, похуже этого! Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором! А не то — всех перекрошу и пущу газом!

— А совесть, Исаак Григорьевич, а общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете, да и в науке вам все люди помогали! Не сами же вы родились и разузнали сразу все!

— Э, Петропавлушкин, на это можно высморкаться! А ежели я такой злой человек?

— Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич!

— А по-моему, весь ум — зло! Весь труд — зло! И ум и труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется...

— Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич! Я так непривычен, у меня аж в голове шумит!..

„А этот человек умен, — подумал Матиссен, — он почти убедил меня, что я выродок!“».

Вот так — выродок ученый Матиссен, а не его неученый оппонент. Мысль о собственном уродстве приходит к Матиссену незадолго до смерти, описывая которую, Платонов своего героя в последний миг прощает, и снова возникает ассоциация христианская («Но последний образ Матиссена был полон

человечности: перед ним встала живая измученная мать, из глаз ее лилась кровь, и она жаловалась сыну на свое мучение»), а помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине, соучастник добросердечной науки и по совместительству селькор газеты «Беднота» девять дней спустя после гибели Исаака сообщает в редакцию, как и почему эта смерть произошла:

«И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета от-чего-то прилетела на Камчатские полуострова.

Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер и только зря поломал мировое благонадежное устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел отчего-то и умер...»

Если учесть, что — по небесспорному, но заслуживающему внимания и очень изящно аргументированному суждению исследовательницы Дарьи Московской — описание смерти Матиссена и прощания с ним крестьян напоминает газетные отчеты о смерти и похоронах Ленина, широко публиковавшиеся в Советской России, то повесть имеет подводное течение, своего рода адово дно, которое так и не сумел сокрушить умерший 25 января 1924 года (то есть четыре дня спустя после смерти вождя) Фаддей Попов — еще один претендент на должность Ильича в «Эфирном тракте». Но независимо от того, метил или нет Платонов в главного из советских выродков, смерть, происходящая по причине того, что человек не желает делать добро, бросает отблеск не только на насилующего природу Матиссена, но и на других героев

«Эфирного тракта», подобно Фаусту проникающих в последнюю тайну бытия, но так и не обретающих ту простую истину, которая хорошо ведома селькору Петропавлушкину: «Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука!»

Над полуученым человеком Петропавлушкиным в редакции «Бедноты», куда он отправил свою идеалистически сумбурную корреспонденцию, смеются, а между тем по замыслу автора именно этот душевный бедняк очень доходчиво излагает суть платоновских размышлений о связи материи и сознания: «Прошу опомниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, все и порвалось. Так о чем же речь и насмеяние фактов? Вселенский мир это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком — быв. селькор Петропавлушкин».

В упреке бывшего, то есть своим письмом отказывающегося от должности селькора можно увидеть проекцию поступка самого Платонова, который в 1923–1925 годах тоже ушел из бумажной литературы и фактически на время сделался бывшим писателем, но позволить себе удержаться на глубине и уйти из литературы навсегда не смог. И не столько по причинам идейного порядка, сколько потому, что сдерживать творческую энергию, накопившуюся в нем за годы вынужденного литературного воздержания («запретить литературу — все равно что запретить половой акт», — злорадно высказался на сей счет в дневнике досконально знавший предмет обоих вопросов Пришвин) было выше даже его сил.

Писательский пост оказался ненапрасным. Так, в условиях чудовищного давления, душевных потрясений и перегрузок, столкновения дела и слова, замысла и его

реализации создавалось произведение, ставшее первым платоновским литературным шедевром — «Епифанские шлюзы», — с которым он как победитель вошел в советскую литературу, хотя победная эта повесть получилась не о виктории, но о поражении. О поражении полном, безоговорочном, беспощадном — трагическая история английского инженера, которому жестокий русский царь дал повеление выстроить канал от Оки до Дона и который потерпел фатальную неудачу, приведшую к его кошмарной смерти.

«Шлюзы не действовали. Народ не шел на работы или бежал в скиты и жил ветхопещерником в глухих местах. Вот — „Епифанские шлюзы“. Я написал их в необычном стиле, отчасти славянской вязью — тягучим слогом. Это может многим не понравиться. Мне тоже не нравится — так как-то вышло», — писал Платонов жене 25 января 1927 года, но пять дней спустя высказался совершенно определенно: «Посылаю „Епифанские шлюзы“. Они проверены мною. Передай их немедленно кому следует. Обрати внимание Молотова (редактор издательства „Молодая гвардия“. — А. В.) и Рубановского (сотрудник Главлита. — А. В.) на необходимость **точного сохранения моего языка**. Пусть не спутают».

«Епифанские шлюзы» с точки зрения платоновской биографии книга настолько глубоко личная, парадоксальным образом объединяющая воронежские достижения и тамбовские провалы, что возникает соблазн отождествить автора с главным героем, тем более обстоятельства кажутся похожими — захолустье, косность, эпоха великих преобразований и человек, строитель, инженер, становящийся жертвой истории и семейных обстоятельств. Английский инженер Бертран Перри — представитель давно прошедших времен, когда человечество не знало ни атома, ни электричества, да к тому же иностранец, носитель

чуждого России европейского сознания, «скупого практического разума веры... понявшей тщету всего неземного». Честолюбец, отправившийся в далекую землю для ловли счастья и чинов, он все равно автору понятен с его вечными для всех времен и народов бедами, одиночеством, тоской, душевной неурядицей, с драматической историей отношений с невестой Мэри, которая не захотела своего жениха ждать и сражает его сообщением об измене («Невольно всюду я запечатлеваю тебя и себя, внося лишь детали», — писал Платонов жене, и эти строки могут быть отнесены и к «Епифанским шлюзам»).

Англичанин Перри близок к Михаилу Кирпичникову из «Эфирного тракта», которого тоска и тяга к странничеству погнали в Америку, и он применяет на чуждой земле свои знания так же, как Перри попытался применить их в России. Только Кирпичников делает это в менее драматических обстоятельствах, благо его калифорнийский хозяин не чета русскому царю Петру, с большим успехом, да и с сознанием того, что его русская жена Мария — а вот она не чета англичанке Мэри — будет ждать, и если не дождется, то лишь потому, что их разлучит смерть. И про нее, Марию, можно сказать то, что хотел бы сказать про свою невесту Перри: «А ежели бы в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть на луну!»

Бертрана Перри нельзя считать идеальным платоновским героем, как нельзя считать таковым и Кирпичникова, променявшего «теплое достоверное счастье на пустынный холод отвлеченной идеи», да к тому же еще увлекшегося на чужбине мещаночкой Руфью. Но, пожалуй, самая существенная разница между этими персонажами состоит в другом. Если Кирпичников смеет думать — и автор ему не противоречит, — что он совершенно понял

примитивную, ребяческую Америку с ее культом потребления и примитивнейшими запросами («Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга — двенадцатилетние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда»), то Бертрану «дикая и таинственная» Россия с ее «страшной высотой неба над континентом, которая невозможна над морем и над узким британским островом», остается неясна. Она поражает, пленяет его, но нимало не раскрывается, а лишь немного приоткрывает свою таинственную жизнь: «Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились».

Под этим слоем находится иной, тот, что имеет прямое отношение к проектам Петра и попыткой их реализовать Бертраном: «Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань, а по воде никто не собирался плавать; может, пьяный когда вброд перейдет эту воду поперек, и то изредка: кум от кума жил в те времена верст за двести, потому что сосед соседа в кумовья не брал, — бабы не дружили». Самим же бабам, наиболее здравомыслящей части общества, и вовсе изначально видна дутость петровских прожектов: «А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать — к чему народ мучают — не осмеливались».

Другое дело, понимает ли эту непостижимую луковичную глубину России, а также народную точку зрения относительно своих стратегических планов платоновский царь Петр, насколько присущ он или чужд народу, над которым по Божьей воле властвует и который в письме к Перри называет холуем, не

принимая своей пользы, — вот здесь дать однозначный ответ много труднее. Петр обрисован в «Епифанских шлюзах» скупно, но образ возникает жуткий. Царь в «Епифанских шлюзах» отнюдь не тот строитель чудотворный, каким написал его Пушкин в «Медном всаднике», и этот взгляд разделит Платонов в статье «Пушкин — наш товарищ» десять лет спустя. Епифанский Петр одна тысяча девятьсот двадцать седьмого года не таков. Он, перефразируя Пушкина же, ужасен, но — не прекрасен. Лютый, мстительный, злобный, физически неопрятный (ходит похаркивает и тяжело переваливается). К черту такого царя и его каналы, хотя... хотя не зря говорит один из стражников, что «из женчины царь народ на войну не тронет». Все ж государственное ставит выше личного и народ попусту в расход не пускает, только по делу.

Еще один вопрос, связанный с «Епифанскими шлюзами», насколько эту повесть можно считать исторической и до какой степени она соответствует реалиям петровского времени. Расхождений много, начиная с того, что реальный Джон Перри, прообраз двух братьев Вильяма и Бертрана, благополучно отбыл с помощью английского посла на родину, и заканчивая тем, что канал на самом деле был построен и по нему прошло порядка трехсот судов, недаром позднее в очерке «Че-Че-О» Платонов написал о том, что «Епифанские шлюзы живы были до 1910 года». Таким образом, повесть с ведома ее создателя фактически вышла за рамки исторической прозы, которая предполагает большую степень привязанности к реалиям. И если Платонов мог не принимать во внимание, не знать или забыть, как «забыл» он о том, куда впадает Амазонка, что в 1709 году, к которому относится действие его повести, в Великобритании правила королева, но не король, а коллеги, о которых пишет Перри, появились только в 1717 году, то даже

известная ему картина событий была искажена до такой степени, какой не позволяли себе ни Пушкин в «Капитанской дочке», ни Толстой в «Войне и мире».

В течение многих лет комментаторы «Епифанских шлюзов» указывали на многочисленные источники, которыми Платонов как будто бы пользовался — записками Вильяма Перри «Состояние России при нынешнем царе», переведенными на русский язык в 1871 году, книгой П. Н. Пузыревского об истории проектов соединения Волги и Дона, «Курсом русской истории» Ключевского. Однако известно платоновское признание жене, противоречащее этим спискам: «Очень мало (совсем нет) исторического материала. Опять придется лечь на свою „музу“: она одна мне еще не изменяет».

Муза оказалась хорошей и верной помощницей, а вот что касается исторического материала, то, как установила Елена Антонова, при работе над «Епифанскими шлюзами» в платоновском «списке литературы» фактически числилась одна единица — книга его предшественника по части мелиорации, инженера путей сообщения Антона Иосифовича Легуна «Воронежско-ростовский водный путь», изданная в Воронеже в 1909 году. Но зато пользовался Платонов ею так, как обыкновенно писатели документальными источниками не пользуются из опасения быть обвиненными в плагиате. Сравнение «Епифанских шлюзов» и «Воронежско-ростовского водного пути» показало обширные текстуальные совпадения между ними, а следовательно, прямые заимствования, к которым автор «Фабрики литературы» прибегал, не видя в том ничего зазорного (то же самое повторится и с рассказом «Иван Жох», и с «Городом Градовым», и с повестью «Сокровенный человек»). Так, на стыке глубоко личного, сокровенного и документального, заимствованного, скорее *вопреки*, нежели по законам

литературы — а по отношению к исторической литературе о законах говорить можно — возник шедевр.

Повесть «Епифанские шлюзы», опубликованная в июньском номере журнала «Молодая гвардия» за 1927 год и вошедшая в первый авторский сборник прозы, дав ему название, не вызвала большого числа откликов у критики, но обратила на себя внимание А. М. Горького, который горячо рекомендовал Платонова Тихонову-Сереброву, Сергееву-Ценскому, Груздеву, Фриче, Лутохину и прочим не последним в литературном мире республики людям. Однако в 1929 году журналистка В. Стрельникова, трудившаяся в газете «Вечерняя Москва» и совершенно справедливо написавшая в статье «„Разоблачители“ социализма» о том, что когда она попыталась вспомнить, «что говорила об этой книге наша критика, ничего не припомнила», обвинила автора в недоверии к социализму, увидев в повести сходство между «дутыми прожектами Петра и дутыми прожектами Октябрьской революции». (То же самое сочинит в 1933 году в своем донесении на Платонова оперуполномоченный ОГПУ Шиваров: «„Епифанские шлюзы“ — основная идея в аналогии между Петровской эпохой и эпохой строительства в СССР».) Платонов в статье «Против халтурных судей» возразил Стрельниковой, что «анalogии между петровской эпохой и нашим временем я не проводил нигде». Но все равно возникает вопрос: не был ли автор «Епифанских шлюзов», выбравший петровскую тему вслед за Мережковским, Алексеем Толстым, Пильняком и предвосхитивший пришвинскую «Осудареву дорогу», — а все эти писатели в той или иной степени параллели между историей и современностью проводили, — так вот не был ли Платонов в глубине души и сам пессимистически настроен по отношению к современному ему строительству?

Дать однозначный ответ едва ли возможно, но судя по платоновской публицистике и письмам, которые можно считать своеобразными строительными лесами к «Епифанским шлюзам», взгляды писателя были много сложнее простого отрицания или признания действительности. Несмотря на трудности воронежского и провалы тамбовского периодов, а также московские неудачи, успешная практическая деятельность губернского мелиоратора и редкая, по сравнению с периодом 1920–1922 годов, но все же появлявшаяся публицистика 1923–1926 годов свидетельствуют скорее об уверенности Платонова в необходимости строительства канала и вере в успех этого предприятия. «Инженер Легун хотел связать всю систему р. Дон и его притоков с открытым морем, чтобы морские пароходы могли с грузом свободно проходить в глубь страны... Идея очень правильная», — писал в 1923 году автор будущих «Епифанских шлюзов» о проектах своего «соавтора» в статье «Река Воронеж, ее настоящее и будущее». К этой же идее он вернулся в 1926-м в статье «О дешевом водном пути Черноземного края (Экономическая и мелиорационно-техническая проблема в связи с восстановлением сельского хозяйства в ЦЧО)», опубликованной в столичных «Известиях»: «Мы поднимаем старую для Черноземного края проблему улучшения судоходных условий Верхнего Дона и его главнейших притоков и связанное с этим улучшение судоходных условий Среднего Дона... Построив дешевый водный путь, мы завоюем для области рынки севера и юга, станем на основные линии экономики Союза, выйдем из захолустья провинции на арену союзной экономической жизни».

В этой же статье Платонов указывал на те ошибки при строительстве канала, которые были допущены в Петровскую эпоху: «...Петр страшно извел могучие леса, обнажил почву, поверхностный сток воды ничем не

задерживался — реки начали засоряться, мелеть и заболачиваться» — и это уже речь не отчаянного борца с белогвардейской природой, а экологически грамотного, мыслящего специалиста.

Еще один из «епифанских» мотивов — принуждение народа к строительству, и здесь мы тоже видим фактическое отрицание Платоновым сходства двух эпох. Если и в повести, и в публицистике Платонов констатирует народное неучастие в делах Петра, явное или неявное сопротивление и саботаж, то в авторской современности все обстояло иначе, пусть даже определенные смысловые переключки и были. «Отношение населения к общественно-мелиоративным работам в Воронежской губернии всюду самое сочувственное... — писал мелиоратор Платонов в донесениях, отчетах, служебных и личных письмах. — Картина работ чрезвычайно красивая. Хохлы, хохлушки (с бусами на шее, в расшитых сорочках), волю, костры, тачанки — все это гремит, движется каруселями у плотины, блестит на солнце лопатами, а надо всем стоит бич — десятник, не дающий задуматься созерцательной украинской нации. Хорошо. Это — фронт, это напор и действительная работа». И как итог: «И если общественно-мелиоративные работы имеют в Воронежской губернии относительный успех, то этот успех выведен как результат из диалектического уравнения, с одной стороны были обстановка недорода, переменная рабочая сила, ее неквалифицированность и пр., и пр., с другой — неспящий, всегда на подводах, увлеченный единой идеей, технический персонал и поднятое им на дыбы в борьбе за жизнь и будущую прочную судьбу передовое крестьянство».

Бич-десятник, поднятое на дыбы крестьянство — по своим методам это, конечно, петровское, но оно в глазах Платонова осмыслено, оправдано, освящено. Будь советская критика объективнее, честнее и

доброжелательнее к пролетарскому автору, она высказалась бы о его сочинении иначе, увидев во взглядах классово близкого писателя подчеркнутую роль народного сознания, которую, говоря о Петровской эпохе, он отрицал («...у нас народ такой охальник и ослушник!» — судит с позиции партии власти воевода Салтыков) и которая, с его точки зрения, при всех издержках и гримасах реального социализма проявила себя два столетия спустя. Платонов нимало не лукавил, а, напротив, искренне и убежденно писал в статье «Против халтурных судей» в ответ на обвинения в скрытой контрреволюционности: «В „Епифанских шлюзах“ у меня показано, что замыслы петровской эпохи осуществлялись против масс и в этом их бессилие. Стрельникова же толкует исчезнувшим фактом факт современности».

«Епифанские шлюзы» были призваны подчеркнуть «дутьость» петровских прожектов не в подтверждение, а в опровержение дутости прожектов Великого Октября. Повесть, если уж и пытаться толковать ее с точки зрения аллюзий на современность, построена скорее не на сближении, а на противопоставлении двух эпох. Другое дело, что этой идеей «Епифанские шлюзы» не исчерпывались и повесть не сводилась к тому, чтобы хулить или хвалить современную жизнь. Ее автор — сторонник социализма, работник, инженер — да, но не агитатор, не пропагандист, не подпевала, не Демьян Бедный и даже не Владимир Маяковский — глубина и трагизм, объем и плотность жизни, осознание хрупкости и катастрофичности бытия мешали Платонову таковым стать, даже если б он захотел.

В «Епифанских шлюзах» показана неразрешимость столкновения человека и власти, человека и природы, человека и истории, человека и судьбы в докоммунистическую эпоху, представляющуюся автору еще более трагической, чем в современности или в

будущности, где эти противоречия должны быть благодаря революции решены. А пока что... «Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует». История Бертрана Перри написана по законам античной трагедии, героя гонит рок, которому он в какой-то момент перестает сопротивляться и потому, что «кровя у него дохлые», и потому, что сам он слишком много чужой крови напрасно пролил, и потому, что казавшееся ему ясным и сподручным на планшетах, оказывается лукаво, трудно и могущественно в реальной жизни, и наконец потому, что он очарован, пленен, лишен воли и его жизнь оказывается жертвоприношением — в этом смысле Платонов полемичен по отношению к тем, кто называл пассивность, женственность и безвольность исключительными чертами русского народа.

Ничего подобного — народ живет своей мужественной жизнью, народ переживает царя, переживает все его прожекты, в крайнем случае убежит — благо в России с ее пространствами есть куда бежать. А вот мрачный Бердан Рамзеич (так по-свойски звали Бертрана), честный иностранец, прозванный сначала своими подчиненными Каторжным Командиром, а потом окрещенный сопровождающими его на казнь стражниками цыплаком, лучше б не приезжал в далекую страну во глубине азийского континента, не бросал бы невесту, погубив и ее, и свою жизнь. Оплаканый жалостливыми епифанскими бабами и за свое мужское одиночество, и за горемычную честность (нечестные, негоремычные, неоплаканые, подобные французу Трузсону, истинному виновнику неудачи Бертрана, выживают и обогащаются — но только России ни те ни другие не нужны, ибо России, по Платонову — а не по Петру Первому! — вообще не нужны иностранцы, она самодостаточна, и результат в ней будет достигнут лишь тогда, когда ее

народ сознательно возьмется за дело, и в этом смысле Платонов, конечно, «антиевропеец» и почвенник, и в революции он видел не западную заразу, а выражение национального начала), Перри погибает в кремлевской пыточной башне, причем казнь совершается при весьма загадочных, непроясненных обстоятельствах.

«Бертран Рамзей Перри, — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя, — по приказу его величества, государя императора, ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай. Царствие тебе Божье. Все ж ты человек».

Проведение казни катастрофически отличается от гуманного приговора и противоречит сухим и разумным комментариям политкорректного западного слависта Томаса Лангерака: «Казнь Бертрана Перри не только не соответствует судьбе исторического прототипа, но и противоречит условиям, на которых иностранцы приглашались в Россию».

В повести все иначе.

«У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.

— Где ж твой топор? — спросил Перри, утратив всякое ощущение кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек.

— Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь!

Резким рубящим лезвием вlepилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу.

И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее: он увидел кровь в своих онемелых остывших глазах и свалился в объятия воющего палача. Через час в башне загремел железом дьяк.

— Готово, Игнатий? — крикнул он сквозь дверь, притуляясь и прислушиваясь.

— Обожди, не лезь, гнида! — скрежеща и сопя ответил оттуда палач.

— Вот сатана! — бормотал дьяк. — Такого не видал вовеки: пока лютостью не изойдет — входить страховито».

«Петр казнит строителя шлюзов Перри в пыточной башне в странных условиях. Палач — гомосексуалист. Тебе это не понравится. Но так нужно», — написал Платонов жене, и сколько б ни гадали исследователи по всему миру, почему так нужно, сколько б самых разных, фантастических версий ни выдвигали, исчерпывающего ответа, разрешения этой ситуации не находят. Единственное, что можно утверждать почти наверняка, не выходя за рамки «Епифанских шлюзов», — Платонов, а вернее, тот внутренний его человек, кого он видел за столом у печки быстро пишущим, на сей раз не улыбался, а выбрал самую кошмарную расправу, каковая только могла ему привидеться, и эта казнь опрокидывает все умозрительные рассуждения о дутости или недутости петровских либо великооктябрьских прожектов, евразийстве, славянофильстве, западничестве... «Ужасный век, ужасные сердца», от которых остается лишь духовитый пакет с марками иноземной державы на имя мертвеца, положенный воеводой Салтыковым от греха подальше за божницу на вечное поселение паукам, два столетия спустя извлеченный и вскрытый много что пережившим и все равно ужаснувшимся его содержанию 28-летним русским писателем, — вот что такое платоновские «Епифанские шлюзы».

Противовесом к истории Бертрана Перри, своеобразным противоядием и защитой от его судьбы стала не то что незаконченная, а фактически едва успевшая начаться повесть «Однажды любившие» с

лирическим авторским зачином: «Три вещи меня поразили в жизни — дальняя дорога в скромном русском поле, ветер и любовь».

Далее следовали письма главного героя к его жене, перекликающиеся с теми, что писал Платонов Марии Александровне из Тамбова: «Тяжело мне как в живом романе». Ему и в самом деле было очень тяжело. По незаконченным фрагментам «Однажды любивших» это столь остро не ощущается, здесь многое опущено и противоречия сглажены, а вот при чтении реальных тамбовских писем Платонова к жене хорошо видно, что в ту зиму их брак оказался на грани распада.

Платонов чувствовал ответственность за жену и четырехлетнего сына («Оба вы слишком беззащитны и молоды, чтобы жить отдельно от меня... Оба вы беспокойны и еще растете — вас легко изуродовать и обидеть»), ему казалось, что он не может должным образом семью обеспечить, хотя практически все зарабатываемое, а зарабатывал он не так уж мало, он отсылал в Москву, сам снимая дешевую, холодную комнату: «Похоже, что я перехожу в детские условия своей жизни: Ямская слобода, бедность, захолустье, керосиновая лампа». Он мучился от того, что жена к нему не приезжает и почти не пишет, а если пишет, то письма ее холодны и слова при редких личных встречах жестоки: «Я был очень растревожен твоими выпадами и открытой ненавистью ко мне. Ты знаешь, что дурным обращением даже самого крепкого человека можно довести до сумасшествия».

В вынужденной разлуке Андрей Платонович и Мария Александровна изводили друг друга ревностью, и Платонову приходилось не столько оправдываться, сколько вырывать из сердца признания: «Я тебя никогда не обманывал и не обману, пока жив, потому что любовь есть тоже совесть и она не позволит даже думать об измене. <...> Твои намеки и открытое

возмущение бьют мимо цели, т. к. я совершенно одинок и не соответствую твоей оценке. Пока я твой муж, по отношению к тебе я не подлая душа и не гаденькая личность. Работа меня иссасывает всего. А быть физически (хотя бы так!) счастливым я могу только с тобой. Я себе не представляю жизни с другой женщиной. Прожив с тобой всю молодость, наслаждаясь с тобой годами — я переделался весь для тебя».

Он тяжело переживал служебные неудачи и терзался: «...во мне ты разочаровалась и ищешь иного спутника, но наученная горьким опытом, стала очень осторожна; в Москве, поэтому, тебе жить выгодней одной, чем в провинции со мной (твоим мужем)». А в другом письме было еще более горькое: «Когда я тебе перевел телеграфом 50 р., то ты, не спросив меня (я тебе почтой потом послал еще 40 р.), сразу заявила — „я быстро найду себе друга и защитника“. А если бы я перевел тебе 500 р., ты бы, наверное, мне писала другое».

Его лихорадило и бросало в крайности, он перебирал прожитые годы, то вспоминал их с радостью, то они казались ему ужасными за исключением лишь начала их любви: «Я как-то долго представлял в воспоминаниях нашу первую встречу, наши первые дни. Помню, какая ты была нежная, доверчивая и ласковая со мной. Неужели это минуло безвозвратно?»

Но дело не только в том, что семейная лодка грозила разбиться о быт и разлуку и Платонов испытывал разочарование в любимой женщине, не переставая ее любить. Происходящее в личной жизни стало ударом по тем ценностям, которые он исповедовал, по жизненной философии, не выдерживавшей испытания не бытом — бытием. «Но какая цена жене (или мужу), которая изменяет, ищет другого и забывает так быстро! Это дешево стоит. Но

любим-то мы сердцем и кровью, а не мозгом. Мозг рассуждает, а сердце повелевает. И я ничего поделывать не могу, и гипертрофия моей любви достигла чудовищности. Объективно это создает ценность человеку, а субъективно это канун самоубийства. <...> Время нас разделяет, снег идет кучами. Милая, что ты делаешь сейчас? Неужели так и кончится все? Неужели человек — животное и моя антропоморфная выдумка одно безумие? Мне тяжело, как замурованному в стене... <...> Ты могла бы быть счастливой и с другим, а я нет».

«Я не могу жить без семьи. Я мужчина и говорю об этом тебе мужественно и открыто. Мне необходима ты, иначе я не смогу писать.

Как хочешь это понимай. Можешь использовать это и мучить меня. Но следует договориться до конца»^[17].

Его письма содержали признания глубоко интимного характера, цитировать которые представляется не вполне уместным. Однако в повесть «Однажды любившие» ничего из этого не вошло. Она осталась незавершенной, но роль этого произведения, замысел его в жизни Платонова очень важен — то была отдушина, форточка во враждебном мире, еще одной гранью которого стал «Город Градов» — написанная в духе Салтыкова-Щедрина сатира на советскую бюрократию.

За безжалостную ядовитую картину автору от советской критики тоже досталось («Андрей Платонов смотрит на бюрократизм с полной безнадежностью, ибо считает, что бюрократизм породила сама „советизация как начало гармонизации вселенной“»), но своеобразным ключом от ворот мертвого города за рекой может служить один из предпосланных «Градову» эпиграфов, очевидно сочиненный самим Платоновым и приписанный им некоему Прохору

Годяеву, мыслителю XVII века: «Чем больше обещает юность в будущем, тем смешнее она в настоящем».

О чем идет речь, кому адресован этот эпиграф, казалось бы, напрямую ни с кем из героев не связанный? Его можно отнести к молодой советской республике, которая смешна своим бюрократизмом, канцелярщиной, ложью, бестолковщиной, прожектерством, воровством («...сколько ни давали денег этому ветхому, растрепанному бандитами и заросшему лопухами уезду, — ничего замечательного не выходило»), смешна своими гримасами, случайными чертами, и автор, не пытаясь их стереть, а подчеркивая, обнажая, дает волю иронии и сарказму. Чего стоят такие выпады: «...чтобы построить деревенский колодец, техник должен знать всего Карла Маркса» или вычеркнутый редактором фрагмент речи Шмакова на бюрократической пирушке: «Мастеровой воевал, а чиновник победил!»

Но за ними, поверх них все равно проглядывает, угадывается великое будущее или, точнее было бы сказать, жажда великого будущего советской державы, и такой эпиграф не столько объяснялся намерением сатиру смягчить, но прежде всего он не противоречил мировоззрению Платонова, человека преданного не только стране, но и до определенной поры тому политическому строю, который в ней восторжествовал.

Платонов, в отличие от многих своих современников — писатель, состоявшийся не вопреки либо независимо от социализма, а благодаря ему, и он это хорошо осознавал — недаром самая трагическая из его повестей «Котлован» заканчивалась послесловием, писавшимся отнюдь не по конъюнктурным соображениям, но искренне, от сердца: «Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто

любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего». Точно так же и в «Городе Градове» платоновский сарказм диктовался не злопыхательством, не ненавистью к советскому строю, а обостренной, болезненной любовью, требовательностью и страхом за него.

«Не желчь бьет ключом из его произведений, а тоска, нетерпеливая тоска по социалистической жизни, понятая им не через организацию, а через мечтательность», — говорил по схожему поводу о творчестве писателя симпатизировавший ему критик Николай Замошкин на творческом вечере Андрея Платонова во Всероссийском союзе советских писателей 1 февраля 1932 года, а другой платоновский сторонник и тоже критик, Яков Черняк, в неопубликованной статье «Сатирический реализм Андрея Платонова» заключал: «Даже комическое, даже „злое“ в его повести звучит только под куполом нашей эпохи, только в круге наших идей и чаяний».

Все это так (хотя удержать Платонова под куполом социализма все равно что запереть ветер), но, с другой стороны, странно было бы говорить о юности страны с тысячелетней историей, тем более что автор укорененность Градова в истории России подчеркивал на протяжении всего повествования, начиная с первых строк («От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, — все эти князья Енгалычевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство...») и заканчивая прямыми историческими параллелями и аналогиями, которые в окончательный текст не вошли. В платоновском замысле присутствовал, например, Ленин как «новый Иван Калита, с той разницей, что тот собирал княжеские клочья безмасштабной московской Руси, а Ленин собирает клочья всего растрепанного

империалистического мира; но сложить эти ключья можно в единственную сумму — социализм».

Эпиграф появился в «Городе Градове» не сразу, а после того, как повесть, тогда еще рассказ-хроника, была отослана на рецензию Литвину-Молотову, и тот сделал довольно много замечаний по тексту: «Смеха, юмора — нет. Злобы, печали, скуки, уныния полон короб». Но не было еще здесь (как не было и в «Антисексусе») лирического начала, одной из самых сильных сторон платоновской прозы. А между тем лирическое начало напрашивалось, и можно согласиться с Томасом Лангераком: «Между главным героем повести и автором есть некоторое сходство, в котором чувствуется насмешка автора над собой».

Бюрократ Иван Федотович Шмаков, как и его создатель, направлен в Градов из центра на должность заведующего подотделом земельного управления с заданием таким же или похожим на задание, данное Платонову, «врасти в уездные дела и освежить их здравым смыслом». Можно почти не сомневаться, что командированный из Москвы сотрудник Наркомзема подобно своему герою вышел на попутной станции, чтобы выпить в буфете водочки, можно утверждать, что при сошествии в Градове-Тамбове его охватила та же жуть, что и Шмакова, нельзя исключить того, что у него тоже оторвались пуговицы от новых штанов, купленных в Талдомове-Москве, ибо «советский материал — мягкая вещь». Однако более существенное совпадение между писателем и его, казалось бы, отрицательным героем просматривается в вопросах мировоззренческих, пусть не теперешних, но еще совсем недавних.

«Самый худший враг порядка и гармонии, — думал Шмаков, — это природа.

Всегда в ней что-нибудь случается... А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород.

Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!»

Это буквально совпадало с мыслями юного Платонова, когда он грозил природе Страшным судом во время голода 1921 года или называл ее отбросами и эксcrementами истории в 1922-м. Не прошло и пяти-шести лет, как он доверил, пусть и в сниженном виде, сокровенные мысли бюрократу, ибо его собственное отношение к природе стало иным, более глубоким и сложным. «Природа беспощадна и требует к себе откровенного отношения», — писал он в предисловии к повести «Однажды любившие».

Сокровенная шмаковская тема — «советизация как начало гармонизации вселенной» — есть не что иное, как иронический перифраз ранних платоновских статей и стихов, предполагавших пролетарский штурм космоса. Настойчивое целомудрие, которое он предписывал и которым наделял своих главных героев от Вогулова до Бертрана Перри, отозвалось в «Городе Градове»: «Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие».

Недаром, по свидетельству Августа Явича, Платонов говорил о своих ранних философских взглядах: «Наверное это было смешно. Впрочем, — добавил он с улыбкой, — кто умеет осмеять себя, уже не может быть смешным».

«Город Градов» заканчивался так же, как закончились «Эфирный тракт» и «Епифанские шлюзы», — смертью главного героя. Шмаков умирает в должности уполномоченного по фунтовым дорогам после того, как Градов перечислен в заштатные города и в нем учрежден сельсовет. Умирает Иван Федотович от «истощения на большом социально-философском

труде» под названием «Принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия», не успев осуществить своих планов, в которых тоже было нечто пародийное, смешное в том числе и по отношению к проектам самого автора сотворить нового мозгового человека.

Таким оказался общий итог трех тревожных, вопрошающих без ответа, горестных без утешения тамбовских повестей, и в эпидемии смертей их героев было что-то насильственное, тупиковое, отчаянное. Впечатление такое, что не один Михаил Кирпичников, а все они привиделись автору во сне, со всеми он переговорил, всех взвесил на таинственных весах и, найдя легкими, отправил своей волей в царство мертвых.

«Герои „Лунных изысканий“, „Эфирного тракта“ и „Епифанских шлюзов“ — все гибнут, имея однако право и возможность на любовь очень высокого стиля и счастье бешеного напряжения», — писал Платонов жене 30 января 1927 года. И в факте этой гибели можно увидеть не только нереализованную любовь, но и авторское разочарование в обреченных персонажах. Однако надежд не оправдывал и «питомник нового человека», изумрудное будущее не вытанцовывалось — к утопии прибавлялась приставка «анти», но диалога с нею Платонов не прекращал и чем дальше углублялся путешествующий внутрь человечества писатель, тем сильнее становилось давление на него извне.

Глава шестая ЗАРОСШИЕ ЖИЗНЬЮ

Весной 1927 года Платонов вернулся в Москву. Незадолго до отъезда из Тамбова он писал жене: «Здесь дошло до того, что мне делают прямые угрозы <...> Правда на моей стороне, но я один, а моих противников — легион, и все они меж собой кумовья. <...> Здесь просто опасно служить. Воспользуются каким-нибудь случайным техническим промахом и поведут против меня такую компанию, что погубят меня. Просто задавят грубым количеством. Сегодня было у меня огромное сражение с противниками дела и здравого смысла. И я, знаешь, услышал такую фразу, обращенную ко мне: „Платонов, тебе это даром не пройдет...“»

Пожалуй, самая характерная проговорка в этом письме — «воспользуются случайным промахом и погубят» — своеобразная рифма к судьбе Бертрана Перри или же к участи ожидающего пролетарского суда безымянного начальника дистанции из повести «Сокровенный человек», у которого равнодушие выпарило душу и от сердца осталось одно сухое место. Будучи советским служащим, автор со знанием дела описывал внутреннее состояние своих подневольных героев и в этом смысле годы государевой службы зачлись ему в прозе с лихвой, но настало время, когда литература напрямую пригрозила перейти в жизнь. Фантомы царей и палачей стали оживать, и Платонов, эту опасность остро почувствовавший, от следующей командировки — а ему предлагалась Тула, от которой во всех смыслах слова было недалече до Епифани — отказался.

«...я бился как окровавленный кулак, — писал он со свойственной ему, как сказал бы Авербах,

двусмысленностью, — и, измучившись, уехал, предпочитая быть безработным в Москве, чем провалиться в Тамбове на работах и смазать свою репутацию работника, с таким трудом нажитую <...> Я снова остался в Москве без работы и почти без надежды... <...> Это палачи. Я сам уйду из союза... <...> Они привыкли раздумывать о великих массах, но когда к ним приходит конкретный живой член этой массы, они его считают за пылинку, которую легко и не жалко погубить. Неужели нигде нет защиты?»

Позднее размышления о соотношении общего и частного, массы и отдельной личности отразятся и в «Ямской слободе», и в «Усомнившемся Макаре», но все это означало одно: государственная служба для писателя временно закончилась (хотя по возвращении из Тамбова Платонов устроился на работу в Центросоюз, однако в середине лета 1927 года попал под сокращение штата), и надежда оставалась на одну только верную музу, которой он и стал служить с еще большим усердием, нежели в былые годы. Она это оценила и ответила ему с той щедростью и отзывчивостью, что выпадает на долю не каждого, берущегося за перо. В том числе это касалось и материального положения ее избранника. Разумеется, потерявший работу губернский мелиоратор стал гораздо больше писать не только потому, что за книги ему платили, хотя финансовый вопрос для него, обремененного семьей, был важен («Договора на обе книги можно заключить теперь же и теперь же получить по ним деньги», — писал Платонов жене еще из Тамбова в конце января), а потому, что слишком многое накопилось в душе, и именно в 1927 году он стал не ведающим робости начинающего мастером: «Нечего мне сусолить пилюлю. Дайте мне малое, а большое я сам возьму. Не тяните время».

Двадцативосьмилетний Андрей Платонов входил в литературу сильным, крепким, уверенным в себе и своих силах человеком, входил как власть имеющий — достаточно сравнить его переписку с Госиздатом в 1921-1922 годах с тем, как он вел себя с издателями теперь. И хотя общий мотив — не трогать его стиля, ничего не поправлять — присутствовал и там и там, теперь это требование не казалось чрезмерным. Не все у него получалось, не все планы сбывались (так, не сбылось написать обещанный в письме жене от 28 января 1927 года роман о Пугачеве: «Я хочу в Пугачеве работать для себя, а не для рынка. Будь он проклят»), не удалось войти в киносценарное сообщество и поступить на службу в Совкино, но все же в июне 1927 года в журнале «Молодая гвардия» была опубликована повесть «Епифанские шлюзы», а в июле издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу с одноименным названием, куда помимо «Епифанских шлюзов» вошли «Город Градов» (в первой редакции), «Иван Жох», «Песчаная учительница», «Луговые мастера» и другие рассказы. Так год 1927-й стал годом уже не рождения, но официального признания Платонова-прозаика.

«...я накануне лучшей жизни. Литературные дела идут на подъем. Меня хвалят всюду. Был в „Новом мире“ — блестящая оценка. Либретто — тоже. „Епифанские шлюзы“ — также», — писал он жене в первой половине июля.

При этом писатель Платонов не переставал быть читателем. Он следил за тем, что делается в современной ему литературе, и своеобразной реакцией на литературную ситуацию второй половины двадцатых годов стал не опубликованный при жизни автора фельетон «Московское Общество Потребителей Литературы (МОПЛ)», один из героев которого, инженер Иван Павлович Воищев, говорит: «...если я занимаюсь постройкой железнодорожных мостов и заведу

верхним строением пути, то литература должна заниматься человеком. А литература сейчас занимается не человеком, не антропосом, а человекоподобным, антропоидом... Берет писатель чудо-человека и начинает его вращать: получается сочинение. Но никак не заметит, что его человек не чудо, не жизнь, а урод, белый мозг и ситцевая кровь. Нам же нужен настоящий человек, то есть глубокий, — человек, душа, характер, мученик подвига, мозга и сердца, или дневной обыденности, — нечто искреннее и действительное, иначе ведь не бывает. Да все это известно вам... Я хочу сказать, что читать мы все равно будем, как все равно будем есть. Я из тех, кто старые метрики из-под селенок в девятнадцатом году читал. Но зачем нам читать сейчас то, что нехорошо написано, — не едим же мы сейчас черных лепешек от вокзальных баб, почему же мы, читатели-потребители, не организуем гигиенического и сытного хлебозавода в литературе?.. Дайте нам есть то, на что тянет наш желудок, — долой черные пышки-лепешки! Долой вокзальных баб в литературе!»

Трудно сказать, насколько эта образная речь выражала точку зрения автора фельетона, но несомненно она была ему близка. Еще в 1920 году ответивший на вопрос о своей принадлежности к литературным направлениям — «ни к какому, имею свое», что тогда прозвучало, быть может, несколько самонадеянно, Платонов семь лет спустя остался верен своему «однообразному идеалу». Он не только не стремился вписать себя в какое-либо литературное течение и примкнуть к коллективу, он задибался, шел на конфликт, причем не с литературной посредственностью, не с вокзальными бабами, а с гражданами вполне респектабельными и с творениями, которые трудно назвать бледной немочью и позором, испеченными на известковых дрожжах, — с «Аэлитой»

Алексея Толстого (хотя тут могли быть классовая неприязнь и ревность к жанру, который Платонов освоил не хуже Толстого), «Чертухинским балакирем» Сергея Клычкова, «Цементом» Федора Гладкова, произведениями Лидии Сейфуллиной и Пантелеймона Романова. Это скрытое противопоставление себя другим, вероятнее всего, было нужно ему как пространство для разбега, как точка отталкивания и, возможно, как некое внутреннее оправдание, ответ на вопрос — для чего он, серьезный инженер, специалист, некогда публично заявивший о том, что ему некогда заниматься такими пустяками, как писательство, вдруг решил к этим пустякам вернуться. А вот для таких читателей, которые ищут в литературе, «чтобы я, когда хочу выругать жену, — вспомнил книгу — и не выругал».

Здесь очень важный психологический, мировоззренческий момент: Платонов ушел или пришел в литературу не для карьеры или достижения личного успеха, не для самовыражения, не для осуществления заветной мечты, не для покорения творческих вершин и даже не для обретения внутренней свободы. Изначальная его задача была скромнее, конкретнее и утилитарнее: выполнить внятное ему читательское требование пользы и доброты от чтения. И своеобразным воплощением требования инженера Воищева показать человека глубокого, с душой и характером стала повесть «Сокровенный человек», работа над которой началась сразу по возвращении писателя в Москву в начале апреля и закончилась в конце мая 1927 года. В этом смысле скорость, с которой вчерашний мелиоратор изготовлял литературную продукцию, поражает и восхищает не меньше ее качества.

«„Сокровенный человек“ — это первый глоток воздуха после Тамбова. Вся удивительная по

поэтичности ткань „Сокровенного человека“ дышит этим освобождением от „страшного Тамбова“», — очень точно написала об этой повести Н. В. Корниенко, и казалось это освобождение не только на поэтичности повествования, но и на характере главного героя, который фактически противопоставлен героям «тамбовской трилогии», и, несмотря на свою воздушную фамилию Пухов и автохарактеристику «я — человек облегченного типа», взвешенный на весах, оказался отнюдь не легок.

Мастеровой Фома Егорович Пухов в платоновском мире личность уникальная по ряду причин.

Во-первых, в отличие от господ-товарищей Перри, Попова, Матиссена, Кирпичниковых и Шмакова он не умирает, при том, что шансов погибнуть от голода, тифа, огня, меча, пожара, нашествия иноплеменников, а особенно от междоусобной брани у Пухова выше крыши. Но нет, жив курилка, жив, потому что живуч, потому что слишком велика в нем жизненная энергия, и именно он оказывается частью бессмертного, неуничтожимого народа. Не жертва истории, но ее победитель.

Во-вторых, в противоположность мозговым героям «Эфирного тракта» и пародийно-мозговым «Города Градова» Пухов, по собственному определению, — природный дурак. Он не хочет растить мозг, не стремится в царство сознания, и ему нет дела до советизации тире гармонизации вселенной, его родина — не в будущем и не на небе, а здесь и теперь.

В-третьих, в его жизни отсутствуют, по крайней мере видимые, провозглашенные, очевидные цели, без которых иные платоновские герои не мыслят своей жизни и этим целям настойчиво следуют, будь то открытие эфирного тракта, построение канала или написание капитального труда об упорядочении человеческой души.

Пухов по-настоящему свободен и независим, неподотчетен, он ускользает от мира, жаждущего его поймать, как Григорий Сковорода: мир ловил меня, но не поймал. Так выстраивается логическая цепочка: отец и сын Кирпичниковы как сознательные герои, Шмаков как пародия на них, Пухов как антигерой. А вернее, он и есть истинный герой, к образу которого приходит Платонов, сводя в этой точке счеты с иллюзиями юных лет, но не отбросив их, а бережно отсеяв, отобрав, оставив самое важное, самое сокровенное, например, вот такое, относящееся к описанию красноармейцев накануне десанта в Крым:

«В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверно, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества оттого, что их хотят уменьшить в количестве... <...>

Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной.

Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя. <...> крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми, — без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась».

Это возвышенная и одновременно жутковатая героическая картина уравнивается пуховским здравомыслием, его мерой понимания революции, которая лишена ослепления, безрассудства и отвлеченности от жизни («одними идеями одеваемся, а порток нету»), и Платонов, глядя на происходящие события зоркими глазами и умным сердцем своего

протагониста, показывает революцию как многоуровневое строение. Повесть замечательна операторской работой. Наряду с готовыми отдать жизнь героями-красноармейцами есть разъезжающие в хороших поездах толстые военные вожди («маленькое тело на сорока осях везут... на канате вошь тащат»), которые не запоминают ни одного человеческого лица, есть дурацкие комиссары, комиссии и учреждения — с ними «беспартийный ворчун» Пухов спорит, конфликтует («сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка»), получает от них обидные прозвища, но в современной ему действительности, полной неожиданных опасностей, ловушек, поворотов и переворотов, чувствует себя своим, из всех ситуаций выходит победителем от абсурдного столкновения рабочих-железнодорожников с разъездом белоказаков в начале повести до благоразумного и дальновидного отказа Фомы Егоровича вступить в партию большевиков в конце.

При этом Платонов не стал героизировать своего протагониста и превращать его в былинного молодца. Подвиг, который пытается совершить Пухов во время сомнамбулического нашествия белых на город, заканчивается крахом, обманутым ожиданием. Пухов попадает впросак и оказывается под подозрением у своих товарищей, но и здесь его выводит некая спасительная сила — «Потом ячейка решила, что Пухов — не предатель, а просто придурковатый мужик» — и как раз этой силы, этой удачи не хватило ни Бертрану Перри, ни безымянному начальнику дистанции, ни сотням красных и белых, polegших на страницах повести. Пухову постоянно везет, но в этом везении есть нечто глубоко закономерное и естественное — органическое. Гипотетически продолжая линию

пуховской жизни, можно предположить, что такой человек не даст себя поймать никому, не сгинет, но уцелеет, пройдет через все испытания века. Он заговорен, обречен на жизнь (не случайно автор снабдил название повести сноской: «Где он сейчас — не знаю, но жив») подобно тому, как обречены на смерть другие платоновские герои.

Мотивы жизни и смерти в «Сокровенном человеке» поразительным образом перекликаются, перебиваются друг другом. В один из самых критических, опасных моментов красноармейского десанта в Черном море с нулевыми шансами уцелеть «неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине — как люди молча и тайком собирались на гибель». Необходимость жить выступает против неизбежности умереть и — побеждает. Побеждает фактически благодаря Пухову. Впечатление такое, что это присутствие сокровенного человека спасло моряков на «Шане» от потопления, ибо убить Пухова значило бы пойти против идеи жизни. В этом смысле «Сокровенный человек» стал для Платонова временным преодолением трагического, катастрофического начала и **видения** жизни, при том, что события, в повести описанные — отнюдь не идиллия, там изображены война, голод, разруха, неприкрытое человеческое горе («горе кругом, а ты разговариваешь!»), там показана сорвавшаяся с места и разбредшаяся по всему миру страна («каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться»), и смертей происходит даже больше, чем в других произведениях.

«Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел.

Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела».

Умирают военные и гражданские, старые и малые, мужчины и женщины, и все же смерть, сколь бы богатый урожай ни собрала она на Русской земле, не подавляет жизни — в «Сокровенном человеке» меняется угол зрения, и таинство смерти становится продолжением таинства жизни.

«Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афонина три пули защемились сердцем, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

„Ведь я умираю — мои все умерли давно!“ — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания».

Это метафизическое, философское измерение в «Сокровенном человеке» не отменяло тревожности, полемичности, социальности, прямого несогласия с тем, что делалось и делается вокруг — повесть благодаря пуховскому здравомыслию вызывающе сатирична, но хорошо чувствуется, что вещь написана на внутреннем преодолении тамбовской, город-градовской духоты и абсурда, на выходе в русское степное пространство, которое успокаивает в страдании и увеличивает радость в душе не только героя, но и его создателя.

В ней получают новое, живое развитие вечные платоновские мотивы, например, мотив странничества, который соединяется с сокровенной платоновской эротикой, и всюду начинает звучать ни на что не похожий голос его горла, гортани: «Пухов шел, плотно

ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть — он шагал почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они?

Ветер тормозил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская любовь цельной непорченной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу».

В этом фрагменте наверняка очень много личного, самому Платонову свойственного. Нет сомнения в том, что так написать можно было, лишь глубоко почувствовав плотскую связь между человеком и землей, причем не просто как древний фольклорный архетип, а пропустив через собственные душу и тело, открыв заново, вспомнив, вернувшись и благодаря этому придав словам новое, иногда противоположное значение. Так сладострастие в «Сокровенном человеке» — не только проявление похоти («сладострастие размножения»), а освобождение от трусости («сладострастие мужества») или от мещанства («сладострастие странничества»).

Повесть начинается с хрестоматийно известных строк о том, что Фома Пухов колбасу резал на гробе жены, ибо естество свое берет, но уже после того, как прошло немало времени, после того, как Пухов поучаствовал в стычках с белоказаками, вступил в

Красную армию, сплавал по Черному морю по маршруту Новороссийск — Керченский пролив — Новороссийск и отработал четыре месяца старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства, автор снова возвращается к образу умершей от не сделанного вовремя «капитального ремонта» женщины, о которой ее муж не переставал думать, которая присутствовала в его жизни всегда и он оставался ей физически верен, отбиваясь от тех, кто хотел «его женить и водворить в брачную усадьбу». Это ее смерть и утрата дома, а не желание стать красным дворянином сорвала его с места и погнала по белу свету, заставляя соотносить случившееся с общим ходом вещей и превращая его в своеобразного бродячего философа. Недаром «Страной философов» называлась повесть в одном из своих первоначальных вариантов.

Фома Пухов, этот, казалось бы, веселый, неунывающий человек, этот Василий Тёркин Гражданской войны, ерник, шут и балагур — чего стоят его фантастические рассказы о войне как пародия на молодую советскую баталистику («Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о Троцком, которого никогда не видел: — Речистый мужчина и собою полный герой!»), этот, по выражению критикессы Раисы Мессер, «искатель, враль, забияка, стихийник и растерянная душа, он живет вслепую», — на самом деле человек глубоко закрытый и зоркий, и автор не сразу, а постепенно, чередуя внешнее с внутренним, событийное с психологическим, раскрывает душу своего героя, чья роль в повествовании гораздо важнее, глубже, проникновеннее функции добросовестного очевидца и участника исторических событий. Благодаря его восприятию создается философский пейзаж, пронизанный печалью, любовью и той мерой человечности, какой не было, пожалуй, ни у одного из предшествующих Пухову платоновских персонажей.

«Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.

Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности, — Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял — куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя дюже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню, — отвечал Пухов, — в шагу человека один аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко зайти, — я так понимаю; а, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели, — разъяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога травят, — не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс, — советовали коммунисты.

— К этому привыкнуть еще надо, — рассуждал Пухов, — а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца».

Здесь очень много дорогих для Платонова мотивов, в том числе обнажающих расхождение автора с официальной идеологией революции. Более того,

можно увидеть очень важную, сокровенную мысль об общности русской судьбы, не важно, белой или красной — все легли в одну землю, всех ждет одна участь быть переработанными почвой в «удобрительную тучность», все герою дороги потому, что умерли, и все подлежат научному воскрешению. Для человека, который не так давно призывал сжечь, уничтожить, истребить контрреволюцию, белую гадину, это даже не милосердие и не прощение чьей-либо исторической вины или признание иной правды, но глубинное понимание трагедии расколотого русского народа дорогого стоит. В этой точке Платонов вольно или невольно сближался и с Булгаковым, у которого в «Белой гвардии» в сонном видении Алексея Турбина белые и красные вместе попадают в рай, и с Шолоховым с его знаменитыми строками-эпитафией из «Тихого Дона», написанными на одной из бесчисленных русских могил братоубийственной войны:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.

Фома Пухов — странник, инок, созерцатель и делатель, который то противопоставляет себя остальным, то сближается с ними, идет то к людям, а то от них, и в этом движении, в противоборстве сил отталкивания и притяжения заключено содержание его судьбы, итогом которой становится победа единения, собирания нации и преодоление сиротства отдельного человека в разворошенном послереволюционном мире.

Хорошо известна и часто цитируема формула платоновского героя второй половины 1930-х годов: «Без меня народ неполный». Но, прежде чем к ней прийти, в «Сокровенном человеке» автором утверждается обратная истина: неполным чувствует

себя без народа его герой. «В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем, — и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротишь».

Чувство причастности к общему делу, которое испытывает платоновский протагонист в момент максимального подъема, напряжения духовных и душевных сил в начале своих странствий, возвращается к нему в самом конце повествования и становится своеобразным итогом его исканий. Нечаянное возвращается к Пухову, а сам он возвращается от ненужной жены к детской матери, освобождается от своей очарованности странничества, освобождается от власти плоти, и в этой точке его жизнь *исполняется* в буквальном смысле этого слова, то есть становится *полной*.

Вся история Пухова есть оставшееся за рамками сюжета удаление от поры детства, когда ему «чисто жилось», затем странствие по заросшей жизнью чужбине, когда герой «весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда он ехал и кто он такой», и, наконец, возвращение к детской чистоте — через нее Пухов обретает себя, не зная, что с ним происходит — умирает он или рождается, но обновляется естественным путем безо всяких советских питомников, еще совсем недавно чаемых и обещанных читателю воронежско-тамбовским мелиоратором. «Сокровенный человек» стал платоновской художественной победой над утопическими, выморочными идеями молодости, от которых не смогла освободить его работа мелиоратора, но освободила эта повесть.

Однако вот странная вещь — серьезная советская критика фактически прошла мимо Пухова. «Повесть Платонова „Сокровенный человек“, открывающая новый его сборник, принадлежит к тем важным сейчас произведениям, которые заняты разработкой вопроса о живом человеке в революции», — написал штатный рецензент журнала «Молодая гвардия» М. Сокольников. «Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя еще неуклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове — эдакий русский Уленшпигель — занятно...» — вот и все, что написал Горькому Воронский, гораздо больше любивший, например, «Зависть» Олеси. И Воронский — не исключение. О Платонове несмотря на яркий, мощный дебют, — а в 1927-1929 годах его книги выходили одна за другой, и какие книги! — поначалу довольно мало и скупно, небрежно писали («„Епифановские^[18] шлюзы“ — неровная, местами сырая, недоработанная, написанная будто с поспешностью, и все же интересная книга»), ссылаясь всякий раз на его рабочее происхождение и тем самым как бы оправдывая его существование в литературе.

«Очень малоизвестный», по выражению одного из рецензентов, писатель, он оставался в тени, вероятно, даже не подозревая того, сколь спасителен был этот покров и какие тучи соберутся над ним уже совсем скоро. Огорчало его это невнимание или нет — вопрос спорный. Судя по тому, как болезненно Платонов реагировал на критику, той спасительной защитной корки и того наплевательства, что присущи иным писателям («Je m'en fous»^[19], — говорил в таких случаях Алексей Толстой), у него не было. Но не было ее и в отношениях с самыми близкими людьми.

Летом 1927 года Мария Александровна с сыном отправилась в Крым.

«Не забудь то, за чем ты поехала — отдохнуть. Я знаю, что там есть разврат (в **б**ольшей степени, чем обычно предполагают), к тебе, наверно, пристают и т. д. Это на курортах было всегда. Я не верю — и это невозможно — что тебе удастся остаться совершенно чистой в такой клоаке. <...> Я не представляю, чтобы любящий человек, при всех возможностях мог вести себя так, как ты вела себя, когда я уехал один в Тамбов. Значит — не любила. <...> Что-то есть в тебе, против чего я всегда протестовал — ложь, замаскированная лучше правды. Тебя, особенно в последние годы, стали сильно интересовать мужчины и многое другое, к чему раньше ты такого явного интереса не высказывала», — писал он жене.

Литературные дела Платонова шли в ту пору как никогда хорошо, но радости от этого он не испытывал. И снова виной тому была жена, вернее — ее отсутствие рядом с ним.

«Ты только живешь во мне как причина моей тоски, как живое мучение и недостижимое утешение», — писал он Марии Александровне еще из Тамбова, и это чувство тотчас же вернулось, когда они снова, хотя и совсем ненадолго, на этот раз невынужденно расстались.

«Завтра я получаю книжку (вышлю тебе сразу), через месяц-два будет другая и т. д.

В Совкино мне говорят, что на мои вещи нельзя писать рецензий, а надо писать целые исследования и т. д. — до того, дескать, они хороши. Отчасти Это преувеличено, но все же каждому должно быть лестно. А я бы много отдал, чтобы поспать с тобою ночку. Вот какое животное твой муж! И ничто сейчас меня не утешает. Вот доказательство: книжку я мог получить еще в субботу, а я не пошел в „Молодую гвардию“, а пошел после службы купаться. Не было никакого интереса разглядывать свою книжку без тебя».

И в другом письме в Крым продолжение темы литературного успеха:

«Оказалось, что это мне не нужно. Что-то круто и болезненно во мне изменилось, как ты уехала. Тоска совсем нестерпимая, действительно предсмертная. Все как-то потухло и затмилось. Страсть к смерти обуяла меня до радости. Я решил окончательно рассчитаться с жизнью. Я все обдумал. Тотик и ты? Но ведь ты в пять минут при желании найдешь себе мужа, попечителя, друга — и полюбишь его. Ты не пострадаешь ничуть, оттого что я погибну. Выйдет наоборот. Счастью со мной не бывать. Я болен и неустойчив. А с другим счастье возможно.

Всюду одно тление и разврат. Пол, литература (душевное разложение), общество, вся история, мрак будущего, внутренняя тревога — все, все, везде, вся земля томится, трепещет и мучается. Самое тело мое есть орган страдания. Я не могу писать — ну кому это нужно, милая Маша? Что за утешение, дорогой единственный мой друг!

Нежный мой далекий неповторимый цветок. Существо, в котором светилась вся моя надежда!

Грусть моя, мое единственное вдохновение, ты была у начала моей жизни, мой конец совпадает с воспоминанием о тебе. <...> Как хорошо, еще бы и в последний раз хоть увидеть тебя.

Никого нет совершенно у меня. Ненависть к себе у меня предельная. Я изорвал бы свое тело — и я изорву его»^[20].

Ответных писем Марии Александровны не сохранилось, но можно предположить, что взаимопонимания между супругами не было, и Платонова это не просто задевало, раздражало, огорчало, но мучило, терзало страхом навсегда

потерять жену и заставляло смотреть на себя как на неудачника, невзирая на литературные победы тех лет.

«Милая моя, зачем ты не хочешь меня понять? Я не под настроением пишу тебе письма, и в них нет загадок. Мое отчаяние в жизни имеет прочные, а не временные причины. Есть в жизни живущие и есть обреченные. Я обреченный. Кто мог меня так обидеть? Маша, мне нужна ты, а не женщина вообще. И если тело, то тоже твое — <...> я, наверно, очень сжился с тобой в половом отношении. Но это все второстепенное — по сравнению с тем, что я без тебя никак не могу писать — теряю вдохновение, выражаясь вульгарно. <...> Меня больно уязвило то место в первом письме, где ты говоришь о Пироговой. Неужели, если я правильно понимаю, ты заплакала, что твоя подруга — жена богатого начальника верфи? А ты, дескать, жена босяка. Милая, „начальник верфи“ — это должность, а не достоинство человека. Это всего-навсего — служба. И я мог быть не меньшим. Неужели женой поэта быть так низко, что стоит завидовать жене бюрократа. Наверно, тут дело в другом — твоя старая, неизвестная мне, любовь оказалась».

И в самом конце письма как попытка оправдаться: «Если бы ты знала меня настоящего — ты бы была довольна. <...> Этой осенью выйдут у меня еще 3 книжки, а с „Епифанскими шлюзами“ — 4».

Вопреки обещанию не вышло ни три, ни тем более четыре. Осенью 1927 года у Платонова не вышло ни одной книги, но вслед за «Сокровенным человеком» он написал и опубликовал повесть «Ямская слобода», которая хронологически «Сокровенному человеку» предшествует, а с точки зрения художественного совершенства, пожалуй, несколько уступает, но эхо этой повести отзовется и в хронике «Впрок», и в повести «Джан», и в рассказе «Река Потудань». Однако прежде — несколько слов о двух небольших, не

печатавшихся при жизни Платонова рассказах, с «Ямской слободой» семантически связанных — «Диком месте» и «Войне».

«Дикое место» — еще одно ироническое высказывание писателя на тему пола, послесловие к «Антисексусу», а заодно авторская реакция на любой национализм, и прежде всего великорусский. В старые дореволюционные времена в некий городок под названием Старозвонный Кут прибывает ученый человек по имени Матвей Иванович, озабоченный отысканием расового корня для «установления чистоты русской национальности, в целях освежения государственности от приходящих инородных расовых сил». Критерий национального превосходства идеально прост: «Ах, наука — проста и великолепна! До чего дошла? У кого детородник больше — у того и кровостой гуще и разум плотней, тому и власть в руку! Ну, ясно, русского мужика никто в этом деле не превозможет! А возьми ты татарина, возьми ты еврея — мягкие микробы, а не люди! В этом у них металла нет! А у русских — всегда в свежей наличности».

Открывший сей научный признак расы и могущий определить возраст каждой нации, заодно предсказав ее всемирно-историческую судьбу, Матвей Иванович отправляется в путешествие по губернии производить свои нехитрые подсчеты с целью доказать, что «русский народ — это плодородный чернозем, окруженный бесплодным песком инородцев». Специалист становится «шедевром губернии», его приглашают на губернские балы для «рассказа о технических деталях своей науки». Случившаяся революция ему никоим образом не мешает («для убийства на войне слишком стар, а для белых и красных бесполезен»), но в 1925 году старик умирает после того, как плановой комиссией был отклонен представленный им «замечательный доклад об

учреждении Сексуального Интернационала, где доказывалась срочная необходимость такого воспитания людей, чтобы и люди, и вещи, и животные вошли в чувственные страстные отношения», а жена Матвея Ивановича, «нелепая толстая девица, но очень добрая от слепой веры в Бога», на которой он давно был женат, так бездетной девицей и остающаяся, безутешно скорбит об усопшем супруге.

Действие рассказа «Война», который был написан, по мнению опубликовавшей его исследовательницы Дарьи Московской, летом 1927 года, происходит в Англии и в СССР в 1927-1928 годах, когда Советская Россия вновь оказалась перед угрозой интервенции. Среди героев — прямые враги Фомы Пухова: участник Ледяного похода, сверхсекретный ученый-химик Сергей Серденко, мечтающий создать газ смерти, с помощью которого можно будет вернуться в Россию, «бедную и роскошную ржаную страну», любимую им так же, как ненавистны русскому сердцу «до жаркой духоты» большевики за «изувечение светлой и своеобразной славянской души», и князь Игнатий Капитонович Маматов, коему серденковская тоска по антоновским яблокам противна: «...где вы раньше были, когда на фронте — за каждого убитого германца — приходилось платить тремя русскими трупами? Тогда, именно, — думал Маматов, — и была посеяна революция. А теперь ее сам черт не вытравит, разве только новый английский газ, открытый русским беглым инженером!»

Как это часто у Платонова бывает, не самому несимпатичному персонажу автор доверяет дорогие мысли, и именно в презрении к человеческой жизни во времена Первой мировой можно увидеть стойкое платоновское неприятие жизнеустройства в дореволюционной России. Другой счет предъявлял Платонов через своего героя интеллигенции. «Маматов считал, что русская интеллигенция — с ее

фантастической влюбленностью в духовные ценности, с презрением к технике и материальному богатству собственного отечества — очень виновата в нынешних бедствиях родины. Германия производила инженеров, а Россия поэтов — в результате: Октябрь 1917 года». И дальше: «Так уверял себя Маматов. Сам он ненавидел людей отвлеченного дела и уважал людей новейшего времени, вроде Форда, Стиннеса, Муссолини и даже Ленина».

Если учесть, что по меньшей мере двое в этом списке — Форд и Ленин — были Платонову по-своему близки, а отвращение автора к людям отвлеченного дела, равно как и выбор между поэзией и инженерным делом в пользу последнего очевидны, то понятно, что в рассказе — ширма, а что — суть. Но важно и расширение диапазона, фактически прямое высказывание на темы, которых Платонов прежде не касался — русская эмиграция, евразийство, сменовеховство, антирусская политика Великобритании — он не уклонялся от современности, но искал диалога с ней.

И все-таки история по-прежнему влекла его. Поиску виновников национальной катастрофы и революции семнадцатого года как выходу из этой катастрофы посвящена повесть «Ямская слобода». В ней описана предреволюционная Россия, пригородная слободка, в которой люди живут не заработком, а жадностью, живут тяжело, скучно, бездарно. Но главное — не социальный срез, а характер центрального героя, помещенного в самую сердцевину этой жизни.

Если проводить параллели с современностью, то неожиданной рифмой к «Ямской слободе» можно было бы назвать фильм Ланса фон Триера «Довгиль». И там и там рассказывается история о том, как герой, а в фильме героиня благодаря своим душевным качествам становятся жертвами человеческих страстей и

инстинктов в небольшом поселении, и там и там авторское сочувствие на их стороне, хотя заканчивается все очень по-разному: смиренным уходом в одном случае и кровавой мезьью в другом.

Однако если не выходить за пределы собственно платоновского художественного мира, то нечаянно прожившего без памяти о своем родстве тридцать лет Филата можно считать антитезой к фигуре Фомы Пухова, и как раз к нему определение «природный дурак» подошло бы даже больше, чем к Пухову, тем более он и сам признает, что весь век руками работает, а «голова всегда на отдыхе, вот она и завяла».

Фома Егорович Пухов — вершина народного мира, его элита — по уму, по рассудительности, по храбрости, находчивости, независимости и прочим замечательным человеческим качествам, Филат — социальный низ, почти что дно, каста неприкасаемых. Не случайно один из видов его деятельности — чистка вручную выгребных ям, а сокровенная мечта — купить лошадь и сделаться золотарем. Хотя у степени его падения есть граница — Филат никогда не живет за счет подаяния, он — трудящийся, достойный пропитания, и не смешивается с нищими. Он кроток и смирен; как мужчина, по собственному разумению, ни на что не годен («Меня на мочегон только что-то часто тянет, а больше ничем не сочусь»), но в душе о женской любви мечтает, и в «Ямской слободе» вечная платоновская тема получает новое истолкование: «Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее». То есть иначе говоря, мужская сила воскресла бы в нем, да еще какая, но не сама по себе, не как животное влечение, свойственное, например, его хозяину Захару

Васильевичу, который «постоянно и неизбежно мог думать и беседовать только об одном — о своем цепком сладострастии», а как ответ на любовь.

Физическое для Филата — следствие духовного, он еще не одухотворенный, но готовый к одухотворению человек. Однако любви в Ямской слободе нет, здесь живут по иным, неодушевленным, корыстным законам, которые для Филата неприемлемы. Вместе с тем в его отношениях с окружающим миром нет ни конфронтации, ни пуховского драматизма, ни пуховской динамики — ни попытки уйти, ни попытки приблизиться. Он покойно и кротко живет среди хищных, сладострастных людей, беззастенчиво пользующихся его даровой рабочей силой и безответностью, безотказностью («Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было»), и единственным, кто относится к нему по-человечески, становится пришлый вольный мастер Игнат Княгин по имени Сват. Вот он-то как раз по своим «техническим характеристикам» близок к Пухову. Так в повести происходит встреча слабого с сильным, безвольного с волевым, униженного с независимым, так возникает платоновское братство людей. Однако после того, как в слободе появляется еще один пришелец, Сват прогоняет Филата: «Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружились мы с тобой, но сам видишь — втроем невтерпеж, а Мише некуда деваться».

Мише есть куда деваться, Миша — большевик, идеолог, человек мыслящий, говорящий очень верные вещи: «Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери и один дороже другому. И так цепко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить... А сверху глядеть — один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом оплачивать будут?»

Свату с ним куда как интереснее и сподручнее, чем с тихим Филатом, но слова — это всего лишь слова, даже если они про любовь, и когда в феврале семнадцатого Миша со Сватом уходят делать революцию, а Филат остается в слободе, то вместе с ним остается автор, и это очень важный выбор.

Филатова тоска, Филатово восприятие происходящего в стране, его воспоминания о детстве, о родной деревне, о матери, которая умерла по дороге к сыну, Филатова привязанность к неизменному, что бы ни творилось в окружающем мире («Он смутно чувствовал, что плетни, ведра, хомуты и другие вещи навсегда останутся в слободе и какой-нибудь человек их будет чинить»), дороже автору, чем те великие свершения, которыми заняты его сознательные герои. В то время как в мире идет революция, Филат выполняет бессмысленную, беспросветную, тоскливую работу, но в конце концов лишается и ее, и только тогда, никому не нужный, решается на кроткий мятеж: «Я ни при чем, что мне так худо, — думал Филат. — Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду».

У «Ямской слободы» открытый финал — Филат уходит вместе с Мишей бить кадетов, но едва ли его ждет слава героя Гражданской войны, едва ли родится в нем новый сознательный человек — его уход из родного поселения есть акт отчаяния, не более того. И будущая судьба Филата, описанная в повести «Впрок», — тому подтверждение. А автор «Ямской слободы» и здесь не покидает описанного им печального места, оставшись на этот раз с теми, кто стоит на социальной лестнице еще ниже — с нищими и попрошайками, которым Филат, уходя, забыл закрыть дверь и напустил в их жилище холод.

«Ямская слобода» для Платонова — нечто вроде взгляда, брошенного назад, невозможность не смотреть

и не думать о слабых, изможденных, измученных и обремененных, и позднее все эти мотивы воплотятся в «Чевенгуре», в образах прочих. Но между «Ямской слободой» и обстоятельствами жизни Платонова летом 1927 года есть та же связь, что между его судьбой и «Епифанскими шлюзами» предшествующей зимой. Повесть писалась в очень напряженном, не устроенном в платоновской судьбе году, когда он фактически оказался выброшенным из нормализованной советской жизни. За отказ ехать по следам Бертрана Перри автору «Епифанских шлюзов» пришлось заплатить самой дорогой московской ценой — квартирным вопросом.

Из Центрального Дома специалистов сельского и лесного хозяйства, где жил мелиоратор-отказник с женой и ребенком («В Москве мы жили в Центральном Доме специалистов, он находился где-то в центре, недалеко от Лубянской площади, — вспоминала Валентина Александровна Трошкина. — Там нам дали комнату и к ней что-то вроде кухоньки. Собственно, этот дом был общежитием: все комнаты, комнаты... и жили в них мужчины-специалисты. Из женщин были только мы с сестрой и секретарша начальника Дома специалистов»), его постоянно грозились выселить, и сколь ни оттягивал Платонов этот момент, веревочке пришел конец.

«Принимая во внимание, что т. Платонову со стороны ЦБ землеустроительной секции была предоставлена фактическая возможность получения работы в качестве губмелиоратора в Тамбовской губ. и губмелиоратора в одной из губерний Центральной полосы (в частности, в Туле), а также отказ его от работы, предложенной ему ЦБ землеустроительной секции, и учитывая, с другой стороны, что помещение, занимаемое т. Платоновым, крайне необходимо для нужд ЦДС, а также неоднократное предложение т. Платонову со стороны ЦДС об освобождении им

означенного помещения, считать дальнейшее пребывание Платонова в Центральном Доме специалистов невозможным и предложить ему освободить это помещение в ЦДС в двухнедельный срок со дня предупреждения его об этом».

Принятое 21 августа 1927 года решение было реализовано три недели спустя, и Платоновы уехали в Ленинград к отцу Марии Александровны Александру Семеновичу Кашинцеву. Так закончился первый, очень трудный, очень плодотворный, неворонежский год в жизни Андрея Платонова, подаривший ему пять созданных в условиях чрезвычайного напряжения законченных повестей, а плюс к тому вещи незавершенные — с этими личными достижениями встречал он десятую годовщину революции, о праздновании которой написал в неопубликованном пародийном рассказе «Надлежащие мероприятия» с подзаголовком «Святочный рассказ к 10-й годовщине», представляющем собой монтаж бюрократических предложений с мест о том, как лучше всего отметить юбилей.

Там были самые разные идеи: завести «книги учета выдающихся деятелей революции по всем советским линиям», «художественно начертить схему диктатуры пролетариата», «особым торжественным законодательным актом организовать на пространстве Союза 10 революционных заповедников», «добиться всесоюзного радостного единодушия, посредством испускания радиоволн и организовать взрывы счастья с интервалами для заслушивания итоговых отчетов» и прочие в духе щедринской сатиры инициативы. Но, пожалуй, самым ядовитым местом в пародии на советскую казенщину стало предложение, формально связанное с фильмами Сергея Эйзенштейна, а на деле бьющее куда дальше.

«...Товарищ Никандров, будучи чистым Новороссийским пролетарием, до подобия похож на великого вождя В. И. Ленина. Эта косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой картине Октябрь режиссера туманных картин т. Эйзенштейна. Имея в виду необходимость широкого ознакомления пролетариата с образом скончавшегося вождя, а мавзолеей в Москве не может обслужить всех заинтересованных, я предлагаю... учредить особый походный мавзолей, где бы тов. Никандров демонстрировал свою личность и тем восполнял существенный культурный пробел... От сего трудовой энтузиазм и преданное рвение **в народе** возвысятся и поездки тов. Никандро́ва самоокупятся...»

Это «предложение» было автором из рукописи вычеркнуто, но тень его осталась, являясь в лунные бессонные ночи, как остались и горечь, и смех, и нежность, и тревога, и все это вошло в роман, над которым Платонов уже вовсю в тот грустный год работал.

Глава седьмая АДОВО ДНО КОММУНИЗМА

«Чевенгур» — не просто самое крупное произведение Андрея Платонова в 1920-е годы, да и во всем его творчестве. «Чевенгур» — одна из вершин русской прозы XX века. Книга, стоящая в одном ряду с «Петербургом», «Тихим Доном», «Белой гвардией», «Жизнью Арсеньева», «Доктором Живаго»...

Превозносить роман, придумывать эпитеты и рассыпаться в восторгах можно бесконечно долго, можно подробно, внимательно, слово за словом его комментировать, анализировать, разгадывать как ребус, толковать о мотивах, образах, композиции и героях, можно ездить по России и искать, где Чевенгур обретается и что сегодня в нем происходит. В этом смысле первый платоновский роман оказался одним из самых популярных среди литературоведов и культурологов произведений, собравших гигантскую научную библиографию как в России, так и за ее пределами; он давно стал своеобразным литературоведческим полигоном, где все стреляющие попадают в цель, благо отзывчивый текст тому способствует, предоставляя безмерное поле для любых интерпретаций. Но с точки зрения биографии своего создателя «Чевенгур» интересен прежде всего как повод к первому откровенному, очень неожиданному для Платонова столкновению с советской властью и первому, хотя и далеко не последнему удару, пролетарскому писателю нанесенному ею и вряд ли им тогда чаемому.

Да, до «Чевенгура» Платонову не удалось напечатать «Антисексус» и «Эфирный тракт», а также некоторые статьи, рассказы и литературные

манифесты, но преувеличивать эти неудачи не стоило бы. «Чевенгур» — иное дело. В нем Платонов высказался по ключевым вопросам недавней русской истории и написал книгу, которая могла бы изменить не только течение всей русской прозы XX века, но и переменить его собственную судьбу. Трудно сказать, в какую сторону, скорее ухудшения, но замолчать либо обойти вниманием это сочинение советской критике не удалось бы. Однако при жизни автора была напечатана лишь первая, идеологически наиболее «безобидная» часть романа, получившая название «Происхождение мастера», да несколько небольших отрывков.

Почему весь «Чевенгур» не был пропущен цензурой, в общем понятно. Слишком горькой получилась история революции у Платонова. И слишком честной. Столь же горькой и честной, как картина контрреволюции у Булгакова в «Белой гвардии» — «Днях Турбиных». Каждый написал о своем, близком с той мерой любви и беспощадности, что снимает все вопросы о праве автора выступать не судьей, но пристрастным свидетелем пережитого, и оба — при всей диаметральнойности позиций — обозначили резкое разграничение вождей и тех рядовых участников истории, кто жизнью заплатил за свое в ней участие. Однако если белый мир и можно было в подобном виде рискнуть представить перед очами советской публики, то очередь до красного дошла лишь 60 лет спустя.

«Чевенгур» — удивительная, загадочная книга. Хотя к 1928 году Платонову удалось добиться в прозе невероятно многого, тем не менее подъем, рывок, осуществленный на этих страницах, поражает воображение и позволяет использовать слово «гениальность» не как гиперболу или общую оценку, но как констатацию сухого факта. Только к этому надо правильно относиться. Гениальность — не орден на лацкане и не учтивый комплимент, гениальность есть

диагноз, имеющий оборотную сторону, о чем неизбежно придется говорить, если мы хотим природу гения понять. В иных случаях гениальность действует на человека разрушающе, истощая его внутренние силы, но даже если и признать, что это отчасти с Платоновым впоследствии происходило, «Чевенгур» — юность гения, едва ли не самая счастливая его пора, вот почему от этого печального, жестокого, ужасного, если задуматься о его реальной подоснове, текста исходит удивительный свет, и в противоречии между фактической стороной изображаемого и авторским отношением к нему заключена главная тайна и сюжетная интрига «Чевенгура».

Стало расхожим выражение, что «Чевенгур» — роман вопросов. Но самый первый из них: когда, как Платонов его написал? Датой создания романа считаются годы 1926-1928 либо 1927-1928 — мнения платоноведов здесь расходятся. Но если учесть, что примерно в это же время создавались произведения, о которых шла речь в предыдущих главах, и к числу законченных текстов следовало бы прибавить множество нереализованных замыслов, черновики, варианты, фрагментов, набросков, если учесть, что «Чевенгур» рос, по выражению Льва Шубина, слоями, то в какие часы, дневные, ночные, утренние, вечерние Андрей Платонов — отнюдь не свободный литератор, а загнанный в угол житейскими обстоятельствами мелиоратор («И начались мучения с жильем. Жили где придется: в каком-то подвальчике в Москворечье, узком, как коридорчик», — вспоминала эти годы В. А. Трошкина) — когда и где, за каким столом, он успел написать очень немалый по объему роман? Судя по последним расчетам, произведенным Н. В. Корниенко, работа над «Строителями страны» — «Путешествием с пустым сердцем» — «Чевенгуром» продолжалась меньше года. Но коль скоро это так, то

встает пусть и умозрительный, а все ж вопрос: что за дерево и с какими круговыми кольцами успеет за 10-11 месяцев вырасти, при этом немало листьев, то есть черновых вариантов, успев с себя сбросить и новыми обзавестись?

И ладно бы количество, быстро и много писать — в конце концов вопрос техники, привычки, сноровки, «Чевенгур» как никакое из ранних или относительно ранних платоновских творений поражает смысловой емкостью, разнообразием, многоголосием, стилистическим, философским богатством. Это тот самый случай, когда можно без особых преувеличений и ссылок на метафоричность говорить о создании целого мира с его ландшафтом, воздухом, климатом, протяженной историей и подробной географией, населенного необыкновенными людьми, и именно они становятся точкой отсчета. И, наконец, уверенная, выверенная, точно звучащая интонация повествования с первой фразы: «Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы».

При всем том «Чевенгур» трудно считать творением безупречным, как «Епифанские шлюзы» или «Котлован», не говоря уже о платоновских рассказах второй половины 1930-х годов («О „Чевенгуре“, как и о „Гамлете“, можно сказать, что это великое, но отнюдь не совершенное произведение литературы», — заметил английский исследователь Роберт Чандлер). В нем, очевидно, есть длинноты, есть сырые фрагменты текста, нестыковки и неувязки, на что по-своему справедливо обратил внимание Горький («Роман ваш — чрезвычайно интересен, технический его недостаток — чрезмерная растянутость, обилие „разговора“ и затушеванность, стертость „действия“. Это особенно сильно замечаешь со второй половины романа»), но странным образом эти шероховатости, излишества и

внутренние противоречия не портят роман, а придают ему ту неправильность и некристаллизованность, что отличает живое от неживого, естественное от искусственного, хотя бы и правильно сделанного.

Собственно «Чевенгур» — это не один, а несколько романов, о которых даже нельзя сказать, чтобы они объединялись личностью одного героя, при том, что формально такой персонаж — Александр Дванов — в нем есть. Но история жизни и смерти Саши вряд ли может служить стержнем сюжетным, смысловым или даже эмоциональным, это скорее вьюн, плюш, сей стержень обвивающий. А самим стержнем становятся пространство и время, связанные между собой весьма прихотливыми отношениями. Особенно странно ведет себя время. Оно в романе претерпевает поразительные метаморфозы, и недаром один из главных персонажей, приемный Сашин отец Захар Павлович в какой-то момент чувствует «время как путешествие».

Странствие это начинается, однако, не сразу. Изначально время идет по кругу, и мерный печальный дореволюционный ритм задан с первых страниц: «Ради сохранения равносильности в природе, беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай — мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы, — но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась ради точности хода всеобщей жизни».

И революция для того совершается, чтобы эту бесчеловечную точность сломать, она есть «удар по порочному кругу природы», после ее свершения романное время взрывается, и цикличная действительность, так пластично и реалистично описанная в первой части «Чевенгура», становится иной — хаотичной, неупорядоченной, но исполненной нового тайного значения, которое герои вместе с их автором стремятся постичь. И здесь можно говорить о

платоновской полифонии, когда у каждого есть свое **в**идение, свой взгляд на мир, и автор этот взгляд никоим образом не подавляет, а внимательно каждого из героев выслушивает.

Все это не означает, что предреволюционная пора описана с той степенью беспросветности, с какой нарисована, например, унылая жизнь в «Ямской слободе». В «Чевенгуре — Происхождении мастера» больше смыслов, больше отношений и событий и больше перемещений, путешествий, странствий. Здесь шире распахнуто пространство, хотя сокращена долгота истории. Платонов отказывается от конкретного исторического экскурса, свойственного иным из предыдущих его произведений, зато природа, из которой приходит человек, деревня, дороги, воздух, ветер, небо, ветхая опушка старого города и сам этот город, показанный в основном через железную дорогу, раздвигают рамки сюжета и позволяют ввести в действие больше разнообразных лиц: загадочного бобыля, с которым живет Захар Павлович в землянке, церковного сторожа, потерявшего от частых богослужений веру в Бога, первого приемного отца Саши Дванова Прохора Абрамовича и сердобольную многоплодную Прохорову жену Мавру Фетисовну, их маленького сына — рассудительного Прошку, изгоняющего Сашу из дома и впоследствии становящегося тeneвым идеологом чевенгурской коммуны, сладострастного, но бесплодного горбуна Петра Федоровича Кондаева, бессильно мечтающего о власти над деревенскими женщинами, наставника-машиниста, который «так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут».

Последний — игумен в своем машинном монастыре — один из самых замечательных образов, особенно значимых потому, что он противостоит не просто «новым людям», но людям вообще. «Если б его воля

была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди — живые и сами за себя постоят, а машина — нежное, незащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!..»

С ходом мыслей машиниста-наставника связана и переосмыслена та философия искреннего технократизма, которой Платонов заплатил щедрую дань в молодости, воспевая два царства будущего — царство бесполого сознания и царство машин. Эти идеи оказались для писателя пройденными, и Захар Павлович усомневается в «драгоценности машин и изделий выше человека», ибо железная дорога существует сама по себе, а люди сами по себе. Так происходит разлад в отношениях между подмастерьем и мастером-наставником, живущим с верой в то, что «когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной природы станет одной денежной нуждой, — тогда наступит конец света». Светопреставление случается в последней части романа, где истории приходит конец и в соответствии с логикой паровозного вождя оживают «последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров». Но мастер до сих апокалиптических времен не доживает, милосердно убитый своими возлюбленными механизмами, а вот его отвергнутому великовозрастному ученику остается жизнь и участливое отношение к человеческим судьбам — забота о приемном сыне и воспоминание о двух умерших: об отце этого мальчика — рыбаке, который утонул из любопытства в озере с мутной водой, и о собственной матери, чью могилу Захару Павловичу

хочется раскопать и посмотреть «на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины».

То, что было намечено в «Эфирном тракте» и в «Сокровенном человеке» как отсылка к федоровским идеям о необходимости научного воскрешения мертвых, становится в «Чевенгуре» уже чисто платоновским лейтмотивом и сердечным, а не умственным разрешением вопроса.

«Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку надели для гроба — отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо в честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешным; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым».

Но вот что обращает на себя внимание. К тому времени, когда Платонов писал эти строки, были живы и его отец, и мать. Разумеется, утверждать, что писать о сиротстве может лишь сирота, — нелепость, но в платоновском случае, в той степени достоверности и, если так можно выразиться, прожитости художественных произведений, всегда угадывается, предполагается нечто глубоко личное и никак не повторенное либо выдуманное, пусть даже очень талантливо. Платонов писал так, будто это его отец утонул в озере, оставив сына сиротой, заставив эту смерть пережить и навсегда поселив в его сердце неясный, то ослабевающий, то усиливающийся зов к смерти как к возвращению. Он писал так, будто это его изгоняли из дома приемные родители («„Все мы хамы и негодяи!“ — правильно определил себя Прохор

Абрамович», и это едва ли не единственный случай прямой авторской оценки), будто это он уходил или смотрел, как уходит с большой, болтающейся у ног сумкой ребенок, не в силах мальчику помочь, но сострадавая ему безо всякой сентиментальности, и ощущение сиротства в сердце человека, выросшего в полноценной семье, не случайно. В этом обостренном чувстве сказалось ощущение не одного человека, но целого народа, потерявшего себя в истории и мучительно искавшего отца.

Так Платонов обрел тему, к которой будет постоянно возвращаться в замыслах, реализованных и нет, и в образе небесного озера, по дну которого движется Саша, в повторяющемся мотиве возвращения к отцу, в предчувствии неизбежного раннего конца Сашиного пути («На высоте перелома дороги на ту, невидимую, сторону поля мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота, даль, мертвая земля — были влажными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было уцелеть и вернуться в низину села на кладбище — там отец, там тесно и все — маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра») — в этой картине с ее дальними и ближними планами, что отражало не только свойства пространства, но и важную черту платоновского мышления и его отношения к действительности, проявилась та насыщенность, та плотность, которая отличает «Чевенгур» и придает ему черты рассказа, повести, но — не романа (да и не случайно, наверное, сам Платонов определил «Чевенгур» как повесть). Для романа все это слишком емко, от густоты текста начинаешь уставать, внимание неизбежно рассеивается, нить повествования теряется, то и дело приходится возвращаться назад, и

возможно, здесь кроется одна из причин того, почему Платонов «не пошел», то есть не стал писателем народным не в глубинном, но в буквальном смысле этого слова, то есть — писателем популярным.

«Чевенгур» трудно прочитать за один присест, он требует работы, внутренних усилий, сосредоточенности, он не только обвораживает, но порой ставит в тупик, раздражает, утомляет своей сложностью, он неизбежно избирателен по отношению к читателю. И все равно поражает равнодушие профессионалов, критиков, которые и в 1928-м, когда были напечатаны отрывки из романа в «Красной нови» («Происхождение мастера» в апрельской книжке и «Потомок рыбака» в июньской) и в «Новом мире» (рассказ «Приключение» в июньском номере^[21]), и в 1929 году, когда первая часть романа, в художественном отношении, быть может, самая совершенная, была опубликована в авторском сборнике с одноименным названием «Происхождение мастера», эти произведения не заметили, пропустили так же, как были ранее проигнорированы и «Сокровенный человек», и «Ямская слобода», и «*Епифановские* шлюзы».

Вернее, даже не так. Не были конечно, пропущены. «Автор очень талантлив, и его надо двигать, он тогда будет писать нам больше, чаще и лучше», — отмечал в апреле 1928 года во внутренней рецензии Всеволод Иванов, и с его суждениями согласился Ф. Ф. Раскольников, человек более чем влиятельный в тогдашнем литературном мире. Да и в рецензиях 1927–1930 годов можно найти слова справедливые, умные: «В своей книге Платонов предстает перед читателем как несомненный мастер, прекрасно владеющий словом. Язык книги скуп, точен и выразителен; по своей литературной манере Платонов идет от серапионовцев, что, впрочем, характерно и для всего творческого

облика писателя в целом». Но, во-первых, эти речи заводил не самый известный критик Л. Левин, а во-вторых, далее рецензент переходил от формы к содержанию, понимаемому им политически, и медовые уста начинали сочиться ядом: «Писатель не может возвыситься над идейным уровнем своего героя; революция оказывается преломленной в сознании мелкобуржуазного индивидуалиста, являющегося не участником революционного дела, а его сторонним наблюдателем». После чего следовал вывод кончившего за упокой критика: «В книге Андрея Платонова мы имеем художника, выражающего мелкобуржуазные настроения тех групп, которые не способны творчески осмыслить значение русской революции и ее великий социальный смысл».

Но главное, что все это, — равно как и статьи М. Майзеля «Ошибки мастера» («Нельзя пройти мимо новой книги А. Платонова по двум причинам: во-первых, она бесспорно очень талантлива, а во-вторых, ошибки Платонова имеют тенденцию к более широкому распространению в известной части нашей литературы»), и обзор литературы, сделанный Раисой Мессер в «Звезде» («Творческий метод Платонова реакционен, потому что реакционна его классовая идеология, идеология той мелкобуржуазной интеллигенции, которая стоит перед пролетарской революцией и не видит ее подлинного смысла») — было написано вдогонку, в тон погромной статьи Леопольда Авербаха в ноябре 1929 года, а до той поры Платонову на критику не везло. Или, наоборот, везло.

В 1928 году он опоздал со своей «бесспорно талантливой» повестью. В ту пору, когда в конце десятилетия и в канун года «великого перелома» картина мира искусственно упрощалась и требовался четкий и недвусмысленный ответ на вопрос: чей ты, за кого, с кем и против кого? — платоновская не

неопределенность даже, не нейтральность, в чем обвиняла его неистовая большевичка Раиса Мессер, а смысловая тяжесть («...его язык перегружен не помолодому, а по-старчески всяческими смысловыми трудностями», — писал о Платонове рассудительный Николай Замошкин) оставляла критическую братию, нацеленную на более легкую добычу, до поры до времени равнодушной^[22]. Его интуитивно, бессознательно и сразу же записали в классики, издавать которых надо в серии «Литературные памятники», а изучать и обсуждать надлежит хладнокровным потомкам в более спокойные, академические, грантовые времена.

У современников были свои насущные проблемы. И покуда Платонов не связался с сомнительным Пильняком, опубликовав в соавторстве с ним очерк «Че-Че-О», а потом прямо и единолично не наступил на большую мозоль советского социализма в «Усомнившемся Макаре» и ненароком не потоптался на этой язве в бедняцкой хронике «Впрок», его и не беспокоили. «Домакаровского» равнодушия к Платонову, повторим, не случилось бы, и сигнал к травле был бы дан раньше, когда б свет увидели те части «Чевенгура», где все было пронизано «злостью дня». Но их благоразумно не пропустили люди, относившиеся к Платонову, пожалуй, даже более доброжелательно, нежели он сам к себе относился, и пытавшиеся упредить его от опрометчивых шагов.

«Впечатление таково, что будто автор задался целью в художественных образах и картинах показать несостоятельность идей возможности построения социализма в одной стране. И это на другой день после осуждения партией оппозиции, выставившей это положение!»

Это суждение первого платоновского литературного наставника — Георгия Захаровича Литвина-Молотова, который не смог издать роман своего подопечного в «Молодой гвардии», а уже на склоне лет прямо говорил о том, что «Чевенгур» есть произведение контрреволюционное.

А вот мысль другого садовника и опекуна молодой русской литературной поросли той поры: «Но, при всех неоспоримых достоинствах работы вашей, я не думаю, что ее напечатают, издадут. Этому помешает анархическое ваше умонастроение, видимо свойственное природе вашего „духа“. Хотели вы этого или нет — но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры. При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являются перед читателями не столько революционерами, как „чудаками“ и „полоумными“. Не утверждаю, что это сделано сознательно, однако это сделано, таково впечатление читателя, — т. е. мое».

Платонов отреагировал на пронизательные горьковские строки довольно скупно. Еще только посылая роман на отзыв писателю, к которому он относился холодно, а к контакту с ним сдержанно («С Горьким еще не встречался: не охота афишировать себя, — писал он жене летом 1928 года. — Если я сейчас двинусь к Горькому (что он сам пригласил меня, то никто не помнит), то на меня насплетничают черт знает чего. А я Горького не особенно люблю, — он печатает плохие статьи»), Платонов четко и, нет сомнения, искренне обозначил свою позицию: «...говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все произведение поймут даже как контрреволюционное. Я же работал совсем с другими чувствами...»

И теперь, получив мягкую, но решительную отповедь от Горького, упрямо стоял на своем: «Может

быть, в ближайшие годы взаимные дружеские чувства „овеществятся“ в Советском Союзе и тогда будет хорошо. Этой идее посвящено мое сочинение, и мне тяжело, что его нельзя напечатать».

Но эта переписка — из которой логически следовало, что пока в Советском Союзе дружеские чувства не овеществились и пока в нем нехорошо — имела место уже тогда, когда роман был отвергнут и «Молодой гвардией», и «Федерацией», и «Новым миром» в 1929 году. Однако попытаемся понять, насколько правы или не правы были платоновские оппоненты по существу: можно ли считать книгу контрреволюционной, можно ли говорить о том, что «Чевенгур» ознаменовал собой кризис в мировоззрении революционного писателя и в его личном отношении к большевизму, или же Платонова просто не так поняли? Да и вообще, что он своим романом хотел сказать и что — вольно или невольно — сказал?

Итак, происходит революция. Революция — это приход к власти дураков. По крайней мере так она видится Захару Павловичу. Умнейшие люди правили Россией веками и от дурноты повторяющегося голода, войн, детских смертей, попрошайничества, жестокости и сладострастия вырождков страну не уберегли («Послали бы меня к германцу, когда ссора только началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!» — говорит Захар Павлович) — стало быть, это сделают дураки.

«Дураки власть берут, — может, хоть жизнь поумнеет».

К этим дуракам приходит и в их партию записывается Саша Дванов и отправляется выполнять первое партийное поручение в степной город Урочев, за которым легко угадывается Новохоперск, где Платонов был летом 1919 года и где ничего существенного с

главным героем романа не происходит, ибо «особого дела Дванову не дали, сказали только: живи тут с нами, всем будет лучше, а там поглядим, о чем ты больше тоскуешь».

Основные события, отчасти сюжетно совпадающие с повестью «Сокровенный человек», начинаются тогда, когда по пути назад Саша ведет паровоз, попадает не по своей вине в аварию, проявляет себя как человек очень мужественный, но все равно чудом избегает наказания, долгими путями возвращается домой, заболевает тифом^[23], болезнь повторяется и продолжается в общей сложности восемь месяцев. Однако описание первых лет революции и Гражданской войны дается в романе довольно бегло, сжато, и завязка собственно «чевенгурского сюжета» — а все остальное можно считать развернутой и обширной экспозицией, занимающей едва ли не половину текста, — относится к той поре, когда один из героев, председатель губисполкома Шумилин в часы тяжелых раздумий, как найти выход из катастрофического положения, в котором оказалась истощенная Гражданской войной, голодом, разрухой и болезнями республика, приходит к неожиданной мысли о том, что социализм уже придуман губернскими массами и где-то в народной гуще, должно быть, сам собою завелся.

Идея, пришедшая в голову товарищу Шумилину, с точки зрения партийной ортодоксии, безусловно сомнительна и еретична: она принижает созидательную, руководящую роль РКП(б) и ее вождей, а заодно отсылает к так и не опубликованной при жизни Платонова статье «Всероссийская колымага», в которой, как мы помним, молодой воронежский публицист провозгласил идею творчества масс безо всякой опеки со стороны представителей, партий и учреждений и пообещал написать об этом сюжете

подробнее, если советская власть не испугается «мощного взрыва красной энергии».

Однако если советская власть перепугалась в 1921-м, что говорить про то время, когда роман был написан? Но Платонова было не остановить: идея самозарождения социализма слишком глубоко пустила корни в его сердце, и он щедро поделился ею со своим персонажем, который видит, что «по полям и по городу ходят люди, чего-то они думают и хотят, а мы ими руководим из комнаты; не пора ли послать в губернию этичного, научного парня, пусть он поглядит...».

Таким научным парнем, призванным обнаружить возникновение социализма на земле без вмешательства извне, становится сын умершего рыбака, и начинается его путешествие по стране, которая в ту пору «тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала». Во время этого странствия посланник партии встречает самых разных людей — от бога, то есть некоего человека, объявившего себя богом и питавшегося одной землею, и заканчивая рыцарем революции Пашинцевым, который устроил в бывшей помещичьей усадьбе революционный заповедник, призванный сохранить революцию в нетронутой геройской категории. Он встретил хромого мужика Игнатия Мошонкова, назвавшего себя Достоевским и мечтавшего об установлении советского смысла жизни в окружении влюбленных в него чистоплотных красивых девушек, он подарил мечту о переселении на новую землю измученному нуждой крестьянину Поганкину (и здесь истоки будущей повести «Джан»); познакомился с лесным надзирателем, искавшим подобия советскому времени в прошлом, чтобы узнать мучительную судьбу революции и спасти от нее свою семью; повстречался с настоящими анархистами, один из которых по имени Никита, знаменитый тем, что стал героем едва ли не самой хрестоматийной платоновской

фразы «Никита сидел в кухне Волошинской школы и ел тело курицы», собирався его убить, но был остановлен «несправедливо побежденным» главарем банды писателем Мрачинским. И галерея этих жителей и странников земли, мечтателей, скептиков, умников, безумцев, убийц и их безропотных жертв — эта стихия взбаламученного народного моря завораживает и пленяет.

Наконец, проводя поначалу много времени в одиночестве и рассуждая сам с собой, Дванов заключил, что природа есть «деловое событие», которое надлежит не только воспевать, но и правильно использовать. Однако переквалифицироваться в революционного практика, хозяйственника (что произошло с самим Платоновым, и в этой точке жизненные пути автора и его героя максимально расходятся) Дванову не дано. Сашин круг составляют иные идеи и иные люди. И, пожалуй, самое важное его приобретение — встреча с бывшим полевым командиром Степаном Копенкиным — «убогим, далеким и счастливым» человеком, чье лицо «уже стерлось о революцию».

Однажды счастливо столкнувшись в степи, Копенкин и спасенный им от смерти Дванов связываются узами не просто мужской дружбы, но некоего высшего идеального человеческого братства, бескорыстной любви, благодаря которой им суждено, держась друг за друга, «вместе ехать и существовать». Дон Кихотом и Гамлетом революции назвали их позднее исследователи, и своя логика тут есть, особенно в том, что касается пожилого воина Копенкина с его небесной любовью к Розе Люксембург и робкой нежной тревогой: «...был товарищ Либкнехт для Розы что мужик для женщины, или мне так только думается?» Есть прямое авторское сочувствие к обоим персонажам и беспредельное внимание к их судьбам, преимущественно к Сашиной, с которым за время этого

путешествия происходит множество метаморфоз: Саша взрослеет, проходит инициацию, сначала символическую во время совокупления с землей после того, как был ранен («Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был рожден в беспомощности матери: семя размножения, чтобы новые люди стали семейством. Шло предсмертное время — и в наваждении Дванов глубоко возобладал Соней. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом» — слова, которые откровенно полемичны по отношению к ранним платоновским статьям, утверждавшим, что мысль должна вытеснить половое чувство^[24]), а потом некоторое время спустя познает настоящую женщину по имени Феклуша, и близость с ней наносит ему «истощую рану», заставляя огорчиться сторожа его души, ангела-хранителя, как говорили в древние времена, или «евнуха души», как называет его автор.

Образ этого сторожа чрезвычайно важен: он руководит жизнью героя, направляя ее до самого конца и сохраняя в его открытом сердце образ умершего отца и неизбывной детской любви к нему («А разве мой отец не мучается в озере на дне и не ждет меня? Я тоже помню»), И все эти глубинные психологические описания и размышления, а также степные пейзажи, диалоги героев, та печальная, истинно русская степная интонация повествования и составляют суть романа, его таинственное, неотпускающее очарование, его философию и метафизику. Но если спуститься несколькими этажами ниже и попытаться оценить действия героев с точки зрения узкоидеологической, политической, то надо признать, что с тем заданием,

которое дал ему Шумилин, большевистский интеллигент Александр Дванов не справляется, проваливает его.

«— Тебя послали, чудака, поглядеть просто — как и что. А то я все в документы смотрю — ни черта не видно, — у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить...

Дванов покраснел от обиды и совести.

— Они не огарки, товарищ Шумилин... Они еще три революции сделают без слова, если нужно...»

Здесь все абсолютная правда. И то, что Саша с Копенкиным ведут себя как леваки, и то, что нежнейший Копенкин способен сделать еще три революции, в одиночку разбить хоть банду анархистов, хоть кулаков, относясь к убийству как к профессии («убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полет просо»), но вряд ли он пригоден к мирной жизни и найдет себе в ней место. Платонов в отличие от своих героев прекрасно представлял себе значение леса в степи и знал цену «хунвейбиновским» рассуждениям о том, что распаханная земля приносит больше выгоды, чем лес, а посему деревья необходимо срочно вырубить, а также, к каким последствиям это «донкихотство» («Мы идем по следу народа, а не впереди его. Народ, значит, сам чует, что рожь полезней деревьев») приведет. Все это было ему более чем понятно и писалось не просто так, а осмысленно, полемично, горько. Как ни крути, прав был мудрый Алексей Максимович Горький: в отношении к революционному, то есть бесчинствующему народу и его самозванным вождям у Платонова действительно сказалось начало одновременно сатирическое и лирическое, но только такое отношение и могло быть предельно честным и глубоким.

Как заметил позднее критик Н. Замошкин: «Читателя Платонов мог сбить с толку вот какой стороной. С одной стороны, мы видим рабочих, „святых людей“, мечтающих о социализме как о рае, необыкновенно честных людей. Это поражало какой-то чистотой, верой. С другой стороны — совершенно отсталые люди, показанные в виде этих честных ребят. Отсталость их заключалась в непонимании Октябрьской революции, принципов революции, в явной оппозиции к организационным принципам революции».

Понимал или нет организационные принципы революции Платонов, не вполне ясно, но ясно то, что, полюбив своих героев, автор честно назвал подлинную цену их поступкам. Вольно или невольно совпадая с теми уничижительными определениями, которые давали «окаянному», «темному» народу и Бунин, и Пришвин, и Булгаков, автор «Чевенгура», политически явно антагонист сей «белогвардейской» компании, все равно написал об ущербе, нанесенном революцией земле и той мирной жизни, той «хозяйственной сытой теплоте, в которой произошло зачатие всего русского сельского народа».

Не здравый смысл, не облегчение жизненного бремени, а ужас приносят Дванов с Копенкиным в деревню Ханские Дворики, когда устраивают в ней за восемь лет до года «великого перелома» сплошную коллективизацию, повелев поделить весь скот по душам и по революционному чувству, — крик и готово! А на резонный вопрос некоего независимого, то есть уклоняющегося середняка без лично присвоенной ему, а попросту говоря, отнятой фамилии, на его смиренный, заданный детским голосом, что у Платонова есть критерий истины, вопрос, откуда при социализме добро прибавится, Копенкин рубит в ответ как саблей по голове: «Если бы ты бедняк был, то сам бы знал, а раз ты кулак, то ничего не поймешь».

Они же — Гамлет с Дон Кихотом — разоряют, добивают коммуны «Дружба бедняка», предложив крестьянам оставить себе лишь самое необходимое, а все прочее имущество отдать в разбор соседней деревне, и обязав коммунаров по два раза на дню проводить собрания, ибо коммунизм, по словам Копенкина, — это усложнение смысла, а по суждению Дванова (и опять мы видим мягкую насмешку Платонова над собственной юностью и ее красочными идеями), «после завоевания земного шара — наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней...».

И если говорить о зрелой, прагматичной авторской позиции в политическом аспекте, то ее выражает кузнец Сотых, с которым встречаются герои после очередного своего подвига и получают от него приговор, этакий глас народа — глас Божий.

«— Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете, — злобно ответил кузнец. — Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! Мужуку от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?»

Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил.

— Это ты себе оставь! — знающе отвергнул кузнец. — Десятая часть народа — либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски — за кем хошь пойдут. Был бы царь — и для него нашлась бы ичейка у нас. И в партии у вас такие же негодящие люди... Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется? А война, говорят, вся прошла...

Кузнец перестал говорить, сообразив, что перед ним такой же странный человек, как и все коммунисты: как

будто ничего человек, а действует против простого народа. Дванов нечаянно улыбнулся мысли кузнеца: есть, примерно, десять процентов чудаков в народе, которые на любое дело пойдут — и в революцию, и в скит на богомолье».

Можно предположить, что не умеющая пахать, готовая бродяжничать народная десятина Дванову дороже всего на свете, и не случайно, что из ее числа рекрутирует автор своих героев, но и оставшиеся 90 процентов — носители здравого смысла, работники, крестьяне, пахари, от чьего имени говорит кузнец — не являются балластом. Они есть тело народа, которое более всего было в революцию истощено. И когда Платонов описывал в романе убогое хозяйство бедняка Поганкина и его похожих здравомыслием на взрослых женщин маленьких дочерей, он прекрасно отдавал себе отчет в том, с каким дребезгом разбиваются хрустальные, стальные или сделанные из другого материала утопические мечты о действительность, некогда объявленную в запале молодым журналистом главной контрреволюционной силой. Но с той поры много воды утекло даже в пересыхающих воронежских речках и много земли разнесло по степи ветром, и не двадцатидвухлетний красивый юноша-аскет, а повывавший виды мелиоратор с измученным лицом не мог не показать этого столкновения и дребезжащего сомнения, сосуществующего в сердце с литой верой в революцию. Но и от революции не мог отказаться, ибо она была ему лично дорога, как собственная юность, как самая лучшая, самая чистая пора жизни, какой бы смешной ни казалась она взрослому человеку годы спустя, и прощание с нею было тягостно.

Именно об этом переломе, о неизбежности исторического движения и об искусственной попытке остановить историю, предпринятой самой пассионарной частью русских революционеров в их отчаянном

стремлении удержать, спасти исчезающее на глазах равенство и братство («Ты помнишь восемнадцатый и девятнадцатый год? — со слезами радости говорил Пашинцев. Навсегда потерянное время вызывало в нем яростные воспоминания: среди рассказа он молотил по столу кулаком и угрожал всему окружению своего подвала. — Теперь уж ничего не будет, — с ненавистью убеждал Пашинцев моргавшего Копенкина. — Всему конец: закон пошел, разница между людьми явилась — как будто какой черт на весах вешал человека...»), написал он третью — хотя деление это условно — заключительную, наиболее горячую, пространную, спорную и страшную часть романа.

Итак, покуда Копенкин с Двановым, разрушая и созидая, странствуют под великорусским скромным небом в самую глухую глубину своей родины, в большой стране происходят перемены, о которых всадники ничего не знают, и потому однажды с безмерным удивлением читают в газетах: «Пашите снег... и нам не будут страшны тысячи зарвавшихся Кронштадтов».

Как понятно было читателю, речь шла о подавленном, утопленном в крови Кронштадтском восстании в феврале — марте 1921 года, которое вынудило большевиков сменить курс и перейти от продразверстки к продналогу, или, как сказано у Платонова устами одного из героев, объяснивших Дванову суть произошедшего: «к Ленину в кремлевскую башню мужики ходили: три ночи сидели и выдумали послабление».

Перемены, случившиеся в Советской России в связи с введением нэпа, были многожды изображены в отечественной литературе и у Булгакова, и у Зощенко, и у Ильфа с Петровым, и у Алексея Толстого, но автор «Чевенгура» обладал собственным инструментарием для измерения первых советских реформ. Дело не только в заполненных товаром магазинных полках и не

в отмене продовольственных карточек, хотя это изобилие и потребительское счастье описано в романе так вкусно и одновременно с тем иронично, что стилистически выбивается из лирического текста. Главное то, что зоркий и глазами и сердцем Саша Дванов сразу же видит, что у революции стало «другое выражение лица», а «люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали — жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь».

В первоначальном варианте «Чевенгура» — «Строителях страны» Платонов описывал Сашино отношение к нэпу иначе: «...в деревнях я видел многое — еще бы полгода и мы бы погибли: нас бы начали душить самые кроткие люди, а мы бы их сдуру называли белогвардейцами». Однако из окончательной редакции этот правильный подход исключил, оставив интонацию вопрошающую и недоумевающую. Для его героев нэп — предмет споров, самоопределения и в конечном итоге раздора. В ответ на недовольство слесаря Гопнера свободной продажей хлеба измученный голодом семейный Шумилин отвечает:

«— Тебе что, паек был велик — вольная торговля тебе не нравится?

— Нипочем не нравится, — сразу и серьезно заявил Гопнер. — А ты думаешь, пища с революцией сживется? Да сроду нет — вот будь я проклят! <...> хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека — дай ему хоть хлеба. А ведь мы хотели самое лучшее дать...»

В последних словах Гопнера заключена идеология военного коммунизма, то благое намерение, которым вымощена дорога в коммунистический ад, куда

приглашает автор своих читателей вослед героям, но прежде чем на этот путь ступить, зададимся вопросом: а на чьей он сам стороне и кого можно считать в романе не то чтобы положительным персонажем, но, скажем так, исторически наиболее оправданной личностью? Дванова, Копенкина, Пашинцева, Захара Павловича, Гопнера, Шумилина или же пока что еще не появившихся чевенгурцев? Пожалуй, никого из них.

Идеальный исторический герой в романе — тот, о ком мало пишут исследователи (даже такие вьедливые и, казалось бы, ни одной мелочи не упускающие, как автор преподробнейшего комментария к «Чевенгуру» Евгений Александрович Яблоков), кто затеривается среди других, более ярких, резких персонажей — некто товарищ Фуфаев, кавалер двух орденов Красного Знамени, не любящий рассказывать о своем прошлом, предпочитая ему будущее, а на расспросы хвастливой жены, за что даются пайки и ордена, отвечающий: «За службу, Поля, — так и быть должно».

Дура Поля представляет эту службу как письмоводство в казенных домах. Но главное не скромность героя (причем в отличие от скромности исторически побежденного литератора Мрачинского, это скромность победителя), а его отношение к жизни и то место, которое он в ней занимает.

«Сам Фуфаев был человеком свирепого лица, когда смотреть на него издали, а вблизи имел мирные, воображающие глаза. Его большая голова ясно показывала какую-то первородную силу молчаливого ума, тоскующего в своем черепе. Несмотря на свои забытые военные подвиги, закрепленные лишь в списках расформированных штабов, Фуфаев обожал сельское хозяйство и вообще тихий производительный труд. Теперь он заведовал губутилем и по своей должности обязан был постоянно что-нибудь выдумывать; это оказалось ему на руку: последним его

мероприятием было учреждение губернской сети навозных баз, откуда безлошадной бедноте выдавался по ордерам навоз для удобрения угодий. На достигнутых успехах он не останавливался и с утра объезжал город на своей пролетке, глядя на улицы, заходя на задние дворы и расспрашивая встречных нищих, чтобы открыть еще какой-нибудь хлам для государственной утилизации».

Это и есть образец, пример должного поведения человека: пока была война, надо было мужественно воевать, когда наступил мир, надо строить и уважать любую службу, любое дело, которое тебе поручили, в том числе и навозное, потому что это сейчас самое важное. А кроме того, в обоих случаях как можно меньше трещать. Это не значит, что Фуфаев тотчас же принимает нэп и понимает всю мудрость ленинской политики. Услышав доклад секретаря о разрешении свободной торговли, Фуфаев думает, что «напрасно умер его сын от тифа — напрасно заградительные отряды отогораживали города от хлеба и разводили сытую вошь», но в уныние не впадает, делает свое дело, и именно на Фуфаевых, на их полезной энергии созидания земля держится, они и есть становой хребет революции и социализма. Только вот какая штука: Платонов мог сколь угодно симпатизировать воину, труженику и кормильцу Фуфаеву, потерявшему во время Гражданской войны сына, более того, он и сам, разъезжая по Воронежской губернии и строя электростанции, пруды и плотины, такого человека собою являл, а потерять сына ему еще предстояло, он и сам — вспомним свидетельство его свояченицы, вспомним «Третью фабрику» Шкловского — любил сельское хозяйство, землю, труд, деревню, но все же не Фуфаева избирает автор героем своего времени. Его он оставляет заниматься практическими делами. Взгляд писателя падает на других, исторически обреченных,

выморочных, неправых, неорганизованных, но бесконечно дорогих его сердцу своей неуспокоенностью, безутешностью, нетерпеливостью, душевной и даже телесной обнаженностью и жаждой невозможного людей. Так, одновременно с Фуфаевым на страницах романа появляется маленький, одетый в прозодежду (то есть в производственную одежду) со слабым — а в черновике было с «гнусным, раздавленным» — носом на лице персонаж, которого уж точно ни один исследователь не пропустит, не забудет, и из уст этого человека звучит наконец вожделенное слово, давшее имя книге.

«Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре!.. На небе луна, а под нею громадный трудовой район — и весь в коммунизме, как рыба в озере!» И чуть дальше: «Дванову понравилось слово Чевенгур. Оно походило на влекущий гул неизвестной страны...»^[25]

Понравилось оно и автору, и все дальнейшее повествование связано с этим таинственным топонимом, куда переносится, уносится из нэпмановской, трудящейся России действие романа и где происходят дела и встречи удивительные. Первым делом встречаются те, кто неизбежно должен был встретиться — два маленьких верных рыцаря революции — Степан Ефимович Копенкин и малорослый председатель чевенгурского ревкома Чепурный, и первый «голосом, как спрашивает сын после пяти лет безмолвной разлуки у встречного брата: жива ли еще его мать, и верит, что уже мертва старушка», вопрошает второго: «Говори, что есть в твоём Чевенгуре — социализм на водоразделах или просто последовательные шаги к нему?» — и получает ответ: «У нас в Чевенгуре сплошь социализм: любая кочка — международное имущество! У нас высокое превосходство жизни!»

Это и есть проявление того, что Горький назвал лирико-сатирическим освещением действительности, или, точнее, недействительности, но страшно мечтающей действительностью стать. На самом деле, если отвлечься от платоновской модальности, от той нежности, которую испытывает автор к своим ненормализованным героям, в реальном Чевенгуре нет ничего кроме коммунизма, а именно — бандитская, преступная шайка, изуверская секта «смертепоклонников» в нарушение всех человеческих законов узурпировала власть в отдаленном беззащитном поселении, занимаясь грабежом и проедавая остатки дореволюционного буржуазного добра, утверждая, что вот это и есть коммунизм. Можно представить, какими словами описали бы этот сюжет Бунин или Булгаков, но Платонов меньше всего склонен обвинять младочевенгурцев в их преступлениях — он спокойно, без нажима, с печалью проникновения и безмерного сочувствия, с интонацией юмора и глубочайшей скорби, даже не сменяющих друга друга, а странным образом объединенных, поведал, исповедал, заповедал своим, как оказалось, далеким по времени читателям леденящую и бесконечно трогательную историю одного города времен русской Гражданской войны.

Итак, жил да был на окраине одной из южнорусских губерний на водоразделах рек городок с яблоневыми садами, железными крышами (что призвано свидетельствовать об определенном благополучии его жителей), церквями, травами, населенный странными людьми, не просто живущими, а мирно ожидающими конца света так же, как пассажиры в зале ожидания терпеливо дожидаются своего поезда. Чем еще занимаются эти тихие люди, не очень понятно, но патриархальная, сонная картина старой чевенгурской жизни несколько напоминает Обломовку из известного

романа. А потом случается революция, в городок направляется посланник партии Чепурный, который, вникнув в ситуацию, сильно скорбит душой и, не в силах терпеть медленность истории, организует для чевенгурской буржуазии чаемое ею второе пришествие и увод в загробную жизнь, что на практике означает бессудное убийство наиболее зажиточных горожан. Сцена этого побоища, одна из самых трагических и фарсовых в романе, заканчивается тем, что палачи фактически братаются со своими жертвами, ибо, как понимают расстрельщики-чекисты: «...с пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество». В этом смысле «гуманная», «братская» казнь в «Чевенгуре» выступает контрастом по отношению к аналогичной сцене в «Епифанских шлюзах», где торжествует сладострастие садизма и подчеркивается одиночество главного героя.

Ответственный за расстрел председатель чрезвычайки, бывший чевенгурский подневольный каменщик товарищ Пиюся моментально изгоняется губернскими властями со службы, что не мешает ему остаться в городе, на время затихнув в массе чевенгурского коллектива, а потом совершить повторное и даже еще более тяжкое преступление, своего рода социальный геноцид, самовольно уничтожив всех остальных жителей, включая женщин и детей — этот «средний запасной остаток буржуазии». То есть поступив ровно так, как призывал на пределе красной запальчивости студеным январем 1922 года двадцатидвухлетний красивый автор статьи «Коммунизм и сердце человека», да только опять же многое с той поры переменялось...

Исторически обречены оказались обе стороны по принципу: умри ты сегодня — я завтра. После ночи «длинных ножей», а точнее, одного пулемета, из которого бережно и хладнокровно, не ведая, что

творит, расстреливал бедных приказчиков и сокращенных служащих помощник Пиуси по имени Кирей, в опустевшем Чевенгуре остаются одиннадцать более или менее твердолобых коммунистов (один из них, Сашин приемный брат и мучитель Прокофий Дванов, точно не большевик, а паразит на теле революции с задатками великого инквизитора, жаждущий управлять ребячьей толпой, но чевенгурская коммуна терпит его за то, что он умеет формулировать — за то, что деловой, как сказал бы по такому случаю мудрый Фамусов) и сомнительная, но привлекательная женщина из числа тех, кого молодой Платонов-публицист сжег бы на костре революции как половую ведьму, дабы не оскверняла коммунизм буржуазными предрассудками тела и не сбивала с толку простодушный пролетариат, а повзрослевший Платонов-писатель намеренно оставляет среди коммунаров. В Чевенгуре объявляется коммунизм, не построенный, а скорее достигнутый, наступивший, что, как справедливо указывают исследователи романа, напоминает идеологию и действие анабаптистов в средневековом германском городе Мюнстере, вдохновленных тогдашним Карлом Марксом — Иоахимом Флорским, призывавшим к убийству грешников как к необходимому условию построения Царства Божьего на земле. «Чевенгур» в этом смысле книга откровенно религиозная, хотя вряд ли ортодоксальная.

Не более ортодоксальным выглядит и объявленный чевенгурцами ненаучный коммунизм, игра в который продолжается все лето, покуда в городке не съедены куры и полугодовалые пироги да квашеная капуста, заготовленная чевенгурской буржуазией сверх потребности своего класса, и над головой непашущих землю коммунаров индивидуально для каждого светит летнее солнце.

Можно вспомнить, что описанное в последней части романа лето 1921 года — пора той страшной засухи, что поставила Россию на грань вымирания и впервые заставила Платонова усомниться пусть не в революции, но в действиях ее вождей и пережить страшное личное потрясение, а также на время уйти из литературы. Однако следов всеобщего голода в романе нет, и не потому, что Платонов вынес его за скобки, а потому, что про «Чевенгур» нельзя сказать пушкинскими словами: «Время в моем романе расчислено по календарю». Годы жизни и смерти чевенгурской коммуны — это скорее выпадение из реального времени русской истории, нежели включение в нее — но никак не выпадение из пространства страны и русской метафизики. Скорее — эпицентр землетрясения. Новый Чевенгур замышляется его новыми отцами как некий ковчег спасения, и в город устремляются либо приводятся самые разные люди, в том числе самые убогие — прочие, как называет их автор. А между тем находящийся в Чевенгуре в качестве ревностного приемщика скоро и просто реализовавшейся сокровенной мечты человечества рыцарь Копенкин чувствует во всем происходящем подвох, к тому же его сильно раздражают молодой человек с черными непрозрачными глазами и его предприимчивая любовница, которым никто не мешает наживаться; жители города, не зная, чем себя занять, ничего не делают, а по субботам переносят с места на место дома, и вообще коммунизм для них означает, что «курица сама должна прийти».

Однако кур становится все меньше, и тогда для вынесения окончательного диагноза царству абсурда несильный в умственных рассуждениях Копенкин приглашает приехать в Чевенгур в качестве эксперта своего товарища Александра Дванова. «Гамлету» Саше увиденная картина неожиданно нравится. Он решает остаться в этом призрачном, зыбком царстве,

окончательно уводящем его от того крепкого практического мастерового пути, по которому он было пошел вослед своему создателю, и приближающем к озеру Мутеву, к возвращению к отцу и осуществлению горького пророчества Захара Павловича: «И этот в воде из любопытства утонет». Впрочем, в Сашином случае дело скорее не в любопытстве, а в невыносимости сиротства, в потребности обрести свое отечество, которое он в Чевенгуре на время находит. Так, между Чевенгуром и Сашей Двановым, между Чепурным и Сашей Двановым, между Чепурным и покойным Сашиным отцом возникает та глубинная связь, что становится своеобразной религией романа, главным его смыслом и отличительной чертой, родовым признаком платоновских героев:

«Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма, но он шел вперед со всеми, потому что все шли и страшно было остаться одному, он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца и своего семейства. Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре, — так же, как рыбак Дванов не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света. Но отец был дорог Дванову не за свое любопытство и Чепурный понравился ему не за страсть к немедленному коммунизму — отец был сам по себе необходим для Дванова, как первый утраченный друг, а Чепурный — как безродный товарищ, которого без коммунизма люди не примут к себе. Дванов любил отца, Копенкина, Чепурного и многих прочих зато, что они все, подобно его отцу, погибли от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих».

Так возникает тема конца, тема вечера: «В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно: революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела».

Но Чевенгура это насыщение не коснется, здесь, по словам Чепурного, нет ремесел, у всех одна профессия — душа, а вместо ремесла назначена жизнь, но все это — философия умирания, которое начинается с пронзительного описания смерти маленького мальчика, приведенного в Чевенгур его матерью, и ощущается с каждой страницей все острее. И дело не в том, что большое государство не нуждается в Чевенгуре и чевенгурцах, им противится и их уничтожает, и, следовательно, в этой ненужности, не востребованности, даже некой враждебности к ним со стороны центральной власти, в эволюции революции их трагедия. Их трагедия в ином — в том, что прежде всего они сами, по собственной воле, по чаяниям и делам своим оказываются пасынками, а говоря жестче — выблюдками истории.

Рисуя повседневную жизнь коммунаров, Платонов сделал на полях рукописи характерное примечание: «Здесь описываются некоторые образы первоначального коммунизма в Чевенгуре, восторжествовавшего там позднее, посредством более прочных и органических начал». Да только не вышло ни в какие сроки прочного и органического торжества коммунистических начал, и семь лет спустя в платоновских записных книжках появилась запись, которую можно считать вольным или невольным авторским комментарием, послесловием к «Чевенгуру»:

«Только деклассированные, выродившиеся из своего класса „ублюдки“ истории и делали прежде революции (буржуазные и феодальные).

Да здравствуют безымянные ублюдки и всякие „отбросы“ человечества!»

То же самое и с еще большим основанием можно сказать про тех, кто делал в «Чевенгуре» революцию пролетарскую или, точнее, люмпен-пролетарскую, *революцию прочих*. Только с их здоровьем все обстоит не слишком хорошо. Самоубийство — их судьба, тяга к смерти их объединяет, и в этом смысле Платонов очень точно предугадал концепцию социализма — как добровольного стремления к смерти — современного математика и философа Игоря Шафаревича.

Иное дело, что подобное стремление вызывает у автора романа не ужас, не оторопь, не протест, не инстинктивное желание отшатнуться, не болезненный интерес в духе серебряного века, а сострадание. «Чевенгур» — своеобразное возвращение, шаг назад по сравнению с «Сокровенным человеком», но не в смысле художественности и не в смысле глубины, а в соотношении приоритетов: жизнь — смерть. В «Чевенгуре» можно увидеть противоречие, разлом между художественным и историческим. Правда смерти принадлежит Дванову, а правда жизни остается за кооперацией, за строительством, за тем безымянным пожилым инструктором птицеводства из Почепского УЗО, который забредает в Чевенгур из реального времени для того, чтобы найти кур и петухов для племенного разведения, и уходит ни с чем, ибо все куры в Чевенгуре истрачены на довольствие ревотряда, а новым неоткуда взяться.

И не стоит думать, что Платонов, так болезненно отреагировавший на голод в России, Платонов-практик, Платонов-строитель, инженер, кооператор включил эпизод с забредшим куроводом между прочим. Страна живет или пытается жить иной жизнью, которой жил после Гражданской войны и сам губернский мелиоратор, но для Платонова-писателя или для его

музы смерть маленького города, не захотевшего на общий путь встать и тем самым не захотевшего жить, оказалась в данном сюжете важнее бытия большой страны или, говоря партийным наречием, нового этапа ее развития, о чем, используя свою образность, толковал Шумилин Дванову после Сашиного возвращения из проваленной командировки по губернии в первоначальном варианте романа:

«— Может быть, я тебе говорю, мы теперь даже вредны будем. Ты пойми так — ты работал на заводе, видел литье? — Так вот, отлили мы грубое тело — и кончено: дальше мы делать не умеем. Дальше пойдут точить, фрезеровать, пришабривать — вплоть до часового мастера. Мастера и будут, и они нужны теперь, а мы куда? Вот я тебе и говорю, что революция переходит через нас, а мы сзади останемся...

Дванов понимал и думал дальше: но где же эти другие ученые мастера, что будут доделывать и оборудовать точной и сложной арматурой всю советскую страну, чтобы она действовала в тысячу раз выгодней капитализма? И, главное, чтобы сыты и счастливы были не тысячи людей, а миллионы. Откуда же явятся другие, более умные».

Как справедливо предположил публикатор этого фрагмента Валерий Вьюгин, именно здесь следует искать смысл заглавия «Происхождение мастера» (другой вариант названия повести был «Преходящие годы»), но недаром из окончательного текста слова Шумилина и Сашино ответное раздумье были вычеркнуты как лишняя деталь, как ненужный и по своему бестактный мотив, ибо мастера из Саши не получилось, а его создатель, как и в «Ямской слободе», остался у разоренного жилища умирающих и потому неизменно дорогих ему людей. Его удел в романе — хоронить мертвецов.

Это умирание происходит не очень скоро, как если бы Платонов оттягивал его сколько мог: по мере приближения к концу действие замедляется, пробуксовывает, а описание степного, солнечного пейзажа оказывается предельно эротичным: «...солнце упиралось в землю сухо и твердо — и земля первая, в слабости изнеможения, потекла соком трав, сыростью суглинков и заволновалась всею волосистой расширенной степью, а солнце только накалялось и каменело от напряженного сухого терпения».

Под воздействием этих лучей и невозможности соития жаждущих неба и земли, обреченной бесплодности этой картины, как бесплодна любовь Копенкина к мертвой Розе или, по парадоксальному сближению противоположностей, страсть «сухого быка» Кондаева к деревенским женщинам, эротическая тема, в романе дремавшая и лишь изредка дававшая о себе знать в любовных опытах молодого Саши или в предостережениях его приемного отца («Главное, не надо этим делом нарочно заниматься — это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как будто куда-то тянет, чего-то хочется... У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит»), становится ведущей и словно сочетающейся браком с темой смерти, приуготовляя для нее ясный путь.

«— Езжай за женами народу, — сказал Яков Титыч, — народ их захотел. Ты нас привел, веди теперь женщин, народ отдохнул — без них, говорит, дальше нетерпимо».

И хотя пожилой глава чевенгурского ревкома вслед за молодым Андреем Платоновым полагал, что сознательные люди, «когда думают — то не любят», и вообще любовь к женщине и размножение остались в прошлой жизни, и это было «чужое и природное дело, не людское и коммунистическое», а «женские признаки женщины создала природа помимо сил пролетария и

большевика», тем не менее женщины в Чевенгуре появляются, только вот счастья в новой жизни эти, по выражению Чепурного, «товарищи специального устройства» никому не приносят, как не приносят и рождения новых жизней. Чевенгур обречен на биологическое бесплодие. И даже у наиболее гармоничной супружеской пары — бездумного убийцы Кирея и пришлой стыдливой Груши, чья история любви представляет собой небольшую лирическую новеллу, нет счастья.

«Кирей лежал в сенях на куче травы с женой Грушей и придерживал ее при себе в дремлющем отдыхе.

— Ты чего, товарищ, подарков не даешь в коммунизм? — спросил Кирея Прокофий, когда пришел туда для описи инвентаря.

Кирей пробудился, а Груша, наоборот, закрыла глаза от срама брака.

— А чего мне коммунизм? У меня Груша теперь товарищ, я ей не успеваю работать, у меня теперь такой расход жизни, что пищу не успеваешь добывать...

После Прокофия Кирей приник к Груше пониже горла и понюхал оттуда хранящуюся жизнь и слабый запах глубокого тепла. В любое время желания счастья Кирей мог и Грушино тепло, и ее скопившееся тело получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни. Кто иной подарил бы ему то, чего не жалела Груша, и что мог пожалеть для нее Кирей? Наоборот, его всегда теперь мучила совестливая забота о том, что он недодает Груше пищи и задерживает ее экипировку платьем. Себя Кирей уже не считал дорогим человеком, потому что самые лучшие, самые скрытые и нежные части его тела перешли внутрь Груши. Выходя за пищей в степь, Кирей замечал, что небо над ним стало бледней, чем прежде,

и редкие птицы глуше кричат, а в груди у него была и не проходила слабость духа. После сбора плодов и злаков Кирей возвращался к Груше в утомлении и отныне решался лишь думать о ней, считать ее своей идеей коммунизма и тем одним быть спокойно-счастливым. Но проходило время равнодушного отдыха, и Кирей чувствовал несчастье, бессмысленность жизни без вещества любви: мир снова расцветал вокруг него — небо превращалось в синюю тишину, воздух становился слышным, птицы пели над степью о своем исчезновении, и все это Кирею казалось созданным выше его жизни, а после нового родства с Грушей весь свет опять представлялся туманным и жалобным, и ему Кирей уже не завидовал».

Счастья, ощущения полноты бытия в романе вообще нет ни у кого. Нив Чевенгуре, ни в Москве, куда переносится действие и где появляется новый герой — Симон Сербинов, «усталый, несчастный человек, с податливым быстрым сердцем и циническим умом», который овладевает на могиле своей матери телом Сони Мандровой, а потом приходит в Чевенгур и обретает в нем конец.

Сторонники конспирологического прочтения романа считают москвича главным виновником гибели Чевенгура, неким Иудой среди чевенгурских апостолов. Но по большому счету коммуна сама окончательно и безо всякой помощи извне заходит в тупик, хотя попытки ее спасения, братский труд, взаимная любовь и забота друг о друге, когда даже Копенкин заставляет свою боевую Пролетарскую Силу, лошадь, пахать, а Гопнер с Двановым, используя старые дубовые кресты с чевенгурского кладбища, пытаются построить плотину, — все это в заключительных главах романа есть.

Больше того, в ноябре 1931 года Корней Чуковский записал в дневнике о своей встрече с Платоновым в

доме Пильняка: «Платонов рассказал, что у него есть роман „Чевенгур“ — о том, как образовалась где-то коммуна из 14 подлинных коммунистов, которые всех не коммунистов, не революционеров изгнали из города — и как эта коммуна процветала, — и хотя он писал этот роман с большим пиететом к революции, роман этот (25 листов) запрещен». В авторской характеристике (вопрос о том, насколько адекватно она была передана Чуковским, вынесем за скобки) смещены акценты: и враги, оказывается, не убиты, а всего лишь изгнаны, и коммуна процветает. Но в действительности, в реальном тексте хорошо видно, что не бодрость, не энергия, не жажда жизни, а тень усталости, изможденности, тоски, тревоги, обреченности, горя и грусти неизвестности лежит на предзимних лицах чевенгурцев, и прежде всего на лице самого Александра Дванова, «человека лет двадцати пяти, с запавшими, словно мертвыми глазами, похожими на усталых сторожей. <...> этот человек думает две мысли сразу и в обеих не находит утешения».

Это очень точное описание героя, которое, возможно, имеет отношение к автохарактеристике Платонова, ощущавшего в своей жизни сторожа, двойника, оно может служить подходом к пониманию закрытой личности писателя. Сашина рефлексия, его раздвоенность, безутешность, зависимость от внутреннего сторожа, то и дело открывающего «заднюю дверь воспоминаний», находит отражение в мыслях героя: «Лучше я буду тосковать, чем работать с тщательностью, но упускать людей, — убедился Дванов. — В работе все здесь забылось, и жить стало нетрудно, а зато счастье всегда в отсрочке...»

Они все — и Дванов, и Чепурный, и Яков Титыч, и Симон Сербинов, и Копенкин — не жильцы на этом свете. Коммунистическое солнце катится к зиме, тела всех куриц давно съедены, попытки создать

электричество из солнечного света так же бесплодно, как чевенгурская любовь, и если б не невесть откуда взявшиеся в степи вооруженные люди, которые уничтожили жителей городка в кратком, но яростном бою, коммуны ждала бы не героическая смерть, а куда более жалкая участь.

О том, кто скрывается за убийцами Чевенгура, единого мнения у исследователей нет. В романе устами одного из героев говорится о казаках, кадетам на лошадях, но это его видение, и некоторые комментаторы полагают, что нападающие суть регулярные части Красной армии, посланные из центра с приказом уничтожить еретическую коммуны. Версия, спору нет, романтическая, но отвечающая ли авторскому намерению — большой вопрос. То, что, по суждению литературоведа Михаила Геллера, впоследствии не раз повторенному, кадетам неоткуда было взяться осенью 1921 года в воронежской степи, ничего не доказывает. Появление белоказачков в Воронеже в 1920-м, описанное в «Сокровенном человеке», вызвало критическое возражение у исторически дотошного Литвина-Молотова — не могло быть такого. Что с того? Платонов не изменил ни строчки. Когда это было ему необходимо, он запросто переступал через историю и смешивал любые времена подобно тому, как вольно обращался с мировой географией в «Эфирном тракте», а с историей в «Иване Жохе» и «Епифанских шлюзах». Единственное, что можно утверждать наверняка, — нападения из степи в Чевенгуре ждали. Не случайно Дванов собирается, но не успевает сделать деревянный диск для метания камня и кирпича в противника Чевенгура (но какого именно, не уточняется), недаром Копенкин три дня ездит с разведкой по степи и, возвратившись, говорит: «Берегите Чевенгур». От кого берегите — неизвестно. От врага. Только независимо оттого, белыми или красными, советскими или антисоветскими

были разгромившие город солдаты, их цвет и политическая принадлежность ничего принципиально не меняют ни в сюжете, ни даже в идеологии романа.

Чевенгур, как Карфаген, должен быть разрушен. Его и разрушают. Машинное против стихийного и живого. Чужое войско против родного братства. Разумное против сердечного. И первое в этих парах оказывается сильнее.

В живых остаются лишь два чевенгурца — братья Двановы, но один, Саша, после разгрома коммуны и смерти Копенкина уходит в озеро Мутево к отцу, исполняя свой давний завет, а второй, Прокофий, ничего о том не знающий и плачущий на развалинах города среди всего доставшегося ему имущества, обещает Захару Павловичу даром привести Сашку — финал, который трактуется по-разному и, возможно, как некий положительный итог и нравственное преобразование раскаявшегося чевенгурского «великого инквизитора», не случайно Копенкин некогда спрашивал: «...когда ж у Прошки горе будет, чтоб он остановился среди места и заплакал?» Вот это горе и приходит. Но опять же независимо от того, как относиться к Прокофию Дванову и что думать о его «переходе на людской состав», главной идеей, итогом романа становится не победа духовного над материальным, братского над небратским, а тотальное торжество смерти, богатый урожай, собранный ею на русской земле, и подобный финал не только совершенно оправдан, но и единственно возможен. Вознамерившиеся построить рай на земле, объявившие конец истории, упразднившие Бога, превратившие церковь в ревком и выкорчевавшие кресты на могилах люди ничем иным, как смертью, руководствоваться не могут и ни к чему иному, как к смерти, не придут.

И вывод этот, хотел того Платонов или нет, безмерно печален, ибо он выносил невольный приговор

и становился нечаянным итогом всей русской революции и того обезбоженного мира, который она породила, — идея, которую достаточно легко распознали два квалифицированных читателя романа, — Горький и Литвин-Молотов — независимо друг от друга давшие отрицательный отзыв.

«Я, бродивший, по полям фронтов, видел, что народ в те времена страдал от двойной бескормицы — без ржи, и без души, — писал Платонов в черновых рукописях романа, где еще присутствовало лирическое „я“. — Большевики отравили сердце человека сомнением; над чувством возшло какое-то жаркое солнце засушливого знания; народ выпал из своего сердечного такта, разозлился и стал мучиться. Вместо таинственной ночи религии засияла пустая точка науки, осветив пустоту мира. Народ испугался и отчаялся. Тогда были, по-моему, спутаны две вещи — сердце и голова. Большевики хотели сердце заменить головой, но для головы любопытно знать, что мир наполнен эфиром, а для сердца и эфирный мир будет пуст и безнадежен — до самоубийства...»

Последнее слово глубоко не случайно. Самоубийством все и кончается. Для Саши Дванова после краха Чевенгура мир безнадежен, и он уходит из него. В черновом варианте романа стратегия двановской жизни была изложена предельно ясно: «Дванов считал, что надо к матери, равно как и умершему брату, идти не прямым путем верной преданности и вечных воспоминаний, а обходным — через коммунизм и победу над природой: тогда все будет заслужено, оправдано и наступят лучшие встречи людей». Не получилось — природа не поддалась, чевенгурский коммунизм рухнул, а с ним рухнула и идея обходного пути к предкам и заслуженной лучшей встречи с ними.

Но примечательно, что вослед коммунизму рухнула и федоровская утопия воскрешения мертвых. Роман получился ее вольным или невольным художественным отрицанием. В «Чевенгуре» сюжетно, сколько бы символизма сцена погружения Саши в озеро Мутево ни содержала, как бы часто ни повторялось в ней и как бы ни варьировалось слово «жизнь» («Он оглядел все неизменное, смолкшее озеро и насторожился, ведь отец еще остался — его кости, его *жившее*^[26] вещество тела, тлен его взмокавшей потом рубашки, — вся родина *жизни* и дружелюбия. И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращения вечной дружбой той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. Дванов понудил Пролетарскую Силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду — в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти, а Дванов шел в чувстве стыда *жизни* перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца»), как бы этот эпизод ни толковали и, наконец, какой бы смысл ни вкладывал в него сам автор — все равно получается так, что умерший отец губит сына, и в финале торжествует не воскрешение мертвых, но гибель живых.

Чевенгурская юность оказалась не смешной, но страшной, и никакого будущего ей не дано — только прошлое, только возвращение в детство и нежелание героя взрослеть, становиться отцом самому, что было бы естественным и вместе с тем заповеданным людям свыше преодолением сиротства. Но этот путь он для себя закрыл. Позднее по нему пойдет несомненный Сашин двойник и антагонист — Никита Фирсов из «Реки Потудани». А в Саше Дванове победило, взяло в плен и

увело из жизни иное, отрицающее жизнь начало. Однако та любовь, та нежность, скорбь и печаль, то ощущение человеческого братства, что вопреки всему наполнило страницы романа — не делись никуда и высветили уголки русской души. Поражение революции и ее великих маленьких героев в истории обернулось победой Андрея Платонова в русской литературе, только вот оценить эту победу при жизни автора было некому.

Глава восьмая ВРЕДИТЕЛЬ ИЗ ТЕТЮШЕЙ

Завершение работы над «Чевенгуром» совпало по времени с болезнью и смертью Марии Васильевны Климентовой — матери Андрея Платоновича. Точная дата ее кончины неизвестна. Здесь расходятся воспоминания сыновей, но, по всей вероятности, смерть эта случилась в 1929 году. Платонов приезжал на похороны и, по рассказам своего брата Семена Платоновича, не стесняясь, рыдал над гробом.

Вскоре после похорон он взялся за повесть «Дар жизни», об обстоятельствах написания которой известно не так много, но сохранившиеся фрагменты передают состояние ужаса и тоски, которые испытал осиротевший человек.

«Наутро Иван, проснувшись, потрогал мать, лежавшую к нему спиной, чтобы и она проснулась. Мать не повернулась к нему.

— Ты меня не любишь! — сказал Иван.

Он перелез через тело матери к стене и посмотрел в ее лицо.

— Ты меня не любишь: ты умерла.

Подумав, он решил тоже умереть с матерью, потому что любил ее сейчас больше чем живую, и хотел быть с нею.

— Мама! — позвал Иван.

Она лежала грустная, с добрым спящим лицом и полуоткрытыми глазами. „Живи за меня!“ — вспомнил Иван слова матери, а ему хотелось лечь возле нее, прильнуть к ней и также быть холодным, уснувшим и бледным, как она.

Но Иван побоялся послушаться матери, раз она велела ему жить вместо себя; он сошел с кровати,

посмотрел в окно на белый день и съел кусок хлеба, посыпав его солью. Увидев вымытые полы и порядок в доме, Иван понял, что делала ночью покойная мать: „она тогда прибралась, чтобы чисто было, мать тогда жива была“.

И он нечаянно вскрикнул от боли в сердце, зашедшегося в груди и переставшего дышать.

— Мама, вставай ко мне! Вставай, мама!

Мать не встала, она не могла.

Иван остался жить один».

Повесть не была закончена, но после смерти Марии Васильевны Платонов написал и опубликовал несколько других вещей, которые переменяли его судьбу, и так в платоновской жизни совпало: не стало матери, и словно некая охранявшая его сила отошла, оставив старшего сына один на один с врагами, прежде его не замечавшими. Время спасительной тишины исчерпалось, период игнорирования писателя Платонова закончился, и он оказался в зоне поражения. С этого момента и — до самой смерти.

Платонов был не единственным, кого закрутило на рубеже десятилетий. Год «великого перелома» стал таковым и для русской литературы. В 1929-м было остановлено восхождение Булгакова и испепелена его прижизненная слава, был подвергнут травле Пильняк; этот год сделался роковым для Маяковского, подготовив его трагическую смерть в 1930-м. Этот же год оказался тем годом, когда все явные и неявные противоречия, скрытые и открытые конфликты, недоразумения, недопонимание или, напротив, слишком хорошее понимание и ощущение Платоновым своей чужеродности по отношению к закостеневшему, набравшему силу Советскому государству, выплеснулись наружу.

Поводом для травли стала публикация очерка «Че-Че-О» в двенадцатом номере «Нового мира» за 1928

год. Посвященный положению дел в укрупненной Воронежской губернии, проникнутый ощущением тревоги и неблагополучия, непримиримостью не только к советскому бюрократизму («...бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей. Он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей, он безотчетно скорбен, он сушит женщин и детей»), но и вызывающей полемичностью и по отношению к «верхам» («Зашвыряли массы. <...> Прожевать некогда. А ведь это сверху кажется — внизу масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонности, и один умнее другого»), очерк был напечатан под двумя фамилиями — Платонов и Пильняк, что дало критике основание **большую** часть вины взвалить на старшего из соавторов, Пильняка, который вскоре прославился скандальной публикацией «Красного дерева» в берлинском издательстве «Петрополис» и сделался мишенью номер один для каждой пишущей твари в СССР.

Так получилось, что союз двух писателей оказался для младшего тактически невыгодным. Пильняк не столько помог, сколько помешал Платонову, подпортил ему репутацию, усугубив своим именем и без того крамольное содержание «Че-Че-О», хотя с точки зрения истории литературы и тех причудливых отношений, что обыкновенно связывают писателей-современников, эта дружба свидетельствовала о том, что не критики, а писатели-профессионалы первыми разглядели Платонова и его талант. Один из самых популярных, самых раскрученных, как сказали бы мы сегодня, прозаиков советской республики протянул собрату руку, и летом 1928 года Платонов недаром написал Николаю Замошкину: «Если случайно увидите Бориса Андреевича Пильняка, то скажите, что я его помню и соскучился по нем...»

Пильняк действительно помог Платонову в труднейший период его жизни, когда потерпевшему карьерный крах мелиоратору негде было жить. По всей видимости, именно к этой поре, то есть второй половине 1927-го — первой половине 1928 года, относится фрагмент воспоминаний Валентины Александровны Трошкиной:

«...жили Платоновы тяжело. Так, иногда что-то перепадало за случайные публикации под псевдонимами. Одно время они снимали летнюю комнату на чердаке в Покровском-Стрешневе в каком-то стройтресте. Прожили там одно лето. У меня письма есть, где он писал, чтобы ему зимнюю комнату дали, но ему ничего не давали, везде игнорировали. И они решили поехать в Ленинград. К тому времени папа с мамой у нас разошлись, и отец у нас жил в Ленинграде, а Тошка очень любил деда и увязался с ним в Ленинград. Наскребли кое-какие деньги, папа помог чем мог и поехали. Но начались новые испытания: в Ленинграде сильно заболел Тоша, и его положили в больницу. Он заболел корью, потом скарлатиной и дифтеритом, и это дало осложнение на ухо. Это время для них было ужасным. Подходила зима, а в Москве у них, кроме летнего чердака, ничего нет. И из Ленинграда не уедешь: Тошка болеет страшно. Ему нужно было делать операцию — трепаназию черепа, притом частным образом, а денег не было. У меня от Андрея и Маши много писем того периода. Сестра сорок дней лежала вместе с Тошей в палате. Писала, как при ней умирают дети и как Тоша умирает. Она уже не верила, что он выживет. Писала, что некому им помочь. Я думаю, многие просто боялись с ними общаться, ждали, что Андрея вот-вот заберут. В общем, Андрей и сестра были в отчаянии. Операцию Тоше все же сделали, но до конца жизни у него болело ухо. Когда вернулись из Ленинграда, жить было негде. И тут им

помог Пильняк. Он уступил им комнату, и они немного в ней пожили, может, не больше месяца, — просто перебились».

Можно представить, что пережили Андрей Платонович и Мария Александровна, когда был близок к смерти их сын, труднее откомментировать предположение мемуаристики о том, что Платонова могли в конце 1920-х годов забрать, и к этому сюжету мы чуть позднее вернемся — так или иначе очевидно, что пришедший на помощь провинциальному собрату Пильняк поступил благородно, взяв его под покровительство и попытавшись ввести Платонова в литературный мир Москвы. Существует версия — ее высказала Е. Д. Толстая-Сегал — что Пильняк и Платонов отражены в знаменитой сцене из булгаковского «Театрального романа», когда Егор Агапёнов навязывает Максудову в качестве жильца своего деверя — кооператора из Тетюшей, который — и тут многое совпадает с биографией Платонова:

а) не писатель;

б) ему в Москве негде жить;

в) он остановился у Агапёнова-Пильняка, восклицающего: «Такой тип поразительный! Вам в ваших работах будет необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десятков рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят».

И хотя к той поре, когда Платонова «вводили» в непролетарский литературный мир Москвы, Булгаков его уже фактически покинул, уйдя в театр, и вышеупомянутый фрагмент «Театрального романа» следовало бы отнести к 1923–1924 годам, то есть периоду максимальной удаленности Платонова от столичной литературы и ни о каком знакомстве с

Пильняком речи быть не могло, эта мифология показательна и остроумна. Менее убедительным выглядит предположение Толстой-Сегал о том, что Булгаков отразил черты платоновской биографии в образе Рокка из повести «Роковые яйца»: «Рокк тоже „сам пишет“ ежедневную газету и орошает „целую республику“. Экзотическая внешность Рокка, его дремучая провинциальность и безумное прожектерство могли бы быть шаржем на реальные черты молодого Платонова».

Околоплатоновская мифология возникла отнюдь не в наше, склонное к мифологизированию истории литературы время. В декабре 1930 года некий тайный осведомитель, относившийся к Платонову без враждебности, объяснял сыскному ведомству, в чем состоит «платоновский вопрос», игнорируя и факты, и хронологию: «Сказывается здесь и та закваска, которую получил Платонов в начале своей литературной работы. Ведь, когда он только начинал писать, на него сразу же обратил внимание Пильняк, помог ему овладеть грамотой. Приобрел этим влияние на него и, конечно, немало подпортил»^[27].

В 1928 году Платонове Пильняком написали комедию «Дураки на периферии» — гротескную, сатирическую историю из советского семейного быта, заканчивавшуюся по-платоновски трагично — смертью младенца, о котором забывают, решая свои дурацкие вопросы, взрослые люди. Какова была роль Платонова, а какова Пильняка в создании этого произведения, не вполне ясно, хотя платоновские мотивы, а также частичные переклички с другими его текстами очевидны. Одна из газет того времени цитировала слова Пильняка: «Поселился у меня, за неимением другой жилплощади, Андрей Платонов <...> естественно, что у нас образовалось много досугов,

коротаемых вместе». Сам же Платонов позднее рассказывал эту историю так: «Мы занимались по вечерам — четыре вечера. В результате ряда обстоятельств, опять-таки несчастных...»

Комедия получила отрицательную оценку и у узкого круга слушателей, и в советской печати и сценической судьбы не имела, зато грустную судьбу имел опубликованный под двумя именами очерк. Позднее Платонов признал, что «Че-Че-О» стал первой вещью, где он начал «круто срываться», но в действительности «Че-Че-О» при всей его остроте трудно назвать срывом даже в коммунистическом смысле этого слова. Именно в «Че-Че-О» Платонов дал очень жесткую оценку Столыпинской реформе, этой своеобразной предреволюционной антиколлективизации: «Сельское хозяйство императоров завело крестьян в тупик, требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора: остальное крестьянство нашло себе выход в революции».

Устами главного героя «Че-Че-О», мастерового Федора Федоровича, автор высказал несколько сокровенных идей — о необходимости скорейшей коллективизации, которая для страны даже важнее, чем ДнепрогЭС, о том, что есть для него коммунизм («Первостепенно надо: делать вещи, покорять природу и — самое главное — искать дороги друг к другу. Дружество и есть коммунизм»), и, наконец, о том, что всем этим бесконечно дорогим для него вещам угрожают люди, для которых труд есть временное бросовое ремесло, а главное для них — «теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью». И именно эти люди суть самые страшные враги революции.

Отдавал ли себе Платонов отчет, в борьбу против кого он ввязывался, рассчитывал ли силы в этом

противостоянии, но несанкционированное вмешательство в исключительную прерогативу верховной власти назначать себе врагов, а кроме того, дерзкий выпад против «всесоюзного дьячка» — центрального радио (позднее в «Котловане» этот образ трансформируется в насилующую человеческие души трубу, посредством которой партия осуществляет свою власть над массами) — привело к тому, что внимание на Платонова обратили.

Первым, пробным, даже не ударом, а выпадом против него стала опубликованная в конце сентября 1929 года в газете «Вечерняя Москва» статья журналистки В. Стрельниковой «„Разоблачители“ социализма»... с подзаголовком «О подпильнячниках». Объектом критики оказались «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Бучило», «Потухшая лампочка Ильича», и лишь в самом заключении был вскользь упомянут «мрачный», по словам критикессы, очерк «Че-Че-О». Независимо от того, действовала Стрельникова по собственной инициативе или же тема статьи и ее адресат были заказаны редакцией газеты, дело было именно в Пильняке и в так называемом «подпильнячивании», которое густой тенью легло на пока что формально безупречную биографию пролетарского писателя Андрея Платонова.

Две недели спустя «Литературная газета» напечатала ответ Платонова «Против халтурных судей». «Б. А. Пильняк „Че-Че-О“ не писал. Написан он мною единолично. Б. Пильняк лишь перемонтировал и выправил очерк по моей рукописи. Б. Пильняка нужно обвинять в другом, а за „Че-Че-О“ нельзя». Были приведены и другие возражения со ссылками на Ленина, и вся эта ситуация напомнила историю с рассказом «Чульдик и Епишка», когда молодого пролетария тоже покритиковали, и он ответил необыкновенно жестко. Не менее резко он прошелся и

по самой Стрельниковой: «...моих действительных ошибок Стрельникова не заметила. Я приму с благодарностью всякую помощь со стороны более опытных и более классово сознательных товарищей, чем я, но ложь и клевета — это не обучение, а разврат». Эти строки, равно как и название статьи, говорили сами за себя, но не так давно Н. В. Корниенко опубликовала черновой вариант платоновского ответа с оборотами еще более жесткими и личными: «...эта статья не имеет литературной честности, обязательной и для литературных девушек <...> можно тосковать об отсутствии литературной порядочности у женщин <...> надо читать всю вещь, а не шуровать цитаты <...> Стрельникова врет <...> пишущая дама, плохо обученная»; «...я ее обнажу, но уже в действительности, так что вся халтура и липа Стрельниковой будет наружи <...> изолгавшийся автор <...> Если потрясти эти неопрятные литературные юбки, то из них посыпятся...»

В отредактированном (вероятно, Литвиным-Молотовым) варианте ответа политически некорректные выражения были сняты, но степень раздражительности и нетерпимости автора к критическим уколам была настолько очевидна, что подводившая итоги «дружеской дискуссии» «Вечерка» с опаской обывателя, пережившего столкновение с хулиганом в темном проулке, констатировала: «Мы не станем останавливаться на дурно пахнущих „цветах красноречия“ А. Платонова, упрекающего советского журналиста в получении каких-то „сребреников“^[28] <...> > Надо думать, что, исправляя те „опасные грубые ошибки“, которых он и сам не отрицает, тов. Платонов внесет конкретные поправки и в то пренебрежительное отношение к советской журналистике, которое сквозит во всем его ответе».

Знали бы они исходный авторский текст! Но знал бы и Платонов, что последует всего через несколько недель после то ли «ничьей», то ли победы по очкам в схватке с плохо обученной литдевушкой, которая в конце его сочинения стала именоваться дамой. Ее место займет профессиональный литвышибала. Так, вслед за мелкой журналистской сошкой за дело взялась крупная птица.

Новый по-настоящему серьезный удар Платонову нанес глава Российской ассоциации пролетарских писателей и зять кремлевского завхоза В. Д. Бонч-Бруевича Леопольд Леонидович Авербах. Поводом стал рассказ «Усомнившийся Макар», опубликованный в сентябре 1929 года в журнале «Октябрь», а еще прежде прозвучавший на всю страну в «Крестьянской радиогазете», где Платонов сотрудничал с середины 1928 года до начала 1929-го.

Адресованная крестьянам радиопостановка о приключениях деревенского мужика Макара Прохорова в центральном городе Москве, его горькие замечания о смычке города и деревни за счет последней («Сколько мужиков должны зря жить на свете, чтобы здешние люди не умерли с голоду!»), остроумные наблюдения («Люди здесь сытые, лица у всех чистоплотные, живут они обильно, — они бы размножаться должны, а детей незаметно»), его горестные сомнения по поводу всего увиденного до рапповских ушей, похоже, не дошли. Как по не очень понятной причине не дошел до вождей опубликованный в «Октябре» же тремя месяцами раньше «Усомнившегося Макара» не менее крамольный рассказ «Государственный житель». А вот мытарства попавшего в письменную литературу клона Макара Ганушкина на глаза верховному начальству попались.

Одиннадцатого ноября 1929 года на очередном заседании комфракции секретариата правления РАПП среди прочих вопросов была заслушана информация

тов. Киршона о его разговоре с тов. Сталиным и была принята резолюция, состоящая из двух пунктов: «а) констатировать ошибку, допущенную редакцией „Октября“ с напечатанием рассказа Андрея Платонова „Усомнившийся Макар“; б) предложить редакции принять меры к исправлению ошибки. Выступить в „На литературном посту“ с соответствующей статьей».

Вот при каких обстоятельствах имя Платонова стало впервые известно Сталину и вызвало его читательский гнев. И это весьма показательно: не будь сталинской реакции, возможно, и Авербах промолчал бы. Но замять дело не удалось.

«В „Октябре“ я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова „Усомнившийся Макар“, за что мне поделом попало от Сталина, — рассказ анархистский; в редакции боятся теперь шаг ступить без меня», — мужественно, но лаконично и как бы между делом — вышеприведенная цитата была помещена автором в скобки — раскаялся главный редактор «Октября» А. А. Фадеев, в пространным письме кровавой большевичке Р. С. Землячке. Косвенную вину за этот «зевок» пришлось принять на себя и двум членам редколлегии — Серафимовичу и Шолохову, публично высказавшим согласие с зубодробительной критикой рассказа.

За сатирическую, едкую историю о всепобеждающей силе советского партийного бюрократизма («...тут кушают без производства труда <...> Иной одну мысль напишет на квитанции, — за это его с семейством целых полтора года кормят <...> А другой и не пишет ничего — просто живет для назидания другим»), за беспощадный портрет большого паразитического города, где нет ни разума, ни справедливости, ни милосердия, и всё определяют великие и мощные ученейшие люди со страшными и мертвыми глазами, которым нет дела до конкретного

человека, за поставленный диагноз фактического поражения рабоче-крестьянской революции и неявную мечту о ликвидации государства и, наконец, за то, что знаменитые ленинские слова «наши учреждения — дерьмо, наши законы дерьмо... в наших учреждениях сидят враждебные нам люди», герои рассказа читают и одобряют в сумасшедшем доме («— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне») — за все за это Платонов получил от «кабалы святош» по полной.

Удивление вызывает не столько комиссарский «разнос», сколько то странное обстоятельство, что Фадеев сей вопиющий, возмутительный текст-поступок пропустил, прочитав либо невнимательно, либо вовсе не прочитав или же, чего тоже нельзя исключать, втайне с Платоновым и его диагнозом согласившись. Вот почему не только к Платонову, но и к тем, кто его поддерживал и душевно ему сочувствовал, были обращены гневные строки Леопольда Авербаха:

«Мы „рожаем“ новое общество. Нам нужно величайшее напряжение всех сил, подобранность всех мускулов, суровая целеустремленность. А к нам приходят с проповедью расслабленности! А нас хотят разжалобить! А к нам приходят с проповедью гуманизма! Как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата <...>

Оставлен позади первый год пятилетки. Миллионы „Макаров“ заняты „целостными масштабами“. Миллионы „Макаров“, как никогда еще раньше, двинулись к крупному социалистическому хозяйству в деревне. Миллионы „Макаров“ перевели нашу революцию на новую, еще более высокую, ступень <...>

Рассказ Платонова — идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. В нем есть двусмысленность, в нем имеются места,

позволяющие предполагать те или иные „благородные“ субъективные пожелания автора. Но наше время не терпит двусмысленности; к тому же рассказ вовсе не двусмысленно враждебен нам!»

После такого заключения усомнившегося сочинителю оставалось сушить сухари или по меньшей мере навсегда проститься с идеей быть напечатанным в родной стране, однако в последних строках письма, пропев осанну оклеветанной Платоновым партии («... партия наша — отнюдь не партия Чумовых, а партия большевиков <...> она снимает всякую возможность противопоставления „целостных масштабов“ „частным Макарам“»), Авербах поучал: «Писатели, желающие быть советскими, должны ясно понимать, что нигилистическая распущенность и анархо-индивидуалистическая фронда чужды пролетарской революции никак не меньше, чем прямая контрреволюция с фашистскими лозунгами. Это должен понять и А. Платонов».

В этих словах была надежда. Если должен понять, значит, может понять, если может — значит, поймет (и не случайно уже в феврале 1930 года Платонов напечатал в журнале «Октябрь» очерк «Первый Иван» — своеобразное, выданное авансом свидетельство временного прощения со стороны верховных вождей). Но все же, несмотря на как бы протянутую руку, реакция партии на «Усомнившегося Макара» могла показаться и чрезмерной — так не ругали даже Булгакова с Замятиным, и нетрудно понять, за что Платонову досталось. С одной стороны, с ним обошлись по принципу: бей своих, чтоб чужие боялись. С другой — в устах пролетарского писателя, каковым считался Платонов, критика советского бюрократизма непреднамеренно, но органично перешедшая в критику советского строя, расценивалась как предательство, и то, что можно было простить писателям, которые даже

не старались рядиться в попутчиков, как аттестовал некогда Авербах Булгакова, нельзя было простить рабочему, не буржуйскому сынку, не безнадежному человеку, однако также написавшему «произведение даже и не попутническое». Так совпали в сознании литературного инквизитора два гениальных русских современника — у Авербаха был вкус, когда он выбирал свои жертвы.

У нас нет документальных свидетельств того, как отреагировал Платонов на статью, опубликованную сразу в трех печатных органах: в «Октябре», «На литературном посту» и «Правде», но если его сильно задела сравнительно безобидные девичьи уколы, что было говорить про хорошо просчитанные удары главного литературного активиста страны? Известно, что в конце 1929 года Платонов вторично (после осени 1927 года), на этот раз один, без семьи, уехал в Ленинград в составе писательской бригады и поступил на металлический завод имени Сталина. На производстве он пробыл до весны следующего года в качестве писателя-очеркиста в конструкторском бюро, и своеобразным конструктивным возражением Авербаху можно считать два произведения.

Это уже упоминавшийся очерк «Первый Иван» (Октябрь. 1930. № 2) с его «позитивным» содержанием и уверенным в себе и правоте своего дела героем — колхозным техником Первоивановым («Нам пища-одежда-жилище — пустяки: их мы в мах устроим. Мы соображаем прочней и дальше наш колхоз в одиночку не удержится», — объясняет он повествователю свою «генеральную линию», и тот делает правильный вывод: «Было в точности ясно, что в мире необходимо иметь множество „Первых Иванов“, дабы уничтожить скуку природы счастливым смыслом их совокупного, образующего творчества»). Эту ясность не преминула отметить и советская критика: «„Первый Иван“ — это

беспорный симптом „выздоровливания“, истоки которого в „обращении писателя к фактическому материалу наших дней“», — писал в статье «Ошибки мастера» (Звезда. 1930. № 4) критик М. Майзель, хотя там же, точно в воду глядя, сделал оговорку: «Как ни хорошо написан „Первый Иван“, но это *очерк*, и как таковой он не может дать достаточно веских и полноценных оснований для серьезных заключений об изменении *всей творческой личности* писателя». Однако известен не опубликованный при жизни Платонова новый финал «Усомнившегося Макара», герой которого, «мелкобуржуазный, подкулацкий человек» («правду говорил вождь тов. Авербах», — уточняет автор), умирает от «слабости сердца, не перенесшего настигшего его организованного счастья».

«— Одним темным врагом стало меньше, он не выдержал темпа счастья, — сказала знакомая сознательница на его могиле, и всем ее слушателям стало легче и лучше. А вечером эта женщина написала открытку тов. Авербаху, что Макар мертв и перспектива гораздо видней».

Вслед за этим или параллельно с этим — в случае с Платоновым часто бывает трудно установить четкую последовательность и датировку работ — были созданы «бедняцкая хроника» «Впрок», два киносценария — незаконченные «Турбинщики» и законченный «Машинист», пьеса «Шарманка», а также самая известная из платоновских повестей — «Котлован».

Однако прежде чем говорить о ней, вернемся к воспоминаниям Валентины Александровны Трошкиной, а точнее, к той странно прозвучавшей в ее рассказе фразе: «...многие просто боялись с ними общаться, ждали, что Андрея вот-вот заберут».

Казалось бы, кто, зачем будет арестовывать молодого, не слишком известного писателя в 1928 или в 1929 году, когда собственно литературных грехов за

ним еще не водилось? Легче всего предположить, что мемуаристка ошиблась, спутала годы, но не так давно в сборнике работ победителей Всероссийского конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия — XX век» двое учащихся 11-го класса педагогического лицея при Воронежском государственном педагогическом университете Станислав Аристов и Алексей Чепрасов, чей статус не должен никого вводить в смущение, опубликовали статью «Рядом с Андреем Платоновым. „Дело мелиораторов“ как источник для изучения биографии А. Платонова», и приведенные в ней свидетельства, взятые из архива воронежской ФСБ, могут послужить не только своеобразным комментарием к мемуарам Валентины Трошкиной, но и ко всей платоновской судьбе.

К концу 1920-х годов стало выясняться, что многие мелиоративные работы в Воронежской губернии, некогда начатые Платоновым, провалились, а именно — плотины прорвались, осушенная местность вновь заболотилась, колодцы и пруды пересохли. Так происходило не только в Воронежской губернии, а повсеместно в России по причинам, которые едва ли нуждаются в объяснении: делали все в спешке, не хватало средств, не соблюдалась технология, нарушался график работ, что приводило к грубым техническим сбоям, наконец, просто не доставало квалификации. В известном смысле эта ситуация была предсказана Платоновым в «Сокровенном человеке» в судьбе безымянного начальника дистанции: «Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, неквалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку, и теперь фермы моста расшились...» Точно так же стали «расшиваться» и построенные в мирное время, но все равно наспех плотины [\[29\]](#).

Власти на местах зашевелились: началось с критических статей в воронежских газетах в первой половине 1928 года, а закончилось судебными расследованиями, допросами и арестами мелиораторов. К 1930 году практически все бывшие коллеги Платонова оказались под следствием. Их подозревали в сознательном вредительстве. Так по аналогии с известным всей стране Шахтинским делом^[30] возникло менее громкое «дело мелиораторов», в котором А. П. Платонову, судя по опубликованным документам, отводилась едва ли не главенствующая роль.

Двадцать первого апреля 1930 года бывший подчиненный Платонова А. Л. Зенкевич, сменивший его в 1926 году на должности губернского мелиоратора, показывал на следствии: «В контрреволюционную вредительскую деятельность, ставившую своей целью срыв мелиоративных работ, дискредитацию их в глазах населения и ослабление могущества Советского Союза, я был вовлечен губмелиоратором Платоновым в 1924 году».

В тот же день был допрошен в качестве свидетеля заместитель губернского мелиоратора (сначала при Платонове, затем при Зенкевиче) П. А. Солдатов. «Во вредительскую работу я был вовлечен в 1924 г. инж. ПЛАТОНОВЫМ, бывш. Губмелиоратором».

Как справедливо замечают авторы статьи, тот факт, что оба показания против Платонова датируются одним днем, указывает на спланированный характер фабрикуемого дела, и, таким образом, можно предположить, Платонова к аресту вели, приуготовляя ему роль организатора КРВО (контрреволюционной вредительской организации).

В августе 1930 года Солдатов был арестован и дал новые показания против бывшего начальника: «В мае 1923 года я поступил на должность техника по

мелиоративной гидрофикации. На эту должность меня никто не протезировал, но принимал на эту службу зав. отделом гидрофикации Платонов А. П., служащий какой-то газеты и занимается литературным трудом, проживая в городе Москве. <...> Настоящая фамилия А. П. Платонова — Климентов, переименовал он ее очевидно до 1923 г. Андрей до 1923 г. был партиец, но когда я с ним встретился, он был исключен».

Девятнадцатого декабря 1930 года был снова допрошен А. Зенкевич: «В к-р организацию мелиораторов я был вовлечен в 1924 г. инженером ПЛАТОНОВЫМ. Перед моим отъездом из Москвы в Воронеж инженер ПРОЗОРОВ (научный секретарь Технического Комитета НКЗ) мне указал, что одной из моих основных задач будет являться максимальное развертывание сети мелиоративных Т-в, что все директивы и указания по этому поводу я получу у ПЛАТОНОВА, которого он мне рекомендовал как „своего“ человека. В таком же приблизительно духе ПРОЗОРОВ отозвался о Зам. Губмелиоратора СОЛДАТОВЕ и инж. ДМИТРИЕВЕ, направленных в Воронеж незадолго до меня. Спустя некоторое время по прибытии в Воронеж я ПЛАТОНОВЫМ и СОЛДАТОВЫМ был посвящен в курс вредительской работы. <...> Эта работа, охватывающая „восстановительный период“ (1924-1926) была в целом одобрена и участники нашей группы (Платонов, Солдатов, инженер Николаев и я) по приезду в Москву в 1926 году на съезде получили личное одобрение от Спарро и Прозорова. Тогда же Платонов был переведен на работу в Москву, я был назначен на его место, а Солдатов оставлен моим заместителем».

Вслед за этим показания против Платонова стали давать другие участники дела. Обвинения в сознательном вредительстве перемежались с обвинениями в технологических просчетах, и вопрос,

почему главный фигурант не был привлечен либо просто допрошен, если была арестована и осуждена на сроки от пяти до десяти лет вся его команда, — более чем очевиден. Менее очевиден ответ.

Коснувшийся сего сюжета в книге «Житель родного города» О. Г. Ласунский, который первым это дело в архиве и обнаружил, предположил, что следователи воронежского ОГПУ не стали разыскивать Платонова «в густонаселенной столице, а в перипетиях российской литературной жизни они не шибко разбирались». С этим выводом не согласились молодые авторы статьи: «Ведь при том обвинительном заключении, в котором Платонов назван руководителем КРВО, дело должно было быть возвращено Коллегией ОГПУ на доработку: Коллегия не могла не видеть того кричащего диссонанса, который вносило в этот документ непредъявление обвинения главному фигуранту дела — А. Платонову».

Но кто бы ни был прав, одно можно сказать: Платонова спасла, вывела из-под огня литература. Мистическим или земным образом, от беды уберегла его Муза. Бывший воронежский мелиоратор А. П. Платонов был обречен, действующий столичный (это важно в данном случае подчеркнуть) пролетарский писатель Андрей Платонов — нет. Конечно, веда следствие профессионал, разбирающийся в литературной ситуации (и здесь прав Олег Ласунский: воронежское ОГПУ, скорее всего, плохо понимало, о ком и о чем шла речь), то пусть не в 1930-м, а летом 1931-го, то есть как раз тогда, когда проходил суд над мелиораторами, а Платонова пинали все кому не лень за хронику «Впрок», грамотному следователю было бы более чем логично объединить два вредительских начинания А. П. Платонова — мелиоративное и литературное в одно и добиться убийственного резонанса и громкой

славы для бдительных органов диктатуры пролетариата. Но этого не произошло.

Возможно, потому, что травля Платонова-писателя и следствие по делу «воронежских вредителей» разминулись по времени и в Воронеже еще действовала инерция писательского, столичного успеха бывшего губмелиоратора, а может быть, правы молодые исследователи, и «под А. Платонова была подложена мина с дистанционным управлением, которая могла быть приведена в действие в любой нужный момент, как во время следствия, так и после его окончания». Правда, слишком уж много было впоследствии поводов для того, чтоб мину взорвать, да так и не взорвали. Однако для внутренней биографии писателя, для понимания его душевного и духовного состояния важнее всего тот факт, что не раз приезжавший в эти годы в Воронеж Платонов об арестах бывших коллег знал, и хотя неизвестно, что на сей счет думал и как к происходящему относился — внутренне был готов последовать за ними. Так догонял несчастный герой «Епифанских шлюзов» Бертран Перри своего создателя, так в атмосфере страха, угроз, мучительных размышлений и ожиданий вынашивался «Котлован» с его одиноким «невыясненным» героем, потерявшим смысл общего и отдельного существования в стране, где мыли полы под праздник социализма.

На титульном листе одной из авторизованных машинописей повести стоят даты «ноябрь 1929 — апрель 1930», которые долгое время считались временем создания «Котлована», хотя, как предположила, работая с записными книжками Платонова, Н. В. Корниенко, речь в данном случае, возможно, шла о платоновской датировке событий повести, сама же повесть писалась позднее, и это момент принципиальный. Если учесть, что литературным спутником «Котлована» стала

«бедняцкая хроника» «Впрок», датировка первого варианта которой — весна 1930 года, равно как и время действия, вопросов не вызывает, то очень важно знать: что чему предшествовало — «Впрок» «Котловану» или наоборот? И либо Платонов в колхозном очерке, вызвавшем, как известно, уже не просто неудовольствие или раздражение, но пароксизм у Сталина, попытался показать дальнейшее течение жизни, либо пошел вспять времени — от очерка к повести, к истокам коллективизации, к страшной, переломной зиме 1929/30 года. Если верно последнее, а судя по всему, так и есть, смысл «Котлована» становится еще более страшным, более пронзительным и беспощадным, и именно эта повесть являет собой подведение итогов и безответный ответ на вопрос: что было сделано с Россией и с русским человеком в XX веке?

Впервые увидевший в нашей стране свет в 1987 году в «Новом мире», но, к сожалению, в сильно искаженном виде (и такими же искаженными были первые публикации на Западе, а также многочисленные издания повести в первой половине 1990-х годов в России), «Котлован» сделался одним из самых обсуждаемых и уже не только среди литературоведов, но и среди политиков, публицистов произведений, которое не иначе как по недоразумению либо излишнему демократическому усердию включили в школьную программу, предлагая считать его создателя едва ли не предтечей и идеологом диссидентского движения в СССР и главным антисоветчиком страны, хотя дело обстояло много сложнее.

Сколько бы о «Котловане» ни было написано, сколь досконально ни изучен текст этой предельно емкой, неразбавленной повести, все равно она остается очень загадочной, странной, непонятно, как и откуда появившейся вещью. И вот почему. Даже если встать на

коммунистическую точку зрения и вслед за Авербахом признать, что Платонов сочинял двусмысленные или недвусмысленно мелкобуржуазные и анархические рассказы, то к «Котловану» эти определения отношения не имеют в силу их слабости, пресности и деликатности. Между повестью и другими платоновскими произведениями тех лет, между «Чевенгуром» и «Котлованом», между «Че-Че-О» и «Котлованом», между «Усомнившимся Макаром» и «Котлованом», между «Записными книжками» и «Котлованом», между либретто «Машинист» и «Котлованом» при всей преемственности и перекличке образов и мотивов лежит пропасть еще большая, нежели та, что хотели выкопать строители общепролетарского дома. Здесь настолько иной авторский фокус и отношение к происходящему, что поражает уже не скорость создания, хотя темпы платоновской литературной работы оставались на рубеже 1920—1930-х годов столь же высокими, — поражает воплощение замысла. Впечатление такое, что между ними — замыслом и его воплощением — есть нестыковка. «Котлован» менее всего замышлялся автором для того, чтоб опорочить колхозное строительство, как это произведение с перестроечных времен повелось толковать. Напротив — к этой повести с еще с большим основанием можно отнести фразу из платоновского письма Горькому: «Я же писал совсем с другими чувствами».

В июне 1931 года Платонов описывал в письме Сталину свое душевное состояние той поры, когда он работал над «Котлованом»: «В прошлом году, летом, я был в колхозах средневожского края (после написания „Впрока“). Там я увидел и почувствовал, что означает в действительности социалистическое переустройство деревни, что означают колхозы для бедноты и батраков, для всех трудящихся крестьян. Там я увидел колхозных

людей, поразивших мое сознание, и там же я имел случай разглядеть кулаков и тех, кто помогает им. Конкретные факты были настолько глубоки, иногда трагичны по своему содержанию, что у меня запеклась душа, — я понял, какие страшные, сумрачные силы противостоят миру социализма и какая невероятная работа нужна от каждого человека, чья надежда заключается в социализме. В результате поездки, в результате идеологической помощи ряда лучших товарищей, настоящих большевиков, я внутренне, художественно отверг свои прежние сочинения — а их надо было отвергнуть и политически, и уничтожить или не стараться печатать. В этом было мое заблуждение, слабость понимания обстановки. Тогда я начал работать над новой книгой, проверяя себя, ловя на каждой фразе и каждом положении, мучительно и медленно, одолевая инерцию лжи и пошлости, которая еще владеет мною, которая враждебна пролетариату и колхозникам. В результате труда и нового, т. е. пролетарского подхода к действительности, мне становилось все более легко и свободно, точно я возвращался домой из чужих мест».

Можно почти не сомневаться: речь в этих строках шла о котловане «Котлована», то есть о том, что лежало в основе произведения, посвященного изображению «страшных, сумрачных сил», противостоящих миру социализма. Вот отправная точка для понимания замысла повести, написанной человеком, у которого от увиденного в русской деревне «запеклась душа».

Другое очень важное автореферативное суждение было высказано Платоновым в 1932 году на творческом вечере, и речь снова шла о поездке в колхозы на Волгу в 1930-м, «котлованном» году: «После статьи Авербаха я хотел начать работать, но это сразу не удалось: разгон, инерция ошибок была велика. Я начал писать большую вещь; написал листов 4-5, а потом через два

месяца уже приходится перерабатывать снова, так как переработка себя опережала творческую работу. Этот разгон, наконец статья, которые владели мной, были настолько высоки и противоречивы, что помимо сознания „контрабандой“ проводились в рукопись ошибки, и только в результате бдительного наблюдения, беспощадного самоконтроля соответственно перерабатываешь рукопись снова и снова. Ясно, что все это — в смысле перестройки — облегчилось для меня тем движением классовой борьбы, которую я вплотную наблюдал на Средней Волге. Я только там представил себе, что классовая борьба есть философское движение. Эта обстановка классовой борьбы особенно сейчас обострилась. Естественно, что мне нужно было прекратить этот поток произведений, выходящий из меня. Мне нужно было прекратить не только внешнее издание, важно было остановить это внутри себя. Мне думается, что это мне удалось сделать».

Трудно сказать наверняка, о какой именно большой вещи говорил автор. Речь могла идти — по убыванию вероятности — либо о «Котловане», либо о «Техническом романе», либо о «Ювенильном море», либо о неизвестном нам романе, замысел которого отражен в «Записных книжках» 1931 года. Но вот что обращает на себя внимание: Платонов прямо признал, что его произведения рождались и выходили из него помимо воли и сознания, проходили мимо них контрабандой, и этот поток ему приходилось огромным, беспощадным усилием воли останавливать, или, как он сказал в другом месте, «я начал ломать самому себе кости».

В случае с «Котлованом» сломать себе кости автору не удалось, и повесть не только не опровергла «инерцию лжи и пошлость», читай — горькую правду «Впрока», но бесконечно углубила ее, став той

нелегальной, не подлежащей ввозу в СССР продукцией, которую таможня-сознание не остановила — пропустила, проспала, замешкалась, обманулась, зачиталась сама. И в качестве одного из ответов, отчего так произошло, предположим: «Котлован» был написан в «соавторстве». Вторым и решающим автором был платоновский двойник.

Глава девятая ТЬМА КОЛХОЗНОЙ НОЧИ, ИЛИ КТО НАПИСАЛ «КОТЛОВАН»

Это не совсем метафора. Или совсем не метафора, но нечто иное, писать о чем страшно и зыбко. Андрей Платонов с писательской юности своей был человеком до предела усложненным и чем дальше жил, тем шире этот предел становился и больше в себя вмещал. Если воспользоваться определением синтаксическим, он был писателем сложносочиненным, и эту вторую, таинственную часть своего существа хорошо осознавал, хотя едва ли мог ею управлять. О его отношении к внутреннему двойничеству, о неподконтрольной сознанию части его существа свидетельствует и признание на отчетном вечере, и строки из письма Сталину, относящиеся на сей раз к «Впроку» («Перечитав свою повесть... я заметил в ней то, что было в период работы незаметно для меня самого...»), и более ранние по времени слова из глубоко личного письма жене, где речь шла о «Епифанских шлюзах»: «Это может многим не понравиться. Мне тоже не нравится — как-то вышло...» И хотя тогда речь шла о стиле («славянская вязь»), сама постановка вопроса «как-то так вышло» примечательна.

В этом смысле Платонов гораздо более, чем Булгаков, писатель мистический. Может быть, самый мистический в нашей литературе, и корень этой мистики как раз в двойничестве и таитя. В «Записных книжках» с примечанием «Это важнейшее!» он отмечал: «Когда я вижу в трамвае человека, похожего на меня, я выхожу вон»; «Я не смотрюсь никогда в зеркало, и у меня нет фотографий»; «Если я замечу, что

человек говорит те же слова, что и я, или у него интонация в голосе похожа на мою, у меня начинается тошнота».

К этому стоит добавить, что у Андрея Платонова был реальный литературный двойник — Алексей Платонович^[31] Платонов (причем Платонов в данном случае — тоже псевдоним, настоящее имя этого литератора было Петр Алексеевич Романов), член «Перевала»^[32], и двух писателей порою путали — так, одна из рецензий на «Епифанские шлюзы» начиналась: «Автора этой книги легко смешать с другим Платоновым, Алексеем. Оба они пролетарские писатели, оба одновременно прозаики и поэты». В 1930 году книга повестей и рассказов Алексея Платонова «Макар — карающая рука», изданная в «Федерации», была запрещена, у Андрея Платонова был фактически запрещен его «Усомнившийся Макар» — и нет сомнения, все эти нюансы, психологические, личностные, рациональные и иррациональные, «главного» Платонова волновали, но как именно на него влияли, мы не знаем. Никаких твердых фактов, для того чтобы строить более или менее обоснованные суждения, нет, мы вступаем здесь в область догадок и предположений. Важно лишь отметить, что в самом существе платоновской натуры эта с трудом поддающаяся дешифровке таинственная зона была.

Одной из ее метафор в «Чевенгуре» стал образ плачущего сторожа, ангела-хранителя, евнуха человеческой души, и к этим размышлениям Платонов обращался позднее в «Записных книжках»: «Человек существо двойное — вот основа его психологии, двойное в смысле не двурушника, а, м.б., скорее анг<ела>-хранителя». Или, работая над романом «Счастливая Москва»: «Ведь Сарториус — тень, второй

человек действительного человека, и паразит чужой души, а она тоже... и все сцеплено в бред».

Но, пожалуй, главное и бесспорное доказательство, некий своеобразный итог платоновских размышлений над сложной психической природой человека и присущей ей двойственности — слова хирурга Самбикина из романа «Счастливая Москва»: «...тайна жизни состоит в двойственном сознании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли, и одну не можем! У нас ведь два органа на один предмет! Они оба думают навстречу друг другу, хотя и на одну тему... И вот иногда, в болезни, в несчастье, в любви, в ужасном сновидении, вообще — вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный „он“, часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно... Мы видим — нас двое, и мы надоели друг другу... Но вновь сцепляются наши два сознания, мы опять становимся людьми в объятиях нашей „двусмысленной“ мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произошли в себе самих...»

Самбикина трудно назвать героем-резонером. Но эти слова не были игрой ума. Платонов написал их осмысленно, выстраданно, и, быть может, в них заключен секрет, проявлен ген его гениальности и дан ключ к писательской и человеческой судьбе. Бывают такие периоды в жизни человека, когда его второе «я», это заложенное в глубине существа и находящееся под спудом начало, узник человеческой души вырывается наружу и начинает жить отдельной жизнью. Вспомним еще раз письмо жене, в котором нет ни тени преувеличения либо выдумки:

«...я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я, и, полуулыбаясь, писал. Притом то я, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих слез».

Вот кем написан «Котлован»: человеком с мертвыми бесслезными глазами, гениальным сторожем, евнухом и узником платоновской души. Сатаной его мысли, русским Босхом, изобразившим картину Страшного суда или, вернее, зловещей пародии на Страшный суд, который вершит не милосердный Господь, но Его противник, и где все — и грешники и праведники — идут одной дорогой, потому что Бога больше на Русской земле нет.

Это так же верно, как и то, что не Платонов, а его двойник изобрел страшную смерть для Бертрана Перри в «Епифанских шлюзах», потому что — молчи, Мария, так нужно, — не Платонов, а его двойник отправил умирать в воды Амазонки Михаила Кирпичникова из «Эфирного тракта». То был жесткий, острый, беспартийный внутренний человек, который проникал в суть явлений, кому были даны сверхъестественные зрение и слух, кому вложили в уста вместо языка жало змеи, а вместо сердца раскаленный уголь, и тогда этот Богом избранный в богооставленном мире, не служащий никакой идеологии, не скованный ответственностью ни перед каким классом, не преданный никаким человеческим учениям, никому кроме Творца не подвластный и не подотчетный, ничего не боящийся пророк сотворил одну из самых страшных книг на русском языке существующих. «Котлован» совершенен, но от этого совершенства становится жутко.

Тридцатилетний, потерявший высоту жизни человек по фамилии Воцев — человек-видение, чья мысль равняется поступкам, а окруженное жесткими

каменистыми костями сердце непрестанно мучается и болит — увольняется с небольшого механического завода, потому что не может жить не думая под вопрошающим небом, которое светит над ним мучительной силой звезд. Он не спит, ибо «для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Воцев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал — полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется». Ощущение советского «маленького человека», изнемогающего от потери и бесплодного поиска истины, «как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе!» (а в рукописи эта мысль была выражена еще более жестко: «...какой-то хищник украл мое чувство»), сравнивающего себя с умершим палым листом с далекого дерева, которому предстоит смирение в земле, — передано с пронзительной обнаженностью. И хотя вопрос, можно ли ставить знак равенства между героем и повествователем — спорный (при том, что определенные биографические совпадения — возраст, увольнение со службы — есть), бесспорно то, что едва ли было в тогдашней русской прозе более достоверное изображение человеческой души, потерявшей Бога и бессознательно тоскующей по Нему до кровавого пота без надежды и утешения — доказательство бытия Божьего от противного. Или, как сказал священник из деревенской церкви колхоза имени Генеральной Линии: «...я остался без Бога, а Бог без человека...»

Ощущением Богооставленности как всеобщего сиротства пронизаны вся повесть и судьбы ее героев от безымянных мужиков до маленьких начальников. Мотив в творчестве Платонова не новый, но если в прежних вещах он пытался заменить утраченного Творца иными образами и идеями — революционными, космогоническими, утопическими, федоровскими, то

автор «Котлована» ни на какие подмены не идет, словно изначально зная их иллюзорность и бесполезность. Он обозначает пустое место, которое ничем не может быть заполнено, ничем не зарастает, но болит нестерпимой, незаглушаемой болью.

Саша Дванов — герой Андрея Платонова. Безымянный Воцев — его ночного гостя. И различие между персонажами, и связь — очевидны. Не ушедший к отцу в воды озера Мутево в двадцать с небольшим, а доживший на земле до тридцатилетия личной жизни человек — вот кто такой Воцев. Дванов, доведись ему просуществовать в спертom воздухе социализма еще с десяток лет, не выдержал бы и попал в сумасшедший дом, где стал бы поддакивать случайно забредшему к скорбным умом и душою насельникам Макару Ганушкину. А Воцев бьется на грани ума и безумия («Если он остался жить и не сошел с ума, то это роскошь», — заметил Платонов в «Записных книжках» о другом, по-видимому, персонаже, но слова эти могут быть отнесены и к Воцеву), страшась собственной сердечной и умственной озадаченности и пугая ею окружающих.

В рукописи «Котлована» этот герой был показан гораздо глубже, подробнее, лиричнее и исповедальнее: «Он догадывался, что его жизнь собралась из чувств к матери, отцу и дальнейшим людям, поэтому его мысли были одними воспоминаниями людей — он находился, словно озеро, питаемый каждым совместно живущим с ним человеком, как потоком, однако Воцев не почитал людей, его волновала лишь та середина мира, которая сама покоится внутри, но образует тревожную судьбу на поверхности земли, и он тоже хотел тревожиться, но с живыми, а не с мертвыми глазами и с чувством постоянного сознания истины. В уме же Воцева происходили лишь воспоминанья, ничего неизвестного не зарождалось в нем, и Воцев понял, что смысл жизни

надо не выдумать, а вспомнить, — следует возвратиться к людям, забыться среди них, чтобы объяснить свою жизнь теми предметами, из которых она скопилась нечаянными чувствами к людям, которые уже исчезли в течении времени без вести в природе, но сохранились в тесном, внимательном теле Вощева, ощущающем только свои воспоминанья. А в детстве этот человек думал быть счастливым на всю жизнь, и мать ему так обещала».

Этот фрагмент из окончательного текста был вычеркнут, исчезла фигура профуполномоченного, которому Вощев пытается объяснить, что без смысла жизни человек может снаружи организовать, а для внутреннего состояния ему нужен смысл («без истины человек как без плана: его любая стихия качает и трудиться невозможно»), и которому он обещает вспомнить смысл жизни и устроить человека. Но для того, чтобы эту истину узнать, Вощев, уклонившись от профсоюзной карьеры и жалования в 38 рублей, приходит на строительство общепролетарского дома в своеобразную античехенгурскую антикомму, где никто никого не любит, где все вкалывают как проклятые под надзором руководящих работников, и обездоленный искатель сжимает лопату руками так, словно хочет «добыть истину из середины земного праха». Но нет там этой истины, нет. Так же как нет и строительной техники, о роли которой в деле индустриализации страны писали в ту пору все — только не автор «Котлована», знавший цену советскому строительному делу.

«Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?»

От безответности этих вопросов, от невыносимой грусти жизни и тоски тщетности Вощеву хочется сделаться комаром, у которого судьба быстротечна — бунт сродни карамазовскому и мучительное желание

конца, ожидание, когда же на Небе будет «вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни» — мысль, чье смертельное, эсхатологическое наполнение, если опять проводить сопоставление с «Чевенгуром», под стать уходящей со сцены буржуазии, а не вступившему на нее пролетариату. Но никто из людей, Вощева окружающих, — ни угрюмый, всю жизнь не знавший, куда девать силу, землекоп Никита Чиклин (в первоначальном варианте — Климентов, и раздвоение авторского «я» на Вощева и Чикпина-Климентова глубоко не случайно), ни пронизанный детскими страхами, балансирующий на грани жизни и смерти «человек осени» инженер Прушевский, ни становящийся профсоюзным начальником слабосильный любитель конфликта и самоудовлетворения Козлов, ни другой рабочий начальник, товарищ Сафронов, ни самый главный из местных вождей «буржуй-функционер» Лев Ильич Пашинцев, ни жирный калека Жачев — помочь ему не могут. И та формула, которую предлагал Платонов в «Че-Че-О» — «Дружество и есть коммунизм. Он есть как бы напряженное сочувствие между людьми», — в «Котловане» терпит крах, как если бы прекрасная теория не прошла испытания практикой: ток не замкнулся и не побежал по проводам.

У каждого из героев своя судьба и своя трагедия. Каждый бьется и умирает в одиночку, чувствуя рядом другого, но — не сочувствуя ему. Или даже не совсем так: они пытаются сочувствовать и соучаствовать, но в тех формах, от которых культурного читателя воротит. Вот описание «братской трапезы», где духовное съедается физиологическим (и примечательно, что в подавляющем большинстве опубликованных версий «Котлована» этого абзаца нет — как убрали советские редакторы, так и пошло гулять по издательствам): «Ели

в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания. Козлов иногда кашлял нечаянно в котел, и видны были крошки в воздухе из его рта, но никто из евших не защитил чистоты пищи желудка против Козлова, и Воцев, видя то, подгребал своей ложкой как раз те места пищи, куда кашлял Козлов, чтобы лучше сочувствовать ему».

Платонов писал не для культурных потребителей литературы, и естественную брезгливость можно преодолеть, но стали ли от этого люди ближе? В «Котловане» — по контрасту с «Чевенгуром» — очень хорошо передано ощущение того, что распались прежние скрепы, а новых нет. И на множась число вопросов — ни одного ответа.

«Воцев согласен был и не имеет смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, — и, чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью».

Только вся штука в том, что среди всего пролетариата, среди бедного, среднего и богатого крестьянства, среди активистов, интеллигентов и инвалидов такого человека тоже нет: один работает потому, что желает нарастить стаж и уйти учиться, другой ожидает момента для переквалификации, третий хочет вступить в партию и скрыться в руководящем аппарате, и «каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения» — идею личную, но не общую. Иные из героев свою идею, казалось бы, находят, как пролетарский активист Сафронов, торжествующе слушающий призывы радиорупора мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства и обрезать хвосты и гривы у лошадей и жалеющий, что нельзя этой трубе

сообщить в ответ о чувстве активности. И если Жачев с Воцевым, вынужденно слушая трубу, испытывают беспричинный стыд от долгих речей и переживают их как личный позор, Воцев — молча, а Жачев с криком: «Остановите этот звук. Я и так знаю, что умна советская власть» (в рукописи), и «Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!» (в машинописи), то Сафронову в этом мире все ясно: «У кого в штанах лежит билет партии, тому надо непрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм». И когда труба замолкает, он предлагает бросить произошедший из буржуазной мелочи русский народ «в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм», а после, когда все засыпают, жалуется, что масса — стерва и гадина — весь авангард замучила и трудно из нее «организовать кулеш коммунизма». Находит себе место слабосильный онанист Козлов, которому надоело рыть землю и он самого Сафронова переплюнул, став «передовым ангелом от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения». Но к Воцеву эти пируэты судеб, оканчивающиеся для обоих вознесшихся катастрофой, отношения не имеют. «Говорили, что все на свете ^[33] знаете, — сказал Воцев, — а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить».

Однако в колхозе имени Генеральной Линии, куда он уходит по следу крестьянских гробов, и за ним туда же переносится действие, картина еще страшнее и беспросветнее, чем на строительстве общепролетарского дома. Там уж точно никакой истины быть не может, а стыда еще больше. Социалистическая деревня времен сплошной коллективизации и

исполнения решений Четырнадцатого пленума показана в повести как некое даже не адово дно, по которому нужно скорее пройти, пробежать в коммунизм, а как конечный пункт движения — сам коммунистический ад. В нем опухшие от мясной еды мужики забивают скот и зимними днями по деревне летают мухи, но не снежные, а настоящие жирные мухи, а потом кулаков находит по запаху и по воспоминаниям загадочный медведь-молотобоец Миша, то ли животное, то ли оборотень, и на плоту их отправляют по реке и далее в море.

Это царство, где тоскуют по своему обобществленному имуществу и умирают от невозможности жить середняки, где старый пахарь целует молодые деревья в саду, а после с корнем вырывает их прочь из почвы, не обращая внимания на причитания жены («Не плачь, старуха, — говорил Крестинин. — Ты в колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен!..»); где каждому заготовлены на его рост гробы и только поэтому опухшие от горя люди еще живут, цепляясь за это последнее свое имущество («У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство!»). Это мир, в котором рыдают, воют и катаются по земле разумные женки («Я-то нарочно, вот правда истинная — вы люди, видать, хорошие, — я-то как выйду на улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ активист видит меня — ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал, — как увидит меня, так и приказывает: плачь, баба, плачь сильней — это солнце новой жизни взошло, и свет режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желаньем...»), а неразумные, заранее организованные под руководством не доброй «песчаной учительницы» Марии Нарышкиной,

но поганого, опухшего от забот выродка, товарища активиста общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе, учат слова на «а» — авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист, а потом на «б» — большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браволенинцы!

Это мир, в котором говядину едят как причастие, пряча «плоть родной убоины в свое тело» и сберегая там от обобществления, а потом ею блюют и ложатся в гробы. Это *не Божие* царство, где добровольно остриженный под фокстрот священник доносит на каждого, кто приходит в храм и кто осеняет себя крестным знаменем, либо склоняет тело пред небесной силой или совершает другой акт почитания подкулацких святителей.

В «Котловане» читателя сбивают с ног два взаимоисключающих чувства: так было и так не могло быть. Не могло быть — потому, что происходящее находится за гранью разумения; так было — потому что жирных мясных мух, летящих среди мух белых, невозможно придумать, а только самому увидеть в русских деревнях, где накануне коллективизации в тоске самоубийства закалывали скотину русские мужики, своими руками подготавливая будущий голод — не случайно в рукописи были фразы, впоследствии автором вычеркнутые: «Поздно, товарищи, колхоза захотели: зачем погубили скот?» И чуть дальше: «„А чего ж вы раньше не шли в колхоз, когда скот был жив?“ Никто не мог теперь сказать своего слова — все забыли». И мужиков этих действительно сплавляли вместе с семьями на плотях — Виктор Петрович Астафьев вспоминал: «В 32-м весной всех выгнанных пособирали, поместили на плоты и уплавили в Красноярск, а оттуда в Игарку... Как выселяли помню —

память моя уже была острой. Когда стали грузить на плоты, собралась вся деревня. Плакали: кумовья, сваты уезжали... Кто рукавицы нес, кто булку, кто кусок сахару...»

В «Котловане» никто ни о ком не плачет и никому не сочувствует. Провожает кулаков лишь один человек — инвалид Жачев, и уплывающие люди смотрят на своего палача, безногого урода как на последнего счастливого человека. Но калека счастлив не больше, чем любой другой из героев, не важно, бедных или богатых — они все, всё поколение, — обречены. Коллективизация в повести изображена как торжество смерти — мотив, который хоть и повторяет чевенгурские идеи, но в «Котловане» резко меняет тональность. На смену лирической, напевной, трогательной интонации романа, на смену его душевным героям, его пространству, воздуху, ветру, солнцу, теплу приходят люди, которым тесно и холодно на земле, которые не поют песен (недаром автор при работе над повестью последовательно убирал из текста упоминание о песнях, оставив лишь слабую песнь колхозников, в которой оксюморонам слышится «жалобное счастье и напев бредущего человечества») и хорошо знают одно ремесло — убийство.

Кулаки убивают двух руководящих работников — Сафронова и Козлова, Никита Чиклин без суда и следствия казнит безвестного, опухшего от горя и ветра, нечаянно живущего желтоглазого мужика, которого подозревает в убийстве своих товарищей^[34]. Мечтающий за все свои зверства заслужить в ближайшей перспективе хотя бы районный пост, а в дальнейшей — вечность, сельский активист отправляет на смерть кулаков, а потом погибает от руки Чиклина, после того, как неожиданно выясняется, что активист неправильно проводил линию партии в деревне,

забежав «в левацкое болото правого оппортунизма», хотя в действительности активист с несокрушимым энтузиазмом и точностью выполнял вилляющие партийные директивы. И районные власти снимают его с должности не за реальные, уже совершенные преступления (как был отстранен от должности Пиюся за расстрел буржуазии в «Чевенгуре»), а всего-навсего за то, что он задает несвоевременный вопрос, «есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-средняцкие массы, неудержимо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных невидимых времен» и «не понимает, насколько он тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом, средняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда».

К этому персонажу автор наиболее беспощаден («Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей»), именно этого переугожденца, упущенца и головоотяпа считает Воцев виновником своих душевных мук, но едва ли открывшаяся герою истина может помочь его горю от сердца и ума.

«Ах, ты гад! — прошептал Воцев над этим безмолвным туловищем. — Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!»

И Воцев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья».

Падающего — толкни. В «Котловане» звереют все. Даже призванная смягчить сердца строителей и оправдать их жизнь маленькая девочка Настя, которую

находит и спасает от смерти Чиклин и которой поклоняются строители дома, а Воцев смотрит на нее так, как в детстве смотрел на ангела на церковной стене, приказывает взрослым дядям убивать всех плохих людей, потому что хороших очень мало, словно и она начиталась сочинений Томаса Мюнцера. Даже она, рожденная после революции («...жили одни буржуи, то я и не рождалась, потому что не хотела. А теперь как стал Сталин, так и я стала!»), отравлена недетским горем, ранней взрослостью и тем временем, в котором живет.

И в «Чевенгуре», и в «Котловане» ставится безжалостный, лишенный двусмысленности диагноз обезбоженному миру. Но если от «Чевенгура» остается ощущение печали и неясной надежды, намек на то, что финал неокончателен и приговор может быть пересмотрен — воскреснет из вод озера Саша Дванов и преобразится, превратится в доброго человека из Чевенгура его далекий брат Прокофий, то в «Котловане» — надежды нет. Слишком велико отчаяние и героев, и их создателя. И это опять не платоновское, а написанное как будто бы не по, а против воли изначально куда более милосердного и снисходительного автора, «...то я, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих слез. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне **не послушалось**». Вот так — не послушалось. Оно оказалось сильнее, оно победило, оно водило рукой. Только в чем был смысл этой победы? И что было с ней делать? Не Горькому же отсылать свой шедевр в Сорренто или на Малую Никитскую. И не Бунину в Париж.

Можно представить, что в Советском Союзе при жизни Платонова был бы напечатан «Чевенгур». Можно. Другое дело, как бы его встретила критика и какие бы полетели головы. Но представить, что был бы

опубликован «Котлован» — это примерно то же самое, как если бы в 1924-м товарищи добровольно напечатали «Окаянные дни», а полвека спустя — «Архипелаг ГУЛАГ». Только Платонов в отличие от Бунина и Солженицына не считал себя убежденным врагом советской власти. Напротив. Даже в самые отчаянные минуты жизни он не поднимался или не опускался, не доходил до политического протеста и не переступал определенных границ, потому что как художник в этом пересечении не нуждался, а как пролетарский писатель, каковым не переставал себя считать, не мог себе подобного позволить.

«Котлован» — исключение. Здесь вещи названы своими именами: преступление преступлением, а убийцы — убийцами, при том что никакой обличительной, равно как и оправдательной цели в повести не преследуется. Более того, в ней нет попытки даже логически осмыслить происходящее, ибо осмыслению, человеческому разумению, пониманию эта иррациональная картина не поддается.

Ее можно только высоко засвидетельствовать, не замутив личным авторским участием. Впечатление такое, будто платоновский «второй» не дал наблюдающему за ним в сонном видении «первому» возможности вымолвить слова. Эти слова «первый» оставил для «Записных книжек», в которых искренне и наяву писал: «Без компартии нам невозможно жить: мы бы давно погибли от кулака»; «Бедняки за колхозы; в колхозе им пашут общие лошади и тракторы; а в кулацкой деревне — кулацкие лошади. В колхозе лошадь для бедняка обходится дешевле»; «Колхозы — наша одна надежда. Что ж нам делать без них? Опять бедовать, нуждаться, жить безнадежно и видеть сало кулака, питаясь печеной рожью»; «Кулак подобен онанисту, он делает все единолично, в свой кулак»; «Новая жизнь наступила действительно (работа

коллектива на сенокосе)»; «Мужик-колхозник это не прежний цепкий узким умом идиот, это уже мечтатель и фантазер (машина научила его сверх-надежде)».

Эти слова он оставил для «бедняцкой хроники» «Впрок», где «бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок и скудное сиротство в голой избе, тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по волости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь».

Эти слова остались в наброске рассказа «Ветер-пахарь», герой которого красноармеец Силайлов узнает в сельсовете, что «земля безлошадной бедноты стоит почти вся несеянная, потому что живой тяги нету, а брать лошадей из кулацкого класса, так у бедноты бюджета не хватает, — тем более что кулачество берет за пахоту наличными и без рассрочки».

Эти слова прозвучали, наконец, в письме жене, отправленном летом 1931 года из Самары: «Муся, если бы ты знала, как тяжело живут люди, но единственное спасение — социализм, и наш путь — путь строительства, путь темпов, — правильный».

Однако в «Котлован» не попало ничего, что можно было бы хоть как-то, пусть косвенно, пусть опосредованно, с натяжкой трактовать за колхозы даже в их идеальном, несуществующем воплощении. Платонов был убежденным сторонником коллективизации, никогда он не выступал защитником кулачества, в чем обвиняла его тогдашняя политическая критика, не придерживался он и той точки зрения (ныне весьма распространенной и ставшей

практически общепринятой), что кулаки есть самая талантливая, самая работающая, предприимчивая часть крестьянского мира и, более того, что к 1929–1930 годам кулаков в изначальном смысле этого слова в стране не осталось, а те, кого большевики кулаками называли, были просто крепкими хозяевами середняками, и напротив, бедняки — это зачастую деревенская голь, бездельники, лодыри. Если говорить о литературе, то художественных иллюстраций к подобному взгляду на крестьянский мир можно найти сколько угодно: у Бориса Можаяева в «Мужиках и бабах», в рассказах Владимира Тендрякова, в прозе Василия Белова, Сергея Залыгина, Ивана Акулова, Юрия Казакова, Константина Воробьева, в воспоминаниях Ивана Твардовского и у многих других замечательных писателей, но только не у Платонова, отмечавшего в «Записных книжках» 1930 года (то есть по времени совпадавших с написанием «Котлована»): «Кулак сейчас скрывается в колхозе, — и выходит из него последним, стравив на выход других», «Кулак играет на наших временных затруднениях, ищет их. Где кулак — там наши недостатки...».

С еще большей неприязнью описывал Платонов расслоение современной ему деревни в очерке «За большевистского счетовода в колхозе!», созданном предположительно тем же летом 1930 года:

«Когда прохожий вступает из степей в село, то он не понимает, почему на такой земле, где вспаханная вечером зябь к утру покрывается сплошной травой, — почему на этой земле хижины крестьян настолько убоги, что, кроме глины, соломы и плетней, в них нет ничего, да и то все жилище подперто жердями от ветров, — и почему сами труженики имеют мелкое тело, точно их предки густо не ели.

Не выходя из села можно разгадать это обстоятельство. Прохожий видит, что, кроме хижин, в

селе есть еще и кирпичные двухэтажные дома; к тем домам примыкают громадные дворы, наполненные различными деревянными постройками. <...> Исправные строения покрыты зачастую железом, имеют вдобавок крытые дворы, где в уюте гнездится скот, и прочные ворота, хранящие царство среднего мужика.

Такая архитектура заволжской деревни открывает прохожему всю тайну жизни в степи, тайну голода и труда на пышной земле, где любая тварь сыта, а неимуший, но работающий человек был измучен.

Все вещество труда, скопленное тяжким усердием батраков, бедноты и отчасти середняков, собиралось в кирпичные крепости кулаков... Это едкое, измождающее угнетение, помноженное на засушливый климат Поволжья, сделало жизнь бедняка скорбью и смертью, несмотря на плодородие здешних земель».

Так убежденно, так искренне писал среди бела дня преисполненный сочувствия к бедным, убогим, замученным батракам разъездной корреспондент, фактически прямо призывая к раскулачиванию и скорейшему созданию колхозов, а по ночам недремлющий сторож его души описывал в «Котловане», что творилось в зажиточных домах, после того как Чиклин «сделал Сталину колхоз»:

«Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями, внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой полуусопшего уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло из бутылки время от времени. Воцев прислонил свою руку ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе затих дыханием, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину.

— А теперь он похолодал, — сказал Воцев.

Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. „Ишь ты какая, чтущая меня сила, — между делом думал лежащий, — все равно я тебя затомлю, лучше сама кончись“.

— Как будто опять потеплел, — обнаруживал Воцев по течению времени.

— Значит, не боится еще, подкулацкая сила, — произнес Чиклин.

Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту и там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые кости от сотления в прах, свою кровавую силу тела от гниения в гное [\[35\]](#), глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства.

— Мертвые не шумят, — сказал Воцев мужику.

— Не буду, — согласно ответил лежащий и замер, счастливый, что угодил власти.

— Остывает, — пощупал Воцев шею мужика.

— Туши лампаду, — сказал Чиклин. — Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил — вот где никакой скупости на революцию».

Тут дело не в том, что Платонов внутренне противоречив и двусмыслен, не в том, что он проводил черту между колхозами правильными и неправильными, и даже не в том, что кулаки вызывали у него ненависть лишь до той поры, пока были кулаками, а потерявшие имущество, нажитое батрацкой плотью, пробуждали сострадание, как чевенгурская буржуазия у своих расстрельщиков. Дело не столько в этике и уж тем более не в политике, не в поиске виноватого, а в метафизике, в ощущении смерти, которая опустилась

над Русской землею. Смерть пришла за людьми, и Платонов — он ли сам, его ли двойник — Андрей Платонович Платонов, инженер, писатель, художник, раб Божий Андрей почувствовал ее явление и затрепетал, потому что смерть была для него важнее, главнее, сокровеннее даже, нежели революция. С юных лет, после страшной отроческой раны, после ведомого или неведомого нам потрясения, после смерти брата и сестры и голода 1921 года он ощущал себя ее избранником и написал о том, как смерть забирает к себе человеческие души и как они к ней сами стремятся.

А что касается тех, кого она еще не тронула и не позвала, то вещице слова другого кулака или подкулачника: «Ну что ж, вы сделаете из всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством! <...> Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!» — кажутся настолько точным пророчеством надвигавшегося на страну единовластия и завтрашней расправы с теми, кто сегодня не ведает, что творит, что вся повесть читается как приглушенный стон, против воли вырывающийся из обнаженного кровоточащего сердца, из шерстяного горла, где по поверью платоновских героев находится душа.

Если рассуждать по уму, по логике разъездного корреспондента, в стране делается то, что надо, то, что должно делаться (пусть даже не совсем так, как должно), делается для общей пользы и для счастливого будущего, чтобы поскорее наступил коммунизм, без которого страна погибнет; если по сердцу — творится массовое убийство, геноцид, какого не знала Русская земля ни во времена татаро-монгольского владычества, ни при Петре, ни при Аракчееве, ни тем более при Столыпине. И дело не в перегибах на местах, о чем,

формально можно считать, идет речь в «Котловане». Дело в существе. Такой ли, сякой ли был активист, окажись на его месте другой, правильный, все равно происходит гибель народа, гибель целой цивилизации и человеческой души, потому что, как сказано было в «Записных книжках», «отняв имущество, опустошили душу».

«Котлован» — это никем не заказанный, не считая высших сил, реквием, плач о гибели Русской земли, который написал — отвлекаясь от двойниковой мистики — тот, кто в молодости был самым честным, самым горячим и убежденным из русских большевиков. И только такой человек и мог совершить книгу, которую — если от всего русского XX века надо было бы избрать одну, чтобы сказать Господу: «Вот, посмотри, что с нами сделали», — отцы и деды наши протянули бы Ему эту книгу.

Разумеется, это не единственно возможное прочтение «Котлована». Квалифицированный читатель увидит в повести гораздо больше разнообразных мотивов и смыслов, проследит связь с мифологическими и мифопоэтическими традициями; при медленном, повторном ее прочтении поверх низовой бедности земли в повести откроются иные возможности и перспективы. Так, есть в «Котловане» очень светлое место, относящееся к деревенской молодежи, которая равнодушна к тревоге и мучению своих отцов и живет точно чужая, томимая «любовью к чему-то дальнему». Именно этих людей принимается обучать и находит в том утешение неприкаянный инженер Прушевский, и здесь возникает женский образ настолько лирический и проникновенный, что даже интонация меняется, смягчается, становится напевной и нежной, некотловановой: «Одна девушка стояла перед ним — в валенках и в бедном платке на доверчивой голове; глаза ее смотрели на инженера с удивленной любовью,

потому что ей была непонятна сила знания, скрытая в этом человеке; она бы согласилась преданно и вечно любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее знать весь мир и участвовать в нем. Ничто ей была молодость, ничто свое счастье — она чувствовала вблизи несущееся, горячее движение, у нее поднималось сердце от ветра^[36] всеобщей стремящейся жизни, но она не могла выговорить слов своей радости и теперь стояла просила^[37] научить ее этим словам, этому уменью чувствовать в голове весь свет, чтобы помогать ему светиться».

Вместе с тем в «Котловане» бездна даже не сатиры, а юмора. Уморительно смешон обладатель легкой, свободомыслящей, интеллигентной, руководящей походки социалист Сафронов, чья речь есть совершенный и трогательный образец советского новояза: «Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный звук и сказал своим вящим голосом:

— Извольте, гражданин Козлов, спать нормально — что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет?.. А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи: почему это товарищу Воцеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехотворности?..»

Комичен вознесшийся в сферы высшего руководства, отказывающийся от «конфискации ласк» одной средней дамы в пользу «женщины более благородного, активного типа» Козлов, и под стать ему инженер Прушевский, готовящийся совершить зеркальное путешествие вниз: «Явившись в техническую канцелярию работ, Прушевский сел за составление проекта своей смерти, чтобы скорее и

надежней обеспечить ее себе. После окончания проекта Прушевский устал и спокойно уснул на диване. На завтра ему осталось составить лишь объяснительную записку к проекту, а затем найти достаточно прелестную женщину для однократной любви с ней; после удовлетворения любви к Прушевскому всегда приходило нормальное желание скончаться...»^[38]

Нелеп Никита Чиклин, когда надевает «ватный, желто-тифозного цвета пиджак», оставшийся у него «со времен покорения буржуазии»; потешен новый буржуа — товарищ Пашинцев и его «волнующаяся невозможным телом», жрущая красными губами мясо супруга, которая предлагает организовать инвалида Жачева и дать ему должность («Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен...») и получает в ответ от мужа гениальную похвалу: «Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизируюсь!»

Смешное можно увидеть даже при описании колхозной деревни, когда активист со товарищи, с тремя «похудевшими от непрерывного геройства и вполне бедными людьми», чьи лица изображали «одно и то же твердое чувство — усердную беззаветность», среди прочих своих начинаний ищут «того вредного едока, который истребил ради своего пропитания первого петуха» (последнего съел сам активист, «когда шел по колхозу и вдруг почувствовал голод»), и о том петухе горюет своим общим лицом вся крестьянская масса, а потом находится «ублюдочек», похожий на обгаженного коровой цыпленка, и Чиклин велит ему трудиться, а активист знает, что «под его руководством совершится всякий передовой факт и петух тоже будет».

Над «Котлованом» можно не только плакать, но и смеяться, и в этом смысле он даст фору и «Городу Градову», и «Усомнившемуся Макару». Только юмор этот доходит до читательского сердца не сразу, изначально все смешное теряется и пропадает среди безмерного человеческого горя, подобно тому как не сразу приходит ощущение ужаса в «нежном» «Чевенгуре». Но хотя неоднократное прочтение повести спасет и уведет от однозначно трагического ее восприятия, расширит границы, примерно так же, как расширялись границы строительного котлована — вдвое, вчетверо, до глубины земного шара, и к этому расширению смысла, можно предположить, стремился Платонов, и повесть свою писал потому, что верил в ее счастливое окончание не на бумаге, а в жизни, все же если говорить о самой первой, самой эмоциональной и самой простосердечной читательской реакции на «Котлован», то она будет — «вернуть Творцу билет».

И как ни относишься к Иосифу Бродскому, написавшему в 1973 году предисловие к «Котловану» для издательства «Ардис», поэт был чисто потребительски — если вспомнить платоновский «МОПЛ» — прав: «„Котлован“ — произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время».

Сошлемся также на мнение другого читателя — прозаика Владимира Шарова: «Мне в руки Платонов впервые попал, кажется, в 67-м году... К тому времени через мои руки прошло уже немало всякого рода самиздата, советскую власть я давно на дух не перенимал, и все равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию

приговором, которые власть сама так любила. Я, как и другие, никогда не смог бы простить советской власти разные и совсем разновеликие вещи, среди которых и миллионы расстрелянных и погибших в лагерях, в том числе две трети моей собственной семьи, и вездесущая фальшь, бездарность — ко всему прочему она была мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней любопытно... И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так, для которого в этой власти было тепло, все задевало и трогало, заставляло страдать и вызывало восторг от самой малой удачи. Который — это было ясно — очень долго ей верил, еще дольше пытался верить и всегда был готов работать для нее денно и нощно. То есть он во всех отношениях был мне не пара, для него эта власть была своей, или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала, и вот он выносил ей приговор, причем такой, с каким я еще не сталкивался, потому что более страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось».

Едва ли Платонов мог подобной оценки не предвидеть, не важно, в устах современников или потомков, тем более что в том же самом обвиняла его и тогдашняя критика. Он пытался объяснить свой или своего «соавтора» замысел словами, которые входили в окончательный текст повести (если быть более точным, в одну из трех ее машинизированных копий) в качестве постскриптума: «Погибнет ли эсесерша, подобно Насте, или вырастет в целого человека, в новое историческое общество? — это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего».

В «Записных книжках» также остался подчеркнутый автором вариант, условно говоря, положительного финала повести: **«Воцев за экскаватором»**, перекликающийся с мотивами либретто «Машинист», где весь котлованов сюжет изображен прямолинейнее, и даже расправа над кулаками выглядит более мотивированной. Бедняк Кузьма в «Машинисте» рассказывал: «Когда я был мальчишкой, кулаки за великие деньги продали землю инженер-буржуям под эту дамбу. А река загородилась и умерла — и стали мы гибнуть в болотах. Но теперь мы кулаков посадили на бревна и отправили жить на середину болот».

В известном смысле и «Машинист», и постскрипtum к «Котловану» про Настю-эсесершу, и нереализованный исход Воцевских исканий, и обретение им смысла жизни и своего места в социалистическом строительстве за рычагами экскаватора есть иллюстрация авторского положения о контроле над потоком произведений, из него выходящих. Вернее, свидетельство попытки подобного контроля.

Только — после драки кулаками не машут. «Котлован» все равно отличается от своих сколь угодно близких литературных спутников и остается пусть непреднамеренным, но действительным приговором и констатацией сухого факта: десять лет спустя после революции и Гражданской войны большевики принялись истреблять собственный народ, и тот пошел под жертвенный нож, попутно уничтожая все нажитое.

В «Котловане» нет осуждения, в нем есть застывший ужас. И мучительная жажда понять — зачем? Но нет ответа, нет...

И даже замечательный диалог скандально пляшущих, нарядных больших мужиков:

«— Эх ты, эсесерша наша мать! — кричал в радости один забвенный мужик, показывая ухватку и хлопая

себя по пузу, щекам и по рту. — Охаживай, ребята, наше царство-государство: она незамужняя!

— Она девка иль вдова? — спросил на ходу танца окрестный гость.

— Девка! — объяснилдвигающийся мужик. — Аль не видишь, как мудрит?!

— Пускай ей помудрится! — согласился тот же пришлый гость. — Пускай поподобничает! А потом мы из нее сделаем смирную бабу: добро будет!»

Диалог этот звучит зловеще не только потому, что «гостевому мужику», желавшему девочку-эсесершу выдать замуж, Жачев дал в бок, чтоб он не надеялся.

«— Не смей думать что попало! Иль хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот!

Гость уж испугался, что он явился сюда.

— Боле, товарищ калека, ничто не подумаю — я теперь шептать буду».

А еще и потому, что в 1930-м автор тех строк не мог знать, что еще покажет незамужняя эсесерша вздумавшим усмирить ее мужикам и в какую злющую бабу превратится. Войной между мужиками и большевиками назовет русскую советскую историю М. М. Пришвин, который о ту же самую пору часто жил в деревне, оставляя в своем потаенном дневнике беспощадные записи о коллективизации: «Последние конвульсии убитой деревни. Как ни больно за людей, но мало-помалу сам приходишь к убеждению в необходимости колхозного горнила. Единственный выход для трудящегося человека разделаться с развращенной беднотой...» Но если позиция Пришвина была донельзя четкая: он — личник, он — не с теми и не с другими, то для Платонова подобное отстранение было невозможно так же, как невозможно ни приятие, ни отрицание. Не мимо пройти, не остановиться...

Что ж в остатке? Покуда новоиспеченные колхозники устраивают пляски смерти на Оргдворе,

чтобы забыться, упиться ими до самозабвения, Воцев бродит по смиренной старческой деревне, собирая в мешок «все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения», и если представить наглядно эту картину, то попросту сходит с ума, не вынеся увиденного и пережитого, сказав напоследок Насте: «Не расти, девочка, затоскуешь!» И Настя, точно вняв его вещим словам, заболевает, причем простужается она как раз во время и по причине жуткого торжества коллективизации, а потом умирает, оставив в безнадежной тоске и безверии тех людей, кто считал ее жизнь своим единственным смыслом и оправданием.

«И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Сталина», — говорил о Насте впоследствии убиенный кулаками Сафронов. Но перед смертью Настя чует не Сталина, и не Ленина, которым редакторы шестидесятых Сталина заменили, и не Буденного, который только на капельку хуже Сталина, — она зовет маму.

В платоновских «Записных книжках» 1930 года есть короткая, казалось бы, ничем не мотивированная и непроясненная запись: «Отменено слово „мама“».

Так вот — весь «Котлован» есть не что иное, как расширенное толкование этой записи, а точнее — вопль, протест против этой отмены.

«Хочу ее кости... Неси мне мамины кости, я хочу их», — просит Настя Чиклина. Эти фразы в новомирской и прочих публикациях «Котлована» были, а вот тот фрагмент, который следовал далее, товарищи-шестидесятники от греха подалее отсекали, исказив одну из важнейших, если не самую важную идею повести.

«...Чиклину долго пришлось отнимать камни от дверного входа, который он сам заваливал для

сохранности покойной. Спичек у Чиклина не имелось, и он нашел женщину ощупью; сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни, потом потрогал весь ее скелет до ступней, — она вся еще была цела, только самое тело исчезло и вся влага высохла. Унести скелет целиком было трудно, тем более что скрепляющие хрящи давно завяли; поэтому Чиклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и сложить их, как в мешок, в свою рубашку. В рубашке, после помещения туда всех костей, еще осталось много места, — настолько женщина была мала после смерти.

Настя сильно обрадовалась материнским костям; она их по очереди прижимала к себе, целовала, вытирала тряпочкой и складывала в порядок на земляном полу».

Эта сцена усилена противопоставлением:

«Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации.

Иногда вдруг наставала тишина, только слышно было, как Настя шевелила мертвые кости, но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжелое, — кругом непрерывно нагнеталась общественная польза».

Трагизм ситуации заключается не в том, что равнодушные люди нагнетают пользу, не ведая сочувствия и сострадания к умирающей девочке, трагедия в том, что они работают для нее. А ей это не нужно. Ей не нужно ничего, кроме мамы. И уже умирая, Настя просит Чиклина положить поближе мамины кости: «Я их обниму и начну спать». Это не было ни бредом, ни условностью, как читалось в первых публикациях, — все было буквально, и Чиклин

действительно сложил кости к Настинному животу, а она за это, приподнявшись, поцеловала склонившегося человека в усы, подарив ему повторившееся счастье жизни. И вскоре после того — отошла.

«А девчонка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодала с чего-то!»

Эту девочку зовут Анастасией, в переводе на русский — воскресение. Но настанет ли оно? Будет ли рассвет за тьмой колхозной ночи? Даже стойкий урод империализма неподкупный калека Жачев, наиболее непримиримый враг прошлого и рыцарь будущего, и тот не способен вынести ее гибели: «...я теперь в коммунизм не верю!»^[39]

Похожее испытывает и Воцев: «...он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатленьи? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?»

Воцев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Воцев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал».

В философском плане высшая идея «Котлована» может быть прочтена так: «мертвые — тоже люди», «все мертвые — это люди особенные», и независимо оттого, какими и кем они были при жизни, они — «умерли и хорошими стали, правда ведь?» (или, как более жестко выражена похожая мысль в «Записных книжках» периода работы над «Котлованом», «если сравнить живых с умершими, то живые говно»), И это

даже важнее, чем то, что успехи высшей науки не сумеют воскресить назад сопревших людей — их и не надо воскрешать.

Сюжетно рабоче-крестьянская повесть заканчивается исходом — мрачной смычкой города и деревни. Мужики оставляют проклятую деревню, можно сказать, выходят из крестьянства в пролетариат, принимаясь работать «с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована», то есть фактически — вот еще один платоновский оксюморон — спастись в аду. Кто будет работать на земле, пахать, сеять, убирать урожай, кто станет пасти обобществленных коров и кормить лошадей, чтоб тех не растащили на куски собаки, кто, наконец, даст пищу обитателям общепролетарского дома, буде он даже построится на костях дорогих автору мертвецов («Ты зачем оставил колхоз, иль хочешь, чтоб умерла вся наша эсесерша?» — вопрошает Вощева Жачев) — все это выносится за скобки, но едва ли забывается. К этой теме обратится Платонов в «Ювенильном море» и в «14 красных избушках», написанных вслед «Котловану», а в самом «Котловане», правда, не в машинописном варианте, но в рукописном Вощев скажет: «Зимой колхоз не < 1 слово нрзб>, а летом будем добывать хлеб машинами и одним классом».

Идею уничтожения не кулачества, но всего крестьянства как класса автор «Котлована» изъясил, и в повести акцентируется иное. Никита Чиклин, единственный герой, чья вера непоколебима и, если надо, он пойдет и убьет любых врагов социализма-коммунизма, вырывает глубокую могилу телу Насти. Усомнившиеся Вощев и Жачев на погребении присутствовать не будут. Их не допустят. Лишь медведь-молотобоец прикоснется к девочке на прощанье. А в «Записных книжках» снова сам Платонов, а не его двойник отметит: «Мертвецы в котловане — это

семя будущего в отверстии земли». Но чего больше было в этих словах — ужаса, надежды, отчаяния, веры?

Впрочем, неким парадоксальным, снижающим трагический пафос ответом на эти вопросы можно считать авторскую зарисовку в «Записных книжках» 1932 года: «Рыли котлован под фундамент> клуба, нашли ветхий гроб без покойника и в нем четверть водки. Выпили. Водка была нормальная».

Глава десятая ДУРАК НОВОЙ ЖИЗНИ

У нас нет подробных сведений о том, насколько настойчивыми были попытки Платонова «Котлован» напечатать. Однако такие усилия предпринимались. Об этом можно судить по состоянию машинизированных рукописей «Котлована»; известно также одно из издательств, в которое автор намеревался повесть представить, — это харьковский «Пролетарий». В примечаниях к дневникам Всеволода Иванова содержится указание его сына, известного филолога Вяч. Вс. Иванова, что Вс. Иванов собирался опубликовать «Котлован» в журнале «Красная новь», но соответствует ли эта версия действительности, неясно.

Сохранилось выступление критика В. В. Гольцева на творческом вечере Платонова в феврале 1932 года. «Я очень мало знаю ваши произведения, имеющиеся в рукописях, но чтение отрывков из повести „Котлован“ слушал в „Новом мире“. Эта вещь поразила меня своей законченностью, — говорил Гольцев, а далее задавал вопрос, раскрывавший суть его оценки: — Чем же вы объясняете свой достаточно резкий поворот направо. Вы как бы „перестроились“, только перестроились слева направо... когда у нас во всей стране и литературе происходили диаметрально противоположные идеологические и творческие сдвиги?» — «...я ослаб и поддался настроениям упадка», — отвечал ему Платонов, однако ничего конкретного о «Котловане» ни на этом вечере, ни во время других выступлений не сказал, и упоминание о повести встречается лишь в платоновском ответе на анкету «Какой нам нужен писатель?» рапповского журнала «На литературном посту».

Можно считать великим счастьем, что «Котлован» оказался при жизни автора мало кому известен, а его редакторы и рецензенты из того же «Пролетария» или «Нового мира» не побежали в ОГПУ. И если исходить из тех материалов, которые представил архив ФСБ, впервые в ведомстве узнали о существовании «Котлована» лишь в 1939 году и большого значения этой информации не придали, хотя суждение о повести было высказано в равной степени жесткое, точное и для ее автора роковое.

«ДОНЕСЕНИЕ

2 СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НКВД СССР „<...>“ мая 1939 г.

<...> Е. В. ЛИТВИН-МОЛОТОВА рассказала, что у нее хранилась рукопись ее хорошего знакомого писателя А. Платонова. Это какой-то большой роман, в котором, по словам ЛИТВИН-МОЛОТОВОЙ, „рассказана вся правда о коллективизации“. ЛИТВИН-МОЛОТОВА говорит, что она переправила эту рукопись в еще более безопасное место, „потому что не хотела подвести Георгия Захаровича“ (т. е. мужа; в случае обыска). ЛИТВИН-МОЛОТОВА восхищается ПЛАТОНОВЫМ и считает его „жертвой официальной критики“, которая де не дает ему развернуться.

Она считает гениальным (которому в подметки шолоховские произведения не годятся) роман Платонова, за который на него обрушились. Особенно нравится ЛИТВИН-МОЛОТОВОЙ рассказ о крестьянине, который изобрел машину для аплодисментов.

ПЛАТОНОВ, по мнению ЛИТВИН-МОЛОТОВОЙ, очень правдиво и художественно описывает, „как этих несчастных кулаков увозили и как они прощались с родным селом, целовали землю и т. д.“».

Евгения Владимировна Литвин-Молотова была женой Георгия Захаровича Литвина-Молотова, с

которым Платонов продолжал поддерживать дружеские отношения, хотя уже и не такие близкие, как в двадцатые годы. Насколько совпадало ее мнение о «Котловане» (а речь в первом и третьем абзацах несомненно идет о нем) с мнением мужа, к тому времени уже отошедшего от редакторской работы, сказать трудно. Но в 1939-м изымать платоновскую рукопись не стали. Повесть уцелела и дожила до лучших дней, не нанеся своему создателю вреда, в ней заложенного наподобие бомбы с часовым механизмом, видимо, спасительно заржавевшим. И совсем иначе сложилась творческая история и страшно повлияла на участь Платонова предтеча «Котлована» — «бедняцкая хроника» «Впрок».

Между двумя этими произведениями много общего и прежде всего — тема, а также место и время действия, хотя события в хронике начинают развиваться уже после того, как в «Котловане» действие заканчивается, и этот момент в отношениях повести и хроники ключевой. «Котлован» написан позднее, чем «Впрок», а вот действие в нем происходит раньше. Хроника менее катастрофична и трагична, и этой, написанной очень быстро, за 10-12 дней, вещи автор, согласно направленным в ОГПУ донесениям, большого значения не придавал. Если бы вопрос печатания-непечатания хроники «Впрок» не был важен для него по причинам материальным, не исключено, что очерки не увидели б света и страшная беда миновала их создателя.

«Платонов часто приходит в издательство, потому что у него нет ни гроша, а издательство ему должно давно уже изрядную сумму. Но денег сейчас не дают никому, — сообщал в декабре 1930 года осведомитель ОГПУ. — Это очень ухудшило настроение Платонова. В последний раз он приходил сегодня — рассказал, что „Новый мир“ хочет опубликовать часть повести „Впрок“

и что это выручит его материально... Бытовые условия у Платонова очень трудные — нет комнаты, нет денег, износилась одежда».

Существует также недатированное, но судя по всему, относящееся именно к этому периоду письмо М. А. Шолохова жене: «В Москве голодно, главное же нет денег. Народ продает вещи, т. к. денег не платят. Андр. Платонов, по словам Васьки (Кудашева. — А. В.), — продал книги, б-ку, а в из-стве лежит 1500 р. Дела!»^[40]

Свидетельства эти весьма ценны для нас, потому что позволяют увидеть реальную картину жизни Платонова на рубеже двух десятилетий, когда биографические сведения о нем скудны и ненадежны, и мы знаем лишь, что по возвращении из Ленинграда весной 1930 года постоянного жилья у Платоновых по-прежнему не было и они переезжали с места на место. Одним из известных адресов был дом 40 по улице Центральной в Покровском-Стрешневе, где семья жила в 1930 году и где, судя по всему, были написаны и «Впрок», и «Котлован». Но жилплощадь была съемной. В начале 1931 года Платонов писал Авербаху: «Прошу тебя дать распоряжение... чтобы мне дали жилище. Переселение в дом должно совершиться сегодня-завтра. Я же не могу существовать 3 с лишним года без квартиры — это предел любому человеку. Я не могу доказать некоторым людям, что имею первоочередное право на жилище. Легче доказать что-нибудь более трудное...»

Именно тогда, и очень вовремя — позднее, после сталинского разноса, скорее всего, уже не дали бы ничего, — была получена жилплощадь в проезде Художественного театра, дом 2, — первая несъемная квартира семьи Платоновых, впоследствии обмененная ими на две комнаты на Тверском бульваре.

«Одно время мы жили на углу Художественного проезда и Пушкинской, где теперь колбасный магазин, на пятом этаже, — рассказывала Мария Александровна Платонова в устных воспоминаниях, записанных Евгением Одинцовым, — я иду, бывало, с сумкой, а Багрицкий, сосед, любезник был, возьмет у меня и несет, а сам задыхается, у него жаба грудная была, а Андрей стоит наверху, облокотившись на перила, и смотрит, ждет, говорит: „Сумку ей несешь, ну-ну...“»

Еще одно свидетельство платоновской жизни той поры привел в статье И. Крамов: «Бедность была к лицу ему — по Сеньке и шапка. Жил некоторое время в одной квартире с Михаилом Голодным, в проезде Художественного театра. Жена бегала на угол, в овощной магазин, где была привычная еда — соленые помидоры. Жирный чад над сковородками и кастрюлями Голодного и миска с солеными помидорами на столе у Платонова. <...> Платонов здесь был не то чтобы чужой, а на порядочном отдалении, почти как статист среди театральных знаменитостей».

Несколько иначе вспоминала Валентина Александровна Трошкина. «У нас вообще-то бывали люди: писатели, артисты, режиссеры. Андрей был замечательный собеседник. Я не знаю, чем он брал, — наверное, умом, ведь он был не такой уж разговорчивый. Но даже мужчины прилипали к нему, кто хоть раз с ним поговорил».

И все же не литературная среда, не писательское общение, не разговоры или же молчание с братьями были главной частью его жизни. В эти годы Платонов продолжал много ездить по стране: в Центральное Черноземье, на Урал, в Ленинградскую область, в районы Средней и Нижней Волги. «Весь сегодняшний день был среди трактористов на колхозной пахоте <...> Все время езжу либо на подводах, либо в поезде и почти не спишь <...> Здесь очень жарко, ветер и пыль

<...> Почти не приходится спать: поезд идет ночью <...>
> Днем занят разговорами, ездой на телеге по ближним колхозам, ночью же сижу на вокзалах и в поезде...» — писал он жене в августе 1930 года. Так что фактического материала, связанного и с индустриализацией, и с коллективизацией, у него было достаточно, и все, о чем он писал, знал не понаслышке, и все это так или иначе в его прозе и драматургии отражалось.

Больше того, реальная картина колхозной жизни — техническая отсталость, бедность, истощенность российской деревни — представляла перед писателем в куда более ужасающем виде, нежели рассказывалось о ней в оптимистической хронике. «Распределение урожая: учет труда ни к черту», «С запасными частями положение катастрофическое», «10 человек умерло детей», «Катастрофа: нет рабсилы», «Из-за отсутствия добавочного ремня, из-за тряпок, из-за плохого снабжения стоят машины...» — фиксировал он в «Записных книжках» 1930 года. В хронике многие противоречия были сглажены, и она была в общем-то наполнена верой в счастливое будущее. Тем не менее «Новый мир» печатать «Впрок» не решился, что позднее публично поставил себе в заслугу главный редактор журнала В. В. Полонский: «„Новый мир“ в последнее время дал ряд передовых произведений попутнической прозы... <...> Все это происходило в то время, когда другой журнал <...>, находившийся фактически в руках напостовцев, был на деле журналом, отражавшим правореакционное крыло попутничества. Разве „Впрок“ был напечатан в „Новом мире“, а не в „Красной нови“?»

После новомирского отказа начались многомесячные мытарства рукописи по редакциям издательств и журналов. Им и хотелось, и кололось эту прозу напечатать. «Иные редакторы давали такую высокую оценку моей работе, что я сам удивлялся, —

писал впоследствии Платонов Горькому. — Член одной редколлегии сказал мне следующее: „Ты написал классическую вещь, она будет жить долгие годы“ и т. д. Я редко видел радость, особенно в своей литературной работе, естественно я обрадовался, тем более что другие редакторы тоже высоко оценили мою работу... Однако умом я понимал: что-то уж слишком! Жалею теперь, что я поддался редкому удовольствию успеха».

Среди тех, кто «Впрок» высоко оценил, был редактор отдела русской литературы издательства «Земля и фабрика», критик, литературовед Яков Захарович Черняк (писавший под псевдонимом Як. Бенни), и не исключено, что его имел в виду Платонов в письме Горькому.

«Новая вещь Платонова — бедняцкая хроника „Впрок“, которую он предложил издательству, представляет собой исключительно талантливое произведение, которое показывает нам строительство, колхозное движение в деревне, причем автор вырабатывает на протяжении многих лет свой стиль, свой особый метод в литературе, он пошел также путем соединения сатирических приемов с реальными показами действительности», — говорил Черняк на обсуждении повести в октябре 1930 года.

И действительно, на «бедняцкой хронике» стояла несомненная платоновская метка, знак его профессионального мастерства. У хроники был свой герой — измученный заботой за всеобщую действительность душевный бедняк, который «способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме».

Внешне похожий на подкулачника, он путешествует по колхозной Руси подобно тому, как странничал по

революционной России Саша Дванов, только без специального задания и направления и уж тем более без каких бы то ни было полномочий. Так продолжал ездить и сам Платонов все эти годы. Но герой для него важен. Это не журналист, не писатель в командировке, не литератор, а неприкаянный труженик, безработный электротехник, возможно, как и Воцев, уволенный с производства «вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда», и продолжающий искать «что-нибудь вроде счастья», думающий о «плане общей жизни», но главное — зарабатывающий на хлеб своими руками.

В первородстве рабочей профессии по отношению к художественному слову сказалась платоновская установка, выраженная как в самой хронике «Впрок»: «...первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве», — так и в написанной в начале 1931 года статье «Великая Глухая»: «...писатель не может далее оставаться лишь профессионалом одного своего дела, он должен вмешаться в самое строительство, он должен стать рядовым участником его... Нельзя командировочным, зрительным, сторонним путем приобрести необходимые для работы социалистические чувства: эти чувства рождаются не из наблюдения или даже изучения, а из участия, из личного, тесного, кровного опыта, из прямой производственной социалистической работы. Конечно, здесь есть противоречие — трудно практически совместить две напряженные работы, скажем, писателя и механика. Но быть писателем во время устройства социализма, ощущая социализм лишь профессиональными чувствами, а не вживаясь в него производственно, так сказать, опытом рук, в то время, когда и для самых передовых участников социалистического зодчества социализм является лишь

в форме предчувствия, быть только писателем в это время есть еще большее противоречие и даже наглость...»

Как относилась к этим рассуждениям платоновская Муза, что думал на сей счет заточенный в тесной грудной клетке «евнух» его души — вопрос спорный, но на их глазах вновь замышлялся «побег к паровозам», пусть даже во имя высокой цели и по причине неприятия автором современной ему литературы. Статья «Великая Глухая» — а этой метафорой Платонов обозначил бесчувственную к жизни литературу, которая слышит ветер социализма очень слабо, которая «оглушена... самим ложно-профессиональным, „дореволюционным“ положением своих кадров» и своими «инструкторами и надсмотрщиками», и те «вместо обучения... рвут иногда писателя „за ухо“, а он и так почти глухой» — при жизни Платонова напечатана не была, как не было напечатано и очень острое, полемичное авторское предисловие к хронике «Впрок», содержащее полемику с идеями моцартианства в искусстве.

Последнюю идею развивали защитники индивидуальности творчества, представители литературной группы «Перевал», к которой Платонова порой ошибочно причисляли (как раз из-за его реального литературного двойника Алексея Платонова). Сам же он сравнивал «моцартиански оборудованный», однако не имеющий на деле никакой душевной мускулатуры сальеризм с гноем погибающего исторического класса, а подлинное новое моцартианство — с бедной избой-читальней, где технически и культурно небооруженный Моцарт «учится делать из своей безмолвной души общественное явление».

Платонов оставался верен идеям, которые высказывал десятью годами раньше на страницах

«Воронежской коммуны» и которые отстаивал теперь в полемике и с «перевальцами», и с «рапповцами», чувствуя ложность обеих, пусть даже противоположных по отношению друг к другу позиций: «...вопреки мнению тех идеологических паразитов, которые признают искусство действительностью, пропущенной через эмоционально-индивидуальные, ароматические особенности автора и еще дополнительно окрашенной в эти благоухающие качества писателя <...> литература должна происходить из чувства коллектива и представлять из себя не букет индивидуальных ощущений, годный лишь для излишества, а — хлеб наш насущный <...> литература не служанка для пролетарской революции — рабынь последней не нужно — а ее младшая сестра, такая же мужественная, желающая, чтобы старшая сестра воспитала ее впрок».

Только вот не складывались отношения между сестрами, хотя младшая не просила для себя ничего, и в анкете журнала «На литературном посту» «Какой нам нужен писатель?» пролетарский автор продолжал настаивать: «В эпоху устройства социализма „чистым“ писателем быть нельзя. Нужно получить политехническое образование и броситься в гущу республики. Искусство найдет себе время родиться в свободные выходные часы»^[41].

Будь эти строки напечатаны, они прозвучали бы открытым вызовом не только по отношению к рапповскому лозунгу «ударничества в литературе» (ибо Платонов предлагал прямо противоположное: не ударники производства в литературу, а писатели должны пойти в производство), но, что еще важнее, прозвучали бы своеобразным упреком в адрес тех из платоновских современников — Булгакова, Пришвина, Замятина, Грина, Пильняка и даже Алексея Толстого, не говоря уже об Ахматовой, Пастернаке или

Мандельштаме, — кто ни при какой погоде не согласился бы поступиться ради строительства социализма творческой свободой и независимостью либо просто привычным образом жизни.

«Сальери, конечно, может лишь думать своим рассудком, но не может непосредственно усваивать им коллективного, классового исторического опыта; от этого и сохнет и мучается Сальери, и по заслугам не уважает свой бескровный разум, которому нет питательной жилы из коллектива, а для равенства в силах, для самоуважения Сальери стремится уничтожить и чужой разум, беря себе на помощь интуицию, то есть нечто произвольно зарождающееся, — дар от Бога, а не от людей, ибо к ним Сальери не знает дороги. Он хочет, чтобы и люди питались этой интуицией, а не рассудком, — собственной личностью, а не из коллективного источника. Он бы желал, чтоб насущный ржаной хлеб сознания пропал на земле и в пищу пошла бы подводная клавдофора — редчайшее реликтовое растение из девственных болот, не имеющее никакой пользы для сытости трудящегося человека».

Водоросль по имени «клавдофора» была одним из героев опубликованной в 1928 году повести Михаила Пришвина «Журавлиная родина», этого своеобразного гимна художественному творчеству, его спасительной самооценности в условиях наступления государства наличность. Для Платонова индивидуалистическая философия художника сальерична, и здесь прошла грань между двумя писателями, которых так любят сравнивать, а между тем их конфликт не менее примечателен. В 1931-м Пришвин, отправившись в командировку в Свердловск, вернулся оттуда в ужасе. «Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет, — писал он в дневнике. — Та чудовищная пропасть,

которую почувствовал я на Урале между собой и рабочими, была не в существе человеческом, а в преданности моей художественно-словесному делу, рабочим теперь совершенно не нужному».

Случай Пришвина не был исключительным. Борис Пастернак от увиденного на Урале едва не помешался и два года мучился бессонницей, Мандельштам спасался от бархатной советской ночи в Армении, Алексей Толстой литературно в «Петре», а житейски в Детском (Царском) Селе, где обустроил быт с роскошью если не графской, то по крайней мере купеческой, Замятин с помощью Горького отпросился у верховного начальства за границу, Грин не желал иметь с современностью ничего общего, давно уже эмигрировав внутренне, а Булгаков в ответ на неоднократные предложения вхожих в его дом сексотов-доброхотов взять командировку на завод отвечал: «Шумно очень на заводе, а я устал, болен. Вы меня отправьте лучше в Ниццу».

И это — вершина писательского мира. О других существует злое свидетельство в дневнике Вячеслава Полонского: «Отвратительная публика — писатели. Рваческие, мещанские настроения преобладают. Они хотят жить не только „сытно“, но жаждут комфорта. В стране, строящей социализм, где рабочий класс в ужаснейших условиях, надрываясь изо всех сил, не покладая рук, работает — ударничество, соцсоревнование, — эта публика буквально рвет с него последнее, чтобы обставить квартиру, чтобы купаться в довольстве, чтобы откладывать „на черный день“. При этом они делают вид, что страшно преданны его, рабочего, интересам. Пишут-то они не для него: рабочий их читает мало. Что дает их творчество? Перепевы или подделку. Они вовсе не заражены соцстроительством, как хотят показать на словах. Они заражены рвачеством. Они одержимы мещанским духом

приобретательства. Краснодеревцы не только Пильняк. То же делает и Лидин, и Леонов, и Никифоров, и Гладков. Все они собирают вещи, лазят по антикварным магазинам, „вкладывают“ червонцы в „ценности“».

Платонов был одним из немногих, кто не искал спасения ни в накопительстве, ни в творчестве и от рабоче-крестьянского пути, по которому шла страна, не уклонялся, и в изведенном им производственном, колхозном советском опыте — уникальность и его самого, и его героев. Именно таким бросившимся в гущу республики и становится рассказчик в хронике «Впрок». Через восприятие этого целомудренного, бережного человека, честного и заинтересованного свидетеля и участника «героических, трогательных и печальных» событий, передается картина устройства деревенского социализма с его «трогательной неуверенностью детства», а «не падающей иронией гибели».

Последнее замечание относится к первому на пути душевного бедняка колхозу «Добрый путь», где было построено «солнце», то есть жестяное рефлекторное устройство, поставленное так, чтобы источник света был направлен целиком в сторону колхоза. Технической пользы от такого солнца немного, но свой прок все равно имеется: «Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроеньях колебанию, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождения всякой силы света на земле... Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их

дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре, и выявить, что и в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране... Да здравствует ежедневное солнце на советской земле!»

Советская критика увидела в описании этого приспособления и особенно в воспроизведении косноязычной инструкции по его применению голое зубоскальство и подкулацкую насмешку над здравым смыслом, но едва ли именно с такими чувствами создавал автор внезапно погасшее колхозное светило («Солнце колхоза — не смешно», — отметил он в «Записных книжках»). В этом эпизоде скорее просквозило что-то очень нежное, незащищенно-чевенгурское, что-то копенкинское или чепурное, когда б платоновские бойцы не пали жертвой загадочной вражьей силы, а дожили б до коллективизации и с воодушевлением принялись бы устраивать колхозную жизнь, как ее понимали.

Но если в иных вещах председатель колхоза, демобилизованный боец Красной армии с молодым нежным, хотя уже и утомленным от ума и деятельности лицом товарищ Кондров — дитя, то в других проявляет верх разумности, и от чевенгурского радикализма его отделяет пропасть.

«Многих директив района он просто не выполнял.

— Это писал хвастун, — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде „даешь сплошь в десятидневку“ и т. п. — Он желает прославиться, как автор такой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!»

Образ «впроковского» Кондрова есть, с одной стороны, прямая, вызывающая антитеза к фигуре активиста из «Котлована», а с другой — Кондров — противоположность чевенгурскому Чепурному. Только от безымянного активиста колхоза имени Генеральной

Линии Кондрова отличает нравственно ясная грань добра и зла, а несовпадение с искренним, болеющим за революцию председателем чевенгурского ревкома сущностно тем, что на этом противопоставлении можно увидеть, как Платонов прощался с любовью к жаждущим коммунизма здесь и сейчас, но пренебрегающим органической жизнью. И если в романе писатель сознательно прошел мимо подлинных строителей страны, то в хронике именно они — делатели, труженики, созидатели новой жизни, а не безумные мечтатели и погонялы истории — выходят на первый план.

Кондров — человек разумный, не торопящийся загонять мужиков в колхоз. «Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом». Но еще дальше него по части сердечной рассудочности и трезвления от успехов идет председатель колхоза «Без кулака» Семен Кучум. Этот не только не торопится с коллективизацией, а, напротив, проводит ее «крайне неохотно, с отсрочкой и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз».

За его действиями стоит определенная цель: «Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами». А когда к нему обращается за поддержкой уволенный за перегибы председатель соседнего колхоза, то обыкновенно флегматичный Кучум, узнав, в чем дело, приходит в бешенство и бьет несчастного «перегибщика» примерно так же, как Никита Чиклин

бил активиста из «Котлована». Бьет, но — не убивает, а только наносит небольшое повреждение его лицу. И здесь тоже разница между очерком и повестью: символизм «Котлована», подчеркнутая, утяжеленная в самом буквальном смысле значимость каждого движения ее героев и удельный вес текста отличают это произведение от «бедняцкой хроники» с ее менее резким ракурсом.

Так, история с намеренно загубленными, некормленными лошадьми повторяется в обоих произведениях. Но если в очерке — это криминальная, едва ли не фельетонная история про жуликоватого мужика, обманывающего государственную страховую компанию (купив лошадь за тридцать рублей, хозяин медленно умертвил ее и получил по страховке сто семнадцать, проделывая эту процедуру несколько раз, покуда не был разоблачен дворовыми собаками, растаскавшими по соседским дворам куски мяса — дурак! — написал на полях против этого эпизода Сталин), то в «Котловане» история лошади рассказана с ощущением запредельного, метафизического ужаса:

«Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову, — один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы — и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыханья, снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте.

— Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо.

Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте, она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить.

— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду, — сказал хозяин двора.

Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена, и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела — она лишь беднела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться».

Эта картина так же пронзительна и символична, как смерть иссеченной пьяным мужицким кнутом лошадки в кошмарном сне Раскольников у Достоевского, и независимо от того, имел в виду эту параллель Платонов или нет (скорее — нет, хотя очень показательны его рабочие записи начала 1930-х годов: «Как непохожа жизнь на литературу: скука, отчаяние. А в литературе — „благородство“, легкость чувства и т. д. Большая ложь — слабость литературы. Даже у Пушкина и Толстого и Достоевского — мучительное лишь очаровательно»), и кто бы ни был больше виноват в мучениях живой твари — сволочь-активист, без ума загоняющий в колхоз одних и без пощады раскулачивающий других, или жадный мужик, которому легче убить собственную животину, нежели повести ее за собою, либо просто отдать в колхозную скорбь (в «Записных книжках» подобный вариант рассматривался в иной тональности: «Ты, лошадка, иди в колхоз, будь членом, а я подожду»), авторская планка создателя «Котлована» лежит вне политических оценок.

Иное дело «Впрок». Однако между «Котлованом» и «бедняцкой хроникой» происходит не просто напряженный диалог, но своего рода метафизический

поединок. «Котлован» — повесть о смерти, «Впрок» — хроника жизни. Примат одного над другим глубоко и по-платоновски не случаен — смерть сильнее жизни, и примечательно, что единственная смерть, случающаяся на страницах хроники, носит характер не документальный, а литературный, автореферативный и довольно условный.

Платонов обращается к образу главного героя «Ямской слободы» — Филата-бедняка, который дожил до колхозных времен и, несмотря на свою отзывчивость («К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба — звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы»), был принят в коллектив самым последним на Пасху, дабы «вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе», а он, не снеся этого счастья, умер. История, как сказал бы Авербах, двусмысленная, а с учетом ее «зеркального» отражения в поставвербаховском финале «Усомнившегося Макара», где герой также умирает от «настигшего его организованного счастья», и в «Котловане», где мужики, вступившие в колхоз, просят друг у друга прощения, как перед смертью, — жутковатая.

«Не колокол звучит над унылыми хатами, не поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся-солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же, непонятно, наша радость? Оттого что Филат самый был гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете! Он никогда не говорил слов, а всегда двигался в труде — и вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат,

нам, что теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа...

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье — пусть уж лучше другим достается...

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу, — тихо сказал Филат, — только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье — грудь не выдержит.

— Ничего, обтерпишься! — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху...

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника:

— Значит, есть Иисус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой — ты видишь, солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили, и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель. — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтобы они сохли, а не плакали».

Этой сцены советские критики также писателю не простили, и в данном случае платоновских зоилов можно понять. Что ж это за колхозы такие, куда самого достойного человека принимают последним, а принятый он тотчас умирает? Да и какая же это борьба с религиозными пережитками, если сюжет этот может быть прочитан так: хоть и хулит Филат на словах Христа, Господь забирает смиренного и кроткого, нищего духом и чистого сердцем праведника к себе, ибо любому бывшему и настоящему верующему в советской республике было известно: умирающий на Пасху попадает в Царствие Небесное.

«Угробили хорошего работника, уморили батрака Филата. Теперь, наверно, все батраки за десять километров обегают этот колхоз, где Христа воскресение, а им смерть», — простодушно высказался член рабочего редсовета ГИХЛа тов. Горелов, и что на это было возразить?

Но было в хронике «Впрок» и немало другой крамолы. Такова история жизни еще одного колхозного активиста товарища Упоева, который разговаривает с окружающими на колхозные темы евангельским слогом, ибо марксистского не знает: «Вот мои жены, отцы, дети и матери, — нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!»

А потом от нетерпения сердца, от того, что нет еще нигде «полного героического социализма, когда

каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира», Упоев направляется в Кремль к Ленину и просит его дозволить «совершить коммунизм в своей местности», оперевшись на «пешеходные нищие массы!».

Мотив, как нетрудно догадаться, на этот раз сознательно в сжатом виде повторяющий одну из главных идей «Чевенгура», — так Платонов буквально контрабандой протаскивал в советскую печать свои неразрешенные произведения, пусть даже их пародируя, но характерно, что реакция большой ленинской головы, похожей на смертоносное ядро для буржуазии, осталась для читателя неизвестной «классовой тайной», ибо — и тут хорошо видно, как сплавляется у Платонова несомненный пафос с еще более несомненной иронией — «Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся».

Однако это все полбеда, и это можно было как-то пропустить или сильно не гневаться, но когда Упоев говорит на прощание Ленину: «Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай», а потом попадает в тюрьму за «классовое самоуправство» и, узнав там о смерти дорогого вождя, желает покончить жизнь самоубийством, но не умирает, спасенный неким бродягой, и снова принимается за строительство социализма, причем это строительство выражается в том, что он выращивает на колхозных полях эшелоны крапивы для «крапивочной порки капиталистов руками заграничных маловооруженных товарищей», или же садится обедать среди отсталых девок, показывая им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее была польза и не было желудочного завала; когда Упоев всенародно чистит зубы или когда, бездомный, бросивший симпатичную же-ну-среднячку,

скитается по деревенским избам, и можно представить, как относятся к такому «хозяину» крестьяне, которым, выставленный на посмешище, он говорит проникновенные речи о большевистской юности и всемирной славе колхозного движения («Что это, большевистский колхозный, или юродивый во Христе, режиссирующий кукольным театром из колхозников?» — справедливо обиделся товарищ Горелов) — когда этот идиот, мало того что поставленный во главе колхоза и до сих пор из-за полного головоуятия не снятый районными властями, наглеет до такой степени, что трогает святое имя: «Я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду... Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник», — то терпеть это издевательство дальше было невозможно, и уже не пролетариев и их товарищей, а главного читателя Советской страны начало натурально корезить.

До краев налитый гневом читал он в советском журнале «Красная новь», руководимом недавно назначенным на должность главного редактора А. А. Фадеевым, как платоновский душевный бедняк приходит в «С.-х. артель имени Награжденных героев, учрежденную в 1923 г.», и обнаруживает там идеальную зажиточную благоустроенную коммуны, где «все работы совершались вековыми старинными способами; хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевистской»; когда наткнулся вслед за этим взгляд вождя на «юродивый» вопрос: «Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодыям вместо сухого рачительства ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать

артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?» — то за эту проповедь «чаяновщины» все увереннее лепила державная рука на полях: «Балбес! Пошляк! Болван! Подлец! Контрреволюционный пошляк!»

Но вот вопрос: неужели эту истеричную реакцию нельзя было предвидеть и зачем было Фадееву, человеку неглупому и чуткому, второй раз наступать на грабли, печатая вечно сомневающегося, так ничего и не понявшего и ничему не научившегося пролетарского отщепенца, да и не просто печатать, а открывать его ересью номер? Не случайно позднее, в партийном документе, характеризующем состояние основных литератур-но-художественных журналов, «Красной нови» будут посвящены строки: «Помещенный материал свидетельствует о наличии откровенно враждебных произведений: „Бедняцкая хроника“ Платонова („Впрок“) — кулацкая издевка над коллективизацией и политикой партии в деревне. Редакции не могло не быть известно политическое лицо писателя Платонова, опубликовавшего кулацкий рассказ в журнале „Октябрь“ „Усомнившийся Макар“».

Неудовольство рукописью высказывали и советовали не печатать «Впрок» самые разные люди — от безвестных рецензентов («В данном виде книга не может быть издана. О новой советской деревне нужны не такие книги») до весьма авторитетного, собаку на литературе съевшего Полонского: «Не печатайте. Это вещь контрреволюционная. Не надо печатать».

Еще в октябре 1930 года на заседании рабочего редсовета ГИХЛа, где обсуждалась «бедняцкая хроника» «Впрок», рабочим-ударником пятой типографии Транспечати и председателем рабочего редсовета товарищем Павловым были сказаны золотые слова: «Это, товарищи, издевательство. Если напечатать книгу в том виде, в каком она будет

представлена, то за границей она будет расцениваться как „Красное Дерево“ Пильняка. Там есть словечки такие, что „собаки работают на коллективизацию, как работали на капитализм“. Что получится, если рабочие будут читать эту книгу?»

«Тов. Платонов не имеет пролетарского чутья, у него нет стимула к организации колхоза, к социалистическому переустройству нашей деревни, — вторил Павлову член рабочего редсовета товарищ Нестеров, — он старается всеми правдами-неправдами протащить кулацкую линию. Он ведет антисоветскую политику, стремясь замазать идею колхозов и усыпить деревню. Идеи Платонова нам чужды».

Фадеев этого не видел, не понимал? Думал иначе? А про «Усомнившегося Макара» забыл?

Как полагал со своей редакторской новомирской колокольни Вячеслав Полонский, Фадеев не послушал коллегу по той причине, что ему был нужен материал, который бы поднял «Красную новь» до того уровня, каким был журнал «при Воронском», и публикацией платоновского очерка новый главный редактор хотел вызвать «шум в печати».

Однако это не единственное и, пожалуй, даже не самое убедительное объяснение тех мотивов, которыми Фадеев мог руководствоваться. Вряд ли новому главному редактору «Красной нови» был нужен «шум» любой ценой. В одном из самых ценных документов эпохи, сводке секретного отдела ОГПУ («ОГПУ — наш вдумчивый биограф», — высказался на сей счет поэт Леонид Мартынов) от 10 декабря 1930 года содержалась иная версия появления платоновской хроники: «Литературные работники из РАППа или близко стоящие к пролет-сектору от него отшатнулись после скандального рассказа „Усомнившийся Макар“ (в „Октябре“). Этим пользуются „попутчики“^[42],

группирующиеся вокруг издательства „Федерация“. Они чувствуют в нем силу и то подкармливая его, то <пропуск> ему и вызывая в нем раздражение против слабых писателей, в бытовом отношении обставленных гораздо лучше его, стараются закрепить его за своим лагерем. <...> Решение работать над рукописью „Впрок“, несмотря на ее огромные идеологические ошибки, было принято редакторами именно для того, чтобы попытаться вырвать Платонова из рук этой банды. Такую попытку надо сделать, тем более, что Платонов сам хочет изменить свои позиции».

Похожее мнение высказали и рецензенты: В. Соловьев («Сквозь насмешку, а порой издевательство над головотяпами чувствуется любовь автора к тому грандиозному строительству, которое происходит в деревне») и секретарь Луначарского литературный критик Игорь Сац («Будет политической ошибкой попросту отнять у Платонова возможность работать в советской литературе»). Не будет большой натяжкой предположить, что примерно с таких же позиций относился в ту пору к Платонову и Фадеев: спасти, уберечь, вырвать талантливого рабочего парня из лап буржуазии, тем более что репутация Платонова в литературной среде год от года становилась все прочнее. Эта была репутация писателя непечатного, нецензурного, запрещенного, и не исключено, что Фадеев хотел эту неверную, с его точки зрения, ситуацию переломить.

В этом смысле характерно еще одно секретное донесение (от 6 мая 1931 года), касающееся тех разговоров, что велись о Платонове в писательском сообществе: «ЗЕЛИНСКИЙ сказал мне, что последние вечера он проводит с Андреем ПЛАТОНОВЫМ, который живет с ним на одной площадке. ПЛАТОНОВ производит на него впечатление совершенно гениального человека. Он — прекрасно знает математику, астрономию,

суждения его всегда тонки и интересны. ЗЕЛИНСКИЙ сказал, что ПЛАТОНОВ читал ему и АГАПОВУ пьесу, в высшей степени интересную, которая однако никогда не сможет быть напечатана и поставлена, ибо политическая ее установка по меньшей мере — памфлет. Вообще, сказал ЗЕЛИНСКИЙ, у ПЛАТОНОВА множество рукописей, которые никогда не смогут быть напечатаны».

Можно предположить, что если бы во главе «Красной нови» стоял именно он, известный критик и литературовед Корнелий Люцианович Зелинский, куда более осмотнительный (что, впрочем, не всегда ему помогало), чем Фадеев, то Платонов со своей хроникой «Впрок» был бы отвергнут и тем спасен, однако Фадеев посмотрел на вещи иначе и подписал номер в печать. Этим поступком — а это был именно поступок — автор «Разгрома» стремился развеять атмосферу слухов вокруг полузапретного имени Андрея Платонова и показать всем литературным шептунам, что ничего злокачественного в платоновских текстах нет, их можно и нужно печатать, а самого Платонова немедленно выводить из той оппозиции, куда его безосновательно записали и всячески растравливали раны его иронии.

Суждений Фадеева на сей счет нет, но известно мнение члена редколлегии журнала «Октябрь» Галины Колесниковой, которое, надо полагать, с фадеевским в той или иной степени совпало: «Когда я говорила с т. Платоновым, я увидела, что парень талантливый, он искренне ищет правильной позиции, — я считаю, что мы должны помочь ему. Сейчас отбросить Платонова было бы неправильно политически, мы должны помочь автору найти верный политический шаг».

Вот и главный редактор «Красной нови», пытаясь вывести своего автора из «литературного подполья», действовал и из товарищеских, и из высших коммунистических побуждений, как он их понимал.

Наделенный неплохим литературным чутьем, Фадеев если не любил, то очень ценил Андрея Платонова, он относился к нему по-хозяйски, как рачительный председатель литературного колхоза к своему лучшему трактористу или электротехнику («Он ценил Платонова, у него вообще был недурной вкус, чуткость к слову», — совершенно справедливо написал Семен Липкин). Более того, Фадеев мог видеть, что все проблемы Платонова связаны с тем, что тот слишком глубоко копает, чересчур усердствует в строительстве социализма, понимая — далее опять процитируем платоновские «Записные книжки»: «**Без мучений нельзя изменить общество:** ведь социализм получил в наследство мещанство, сволочь („люди с высшим образованием — счетоводы“ и т. д.). Страдание ототрет с таковых, размелет их разум, от которого можно застрелиться в провинции».

Вот, если угодно, высшая идея хроники и не только ее, а всех платоновских вещей этих лет (в том числе это касается и противопоставления Москвы и провинции). Он свою позицию выстрадал и никогда ничем не спекулировал. Да, был ерник, не знал ни в чем удержу, не умел окоротить острый язык, неудобен, груб, осёл и хулиган, как аттестовал себя в 1920 году и с той поры ни в смысле упрямства, ни в невозможности дисциплинированно идти в общем строю и приспособливаться — не изменился. Но именно такой человек и есть самое дорогое, самое нужное, надежное, верное. Соль, которую, если потеряет свою силу, ничем не заменишь.

«Страна темна, а человек в ней светится», — утверждал Платонов, и автору «Разгрома» эта сокровенная вера не могла не быть близкой, и можно представить, а точнее, невозможно представить, сколь страшным ударом обернулось лично для него, для

Александра Александровича Фадеева, последующее развитие событий.

В дневнике Вяч. Полонского об этой истории рассказывалось так: «...„Впрок“ прочитал Сталин — и возмутился. Написал (передает Соловьев) на рукописи: „Надо примерно наказать редакторов журнала, чтобы им это дело пошло „впрок“. На полях рукописи, по словам того же Соловьева, Сталин будто бы написал по адресу Платонова: „мерзавец“, „негодяй“, „гад“ и т. п. Словом — скандал. В „Правде“ была статья, буквально уничтожившая Платонова. А вчера сам Фадеев — еще резче, еще круче, буквально убийственная статья. Но, заклеив Платонова как кулацкого агента и т. п., — он ни звуком не обмолвился о том, что именно он, Фадеев, напечатал ее, уговорил Платонова напечатать. В статье он пишет: „Повесть рассчитана на коммунистов, которые пойдут на удочку...“ и т. д. Кончает статью призывом к коммунистам, работающим в литературе, чтобы они „зорче смотрели за маневрами классового врага“ и „давали ему своевременный и решительный большевистский отпор““.

Все это превосходно — но ни звука о себе, о том, что он-то и попался на удочку, он-то и не оказался зорким и т. д. Это омерзительно, — хочет нажиться даже на своем собственном позоре».

Но едва ли Фадеев хотел нажиться, тут уж не до жиру, быть бы живу...

В книге воспоминаний Вениамина Каверина рассказывается иное предание: «Нельзя не отметить, что по отношению к Платонову Фадеев должен был испытывать особое чувство вины. Именно по его вине жизнь Платонова была уродливо и безжалостно искажена. В повести „Впрок“ в „Красной нови“ Фадеев, редактор журнала, подчеркнул те места, которые необходимо было, как он полагал, выкинуть по политическим причинам. Верстку он почему-то не

просмотрел, и подчеркнутые им места в типографии набрали жирным шрифтом. В таком виде номер журнала попал на глаза Сталину... Двойная жизнь Платонова, мученическая и, тем не менее, обогатившая нашу литературу, началась именно в эту минуту...»

Однако и то и другое — в большей, как у Каверина, или в меньшей, как у Полонского, степени мифологизированное изображение событий.

О документально зафиксированной реакции Сталина на опубликованный в третьем номере журнала платоновский «Впрок» доподлинно известно благодаря усилиям архивистов, которые ввели в научный оборот следующий лаконичный документ, подписанный верховным лицом:

«К сведению редакции „Красная новь“.

Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головоотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту.

И. Сталин

Р. С. Надо бы наказать и автора и головоотяпов так, чтобы наказание пошло им „впрок“».

Более пространной иллюстрацией к этому сюжету может служить недатированное воспоминание деятеля РАППа, сотрудника «Красной нови» Владимира Сутырина, записанное Л. Э. Разгоном в 1970 году и впервые опубликованное Галиной Андреевной Белой в 1989-м в книге «Дон-Кихоты 20-х годов».

Суть мемуара в следующем. Однажды вечером Сутырина вызвали в Кремль, где уже находился «несколько бледный» Фадеев, а также члены политбюро во главе со Сталиным.

«В руках у него был журнал, который легко было опознать, — „Красная новь“. Мы переглянулись с Фадеевым, нам стало понятно, что речь пойдет о рассказе Андрея Платонова.

Не приглашая нас садиться, Сталин, обращаясь к Фадееву, спросил:

— Вы редактор этого журнала? И это вы напечатали кулацкий и антисоветский рассказ Платонова?

Побледневший Фадеев сказал:

— Товарищ Сталин! Я действительно подписал этот номер, но он был составлен и сдан в печать предыдущим редактором. Но это не снимает с меня вины, все же я являюсь главным редактором, и моя подпись стоит на журнале».

Был вызван прежний главный редактор И. М. Беспалов, который, если верить Сутырину, повел себя перед вождем примерно с той же долей самоуважения, с какой, трясясь от ужаса, оправдывался перед мессиром Воландом подлый доносчик Алоизий Могарыч, и Сталин с воландовской безгливостью приказал выгнать его вон^[43], а Фадееву велел подготовить и напечатать статью с учетом конкретных, разбросанных на полях замечаний: «Балаганщик», «Беззубый остряк», «Это не русский, а какой-то тарабарский язык»^[44].

Результатом товарищеской критики вождя стала статья «Об одной кулацкой хронике», опубликованная сначала в «Известиях», а затем в пятом-шестом номере «Красной нови» за подписью А. А. Фадеева.

«Хитрый, пронырливый классовый враг... кулацкий агент... нарочитое и назойливое косноязычие... звериная кулацкая злоба... бессильно и злобно пытается он издеваться над огромным и трудным делом освобождения трудящихся крестьян от кулацкой кабалы... бессилие и пошлость его уловки... обнаглел настолько, что позволяет себе заниматься своими юродивыми пошлостями и тогда, когда он говорит о Ленине... нужно обладать неисчерпаемым запасом тупой и самодовольной пошлости... остроумие

Платонова куцее и убогое, выдумка его — плоская и дешевая... враг знает, куда он метит... юродствует и сюсюкает Платонов... Озлобленная морда классового врага вылезает из-под „душевной маски“... Платонов распоясывается... лукаво подмигивает Платонов... омерзительно фальшивый кулацкий Иудушка Головлев... в елейно-фальшивом, сладком, лицемерном тоне... образчик самой подлой и омерзительной клеветы... социалистическому наступлению оказывает бешеное сопротивление классовый враг».

Статью эту можно считать образцовой, а самого гениального писателя XX века приходится признать антигероем номер один советской литературы 1920—1930-х годов. Так, как били на глазах у всего мира его — жестоко, обдуманно, беспощадно, не давая поднять голову и закрыть руками лицо, — не били, пожалуй, во всей истории русской литературы никого.

«Жовова били кирпичами по голове, топтались на нем, оборачивали вверх лицом и снова били, а Жовов лежал, мучился, но чувствовал себя здоровым и сознательным», — отметил Платонов в «Записных книжках» 1931 года, и хотя эта запись непосредственного отношения к газетной кампании не имела (то было: «Детское видение в переулке, в дождь, в 7 лет жизни, 25 лет назад, 1/4 века»), на метафизическом уровне она воспринимается как иллюстрация к тому, что происходило с ее автором. И даже знаменитые ждановские речи 1946 года в адрес Зощенко и Ахматовой — суть копия, сделанная с отменного оригинала, а сам оригинал есть расширенный и снабженный конкретными примерами список сталинских комментариев на полях «бедняцкой хроники»: «Да, дурак и пошляк новой жизни», «Мерзавец; таковы, значит, непосредственные руководители колхозного движения, кадры колхозов?! Подлец...»

Характерен устный отзыв поэта Павла Васильева, который 11 июля 1931 года в разговоре с тайным осведомителем говорил о том, что «СТАЛИН прислал письмо в „Красную Новь“ из трех слов: „Дурак, идиот, мерзавец“ — это относилось к ПЛАТОНОВУ. ВАСИЛЬЕВ сказал, что ПЛАТОНОВ может быть кем угодно, только не дураком. Такие дураки не бывают. <...> Потом он опять вернулся к ПЛАТОНОВУ, сказал, что ПЛАТОНОВ это предсказатель, что он гениален... <...>».

И это, пожалуй, тот случай, когда можно прочесть известную фразу о несовместимости гения и злодейства применительно не к одному человеку, а говоря о столкновении двоих: они действительно оказались несовместимы — русский писатель и советский вождь, поручивший своим шестеркам проучить неугодного человека. Ни с Булгаковым, ни с Пастернаком, ни с Ахматовой, ни с Замятым, ни даже с Мандельштамом вести так лучший друг советских писателей себе не позволял. Сталин на свой манер уважал их принадлежность к «высшему» обществу и недаром говорил, защищая от партийной кабалы Булгакова, разумные, веские слова: «...очень легко „критиковать“ и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое нельзя считать самым хорошим... Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения... требовать, чтобы литература была коммунистической, нельзя».

К Платонову у вождя был иной счет и иной с «отступником» разговор. Принадлежность автора «бедняцкой хроники» к пролетариату, а еще в большей степени избранная им больная тема и, наконец, платоновский язык, показавшийся «консервативному» Сталину нестерпимым, — все это стало причиной того омерзительно грубого тона, который, как очень верно подметил незадолго до смерти В. И. Ленин, был

свойствен И. В. Сталину в отношениях с товарищами. Здесь в который раз можно вспомнить Литвина-Молотова. Одна партия, одни идеалы и сколь же разные люди...

Что сделал Платонов в ответ на критику? Он — покаялся. Даже если и был в сердце оскорблен, удручен, возмущен, не согласен — все равно сделал то единственное, что могло его в той ситуации спасти, и нет ничего более нелепого, абсурдного, как обвинять этого человека в трусости или конформизме. К нему ни одно из таких определений неприменимо, и мужество его никем и никогда сомнению не подвергалось. Но бодаться с дубом Платонов не стал.

Десятого июня 1931 года он писал уехавшей в Крым жене: «В день твоего отъезда я узнал, что меня будут сильно критиковать за „Впрок“. Сегодня уже есть подвал в „Литературной газете“ против „Впрока“. Наверно, будет дальнейшая суровая критика. Перемучившись, обдумав все (думать над коренным изменением своей литературной деятельности — я начал еще с осени; ты знаешь про это), — я решил отказаться, отречься от своего литературного прошлого и начать новую жизнь. Об этом я напишу в газеты „Правда“ и „Литературная газета“, — пришлю тебе напечатанное письмо. Когда увидимся, я тебе все объясню и ты поймешь, что это высшее мужество с моей стороны. Другого выхода нет. Другой выход — гибель».

Покаяние Платонова, скорее всего, было организовано и отредактировано тем же человеком, кто назвал в «Красной нови» своего товарища, единомышленника омерзительно фальшивым иудушкой, однако и сам с превеликим отвращением был вынужден роль палача сыграть («...он всегда с варфоломеевским исступлением выполнял указания Сталина», — писал о Фадееве Липкин) — роль,

периодически исполняемую и несомненно ставшую одним из тех разрушительных шагов, что привели ее исполнителя четверть века спустя к самоубийству на переделкинской даче.

«Однажды — это было в 1931 году — к нему приехал Фадеев, сразу же после двухчасового разговора со Сталиным о „Впроке“... Он дрожал, зубы дрожали», — написал со слов М. А. Платоновой И. Крамов (хотя самой ее не только при этом разговоре, но и вообще в Москве в тот день не было, и она могла знать о беседе двух писателей лишь от Платонова).

«В 70-е годы Мария Александровна Платонова вспоминала, что после публикации „Впрок“ в их доме состоится встреча Платонова с Фадеевым, — подтвердила ту же версию Н. В. Корниенко. — Думается, что одним из итогов их диалога станет не только разгромная статья последнего „Об одной кулацкой хронике“, опубликованная в 5 и 6 номерах провинившейся „Красной нови“, но и необнаруженные пока письма Платонова к Сталину, а также письмо Платонова, отправленное 9 июня 1931 года в редакцию „Правды“ и „Литературной газеты“».

И хотя тут есть некоторая нестыковка с числами («Красную новь» с «Впроком» Сталин прочел не позднее начала июня, а статья Фадеева в «Известиях», а потом в «Красной нови» вышла месяц спустя), эта версия вызывает доверие.

Датируемое восьмым июня письмо Платонова Сталину с той поры обнаружено было — его впервые опубликовала в 1999 году «Новая газета».

«Товарищ Сталин.

Я прошу у вас внимания, которого делами пока еще не заслужил. Из необходимости беречь ваше время, я буду краток, может быть, даже в ущерб ясности дела.

В журнале „Красная новь“ напечатана моя повесть „Впрок“. Написана она более года тому назад.

Товарищи из рапповского руководства оценили эту мою работу как идеологически крайне вредную. Перечитав свою повесть, я многое передумал; я заметил в ней то, что было в период работы незаметно для меня самого и явно для всякого пролетарского человека — кулацкий дух, дух иронии, двусмысленности, ухищрений, ложной стилистики и т. д. Получилась действительно губительная работа, ибо ее только и можно истолковать как во вред колхозному движению. Но колхозное движение — это самый драгоценный, самый, так сказать, „трудный“ продукт революции. Этот продукт, как ребенок, требует огромного чуткого внимания даже при одном только приближении к нему. У меня же, коротко говоря, получилась какая-то контрреволюционная пропаганда (первичные намерения автора не меняют дела — важен результат). Вам я пишу это прямо, хотя тоска не покидает меня.

Я увидел, что товарищи из РАППа — правы, что я заблудился и погибаю.

Теперь рапповская критика объяснила мне, что „Впрок“ есть вредное произведение для колхозов, для той политики, которая служит надеждой для всех трудящихся крестьян во всем мире. Зная, что вы стоите во главе этой политики, что в ней, в политике партии, заключена работа^[45] о миллионах, я оставляю в стороне всякую заботу о своей личности и стараюсь найти способ, каким можно уменьшить вред от опубликования повести „Впрок“. Этот способ состоит в написании и опубликовании такого произведения, которое бы принесло идеологической и художественной пользы для пролетарского читателя в десять раз больше, чем тот вред, та деморализующая контрреволюционная ирония, которые объективно содержатся во „Впроке“.

Вся моя забота — в уменьшении вреда от моей прошлой литературной деятельности. Над этим я

работаю с осени прошлого года, но теперь я должен удешевить усилия, ибо единственный выход находится в такой работе, которая искупила бы вред от „Впрока“. Кроме этого главного дела, я напишу заявление в печать, в котором сделаю признание губительных ошибок своей литературной работы — и так, чтобы другим страшно стало, чтобы ясно было, что какое бы то ни было выступление, объективно вредящее пролетариату, есть подлость, и подлость особо гнусная, если ее делает пролетарский человек.

Ясно, что такое заявление есть лишь обещание искупить свою вину, но не само искупление. Однако я еще никогда не делал таких заявлений и не сделал бы, если бы не был уверен, что выполню.

Товарищ Сталин, я слышал, вы глубоко цените художественную литературу и интересуетесь ею.

Если вы прочитали или прочитаете „Впрок“, то в вас, как теперь мне ясно, это бредовое сочинение вызовет суровое осуждение, потому что вы являетесь руководителем социалистического переустройства деревни, что вам это ближе к сердцу, чем кому бы то ни было.

Этим письмом я не надеюсь уменьшить гнусность „Впрока“, но я хочу, чтобы вам было ясно, как смотрит на это дело виновник его — автор, и что он предпринимает для ликвидации своих ошибок.

Перечитав это свое письмо к вам, мне захотелось добавить еще что-нибудь, чтобы служило непосредственным выражением моего действительного отношения к социалистическому строительству. Но это я имею право сделать, когда уже буду полезен революции.

Глубоко уважающий вас Андрей Платонов.

8 июня 1931 г.».

Нет сомнения, это было написано искренне: одно сравнение колхозного движения с ребенком — тому

доказательство. Не стал бы Платонов ни ерничать, ни иронизировать. Он действительно тяжело переживал происходящее («тоска не покидает меня»). Но вот еще: «Если вы прочитали или прочитаете „Впрок“... вызовет осуждение». Получается так: Платонов либо не был уверен, что Сталин его сочинение прочитал, что маловероятно, ибо именно нервная реакция на хронику была главным мотивом автора письма и темой его разговоров с перепуганным уже совсем не так, как из-за «Усомнившегося Макара» Фадеевым, либо делал вид, что эта реакция ему неизвестна, потому что этого требовали правила игры, которые Фадеев хорошо знал и, можно предположить, послание Платонова в Кремль прочитал и отредактировал внимательнее, нежели «Впрок».

Во всяком случае, акцент был сделан очень важный и точный: из письма формально следовало, что поводом для его написания стала не прихоть одного, пусть даже самого верховного человека, а коллективная оценка рапповского руководства, принявшего 4 июня 1931 года на пленуме РАППа резолюцию, в которой хроника «Впрок» была расценена как проявление «активизации враждебных элементов на литературном участке идеологического фронта», а автор ее был назван «агентом буржуазии и кулачества» в литературе.

Вместе с тем существует донесение некоего сексота, которое использовал в своей «объективке» на Платонова оперуполномоченный ОГПУ Шиваров, полностью перечеркивающее смысл политкорректного оборота и реверанса в сторону писательского коллектива: «Платонов тогда говорил: „Мне все равно, что другие будут говорить. Я писал эту повесть для одного человека (для тов. Сталина), этот человек повесть читал и по существу мне ответил. Все остальное меня не интересует“».

В последних словах, буде таковые были произнесены, заключалось немало бравады и действительного отношения Платонова к «лучшим товарищам, настоящим большевикам», но что касается обещанного Сталину и написанного 9 июня «заявления в печать» (оно предназначалось для двух изданий: «Правды» и «Литературной газеты»), то и этот текст был наполнен иной, по-своему очень вызывающей интонацией. Ее трудно назвать покаянной, хотя формально это было посыпание пеплом собственной головы. Но только формально. По содержанию — даже не двусмысленность, а хулиганство.

«Просьба поместить следующее письмо.

Нижеподписавшийся отрекается от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных.

Автор этих произведений в результате воздействия на него социалистической действительности, собственных усилий навстречу этой действительности и пролетарской критики, пришел к убеждению, что его прозаическая работа, несмотря на положительные субъективные намерения, приносит сплошной контрреволюционный вред сознанию пролетарского общества.

Противоречие между намерением и деятельностью автора явилось в результате того, что субъект автора ложно считал себя носителем пролетарского мировоззрения, — тогда как это мировоззрение ему предстоит еще завоевать.

Нижеподписавшийся, кроме указанных обстоятельств, почувствовал также, что его усилия уже не дают больше художественных предметов, а дают даже пошлость вследствие отсутствия пролетарского мировоззрения.

Классовая борьба, напряженная забота пролетариата о социализме, освещающая, ведущая сила партии, — все это не находило в авторе письма тех художественных впечатлений, которых эти явления заслуживали. Кроме того, нижеподписавшийся не понимал, что начавшийся социализм требует от него не только изображения, но и некоторого идеологического опережения действительности — специфической особенности пролетарской литературы, делающей ее помощницей партии.

Автор не писал бы этого письма, если бы не чувствовал в себе силу начать все сначала и если бы он не имел энергии изменить в пролетарскую сторону свое собственное вещество. Главной же заботой автора является не продолжение литературной работы ради ее собственной „прелести“, а создание таких грандиозных произведений, которые бы с избытком перекрыли тот вред, который был принесен автором в прошлом.

Разумеется — настоящее письмо не есть самоискупление вредоносных заблуждений нижеподписавшегося, а лишь гарантия их искупить и разъяснение читателю, как нужно относиться к прошлым сочинениям автора.

Кроме того, каждому критику, который будет заниматься произведениями Платонова, рекомендуется иметь в виду это письмо».

К этому документу можно относиться по-разному. Можно считать его частично или насквозь пародийным, ерническим или же просто несколько неловким, наигранно-грубоватым от внутреннего смущения и стыда, можно увидеть в нем фронду или признание собственного поражения и нежелание с этим поражением мириться, но невозможно не заметить конкретной практической цели, которую ставил перед собой нижеподписавшийся — остановить поток брани, не потеряв лица.

Несколько дней спустя после того, как письмо было отослано, Платонов то ли спохватился сам, то ли выполнил чье-то требование (Фадеева, Авербаха) и 14 июня направил в редакции обеих газет новый вариант своего «покаяния», попросив считать старый «недействительным ввиду ряда ошибочных формулировок, допущенных автором по субъективным причинам».

В новом тексте были произведены следующие замены с целью сгладить колючие места и смягчить интонацию:

- 1) вместо третьего лица использовано первое;
- 2) изъята фраза, содержащая отречение от своей прошлой деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и нет, но зато добавлено предложение: «Я считаю глубоко ошибочной свою прошлую литературно-художественную деятельность»;
- 3) снят пародийный штамп о «сплошном контрреволюционном вреде» и заменен нейтральным выражением «объективно приносят вред»;
- 4) добавлена фраза: «Это убеждение явилось во мне не сразу, а началось с прошлого года, но лишь теперь вылилось в форму катастрофы, благодетельной для моей будущей деятельности»;
- 5) вместо «изменить в пролетарскую сторону свою идеологию» стало «изменить в пролетарскую сторону свое творчество — самым решительным образом».

Однако ни в первой, ни во второй редакции ни «Литературной газетой», ни «Правдой» письмо опубликовано не было («...когда вы написали письмо в редакцию, это произвело странное впечатление — очень быстрая перестройка», — заметили Платонову на его так называемом творческом вечере в 1932 году. — «...к сожалению, не напечатано... тогда бы мне было

гораздо легче и дышать и работать», — отвечал он), и на писателя обрушился бранный шквал.

Первая реакция на хронику последовала 10 июня 1931 года в том самом печатном органе, куда он обратился со своим посланием — в «Литературной газете».

Статья А. П. Селивановского называлась «В чем „сомневается“ Андрей Платонов». «Читатель помнит очерк „ЧЧО“ (написанный им совместно с Б. Пильняком), читатель не забыл „Усомнившегося Макара“, читатель сохранил в памяти обывательско-анархиствующую издевку Платонова над массами, строящими социализм, над диктатурой пролетариата». И дальше в том же духе — о партии-руководительнице коллективизации, о трудностях построения социализма, о противоречиях периода и наконец о «творческом вырождении Платонова», его «убогом, утомительно повторяющем себя юродстве».

Следующая рецензия, принадлежащая перу Д. Ханина, «Пасквиль на колхозную деревню», была опубликована в газете «За коммунистическое просвещение» 12 июня, третья В. Дятлова — 18 июня в «Правде» с деловитым заголовком: «Больше внимания тактике классового врага». Ну а самый главный, решающий, «дружеский» удар Фадеева последовал 3 июля...

Если учесть, что одновременно с этими событиями в Воронеже проходил суд над контрреволюционной группой вредителей-мелиораторов и 17 июня на нем было прочитано обвинительное заключение, которое начиналось со слов «Воронежская контрреволюционная группа мелиораторов возникла в 1924 г. при руководящем участии б. губмелиоратора Платонова», то лето 1931 года представляется тем моментом, когда жизнь Платонова висела даже не на волоске.

Как он уцелел, мы не знаем. Как все это переживал, каким было его душевное состояние и что испытывал он, раскрывая очередную газету, можем только предполагать («...для меня настали труднейшие времена. Так тяжело мне никогда не было. При том я совершенно одинок. Все друзья — липа, им я не нужен теперь», — писал он жене в июне 1931 года), но в отличие от Булгакова никаких тетрадок с отрицательными рецензиями Платонов не заводил и счет своим литературным врагам не вел.

«О человеке, которого ругают газеты, газеты били и бьют его за политпороки. Его душевное состояние ужаса непроходящего», — отметил он в одной из «Записных книжек» той поры.

Его не арестовали, ниоткуда не исключили и не уволили, но иллюстрацией к иному повороту судьбы и платоновской готовности эту судьбу принять может служить датированный маем 1932 года очерк «Человек нашего времени», герой которого инженер-электрик Оганов рассказывает свою историю: «...сын шахтера; бывший слесарь и паровозный машинист — с 10-летним стажем; инженер-электрик, возраст — 31 год; состоял под судом и следствием — вредитель; был в заключении и ссылке около 2-х лет; освобожден — по снисхождению как пролетарий и творческий человек; причина вредительства: думал, что рабочий класс недостаточно умен для управления миром, хотя сам имею сто патентов на изобретения, себя, — как опровержение контрреволюционных взглядов — я упустил из расчета и хотел вычистить весь пролетариат из буржуазии, а не наоборот, хотя знаю высшую математику; в заключении же я опомнился и возвратился навеки на родину, в рабочий класс».

Та же фраза о родине — рабочем классе прозвучала и в письме к последней писательской инстанции в СССР: «Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Вы знаете, что моя повесть „Впрок“, напечатанная в № 3 „Красной нови“, получила в „Правде“, „Известиях“ и в ряде журналов крайне суровую оценку.

Это письмо я Вам пишу не для того, чтобы жаловаться, — мне жаловаться не на что. Я хочу Вам лишь сказать, как человеку, мнение которого мне дорого, как писателю, который дает решающую, конечную оценку всем литературным событиям в нашей стране, — я хочу сказать Вам, что я не классовый враг, и сколько бы я ни выстрадал в результате своих ошибок вроде „Впрока“, я классовым врагом стать не могу, и довести меня до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс — это моя родина, и мое будущее связано с пролетариатом. Я говорю это не ради самозащиты, не ради маскировки — дело действительно обстоит так. Это правда еще и потому, что быть отвергнутым своим классом и быть внутренне все же с ним — это гораздо более мучительно, чем сознавать себя чуждым всему, опустить голову и отойти в сторону.

Мне сейчас никто не верит — я сам заслужил такое недоверие. Но я очень хотел бы, чтобы Вы мне поверили; поверили лишь в единственное положение: я не классовый враг.

...я не снимаю с себя ответственности и сам теперь признаю после опубликования критических статей, что моя повесть принесла вред. Мои же намерения остались ни при чем: хорошие намерения, как известно, иногда лежат в основании самых гадких вещей...

Я автор „Впрока“, и я один отвечаю за свое сочинение и уничтожу его будущей работой, если мне будет дана к тому возможность... Я хотел бы, чтобы Вы поверили мне. Жить с клеймом классового врага невозможно, — не только морально невозможно, но и практически нельзя. Хотя жить лишь „практически“, сохраняя собственное туловище, в наше время вредно и не нужно».

Глава одиннадцатая ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ

Предположим, его услышали, допустим, условно простили, и лето 1931 года должно было стать в судьбе Платонова переломным: прежнему писателю суждено было умереть, а новому — если будет на то дозволение и снисхождение верховной власти — родиться и последующей литературной деятельностью искупить грехи. Насколько искренне было это заявлено и в какой степени реализовано — речь об этом пойдет дальше. Но прежде обратимся к загадочной фразе из первого, направленного варианта платоновского письма в редакции «Правды» и «Литературной газеты»: «Нижеподписавшийся отрекается от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных».

С напечатанными все более или менее понятно. А вот с ненапечатанными — казалось бы, зачем было вообще о них упоминать? Как показали недавно рассекреченные документы, если это была предосторожность, то не излишняя. Больше всего Платонов мог опасаться за судьбу «Чевенгура», о существовании которого в литературных кругах было хорошо известно. Так, 13 января 1932 года в ОГПУ поступило следующее донесение, одинаково примечательное и по-своему содержанию, и по степени опасности для объекта наблюдения: «ПЛАТОНОВ — писатель молодой, довольно одаренный, но чем-то крепко ущемленный при советской эре. Я не удивился бы, если бы узнал, что родители ПЛАТОНОВА были купцы, кулаки или офицеры. И что с ними поступлено сурово, так вражда ПЛАТОНОВА в его произведениях

хлещет из каждой буковки. Необходимейше следует иметь для выводов его роман размером в 24 печатных листа под названием „ЧИВИНГУР“. Был роман в читке в МТП^[46], за напечатание романа выступили коммунисты — ПАРФЕНОВ, КУДАШЕВ и еще кто-то, кажется, даже Артем ВЕСЕЛЫЙ, но не ручаюсь. Роман, надо прямо признать, отклонен беспартийными, фракция не сумела себя показать, фракция оказалась стыдно-слабой для такой простой вещи, как доказать автору, что он контрреволюционен от начала до конца. Роман „ЧИВИНГУР“ настолько характерен, что его надлежало бы напечатать на ротаторе в 100 экземплярах и дать почитать нашим вождям — может быть, вплоть до т. Сталина и других. Это вещь редчайше острая и редчайше вредная. И мне почему-то кажется, что эта вещь еще может наделать скандалов. Лучше было бы купить эту вещь у автора и законсервировать ее лет на десять. ПЛАТОНОВ, повторяю, неисправимо-консервативен и человек чужой».

Тут, что называется, не убавить, не прибавить, и можно было б многое отдать за то, чтоб узнать, кто был автором этих энергичных, абсурдных, разумных и по-своему точных и одновременно фантастических строк. Но вот вопрос — от какого еще наследия отрекался затравленный писатель?

Из наиболее значительных законченных, но ненапечатанных произведений помимо «Антисексуса», «Эфирного тракта», «Чевенгура» и «Котлована» к лету 1931 года Платоновым был написан ряд вещей и прежде всего — пьеса «Шарманка» с предельно резкой и критичной картиной повседневной советской жизни рубежа десятилетий и идеей столкновения двух цивилизаций — советской и западноевропейской. Последняя в лице ее представителей — датского профессора-пищевика Эдуарда-Валькирии-Гансена

Стерветсена и его дочери-певицы Серены выступает не столько в качестве объекта критики и самокритики (хотя и это здесь было: «У нас в Европе много нижнего вещества, но на башне угас огонь»), сколько своего рода экспертом и оценщиком того, что происходит в Советской России и что же есть настоящая ударная душа социализма, за которой иностранцы прибыли на советскую землю, готовые платить за эксклюзивный товар валютой.

Введение чужеземцев в качестве представителей приемной комиссии было новым, отражавшим изменившиеся исторические условия поворотом (в «Чевенгуре» и «Котловане» «экспертизой» занимались сами «строители страны» — Дванов и Воцев), а что касается драгоценной надстройки социализма и его единственной души, то таковой в пьесе оказалась бескомпромиссная девочка по имени Мюд, чье имя расшифровывается как Международный юношеский день. Другой претендент на эту роль, мечтательный соратник Мюд, бродячий культработник с музыкой и изобретатель Алеша, создавший железного человека Кузьму, на революционной высоте не удерживается, ибо хотел «героя сделать, а он сломался», и под напором «замучившей местную массу сволочи» — заведующего кооперативной системой Щоева и его заместителя Евсея, под их требованием письменно признать себя классовым врагом — падает, публично называя себя «жалким заблуждением», «ошибочником, двурушником, присмиренцем и еще механистом», и получает за это от Стерветсена суровый, но справедливый приговор: «Это брак, а не надлежащая настройка. Нам полезны лишь горячие, беззаветные герои».

Слова датчанина прозвучали тем трагичнее, что всего через несколько месяцев после написания пьесы «Шарманка» Платонову самому пришлось публично

признавать «ошибки» перед судом советской литературной и партийной общественности. В координатах платоновской биографии сцена суда над оступившимся пешим большевиком, когда собрание требует, чтобы Алеша отрекся от своего безобразия, называет его врагом, фашистом, вредителем и изменником, и «ничего не член» Алеша, согласно авторской ремарке, «стоит окруженный всеобщей враждой; он тоскует и растерян. Он не знает, как ему дальше жить» — кажется написанной уже после событий лета 1931 года (хотя «Шарманку» датируют октябрем — декабрем 1930-го) или же наполненной их предчувствием как самым горьким и верным пророчеством надвигающейся личной катастрофы.

И все же Платонов писал «Шарманку» не для того только, чтоб изобразить трагедию сломленного, «примирившегося перед фактом» художника («Зачем ты испугался этой гнусной прослойки? Ведь я осиротею без тебя», — восклицает Мюд, и здесь есть нечто предвосхищающее мотивы «Мастера и Маргариты» с измученным героем-творцом, сильной, любящей женщиной и выносящим приговор всемогущим иностранцем). Помимо этого, а вернее, прежде всего речь в пьесе шла о важнейших моментах жизни страны — о вновь наступившем голоде (голодные детские лица, глядящие в окно учреждения, и голос девочки: «Дядь, дай кусочек... Нам хоть невкусное... Хоть мутного»), о бесхозяйственности, вредительстве и одновременно безумных темпах индустриализации, приводящих к уничтожению народа.

В стране принимается решение о строительстве дирижаблей, не случайно «Дирижабль» было одно из первоначальных названий «Шарманки», но характерна реплика одного из персонажей: «Нам дирижабль в виде тары нужен! У нас кадушек нету!» Можно предположить, что при всей любви Платонова к технике

призыв к переводу народной энергии с небес на землю, от высоких устремлений энтузиаста Алеши («Я люблю больше всего дирижабль. Я все думаю, как он взойдет над бедной землей, как заплачут все колхозники вверх лицом и я дам ревущую силу в моторы, весь в слезах классовой радости») к практичной, реально необходимой и полезной деятельности единственного толкового работника с говорящей фамилией Опорных, озабоченного тем, что «всё, как это говорится, летит, прет, плывет и растет, а у нас тары нет», составляет одну из «фуфаевских» идей пьесы.

Однако если «Шарманка» даже при условно-благополучном окончании, рифмующемся с финалом «Города Градова», то есть упразднением злостного кооператива в пользу добычи природного газа (откуда, надо полагать, и пошел «Газпром»), была заведомо неподцензурна и содержала в себе политический градус неразведенного медицинского спирта (особенно когда драматург обращался к голосу осовеченной толпы, выкрикивающей «Следите друг за другом!», «Не доверяй себе никто», «Считай себя для пользы дела вредителем!», «Карайте сами себя в выходные дни!»), то другие произведения тех лет — либретто «Машинист», незавершенный сценарий о ленинградском заводе имени Сталина, а также ряд очерков и, наконец, первая часть «Технического романа», получившая название «Хлеб и чтение», выглядели несколько менее крамольными.

Судьба последней рукописи особенно примечательна. Весной 1932 года был арестован по делу «Сибирской бригады» заведующий редакцией «Красной нови» Николай Иванович Анов, писатель-сибиряк, человек независимых взглядов, с огромным уважением относившийся к Платонову и пытавшийся на деле ему помогать. «Для таких людей, как Андрей Платонов („Впрок“), Анов аванс из земли выскребывал.

Кстати, Платонова он среди сибиряков всячески популяризировал, называл новым Гоголем», — показывал на допросе арестованный вместе с Ановым поэт Павел Васильев, и если учесть, что Анов был настроен по отношению к коллективизации и вообще к проводимой Сталиным политике весьма враждебно, то его симпатия к автору «Котлована» многое объясняет в мировоззрении самого Платонова.

При обыске на квартире у Анова изъяли несколько платоновских рукописей: «Ювенильное море», «14 красных избышек», фрагменты «Чевенгура» и «Технический роман». В начале 1990-х годов они были обнаружены исследователем Виталием Шенталинским в архиве КГБ, и тогда же «Технический роман» увидел свет. Долгое время считалось, что это произведение есть расширенный вариант рассказа «Родина электричества», написанного якобы в 1926–1927 годах, а опубликованного в 1939-м, однако, как убедительно показала Н. В. Корниенко, на самом деле движение носило обратный характер, и сначала была написана первая часть «Технического романа» — «Хлеб и чтение» (согласно авторской датировке в 1931 году, а по уточняющему предположению исследовательницы, в первой половине этого года, то есть как раз накануне большевистского погрома), а уже потом, в 1939-м, «Родина электричества».

В отличие и от «Котлована», и от «Шарманки», и от хроники «Впрок» «Технический роман» — произведение историческое, ностальгическое, посвященное вольной и прекрасной юности автора, когда «революция... была как пространство — открытое, свободное, но еще незаполненное», и это тем важнее подчеркнуть, что фактически именно этот роман стал для своего создателя не столько идеологическим, сколько психологическим, личностным выходом из «Котлована». Не в будущее, которое еще неизвестно, каким будет,

кто до него доживет и в нем воскреснет, а — в прошлое, в те времена, когда молодой Андрей Платонов был счастлив и полон сил, а «на земле стало тихо и начали пахать, сеять и трудиться сами на себя, и сила уставшего народа опять скоплялась внутри его».

Это не значит, что автор стремился революционное прошлое романтизировать или идеализировать, но все же именно в нем он искал и находил духовную опору, когда на рубеже 1920—1930-х народная сила вновь начала убывать, и трагедии этого истощения были посвящены и «Котлован», и пьеса «14 красных избушек». Написанный во временной промежуток между этими трагическими вершинами, «Технический роман» стал своеобразным платоновским возвращением в начало двадцатых годов, в город Ольшанск и его окрестности, в которых угадываются Воронеж и Воронежская губерния, а главные герои его — Семен Душин и Дмитрий Щеглов — живут в окружении тех людей и идей, что наполняли жизнь молодого журналиста, поэта и мелиоратора Андрея Платонова. Как и в случае с героем хроники «Впрок», поэтическую, литературную составляющую автор из биографии своих героев сознательно устраняет — они не писатели, не поэты, хотя Душин и сотрудничает с газетой «Красная губерния», но исключительно как журналист. Они — бывшие рабочие, в Гражданскую войну — бойцы железнодорожных войск Красной армии, а в мирное время студенты, инженеры — молодая советская техническая интеллигенция, «вооруженные умы пролетариата», друзья и соратники, единомышленники. Но по ходу действия романа все острее делается разница между одержимым революционной любовью к дальнему, «уверенному в торжестве своего сознания над бедным таинственным сердцем» Душиным и исполненным любовью к ближнему Щегловым, который с «робостью и внимательным удивлением рассматривал

людей и весь всемирный вид, еще не имея какого-либо сознательного желания и собственного характера и не стремясь ни к господству, ни к наслаждению».

«Технический роман» стал для Платонова попыткой разобраться в собственной «смешной» молодости с ее поисками, метаниями, перекосами и взрывными противоречиями. «Мое молодое, серьезное (смешное по форме) — останется главным по содержанию навсегда, надолго», — отмечал он в «Записных книжках» той поры. Несмотря на название романа, вопросы, которые герои призваны решить, далеко не технические, а нравственные, бытийные.

Линия жизни Семена Душина — это уже традиционная в платоновском мире история исканий целеустремленного человека, на пути которого встает любовь к женщине, и он пытается этой любовью управлять, чтоб она не мешала великим намерениям осчастливить трудящееся человечество. Душин — своеобразный инвариант инженеров Крейцкопфа, Вогулова, Матиссена или отца и сына Кирпичниковых, хотя и с определенными поправками: «Душин хотел, чтоб земля пролежала нетленным гробом, в котором сохранилась бы живая причина действительности, чтоб социалистическая наука могла вскрыть гроб мира и спросить сокровенное внутри его: в чем дело? — и слух точной науки тогда услышит, быть может, тихий, жалобный ответ».

Этому фаустовскому, активно-познавательному отношению к миру противопоставлено сердечное мироощущение Щеглова, который «также был согласен с неприкосновенностью земного шара, потому что его отец и мать, четыре сестры и семь братьев лежали в могилах, а он жил один и должен теперь привлекать к научной ответственности все сокрушительные силы непонятого пространства. Однако, когда Щеглов смотрел глазами исподлобья в высоту ночи или видел

истощение людей во взаимной истирающей суете, он понимал, что человек есть местное, бедное явление, что природа обширнее, важнее ума и мертвые умерли навсегда».

Заочный спор между Душиным и Щегловым о человеке, его жизни и смерти есть главная идеологема «Технического романа», а вернее, единственной, дошедшей до нас первой части. Можно сказать, что это спор тридцатилетнего и для своих тридцати лет уже очень много испытавшего и выстрадавшего человека с идеями собственной юности.

С точки зрения событийной, фактологической, куда больше автобиографического в образе Душина. Это он — сознательный, верующий в науку как в Бога, но при этом беспартийный электрик, в связи с чем в романе возникает замечательный диалог между героем и его наставником коммунистом Чуняевым, практически взятый из реалий платоновской судьбы начала двадцатых годов:

«— Ты член партии?

— Нет.

— Ну ничего. Будешь в виде исключения... А отчего ты не член?»

Это его посылают в деревню Верчовку (в реальной жизни у Платонова была Рогачевка), где Душин должен починить сломавшуюся электростанцию и где он встречает «прекрасной красоты» черноглазую крестьянскую девушку Лидию Вежличеву, окруженную бессильными, немощными от голода женихами с омертвевшими глазами, которые уходят прочь, а между Лидией и Душиным происходит то, что в платоновском мире с его героями обыкновенно случается не сразу.

«Ты любишь меня? — спросил Душин.

— Нет, — ответила лежавшая с ним черноволосая женщина. — За что тебя любить-то?

— А как же?! — озадачился Душин.

— Так, — сказала Лида. — Никак.

Тогда Душину стало не жалко ее, все равно — что будет, и он, уже не чувствуя любви к ней, ожесточенно обнял ее тело, — с таким отчаяньем, как будто готовился к разрушению.

Она ничего не говорила и лежала безвольная, спокойная, как давно умолкнувший предмет, не чувствующий своего существования <...> потом Душину стало грустно, сердце его билось теперь равнодушно, точно остуженное пронесшимся ветром, напряжение ума прекратилось, и смысл тревоги мирового вещества был теперь неинтересен, — оттого, что сам принял участие в этом тревожном движении, или оттого, что мир стоит в стороне от счастья, — и Душин обнял свою подругу спокойной рукой, тоскуя вместе с ней, что ничего не случилось в результате любви».

Реакция Семена Душина напоминает то ощущение истощающей раны, которое испытал Саша Дванов после первой в своей жизни близости с крестьянкой Феклой Степановной. Вот и в «Техническом романе»: «Вчера ночью из него ушло в эту женщину что-то невозвратимое — может быть, часть ума, может быть, та тревога, которая причиняла несчастье, но одновременно томила жить как можно быстрее вперед. И теперь он видел мир каким-то более туманным и спокойным, будто зрение его ослабело».

Образ Лиды, «глупой и красивой, как ангел на церковной стене», но зато простой, как «греющий ветер» — один из самых ярких, самых влекущих женских образов в платоновской прозе. Эта молодая женщина есть предмет соблазна и искушения для многих героев, и прежде всего для застенчивого Щеглова: в ее бесстыдстве заключено нечто невинное, а в невинности — бесстыдное. «Лида мирно сопела во сне, и лицо ее приобрело жалобное выражение давно прожитого младенчества; по еще незабытой детской

привычке она брыкалась ногами, раскидывалась и волновалась в движениях, помогая телу расти и развиваться; наконец она раскрылась вся и стала вовсе голой и беспомощной. Тогда Щеглов всмотрелся в нее с силой бьющегося сердца и увидел среди нее, чего он не видел никогда — чужое и страшное, как неизвестное животное, забравшееся греться в теплые теснины человека из погибших дебрей природы, или как растение, оставшееся здесь, в соседстве с сердцем и разумом, от ископаемого мира. Это существо, непохожее на всю Лиду и враждебное ей, было настолько безумно и мучительно по виду, что Щеглов навсегда отрекся от него, решив любить женщину в одном чувстве и размышлении».

Можно предположить, что именно такими впервые увидел молодой Платонов сокровенные части женского тела и оттого так много «щегловского» было в его ранней прозе и публицистике. Оттого так близок и понятен ему герой, который не решается прикоснуться к женщине, занятый «чем-то трудным, грустным и счастливым, томительной неопределенностью сердца». Но не менее автобиографичен и яростный Душин, который прогоняет кроткого Щеглова в тот момент, когда луна, как прожектор, осветила раскинувшуюся во сне девушку и «горячая, сладостная тревога, не имеющая никакой мысли, прошла по его телу», и Душин «лег с Лидой и осмысленно стал ее мужем, дабы ликвидировать в себе излишки тела, накапливающиеся в качестве любви, и спокойно сосредоточиться на серьезности жизни».

Эволюция восприятия половой любви — от сожаления об утрате жизненной энергии, которую следовало бы сэкономить для организации истины и хозяйства и для «блаженства своей победы над стихией наслаждения», до отношения едва ли не потребительского, до использования женского лона как

места сброса излишков страсти, или, говоря словами одного из ранних платоновских рассказов, места, куда исходит «сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнения и движения» — эволюция эта очень показательна. Но происходит она не сама по себе, а после возвращения студента из Верчовки, где пронзительным контрастом по отношению к молодой обольстительной Лидии выступает образ нищей, усохшей до роста ребенка деревенской старухи — ее случайно встречают Лида и Душин во время крестьянского молебна о ниспошлении дождя — и здесь Платонов противопоставляет влекущей силе молодой женщины обессиливающую наготу старой с той степенью смелости и откровенности, на какую не решался в русской литературе никто.

«Старуха встала перед Душиным и приподняла юбку, забыв про стыд, про любовь и всякое другое неизбежное чувство. Верно было, что на старухе немного осталось живого вещества, пригодного для смерти, для гниения в земле <...> Душин видел ничтожное существо, с костями ног, прорезающимися как ножи, сквозь коричневую изрубцованную кожу. Душин нагнулся в сомнении и попробовал эту кожу — она была уже мертва и тверда, как ноготь, а когда Душин, не чувствуя стыда и горя, еще далее оголил старуху, то нигде не увидел волоса на ней, и между лезвиями ее костяных ног лежали, опустившиеся наружу, темные, высушенные остатки родины ее детей; от старухи не отходило ни запаха, ни теплоты. Душин обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Старуха покорно сняла платок с головы, и Душин увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовые развалиться и предать безвозвратному праху скупоскопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях <...>

Она задрала кофту и показала грудь — на ней висели два темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища, — остатки молочных сосудов, — а кожа провалилась между ребер, но сердце было незаметно, как оно билось, и вся грудь была так мала, что только немного и сухое могло там находиться, — чувствовать что-либо старухе было уже нечем, оставалось лишь мучиться и сознать мысленно.

Такая грудь ничего уже не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но на ней самой можно было склониться и заплакать».

Это был странный и при этом очень целомудренный стриптиз, антистриптиз, антисексус, и впечатление от увиденного было так сильно, что Душин заболел этой старухой и «решил посвятить ей жизнь». И хотя никогда больше он ее не встречал, все равно не переставал о ней думать, она стала для него символом страдающего человечества. Но именно символом, далеким идеалом, своеобразной мечтой, а до молодой, близкой жены ему все меньше дела, и предоставленная себе, тоскующая, растущая Лида Вежличева начинает ходить по гостям, поражая молодых людей «кротостью и такими неизгладимыми чертами ранней юности, что всякий почувствовал в ней обаяние, но не страсть порока». Ее добиваются многие, в их числе «громадный парень с розовыми девственными щеками, лет двадцати пяти» Иван Жаренов. Она же не хочет доставаться дуракам и тоскует об одном сердечном Щеглове, но тот недогадлив, и если и обнимает ее по ее просьбе, то лишь «тихо, как святыню».

Муж ее тем временем отдает себя «страсти наслаждающегося ума» и любит Лиду изредка, в ней «его интересует лишь маленький уголок, деталь, и то лишь для того, чтобы не потерять работоспособности от приставшей к нему из природы любви — и время от времени уничтожать ее в брачном акте» (или, как было

сказано в «Записных книжках» этой поры: «Чтобы утомить себя, перестать сознавать горе, — человеку великого времени — спускать ежедневно плоть в жену, и с плотью уходила, ослаблялась душа — становилось легче»). А потом великий Душин и вовсе прогоняет ее, мечтающую о нарядах, уюте, инстинктивно тяготеющую к красивым вещам, потому что для него «на земле слишком худо и бедно, чтоб заниматься шелком и любовью», но перед этим последний раз сближается с женой. И, как замечает автор (со странной интонацией, в которой непонятно чего больше — иронии ли, осуждения, сочувствия или снисхождения к человеческой немощи): в то время как «в Верчовке и других невидимых селениях спали старушки и дети, обглоданные нуждою, и погибали от голода... Душин погибал от наслаждения, оставляя всех без помощи, истратив бриллианты, нажитые некогда батрацкими безмолвными поколениями, на шелковую сексуальную юбку жене, дабы она еще более стала прекрасной над кротким уродством масс...».

Казалось бы, все правильно, и Лидия — сексуально неразборчивая мещанка, заявляющая о себе: «...я не есть животное такое, чтоб жить всю жизнь в одной загородке», и намеренно, вызывающе забывающая, отрекающаяся от своей бедной родины («А на шута мне теперь родина! — ответила Лида в сердечной обиде. — Я кофту хочу! Я голодала на родине...»), она заслуживает того, чтобы ее бросить, и Семен Душин, напротив, — герой времени, подвижник, стремящийся к «организованному устройству прекрасной жизни» и «знающий способ учреждения повсеместного счастья для всех мирных, трудящихся, соединенных людей». Но для Платонова оттого и было важно вернуться к сюжетам собственной юности, чтобы из глубины прожитых лет показать глухоту и слепоту душинского отношения к жене, которая носит под сердцем ребенка,

но ничего не говорит о нем мужу, решив убежать далеко, спрятаться и родить в тайне и одиночестве. Однако не только к нему, а и ко всему миру, в котором восторжествовала бесчеловечность, обращены ее горькие слова и упреки, эта ее беззащитность перед окружающим злом.

Так исторический формально роман вбирал в себя черты современности. Своеобразным душинским не судьей, но оппонентом все отчетливее выступает Щеглов, которому «не нравилась гордость Душина, стремившегося к абсолютному техническому завоеванию всей вселенной», «не нравилась сама угрюмая вера бывшего товарища в электричество, обещающая — хотя бы и на время — согнуть людей в беде нужды, в тщетности личной жизни и в терпении», и в ответ на душинские прожекты он говорит тихие, нежные слова:

«— Если бы ты слушал не свой ум, а весь тот мир, который ты хочешь завоевать для чего-то, наверно — чтоб уничтожить его, если бы ты стал простым, грустным, может быть, человеком, тогда бы ты даже телегу, какая едет сейчас на мосту, мог бы использовать для электричества... Семен! — ты знаешь что? На свете много всего есть... И у нас в губернии найдется добро! Ты не мучайся из пустого воображения, ты гляди на бедные предметы, собирай их по-новому что тебе нужно! Вот река, по мосту мужик проехал, там торфяное болото, вон тюрьма — сумей сделать из этого электротехнику...»

Под этими, у человеческого сердца рожденными и произнесенными предложениями подписался бы герой «Котлована» Воцев, который тем и занимается, что собирает на земле ненужные вещи с целью вернуть им смысл. Так между «Котлованом» и «Техническим романом» возникают свои незримые отношения, ведется диалог и одновременно происходит диалог с

эпохой, так фактически выражается протест против индустриализации, безо всякой пощады проводимый «душиными» по всей стране уже во время написания повести. И это — при любви и нежности, которые Платонов к потеющим маслом машинам, агрегатам и механизмам испытывал, но только до той поры, пока из помощников человеку они не превратились в его новых угнетателей. Не случайно автор делает в эту пору запись: «Чтоб истреблять целые страны, не нужно воевать, нужно так бояться соседей, так строить воен<ную> промышленность, так третировать население, так работать на военные запасы, что население все погибнет от экономически безрезультатного труда, а горы продуктов, одежды, машин и снарядов останутся на месте человечества, вместо могильного холма и памятника».

Но едва ли эта логика введена Душину, и так же, как Вощева увольняют с завода за его задумчивость среди общего роста темпа труда, Душин «увольняет» Щеглова от своей с ним дружбы («Ты стервец, Димитрий, и глупый человек — ты совсем не электрик!»). И хотя заканчивается «Технический роман» примирением героев, понимающих, что им «нельзя терять друг друга и расходиться», нечто иллюзорное, непрочное есть в этом согласии.

Пройдет еще немного времени, и Платонов отметит в «Записных книжках»: «Разум определяет, умерщвляет, не понимая ничего (Келлер и Федоров). Дело же в сердце, в чувстве — без определения, без интеллектуальной специфики», и хотя эти слова соотносились с черновиками пьесы «14 красных избушек», они могут быть осмыслены и в отношении к «Техническому роману», безусловно, утверждавшему примат бедного сердца над гордым умом.

Но важна и вот еще какая параллель. Упоминанием о могилах мертвых заканчиваются и «Впрок», и

«Технический роман». Только если финал «бедняцкой хроники» можно считать условно оптимистическим: «Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно», — то последние строки «Технического романа» написаны в иной тональности: «Но где свобода? — Она лежит далеко в будущем — за горами труда, за новыми могилами мертвых».

Движение платоновской мысли — от могил врагов к могилам друзей, от коммунизма, который мы увидим, до свободы, лежащей в *далеком* будущем — показательно. И дело не только в том, что душевный бедняк отличается от повествователя «Технического романа», — дело в изменении настроения автора, который все с большей тревогой всматривался в будущее и видел, как отдаляется миражный берег утопии. Он не терял веры в его существование, но, кажется, все отчетливее понимал, что ни ему, ни тем, кто моложе, достичь его суждено не будет, и это чувство лишь обостряло в Платонове любовь к обреченным героям своего времени.

«И новые силы, новые кадры могут погибнуть, не дождавшись еще, не достроив социализма, — признавал он в „Записных книжках“ начала 1930-х годов, — но их „кусочки“, их горе, их поток чувства войдут в мир будущего. Прелестные молодые лица большевиков, — вы еще не победите; победят ваши младенцы. Революция раскатится дальше вас! Привет верующим и умирающим в перенапряжении».

Жизнь и смерть по-прежнему и по-новому встречались, проникали друг в друга в платоновской прозе, и сменить тему, уйти от их взаимодействия автор не мог, словно навсегда обрученный с человеческим горем, и о чем бы он ни писал, главными оставались

именно эти две перетекающие друг в друга сущности: живая и мертвая, мертвая и живая — не пропасть, не отрицание, но их свойство и родство.

Могло ли это быть напечатанным в СССР? Известен отзыв критика В. В. Ермилова на новое сочинение Платонова: «...ничего принципиально нового по сравнению с „Впрок“ и др. произведениями Платонова в повести нет, ее по-прежнему населяют печальные народы и неправдоподобные чудаки, действительность эпохи гражданской войны и начала нэпа предстает весьма мрачной, в этой действительности не существует главное — коммунистическая партия, ее представляют глуповатые, хотя и с большим запасом эмоциональности странные, юродствующие чудаки».

В августе 1931 года Платонов снова отправился на Среднюю Волгу. Сохранилось командировочное удостоверение, выданное ему Всесоюзным государственным объединением «Скотовод»: «Тов. Платонов, занимающий должность члена „о-ва писателей-краеведов“, командировается в Средневолжский край по совхозам».

Интересы литературы и производства совпали, однако то, что увидел Платонов в заволжских степях и на Северном Кавказе, выглядело удручающе: «Хозрасчета нет. Рабочим ничего не разъясняют о значении хозрасчета. Соцсоревнование и ударничество отсутствуют. Сдельщиков нет <...> Работают по старинке артелью <...> По удою совхоз отстает от колхоза <...> Причины: слабый удои, непродукция, частичная обезличка, плохая организация труда, недостатки кадров <...> Нет гвоздей. Нет железа и леса <...> Имеются случаи, что рабочие, не получая зарплаты, уходят с работы <...> доярки с гуртов убегали, их догоняли верхами и заставляли работать — имеются случаи самоубийства на этой почве <...> Утрата поголовья 85-90 %».

Как тут было перестраиваться и писать жизнеутверждающие произведения, не очень понятно, но эти наблюдения отразились в повести «Ювенильное море» («Море юности», а другое ее рабочее название — «Степное дело»), которую Платонов написал предположительно во второй половине 1931 года.

В «Ювенильном море» одна из героинь, доярка Айна, кончает жизнь самоубийством, однако не от невыносимости жизни в нищем советском совхозе, хотя и эта тема в повести подспудно присутствует («дойрки и Айна... в бане не мылись, горячего обеда не варили и спали от работы мало»), а потому, что девушка хотела разоблачить вредителя, уводившего к кулакам именных быков и тучных коров, однако враг оказался коварнее и сильнее. Он нагнал ее в степи, когда она вместе с двумя подругами-дойрками шла в районный комитет партии, и «бил Айну кнутом, как кулацкую девку, которая срывает дисциплину и уводит рабочую силу». Если бегство Аины было идеологически обоснованным, то две другие девушки просто «бежали навсегда от жизни в степи». Да и самоубийство Аины выглядит не вполне мотивированным, заключающим в себе нерасшифрованный смысл. И такого рода проговорки и двусмысленностей в «Ювенильном море», несмотря на жизнеутверждающий пафос, немало, так что будь эта вещь при жизни автора опубликована, от злого сталинского карандаша на полях ей было б не уберечься. Однако на этот раз нелегкая пронесла, и, пролежав в платоновском архиве несколько десятилетий, «Море юности» увидело свет сначала на Западе в 1980 году, а в Советском Союзе летом перестроечного 1986 года в журнале «Знамя», фактически став «первой ласточкой» того явления, что получило название «возвращенная литература».

Поначалу главным героем «Ювенильного моря» кажется «заряженный природным талантом и

политехническим образованием» инженер-электрик сильных токов Николай Эдуардович Вермо, который появляется на первой странице в качестве путника, идущего в глубину страны. Для платоновского мира это — личность традиционная, он по-щегловски мучается от невысказанной любви, в которой то робость, то классовая борьба и кулак мешают ему коснуться влекущих женских уст; страдает от отчаяния, «что жизнь скучна и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время», он сочиняет музыку, заключающую надежду на «убийство всех врагов творящих и трудящихся людей» — идея, в известном смысле повторяющая «томас-мюнцеровские» лозунги «Чевенгура» и «Котлована». Но ни копенкинской, ни тем более жачевской страсти в герое нет, страсть выдохлась, и Вермо довольно легко, без особого драматизма находит утешение в мирных изобретениях и дурацких фантазиях о социалистических бронтозаврах с металлическими частями тела — стальными желудками и электромагнитными молочными железами, фактически забывая и о ненависти, и о любви, сводя последнюю к «половому мещанству», а любимую женщину — к совокупности «гвоздей, свечи, меди и минералов», которые можно из ее тела получить, если строить не крематории, а «химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования».

Практическая некрофилия, описанная, впрочем, явно иронически, несколько отличает этого утописта от его предшественников, но все равно складывается впечатление, что по причине вторичности и некоторой стертости Вермо делается своему создателю неинтересен. Платонов фактически уводит героя на задний план (правда, «лебединой песней» инженера становится изучение «прозрачной» книги «Вопросы

ленинизма», читая которую «Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу, и все равно, даже если бы погиб в изнеможении инженер Вермо, он был бы мертвым поднят дружескими руками на высоту успеха»), а на первом плане оказывается женщина, которая тоже не может позволить себе «жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья», но характер ее, драма существования — предстают куда более насыщенными, заряженными, трогаящими.

Эта печальная и энергичная героиня — Надежда Михайловна Босталоева — очень любопытный персонаж в череде «платоновских девушек». Она красива, притягательна, полна любви, обольщения и женственности, но всю свою силу, свой природный нежный дар тратит не на чудотворное строительство личной жизни, не на супружество, не на материнство, а на преобразование отдаленного степного гурта с чудным названием «Родительские дворики» в передовой безликий совхоз, где, на радость партии, добывались бы тысячи тонн мяса. Для этого ей приходится соблазнять множество советских начальствующих мужчин, от которых зависит поставка строительных материалов и, как следствие, выполнение столь же нереальных, как и мечтания Вермо, государственных планов по мясозаготовкам. Босталоева пользуется то силой, то слабостью, то резким умом, то беспомощностью, она покоряет и обвораживает всех.

По ней скучает безымянный секретарь райкома партии, вспоминая «черные таинственные волосы, скромный рот и глаза» и переживая «странное и неосновательное убеждение, что эта женщина одним своим существованием показывает верность линии партии, и вся голова, туловище, всякое движение... соответствуют коммунизму и обеспечивают его близкую

необходимость», но, несмотря на идеологическую непорочность Надежды Михайловны, бедняга партиец не смеет давать волю чувствам и в конце концов вскоре после свидания с Босталоевой умирает.

В нее влюбляется директор гвоздильного завода («Директор глянул на эту женщину, как на всю федеративную республику, — и ничего не сумел промолвить <...> Директор с удивлением почувствовал себя всего целиком — от ног до губ, — как твердое тело, и даже внутри его все части стали ощутительными, — до этого же он имел только одно сознание на верху тела, а что делалось во всем его корпусе, не чувствовал... Директор ходил в уборную глядеться в зеркало — не осталось ли чего на его лице от этой женщины, потому что он все время чувствовал какой-то лишний предмет на своих губах») и самолично делает для Босталоевой гвозди.

Она судится с бюрократами и выигрывает суды, получая благодарность от советской власти «за бдительность к экономии металла»; она маневрирует, повсюду находит шефов, помощников, поклонников, для завоевания одних ей хватает нескольких минут, для других — неделя, одним достаточно улыбки, другим — поцелуя, а ради третьих приходится идти на настоящие женские жертвы: «Прошлый год я достала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт. Но вы, наверно, не такая сволочь...»

И, описывая ее ухищрения и маневры, Платонов не столько восторгается, сколько горько иронизирует, показывая, что за этим успехом стоит и как на самом деле ужасно, бестолково, бесчеловечно устроена, организована советская жизнь. Недаром как раз в пору работы над «Ювенильным морем» в записных книжках появляется: «Союзсельстрой **работает преступно**». И не случайно также, что позднее, в 1935 году, когда Платонов попытался напечатать фрагмент романа под

названием «Стройматериалы и оборудование» в журнале «Наши достижения», в НКВД поступило справедливейшее, саморазоблачающее донесение: «Эта вещь представляет собой злой пасквиль на советскую действительность. Рассказывается в рукописи об одной молодой коммунистке, ездившей в крайцентр, добывать гвозди для своего совхоза». Тут поражает невольная логика доносчика: поездка коммунистки в крайцентр за гвоздями автоматически становится пасквилем на советскую действительность.

Босталоева, как заметил М. Геллер, «своим телом кормит строительство», она есть странный символ и воплощение женственности, щедрости, изобилия и бесконечной самоотдачи, но символ поруганный, и автор это хорошо чувствует и сочувствует своей героине и ее исковерканной судьбе. Даже праздник в честь окончания строительства, на котором Надежда Михайловна танцует с подчиненными, описан странными, двусмысленными словами: «Босталоева вошла в среду людей и стала танцевать по очереди со всеми товарищами, пока не перепробовала всех; только Вермо, как занятый музыкант, не мог потанцевать с Босталоевой, но зато она, двигаясь, обещала ему достать агрегат для бурения на ювенильное море, и Вермо с энергией радости начал еще лучше играть на гармонии. Один погонщик вентиляторного вола стоял в стороне, не примкнув к дружбе и музыке, но и его Босталоева взяла в дело танца, отчего погонщик весь заухмылялся и уж заранее согласен был положить всю свою силу на совхозном строительстве — настолько он мало еще видел нежности в жизни. Танцуя, погонщик нюхал подругу директора и наслаждался своим достоинством, нужностью и равенством с высшими друзьями, а Босталоева глядела на него близко и улыбалась ему в лицо своей улыбкой серьезной искренности, своими спокойными верными глазами, и

погонщик чувствовал ее легкую руку на своем плече, привыкшем к тяжести и терпению.

Глядя на танцующих, Вермо успел уже продумать вопрос о рационализации отдыха и счастья, а сам не мог победить в своем сердце чувства той прозрачной печали, которая происходила от сознания, что Босталоеву может обнять целый класс пролетариата и она не утомится, она тоже ответит ему со страстью и преданностью».

Принадлежать всем и не принадлежать никому, раздарить, раздать себя, сгореть — это ли то счастье, которое должно стать наградой новым людям нового мира? И то, что девственник Вермо, как рабочий мул, как тот бык, у которого кулаки отрезали член размножения и съели его — а подобная, очень смешная сцена в романе есть — награждается участью кастрата и ему единственному Босталоева не достается (самый финал повести, когда Босталоева с Вермо уплывают в Америку, не в счет), и есть торжество даже не социальной, а некой высшей справедливости.

«Ювенильное море» оканчивается как будто бы хорошо, но по-человечески повесть все равно вышла грустная. Не получалось у Платонова иных писать. Чем дальше воздвигалась, или, точнее, отодвигалась советская утопия, тем больше Платонов обращал взгляд на тех, кто добровольно или нет, но приносил себя в жертву ее строительству. Не сомневаясь, не позволяя себе усомниться в его конечной цели, он изливал нежность не на будущее, а на настоящее, но эта нежность порою окрашивалась в те чевенгурские лирико-сатирические цвета, которые распознал в молодом писателе Максим Горький. Плакать и смеяться, любить, жалеть, быть беспощадным и милосердным ко всем проявлениям человеческой натуры, в которой соединяется несовместимое.

Так, сочувственной авторской иронией пропитаны образы других персонажей «Ювенильного моря» — революционная старуха Мавра Кузьминична, взявшая себе отчество Федератовна, которая всю республику любит, день и ночь ходит и щупает, «где что есть и где чего нету», готовая кокнуть всех врагов, инспектирующая дома колхозников, ругающаяся на нерасторопных хозяек и ленивых работниц («сучки-подкулачницы... только любите, чтоб вам груди теребили, а до коровьих грудей у вас охоты нет...») и складывающая зло в запас своего сердца против рачительных и трудолюбивых, но заканчивающая сожительством с бывшим оппортунистом, ибо доброе ее сердце оказывается сильнее зла; ироничен образ зоотехника Високовского, который больше жизни любит коров и физически страдает от кулаков-вредителей, которые несчастных животных убивают («Я не могу больше служить в таком учреждении!.. Я специалист, я никаких родных в мире не имею, а здесь животных воспитываю, а ваши кулаки их картошками душат, ваши колодцы сухими стоят <...> Если кулаки у вас еще будут, а воды все мало и мало, я уеду отсюда. Я два года любил телушку Пятилетку, в ней уж десять пудов веса было, я мясного гения выращивал здесь, а ее теперь затоптали в очереди за водой! Это контрреволюция: я умру — или жаловаться буду!..»), но, пожалуй, самым ироническим и художественно ярким является образ антагониста всех этих добрых людей, всех энтузиастов, тружеников, фанатиков, музыкантов-любителей и устремленных в будущее мечтателей — образ Адриана Филипповича Умрищева, бюрократа, бездельника и обывателя с прихотливой биографией «невыясненного» советского служащего.

В начале повествования Умрищев — директор мясосовхоза номер сто один, интересующийся на свете всем чем угодно, кроме скотоводства, и исповедующий

принцип «не суйся» — то есть предоставь событиям развиваться по их собственному течению. Вскоре его снимают с директорской должности, но по причудливым законам советской бюрократии Умрищев оказывается председателем соседнего с мясосовхозом, который возглавляет Босталоева, колхоза. И вот тут при сравнении двух этих хозяйств, при своеобразном «социалистическом соревновании» ведущих форм собственности в СССР странные обнаруживаются вещи.

В совхозе — нищета, совхоз разворовывают, в нем земля раненая и измученная. А в рядом лежащем колхозе в то же самое время...

«...была тишина, из многих труб шел дым, слабый от безветрия и солнечной жары, — это бабы пекли блинцы; на дворах жили толстые мясные коровы и лошади, на улицах копались куры в печной золе и из века в век грелись старики на завалинках, доживая свою позднюю жизнь. Грустные избы неподвижно стояли под здешним старинным солнцем, как бедное стадо овец, пустые дороги выходили из колхоза на высоту окружающих горизонтов, и беззаботно храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом. Еще на краю колхоза Федератовна встретила четырех баб, которые понесли в горшках горячие пышки в совхоз своим арестованным мужьям-пастухам; однако те бабы, видно, не особо горевали, так как ихние туловища ходили ходуном от сытых харчей и бабы зычно перебрехивались».

Эта благостная картина возмущает, оскорбляет «советскую наседку» Федератовну, когда та отправляется проверять, как устроена экономика колхоза.

«Она обнаружила, что на каждом дворе была полная живая и мертвая утварь — от лошади до бороны, не говоря уже про пользовательных, про молочных или шерстяных животных. Что же, спрашивается, было

обобществлено в этом колхозе? Никакой коллективной конюшни или прочей общественной службы Федератовна не нашла, хотя и прощупала всю деревню сквозь, даже в погреба заглядывала и на чердаки лазила».

Но еще больше переполняется она «гневом ненавистных чувств», когда узнает, в чем причина благоденствия и богатства умрищевского колхоза.

«— Ты погляди на мое достижение, — указывал со спокойствием духа Умрищев, — у меня нет гнусной обезлички: каждый хозяин имеет свою прикрепленную лошадь, своих коров, свой инвентарь и свой надел — колхоз разбит на секции, в каждой секции — один двор и один земельный надел, а на дворе одно лицо хозяина, начальник сектора.

— А чьи же это лошадки у твоих хозяев?

— Ихние же, — пояснил Умрищев, — я учитываю чувственные привязанности хозяина к бывшей собственной скотине».

Если вспомнить «Котлован» с загубленными лошадьми, то Адриан Умрищев — своеобразный антиактивист. И хозяйство его построено по совершенно иному принципу, нежели колхоз имени Генеральной Линии: в него — и здесь вспоминается избитая до полусмерти, но живая хроника «Впрок» — сгоняют не бедноту, не голь перекадную, а принимают настоящих хозяев, и оттого он процветает. Сомнительной утопии, осуществленной в «Родительских двориках», над разрушением которых во имя реализации «вермовых» планов безутешно плачет даже Надежда Михайловна Босталоева, жутковатой башне для безболезненного умерщвления животных противопоставлена воплотившаяся реальность умрищевского кооперативного хозяйства.

Этот эпизод отразился позднее в воспоминаниях Льва Гумилевского, которому Платонов читал

«Ювенильное море» в рукописи («читал по-писательски, безвыразительно, без игры в лице, едва меняя интонацию»), и мемуарист воспроизводит разговор Федератовны с Умрищевым по памяти и довольно близко к тексту, но все же несколько иначе, и смещение акцентов очень показательно.

«Федератовна поздоровалась, присела к столу и рассказала, зачем пришла:

— Уж не таись, батюшка, скажи, что ты такое делаешь, что не нахвалятся тобой мужики?

— А я, матушка, ничего не делаю, — отвечал он, — читаю вот Историю Ивана Грозного от любопытства своего. А в колхозе у меня действительно порядок.

— Как же ты его организовал, батюшка?

— А вот как, матушка, у меня весь колхоз разделен на секции. В каждой секции у меня по одному хозяйству и все секции — автономны...

Пока я до слез хохотал, Андрей Платонович с тихой умиротворенной улыбкой сложил трубкой лохматые листы верстки и бросил в открытый ящик старинного серванта».

Ему действительно нравилась такая коллективизация. Вот и получается, что ничему Платонов не научился. Как ни били его за чаяновскую утопию, как ни объясняли и ни доказывали в «Правде» или в «Известиях» серьезные люди — Фадеев, Авербах, Селивановский, за которыми стоял Сталин, — что он, Андрей Платонов сын — подкулачник и скрытый классовый враг, этот странный, больше всех советских писателей вместе взятых привязанный к социалистической действительности и коммунистической мечте инженер, практик, не от мира сего человек с необъяснимым, самоубийственным упорством продолжал утверждать кооперативные идеи в противовес тотальному обобществлению и обезличиванию. Впечатление такое, что Платонов даже

если и захотел бы, то не смог бы написать того, что требовалось партии большевиков. Правда, в «Ювенильном море» автор признавал: сосуществовать в стране двум формам собственности — кооперативной и государственной — не суждено.

В финале торжествует революционная справедливость и социалистическая целесообразность: Умрищев разоблачен и снят с должности, а колхоз его... Можно представить, что сделали с этим колхозом и сытыми мужиками. Что ж касается председателя: «Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения».

В одном из черновых вариантов повести был такой диалог:

«— Иль ты самокритики не любишь?

— Люблю, — осунулся Умрищев. — Пусть только бабушка зовет меня впредь оппортунистом, а не классовым врагом. Я признаю свои ошибки, отрекаюсь от самого себя и обещаю, начиная с завтрашнего дня, во всюду соваться. Спасибо тебе, бабушка».

Если учесть, сколько горько автобиографического было для Платонова в этих словах и в перипетиях судьбы его героя, то на все содержание «Ювенильного моря» отбрасывается печальный свет платоновской судьбы, а на отречения писателя 1931-1932 годов ложится зыбкая тень пародии.

«Ювенильное море» — даже по замыслу, не говоря уже об исполнении, конечно, никакой не производственный роман, как предположил автор книги «Андрей Платонов в поисках счастья» Михаил Геллер. Это скорее сказка, «фэнтези» на тему советского сельского хозяйства. В этой сказке есть свои слабаки и богатыри (точнее, богатырши), дураки и умники, добряки и злыдни, но главное — если и есть в сказке

ложь, то есть в ней и намек, который разгадали чуткие рецензенты.

«Отдельные недостатки и язвы нашего аппарата, отдельные отрицательные явления жизни столь выпячены, что в общем создают картину сплошной бракованности всей системы. Этот гиперболизм обращений и нанизываний отрицательного создает в итоге пасквилянтский характер повести. Она выглядит злобной и неверной сатирой на действительность. Ясно, что об издании данной вещи не может быть речи», — заключил критик О. Резник, которого сегодня стоит помянуть добрым словом за вольное желание зла и невольно совершенное благо. Но похожее суждение можно найти в отзыве и гораздо более благожелательного внутреннего рецензента альманаха «Год шестнадцатый» П. Скосырева, назвавшего повесть «очень талантливой вещью», «художественной победой Платонова», но... «столь безотрадной встает жизнь нашей страны в этой повести, что нет особого желания помещать ее на страницах альманаха».

Однако эсхатологический смысл «Ювенильного моря», сформулированный Адрианом Умрищевым в финале, от обоих просвещенных читателей, пожалуй, ускользнул: «...когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут делать из дневного света свое электричество, — что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темные, они же чугунные, Мавруш!..»

При кажущейся иронии это не что иное, как антитеза к словам Творца: «Да будет свет!» В случае осуществления идей Вермо наступит мрак, а вырвавшиеся наружу воды подземного моря затопят землю, и она вернется к тому состоянию, в каком была до своего сотворения. Так выстраивался ряд библейской прозы Андрея Платонова — «Чевенгур» с идеей

хилиазма и конца истории, «Котлован» с Вавилонской башней, «Ювенильное море» со Всемирным потопом (а последним станет «Ноев ковчег»), И примечательно, что хронологически это было движение вспять — от конца Священного Писания к его началу...

Глава двенадцатая ДЛЯ СМЕРТИ НУЖНЫ ЖИВЫЕ

Первого февраля 1932 года во Всероссийском союзе советских писателей состоялся творческий вечер Андрея Платонова. Это мероприятие трудно назвать творческим в привычном для нас понимании — скорее то был «разбор полетов» или, как выразился в духе времени один из выступавших, «производственное совещание». Подобные вечера были в практике союза, и зачем Платонов не просто согласился, но даже стал инициатором его проведения, объяснил во вступительном слове председательствующий — «с тем, чтобы в среде писателей рассказать о прошлой стадии своего творчества, уроках критики и наметке новых путей вперед... чтобы сейчас с особой ясностью подытожить ошибки прошлых позиций, рассказать о путях их исправления».

Ни Фадеева, ни Авербаха на «совещании» не было, но тень их незримо присутствовала в стенах писательского союза и о вечере им наверняка было доложено. Если верить сохранившейся и опубликованной стенограмме, присутствовавших мужей на совете было семнадцать, причем из известных рапповцев или близких к ним по духу никто не пришел, либо не был зван (за исключением разве что критика Селивановского), а собрались бывшие попутчики, «подпильничники», «перевальцы», конструктивисты. Из наиболее маститых — Леонов, Новиков-Прибой, Зелинский, Асеев, Слетов, Казин, а также экс-перевалец и экс-соавтор Пильняка Павленко, в чьих пространных речах прозвучал оттенок неподдельного завистливого восхищения: «За последний год Платонов был популярнейшей личностью, всюду его раскулачивали

как писателя, занимавшего враждебные позиции, проводящего идеи, несовместимые с именем советского писателя...»

Ответчик, каковым Платонова на этом мероприятии можно считать, отрицать ничего не стал. В его покаянном выступлении прозвучали ноты, совпадающие с покаянной линией жизни невыясненного старичка Адриана Умрищева из «Ювенильного моря» и юного пешего большевика Алеши из «Шарманки»: «Моя художественная идеология с 1927 года — это идеология беспартийного отсталого рабочего, наиболее подверженного тем формам буржуазной идеологии, которыми буржуазия воздействовала на рабочий класс, — это анархизм, нигилизм и т. п. Эта идеология и господствует во всех сочинениях, над которыми я работал, которые не изданы. Философия отсталого рабочего, беспартийного, совершенно разложенного теми особыми формами буржуазной идеологии и т. д. <...>

Между тем, я читал Ленина, учился в советской партшколе, читал и знал на практике, какая великая сила — организация, дисциплина, но эти элементарные вещи ускользали, потому что мелкобуржуазная стихия разрасталась и заглушала во мне все остальное».

Андрей Платонов нимало не лгал. Солгать он не мог по определению. Мог только ошибиться, как герой его «бедняцкой хроники». Но в данном случае не было и ошибки. Отсталый рабочий — это рабочий неактивист, Фома Пухов, доживший до 1932 года и по-прежнему плетущийся в хвосте масс. В платоновской речи был вызов, что едва ли могло укрыться от квалифицированных слушателей. Самые совестливые из них должны были испытывать неловкость и просто не проронить после этого ни слова. Более, как бы это помягче сказать, гибкие потребовали доказательств в виде художественных текстов. Подсудимому

предъявить было нечего, кроме утверждения, что ему удалось переменить свое мировоззрение, тягловым усилием сцепив литературу с пролетарской действительностью. Но звучало это не слишком убедительно. Острее и достовернее сказалось иное.

Когда началась «свободная» дискуссия, на вопрос о его отношении к критическим статьям о хронике «Впрок» Платонов ответил: «...мне не понравилось: удар должен быть замертво, но без истерики, это серьезнее. В некоторых статьях я заметил этот недостаток, не имеющий, однако, значения для существа дела. Разве можно бить классового врага — безразлично, вольного или невольного, — бить с истерикой? Бить надо без истерики, я бы бил так».

Пусть с оговорками, пусть без попытки самооправдания и даже с признанием себя невольным классовым врагом, Платонов припряг литературную шпану: истерики. И нечего было на это возразить. Это можно вот с чем сравнить. Поймали лилипуты Гулливера, навалились всей массой, связали по рукам и ногам и принялись щипать, а потом спрашивают: как вы себя, дяденька, чувствуете? Разумеется, он чувствовал себя скверно, но и они не могли не ощутить разницы масштабов, и в их сердца не могло не прокрасться то тоскливое ощущение собственной ничтожности и бездарности, каковое испытал булгаковский поэт Рюхин из «Мастера и Маргариты».

Еще одно, что всех возбуждало, было положение Платонова в литературной среде — возмутительное и вызывавшее у собратьев опять-таки древнейшее человеческое чувство. «Пильняк из тебя делал своего выдвигенца. С другой стороны, Новиков и другие товарищи превозносили своим вождем, ты был кружковым вождем. И тут был выдвигенцем и там вождем. Одни считали тебя вождем правым, другие левым. Ты ко всему относился совершенно

наплевательски. Ты охотно позволял Пильняку считать тебя своим выдвигенцем и не возражал, что Новиков выдвигает тебя как вождя», — говорил Павленко, словесно пробуксовывая на выдвигенцах и вождях. И получил за это по полной в «14 красных избушках», где оказался выведенным в образе писателя Фушенко вместе с Пильняком (в образе Уборняка). Но если Платонов и позволил себе в пьесе «по пути разок смазать по морде» Пильняку (так передал его слова осведомитель ОГПУ), то в публичной речи на сборе советских писателей он не сказал ни слова против человека, пришедшего к нему на помощь.

«Пильняку я обязан — он совершил по отношению ко мне дружеский акт <...> Я не могу человеку, который оказал прямое добро, отказывать в сотрудничестве <...> я высоко ценил и ценю товарищеские и дружеские отношения как со стороны Пильняка, так и Новикова — те отношения, которых я не видел со стороны других людей».

Павленко не ответил ничего, но вместо него на трибуну вылез сверловщик завода «АМО», автор неоднократно переиздававшейся книги «Догоним» писатель-ударник Семен Тарасевич, за год до того уже отметившийся на обсуждении хроники «Впрок» словами «нянчиться с ним не нужно», а теперь, предвосхищая знаменитое «Я Пастернака не читал, но скажу...», брякнувший: «Заявляю о своем невежестве, что т. Платонова не читал, но хочу сказать...» И с ходу принялся поучать: «Хоть ты и говоришь, что читал о марксизме, но все-таки придерживаешься таких чуждых антиленинских, как бакунинские, идей. Ты держись связи с рабочими».

Именно это, последнее — связь с рабочими — Платонов и попытался осуществить в пьесе «Высокое напряжение», обсуждение которой состоялось две недели спустя. В принципе эта пьеса имела шанс дойти

до сцены — в ней было все необходимое для советской производственной драмы: актуальность, тема, проблема, идея, герои, пафос, правильный конфликт между трусливыми, обреченными на самоубийство буржуазно разложившимися инженерами старой школы и молодыми новаторами («Какое действительно хорошее существо — ничего не требует, ни на что не жалуется, любит что-то далекое и меняет на это далекое свою молодость...»), которых поддерживает, как и хотел литударник Тарасевич, рабочий класс. «Высокое напряжение» стало платоновским ответом на критику лета 1931 года, выполнением его обещания искупить вину перед пролетариатом. Но было в пьесе и другое, чисто андрей-платоновское, что можно было бы назвать повышенным содержанием тревожности и катастрофичности в сценической крови, пророчески высказанное в словах одного из героев: «Ведь это же курс на катастрофу, я в тюрьме помру за такие дела!..»

Корнелий Зелинский довольно точно определил суть дела: «В этой пьесе Андрей сдвинулся с той стилистической системы и тех настроений, которые были — попытка подковырнуть, нигилистически издеваться над действительностью и что-то ей противопоставить. В этой пьесе автор субъективно старался дать сущность социалистического строительства в этом заводе, его страшное напряжение, которое захватывает все силы у человека. Но эта нота какой-то жертвенности довлеет над всей пьесой. Это ее порок, основной идеологический порок».

Однако Платонов не сумел написать иначе. Он и так стерилизовал свое творение, сколько было возможно, но вычеркнуть, выпарить, изъять без остатка платоновское, идеологически порочное не смог, и на «правильную» пьесу легла тень трагедии, омрачавшая надвигающийся праздник социализма и вновь возвращавшая потенциального зрителя к теме

человеческих жертв и той цене, что платит страна за бесчеловечные темпы индустриализации с бессонницей молодых инженеров, с подвигами и людскими потерями. В итоге получился гибрид: смесь государственного заказа и авторской индивидуальности, а плюс к тому реминисценции из собственного «Котлована» и из эрдмановского «Самоубийцы», где главный герой похож на утомленного инженера Мешкова, мечтающего о суициде и уже давшего в газету объявление от имени сестры самоубийцы.

В марте автор обратился за рецензией к Горькому и Леонову, и те дали положительное заключение. Отрицательно отозвался другой рецензент — Булгаков, правда, здесь до последнего времени была неясность, о каком Булгакове идет речь. О самом ли скандальном драматурге республики М. А. Булгакове, которому платоновская эстетика и в лучших ее образцах едва ли была близка, или же о заведующем сектором театра и кино ГИХЛа Г. К. Булгакове?

Вторая версия, как оказалось, отразила низкую истину, первая была возвышенней и интересней. И если б была верна она, то гипотетический отзыв автора «Турбиных» стал бы реальным свидетельством соприкосновения двух писателей, которых часто сравнивают и между которыми действительно можно найти немало общих точек — сатирически-непримиримое отношение к литературной среде, травля, влечение к катастрофам и пожарам, но чье положение и круг общения и в 1920-е, и в 1930-е годы был настолько разным, что вряд ли меж ними были какие бы то ни было отношения. (Существует, правда, устное свидетельство Марии Александровны Платоновой, записанное Евгением Одинцовым: «Распустили сейчас слухи, что Маргарита — это я, а Мастер — это Платонов. Да, Булгаков называл

Платонова мастером, бывал у нас на „средах“, всегда сидел вот на этом диване, в уголке, слушал Платонова молча, зыркал глазами, говорил нервно: „Андрей, ты мастер, ты мастер!“, но при чем тут, что „я — Маргарита“? Кто-то придумал». Однако других подтверждений этому нет, как нет и упоминаний о Платонове ни в дневнике Е. С. Булгаковой, ни в письмах самого Булгакова, и нам представляется, что в этом мемуаре есть нечто легендарное, привнесенное ревниво относившейся к посмертной булгаковской славе Марией Александровной.)

Платонов переделывал текст, летом 1932 года он снова отправил пьесу Горькому, пытался пробить ее постановку в театре «Комедия» и напечатать в журнале «Ленинград», однако ни одно из его начинаний успеха не принесло.

«Хорошая идея затуманена нудным философствованием и „остранением“ жизни людей. Ощущение такое, точно все происходит во сне. Пьесу следовало бы переработать», — наложил резолюцию Фадеев. Известен также автограф платоновского письма Сталину, где, как пишет Н. В. Корниенко, «речь идет и о ситуации молчаливого игнорирования „перестроечного“ характера „Высокого напряжения“», но в данном случае и рецензентов, и театральных режиссеров, отвергнувших пьесу, можно понять: она действительно вышла не слишком сценичной. Не случайно перестроечное «Высокое напряжение» практически не ставилось в перестроечное время конца XX века, не говоря уже о наших тихих днях.

Не эта пьеса должна быть признана платоновской удачей и самым сердечным его творением в 1932–1933 годах. Его главным достижением в драматургии, драматургическим «Котлованом» стала трагедия «14 красных избышек», которая кажется еще более пронзительной, чем «Котлован». И если в наиболее

известной из платоновских повестей слышится мужской, сквозь стиснутые зубы сдерживаемый стон, то в «14 красных избушках» — женский плач навзрыд.

Это тем поразительнее, что пьеса задумывалась как комедия и как комедия начинается. Ее первое действие представляет собой встречу советскими писателями важного иностранного лица, прибывшего из Европы в неизвестную гигантскую страну на экспрессе «Могучая птица» с целью измерить «светосилу» той зари, что зажгли на краю ойкумены. Иностранца зовут Эдвард-Иоганн-Луи-Хоз, сокращенно Хоз, он «ученый всемирного значения, председатель Комиссии Лиги Наций по разрешению мировой экономической и прочей загадки». Несмотря на то, что его возраст ограничен 101 годом (цифра, безусловно, условна: Хоз, по его словам, родился тогда, когда пролетариата не было, и умрет, когда его не будет), самая первая ассоциация, возникающая при знакомстве с этим персонажем, — Вечный Жид — недаром старик говорит, что все страны для него одинаково чужды и бесприютны. Хоз горек, мудр, остер, ироничен, скептичен и беспощадно зорок, но именно ему, мастеру оппортунистических ухищрений, свидетелю человеческой жизни в «цветах, слезах и пыли», автор доверяет многое, совпадающее с его собственным настроением: «Шестнадцать лет с коммунизмом возятся, до сих пор небольшой земной шар не могут организовать. Схоластики! Я штрафовать вас буду».

Платонов и сам «штрафовал» своей литературой Советы за то, что они не смогли добиться ничего из того, чего жаждала душа молодого воронежского железнодорожника в годы революции и что он пытался своими руками осуществить в середине 1920-х как мелиоратор. В «14 красных избушках» хорошо чувствуется, как изменился состав авторской души, как Платонов даже не повзрослел, а резко постарел,

перешел через внутренний перевал, навсегда отделивший его от молодости, прощанием с которой стали «Технический роман» и «Ювенильное море». Слова Хоза: «...сознание — это светлый сумрак юности перед глазами, когда не видишь пустяка, господствующего в мире», в известной мере отражали мироощущение автора, чей глаз все больше и больше подмечал этих «пустяков», этих «гримас революции», как сказал бы Блок.

Однако упрек в нерадении о социализме, в подмене ценностей и понятий, когда именно пустяки становятся главным, а главное — пустяками, и на этой смысловой череде частично и построена пьеса — предъявлял Платонов через Хоза и советским писателям, живущим не в реальной России, а в некой условной «наиблагороднейшей и наиболее благодарнейшей отлично-превосходной стране», и трубадуров этой несуществующей державы ученый всемирного значения разоблачает с воландовской непринужденностью.

Этих играющих в свою славу деятелей литературы трое. Известный всем народам «прозаический великороссийский писатель Петр Поликарпович Уборняк», автор книг «Бедное дерево», «Доходный год», «Культурнейшая личность» и «Вечно-советский», женившийся в момент угрозы интервенции со стороны Англии на знаменитой англичанке, в эпоху японской угрозы — на японке из древнего рода, а в Гражданскую войну — на образованнейшей дочери почтенного русского генерала. Мечислав Жовов, о котором говорится гораздо более скупое и чей образ в отличие от Уборняка-Пильняка менее определенно поддается дешифровке^[47]. Геннадий Фушенко, «член правления», пишущий рассказы из турецкой жизни и живущий без очереди, ибо очередь его давно прошла.

Но Хоза интересуют не гремящие в пустоте литературные люди. Ему нужна — и здесь почетный член Стокгольмской академии снова идет вслед за идеями своего создателя — «действительность, а не литература». Такой действительностью в пьесе становится смуглая южная девушка Суенита, председатель пастушьего колхоза «Красные избушки», проездом находящаяся в Москве, — героиня, какой у Платонова еще не было, и ее столкновение с суесящимися советскими литераторами оказывается одним из узлов пьесы.

«Фушенко. Товарищ председатель, сколько у вас обобществлено хозяйств? Не активничают ли кулаки? Нет ли мелких прорывов в организационно-хозяйственном укреплении? Не нужно ли срочно послать в ваш колхоз ликвидационно-прорывочную бригаду писателей? Я член культбригады...

Суенита (*задумчиво*). Писателей?.. А они умные?.. У нас четырнадцать красных избушек. У нас не было чтения, все уж прочитали, у нас в колхозе читают вслух по ночам. Лампа горит, стекло треснуло от огня, а я читаю, и все думают около меня, а кругом темно, слышно, как шумит Каспийское море. Книги все прочли, стали неинтересны, нам было скучно жить с одним своим умом. Мне дали тогда в премию библиотеку, что я трудодни прекрасно сосчитала. А книги хотели прислать, только не прислали — все нет и нет: у бюрократизма не болит социализм. Я поехала сама, взяла и везу — не знаю теперь, где Казанский вокзал, где билеты берут без плацкарта...

Фушенко. Разрешите я вам билет возьму вне всякой очереди?

Суенита. А разве можно? Там люди в очереди стоят, это против закона, я за кило пшена людей наказывала».

Живущая на пустынном берегу Каспийского моря Суенита Ивановна Гармалова должна походить на свою

ровесницу и коллегу Надежду Михайловну Босталоеву из степного «Моря юности», но между ними — разница непреодолимая.

Босталоева — женщина, своей сексуальностью служащая социализму. Она — подруга, любовница, товарищ, добытчица, командирша, победительница, она сильна, ни в ком не нуждается и сама кого угодно защитит, но ее женское существо обезличено, обкрадено и изуродовано государственными интересами — недаром у нее нет и, похоже, никогда не будет детей (и единственным ее утешением становятся занятия с четырехлетним сыном ее случайной знакомой молодой чертежницы, но и здесь Платонов проводит черту между двумя женщинами: «...одна скучала по ребенку, ожидающему мать до полуночи в запертой комнате, другая хотела достать динамо-машину»). Даже молодость Босталоевой довольно условна, зато очевидна житейская опытность, и если предположить, что на Ленинградском вокзале оказалась бы вдруг она, то вряд ли вечный Хоз сломя голову последовал бы на край советской земли, оставив Уборняку молодую голландскую шмару по имени Интергом.

Желание все бросить могла пробудить в самом мудром на земле старике лишь хрупкая Суенита, юная мать, к которой Хоза тянет как к лучшему, самому чистому, значительному и богатому, что есть во всей Советской стране. «Какое чудо жизни — ребенок правит деревенским царством!.. Весь Божий мир скрылся в этом бедном существе», — восклицает Хоз. А вот про Босталоеву, как бы ни была она Прекрасна и самоотверженна, такого не скажешь, как не скажешь и того, что она «качает в своих бедрах, как в люльке, целое будущее человечество».

Здесь проходит граница между обыденным и сокровенным, между пустым и полным, между дольным и горным, хоть и живет Суенита на равнине, куда

переносится действие — в бедный колхоз, где комедия перемежается с трагедией, причем трагедия наступает сразу же. Она обрушивается на Суениту известием о том, что за время ее отсутствия на колхоз было совершено бандитское нападение, похищено все добро — скот, солонина и зерно, — народ голодает, колхозницы ходят вдоль моря и собирают мертвую рыбу, а кроме того, захвачено двое маленьких детей, и среди них сын Суениты.

В сегодняшней России этот сюжет представляется особенно пронзительным, и плач Суениты по ее ребенку отзывается в сердце как сбывшееся десятилетия спустя пророчество: «Все теперь спят — на земле и на море. Только один далекий ребенок кричит сейчас на нашем маленьком корабле... Он меня зовет, он без защиты там! Я в воду брошусь, я уплыву к нему в темноте...»

В самой же пьесе соучастником трагедии Суениты оказывается старый Хоз, готовый тосковать у нищей юбки и пыльных ног маленькой женщины и чувствующий себя таким же обманутым, как и она («когда два обманутых сердца прижмутся друг к другу — получается почти серьезно»), но в отличие от нее прозревающий, что ждет несчастную горстку людей на берегу моря: «Я вижу. Вы запутались. Вам есть будет нечего», — и эти слова тоже звучат пророчески, но по отношению уже не к далекому будущему, а к тому близкому голоду, что обрушился на Советский Союз в год 1932-й, обозначенный автором как время действия пьесы.

В «14 красных избушках», как и в «Ювенильном море», как и в «Шарманке», как и в «Котловане», речь идет о противодействии классового врага и вредительство выступает в качестве сюжетобразующего мотива, но странным образом о нем забываешь, а вот о голоде в оторванном от страны колхозе, где никто ни к кому не приходит на помощь,

помнишь. В первоначальных редакциях пьесы эта помощь должна была быть оказана, и в черновой рукописи в финале фигурировал некий районный старичок, причем даже не он сам, а его голос, говоривший Суените утешительные слова: «Слушай меня, мягкая моя, добрая! Я из района сведение тебе донес. Стало быть, весь хлеб твой, который ты по налогу нашему царству отдала, назад-обратно к тебе в колхоз возвращается — на районных подводах. Что касается овец и курей — так то же самое, один черт — все тебе ко двору идет».

И когда Суенита спрашивает, за что им такая помощь полагается, голос районного старичка благостно отвечает: «А за то самое, девка моя, что тебя бандиты обидели, хотели всему колхозу твоему окончание сделать. А власть же наша — она чуткая, ей колхоз — самая ближняя плоть, она, видишь ты, враз узнала от меня, что у вас сердце от голода болит — и продукты велела обратно бросить... А на семена тебе особо транспорт дадут, ты кушай — не волнуйся...»

Но то ли старичок выходил слишком нереальным и издевательским, то ли Платонов от недействительного поворота отказался, пойдя вслед за правдой жизни, а только если позволить себе нехитрый каламбур, можно так сказать: была ближняя плоть — стала крайняя, с которой чуткие большевики известно что сделали. «Москва проклятая», — скажет в черновом варианте пьесы подруга Суениты Ксения Секущева, и хотя слова эти Платонов вычеркнул, смысл их ощущается настолько явно, что составляет одну из главных и вечных идей русской народной трагедии.

Так опять же происходит переосмысление мотива: если в «Котловане» и хронике «Впрок» показано, к каким последствиям приводило вмешательство центра в народную жизнь и стремление местных «активистов» забежать вперед, то в «Избушках» рассказывается о

том, что происходит с народом, который бросили на произвол судьбы, предварительно отобрав у него мясо, сено, хлеб и ничего не дав взамен. И не важно, кто выступает в роли «экспроприатора» — пролетарское государство, которое пьет человеческую кровь, даром, что ли, Суенита замечает, что в каждом советском самолете есть капля колхозной крови, или мифические «бантики» («белогвардейцы-антиколхозники»).

Взаимозаменяемость враждебных внешних сил и хрупкость «каспийской коммуны» по отношению к ним заставляют вспомнить погибшую коммуну чевенгурскую. Только каспийская умирает не от пуль неизвестного происхождения, а от голода, как умирали в Советской стране миллионы. «Голод развить всюду», — написал Платонов на одном из черновых листов.

Эта тема была автору слишком хорошо известна, чтобы он мог пройти мимо нее. Исхудавшая до ребер, последний раз евшая двенадцать дней назад, Суенита сукровицей кормит освобожденного из плена ребенка и готова дать ему свои кости и кровь, что могло бы показаться зловещей пародией на христианское причастие, но при том душевном, духовном, при том высоком напряжении, которое задано в пьесе, — не кажется. Суенита — религиозна, хоть и говорит Ксении: «Бога нету нигде — мы одни с тобой будем горевать». Она верит в Сталина как в Бога, она верит, что «хлеб наш священный возвратится в наше тело», и из-за этой веры убивает кинжалом кулацкого агента и одновременно премированного колхозного ударника Филиппа Вершкова («Мы здесь бедные, у нас нет никого, кроме Сталина. Мы шепчем его имя, а ты его срамишь. Вы богатые, у вас много ученых вождей, а у нас — один»); ее сажают в оплетенный колючей проволокой тюремный кузов на трех камнях как «голословную психическую девку», но потом

выпускают, и так странным образом переосмыслиется платоновское отношение к самоуправству на местах.

Суенита мучительно ищет, как спасти умирающих от голода людей, которым ставят теперь трудодни за то, что они дышат без остановки; она вторично и на этот раз и навсегда теряет ребенка, которого нечаянно обкормил хлебом ее вернувшийся из Красной армии с пищевой сумкой муж — персонаж в высшей степени загадочный — первоначально ему отводилась роль «спасителя», но потом и от этого облегченного сюжетного хода автор отказался так же, как отказался он от добрых старичков, и роль красноармейца Гармалова свелась к тому, что он не только не поддерживает, но фактически добивает свою жену. И череда всех этих перемен, переходов, переключений («Я не умер, я переключился», — говорит о себе убитый Суенитой Вершков, а о «потустороннем мире»: «Так себе — пустяки и мероприятия... Тут тоже несерьезно... зря люди умирают»), набор сомнамбулических, но при этом обдуманых действий, которые совершают герои, включая Хоза, убивающего после любовного соития свою ставшую писательницей-марксисткой и бойцом культфронта голландскую любовницу, и здесь возникает мотив людоедства («Там лежит Интергом, моя бывшая европейская женщина. Я жил с нею сейчас, потом задушил ее как угрозу тебе... Но ее можно съесть как мясо — вещество всегда доброе, когда оно неживое»); Суенита, рационализаторски додумывающаяся, как поймать с помощью колючей проволоки рыбу, и готовая предложить в качестве приманки тело своего сына («Егор, нам нечего класть... Давай положим своего сына — он все равно мертвый, а наука говорит — мертвые не чувствуют ничего», — на что Хоз роняет: «Бога нет даже в воспоминании»), и это, вероятно, самое жуткое в пьесе место, вызывающе перечеркивает идею «Котлована» с бережно

похороненной в глубоком каменном ложе Настей), Хоз, инсценирующий собственную смерть, активист Антон Концов с его бесконечным лозунгованием, вырыванием двух сухих колодцев и постановкой пьесы о топоре...

Совокупность всех этих поступков, реплик, столкновений и откровений превращает пьесу в поток сознания, где теряются идеологические опоры, а всемирная история откровенно идет вразнос. Легче всего разрешить эту неразрешимость путем отнесения платоновской трагедии к поэтике сюрреализма, авангардизма, модернизма, абсурдизма и пр. Но для автора, не пытавшегося ничего в искусстве специально открыть, а лишь максимально приблизить его к жизни, — то был наиболее адекватный способ самыми экономными и доходчивыми словами объяснить, что происходит в человеческой душе и вокруг. И когда бессмертный Хоз говорит напоследок: «Я пойду. Вы надоели мне со своей юностью, энтузиазмом, трудоспособностью, верой в будущее. Вы стоите у начала, а я уже знаю конец. Мы не пойдем друг друга» — возникает ощущение, что эти слова готов произнести сам Платонов.

В «Котловане» оставалась хотя бы умозрительная надежда на подлежащих воскресению мертвецов, там были непреклонный Никита Чиклин и неутомимый медведь-молотобоец, были «оптимистично-трагический» постскрипtum про Настю-эсесершу и проникновенные слова о деревенской молодежи, которую остался учить инженер Прушевский. В «Избушках» опоры нет никакой. Хоз навечно уходит, потерявшая ребенка Суенита духовно мертва, в ее жизни настал вечер, и ей скучно, а федоровская идея воскрешения мертвых не просто печально отрицается, но высмеивается и откровенно профанируется тем, что ее в вульгарном виде озвучивает самый идиотический персонаж пьесы — оголтелый ударник и драматург,

«классик масс» Антон Концов: «Наука всего достигнет: твой ребенок и все досрочно погибшие люди, могущие дать пользу, будут бессмертно оживляться обратно к активности».

Поразительная вещь, но про трагедию, в финале которой появляется долгожданный кораблик с колхозным добром и она заканчивается формально благополучно, правда, с неизбежной «Платоновой арифметикой» — умершим ребенком, нельзя сказать, что здесь нет Бога. Напротив, Он близко, еще чуть-чуть, и явится людям, это канун Богоявления. И если «Котлован» есть вопрос от людей к Творцу: что с нами сделали? — то в «14 красных избушках» ситуация переворачивается, и спрашивает Господь: что вы с собой сделали? Что вы со Мной сделали?

И именно эта пьеса, а не «Котлован» — есть тупик. Рассуждая умозрительно, после нее, после снова наступившего в стране голода, когда стало понятно, что никакая революция никому не помогла, Платонову нужно было опять, как десять лет назад, уходить из бессильной, оторвавшейся от реальности еще больше, чем в 1921 году, литературы, место в которой есть лишь уборнякам, жововым и фушенкам. Он так и сделал, поступив поздней весной 1932 года в трест «Росметровес», во главе которого стоял его давний знакомый и бывший начальник по воронежским мелиоративным делам — Андрей Гаврилович Божко-Божинский и где трудился его младший брат Петр Платонович Климентов.

«Учреждение находилось накануне ликвидации. Лишь спустя время Сарториус понял, что предназначенное к ликвидации иногда может оказаться не только наиболее прочным, но даже обреченным на вечное существование. Это учреждение находилось в Старо-Гостином дворе на антресолях, где некогда хранились товары, боящиеся сырости. Лестница из того

учреждения спускалась вниз — в каменную галерею, окружавшую весь старинный торговый двор. На входной двери помещалась железная вывеска: Республиканский трест весов, гирь и мер длины — „Мерило труда“».

Трест занимался проверкой деятельности заводов и баз по производству и ремонту весов. Работа отнимала у инженера по специальным поручениям много времени, он часто ездил в командировки (Калуга, Ленинград, Фрунзе), вместе с братом занимался изобретательством и летом 1934 года был премирован за изобретение электрических весов. Но теперь повзрослевшая, набравшаяся опыта Муза ни на шаг не отпускала от себя беглеца, как не отпускала и другая старая подруга — идея коммунизма, только мысли о ней стали не то чтобы более глубокими — они не были мелкими никогда, — но более зрелыми.

У этой зрелости, а точнее сказать, перезрелости, переносности, были свои сильные и слабые стороны, вера в коммунизм в сердце молодого горячего человека — одно, а размышления над самой ядовитой мечтой человечества («Несбывшаяся мечта становится ядом», — заметил пусть и не любимый Платоновым, но разбиравшийся в сути вопроса Леонов) в голове достигшего Христова возраста мужа — другое, тем более к тридцати трем годам Платонов успел пережить и сделать столько, сколько не удастся иному смертному за всю его жизнь.

Существуют воспоминания о Платонове, написанные литератором Эмилием Миндлиным: «...то ли в 1932-м, то ли в 1933 году <...> Мы познакомились [с Платоновым] у Буданцева за круглым чайным столом <...> Я помню, как он смеялся рассказам Буданцева и Большакова, но не помню, чтобы за весь вечер сам хоть что-нибудь рассказал. А смеялся он как-то легко, с удовольствием. Глаза его оставались печальны — они у него всегда были добрыми и печальными <...> Он смотрел глазами,

полными доброты и печали. Крупная голова с необыкновенно высоким, незатененным лбом держалась на тонкой шее — такой тонкой, что воротничок рубашки не касался ее. И вся фигура его была узкой и тонкой, словно очерченной острым карандашом <...> Он всегда говорил ровным голосом, приглушенно, словно вполголоса».

Другие мемуаристы отмечали платоновскую молчаливость (о ней же рассказывал автору этой книги Евгений Борисович Пастернак, бывавший в 1930-е годы в платоновской квартире на Тверском бульваре), но очевидно, что своими мыслями Платонов почти ни с кем не делился. Он все переживал в глубине своего существа, но, как ни менялась жизнь, как ни менялся он сам, идеалы его по-прежнему оставались однообразными и постоянными, а отражение раздумий о судьбе коммунизма сохранили записи к роману о Никодиме Стратилате.

Стратилат — как известно, высокое титулованное лицо Византийской империи, занимающее должность одного из главнокомандующих, и в «Записных книжках», относящихся к работе над романом, эта сила отражена: «Стратилат похож на горы, на морщины и натяжения земли: не красота, а дикое напряжение, необходимость, результат борьбы», но еще в большей степени подчеркнута его отверженность, своеобразная историческая непризнанность. Он если и герой своего времени, то никто об этом не знает:

«Важнейшее!

Стратилат живет и действует одиноко в историческом смысле. Он рационален, работает без удачи, без чуда, природа трудно подчиняется ему и ломает его. Мир у Стратилата вырывался из рук. Он в мире простых, необходимых величин — в этом его сердце. Он рад, когда у товарища даже намек на энтузиазм.

Стратилат — „неудачник“ в истинном смысле».

К этому можно добавить, что помимо вымышленного Никодима Стратилата есть мученик Андрей Стратилат, в честь которого Платонов был назван и чей день памяти — 1 сентября по новому стилю, — считал днем своего рождения. Насколько житие мужественного римского воина, убиенного по тайному приказу императора Максимиана, отразилось в этом замысле — вопрос сложный, но обращение Платонова к слову «стратилат» было наверняка не случайным.

Никодим Стратилат — новый для Платонова герой, не похожий ни на энтузиастов «Чевенгура», ни на проклятых строителей «Котлована». Неудачник Стратилат, чудовище Никодим Стратилат («он — чудовищный по сравнению со старым») был, судя по всему, призван воплотить авторский идеал, но, к сожалению, мы знаем о ненаписанном либо несохранившемся романе немного. Упоминание о других его героях встречается в записной книжке, относящейся к 1931-1932 годам. Эти записи поражают своей разбросанностью — сочетанием низшего и высшего планов бытия, хотя едва ли Платонов, воспринимавший поток жизни в ее целокупности, согласился бы с таким делением.

Но в самом деле вот что известно о других предполагаемых персонажах, своего рода антагонистах Стратилата: «Втайне Борисевкин слюнявил башмаки, раз обоссался на [трех] двухсуточном заседании, желая показать выдержку, хотя другие выходили оправляться по многу раз. У Борисевкина говно полезло даже из-за галстука».

«Кузяве настолько хотелось есть, что он не срал, чтобы получше использовать прошлую еду. Говно тоже есть тело человека, кроме того, — зачем его быстро тратить».

В этих записях не было ни подспудного желания кого бы то ни было шокировать, ни условности, ни игры, ни эпатажа — скорее были последовательность, стремление показать анатомию, физиологию переходного периода от капитализма к социализму, всю драму и неизбежность этого перехода, в котором не может быть и намека на стерильность и условность. Не случайно позднее Платонов критически отзывался о творческой манере Александра Грина, стремящегося освободить своих героев «от всякой скверны конкретности окружающего мира». Платонов, напротив, подчеркивал, акцентировал то, что принято считать нечистым и нечистоплотным, но без чего не бывает жизни.

«Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся — мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи», — писал он еще в 1920 году. Однако процесс роста оказался куда более долгим и мучительным, чем 12-13 лет назад предполагалось, и очищение общества от нечистот затягивалось на неопределенное время.

«Человек то верит в социализм, то нет. Он в доме отдыха: он верит, он в восторге, он пишет манифест радости; в поезде сломалась рессора, пассажиры набздели, — он не верит, он ожесточается, и т. д. — и так живет».

«Лишь переводя силу — жадность, гнусность, эгоизм — Полпашкина в коммунизм, можно построить коммунизм, сохранив **плоть** страстей в высшей форме, иначе „дух“, „идея“, голый „энтузиазм“, чепуха. Энтузиазм истинный имеет в основе трансформацию сущей страсти жизни в будущую жизнь».

«Надо, чтоб „ебущество“ Полпашкина „превратилось“ в силу Жовова с другим „знаком“.

„Бросовые, низкие“ силы решают дело в конечном счете».

Соединяющий два смысла — материальное имущество и половую любовь как мощнейшие стимулы человеческой деятельности — вышеприведенный платоновский неологизм очень точен: энергия на построение коммунизма может взяться лишь из источника «низких» сил. Платонов подходил к проблематике Замятина и Оруэлла, но подходил с другой стороны, рассчитывая на возможности человеческого сознания, веря в них. Но далеко не случайно, что написанной в итоге оказалась не история милого чудовища Стратилата, а «Счастливая Москва» с совершенно иным взглядом на любовь. Роман про строителя коммунизма, посвященный переводу низшей энергии в высшую, так и остался прекрасным котлованом под зловещим фантастическим зданием платоновской Москвы тридцатых годов.

Первая половина этого десятилетия, «поствпроковское» время оказалось для Платонова едва ли не самым интенсивным периодом поисков и осмысления действительности за всю его жизнь. Уже не настолько молодой, чтоб верить как прежде в коммунистический кристалл, но и не способный отказаться от своих идеалов^[48], он искал ответы на вопросы: что произошло с революцией, что происходит со страной, возможна ли реализация заявленного в семнадцатом году? Или дальше вырытых и усеянных трупами строителей ям под фундамент домов будущего дело не пойдет? Это не было для него игрой ума или, того хуже, способом прописки в советской действительности, но было источником мучительных размышлений, переживаний и вдохновения — пиитического ужаса.

Как писатель, он умел быть очень нежным, умел быть грубым, он сталкивался с абсолютным выражением добра и зла, ненависти и любви, принимал жизнь таковой, какая она есть, но в то же время отторгал ее от себя ради реальности будущего (но не иной реальности — Платонов принципиальный неромантик). В его душе никогда не наступало успокоения, ее никогда не покидало то ощущение катастрофы, о котором писал он Келлеру еще в 1923 году. Душа его была в каждый час его жизни взволнованна, и из реалистичных, натуралистичных, метафизических, предельно жестких размышлений о природе существующего строя и поисков ответа на вопрос: что же есть социализм и коммунизм в реальности и каковы люди этой прекрасной человеческой мечты, что стоит за официально провозглашенной доктриной энтузиазма — из всего этого рождались одна за другой картины:

«Тема романа.

Стратилат делал коммунизм, а сделал **другой** мир, — ничто в обычно-пошлом, нашем злободневном смысле, а другой **мир истории**, другую категорию, которая могла **объективно** выйти, выйти из развороченных форм прошлого и субъективно-классовой воли Стратилата — **не** мир Келлера или мой коммунизм, но нечто исторически-прекраснее, неожиданнее, неизвестнее и действительно необходимое и простое.

Вот — основное и высшее противоречие судьбы Стратилата, романа и нашей истории.

История будет **не та**, что ожидают и что делают.

Это и есть коммунизм».

Всего годом раньше Платонов письменно и устно клялся Иосифу Виссарионовичу, Алексею Максимовичу и всему высокому собранию советских писателей, что исправится, будет служить пролетариату и коммунизму,

загладит ошибки и искупит вину. Но какое уж тут исправление, если всеми помыслами и замыслами он снова перечил Генеральной линии, впадая в страшную ересь. Однако пища об ужасах коллективизации, о бюрократизме, о мещанстве, о бесчеловечности, о преступной бестолковости в хозяйственных делах, к тому же иронично, едко, зло, Платонов никогда не переступал границы цинизма и злорадства, и за его чувствами стояли тревога и любовь к своему, родному.

«ПЛАТОНОВ сетовал на то, что его считают врагом только потому, что он с горечью указывает на те опасности, которые указывают с радостью действительные враги, — доносил осведомитель ОГПУ и далее передавал слова своего „объекта“: — Настоящие враги в литературе не там, где их ищут, а примазавшиеся — всякие ЗЕЛИНСКИЕ, маскирующиеся вроде ПИЛЬНЯКА или ОЛЕШИ и чиновники вроде МАЗНИНА. <...> „Враги не те, кто мечется перед дулом — туда выскочит только идиот, а враг становится к замку орудия, там его надо искать“. Должен быть найден новый метод классовой борьбы в новой обстановке и Платонов ждет в этом смысле высказывания т. Сталина на съезде партии. Говоря о прошлом и настоящем руководстве, Платонов зло говорил о Троцком, Рыкове и БУХАРИНЕ, в особенности о первом и последнем. Он считает ошибкой ценить „общую талантливость“, без проверки прежде всего основным критерием: основательностью и пользой для дела».

Это было записано в октябре 1933 года, а полгода спустя Платонов свои мысли развил: «Для ЭРЕНБУРГА СССР и коммунизм — это лучшее из плохого. Он, только сидя в Париже, любит Советский Союз, а приедет сюда и опять ничего не понимает. А я в таких сильных средствах, как жизнь за рубежом, не нуждаюсь. Съездить интересно, но только для того, чтобы

позаимствовать подробности быта. <...> Надо сейчас же пристально заняться искоренением зол, являющихся обратной стороной неизбежной централизации. Прежде всего — борьба с бюрократизмом, не путем постановлений или ударов по отдельным бюрократам, а путем лучшего подбора людей, смелого допущения к руководящей работе беспартийных рабочих, действительной самокритики, сейчас часто принимаемой за „выпады классового врага“. Недостатки работы сейчас ведут к широкому развитию подхалимства. ПЛАТОНОВ считает, что СТАЛИН должен, в частности, прекратить „поток холуйского славословия“ по своему адресу».

Это было одновременно удивительно пророчески точно и так же опасно: беспартийные рабочие, отсталость, бюрократизм, да плюс еще недоумение, как Сталин терпит славословие в свой адрес... И все же самую большую ненависть вызывали в нем «уборняки».

«Зачем кормить ПИЛЬНЯКОВ, которые определили себя в роли „советских контрреволюционеров“, „домашних чертей“? Всякие Зелинские, Агаповы, с их дилетантскими эстетическими разговорами о технике — какая от них польза? Почему ценят такую проститутку, как ЛЕОНОВ, или такого бесхарактерного человека, как Вс. Иванов?»

Казалось бы, что ему Эренбург, Олеша, Пильняк, Леонов, Зелинский, Агапов, Всеволод Иванов, не сказавшие о нем публично ни одного дурного слова, либо просто ему сочувствовавшие? Не враги, не соперники, не гонители. Более того, когда в 1933 году в ОГПУ была составлена справка об Андрее Платонове (ее впервые опубликовал Виталий Шенталинский в качестве приложения к «Техническому роману»), в ней содержались строки: «Среду профессиональных литераторов избегает. Непрочные и не очень дружеские отношения поддерживает с небольшим кругом

писателей. Тем не менее среди писателей популярен и очень высоко оценивается как мастер. Леонид Леонов и Б. Пильняк охотно ставят его наравне с собой, а Вс. Иванов даже объявляет его лучшим современным мастером прозы».

Но раздражение вызывали именно они, так хорошо о нем отзывавшиеся, и он наверняка о их мнении на свой счет знал, но даже это знание не примирило Платонова с братьями.

Прошел уже не один год, как после хроники «Впрок» он не напечатал ни строчки. Еще больше минуло с той поры, как вышла его последняя книга, и все эти годы он без устали работал — сочинял романы, повести, рассказы, очерки, пьесы, статьи, но ничего из написанного востребовано не было. Он не раз пытался эту стену пробить. Не ради славы и не ради денег. А его — не пускали.

«Написанные после повести „Впрок“ произведения Платонова говорят об углублении антисоветских настроений Платонова, — докладывал в 1932 году в своей „справке“ оперуполномоченный 4-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ Н. Х. Шиваров после того, как при обыске на квартире у Николая Анова были обнаружены рукописи „Технического романа“, „Ювенильного моря“ и „14 красных избышек“. — Все они характеризуются сатирическим, контрреволюционным по существу подходом к основным проблемам социалистического строительства. Платонов пытался опубликовать полностью или отрывками некоторые из этих произведений, убеждая, что опубликование их не только допустимо, но и необходимо в интересах партии и совпадает с „горьковской линией“ в литературе. „Горький, как и я, смотрит на всех трезвыми глазами и знает, что в издательствах много трусов — начнут ли меня печатать?.. Нет ведь ни одного писателя, имеющего такой подход в тайники душ и вещей, как я.

Добрая половина моего творчества поможет партии видеть всю плесень некоторых вещей больше, чем РКИ“».

Но партия смотрела на вещи иначе, да и Горький вряд ли под этими высказываниями подписался бы. В мае 1933 года, выступая на собрании партийного актива Бауманского района города Москвы, снова вспомнил Платонова Фадеев: «Наша литература несет не только новое содержание, но и новые формы. Задача состоит, однако, в том, чтобы эти формы были понятны широким трудящимся массам. Зачастую произведение, которое извращает колхозное движение, выступает, прикрывшись юродскими, якобы „шутливыми“ формами. Так написаны, например, повесть А. Платонова „Впрок“, поэма Н. Заболоцкого „Торжество земледелия“. Они написаны якобы в шутливых, — на деле юродских тонах, вольно или невольно прикрывающих издевку над колхозным движением, над строем социализма вообще».

Рад или не рад был Платонов тому, что у него появился такой серьезный поделльник, как Заболоцкий, знал или не знал вообще об этом выступлении Фадеева, впоследствии напечатанном в «Литературном критике», но 23 мая 1933 года автор «Чевенгура» обратился к Горькому с просьбой о встрече:

«Время, которое я у Вас займу, будет коротким. Предмет, о котором я хочу с Вами посоветоваться, касается вопроса, могу ли я быть советским писателем или это объективно невозможно.

Обычно я сам справляюсь со своей бедой и выхожу из трудностей, но бывают случаи, когда это делается невыносимым, несмотря на крайние усилия, когда труд и долгое терпение приводят не к их естественному результату, а к безвыходному положению».

Встреча не состоялась, но в ответ на просьбу главного редактора «Правды» Мехлиса публично

выступить против Пришвина, Платонова и Павла Васильева Горький коротко написал Мехлису о Платонове как о человеке даровитом, но испорченном влиянием Пильняка и сотрудничеством с ним. Ничего больше он в своем со времен «Чевенгура» корреспонденте не разглядел, но и не стал против него ни тайно, ни явно выступать. Пока не стал.

Платонов горьковского суждения о себе не знал (хотя мог о нем догадываться, и это подхлестывало его неприязнь к Пильняку, в общем-то не заслужившему столь жестоких оценок от бывшего соавтора), он продолжал на Горького, некогда отнесшегося к нему ласково, уповать, и 13 июля 1933 года обратился снова, на этот раз с конкретной просьбой — помочь поехать на Беломорканал:

«...Должен Вам сообщить, что недели две назад я писал об этом т. Авербаху. Написал в том смысле, чтобы мне была дана возможность изучить Беломорстрой или Москва-Волгу и написать об этом книгу. Я бы, конечно, возможности этой не просил (кому она у нас запрещена?), а сам бы „взял“ ее, если хотя бы некоторые мои рукописи печатались и я имел бы средства к существованию. Интерес к таким событиям у меня родился не „две недели назад“, а гораздо раньше. Больше того — несколько лет тому назад я сам был начинателем и исполнителем подобных дел (подобных — не по масштабу и не в педагогическом отношении, конечно)».

Последнюю фразу можно интерпретировать как участие в мелиоративных работах в Воронежской губернии в середине двадцатых годов и написание «Епифанских шлюзов», однако с «беломор-балтийскими шлюзами» ему не повезло (или в высшем смысле повезло, особенно учитывая тот факт, что на канале, где, по выражению Пришвина, «была вся Россия», работали арестованные по делу вредителей его бывшие

подчиненные мелиораторы и неизвестно, как бы они к возможной встрече с главным воронежским «вредителем» отнеслись). В состав писательской бригады Платонова не включили, хотя о его желании поехать на Беломорканал было известно в ОГПУ, которое эту поездку курировало. 20 октября 1933 года осведомитель сообщал: «А. АВЕРБАХ познакомил Платонова с ФИРИНЫМ и они ведут сейчас переговоры о работе Платонова на Беломорско-Балтийском Канале, где он хочет реализовать интересный проект электрификации водного транспорта».

Однако Платонову не верили. Или не доверяли. Боялись опять угодить из-за него в историю. А он продолжал отстаивать свое право быть напечатанным.

«Прошу Вас, как председателя Оргкомитета писателей Советского Союза, помочь мне, чтобы я мог заниматься литературой. Меня не печатают 2,5 года. Все это время я, однако, усиленно писал. Но мои рукописи отклонялись и отклоняются, — отчасти потому, что я действительно не вышел еще из омраченного состояния, отчасти — автоматически. <...> Мне это нужно не для „славы“, а для возможности дальнейшего существования. Существование же мне нужно для того, что я еще буду полезным в советской литературе», — писал он Горькому осенью 1933 года. Ответа не было.

В начале 1934 года Платонов направил в бывший особняк Рябушинского на Малой Никитской, где жил Горький, новый рассказ. «...При этом посылаю Вам свой рассказ „Мусорный ветер“ и прошу Вас прочитать его. В случае если Вы найдете рассказ подходящим для напечатания, то прошу поместить его в альманахе „Год Семнадцатый“. Обращение мое непосредственно к Вам вызвано моим тяжелым положением и сознанием того, что Вы поймете все правильно».

Какое это было по счету письмо к Горькому? Десятое? Двадцатое? Но на этот раз ответ он получил.

«...Рассказ Ваш я прочитал, и — он ошеломил меня. Пишете Вы крепко и ярко, но этим еще более — в данном случае — подчеркивается и обнажается ирреальность содержания рассказа, а содержание граничите мрачным бредом. Я думаю, что этот Ваш рассказ едва ли может быть напечатан где-либо. Сожалею, что не могу сказать ничего иного, и продолжаю ждать от Вас произведения, более достойного Вашего таланта».

С точки зрения вечности за одно только слово «ошеломил» горьковскую оценку можно считать платоновской победой. Так — взявший шефство над советской литературой Горький писал не каждому.

История тридцатилетнего германского физика космических пространств, а следовательно, философа Альберта Лихтенберга, своеобразного брата, ровесника и двойника русского философа Вощева из «Котлована», который поднимает бунт против памятника Гитлеру, избивается до полусмерти фашистской толпой, подвергается кастрации, попадает в концлагерь, приговаривается к расстрелу как биологический урод, чудесным образом бежит и умирает, отрезав напоследок собственную ногу, чтобы ее сварить и накормить своей плотью помешавшуюся от горя, потерявшую двух детей рабочую женщину, но приготовленное мясо достается не ей, а полицейскому, ищущему опасного государственного преступника и находящего вместо Лихтенберга изувеченную, одетую в клочья одежды большую обезьяну — история эта поражает своей обнаженностью, ирреальностью и в то же время художественной достоверностью и силой воздействия.

Рассказ — бред, рассказ — триллер, рассказ — видение, сон. Мы мало что знаем об истории его

создания, но можно почти наверняка сказать, он был написан молниеносно. Такое невозможно выдумать, а только увидеть, и тотчас же увиденное записать, не имея в виду сходств между гитлеровской Германией и сталинским СССР и не заботясь, что именно эти ассоциации рассказ может породить. И хотя сто раз правы немецкие исследователи, говорящие о том, что Платонов не знал повседневной жизни Германии 1933 года, что в их стране не было тогда памятников фюреру, не было голода, — зато все это было в Советском Союзе, тем не менее едва ли автор «Мусорного ветра», этого невольного зловещего послесловия к «14 красным избушкам» с их голодом, их безумием и глиняным памятником неведомо кому посреди колхозного двора, ставил тайной задачей посредством изображения немецкого фашизма разоблачить тоталитарную природу советского строя. Платонов имел в виду то, о чем написал, — закатившуюся шпенглеровскую Европу с ее исчерпавшей себя старой культурой и фашистским «революционным обновлением», грозившим миру уничтожением, от которого одна лишь победа пролетарской революции может человечество спасти.

Платонов почувствовал опасность прихода Гитлера к власти очень рано. «Уже марширует на учебных занятиях в Германии тот человек, который убьет меня», — появились в «Записных книжках» 1933 года слова, пусть и не сбывшиеся по отношению к нему лично, но оказавшиеся пророческими в судьбе огромного народа, однако даже не эта антифашистская, патриотическая составляющая в рассказе главное.

«Мусорный ветер» — мрачная притча о хрупкости, уязвимости, беззащитности и одновременно непобедимости, неуничтожимости человеческого сознания, о неверной своему мужу-вождю человеческой

мысли, которая «бродит в сумраке ночи, по домам отчаяния, ища удовлетворения в развратном сомнении и блуде с одною грустью своею». Когда герой рассказа с отрезанными ушами и раздавленными половыми органами живет в куче с пищевыми отходами и, сражаясь с крысами, питаясь крысами, продолжает, несмотря ни на что, мыслить и разговаривать сам с собой («Лихтенберг удивлялся, отчего ему не отняли язык, это государственная непредусмотрительность: самое опасное в человеке вовсе не половой орган — он всегда однообразный, смирный реакционер, но мысль — вот проститутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит!»), гуманизмом это никак не наречешь. Ни абстрактным, ни классовым, ни революционным. Но и противогуманизмом, человеконенавистничеством не назовешь тем более. Это как раз и есть доведенная до логического конца — и даже дальше — до безумия — картина человечества без Бога, воздвигнувшего вместо Творца статую идола.

В «Мусорном ветре» торжествует и терпит крах всемогущий и одновременно бессильный пол — пожалуй, нигде, ни в одном из «антисексусных» рассказов, ни в самой яростной публицистике начала 1920-х годов Платонов не писал с таким концентрированным отвращением и с такой безразличностью о физической стороне любви, в своем отрицании ее дойдя до абсолютного предела.

Жена главного героя, сладострастная афганка, то есть истинная арийка, по имени Зельда грызла Лихтенберга «за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам», но сама она, покрытая шерстью и одичалыми волдырями, хуже обезьяны, «которая все же тщательно следит за своими органами». Из уличной католической

церкви в южной германской провинции, где происходит действие, выходят «девушки с глазами, наполненными скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа», а целебатный римский священник изображен как «возбужденный, влажный и красный — посол Бога в виде мочевого отростка человека». И даже старухи, любимые платоновские старухи в этом рассказе — «женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства» (достаточно сравнить этот образ с образом нагой старухи из «Технического романа»).

Независимо от того, кто первым сошел с ума — мир вокруг Лихтенберга или, что более вероятно, сам Лихтенберг, видящий все вокруг в извращенном виде (не случайно в конце рассказа нормальная Зельда ищет своего помешавшегося мужа и находит вместо него некое человекообразное существо) — безумны все. Безумно германское правительство, которое поддерживает в солдатах «героический дух безбрачия», но при этом снабжает их «пипетками против заражения сифилисом от евреек». Безумно оно же, когда бросает в концлагерь молодую красивую коммунистку Гедвигу Вотман, а потом приговаривает ее к расстрелу за то, что она отказала «в браке и любви двум высшим офицерам национальной службы, оскорбив их расовое достоинство», и примечателен презрительный, с улыбкой ума и иронии ответ женщины:

«Два офицера получили отказ в моей любви потому, что я оказалась женщиной, а они не оказались мужчинами...

— Как — не мужчины?! — воскликнул судья, потрясаясь фактом.

— Их надо расстрелять за потерю способности к деторождению, к размножению первоклассной германской расы! Они, немцы, способны были любить

только по-французски, а не по-тевтонски: они враги нации!»

Эта полная достоинства, уходящая не на смерть, а на перевоплощение, изящная и нескучная женщина выглядит неким исключением в засыпанном мусорным ветром мире, ее не тронувшим, замеревшим возле ее одежды, но сожалея о Гедвиге, поднятый одним ее присутствием на ноги Лихтенберг все равно отказывается жить в «бедламе нелюдей». Одним из проявлений этого отказа становится внутреннее согласие физика со своей кастрацией: он «не жалел об исчезающих органах жизни, потому что они одновременно были средствами для его страдания, злостными участниками движения в этой всемирной духоте».

Но вот вопрос: чувствовал ли Платонов ту же духоту в родной стороне? Задумывался ли над тем, что когда вкладывал в омраченную глубину Лихтенбергова ума и покалеченного тела образ большевистской «влажной, прохладной страны, заросшей хлебом и цветами, и серьезного, задумчивого человека, идущего вослед тяжелой машине», — то эта картина не имела ничего общего с советской реальностью, а была в лучшем случае мечтой, в худшем — фушенковской ложью, и не автору ли «Котлована» с советским пейзажем повести, очень напоминавшим мусорный ветер Германии, этого было не знать? Критикуя никогда не виданный им германский бюрократизм, эти «сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя», не попадал ли Платонов в резонанс с собственной критикой бюрократизма советского, будь то «Город Градов», «Усомнившийся Макар» с его научным вождем или «Море юности»? И наконец, вдохновив своего героя, воскликнуть — «Хайль Гитлер!.. Ты первый понял, что на спине машины, на

угрюмом бедном горбу точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию!.. Ты взял мою родину и дал каждому работу — носить твою славу...» — не превращался ли он, как и декларировал, в писателя политического — да только с другой стороны, и не это ли понял и увидел ошеломленный Максим Горький и поспешил от «Мусорного ветра» откреститься?

Но даже если подобный смысл и прочитывается, то соответствовал он или нет прямым, осознанным авторским намерениям, — большой вопрос. Можно приводить аргументы в пользу любого ответа, но из аргументов более явных сошлемся на донесение сексота НКВД, датированное февралем 1936 года, но носящее ретроспективный характер: «...положение о вырождении искусства при социализме и коммунизме в силу давления на него требований диктатуры — ПЛАТОНОВ прежде упорно и неоднократно высказывал и как развитие этого положения — приравнивал социалистический строй СССР к фашизму Германии».

Говорил так Платонов или не говорил, доподлинно не скажет сегодня никто. Очевидно, что «Мусорный ветер» оказался проявлением, диагнозом душевного, духовного состояния несчастного, лишившегося разума героя, этого германского Евгения, бросившего вызов кумиру собственного народа (и примечательно, что о своем Евгении Платонов напишет в 1937 году в статье «Пушкин — наш товарищ», иначе расставив акценты). И одновременно здесь было нечто, отразившее усталость, отчаяние самого отлученного от литературы писателя, отравленного ядом переживаний, размышлений, бессонниц, тревог, видений, кошмаров и внутренних раздвоений, «дванства» своего, вплотную подошедшего к черте личного обрыва.

От катастрофы его спасла и вернула к литературной жизни — а как бы Платонов эту жизнь ни клял и себя ей ни противопоставлял, она была ему нужна, и с годами

эта необходимость ощущалась в душе все острее — его вернула в литературу «ироническая» страна Туркмения, вот уж точно не имевшая ничего общего с утопической тоской Альберта Лихтенберга по «прохладной ржаной равнине, над которой проходят белые горы облаков, освещенные детским, сонным светом вечернего солнца».

Глава тринадцатая ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО

В Туркмению Платонов поехал не один. В конце марта 1934 года из Москвы в Ашхабад отправилась бригада писателей в составе двадцати человек (в их числе В. Луговской, В. Билль-Белоцерковский, Н. Тихонов, Г. Санников, Т. Табидзе, К. Большаков). Целью было написание коллективного сборника, посвященного десятилетию образования Советского Туркменистана. Тот факт, что опального литератора включили в писательскую команду, означал если не полное доверие и прощение, то ослабление режима изоляции. Платонов от собратьев откололся сразу же.

«...кормят так обильно, что стыдно есть. Но мне не нравится так праздно пребывать, и я что-нибудь придумаю. Кроме того, публика не по мне, — я люблю смотреть все один, тогда лучше вижу, точнее думаю <...> Я еду в Красноводск. Все остальные писатели остались в Ашхабаде <...> сидят в ваннах и пьют прохладительные напитки. Я уже оторвался от всех <...> от писателей изжога <...> Здесь пить много стыдно и есть вкусно тоже нехорошо, потому что страна песчаная, бедная, людей объедать совестно <...> Братья-писатели надоели друг другу ужасно <...> я тут совершенно один <...> Ведь писатели, это не друзья <...> Отношение ко мне постоянно имеет тот оттенок, о котором ты знаешь, но я не обращаю внимания», — писал он жене, а в «Записных книжках» кратко отмечал: «Бригада писателей — собрание несчастных (изредка жуликов)».

Его интересовали не они — его влекла Туркмения: «Я приехал ради серьезного дела, ради пустыни и Азии. <...> Я смотрю жадно на все, незнакомое мне. Всю ночь

светила луна над пустыней, — какое здесь одиночество, подчеркнутое ничтожными людьми в вагоне».

Эта древняя земля была предсказуема в его судьбе. Если верно, что русских писателей можно условно поделить на тех, кому ближе Север или Юг, лес или степь, горы или равнина, то Платонов принадлежал к числу вторых. Все его развитие в литературе было, не считая, конечно, Москвы, движением от родной Воронежской земли в сторону полуденного солнца, не случайно именно этим вектором определялся путь героя «Ювенильного моря»: «День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза». Так шел и Андрей Платонов: от «Епифанских шлюзов» к «Чевенгуру», от «Чевенгура» к «14 красным избушкам», от «Котлована» к «Такыру», от «Технического романа» к повести «Джан» и «Македонскому офицеру», от степи — в пустыню, от чернозема — к пескам.

Туркмения поразила его. Поразила песками и обезвоженностью, жарой, сухостью, милыми мордами верблюдов и глиняными жилищами, старостью и бедностью («Азия ведь глиняная, бедная и пустая... она велика и интересна», — писал он жене), но боле всего своими людьми, их образом жизни и отношением друг к другу. Здесь все было совершенно иное, чем в России, и те «розановские» темы, которые давно стали для Платонова ключевыми — любовь, семья, брак, пол, — раскрывались по-своему.

«Джунаид убил свою дочь своими руками и выбросил ее прах собакам, когда ее муж третий раз пожаловался на нее, что она его не слушается», — отмечал он в «Записных книжках».

«Член партии, туркмен отрезал голову своей бывшей разведенной жене, когда она сошлась с другим мужем».

«Туркмен за жену убивает».

«Бедняк-батрак жил обыкновенно с ишачкой или овечкой, не имея средств для приобретения жены».

До приезда на эту землю в заявке об участии в коллективной книге Платонов ставил перед собой политически грамотную цель: «Я хочу написать повесть **о лучших людях** Туркмении, расходующих свою жизнь на превращение пустынной родины, где некогда лишь убогие босые ноги ходили по нищему праху отцов, — в коммунистическое общество, снаряженное мировой техникой». Это было то произведение, которого от Платонова ждали и которое действительно могло бы означать его возвращение в советскую литературу, однако, столкнувшись с повседневностью страны, где всего за два-три года до его приезда кончилась Гражданская война, где до сих пор сельсовет уходил по делам в Персию, где время, казалось, застыло или двигалось по своим законам, он попал под власть иных ощущений.

Два основных сочинения, в результате двух поездок в Туркмению написанные, — рассказ «Такыр» (1934) и повесть «Джан» (1935) — едва ли отвечали заявленной задаче, а если и отвечали, то лишь в глубинном платоновском смысле. В «Такыре» лучшими людьми оказались две женщины с поруганными судьбами, и на этот «сюжет не нов, опять повторено страданье» — Платонов среагировал острее всего. Не на промышленное и сельскохозяйственное освоение Каракумов с целью превратить их в цветущий оазис — хотя и это было для него очень важно, и он написал о будущем Туркмении в не напечатанном при его жизни полемическом очерке «Горячая Арктика», а в планах осталась еще «повесть, посвященная проблеме механизации хошара», да и личные записи говорят об интересе к этой теме («Все выходы, все пути направлены, чтобы вырвать Туркмению из ее сухой нищеты»). Как художник, он отозвался раньше всего и

глубже всего на человеческую боль. Душа его была так устроена, что, где бы он ни находился и о чем бы ни писал, все равно сильнее всего чувствовал, где болит.

Сколь ни обвиняли впоследствии Платонова за то, что он «упивается страданиями», что «беспомощность обладает для него огромной притягательной силой», что «он неутомимо и изощренно вызывает в своем воображении самые мрачные картины, самые жалостливые положения... сгущает краски, преувеличивает, чтобы вызвать в читателе единственное из известных писателю наслаждений — чувство жалости», — все это следствие сердечной недостаточности советской критики. К Платонову в полной мере применимо то известное герценовское речение — «мы не врачи, мы боль», которое можно считать символом веры русской словесности. В Туркмении боль оказалась связанной с женской судьбой, потому что, как отмечал Платонов, «женщина в Туркмении лишь символическое место социально-хозяйственных страстей, а не сама по себе драгоценность... уважение туркмена к женщине чисто экономическое... Многоженство, это батрачество, т. к. женщина есть главный рабочий».

Автор тех строк не был ни плакальщиком, ни жалобщиком женской доли. В своем сострадании Платонов никогда не измельчался до сентиментальности (недаром он написал об одном из своих киносценариев, и этот принцип относится ко многим его вещам: «Картину надо ставить в сухой, жесткой, экономной манере, без всякой сентиментальности»), оставаясь по-своему грубым и жестким, ибо только так можно было вынести и донести до людей сердечную и телесную муку свою и своих героев.

Две записи соседствуют в «Записных книжках» 1934 года.

«Что за гнусь появилась на земле? Откуда? Что это за жара и болото, — боже мой, дай моему сердцу силу. Уйду я, уйду отсюда, но куда — ведь некуда! Значит в землю — к матери, брату и сестре...»

«Джумаль нелюбимая, нелюбящая...

Ее ебут с младенчества и беспрерывно, душу отшибли уже и сердце взбили к горлу, к печальному, опустевшему уму».

Именно эта женщина, в рассказе автор дал ей имя — Заррин-Тадж, стала героиней рассказа «Такыр», написанного вскоре по возвращении в Москву и представленного в качестве своеобразного отчета о командировке.

Такыр — это самое страшное, что есть в пустыне, ее адово дно — сухая, мертвая, бесплодная земля («**Страшная** жизнь на **глинистых раскаленных такырах**, как на сковородках ада»), и ужасна судьба людей, на ней живущих, особенно если эти люди — пленницы, невольницы. Уведенная с родины в четырнадцатилетнем возрасте рабыня Заррин-Тадж рождает в неволе дочь Джумаль, которую ждет та же судьба — быть наложницей, выполнять тяжкий труд, рано состариться и умереть. И хотя история этого женского рода заканчивается как бы счастливо и в отличие от своей умершей матери Джумаль доживает до революции, обретает свободу и даже оканчивает сельскохозяйственный институт, вмешательство новых времен немного меняет в рассказе.

«Такыр» посвящен не революции, это печальное, лиро-эпическое повествование о человеке в мире пустыни, где ограниченные суровой природой люди избирают предельно жестокую и несправедливую, но экономную и единственно возможную форму бытия («Печаль Туркмении — нелюбовь»), и нельзя сказать, что Платонов их за это судит, скорбит или оплакивает. Интонация рассказа иная. Плач обессиливает, а

«Такыр», в отличие от «Епифанских шлюзов», «14 красных избушек» или «Мусорного ветра», — история, рассказывающая не о поражении, но о победе. И не потому, что автор сделал относительно благополучным финал, а потому, что было в этом рассказе среди его повседневного ужаса жизнеутверждающее начало, было даже там и тогда, когда описывались вещи, казалось бы, невыносимые («Нестерпимость жизни у Джумаль даже физическая»).

«Ночью Атах-баба лег спать рядом с пленницей, и, когда все уснули и пустыня, как прожитый мир, была у изголовья за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшее в нужде и дороге. Было все тихо, одно дыхание выходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине, — может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Заррин-Тадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его. Но когда Атах-баба ожесточился страстью, то две других жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептали что-то, а потом сказали мужу:

— Атах! Атах! Ты не жалеяй ее, пусть она закричит.

— Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь?

— Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла!

— Ишь ты, хитрый какой!

Заррин-Тадж не слышала их до конца, она уснула от утомления и равнодушия среди любви».

В этом равнодушии, в пустоте сердца персиянки есть нечто спасительное, как есть оно и в нетребовательности, неприхотливости, поразительной живучести женского тела, которому не достается ничего кроме тяжелого труда, чужих объедков и мужской похоти. Но в «Такыре», в этом очень мрачном и очень светлом, очень тяжелом и очень легком рассказе есть место, которое можно считать зерном и

сердцевинной платоновской прозы, поэзии, философии жизни, судьбы.

«Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо, почти про себя: еще неизвестно, чья сила победит в жизни — птички или караванов и гудящих поездов».

То же самое было прежде выражено в «Записных книжках», но еще резче, жестче: «На телеграфной проволоке сидит совсем мелкая птичка и надменно попевает. Мимо мчатся экспрессы, в купе ебутся гении литературы, и птичка поет. — Еще неизвестно: чья возьмет — птички или экспресса».

Он не сомневался в исходе этого поединка — иначе бы не писал, и именно этот абзац (из рассказа) вызвал год спустя ярость тучного партийного начальника А. С. Щербакова, которому, казалось бы, чем помешала поющая на проводах птичка, но ведь что-то почувствовалось, интуитивно, мозжечком, может быть, покорила надменность певчей птахи... И потом к ней же в 1937-м прицепится критик А. С. Гурвич, возмущенный тем, что «победит тихая песня мелкой, ничтожной птички, сколько бы ни душила ее общественная, трудовая жизнь».

А еще поразителен в «Такыре» образ ветра. Если в истории германского физика Лихтенберга ветер несет отраву, перхоть, мусор и никакой надежды в нем нет, то в «Такыре» ветер приносит героине облегчение и очищение. Описывая юную Джумаль, автор пишет о том, что она «была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри ее постоянно горел

свет. Мыться ей было негде, — воды еле хватало только овцам, — и когда Джумаль становилось тяжело от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением».

Так, грубость, грязь жизни переплавлялась в платоновской прозе в чистоту, в свет, и этот переход, превращение вещества он всегда старался запечатлеть. Платоновская чистота и любовь никогда не равны стерильности и никогда из них не рождаются. Преобразование грязи, навоза, их движение вверх по стеблям — вот его внутренний вектор, и не случайно в «Записных книжках» остались грубые с обыденной точки зрения записи: «Ей было так тоскливо, что она ходила испражняться, когда ей не хотелось и было не нужно, лишь бы заняться».

Семен Липкин позднее вспоминал о том, как он рассказал Платонову и Гроссману сюжет из «Махабхараты».

«Паломники, направляясь к месту поклонения, видят на пути коровьи лепешки и, боясь, что даже взгляд на нечистое загрязнит их благочестивые намерения, спешат омыть свое тело в реке. Но тут же из лепешек восстает бог Индра и говорит им: „Жалкие люди, это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на Земле ничего чистого и нечистого“.

Гроссман сказал: „Интересно“. А Платонов медленно повторил: „Нет на земле ничего чистого и нечистого“».

Это воспоминание относится уже к сороковым годам, но еще раньше, в «Записных книжках» 1931-1932 годов, Платонов отметил:

«Разговор в бане: „Человек, как хуй — он сбрасывает нечистоты и производит будущее.

Хуй — самое яркое выражение жизни“».

Едва ли это можно назвать поэтикой материально-телесного низа, как ее описывал М. М. Бахтин, говоря о

творчестве Франсуа Рабле. Платоновское отношение к телу было иным — не карнавальным, не смеховым, не освобождающим, а задумчивым, даже печальным. И все же, один из самых одухотворенных русских писателей минувшего века, Платонов был необыкновенно внимателен к бытию человеческого тела. Туркмения усилила интерес к телесному, и «туркменские мотивы» дали особенно много материала. «Туркменка, это — ни в носу не ковырнет, ни соплей не чувствует, ни грязи своей, — это другое соотношение с природой, другое совсем самоощущение, чем у нас».

«Мне рассказывали, что современные туркменские писатели поражаются тому, как после столь короткого пребывания Платонов мог так точно воссоздать дух страны», — заметил Роберт Чандлер.

«Такыр» был опубликован в сборнике «Айдинг-Гюнлер» (что переводится как «Лучезарные дни» — название, которому рассказ не очень соответствовал, хотя и стал его лучшим произведением), а также в девятом номере «Красной нови» за 1934 год, благодаря чему состоялось возвращение Платонова в советскую литературу. (Если быть более точным, то еще раньше, во втором номере журнала «Тридцать дней», главным редактором которого был Павел Павленко, появился рассказ «Любовь к дальнему», представлявший собой фрагмент романа «Счастливая Москва», а в журнале Ярославской ассоциации пролетарских писателей «Рост» — маленький рассказ «Начдив».)

В этом смысле Туркмения Платонову очень помогла. «Мне здесь вчера в достаточно серьезной форме было сделано предложение остаться надолго работать в Туркмении в качестве „министра без портфеля“. Это пустяки, — писал он жене накануне отъезда из Ашхабада. — Но важно, что я здесь, следовательно, не на плохом счету. Да это еще писатели мне мешают. Вот убогие люди!»

По возвращении в Москву в мае 1934 года Платонов подал заявление в комиссию по приему в члены сих убогих людей, то есть в Союз советских писателей (ССП). В заявлении очень аккуратно изложил свои литературные взгоды и невзгоды («О работе с 1927 г. были отзывы в „Нов. Мире“, „Кр. Нови“, в Ленинград. „Звезде“ — больше не помню; отзывы были преимущественно положит, характера, но указывались и дефекты; о двух рассказах — „Усомнивш. Макар“ и „Впрок“ — были даны отрицат. отзывы в центр, прессе. Сейчас у меня принято несколько произведений к печати; из них напечатан только один рассказ») и обошел неприятный для себя вопрос о членстве в рядах РКП(б).

В августе состоялся Первый съезд советских писателей, и пусть никакого участия автор «бедняцкой хроники» в нем не принимал, все равно и отсутствие новостей — хотя бы то, что Платонова на съезде не ругали, — было хорошей новостью. Еще одной можно было считать статью в «Литературной энциклопедии», которая пусть и состарила своего героя на три года, но после 1931 года поражала сдержанностью, объективностью, корректностью и неожиданно оптимистической концовкой:

«ПЛАТОНОВ Андрей Платонович [1896—] — современный писатель. Сын слесаря ж.-д. мастерских, рабочий-изобретатель. Писать начал с 1918, по преимуществу стихи. Выступил в 1927 со сборником рассказов и повестей „Епифанские шлюзы“.

Излюбленный образ творчества П. — человек, пришедший „на опушку города прямо из природы“, талантливый самоучка и правдоискатель, лишенный опыта борьбы рабочего класса и сохраняющий национальные черты русского цехового мастерового. Путь к правде — гармония бытия, — по П., лежит через „сердце“ трудового человека, т. е. рабочую интуицию.

Двумя враждующими началами считает он незыблемую, „нешевеляющуюся“ природу и город. На пути отыскания гармонии бытия лежит препятствие — человеческая власть, воспринимаемая П. как „перерождение бытия“ („Город Градов“). Черты стихийничества, анархизма окрашивают ранние произведения П. Если для ранних произведений П. характерна несколько абстрагированная форма выражения воззрений автора, то дальше он переходит к более конкретному показу советской действительности. Но здесь ярче выявляется существо ошибочных воззрений П. В рассказе „Усомнившийся Макар“ автор, критикуя советский бюрократизм, обнаруживает непонимание сути советского государства как органа диктатуры пролетариата и проводит политически ошибочные тенденции. Советский госаппарат показан не как форма участия рабочих и крестьян в управлении страной, а как механический аппарат принуждения, нивелировки человеческой личности. Объективно роман Платонова подкрепил тот наскок на партию и пролетарскую диктатуру, который велся троцкистами.

„Впрок“ дает неверное представление о сущности коллективизации, и поэтому хроника эта подверглась справедливой и резкой критике.

П. обнаружил ряд идеологических срывов в своих произведениях, но сказывающаяся в его творчестве тенденция к конкретному показу советской действительности есть показатель того, что писатель ищет надлежащий творческий путь».

Намек на «объективный троцкизм» был крайне неприятным симптомом, но в целом Платонов мог быть благодарен судьбе за то, что взял псевдоним, начинавшийся на букву «П», и том со статьей о нем появился в 1934 году. Оставь он фамилию Климентов — а статьи на букву «К» выходили в 1931-м (тогда были

разгромлены впоследствии расстрелянные Клычков и Клюев), — все было бы наверняка иначе.

И вообще дела как будто бы пошли на лад. «По словам жены, за последние месяцы весьма изменил свои резко пессимистические взгляды в творчестве и в разговорах. Может быть, это вызвано оживлением литературной деятельности. Получает ряд приглашений и заказов. Последний рассказ „Танырь“^[49] („Красная Новь“, № 9 — 34 г.) имел успех. Хвалил очень и Виктор ШКЛОВСКИЙ», — доносил 16 января 1935 года осведомитель секретно-политического отдела НКВД (так теперь называлась организация, продолжавшая вести летопись жизни А. П. Платонова).

Но благорастворение воздухов продолжалось недолго. 18 января в «Правде» появилась заметка близкого к Горькому писателя, «серапионова брата» Николая Никитина «Дремать и видеть наполовину», содержащая резкую критику «Такыра», и с нее начался новый виток травли Платонова. Особенность этой критики заключалась в том, что изначально ничего политического она в себе не содержала, и претензии к автору предъявлялись чисто вкусовые, стилистические и в общем-то бессмысленные. «От страха мне сначала показалось, что у Н. Никитина не одна голова барана, а две головы», — отреагировал Платонов в «Записных книжках» на никитинскую заметку, а в семейном архиве сохранилась отправленная домой телеграмма: «Телеграфируй немедленно срочной, какая критика. Не отчаивайся». То, что рецензия не была случайной и за Никитиным стояли и очень влиятельные литературные силы, и политическая составляющая, вскоре сказалось, однако Платонов узнал о том не сразу.

Тайный агент доносил в январе 1935-го: «14/1 уехал в Туркменистан на 2 месяца по договоренности с местными литературными кругами. Условия — 1000 руб.

в месяц. Уезжал очень неохотно, в подавленном состоянии, „...как в ссылку...“, „...в колонию“. По словам жены, Марии Андр.^[50], отъезд был вынужден стесненным материальным положением (получает в Москве 400 руб. на троих в Тресте Точной механики)».

«...Я только приехал, 2 часа назад. Поезд опоздал на 18 часов из-за мороза и снегов. Я сижу в номере гостиницы. Из окна вижу горы Копет-Дага, на них снег, под ними ночной свет луны, серебрящиеся облака. Опять я все это вижу, как 10 месяцев назад, как будто я сам участник „Такыра“ <...> Встретили меня внимательно и приветливо, но довольно сдержанно. Просто у здешних людей много есть своих дел и забот. Но ведь я не очень избалован такими вещами, это пустяки.

В конце концов я здесь совершенно одинок. Абсолютно. Глубокая грусть, подобная здешней тишине гор и пустынь, охватывает меня. Сказывается, конечно, и дорога, которая зашатала меня. Но ты почему-то мне кажешься такой далекой, как будто я обратно тебя никогда не достигну», — писал Платонов жене.

«Опять Амударья, Чарджуй, опять я в песках, в пустыне, в самом себе.

Чарджуй, 12 ч. ночи

20/1», — отметил он в записной книжке.

В этот раз в Туркмении он меньше ездил, больше работал и за два месяца написал повесть «Джан», которую многие исследователи считают одним из самых глубоких, самых совершенных платоновских творений. Именно в ней автор ближе всего подошел к важнейшей теме своего творчества — теме народа, его бытия, рождения, вырастания, упадка, смерти и бессмертия — к тому, что Лев Николаевич Гумилёв называл этногенезом, хотя, по Гумилёву, вряд ли платоновский джан считается народом, этносом — это скорее некий

интернационал песков, или, как говорит сам автор, небольшое человечество — туркмены, каракалпаки, узбеки, казахи, персы, урды и позабывшие, кто они.

С исторической точки зрения Платонов совершил странную, хотя для его поэтики и понятную вещь. Он обратил взгляд не на богатейшую культуру больших среднеазиатских народов, их архитектуру, поэзию, ремесла, но выбрал самых обездоленных — народ, который «не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты, — он лишь копал землю в каналах, но течение воды вновь их заносило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд». И все же для автора это — народ с трудной историей, с памятью, с жестокостью и страданием, находящийся на краю гибели, вымирания, в аду буквальном, географическом, метафорическом, мифологическом, и там, в этом аду, должно быть построено счастье.

«Джан» — повесть о том, как народ сохранить и что он есть, повесть о массе и ее вождях, истинных и ложных. Тема для Платонова не новая, но решение ее другое. Призванный спасти свой маленький интернациональный этнос молодой нерусский человек Назар Чагатаев в платоновском мире и традиционен, и необычен. Он не технарь, не инженер, не гидроэлектротехник, он экономист, взошедший за годы учебы и жизни в Москве «на гору своего ума», откуда открываются ему все пространства и в том числе то, куда направляет его партия, — далекая туркменская родина, некогда им покинутая. Но помимо ума у героя есть сердце, и их роковой поединок составляет психологический рисунок образа Чагатаева, человека как будто бы счастливого (в одной из первых редакций повесть начиналась словами «Он вошел во двор института, юный и счастливый человек»), но по-

платоновски более всего отзывчивого к трагической стороне бытия. Не случайно на вечере выпускников Чагатаев обращает внимание не на прекрасных юных дев, живущих с ощущением бессмертия и счастья, а на женщину с грустными и терпеливыми глазами, которую никто не приглашает танцевать, и она украшает себе голову бумажными цветами, чем вызывает у героя желание «немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы...».

Эпизод, связанный с некрасивой женщиной, был также описан Платоновым в статье «О первой социалистической трагедии» с еще более жестким выводом: «Человек социалистической души заметил бы эту женщину прежде, чем она пошла в сад плакать и осыпать сама себя бумажками».

Чагатаев до социалистической души недотягивает столько же, сколько Иван-царевич в двух первых попытках допрыгнуть на Коньке-Горбунке до окошка царской дочери, но другим героям нового мира и этого не дано. Однако Платонову они неинтересны — красивые, жизнерадостные молодые люди. Ему интересна некрасивая, не очень молодая женщина с грустными терпеливыми глазами. В облике Веры, в судьбе — как она изображена в повести или, точнее, как ее воспринимает Чагатаев — есть что-то странное, болезненное, начиная с того, что ее тело кажется нерусскому мужчине «полным поздней девственности». Но очень скоро выясняется, что Вера беременна, а муж ее умер. И тогда Чагатаев не из любви, а из трудно определимого чувства — это не сострадание, не жалость, но таинственное, неуловимое очарование человеческого сердца и его влечение к чужой беде — решает остаться с Верой и быть отцом ее ребенку. Они расписываются в загсе, и Чагатаев к Вере каждый день приходит, однако странная эта любовь, как и жизнь. В

ней нет полноты, нет счастья, нет физической близости, только ли от того, что Вера беременна и Чагатаев боится ее тронуть, или по иным причинам, но сложный, глубинный психологический рисунок Платонову очень важен.

«...Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожителство — с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая».

К дальнейшему сюжету, когда действие переносится в гиблую низину Сара-Камыша, где о любви просто никто не ведает («**Важнейшая тема:** Туркменка, которая никогда не любила и не могла любить по условиям жизни, — человек абсолютно без любви, сердце которого все время сжимали, мертвили, давили, — трагедия совсем другого порядка, чем обычно, — мирового типа» — отмечено в «Записных книжках»), московская линия на первый взгляд отношения не имеет, а кажется странной, затянувшейся и все более усложняющейся экспозицией, непонятым прологом или частью какой-то другой книги.

Накануне его отъезда в Туркмению Вера знакомит Чагатаева со своей дочерью от первого брака, «черноволосой девочкой лет тринадцати или пятнадцати» по имени Ксения, и ситуация начинает напоминать известный зощенковский рассказ «Свадебное путешествие». Но там, где у Зощенко были

сатира, смех, у Платонова по обыкновению совсем иные чувства. Недаром еще в январе 1934 года в справке для группкома Московского товарищества писателей он подчеркнул, что субъективно не чувствует себя сатириком и в будущей работе не сохранит сатирических черт. Доказательством того можно считать человеческую драму, которая в этом странном треугольнике Вера — Ксения — Чагатаев разыгрывается. Внезапная любовь Чагатаева к Ксении, отказ Веры от мужа в пользу дочери, ее готовность терять, страдать и терпеть горе очень важны.

«Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка и среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей... Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели: лишь предсмертное дыхание выносит их вон».

Но это Вера. Чагатаев же со своим жизненным опытом, своим сиротством и выходом из детства в люди горе ненавидит, оно представляется ему пошлостью — слово довольно редкое, необычное в платоновском словаре, — и иррациональное, с точки зрения Чагатаева, несчастье Веры лишь усиливает его решимость «устроить на родине счастливый мир блаженства».

«— Мы больше не допустим несчастья, — ответил Чагатаев.

— Кто такие вы?

— Мы, — тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и

слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша.

Вера обняла его на прощанье — она следила за часами, разлука подходила близко.

— Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксеню.

Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издали чужими глазами».

Примечательны строки платоновского письма жене, в которых он высказал — что редко бывало, и тем это важнее — свою оценку и отношение к собственной прозе: «Келлер просил почитать из новой вещи. Я прочел один кусок, Келлер заплакал, и я сам увидел, что пишу правильно. Было странно видеть, как у него молча из-под очков шли слезы. Я не видел никогда, чтоб он плакал, не помню. <...> Ты спрашиваешь, что делают мои герои — „Лида и пр.“ Лиды у меня нет. Ты путаешь. Есть Вера, которая уже умерла от родов, когда Н. И. Чагатаев был в Сары-Камыше. Вещь не мрачная. Келлер плакал не от этого, а оттого, что вещь — человеческая, что в ней совершаются действия и страсти, присущие настоящим мужественным и чистым людям. Плачут не всегда от того, что печально, а оттого, что прекрасно, — искусство как раз в этом. Слезы может вызвать и халтурщик, а волнение, содрогание — только художник».

Он знал себе цену, и эту цену знали немногие из друзей, в его мир допущенные. Только вот Мария Александровна, его муза («Дорогая Муза, — давай я тебя буду звать всегда этим именем, я нашел для тебя подходящее определение лишь на 14 году супружества», — писал он ей в пору работы над повестью «Джан»), похоже, не сразу это поняла...

Московская линия в «Джане» — попытка постичь сердце одного человека, туркменская — душу целого народа. И между усталостью, обреченностью и, как выясняется дальше, гибелью Веры (она умирает при родах вместе с рожденным ею мертвым ребенком, и их хоронят на Ваганьковском кладбище близ могилы писателя Батюшкова — вот еще один новый для автора литературный акцент, правда, с некоторой нестыковкой: Батюшков похоронен в вологодском Спасо-Прилуцком монастыре) и усталостью народа по имени «джан» (душа) возникает глубинная связь, которую Назар Чагатаев призван разорвать, а для этого накормить свой народ, привести его на место, пригодное для жизни, и там эту жизнь обустроить. Все это он и делает, совершая Прометеевы, Моисеевы подвиги, когда своим телом привлекает в пустыне птиц, а потом этих птиц ест его народ; когда спасает десятилетнюю девочку Айдым, когда не жалея сил трудится и строит дома, когда убивает своего антагониста, лжевождя и своеобразного активиста пустыни Нур-Мухаммеда, глядящего на народ джан чужими глазами, желающего ему гибели, срывающего его с места, роющего могилы и подсчитывающего количество новых смертей.

Убийца Нур-Мухаммед (при его полугодовом правлении численность народа джан сократилась со ста десяти до сорока семи человек) — вероятно, самый отвратительный персонаж во всей платоновской прозе, он хуже даже Атах-бабы из «Такыра». В обоих произведениях есть мотив насилия над женщиной, но в «Такыре» это скупая необходимость, с которой женщина готова смириться («Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. „С ним я проживу“, — молча полагала Заррин, видя, что это не страшно и не интересно; для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести

Атах-бабы и его бороды»), «Любовь» Нур-Мухаммеда изображена иначе. Этот человек — сладострастник, чувство, которое Платонову было знакомо и ненавистно до судорог, и авторская ненависть особенно ощущается в сцене изнасилования Айдым громадным мужчиной.

«Нур-Мухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви, она жила в нем неутомимо, жадно и самостоятельно, пробиваясь сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщину и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту до окончательной смерти.

Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым опять спала в забытьи. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью вещества в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет двенадцать или тринадцать, если ее покормить, на ней можно жениться.

Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят, знала это дело с

точностью и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нур-Мухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего, но ничего не было, и ей стало неинтересно.

— Уходи! Лучше я буду одна, — сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни.

Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения: без наслаждения он не мог существовать».

В отношении к сексуальному насилию над ребенком как к сердцевине человеческого страдания Платонов близок к Достоевскому, но у автора «Преступления и наказания» и «Бесов» не получилось написать об этом иначе, как в исповеди Ставрогина или в сонном видении Свидригайлова. От прямого изображения он отвел глаза. Платонов — нет. И вышеприведенная, не подъемная ни уму, ни сердцу сцена, как бы это парадоксально и цинично ни звучало, — художественно совершенна. В ней есть та мера скупости, сухости, экономности, та неслезливость и несентиментальность, которые делают эту картину максимально достоверной. Это могли бы оценить и понять, наверное, лучше всего те люди — следователи, судьи, медэксперты, психологи, которые сталкиваются с подобными случаями в реальной жизни. Платонов умел быть трагичным в изображении повседневности. В его мире, по справедливому замечанию единственного из критиков русского зарубежья, оценившего еще в 1930-е годы его талант, Георгия Адамовича, «все действительное трагично». Но, изображая вещи и дела трагические по определению, Платонов умел быть

обыденным и спокойным. Он один, больше в русской литературе — никто.

Маленькая Айдым, как заметила Н. В. Корниенко, — сестра Насти из «Котлована» (и, продолжая этот ряд, Тамары из «Теченья времени», Пелагеи из «Черноногой девчонки», Джумаль из «Такыра» — но параллель с Настей самая важная). В повести есть место, когда Айдым тяжело заболевает, мечется в жару, и кажется, что ее ждет Настина судьба, судьба безымянного мальчика из «Чевенгура», судьба сына Суениты из «14 красных избышек», но Айдым выживает. Она становится лучшей помощницей Чагатаеву, маленькая хозяйка, деловитая, крепкая, умная, рассудительная, иногда вздыхающая, как «бедная старушка», а иногда сердящаяся на тех, кто не желает работать, и обещающая нарожать совсем других людей, потому что «нам несчастных не нужно».

У Айдым есть будущее, есть оно и у других представителей маленького народа, но можно ли считать «Джан» преодолением трагического исхода «Котлована» и «14 красных избышек» (а композиционно эта пьеса на повесть похожа: в обоих произведениях московская линия сменяется изображением отдаленной пустынной местности, где очень трудно живут люди, но Москва теперь больше не проклятая)? Можно ли сказать, что выживанием Айдым автор утверждает счастливое будущее небольшого человечества и таким образом преодолевается мучение Чагатаева оттого, что «народ джан, изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв», а народ оказывается вопреки всему жив? Можно ли считать, что посланные из Ташкента для спасения исчезающего людского племени две грузовые машины с продуктами, инструментами, одеждой и керосином решили все проклятые вопросы и каракумских «прочих» не постигнет судьба жителей

«Чевенгура», которым из неведомого центра прислали не вспомоществование, а расстрельную команду?

Трудно давать однозначные ответы, тем более у повести было два окончания (притом что заключительная фраза в обоих вариантах совпадала, но герои шли либо более кратким, либо долгим путем). Согласно первому, народ джан расходится из того поселения, которое построил для него Чагатаев («...самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом») и никогда туда не возвращается, то есть как народ исчезает, а его вождь уезжает вместе с Айдым в Москву, где его ждет Ксения.

Согласно второму, более пространному варианту окончания, Чагатаев оставляет Айдым одну в пустыне и отправляется на поиск своего народа. По дороге он встречает девушку по имени Ханом и сближается с ней по обоюдному желанию (так, в насыщенном эротическими токами повествовании возникает, наконец, редкий в платоновском мире мотив счастливой, гармоничной плотской любви: «Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утомиться и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чувствовал себя все более свободным, счастливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным... Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скучал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним»), безуспешно бродит по городам, дорогам и базарам, а когда возвращается к Айдым, то обнаруживается, что назавтра вослед ему, удовлетворив любопытство, остался ли кто-либо еще на свете, возвращается и его народ, к которому примкнула Ханом и стала женой человека по имени Молла Черкезов.

Измена женщины не вызывает у главного героя ни ревности, ни сожаления, и не потому, что Назар выше

самых древних и прочных человеческих чувств. В его сознание, в его жизнь вошли новая тема и новая любовь: «Сталину еще труднее, чем мне, — думал в утешение себе Чагатаев. — Он собрал к себе всех вместе: русских, татар, узбеков, туркменов, белорусов — целые народы, он соберет скоро целое человечество и потратит на него всю свою душу, чтоб людям было чем жить в будущем и знать, что надо думать и делать. Я тоже соберу свое маленькое племя, пусть оно оправится и начнет жить сначала, прежде ему жить было нельзя».

Сталин для героя очень важен. «Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал Сталина, как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего существования, — и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер...»

Сталинские вставки были более поздними, и странным образом они перекликались с тем фрагментом повести, где рассказывалось о детстве Назара Чагатаева, которого взявший к себе на подмогу пастух «отдал советской власти, как не нужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего не сделает один лишний рот». Движение от милосердной вдовицы к взыскательному отцу, от революции к государству очень показательно. Менялось время, менялись акценты, и разница между двумя похожими историями — чевенгурской и «джанской» — состоит в том, что коммуна Чепурного ощущает себя в авангарде человечества. Она не нуждается в большом государстве, но хочет указать

ему путь к наступившему концу истории и терпит крах; а народ джан — это арьергард, обоз истории, который может быть сохранен лишь при условии, что догонит марширующее советское человечество, и помочь ему сделать спасительный рывок способен лишь один человек. Тот, о ком Платонов писал не только в повести, но и в «Записных книжках»: «Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин — отец или старший брат всех, Сталин — родитель свежего, ясного человечества, другой природы, другого сердца... <...> Диалектика в том, что добрым надо стать злыми... И Сталин ведь хороший».

Природа единоначальной власти несомненно автора тех строк занимала, свидетельство чему незаконченный, а фактически едва лишь начатый роман «Македонский офицер» с подзаголовком «Роман из ветхой жизни», опубликованный единственный раз в узконаучном сборнике «Творчество Андрея Платонова» в 1995 году в Санкт-Петербурге и не известный никому, кроме специалистов.

Как предположила публикатор «Македонского офицера» Е. И. Колесникова, написанный на оборотной стороне рукописи «Ювенильного моря» «Македонский офицер» создавался после первого возвращения Платонова из Туркмении. «Записные книжки» писателя эту версию частично подтверждают — так, именно в 1934 году Платонов сделал несколько записей, относящихся к «Македонскому офицеру», хотя первая датируется 1932 годом, а последняя — 1936-м.

Действие романа происходит во времена Александра Македонского в вымышленной стране Кутемалии, располагающейся в глубине Азии и отрезанной горами от всего мира, так что проникнуть в нее практически невозможно. Два единственных прохода через ущелья стерегут тысячи бойцов кутемалийской армии.

Главный герой — некто Фирс, родившийся в Греции свободным человеком и посланный в Кутемалию в качестве лазутчика царем Александром Македонским. Его задача — раскрыть систему оборонительных строений Кутемалии, чтобы помочь Александру эту страну завоевать. Фирс — шпион, диверсант и враг народа. Но кутемалийцы о том не ведают и используют его в качестве иностранного специалиста: Фирс — гидравлик, «водяной ученый», он добывает воду в этой суровой местности, и работа дает ему некоторые привилегии, хотя жизнь его довольно скучна, но Фирс «притерпелся к своей судьбе».

В первой главе романа (всего было написано или же дошло до нас две) рассказывается о любви Фирса и молодой пленной персиянки Орфии, которую Фирс однажды встречает и поражается ее красотой. Орфия в отличие от полусвободного инженера настоящая рабыня, она глубоко несчастна, унижена, и описание ее несчастья составляет одну из самых мрачных страниц не только этого романа, но и всей платоновской прозы.

«А теперь — я рабыня и любовь на мне завязана узлами — посмотри, благородный! — женщина приподняла покрывало на себе, и Фирс увидел шелковые полосы, туго закрывавшие орган любви и завязанные многочисленными тайными узлами через бедра и на животе; эти же узлы, как узнал мегариец, сплетала специальная старуха — их можно было разрезать или запутать, но их не развязать и снова так же не завязать. Фирсу показалось смешным такое сбережение целомудрия, но он ошибся — это не было заботой о девственности, это было промышленное предприятие: под шелковыми поясами, превращавшими существо любви в мумию, находился особый мешочек, вложенный в глубь телесной тайны, и в том мешочке были поселены шелковичные черви, которые, пользуясь влагой, теплом и возбуждением от движения женщины,

быстро вырастали, делались сильными — и тогда выползали поверх повязок. В тот момент шелковичных червей собирали, а женщине вкладывали новый мешочек с юными червями. Этот способ не давал смертности среди червей, сами черви были гораздо производительнее и, стало быть, выращивание червей женщинами было весьма разумно для государственного хозяйства».

«Македонский офицер» заставляет вспомнить другой «тоталитарный рассказ» Платонова — «Мусорный ветер» и горьковскую оценку его ирреального содержания, которое граничит с мрачным бредом. Но Платонов сознательно именно так очень резко, шокирующе изображал мир психиатрического государства, как называется в романе азиатская деспотия в отличие от империи Александра Македонского, основанной на иных принципах и стремящейся к организации всего мира с целью его окончательного благоустройства. В романе сталкиваются две противостоящие друг другу системы — человеческая и бесчеловечная, и, как замечает один из героев романа греческий философ и историк Каллисфен, вдохновляющий Александра на полководческую деятельность, у мира две судьбы: или «земля превратится в кристаллическую звезду и взойдет в сферы вечного покоя», или «обратится в смрадный газ и некий ветхий ветер..<...> рассеет без следа несчастное дыхание земли».

Александр призван осуществить первый, восходящий к идеям платоновской молодости сценарий и предотвратить второй, и таким образом, шесть лет томящийся в Кутемалии Фирс — не враг народа, а, пользуясь термином более поздних времен, — прогрессор. Но и ему ведомо чувство любви, которое скрашивает тягость и скуку жизни, пусть даже назвать любовь Фирса к «запакованной червями» персиянке

полноценной нельзя ни по психологическим — Фирс уродлив, и Орфия в душе к нему равнодушна, ни по естественным причинам: «Фирс и Орфия любят друг друга... <...>, не трогая шелковых покрывал, берегущих девственность, и шелковичных червей». Но однажды Орфия решается на бунт, она просит Фирса разрезать повязки и выбирает червей из своего лона. Герои проводят ночь, после которой Фирс отсылает женщину к своему повелителю с секретным донесением, и больше на страницах «Македонского офицера» Орфия не появится, а водяной ученый попадает во дворец кутемалийского царя Озния и становится свидетелем картины исступленной любви народа к своему правителю и не менее жуткой сцены повального человеческого психоза.

«Фирс остановился в отдалении и стал смотреть с тоской на тех людей. Один человек катался по земле и все время стремился разодрать ногтями волосатую кожу на своей груди, дабы живьем достать сердце изнутри и показать, насколько оно преданно, насколько оно обливается кровью радости. Другой помешался в воздухе кверху ногами и беспрерывно вращался на затылке, желая разорваться центробежной силой в ничтожный прах. Пять людей ходили без остановки по одинаковому кругу, склонив головы и обладая великой задумчивостью: они мысленно искали величайшей славы для царя и, найдя ее, восклицали: „О, плод единственный отцветших богов!“, „О, грусть мира, навсегда утоленная!“, „Внук времен и отец вечности!“, „Вестник блаженной твари!“, „Вдохновляющая прелесть!“, „Зодчий зари и прохладных рек“, „Сияющий и ослепляющий“, „Всяк разум глупость перед тобою!“».

Но это еще не всё.

«Четверо сидели в стороне, на куче строительного мусора и рвали постепенно вручную свои органы деторождения, чтобы никакая будущая жизнь уже не

могла произойти, ибо Озний исчерпал всю вечность, весь смысл существования и всякое наслаждение».

Если в «Мусорном ветре» Лихтенберга кастрирует толпа, то в «Македонском офицере» эту операцию проделывают сами несчастные, и их жены не знают, то ли радоваться, то ли огорчаться такому выражению любви к правителю, а одна из этих женок отдается Фирсу, несмотря на его уродство.

Даже неуничтожимость человеческой мысли как одна из главных идей рассказа подвергается в романе испытанию. В нем описываются люди, которые «бились головами о ближние камни, дабы выбить из сознания последнюю мысль, потому что всякая мысль есть тайна и может стать соперницей великого ума Озния; уже кровь давно лилась из тех бьющихся о камни голов, но уничтожаемые в них мысли не умирали, а превращались в сумасшествие и производили долгий вопль безумия, покрывавший это собрание, длящееся уже многие годы непрерывно».

Одни люди умирают, другие приходят на их место, а между тем предчувствующий свою смерть царь Кутемалии решает организовать рай на земле, для чего ему нужно увеличить добычу воды. Фирс пытается объяснить, сколько сил уйдет на то, чтобы проникнуть во «влажное влагалище великой земли», но царя никакие затраты не страшат, и он требует от водяного человека выполнить задание. В этом сюжете нетрудно увидеть переключки с «Епифанскими шлюзами», но историзму, пусть и очень относительному, столкновения сухого европейского разума с русским пространством осьмнадцатого века противопоставлена зловещая фантазмагория азиатской одиссеи греческого гидравлика задолго до Рождества Христова.

На вопрос Фирса, откуда взять столько людей для строительства и не стоит ли привлечь тех, кто в безумстве славит Озния, инженер получает ответ:

«Торжествующие на площади дворца по-прежнему будут питаться из средств государства, за счет тех печальных, в ком нет достаточно сердца, чтобы радоваться славе царя, кто лишен веры в Озния, но зато не лишен пота...»

Автор этой циничной формулы — кутемалийский философ Клузий. Именно он является наиболее интересным и, по сути, главным героем романа, точнее, тех фрагментов, что были написаны либо до нас дошли. Не Фирс, которому, не считая истории с Орфией, в большей степени уготована роль наблюдателя. И не сорокалетний тиран Озний с его опухшим, старым от «яда яств и страстей» лицом, смертельным отложением извести в организме, слабоумием, потением ног, шевелением глистов и половой перенасыщенностью. И даже не его антагонист великий царь Александр, «молодой, чистосердечный и видящий в своих снах единый железный мир человечества, направленный против смертного потока природных стихий», Александр с его «молодым лицом, испорченным рябинами оспы на поверхности», — деталь, учитывая, что у настоящего Александра никакой оспы не было, символичная и проливающая свет на отношение Платонова к «Александрю» своего времени. Но все же не он, а Клузий — вот идеолог и утешитель этого уродливого мира, носитель «мужественного, солдатского отношения... к современной истории людей».

Эти слова не должны обманывать. Образ Клузия даже не дву-, а многосмысленный. Он видит то же и, может быть, даже больше, чем видит Фирс, но иначе смотрит на мир и предлагает свою стратегию поведения в нем: «...философ приветствовал весь мир и глубоко прятал свое плачущее сердце... советовал всем живым людям не ценить и не жалеть себя и отнестись к фантазмагии своего существования с насмешкой,

поскольку всемирное время и сила магической судьбы направлены к тому, чтобы населить вселенную лишь одним человеком, вместо множества, и этот человек — Озний».

Роль Клузия заключается в том же, в чем заключалась некогда роль Прокопия Дванова из «Чевенгура», — он умеет формулировать (и именно это спасает его от уничтожения Ознием). А если учесть, что в принципах создания двух условно-вымышленных миров — чевенгурского и кутемалийского — есть общее, ибо Кутемалию, будь роман дописан, скорее всего, ждало бы то же самое, что случилось с чевенгурской коммуной — разгром внешним врагом, диалог Платонова с идеями собственной молодости напрашивается сам собой.

«Ты должен глядеть в это неясное пространство жизни, как с Небесных Гор, с вершин своего сердца. Если же ты посмотришь глазами, расположенными в мрачных ущельях твоего ума, ты неминуемо бросишься с высоты жизни в глубину отчаяния, но и в нем не достигнешь дна и спокойствия. Гляди же в смутный воздух земли своим сердцем, глубокомысленно вознесенным в центр равновесия твоего тела, и ты будешь неизбежно счастлив, потому что сущность сердца — улыбка, а не огорчение», — говорит Клузий.

К этим словам не знаешь, как относиться — так много здесь платоновского, но как-то странно перевернутого. На высоте оказывается не ум, как было в случае с Назаром Чагатаевым, а сердце. Ум же помещен в глубину, но, по-видимому, только такая «конструкция» и позволяет человеку обрести равновесие в выморочном тридевятом царстве, формулировка принципов которого доведена кутемалийским мудрецом до профессионального совершенства.

«Клузий объявлял новейшее время как психиатрический этап в жизни всего человечества. Психиатрия — мгновенное искусство духа царя — есть завершение всемирной томительной истории человеческого рода; психиатрическая форма правления народами есть высшая, действительная свобода людей, потому что все законы государства немедленно отмирают и общая жизнь делается внезапной в своей судьбе, неожиданной, непредвиденной и полной восторженного интереса: каждый может ежедневно умереть или быть объявленным бессмертным в зависимости от колебания духа царя, его магического психоза. Свой же дух даже царь предвидеть не может — поэтому психиатрическое государство есть неизбежно абсолютная свобода — оно есть движение из царства законов в рай беспричинности. Поэтому... <...> рай в Кутемалии уже надо считать созданным, ибо основание всякого рабства и унижения человека — высший закон всех стихий — причинность — уничтожена тем, что Озний первый из царей применил в мире собственную психиатрию, которая действует не только беспричинно, но и против любых причин. Только тот человек, который бежит власти Озния, остается в мертвом царстве своей причинной судьбы — и тому неизвестен кутемалийский рай, где сверкают молнии психиатрического царства ослепляющей свободы».

Это было написано задолго до того, как Оруэлл объявил в романе «1984», что свобода — это рабство, а мир — это война...

«Психиатрическая организация всего видимого и невидимого мира будет венком победы на мучительном челе человека! — закончил Клузий. — Да здравствует Озний, добывший психиатрическую искру абсолютной, торжественной свободы из глубины своего существа, поскольку небо оказалось пустым!..»

В «Записных книжках» Платонова рядом с теми же записями, которые относятся к «Македонскому офицеру», встречаются замечания: «Нет выхода даже в мыслях, в гипотезах, в фантазии, — после хорошего рассмотрения обязательно окажется **гдъ**^[51]. Что бы ни было!» А дальше проведена стрелка и написано: «Даже выдумать что-нибудь нарочно, противоположное **гдъ** не удастся. Мы действительно, мы — весь мир, попались в страшную ловушку, в мертвый тупик. Вероятно, в истории это уже бывало не раз».

Платонов нечасто напрямую говорил о Боге. По воспоминаниям таких разных людей, как поэт Семен Липкин и скульптор Федот Сучков, он в Бога не верил. «Оба, и Гроссман, и Платонов, не верили в Бога, но над моими религиозными чувствами не смеялись», — писал верующий Липкин, а в мемуарах Сучкова картина более сложная. Мемуарист привел слова Платонова: «... писатель должен знать, что делается на земле и на небе. О чем Господь Бог думает» — и добавил от себя: «Последнюю фразу Андрей Платонович произнес с улыбкой, показал на потолок глазами. В Саваофа он, конечно, не верил». Верил или не верил, наверняка утверждать не возьмется никто («Вчера, кажется, была пасха. „Христос воскрес“!» — поздравлял он жену весной 1934 года, а на обороте одного из ранних платоновских стихов, обращенных к Марии Александровне, было написано: «**Одно ты у меня достояние и православная вера**»), но в неоконченном своем романе «Македонский офицер» изобразил нечто противоположное Божьему миру. Получилась чудовищная тирания.

В донесениях сексотов, датируемых июлем 1935 года, есть строки: «Писатель Андрей ПЛАТОНОВ пишет не предназначенный для печати роман „Офицер Александра Македонского“, темой которого является

восстание одного из подчиненных Александру Македонскому полководцев. На вопрос, почему невозможно опубликовать роман, ПЛАТОНОВ заявил: „Ну, куда там, ведь это направлено против деспотии. Сейчас же проведут аналоги<ю> с тем, что сейчас же у нас, и опять проработают“».

Из того, что мы знаем о романе, содержание предполагалось несколько другое, но дело не в этом. Дело в том, что Платонов понимал, как его произведение может быть прочитано и истолковано, но все же советская действительность, сталинский режим вряд ли были целью писателя. Они были причиной. «Македонский офицер» не замышлялся как антисталинский памфлет, он писался не *для того*, чтобы разоблачить или даже просто гротескно изобразить советскую деспотию, он писался *потому*, что Платонов в ней жил, и она вдохновляла его на написание именно таких книг.

В 1936-м, когда работа над «Македонским офицером» была прекращена, Платонов отметил в «Записных книжках»: «В Македонском офицере — „Озня уговаривают особые говорильщики: что его любят — любят — любят все... А Озний был раздражен от сомнения; он то утешался, то бился в истерике, а разные люди крутились у дворца, кто чем доказывая свое искусство: иногда их делали богатыми, иногда прогоняли прочь“».

Вот здесь акценты меняются. В романе Ознию сомнения не ведомы и ушлые люди у дворца не крутятся. Эта более поздняя запись может косвенно свидетельствовать о том, как Платонов воспринимал современных ему деятелей искусства, ищущих почестей с риском для собственной шкуры. Однако дальнейшего развития мотив не получил; хотя из мемуаров о Платонове, написанных Львом Гумилевским, известна сцена:

«У писателей постоянно шли разговоры о том, кому Сталин звонил, кому написал и что сказал и какие следствия отсюда произошли. <...> Андрей Платонович столкнулся где-то в издательстве с автором „Одиночества“. Вирта отвел Платонова в сторону и с таинственной значительностью, ожидая поздравлений, прошептал ему:

— Мой роман очень понравился Иосифу Виссарионовичу...

— А кто это? — с невинным видом спросил Платонов».

Даже если это писательская байка и на самом деле для Платонова внимание Сталина было важно — («Мое литературное положение улучшилось (в смысле отношения ко мне). Сказал один человек, что будто бы мною интересовался Сталин в благожелательном смысле. Сказал человек осведомленный. Это возможно», — писал он жене в июне 1935 года), — все равно Платонова волновали не тоскующие по верховному вниманию писатели, о которых он высказался в «14 красных избушках», а народ. И не видеть его искренней, глубокой, не ищущей личной выгоды любви к Сталину («Мы были слепыми, но зрячими стали, Глаза нам открыл на вселенную Сталин», — цитировал Платонов казахского поэта Джамбула), не понимать ее причин Платонов не мог. Но все равно закончил «Джан» так, что подвиг азиатского прометея и благодарность, которую тот получает в Ташкенте от ЦК партии «за работу по спасению кочевого племени джан от гибели в дельте Амударьи», не прочитываются как победа Назара.

Туркменская повесть не случайно в обоих своих вариантах завершается словами, которые можно воспринять как сигнал бедствия, исходящий из сердца «спасителя»: «Чагатаев взял руку Ксении в свою руку и почувствовал дальше поспешное биение ее сердца,

будто душа ее желала пробиться оттуда к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека». Это — признание его личного поражения, а вместе с ним поражения горьковской, «данковской», вождистской модели поведения («Что сделаю я для людей?»), с которой Платонов, очевидно, полемизировал. То же можно сказать и про «прогрессора» Фирса. И он, находясь в Кутематии, в сущности, ждет помощи от других.

«Роман из ветхой жизни» с его вольными или невольными аллюзиями на современность для печати не предназначался. В отличие от него рукопись повести «Джан», над которой Платонов до изнеможения работал («Сижу до света за письменным столом, пишу про ад и рай в пустыне, пока не застыну от усталости и ночного холода», — писал он жене), была передана весной 1935 года в издательство. Сначала с первым, «несталинским» вариантом финала, затем со вторым — «сталинским». Но оба раза она была отвергнута, и можно понять почему. Говоря современным языком, это был неформат. Со Сталиным или без, с Чагатаевым спасающим или спасаемым, повесть «Джан» никак не вписывалась в жесткую картину победоносного социалистического строительства, не отвечала канону современного искусства, и рисковать из-за Платонова никто из советских редакторов и издателей не захотел. «А если бы я давал в сочинения действительную кровь своего мозга, их бы не стали печатать», — писал некогда Платонов жене о своих творениях, и горькие эти слова могут быть отнесены не только к неподцензурным «Чевенгуру» и «Котловану», но и к повести «Джан», где крови тоже оказалось с избытком...

На неуспех публикации могли повлиять и другие обстоятельства. Еще в январе — феврале 1935 года, покуда писатель находился в Туркмении, Горький,

который, похоже, все еще не опомнился от «Мусорного ветра», а тут появился и был опубликован без его благословения в «Красной нови», проводившей по отношению к Горькому враждебную политику, «Такыр», написал редакторам «Правды» и «Известий», соответственно Мехлису и Бухарину: «Обнаружилось, что, наряду с идейно здоровыми запросами большинства членов коллектива, у некоторых писателей (К. Зелинский и А. Платонов) проявилась попытка навязать коллективу — чуждую и враждебную нам этику и эстетику».

Писательская победа Платонова несомненна. Горький уже не привязывал своего странного корреспондента к Пильняку. Он увидел в Андрее Платонове самостоятельное и агрессивное творческое явление. В январе 1935 года Горький фактически зарубил платоновскую статью «О первой социалистической трагедии», предназначавшуюся для коллективного сборника «Две пятилетки» и содержащую очень важные для автора мысли, диалогически обращенные как раз к тому человеку, кто стал идеологом советской литературы и ее нового художественного метода.

«Социализм можно трактовать как трагедию напряженной души, преодолевающую собственную убогость, чтобы самое далекое будущее было застраховано от катастрофы, — писал Платонов. — В формуле об инженерах человеческих душ скрыта тема первой чисто социалистической драмы. Через несколько лет эта проблема станет важнее металлургии; вся наука, техника и металлургия — все оружия власти над природой будут ни к чему, если они достанутся в наследство недостойному обществу. Больше того, несовершенный человек создаст тогда об истории такую трагедию без конца и без развязки, что его собственное сердце устанет.

Но этого не случится, если мы будем сейчас работать. Если мы станем действительными инженерами и изобретателями человеческой души, а не десятниками».

«...не пригодно пессимистическое размышление А. Платонова. Советую Вам отказаться от публикации этого материала, сохранив его для будущего...» — поставил свою резолюцию Горький в письме редактору сборника Г. Корабельникову, и это «сохранив для будущего» звучит особенно трогательно и цинично. Не мог Горький не понимать истинной цены писателя, которого он преследовал в середине тридцатых. Не мог не понимать правоты его опасений и потому их отвергал, пряча голову в песок.

Относился ли так же неприязненно к Горькому Платонов?

Существующие на сегодняшний день источники не позволяют дать полного ответа. Ни положительного, ни отрицательного. В мемуарах Эмилия Миндлина Платонов говорит о Горьком с большой симпатией: «Хорошо, что на съезде слушали Горького. Это хорошо. По-моему, знаете, ради одного этого стоило собрать писательский съезд. Вообще хорошо, что сейчас существует Горький».

Семен Липкин писал, что Платонов, «восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина». Не так давно исследовательница Е. А. Папкина опубликовала письмо Платонова Всеволоду Иванову, в котором Платонов, охарактеризовав положение с повестью «Джан» («По договору с редакцией „Две пятилетки“ я написал повесть под названием „Джан“ (душа). Договор был на три листа, в повести 8. Повесть эта, если она подойдет, будет напечатана в специальных книгах, выпускаемых к 20-летию Октябр. Революции, т. е. в 1937 г.»), просил Иванова помочь ему через Горького опубликовать «Джан» раньше: «От него потребуется всего две-три

секунды размышления, потому что дело пустяковое. А для меня это очень важно: *мне будет сильно облегчена жизнь и главное — дальнейшая работа*^[52]». Однако действительного ответа от Горького Платонов так и не получил, хотя придавал публикации очень большое значение. «У меня есть надежда, что если бы эта повесть была опубликована, она бы сняла с меня тяжесть, которую я ношу за многие свои *ошибки*^[53]».

В написанных Платоновым в 1939 году мемуарах о Горьком, точнее, о их единственной встрече, два собеседника с трудом пытаются, но не могут найти общий язык и расстаются ни с чем.

«— Я не литератор, Алексей Максимович, я писатель.

— Да, слово-то нехорошее, — произнес Горький, — и нерусское, и длинное, и даже оскорбительное. Это вы правы, что обиделись...»

А в воспоминаниях Льва Гумилевского приводится следующий эпизод:

«...случайно я узнал о переписке с Горьким. Я просил Андрея Платоновича показать мне письма, он ответил:

— Да там нет ничего интересного...

— Но все-таки, что он писал?

— Хвалит».

За нежеланием Платонова о Горьком говорить стоит определенный умысел, и независимо оттого, знал или не знал Платонов доподлинно о той роли, какую стал играть Горький в его судьбе после 1934 года, он не мог о ней не догадываться.

Однако Горьким история не ограничилась. По его следам двинулась партия большевиков. «Надо еще учесть, что чуждые и антипролетарские настроения в литературе проявляются теперь, как правило, в формах скрытых, тонких и завуалированных. Я приведу в

качестве примера рассказ Андрея Платонова „Такыр“... Через весь рассказ проведена философия обреченности людей и культуры... Через весь рассказ проведена идея скупости природы, ее враждебности к людям и такого несовершенства людей, независимо от их классового происхождения, что любить их нельзя, они любви не заслуживают, — выступал 5 марта 1935 года на пленуме Союза писателей оргсекретарь Союза А. Щербаков. — Теперь мы можем прямо сказать А. Платонову: если раньше в твоих произведениях были проблески талантливости, то твои последние рассказы и с точки зрения художественной формы имеют ничтожную ценность. И должны мы еще сказать: жалок путь писателя, цепляющегося за старые, обветшалые, разбитые жизнью идейки».

«Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением <...> Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество» — пожалуй, ни к кому из русских писателей минувшего века не применимы эти чудные и чуть ернические гоголевские строки, как к Платонову...

В 1935-м у него снова не было ни одной публикации.

«СУББОЦКИЙ, узнав, что после заметки в „Правде“ два журнала не стали печатать уже принятые и

набранные рассказы Андрея ПЛАТОНОВА, сказал, что считает это безобразием и что он позвонит ЕРМИЛОВУ и ПАВЛЕНКО о том, что „Правда“ вовсе не имела в виду изгнать ПЛАТОНОВА из печати.

Однако ПЛАТОНОВ говорил САЦУ, что его вызывал тов. ЩЕРБАКОВ и объявил ему, что он (ПЛАТОНОВ) должен „сейчас же“ написать совершенно ясную политически вещь, иначе ему будет плохо. ПЛАТОНОВ очень взволнован и растерян», — сообщал доноситель.

О вызове Платонова в ЦК известно не так много. Но осенью 1935 года Платонов говорил со слов доносителя: «Меня никто не печатает. Вокруг меня создалась странная обстановка. Меня покрыл ЩЕРБАКОВ за „Такыр“. А потом МАРЧЕНКО вызвал меня и говорил, что ЩЕРБАКОВ перегнул. Члены правления Союза Писателей встречались со мной и хвалили „Такыр“ и говорили, что ЩЕРБАКОВ покрыл зря, просили не придавать этому значения. Почему же они молчали, когда слушали его?»

Почему молчали — это действительно вопрос, и положение Платонова вновь сделалось неопределенным, но речь Щербакова не имела для автора тех губительных последствий, что «антивроковские» статьи 1931 года. В 1936 году Платонова снова начали-продолжили печатать. Несмотря на то, что Щербакову, за которым стоял Горький, удалось остановить публикацию рассказов «Скрипка» и «Семья» в журнале «30 дней» и «Глиняный дом в уездном саду» в журнале «Колхозник» («Унылый романтизм этот „Колхознику“ не подходит», — резюмировал Горький), а также отрывки из «Джана» в «Правде» («я сда<л> „Джан“ печатать в редакцию „Правды“». <пропуск> принял у меня отрывки, но узнав, что это та повесть, о которой говорили у <пропуск>, — отказался печатать. А для меня в „Правде“ напечататься было интересно», — говорил Платонов в

сводке НКВД) — этот рассказ напечатала под названием «Нужная родина» «Красная новь».

Вместе с этим рассказом в 1936 году увидел свет «Третий сын», и так пошла череда рассказов второй половины тридцатых годов, что тотчас же стали классикой — факт, который признали и современники, однако прежде обратимся к последнему из дошедших до нас романов Андрея Платонова — к «Счастливой Москве».

Глава четырнадцатая ЛЮБОВНИКИ МОСКВЫ

Написанный карандашом на листах из школьных тетрадей, амбарных книг и свободных страницах рукописей ранних стихов, этот роман — самое загадочное произведение Платонова. В отличие от «Котлована» и «Чевенгура», впервые опубликованных на Западе, он много лет пролежал в семейном архиве то ли невостребованным, то ли хранимым от чужих глаз. Неизвестно, кто и когда из исследователей его первым прочитал. Нет на него ссылок ни в написанной Львом Шубиным статье о Платонове в «Краткой литературной энциклопедии», где упоминались не опубликованные на тот момент «Котлован» и «Ювенильное море», ни в предисловии к платоновскому избранному 1966 года, написанном Федотом Сучковым, ухитрившимся перечислить всё: и «Чевенгур», и «Котлован», и «Ювенильное море», ни в известном зарубежном исследовании «Андрей Платонов в поисках счастья», хотя, казалось бы, этот роман одним названием своим в эту книгу просится.

Так получилось, что «Счастливая Москва» увидела свет последней (не считая «Ноева ковчега» и «Технического романа») из крупных платоновских вещей благодаря усилиям и труду Натальи Васильевны Корниенко в девятой книжке журнала «Новый мир» в 1991 году — то есть по странным историко-мистическим законам как раз тогда, когда в СССР рухнула власть окончательно промотавших свое достояние бесталанных наследников большевизма и в стране начался новый отсчет времени. Но хотя об этом романе с той поры было написано немало умных статей и проведено достаточно глубоких исследований, все

равно темно и странно происхождение его мотивов, загадочны поступки героев, и трудно понять, неужели автор всерьез рассчитывал его напечатать в Советском Союзе? А ведь действительно намеревался, дважды заключив договор с почтенными издательскими домами: в 1934 году с ГИХЛом, а в начале 1936 года — с «Советским писателем».

Юрий Нагибин в эссе «Московский роман Андрея Платонова» определил «Счастливую Москву» как «гениальный роман и, наверное, самый страшный у Платонова, страшнее „Котлована“, там хоть пробивался какой-то бледный кладбищенский свет — ну хотя бы в преданности девочки-сироты костям своей матери, в заботе обрубка Жачева о ней; здесь все разъедено червем надрывно-больного сарказма. И ничего уже не остается для утешения человеческого сердца... Роман Андрея Платонова страшен, как страшна была тогдашняя, уже далекая, но не потерявшая способности к возвращению жизнь».

Сказано эффектно, да так ли это?

«Когда ночевал Жорж и вечером еще пришел Келлер, они упросили меня читать. Я им прочел кое-что из „Счастливой Москвы“, они удивились этой горести и трудной радости, духом которой проникнуто сочинение», — оценивал Платонов свой роман летом 1935 года в письме жене, и эти, не имеющие ничего общего с нагибинскими слова многое объясняют и в авторском замысле, и в его воплощении.

Платонов начал работу над «Счастливой Москвой» в 1932–1933 годах и написал предположительно около шести глав, после чего его отвлекла Туркмения, и он вернулся к роману позднее, работая над ним беспрецедентно долго для своей стремительной манеры письма — до конца 1936 года, целую рабочую пятилетку. Нельзя утверждать, что мы имеем дело с законченным произведением («роман-фрагмент» —

очень точно определил его жанр один из современных исследователей). В январе 1934 года автор сообщал группому Московского товарищества писателей, что заканчивает роман «Счастливая Москва», однако работа затянулась, и в этом затягивании было что-то не случайное, типологически похожее на историю с «Котлованом», когда писателя повел за собой наплывший в повествование новый смысл.

Название книге дала сирота революции, «девочка та из „народонаселения“, одинокая, пробродившая бездомный свет», дочь погибшего красноармейца, воспитанная в советском детском доме и там же получившая имя Москва Честнова. О ее матери ничего не известно, но в «Записных книжках» Платонова осталась запись: «Видно было (на лице Москвы), как ударами страстей некогда были сотворены эти губы, нос...» В характере героини, в ее «ясной и восходящей жизни» много такого, что Платонову было близко, понятно и вызывало восхищение — здоровье, любовь к солнцу, воздуху, ветру и траве, неукротимая тяга к свободе (не случайно девочка на год убегает из детского дома) и ощущение жизни как путешествия, жажда «таинственной, но высокой судьбы»; она действительно — Москва счастливая, в ней полнота бытия, а в могущественном и теплом пространстве ее тела слышен гул жизни. Но есть один штрих, одно обстоятельство, одно испытание, через которое платоновская героиня проходит, и на первый взгляд играючи, легко, но весь роман и дальнейшая судьба девушки этим событием определяются и ломаются.

Москве было семнадцать лет, когда она вышла замуж. О том, кто был ее первым мужем, говорится скупно: «Случайный человек познакомился однажды с Москвой и победил ее своим чувством и любезностью, — и тогда Москва вышла за него замуж, навсегда и враз испортив свое тело и молодость. Ее большие руки,

годные для смелой деятельности, стали обниматься; сердце, искавшее героизма, стало любить лишь одного хитрого человека, вцепившегося в Москву, как в свое неперемное достояние».

Этот не названный по имени человек, который никогда больше не появится на страницах книги, не совершил ничего подобного тому, что сделали Атахбаба, Нур-Мухаммед или безымянный грузинский старик из «Течения времени» со своими жертвами, да и потерявшей девственность Москве было не десять, не двенадцать и даже не четырнадцать лет, но права Н. В. Корниенко, назвавшая платоновскую героиню «советской Лолитой» (хотя даже более отчетливо набоковский мотив был предвосхищен в «Джане», а что касается Москвы Честновой, то в качестве другой опережающей литературной ассоциации можно вспомнить пастернаковскую Лару Гишар, которую «преступно рано сделали женщиной», или предшественницу Москвы Олю Мещерскую из бунинского «Легкого дыхания»).

Роман написан так, что случившаяся с девушкой «порча» искажает ее судьбу, и недаром в конце счастливая Москва называет себя «душевной психичкой», а в черновике остается объяснение причины этого неожиданного самодиагноза — «от неудач ранней жизни». Вот почему не Платонов жесток к «светлой комсомольской юности», как предположил в своем эссе Нагибин, а жизнь к ней жестока, люди. Конкретнее, тот первый, кто ею овладел и завладел. И точно так же вряд ли прав был Юрий Маркович, когда решил, что, «описывая ее [Москвы] внешность, Платонов с видом простодушного восхищения говорит о ее юной „опухлости“. Выражение „пухленькая“ передает миловидность девушки, но „опухлость“ — это для утопленницы».

Эдак, пожалуй, Иосиф Сталин мог бы на полях платоновской рукописи написать, попади она ему в руки. Вот фраза в подлиннике: «Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой, и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека». Ну какая тут утопленница? Что касается слов «опухлый», «опухший», «опухающий» по отношению к девичьей внешности, то Платонов использовал этот корень и в «Ювенильном море» («...он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства»), и в «Котловане» («Одна пионерка выбежал? из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Вощеве и калеке»), и ничего уничижительного в этих словах для автора не было.

Искажение в облике героини дает знать о себе не сразу. В первых главах кажется, что перед нами роман об идеальной молодой советской женщине, о неумершей, но повзрослевшей котловановой Насте или Ксении из повести «Джан». Даже подчеркнутая физиологичность девушки — «Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную скудную пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни!) в розовую чистоту, в цветущие пространства ее тела» — не нарушает ее внутренней гармонии и совершенства. Москва учится в школе воздухоплавания, и что лучшего, более высокого и прекрасного могла предложить советской девушке судьба в те годы, о которых Платонов писал свой долгий роман?

Однако начинающийся как повествование о счастливой юности, о прекрасной жизни того поколения, ради которого сражались на Гражданской войне герои «Сокровенного человека» и «Чевенгура», восстанавливали страну из руин персонажи «Технического романа», рыли фундамент строители общепролетарского дома в «Котловане», торговала телом и делала аборты Надежда Босталоева из «Ювенильного моря», мучились, умирали от голода герои «14 красных избышек», трудился неизвестный солдат коммунизма Никодим Стратилат и мечтал Александр Македонский, посылая в психиатрическое царство Кутемалии верного слугу Фирса, призванный стать итогом, оправданием всех этих усилий, жертв и потерь, роман «Счастливая Москва» такому предназначению не соответствует и по ходу действия все больше и больше пропитывается даже не трагизмом, а илистым течением жизни и, незавершенный, обрывается на печальной, хотя и не безысходной ноте.

В этом восхождении и нисхождении сюжета отразились представления и умозаключения Платонова о современности. И метаморфозы жизни «образцовой» советской героини и попавших в ее поле людей образовали сюжет очень динамичного романа стремительных превращений и грустных итогов, в котором Платонов как нигде ближе подошел к идеям, образам и мечтам собственной молодости, столкнув их со зрелостью. Но если тридцатые годы, о которых он писал в «Эфирном тракте», представлялись далеким будущим, то теперь будущее настало, и совсем не такое, как ожидалось. В «Счастливой Москве» недаром появляются усовершенствованные весы, которые изобретает один из героев для того, чтобы положить конец «кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов». Но дело не

только в кулаках и бедняках. Инженер треста «Росметровес» А. П. Платонов взвесил на изобретенных им весах свое время, и главная героиня романа, девушка с именем стольного города, оказалась своеобразным хронографом и художественным эквивалентом эпохи, а ее судьба вобрала в себя все высоты и бездны времени как в переносном, так и в прямом смысле слова — от поднебесья до подземелья.

Счастливая звезда воздухоплавательницы Москвы Честно-вой срывается с небосвода в тот момент, когда, прыгая с парашютом с высоты две тысячи метров, девушка закуривает и случайно поджигает лямки. Купол над ее головой превращается в горящий факел, и лишь благодаря запасному парашюту испытательница остается жива. Зачем потребовалось парашютистке курить во время прыжка, притом что о курении Москвы никогда и нигде больше речь не идет, да и возможно ли это осуществить технически, или же вся описанная Платоновым сцена условна, — так даже вопрос нельзя поставить.

«Это не поступок Москвы, а поступок автора, нужный для его целей, а не для целей персонажа, — предположил Нагибин. — У другого писателя такая несуразица была бы промашкой, но не у такого мастера, как Платонов. У него это проверка здравым смыслом очередного советского уродства, вроде железной бляхи на соске или размалеванного, как потаскуха, паровоза». И если с первой частью высказывания еще можно согласиться, то со второй никак. Она, перефразируя платоновские строки о Луначарском, объясняет мировоззрение самого Юрия Марковича, открыто давшего под конец жизни волю своим находившимся под спудом брезгливым антисоветским чувствам (бывают и небрезгливые — разница дьявольская!), но никак не Платонова, у которого катастрофа — будь то железнодорожная, авиационная, а если вспомнить

раннюю прозу, пожарная («Чульдик и Епишка»), гидрологическая («Епифанские шлюзы») или космическая («Эфирный тракт») — не просто примета стиля, но — образ мышления.

Для Платонова бытие без катастрофы недействительно, и постоянная готовность, влечение к ней — органическое свойство его любимых героев, их родовая черта и внутренняя страсть. Недаром одному из персонажей «Счастливой Москвы» мысленно представляется тысяча инженеров, которые даже во сне мучаются «забытой днем деталью, грозящей ночной аварией».

Мир «Счастливой Москвы» — мир предгрозовой и грозовой, и Москва в нем не просто хулиганка, каковой она кажется окружающим, а она с детства, искала, испытывала — «где „край“, т. е. конец техники и начало катастрофы, и не доводила себя до „края“», — пока однажды все же не довела, и катастрофа в воздухе стала откровением и средством познания окружающего мира.

«Вот какой ты, мир, на самом деле, — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!»

Но не трогать мир невозможно. В романе все только и занимаются тем, что проверяют его на жесткость. И получают по полной в ответ.

«Но мы лезем внутрь мира, а он давит нас в ответ с равнозначной силой», — писал Платонов в статье «О первой социалистической трагедии», и эта максима служит ключом к романному коду и объяснением тех жутковатых описаний и сцен, которыми изобилует жесткое и экспрессивное платоновское повествование. Но мир становится резким и непримиримым не только тогда, когда в нем зажигают небесные факелы, а после о молодом мужестве поджигательницы пишут

отечественные и заграничные газеты и журналы. То же чувство испытывает Москва Честнова, когда слушает нищего уличного музыканта, играющего Бетховена, с тем же ощущением живут другие герои романа — гениальные хирург Самбикин и механик Семен Алексеевич Сарториус, урожденный Жуйборода, а также не гениальный, но зато бескорыстный друг всего прогрессивного человечества, землемер и городской землеустроитель, ударник, секретарь стенгазеты и организатор ячеек Осоавиахима и Мопра Виктор Васильевич Божко — все трое влюбленные в воздушную комсомолку, неспособные устоять против той жизненной силы, что в ней бушует.

Эти герои любопытны автору не только по причине любви к непобедимой Москве Ивановне. Они — новые люди молодой советской республики. Ее первый плод, ее достижение, оправдание, гордость, ее элита, которую правительство кормит, лелеет и украшает в лучшие шелка и иные дорогие матерьялы, ибо «одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью к стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте». Среди них и Москва Честнова, хотя ее незамеченная, не понятая ею самая громкая слава осталась в прошлом, и после изгнания из воздушного флота («Нам жалко утратить вас, но, кажется, мы вас уже потеряли... Вы понятия не имеете о Воздухофлоте, Москва Ивановна! Воздухофлот это скромность, а вы — роскошь! Желая вам всякого счастья!» — говорит ей на прощание известный безаварийный летчик Арканов, и это очень смахивает на ядовитую авторскую оценку) молодая женщина работает в районном военкомате «для ликвидации упущений в учете».

Работа погружает ее в мир социального дна, где обитают худые, бледные, неудачные мужчины и

некультурные женщины, и Москва Ивановна Честнова оказывается связующим звеном между высшей и низшей стратами советского общества, между теми, кто ушел вперед, и теми, кто тащится позади или вовсе не хочет никуда идти. Но любят Москву Ивановну все и везде, и она отзывчива ко всем, и это ее основная человеческая, женская черта, ее призвание, работа и индивидуальное жизнотворчество.

«Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулками равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтоб сваи входили прочно в глубину, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплый душ танцевальных зал и происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей — во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы она при этом не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать... Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы она сама была не человеком, а огнем и электричеством —

волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле».

Замечательные, возвышенные строки, которые даже Горькому с его любовью к факелам и кострам понравились бы. Казалось, пойдя автор дальше по этому пути, оставь на прекрасной высоте свою фею, покажи ее исправление, благородную роль труда в деле воспитания нового советского человечества, изобрази высокое предназначение социалистической женщины, взрывающей затхлый мещанский мир, и счастливое платоновское детище стало бы замечательным ответом на призыв написать роман о новой Москве. Не пришлось бы тогда с горечью отмечать в «Записных книжках»: «Не приняли роман — и руки и тело покрыли нарывы. Сломать человека легче, чем думают». Но с проверенных безопасных дорог, с отлаженных советских магистралей, где четко регулировала движение творческих личностей коммунистическая партия под мудрым руководством вождя, Платонова, как и его героев, уводило в опасность, в зыбкость, в риск, в те материи, обсуждать которые при социалистическом реализме было не принято. В «Счастливой Москве» главной добродетелью и пороком лохматой красавицы остается любовь. Число любовников Москвы Ивановны не счесть, но в романе их четверо. Трое «высших» и один «низший», донельзя изношенный, он появится после второй катастрофы в жизни Москвы, когда ей некуда станет идти. Но покуда девушка еще на верхних этажах.

Добрый и бескорыстный эсперантист В. В. Божко дает ей кров и деньги на образование, за что она расплачивается с ним любовью — пусть даже он этого не просил, не смел просить и никогда больше не попросит — с той же естественностью, с какой это сделала мать Назара Чагатаева из повести «Джан». Удивленный ее неясной прелестью, воодушевлением и

скромностью на закрытой комсомольской вечеринке, великий Самбикин, который обыкновенно бывает занят настолько, что ему некогда следить за собственной чистоплотностью, садится рядом с Москвой, слушает, как бьется сердце в ее груди, и думает о том, что человеческое тело раньше летало. Он чувствует влечение к женщине, одетой в чайное платье весом в три-четыре грамма, но «сшитом настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Москвы обозначался волнением ее шелка». Будучи человеком дальновидным и рациональным, он отказывается от сближения с нею, чтобы «не портить тела» Москвы и чтоб не страдать самому от того, что эта женщина не будет ему верна, ибо не сможет «променять весь шум жизни на шепот одного человека». Зато безнадежно до ощущения мучения во всем теле и в сердце, до шепота старых слов «Боже мой!» влюбляется в Москву неинтересный человек с «добрым и угрюмым... неточным и широким», «похожим на сельскую местность» лицом Семен Сарториус.

Ничего поделывать со своим чувством гениальный инженер и рационалист не может, так же как некогда не смог Евгений Васильевич Базаров противостоять своей незваной страсти к помещице Анне Сергеевне Одинцовой, и, вместо того чтобы продолжать поклоняться атомной пыли и электрону — вот как поразительно оборачиваются мотивы старого рассказа-видения «Жажда нищего», где, как показала жизнь, совсем не напрасно всех женщин было решено уничтожить во избежание тех коллизий, коими «Счастливая Москва» перенасыщена, — Сарториус уходит бродить со «стервой» Москвой по подмосковным колхозным полям. Он испытывает к молодой женщине и ее горячему телу невероятную нежность: «...что бы она ни делала сейчас, все ему приносило в сердце содрогание и он пугался развертывающейся в нем

тревожной и опасной жизни. Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал... Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и все, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека».

В землемерной яме — своего рода маленьком котловане или могиле — «природа сомкнулась для Сарториуса в одно тело Москвы и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног». Однако любовь воздушной попрыгуньи не приносит механику счастья.

«Беспомощный и ничтожный вылез вслед за нею Сарториус. Он стоял один на рассвете, в пустоте недозревших полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище». Он делает Москве предложение, но выходить замуж за чудака, украдкой обнюхивающего ее туфли, женщина с блуждающим сердцем не хочет.

«— Семен... Знаешь что: ты лучше разлюби меня... Я ведь уж многих любила, а ты меня — первую. Ты — девушка, а я женщина!

Сарториус молчал. Москва обняла его одной рукой.

— Верно, Семен: разлюби! Ты знаешь, сколько я думала и чувствовала? Ужасно! И не вышло ничего.

— Что не вышло? — спросил Сарториус.

— Жизни не вышло. Я боюсь, что она никогда не выйдет, и я теперь спешу... Я раз видела одну женщину, она прислонилась лицом к стене и плакала. Она плакала от горя — ей было тридцать четыре года, и она горевала по своему прошлому времени так сильно, что я подумала — она потеряла сто рублей или больше.

— Нет, я люблю тебя, Москва, — угрюмо сказал Сарториус. — Мне с тобой хорошо будет жить!

— А мне с тобой будет нехорошо! — отвергла Москва. — И тебе будет плохо: ну зачем ты врешь, что хорошо!.. Сколько раз я хотела разделить свою жизнь с кем-нибудь, и теперь хочу, — я ничуть не жалела своей жизни и не буду ее жалеть никогда! На что она мне нужна без людей, без всего эсэсэра? Я комсомолка не оттого, что бедная девочка».

Кто эта таинственная фемина, бросающая выгодного жениха и уходящая бродить дальше по советскому белу свету, готовая отдать свое тело любому, разделить его с каждым, живущим в эсэсэре? Во всяком случае, больше уж не Лолита. Но тогда кто? Социалистическая Клеопатра? Комсомолка Манон Леско? Вавилонская московская блудница? Грешница? Или же несчастное пустое создание, воспитанное на передовых теориях тетушки Коллонтай о любви как «стакане воды», жертва безрелигиозного большевистского воспитания и бездуховного окормления идеями коллективной жизни, где бабы в колхозе мужицкими давалками станут?

«В ее многомужней пизде была прелесть — запах многообразного человечества, в ней можно приобрести было опыт многой жизни», — отметил Платонов в «Записных книжках».

Он нимало не идеализировал странную гостью своих страниц, не похожую ни на Надежду Босталоеву, ни на Лидию Вежличеву, ни тем более на Суениту Гармалову. И если уж задаться целью искать предшественниц Москвы в платоновской прозе, то можно вспомнить Софью. Только не Макарову из «Чевенгура», а Крашенину из «Строителей страны», чей образ отличается изрядной мерой физиологичности, так свойственной Москве, а кроме того, невероятной притягательностью в глазах мужчин и одновременно потенциальной женской неверностью, когда в ответ на возвышенное двановское признание в любви Крашенина

буднично излагает юному большевику свои параллельные мысли: «Я вам вот что скажу, только по секрету. Любая женщина <хочет? желает — утрач.> иметь всех мужчин, а в одного влюбляется только от отчаяния и невозможности... Вы понимаете меня? <...> Ну что мы с вами будем делать, когда поженимся? Вы не подумали этого?»

Москва идет дальше Софьи и в любви, и в работе, и даже в еде. Во время праздничного комсомольского ужина, когда все стараются есть поменьше, жалея «дорогую пищу, добытую колхозниками трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и с классовым врагом», одна Москва, забывшись, ест и пьет «как хищница». Ее ум автор называет пошлым и лгущим, ее рот — алчным, но и для этой женщины любить — все равно что «есть еду», одна необходимость, а не главная жизнь. И в этой точке Москва Честнова, отклоняя предложение Сарториуса, странным образом совпадает со старым мастером Захаром Павловичем, который призывал своего приемного целомудренного сына Сашу Дванова жить главной жизнью.

«— ...Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно — никак, только одно наслаждение какое-то... Ты вот жил сейчас со мной, и что тебе — удивительно что-ли стало или прекрасно! Так себе...

— Так себе, — согласился Семен Сарториус.

— У меня кожа всегда после этого холодеет, — произнесла Москва. — Любовь не может быть коммунизмом: я думала-думала и увидела, что не может...»

И Сарториус, по-видимому глубже других персонажей выражающий авторскую позицию, приходит к постижению того, что «любовь в объятиях... не разрешала задачи влечения людей в тайну

взаимного существования», но также не случайно и то, что в сердце этого героя встречаются два самых глубоких чувства: любовь к Москве и ожидание социализма.

Мировоззренчески Сарториусу противостоит хирург Самбикин. Отношения двух мужчин напоминают поединок Щеглова и Душина из «Технического романа», а кроме того, Самбикин в своем цинизме и некрофилии чем-то похож на Николая Эдуардовича Вермо из «Ювенильного моря». Красивый, высокий, сильный и решительный Самбикин уверен в том, что «можно враз взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространства обычному серому взору человека» (и точно так же, но уже взошедшим на гору своего ума, ощущает себя Назар Чагатаев из «Джана» — здесь выстраивается ряд терпящих победу гордых платоновских «мессий»: Душин — Вермо — Чагатаев — Самбикин), а в глазах более мудрого и кроткого характером Сарториуса все это наивность, ибо, по его расчету, природа «трудней такой мгновенной победы и в один закон ее заключить нельзя».

Однако Самбикин, более всех платоновских гордецов претендующий на роль Фауста и убийцы Бога (недаром в черновом варианте романа остались его горькие слова: «Мне бабка говорила... у каждого есть ангел-хранитель. А внук ее открыл, что этот ангел — зверь, сознание из костного мозга»), предполагает существование особого вещества бессмертия, находящегося в каждом свежем трупе, и в романе есть сцена, написать которую можно было, лишь запасшись немалым писательским мужеством, а прочитать — мужеством читательским. В этом эпизоде детально изображается вскрытие трупа молодой женщины, но осуществляющий эту печально-необходимую операцию человек испытывает невероятное воодушевление, ибо, ему кажется, что он близок к разгадке тайны жизни:

«...Самбикин начал поворачивать мертвую девушку, точно предъявляя Сарториусу ее упитанность и целомудрие.

— Она хороша, — неопределенно произнес хирург; у него прошла мысль о возможности жениться на этой мертвой — более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь. — А сейчас мы увидим общую причину жизни...

Самбикин вскрыл сальную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть: в них лежала сплошная колонка еще не обработанной пищи, но вскоре пища окончилась и кишки стали пустые. Самбикин медленно миновал участок пустоты и дошел до начавшегося кала, там он остановился вовсе.

— Видишь! — сказал Самбикин, разверзая получше пустой участок между пищей и калом. — Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа — нюхай!

Сарториус понюхал.

— Ничего, — сказал он. — Мы эту пустоту наполним, тогда душой станет что-нибудь другое.

— Но что же? — улыбнулся Самбикин.

— Я не знаю что, — ответил Сарториус, чувствуя жалкое унижение. — Сперва надо накормить людей, чтобы их не тянуло в пустоту кишок.

— Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, — со скукой возразил Самбикин. — Ничего нельзя.

Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем:

— Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде».

Эта молодая женщина — не Москва Честнова. Но могла быть и она, могла быть ее сестра, и в том, что взрослые, умные мужчины философски взрезают, уродуют тело красивой женщины и нюхают содержимое кишечника, называя пустоту между пищей и калом душой, можно увидеть авторское отчаяние, насмешку, иронию, ужас, приговор, но главное — бессмысленность дальнейшего движения вперед человеческой мысли и знания. А ведь эти двое — по Платонову — лучшие, кто есть в стране, ее герои, духовные аристократы, о ком он писал в «Записных книжках»:

«NB. Есть такая версия:

Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренно думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного „плаката“, — но он локален, этот мир, он местный, как географическая страна **наряду** с другими странами, другими мирами. Всемирным, универсально-историческим этот новый мир не будет, и быть им не может.

Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть и надо работать среди них и для них».

Запись эта была сделана в 1932 году, когда Платонов только принимался свой роман писать, и принимался наверняка с другими чувствами, но вот что получилось: что бы ни было еще этим поколением искренне думающих новых людей открыто, никакой пользы оно не принесет, потому что их новый серьезный мир оказался по меньшей мере не лучше старого, но уродливее и страшнее.

Это даже притом что Сарториус смотрит на вещи иначе, чем Самбикин, и главный враг человечества для него не пустая кишечная тьма, а «что-то другое, более скрытное, худшее и постыдное, перед чем весь вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка, — что не пролезает в сознание и поэтому не

могло быть понято никогда прежде: в сознание ведь попадает лишь подобное ему, нечто похожее на саму мысль. Но теперь! Теперь — необходимо понять все, потому что социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впитаться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком...».

Сокровенные мысли героя были возвращением Платонова к этическому социализму и планам внутренней переделки человека, преобразованию его несовершенной природы и изгнанию из пролетарской жизни буржуазного пола, однако декларация сарториусовых намерений не удостоверяется действительностью. Серьезный, страдающий герой оказывается смешным и нелепым человеком с обесцененной идеологией. Нелепость эта проявляется в судьбе изобретателя, которого с помощью сердобольного Божко и при участии всего месткома весового треста знакомят с нежной и нерешительной с виду, но очень расчетливой внутри машинисткой Лизой, и та «приобретает его руками, как разумная хозяйка».

В сравнении с этой деловой девственницей Москва Честнова при сомнительности своего нравственного облика и вопиющем отсутствии традиционных женских добродетелей кажется кротким ангелом со слегка опаленными при падении с неба крыльями. Безответно влюбленный в гулящую Москву Сарториус был несчастлив и страдал, но в его страдании была жизнь; прирученный, одомашненный бедной Лизой, которая так любит его, что раздумывает, как бы безболезненно и незаметно изуродовать и без того не слишком красивую

наружность Сарториуса, чтоб не ушел от нее к другой женщине, — он становится похожим на духовного сладострастника, на шалуна, а точнее, стал бы таковым, то есть живущим отвлеченными, непроизвольно накапливающимися в его голове, как в семеннике, мечтами о бедняцком южно-советском Китае или шведском ученом Мальмгрене мозговым уродцем, когда б не проходящая в сердце неутешная, благословенная, святая любовь к грешной Москве Честновой. Ее он любит постоянно, ищет ее лицо в толпе незнакомых пассажиров, вспоминает, воображает и видит во сне, не зная, где она и что с ней, и в изображении этой мужской, человеческой тоски Платонов предельно нежен и лиричен.

А между тем исчезнувшая из жизни изобретателя весов вчерашняя парашютистка становится метростроевкой, но вместо того, чтобы отработать сей замечательный сюжет, сделать сомнительный роман проходимым и дать сто очков форы всем конкурентам, наперебой сочиняющим бездарные опусы про ударную советскую молодежь и ее стахановские подвиги, нерасчетливый писатель А. П. Платонов снова не оставляет Москве героического шанса. Продолжающаяся примерно полгода трудовая деятельность комсомолки Честновой в романе не описывается никак, будто время скучное и пропащее, и автор снова проявляет к ней интерес только тогда, когда она попадает в традиционную для Платонова техногенную катастрофу. Уже вторую в жизни Москвы Ивановны — только на этот раз не высоко в небе, а глубоко под землей. На девушку налетает в туннеле вагонетка, и она теряет ногу выше колена — мотив в платоновской прозе достаточно устойчивый, если вспомнить «Сокровенного человека» и «Мусорный ветер».

Оперировать Москву достаётся Самбикину. На операционном столе великий хирург впервые видит обнаженное тело той, что некогда приглянулась ему на вечеринке для молодой элиты и кому теперь, целуя ее в пахнувший хлороформом рот, готовый «дышать всем чем попало, что она выдыхала из себя», Самбикин говорит давно готовые в сердце слова: «Есть вещи, которые уничтожают все, это — вы». Момент истины наступает для Самбикина даже не в этой любви, а точнее, у нее есть прелюдия, когда врач помогает похоронить маленького мальчика, своего пациента. Ему он сделал операцию по удалению опухоли головного мозга, но так и не смог его спасти, зато использовал сердце и шейную железу ребенка для приготовления оживляющей суспензии, которую впрыснул в тело Москвы.

Самбикин идет за гробом мальчика вместе с его матерью, и «неизвестная, странная жизнь открылась перед ним — жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и привязанности. Эта жизнь была настолько же велика, как и жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна».

У героя появляется шанс очеловечиться. Словно в чеховских «Цветах запоздалых», Самбикин уезжает со своей искалеченной пациенткой в санаторий на Черном море. Его внутренности — здесь видно, как Платонов искал нужные слова: в черновике «гнили от терпеливой любви», в окончательном варианте «болели, точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая однообразная мысль к обедневшему, безногому телу Москвы», и с этой любовью поделаться ничего Самбикин не может. Так автор ответил своему гордому персонажу и за распластанную на операционном столе женщину с разрезанными кишками и отсеченной левой грудью — можно ли было больше унизить несчастное безответное существо, обнажив

уже даже не тело, но его внутренности? — и за бедного ребенка, и за все его бессмысленное базаровское восстание на природу, которую Платонов уже давно не считал врагом.

«Природа, она мила и добра тем, что наши первородные силы там и до сих пор действуют в чистоте, „наружи“, близко к нашему пониманию, — отмечал он в „Записных книжках“, — тогда как в людях это братское родство действия, душевной аналогичности скрыто, завуалировано тысячью условностей, искажениями реальной жизни, общественным коэффициентом».

Все это имеет прямое отношение и к судьбе изобретателя Сарториуса, выпадающего из элитарного советского круга, теряющего и славу всесоюзного инженера, и квартиру, и не перестающего бродить по одной Москве в поисках другой. И так получается, что встреча с Москвой Честновой заставляет героев романа временно или навсегда спуститься с высоких гор своего ума, честолюбия и прочих успешливых доблестей в природную долину обыденной человеческой жизни.

Но спускается в этот дол и брошенная Самбикиным, который «сначала любил ее, но потом задумался над ней, как над проблемой, и беспрерывно молчал», Москва. Оставаться в прежнем кругу, «будучи хромой, худой и душевной психичкой», ей совестно, и, «теперь хромая баба», она выходит замуж за самого жалкого человека — вневойсковика Комягина. Бывший художник и навсегда уронивший перо поэт, сознательный адепт частной жизни, давно начатый, но до сих пор не оконченный человек с изрядным запасом половой энергии, он дает своей последней возлюбленной обычное человеческое имя Муся. Они живут в коммунальной квартире с общей уборной, где из одной комнаты раздаются «закономерные звуки совокупления», из другой — крик мечущегося в ужасе

сновидения человека, а из третьей — шепот молитвы «Помяни меня, господи, во царствии твоём, я ведь тоже тебя поминаю, — дай мне что-нибудь фактическое, пожалуйста, прошу!»

В этой квартире, на чужой супружеской кровати, происходит такое долгожданное и заключительное любовное свидание Сарториуса с Москвой, но все больше гротеска, фантазмагии и абсурда становится в платоновском изображении нового советского мира и все больше яда проступает в письме: решивший умереть от сознания своей ненужности и прикинувшийся лежащим на полу трупом, покуда жена любит другого над его головой, Комягин; приветливая Москва с прелестным лицом, «смирным и добрым как хлеб» и с деревянной ногой, которую она стыдливо прячет под юбку; Сарториус, счастливый оттого, что его соперник мертв и никто не мешает ему любить его прекрасную даму прямо сейчас; и «воскресающий» свидетель «комнатных событий» и сбывшейся любви Сарториуса, снова просящийся в кровать к неверной Мусе «захудалый любострастник» вневойсковик.

И это Платонов хотел опубликовать в советском издательстве, раздражался, говорил знакомым (а те исправно передавали по известному адресу): «Мне надоело находиться в том положении, в котором я нахожусь. Видно, тот, кто поставил меня в такое положение, тот и может его исправить. Я работаю с утра до ночи, и мне приходится думать о том, что семье нечего есть. Я добываю деньги урывками. Мне хочется дописать свой роман „Счастливая Москва“, и нет времени. Я должен где-то добывать деньги. Меня никто не печатает».

А как они могли это напечатать? Расхождение Платонова и с советской литературой, и с действительностью 1930-х годов было еще резче, чем в 1920-е годы, и торжественно данное группому

московских писателей обещание не сохранять в будущей работе сатирических черт не сбывалось, хотя сатира сделалась все более глубокой, метафизической, и на Андрея Платонова, который упрямо «лез» внутрь советского мира, этот мир давил в ответ с неменьшей силой. Однако никакое давление не могло вынудить автора отказаться от мысли, что, «раз появился жить, нельзя упустить этой возможности, необходимо вникнуть во все посторонние души — иначе ведь некуда деться; с самим собою жить нечего, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба», или, как сказано в другом варианте текста: «можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма».

К концу повествования все гуще и злее становится советский быт, и на смену изображению жизни элиты приходят картины народного бытия. Но не в высоком, трагедийном джановском смысле, а в более повседневном и при всем гротеске реалистичном. Таков Крестовский рынок в Москве, где торгуют нищие и тайные буржуи, продающие одежду девятнадцатого века, портреты давно погибших мещан, посуду и хлебные карточки, где воруют, дерутся, бьют под присмотром милиционеров, надзирающих за «мелким морем бушующего ограниченного империализма», где трудящихся заменили трущисея — там умирает Сарториус, потому что «нельзя быть одним и тем же человеком, слишком горе большое настает, слишком...». Умирает, потому что «основная обязанность жизни — забота о личной судьбе, ощущение собственного, постоянно вопиющего чувствами тела — исчезла». Так рождается сарториусов двойник — работник прилавка, уроженец Нового Оскола Иван Степанович Груняхин, который женится на женщине, чей сын покончил с собой, после того как его отец ушел к молодой любовнице французской комсомолке Кате Бессонэ-

Фавор. Этой девушке Груняхин говорит слова, отражающие, нет сомнения, позицию самого Платонова:

«— Вы слышали, что есть золотое правило механики. Некоторые думали посредством этого правила объегорить всю природу, всю жизнь. Костя Арабов тоже хотел получить с вами, или из вас — как это сказать? — кое-что, какое-то бесплатное золото... Он его ведь получил немного...

— Немного — да, — согласилась Бессонэ.

— Ну сколько получил — не больше грамма! А на другом конце рычага пришлось нагрузить для равновесия целую тонну могильной земли, какая теперь лежит и давит его ребенка...

Катя Бессонэ нахмурилась в недоумении.

— Не живите никогда по золотому правилу, — сказал ей еще Груняхин. — Это безграмотно и несчастно, я инженер и поэтому знаю, природа более серьезна, в ней блата нет».

Так опять возникает мотив весов, равновесия, к которому стремится окружающий мир, и той цены, которую за это равновесие приходится платить.

А Москва Честнова исчезает со страниц романа, уходит из Москвы, которую сторожит на площадях и улицах «скромный, улыбающийся Сталин», в «ту даль, из которой не возвращаются». Что с нею случилось, далеко ли ушла она на деревянной ноге и кому выпало трудное счастье быть ее новым любовником или мужем — все это остается неизвестным, если не считать того, что на самой первой странице романа говорилось о том, что «до поздних лет в ней неожиданно и печально поднимался и бежал безымянный человек» с факелом. Но теперь Москва знала, что ничего романтического в дальнем человеке с факелом не было: им оказался ее ближний — будущий сожигатель, вневойсковик Комягин, проверявший в семнадцатом году посты самообороны, а революционный гул, запомнившийся девушке как

сокровенное воспоминание о революционном детстве, был бунтом уголовников, не желавших выходить из заключения на волю, потому что в тюрьме хорошо кормили. Едва ли где-то еще Платонов так жестко демифологизировал некогда возлюбленную им светносную революцию.

Глава пятнадцатая СРЕДИ ЛЮДЕЙ И ЛИТЕРАТОРОВ

«Дорогой Андрей.

Как обстоят дела с твоим рассказом? Очень прошу Тебя не задерживать, нам необходим он не позже послезавтра, — обращался на „Ты“ с заглавной буквы, как переписывались в серебряном веке Андрей Белый с Александром Блоком, к Платонову его будущий гонитель В. В. Ермилов 28 января 1936 года. — Черкни, пожалуйста, как обстоят дела. Привет.

Р. С. Кстати, твой рассказ в первом номере пользуется широкой популярностью».

Ермиловский постскрипtum относился к «Третьему сыну», опубликованному в январской книжке «Красной нови» в одной подборке с рассказом «Нужная родина», более известным под первоначальным авторским названием «Глиняный дом в уездном саду». Его герой, бродяга и мастеровой Яков Саввич Еркин, проживает жизнь «почти непригодную для себя», меняет не одну профессию и не одно пристанище, знает нужду и достаток, тюрьму и волю, одиночество и семейную жизнь, делает дела нужные и ненужные, причем вторые оказываются более прибыльными, и в конце концов обзаводится собственным домом и кузницей. Но главная перемена в его жизни случается однажды ночью, когда по миру ходят ангелы и в дом стучится ищущий отца с матерью ребенок-сирота. Так повторился чевенгурский мотив, но в сиротстве ребенка, который «нечаянно стал, один живет, ходит и думает», нет той печали, что вела по жизни помнившего своего отца и место его упокоения Сашу Дванова.

После смерти на Гражданской войне приемного отца, Якова Еркина, безымянный мальчик вырастает в «большого честного юношу» — одного из тысяч бывших сирот, которые «создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности». Этими словами заканчивалась журнальная публикация, но в рукописи осталось: «Он нигде не встретил живыми отца и мать, их могилы, наверное, давно загромождали где-то великие строения, и он перестал искать их. Выросши большим, мальчик понял, что многие мысли и чувства осуждены на то, чтобы носить их только в своей груди и спрятать затем вместе с собой где-нибудь в терпеливой темной земле».

Рассказ можно считать идеальным сочетанием идеологической безупречности (великие строения на могилах отцов были грамотно отсечены редакторской рукой) и достоверной авторской интонации, но вспомним Горького, отвергшего в 1935-м «Глиняный дом в уездном саду» с резолюцией: «Унылый романтизм этот „Колхознику“ не подходит». Унылый не унылый, романтизм не романтизм, но было в этом тексте что-то, заставившее современную Платонову критику погорькому усомниться в вере автора в счастливый финал и поставить перед советским читателем вопрос-диагноз: «...не являются ли лучистые апофеозы мрачных и безнадежных рассказов Платонова художественным компромиссом писателя? Не потому ли в финалах Платонов блекнет, увядает как художник, что он вообще не верит ни в какое освобождение человека? <...> не способен воспринять и отобразить никакого душевного подъема? <...> Он, как застарелый наркоман, боится всякого свежего ветра, грозящего развеять упоительно горький, волнующий его дурман жалости и сострадания».

Это — цитата из пространнейшей статьи критика А. С. Гурвича, опубликованной в «Красной нови» в конце 1937 года. О причинах, которые заставили редакцию

переменить мнение о любимом еще год — полтора года назад авторе, речь пойдет в свой черед, но получается, что «Красная новь» сама себя высекла. То же самое относится и к «Третьему сыну». «Зачем понадобилось Платонову объявить третьего сына коммунистом в рассказе, в котором общественная деятельность и политические убеждения совершенно не освещены?»

Ответьте-ка, товарищи из «Красной нови»! А затем и потребовалось, товарищи, что он, может быть, и не единственный коммунист, но единственный, кто этого звания, по Платонову, заслуживает.

В «Третьем сыне» новыми людьми оказываются сыновья умершей в провинциальном городе старухи. Как на некротких, но гордых, по праву унаследовавших землю победителей смотрит на них представитель мира старого — пришедший по завещанию покойной совершить панихиду православный священник, одетый в штатское, «розовый от растительной постной пищи, с оживленными глазами» и «мелкими целевыми мыслями», готовый, кажется, оставить свое служение, в которое он сам не верит, признать поражение и высказать «энтузиазм перед строительством социализма».

Но дело здесь не столько, условно говоря, в антицерковной составляющей или в той иронии, с которой Платонов священника описывал («...он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений, — для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте

без кислородной маски, — но ему не дали оттуда ответа»), — дело не в этой грустной насмешке, а в том, что между несчастным, потерявшим веру в Христа-Спасителя пастырем и ущербными детьми нового времени существуют несомненная связь и равновесие. Духовность последних ничуть не выше.

Старухины дети, которыми она так гордилась, — двое моряков, московский артист, начальник цеха аэропланного завода и студент-агроном, все за исключением одного — приехавшего на похороны физика — устраивают ночью рядом с комнатой, где лежит мертвая мать, смеховое представление. И хотя позднее все тот же Гурвич обвинил Платонова чуть ли не в фарисействе и жизнеотрицании, противопоставив автору рассказа Пушкина с его: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть...» (цитата была использована самим Платоновым в статье «Пушкин — наш товарищ») — для Платонова это не неуважение даже, а патологическая невосприимчивость детей к смерти матери есть проявление не душевной черствости, а порок сердца, торжество машинного сознания.

«Трагедия не в том, что умерла мать, а в том, что жизнь продолжается», — резюмировал в связи с «Третьим сыном» Гурвич, и то была, хоть и правдоподобная, но — ложь. При всей любви к умершим, при всем действительном трагизме жизни мысль автора была иной, сформулированной предельно точно: «Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не

вытерпела жить долго». Вот в чем трагедия, но в рассказе есть и ее преодоление: смерть становится источником жизни, и к этой мысли Платонов вернется в военной прозе.

Надо отдать должное вкусу советских литературных командиров: «Третий сын» был тотчас же переведен на английский и французский языки, опубликован в журнале «Интернациональная литература», он вошел в американскую антологию короткого рассказа в 1937 году, и известны слова будущего нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя о том, что он учился писать у Платонова.

А между тем в веселом тридцать шестом году «Красная новь» продолжала вышедшего из-под опалы автора печатать. В июньском номере был опубликован рассказ «Семен» с подзаголовком «Рассказ из старинного времени», главный герой которого — семилетний мальчик, старший сын в многодетной семье — берет на себя бремя умершей матери, перетекая в ту пустоту, которая после ее смерти образовалась. Он надевает на себя материнское платье, и рассказ в чем-то перекликается с «Третьим сыном», но в «Семене» практическому здравомыслию среднего сына Захарки («— Тебя ребята на улице девчонкой дразнить будут! — засмеялся Захар. — Ты дурочка теперь, а не мальчик!») противостоит добровольное перевоплощение в мать старшего.

«— Пускай дразнят, — ответил Семен Захарке, — им надоест дразнить, а я девочкой все равно привыкну быть... Ступай, не мешайся тут, бери детей в тележку, а то вот веником получишь!»

В журнальной публикации рассказ заканчивался словами Семена: «Папа, давай сначала мать откроем, ее надо обмывать... А потом ты плакать будешь, и я буду, я тоже хочу — мы вместе!» Но в рукописи было несколько фраз, отсеченных при редактировании:

«— Обожди, Семен, — произнес отец.

— Ты лучше не зови меня Семеном, — попросил старший сын. — Ты зови меня по-другому, зови Ксеньей, такие девочки есть, и большие есть...»

В Петербурге в восемнадцатом веке жила женщина с именем Ксения, которая после смерти мужа взяла его имя Андрей и до конца дней ходила в мужском платье. Трудно сказать, имел ли в виду автор рассказа эту параллель, но даже если и нет, все равно что-то не случайное есть в сходстве двух сюжетов, ибо то, что совершает маленький платоновский герой, — есть подвиг юродства.

Этот подвиг был описан и в «Ямской слободе», и в более позднем рассказе «Юшка», герой которого терпит поношение и заушение от взрослых и детей, но при этом живет с уверенностью в том, что его «народ любит», только «без понятия», ибо «сердце в людях слепое». А когда побитый одним из этих сердечных слепцов, «Божье чучело» Юшка — и именно Юшкой звали Платонова в семье — умирает на большой дороге, то оказывается, что без него «жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство».

Вслед за «Семеном» летом 1936 года Платонов опубликовал рассказ «Бессмертие». История создания этого редко включаемого в авторское «Избранное» произведения отличается от большинства платоновских текстов тем, что рассказ был написан на заказ. Заказчиком оказался новый нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович, предложивший советским писателям написать книгу о работниках железнодорожного транспорта. Главным редактором проекта назначили Ермилова. Платонов был включен в писательскую бригаду и получил двух героев-

орденоносцев, одним из которых стал начальник станции Красный Лиман Донецкой железной дороги Э. Г. Цейтлин (впоследствии репрессированный). Срок — месяц, но писать быстро Платонову было не привыкать, и рассказ был написан еще до встречи автора со своим героем. «Цейтлин человек умный (правда, я говорил с ним пока минут 10), очень похож на свой образ в моем рассказе», — сообщал Платонов жене 12 февраля 1936 года.

Виктор Шкловский позднее утверждал в «Литературной газете», что он «с трудом поднимал на эту работу Андрея Платонова», но верить Шкловскому не всегда можно. Во всяком случае, очевидно, что никакой аллергии на «эту работу» у Платонова быть не могло: железнодорожников, их быт, их труд он знал и любил, и государственная необходимость идеально совпала с личными интересами «наемного работника», как довольно точно определил ситуацию старый гудковец Семен Гехт.

Плодом любви стали одни сутки Эммануила Семеновича Левина, героя «Бессмертия», вписанные в паровозный пейзаж, где огромные машины были, как люди, каждый со своим характером: «После полуночи, на подходе к станции Красный Перегон, закричал и заплакал паровоз ФД^[54]. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась...»

Начальником этого паровозного царства оказывается уже не старый механик из «Чевенгура», для которого машины суть существа более высокого

порядка, нежели люди, а заботливый, ответственный человек, железнодорожный странник, не пешком с нищенской сумой исходивший, а в кабине локомотива изъездивший огромную страну от Уссурийского края до Москвы, все свое сердце истративший на железную дорогу — и не только на машины, но и на людей. Одному из своих подчиненных Левин помогает купить достойного петуха для его плимутроцких кур, другому составляет более удобный график работы, чтобы тот мог возить на продажу горшки, с третьим ведет душевные беседы и не перестает зорко приглядывать, почему не принимают вагоны на башмак или горочный паровоз не может осадить состава.

У служебной верности государственного холопа своя цена — личная жизнь, вернее, ее отсутствие. С первой женой, артисткой, Левин расстался, женился второй раз, но жена и дочка живут в Москве, а он — с красивой кухаркой Галей. Однако иных отношений кроме бескорыстной заботы друг о друге меж ними нет, и Левин, придя с работы домой, как обычно «сам погладил и поласкал свое тело». В этой фразе при всей склонности Платонова к иронии и двусмысленности едва ли была отсылка к образу рукоблуда Козлова из «Котлована». Скорее строгая и чистая рифма к тем аскетичным асексуальным героям, которых Платонов писал в двадцатые годы. «Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, — и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и может быть — хорошо, что их не будет». Это, последнее, мог бы сказать о себе и безногий инвалид Жачев...

Но, пожалуй, самый интересный и живой герой рассказа не Левин, а его помощник с лицом заклятого врага турецкого султана Ефим Едвак.

«Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться <...> В свободное, домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя, как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак».

Воробей Едвак — а сравнениё с воробьем для Платонова едва ли не высшая и самая устойчивая похвала — и в самом деле живет, хоть и жалуется не только на эту жизнь в бордовом Перегоне, но и на всю советскую систему — поразительно, как это место не только пропустили в печать, но даже не заметили уже напечатанное: «У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одно нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть...»

Последнее — прямой выпад против Левина, который не бушует, не живет, а терпит, и Едвака пытается для государственных целей приспособить. Однако советскую критику, прозевавшую Едвака, «неполноценность» образа жизни коммуниста Левина с его налившимися кровью от недосыпа глазами взбесила. «Нужно ли доказывать, что платоновский „большевик“ отличается от подлинного большевика как

смирение от непримиримости, как отчаяние от гнева, молитва от действия, знахарство от науки, фанатизм от общественного самосознания, как нищая сума от рога изобилия...» — возопил первый платоновед республики А. С. Гурвич и вбил свой костыль: «Самосознание Левина и тенденция развития советской социалистической личности прямо противоположны».

А между тем Платонов своего героя нимало не абсолютизировал и вовсе не настаивал на том, что все люди и даже все большевики непременно должны быть такими, как Эммануил Семенович.

«...люди должны проявлять свою жизнь, наслаждаться, стремиться — при всех обстоятельствах во все времена, будь рабство, будь средние века, будь будущее. Нельзя согнуться всем, присмиреть, нет — это немногие. Количество радости, оптимизма приблизительно одинаково, и оно, это количество, способно проявляться почти в любых формах — в самой даже жалкой форме. Жизнь никто не может, не хочет откладывать до лучших времен, он совершает ее немедленно, в любых условиях», — отмечал он в своей «Записной книжке чужих идей, мыслей и разговоров».

Левин на этом фоне — фигура исключительная. Но все же по сравнению с иными платоновскими персонажами довольно условная. Это скорее парадно-рабочий портрет, выполненный в той манере, за которую автора хулили и профессионалы, и любители — мнение последних привела «Литературная газета» в конце 1937 года: «Работает Левин отлично. Но думает и чувствует он, как болезненный человек, а не стойкий большевик, посланец железного наркома товарища Кагановича». А Платонов, если верить очередному донесению в НКВД, хотел — страшно вымолвить — и самого Лазаря Моисеевича изобразить в заказанном ему киносценарии «несчастливым человеком», который «не знает, что ему делать, за что приняться», и «в

угловатой железнодорожной шинели он бродит по путям, везде пусто, поезда не идут, запустение, неразбериха... Получается впечатление маленького ничтожного человека».

«Сознает ли Платонов, на чью мельницу льет он нескончаемые потоки слез? — по-партийному поставил вопрос Гурвич, который киносценария не читал, но ему вполне хватило рассказа. — Понимает ли, каким общественным группам в условиях сегодняшнего соотношения классовых сил нужна апология нищеты? Видит ли, что его „человеколюбие“ на руку только человеконенавистникам, что его скорбная страдальческая поза может привлекать тех, кто теперь пытается „врасти в социализм“ христосиком, чтобы при первой же возможности обернуться Иудой?!»

Однако поначалу с «Бессмертием» все было совсем не так. Весной 1936 года еще не опубликованный, этот рассказ заслужил высокую оценку В. П. Ставского. Раскритиковав в «Литературной газете» Пильняка, Добычина, Кирсанова, Гладкова и Шкловского, заместитель Фадеева в Союзе писателей побил этих литераторов не кем иным, как Платоновым: «...вместо общих разговоров по предложению тов. Славина прочитал рассказ Андрея Платонова о Цейтлине — начальнике станции Красный Лиман. Рассказ талантлив, написан по материалам жизни. Автор был на станции Красный Лиман, изучал действительность. В рассказе есть потрясающее место: разговор тов. Цейтлина с наркомом. <...> Слушая рассказ, мы чувствовали, что человек понял материал, хочет работать. Это не поденщина, а настоящая работа. И наше рабочее отношение к этому отразилось в живом обсуждении рассказа».

Разговор с наркомом был самым сомнительным местом в «Бессмертии» — вместо ударной по смыслу сцены происходили зависание и сплошная неловкость:

«Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стоял безмолвный...

Левин сообщал, как работает станция.

Нарком спросил, чем ему надо помочь.

Левин не знал вначале, что сказать...

Пауза...

Оба человека молча слушали это мучение энергии...

Левин выждал время...

Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого счастливого человека».

Если эта пробуксовка входила в стремительный железнодорожный замысел, где все должно мчаться, а не хулиганить на маневрах, то уж слишком рискованной эта пробуксовка была, если доведенная до абсурда подростковая, девичья влюбленность аскета Левина в свое далекое московское начальство («Во время короткого ночного телефонного разговора, полного глубокой, стыдливо высказанной любви хороших работников друг к другу, Каганович подкрепляет правильные установки работы Левина в его работе, поднимает их на более высокую ступень, обобщает их», — похвалил писателя выдающийся литературовед-марксист Г. Лукач) отвечала авторским намерениям и он такими хотел показать двух большевиков — тем более. Но коль скоро Ставскому понравилось, Каганович еще не читал, а потом не стал возражать или, скорее всего, так и не прочитал, и — хорошо^[55].

Похвала литературного руководства обернулась для Платонова уникальной, пусть и не очень долгой победой, эхо которой раздавалось целый год. В 1937-м, выступая на пленуме правления Союза советских писателей, Ставский вновь подтвердил свои слова. Великий Лукач поставил платоновского Левина в один ряд с треневской Любовью Яровой, фадеевским

Левинсоном, шолоховским Давыдовым и с Павлом Корчагиным Н. Островского. Столь высоко по лестнице советского успеха Платонов не взбирался никогда, но что-то шаткое, неуверенное было в этом подъеме...

В конце марта 1936 года он поехал в Карелию и встретился с новым героем — стрелочником-орденоносцем станции Медвежья гора Кировской железной дороги Иваном Алексеевичем Федоровым, о котором написал рассказ «Среди животных и растений». Лес, озеро, повседневная жизнь людей среди природы — весь этот ближний для его насельников мир был противопоставлен в рассказе дальнему, условно счастливому, фальшивому московскому существованию, о котором мечтает герой: «...там в вагонах музыка играет, там умные люди едут, они розовую воду пьют из бутылки и разговор разговаривают... Ему обидно было, что он не знает науки, не ездит в поездах с электричеством, не видел Москвы и только раз нюхал духи из флакона у жены начальника десятого разъезда. Ему лишь приходится бродить в туманном лесу — среди насекомых, растений и некультурности, когда там мчатся вдаль роскошные поезда».

В сопоставлении с «маленьким начальником» Левиным, который мыслит государственно, Пучков, этот по-настоящему «маленький человек», стрелочник во всех смыслах слова, более органичен. Рассказ о нем можно было написать даже в том случае, если бы он не совершил никакого подвига. Но Пучков его совершает: останавливает ценой собственного увечья мчащуюся на людей платформу и получает орден в Москве, куда так мечтал всю жизнь попасть и откуда вывозит самое сильное впечатление не от мавзолея, не от Кремля — «Я там американку видел в метро: она коричневая».

«Печатать» — поставил визу сотрудник «Октября» В. Ильенков. «Дорогой товарищ Платонов! Рассказ Ваш

— „Среди животных и растений“ — написан прекрасно», — поздравлял Платонова редактор «Нового мира» И. Гронский. Однако в обеих редакциях потребовали поправок, и в итоге рассказ не был опубликован ни там ни сям, а 13 июля 1936 года в отсутствие отдохавшего в Крыму автора в Союзе писателей состоялось обсуждение.

«В самой жизни героя нет ничего радостного... нет никакой перспективы... чрезвычайно грустный рассказ о бедной внутренней духовной и пустой жизни... Нет героя, нет подвига, есть случай... Прочитают этот рассказ сотни и тысячи людей и подумают: а что, если бы не было этого случая? Что, если бы он не упустил вагона, или упустил и потом не поймал? Причем он потерпел ранение. Это значило бы массу неприятностей вплоть до суда. Если бы не было ни того, ни другого. Спрашивается, есть ли в этой жизни, а ведь это Советский Союз, есть ли в этой жизни какая-нибудь радость? Нет, в ней радости нет. Значит, нужно из нее уйти».

Так говорил Ф. М. Левин, однофамилец героя платоновского «Бессмертия», литературный критик, впоследствии для возвращения книг Андрея Платонова много сделавший и даже написавший небольшие воспоминания «Несколько слов об Андрее Платонове». Более жесткими были суждения других участников: «Вне сомнения, при чтении этого рассказа должно ^[56] получиться у читателя, особенно у железнодорожника, неприятный осадок... не чувствуется ни особой любви, ни уважения к герою, ни даже понимания его, а есть покровительственное отношение, которое не должно быть свойственно писателю... Тон рассказа нарочито пародийный <...> У Платонова такой взгляд на жизнь, что человек — это самое несчастное существо. У платоновского человека нет жажды к жизни».

Из выступления еще одного оратора, бывшего перевальского критика С. И. Пакентрейгера, известно о том, что он уже был на некоем писательском собрании, где обсуждалось творчество Платонова, и там «было прямо сказано, что это величайший писатель наш, что это самый гениальный писатель». «Меня поражают разговоры относительно Платонова, — обиделся Пакентрейгер. — Вообще говорить о Платонове почти не разрешается. Есть две точки зрения в отношении Платонова: одна точка зрения, которая ополчается против, а другие не дают сказать ни одного слова против Платонова... Споры о Платонове проистекают в совершенно ненормальной обстановке... О Платонове нельзя говорить — как только начинаешь говорить, сразу тебя перебивают... Зачем вы так сложно ставите вопрос, зачем я должен поверить, что Платонов гениальный писатель?»

Но самое достойное в стенограмме — речь писателя и критика Якова Рыкачева: «Платонов является очень сложной и интересной фигурой среди писателей. У нас найдется целый ряд литераторов, которые могут сказать, что здесь есть контрреволюционный душок. К Платонову надо подходить иначе. У него необычайно острое понимание страдания. Платонов начинает подходить к социализму и рассматривает социализм как то, что может излечить человечество от страдания. Надо помнить, товарищи, что у каждого к коммунизму свой путь... Платонов имеет право на этот путь. В тот момент, когда Платонов начинает идти по этому пути, его надо принять таким, как он есть».

И далее в ответ на возражение Ф. Левина, не пожелавшего «восторгаться и любоваться сложными и запутанными путями, которыми он [Платонов] идет к коммунизму, когда он делает различные пируэты и курбеты в сторону на своем пути», Рыкачев повысил градус защиты: «Нельзя говорить о Платонове, явлении

очень сложном, трудном и талантливом, говорить легковесным простым тоном рассуждения, что у него тональность не такая. По отношению к Платонову это преступно».

Когда б еще про этого писателя так говорили?

Однако мнение Рыкачева осталось одиноким голосом человека, а обсуждение рассказа свелось к тому, что над ним надо еще работать, и Платонов его несколько переделал, сумев опубликовать лишь в 1940 году в апрельском номере журнала «Индустрия социализма» под названием «Жизнь в семействе», однако в сборник «Люди железнодорожной державы» его не взяли. Ну ладно этот рассказ. Там было к чему придраться, и в подвиге главного героя было нечто двусмысленное, что очень точно выразил мудрый родитель стрелочника: «...когда как шарахнешь что-нибудь в жизни, так либо ты герой, либо покойник» — гениальная формула тогдашней советской жизни.

Труднее было понять иную вещь. Расхваленное на высшем писательском уровне «Бессмертие» тоже не стал печатать ни один из толстых журналов. Требовали уступок, изменений, Платонов не соглашался, и осмелился напечатать «житие» Эммануила Левина лишь один печатный орган в СССР, ни прозу, ни поэзию обыкновенно не печатавший, — журнал «Литературный критик». В одной подборке с ним увидела свет другая, более известная платоновская новелла — «Фро», произведение в равной мере и биографическое, и нет.

Отношения ее героев, одержимого «любовью к дальнему» инженера Федора и томимой «любовью к ближнему» его молодой жены Ефросиньи Нефедовны Евстафьевой, чем-то похожи на отношения Андрея и Марии Платоновых, но переадресуя «Фро» изящное платоновское предисловие к «Бессмертию»: «...в этом рассказе нет фактов, хотя бы в малой мере не

соответствующих действительности, и нет фактов, копирующих действительность».

Когда Платонов уезжал от жены, а уезжал он часто, то тосковал по ней совсем не так, как Федор по Фро. Ни увлеченность практическими делами, ни Волга, ни Туркмения, ни Медвежья гора не могли эту тоску затмить. Нив двадцатые, ни тем более в тридцатые годы. Однако случилось и так, что в роли Фро оказывался сам Андрей Платонович, и что такое тоска оставшегося дома человека, он хорошо знал. В том числе тоска эротическая, ощущаемая в новелле и мучительно переживаемая Платоновым в жизни.

«Засну, и вижу тебя во сне рядом, сжимаю тебя, а это сбившееся одеяло. Эта постоянная галлюцинация замучила меня, нервы расшатались вдребезги, я, вероятно, безболезненно не дождусь тебя. <...> Наверно, я расшатаюсь совсем. Если я тебя буду когда-либо и почему-либо лишен надолго, я кончу сразу жизнь. Ведь это смешно, — 35-летний человек терзается как юноша, у него трясутся руки, он не может справиться со своим воображением <...>

Милая моя, помни о том, кто тебе предан будет до последнего дыхания, кто, может быть, и умрет из-за тебя, из-за этой странной, „старинной“, вечной любви... <...> Ни друг, ни работа, никто не заменит мне мою музу, живую музу, тебя, дорогая девочка <...> Муза, возвращайся ко мне не ожидая конца твоего срока, мне очень тяжело <...>

Когда же ты приедешь? У меня дрожит сердце от одного воображения — что будет тогда между нами на нашем спальном ложе! Как я буду питаться тобой! Дождусь ли я этого, или что-нибудь неотвратно помешает приблизиться тому времени... <...> Пока я жив, ты будешь лишь рожать моих детей. Я это твердо решил. Довольно халтурной жизни. Довольно болезненных суррогатов любви».

Несмотря на выраженную мужскую окраску этих эпистолярных фрагментов, относящихся к июню 1935 года, Платонов мог бы сказать, что Фро — это он и ее тоска по мужу — это его тоска по жене.

«Дорогая Мария.

Почему ты не пришлешь письма? Или ты поступаешь по-старинному — „с глаз долой — из сердца вон“?

Мне же ведь очень скучно. Хотя и велика Москва на глаз, но она бывает пустой, когда в ней нет того, кого любишь.

Я всегда удивлялся твоему поведению. Как будто ты в глубине души лишь лицемеришь со мной. Все это странно. Ты ведь знаешь, в каком положении я остался, как много у меня заботы и работы. <...> Удивительно тяжело работать силой сердца, т. е. в литературе, когда само сердце непокойно и тебя, которую я люблю навсегда (это не фраза), нет со мной. Ты подозреваешь, что я люблю у тебя только тело. Это неверно. Верно то, что я люблю тебя вдвойне: тебя самое, т. е. твое существо человека, и тело как бы отдельно. Физическая привязанность моя к тебе сильна, но она лишь небольшая часть моего чувства. <...> Может быть, это все смешно для тебя и ты там живешь своим веселым способом с мужчинами. Ты не хочешь мне написать, одно это уже показывает твое хладнокровие, твое равнодушие ко мне. Так сделай что-нибудь сразу самое тяжкое для меня, а я всегда пойму свой выход. Как чудно жить с таким сердцем как у меня, — это, наверно, глупо со стороны. Человек все больше и больше влюбляется в свою жену. До чего ж это дойдет! Как будто дело идет не на возраст, а на юность.

Как бы я хотел любить тебя легко, беззаботно! Нет, я люблю тяжело. Помнишь хорошие слова:

„Ты любишь горестно и трудно“.

Оттого и моя литературная муза печальная, что ее живое воплощение — ты — трудно мне достаешься...

<...>

Сердце мое совсем сдало. Я чувствую такое обмирание его, потерю ощущения его, что несколько раз в такие припадки плакал, — не оттого плакал, что испугался смерти, а оттого, что не увижу тебя больше. Утром я просыпаюсь мокрый от пота и чувствую, что все цветы во мне съела корова — болезнь. <...>

Я пропадаю без тебя, но ты приедешь нескоро. Когда совпадают припадки недомогания и тоски, то я борюсь с собой, чтобы не кончить все это разом.

Работоспособность моя исчезает. Я все время сижу за столом, но думаю о тебе. Муза моя, подумай обо мне и помощи <...>

Если увидимся нескоро или не увидимся, то сохрани обо мне память навсегда. Я тебя любил и люблю всею кровью, ты для меня не только любима, ты — священная и чистая, какая бы ты ни была в действительности».

Эти очень многое в характере Платонова и в характере его прозы объясняющие письма были изданы полностью лишь в 2009 году (до этого, как уже говорилось, письма Платонова публиковались отрывочно и с очевидным нарушением датировки и хронологии). В нашем распоряжении нет ответных писем Марии Александровны, вероятно, ею самой уничтоженных, но с учетом тех слов, какие она говорила позднее Е. Одинцову: «Да, „любил“!.. Бросал всегда, уезжал куда-то надолго. Правда, с каждой станции открытки присылал — увидит какую-нибудь старуху или мальчишку, чего-нибудь интересное — и напишет. У меня этих открыток целые мешки были», — любовь к ближнему была ведома Платонову ничуть не меньше любви к дальнему. Другое дело, что взаимодействие этих двух форм любви было очень непростым, и помимо непрекращающегося давления со стороны литературных врагов Платонов переживал

домашние душевные коллизии, превращавшие его обыденную семейную жизнь в страдание.

«Если так пойдет, со слабым и больным телом, но с полной душой, с любящим тебя сердцем, но угнетенным, печальным — я жить не буду. Это решено. Это мне соответствует. Ты говорила мне когда-то, что счастьем твоему мешать не надо, если я его дать не могу. Так вот, я попробую. Если не выйдет, я исчезну.

В груди у меня стоит дикая физическая боль, эта штука истерлась вдребезги, чинить его не умеет никто. <...> От москитов, которые тебя искусили, есть простое средство, — не ходить много по ночам по глухим, заросшим местам. Это не ревность, это гибель».

Можно также сослаться на Эмилия Миндлина, вспоминая, как летом 1936 года Платоновы отдыхали всей семьей в Коктебеле и Андрей Платонович решил вернуться вместе с Миндлинными пораньше в Москву. В Феодосии, где ожидали поезда, он был мрачен, безучастен, неразговорчив.

«Меня поразило страдальческое выражение его лица, — вспоминал Миндлин. — В таком состоянии я еще не видел его. Жена спросила, не болен ли он <...> Нет, болен он не был, но какая-то душевная немочь явно одолевала его. Я знал, что он очень привязан к своей семье, очень любит жену и сына, и подумал, что ему тягостно расставаться с ними сейчас — возвращаться в Москву одному, в неприятную жизнь, к трудному своему московскому житию <...> И вдруг Платонов, должно быть отвечая каким-то собственным мыслям, вполголоса произнес:

— А в сущности человеку все равно, где жить».

А дальше, когда Платонов и Миндлины уже сели в поезд, случилось следующее: «Мы с Платоновым выходим в тамбур. С ним происходит неладное, он и чемоданчик свой не выпускает из рук. Остается две или три минуты до отхода поезда — Платонов вдруг

произносит фразу, смысл которой доходит до меня много позднее. Он второпях жмет мне руку <...> и выскакивает из вагона на перрон. Поезд еще не тронулся, и проводница стоит у ступени вагона. Платонов сует ей свой билет, советует продать кому-нибудь и, не оборачиваясь, бежит по перрону к выходу из вокзала».

О том, какую загадочную фразу произнес Платонов, прощаясь с Миндлиным, мемуарист не сообщил. «Я дал слово, что если удастся и сам забуду, а уж кому то ни было никогда не скажу. Забыть мне не удалось, да и могло ли такое удалиться! Но, дав слово, держу и сдержу его до конца. Тайна душевной драмы Платонова пусть так и останется навек неоткрытой — по воле Платонова».

Эта сложная психологическая ситуация отражалась и в творчестве. В «Записных книжках» 1936 года Платонов скупно заметил: «Женщины, как воздух, они окружают нас, они делают, что делают, выполняя волю пославших их, — они невинны, и нечего ими заниматься». Но великодушное прощение и отпущение на волю большей половины человечества не отменяло того факта, что женская душа, женская суть, ее внутренняя жизнь, ее превращения, изменения и движения стали значить для Платонова гораздо больше.

Женщина в рассказе «Фро» — не просто главная героиня с теми или иными биографическими чертами, а некий женский архетип. К ней, к ее чувствам и переживаниям смещается композиционный, смысловой, эмоциональный центр. Если молодой Платонов призывал к уничтожению женщин как класса, дабы они не мешали мужчинам покорять вселенную, если в середине двадцатых уже не уничтожал, а оставлял женщин ждать возвращения мужей, однако самому ему было интереснее описывать уехавших мужчин — отца и

сына Кирпичниковых в «Эфирном тракте» или Бертрана Перри в «Епифанских шлюзах» и их опасные приключения в далеких мирах, не говоря уже о героях «Чевенгура», фактически вытеснивших, затмивших собою женское сословие, если в период широкой полосы рубежа 1920-х — начала 1930-х годов наступила пора некоторой поэтизации, мифологизации женщины, но женские образы оставались связаны с мужской деятельностью (руководительницы хозяйств Надежда Босталоева и Суенита Гармалова, парашютистка-метростроевка, авантюристка и хулиганка Москва Честнова), то теперь Платонова стала интересовать женщина, оставшаяся дома, которой нет дела до новых электромеханизмов или же установления советской власти в Южном Китае, о чем грезит горячий, странный, никогда не болеющий, способный спать при шуме и есть одинаково вкусную и невкусную пищу муж Фроси Евстафьевой — Федор, этой чертой похожий на равнодушного к еде, о чем известно из различных воспоминаний, самого Андрея Платонова, но важно, что главный герой — не мужчина, а женщина.

Если верно, что рассказ «Фро» вырос из киносценария «Воодушевление», написанного весной 1936 года и рассказывающего о судьбе молодого машиниста Федора, арестованного после крушения поезда и в качестве наказания сосланного по неправдоподобно мягкому, хотя и незаслуженному решению тройки на дальнюю станцию, то между женой Федора прекрасной горбуньей Марфой (Арфой), которая также тоскует по мужу, и томящейся в разлуке Фро проходит грань. Существо Марфы не ограничивается одной любовью и ожиданием любимого человека. Как бы сильно она ни тосковала и ни любила мужа, она находит себя в общем деле, и фильм должен был закончиться тем, что Марфа тайком пробирается на паровоз и участвует в модернизации перевозок вместе с

отцом и возвращенным из ссылки мужем. Иное дело Фро, которой до всех этих мужских забот нет дела, и она способна только любить. Однако никакой идеализации, сакрализации этой любви и остающегося на месте женского мира в рассказе не происходит. Ориентируясь или нет на мифы об Амуре и Психее, Пенелопе и Одиссее, Орфее и Эвридике, на образы Ярославны из «Слова о полку Игореве», чеховской душечки, да и мало ли какие еще тени можно потревожить применительно к вечному сюжету разлуки и любви, — Платонов при всем сочувствии к своей героине трезв и беспощаден по отношению к ее чувствам и поступкам.

В «Записных книжках» осталась очень жесткая «черновая» характеристика героини рассказа «Фро», гораздо более резкая, чем в самом тексте.

Достаточно сравнить. В рассказе: «Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланой нежностью — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым».

А вот «Записные книжки»: «Наружность пошлая, волосы взбиты в уездную прическу, глаза с деланой нежностью, сладостью... В других отношениях — враждебна ко всем, ненавидит всех, — любовь к одному съела в ней все человеческое, обычное...»

И эта запись заставляет вспомнить совсем раннее, написанное в 1920 году, в пору платоновской борьбы с

полом: «Вы же есть дочь буржуазии, полная похоти, тоски, ненависти ко многим и любви к одному».

Все это имело отношение и к Марии Александровне, которую он называл то Музой («Здравствуй, Муся, Муза моих рукописей и сердца. Ты действительно моя Муза во плоти»), а то беспощадно и горько ронял: «Неужели ты только и связана со мной одними матерьяльными интересами? Как мало, в сущности, в тебе любви и как много хозяйственных соображений. Не бойся ничего, ты будешь жить хорошо. Только не задавай мне таких вопросов, я их не люблю слышать от тебя».

А еще у Фро есть отец, «худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения» человек, гораздо больше, чем Левин, похожий на игумена паровозного монастыря, описанного в «Чевенгуре», и более живой.

«— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию».

Здесь много смешанной с восхищением иронии. Однако присутствие старика важно как другой взгляд на события. Не совпадая с авторским, но и его не отрицая, он создает дополнительный фокус. Вот одна только сценка.

«Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год, и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, надвое уеду, твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже

мещанка...

Отец успокоил ее:

— Ну какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...»

Самое замечательное в этом сюжете то, что скучающая по мужу Фрося таки идет в клуб, хоть и не сразу, а всласть наработавшись на погрузке горячего шлака, и танцует с помощником машиниста, а потом с маневровым диспетчером, и описание этого вечера («В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: „Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!“ „Ту-ту-ту-ту“ — паровоз: „ру-ру-ру-ру“ — самолет; „пыр-пыр-пыр-пыр“ — ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори „ту-ту“, „ру-ру“, „шевелися каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..“ Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости, вслед за затейниками») представляет собой ту меру пошлости, какой не знает даже изображение верховного города Москвы^[57], а тоска танцующей, плачущей Фро от пребывания в клубе среди трусливых кавалеров делается лишь сильнее. Только вот с учебой даже не на дореволюционную мещанку, но всего-то-навсего на образованную советскую комсомолку ничего не получается.

Фро устраивается работать на почту, хитростью и обманом вызывает с Дальнего Востока мужа телеграммой (и этот ход очень похож на то, что хотел сделать измученный разлукой с женой Андрей Платонович летом 1935 года: «...я несколько раз порывался дать тебе телеграмму, чтобы ты немедленно выезжала»), проводит с ним десять или одиннадцать

дней полного счастья так, как она это счастье понимает, и теряет Федора, скорее всего, навсегда.

Однако тайное, оскорбительное бегство мужчины из дома женщины, причем не просто из дома, а из супружеской спальни, где они, к возмущению целомудренной советской критики, проводили все дни и ночи, не ввергает Фро в новое уныние — в конце рассказа она утешена, а ее тоска утолена. Возможно потому, что молодая женщина беременна, хотя никаких прямых указаний на это, ни даже намеков в тексте нет, а есть приходящий в гости соседский мальчик, играющий на губной гармошке, еще такой маленький, что он «не выбрал из всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни».

Этот мальчик — укор эгоизму главной героини и одновременно ее шанс спастись. Он напоминает старика-скрипача из «Счастливой Москвы» — та же отнесенность к высшему плану бытия, к той птичке из «Такыра» или, лучше сказать, из «Записных книжек», что надменно поет свою песню. А сама Фрося Евстафьева — антоним Москвы Честновой. Две эти героини соотносятся, как «да» и «нет», как пустое и полное, скупое и щедрое, верное и неверное, и Платонову скорее ближе открытая миру, не удовлетворенная любовью Москва. Этот момент очень важен. Если бы новой женщине, каковой с теми или иными оговорками является Москва Честнова, Платонов противопоставил женщину с традиционными ценностями как авторский идеал (чего так хотел Юрий Нагибин, писавший: «Женщине надо осуществлять свое предназначение деятельной любви, выращивания нового человеческого существа, а не висеть на стропах» — и вырванная из контекста мысль эта, спору нет, замечательная и сколь угодно верная, да только... не

платоновская), картина была бы совершенно другой и как бы более ясной. Увлекался, увлекался человек коммунистическими бреднями и ложными теориями, восставал на вечную природу, а потом понял тщету прыжков с горящим парашютом, да и вернулся к благотворному опыту отцов и матерей.

Но этого не происходит. Попрыгунья Москва Ивановна Честнова понимает ту вещь, которую не чувствует душечка Фро, — «любовь не может быть коммунизмом», но для постижения этой истины не умозрительным, а опытным путем Москве Ивановне пришлось сменить немало количество самых разных любовников. А вот верной Фро коммунизм не нужен. Ей нужна всепоглощающая любовь и больше ничего, и можно предположить, что Платонова такой итог в 1936 году не устраивал так же, как и в 1920-м. Ни в жизни женщины, ни в жизни мужчины, ибо, как справедливо заметил чевенгурский Захар Павлович, «у всякого человека в нижнем месте империализм сидит». Платонов оставался верен однообразным идеалам молодости.

Позднее именно за некомунистический, индивидуалистический сценарий Платонов под псевдонимом Ф. Человеков подвергнет критике феерию «Алые паруса», герои которой поступают так, как хочет Фро, — строят частное счастье в стороне от общей судьбы. «Бедный народ деревни увидел образ плывущего счастья в виде корабля под алыми парусами. Но деревенские люди знали: это счастье плывет не за ними. И действительно, лодка с корабля взяла к себе одну Ассоль. Народ по-прежнему остался на берегу, и на берегу же осталась большая, может быть даже великая, тема художественного произведения, которое не захотел или не смог написать А. Грин».

Но при всей духовной неполноценности, при способности достигнуть счастье через любовное

наслаждение, что для Платонова звучало как приговор («даже любовное счастье пары людей невозможно или оно приобретает пошлую, животную форму, если любящие люди не соединены с большой действительностью, с общим движением народа к его высшей судьбе»), Фро, эта платоновская «моршанская» Ассоль — персонаж очень лирический, проникновенный. В этом и заключены очарование и тайна предельно жесткой, нежной, трепетной, безжалостной, но не оскорбляющей женского достоинства и естества новеллы.

В других рассказах этой поры изображение «товарищей специального устройства» приземленнее и прозаичнее. В «Бессмертии» освобожденный благодаря Левину от мелочной жены составитель поездов Полуторный счастливо восклицает: «А женщина моя! — жена, которая журналисткой будет! Она ровно центнер до обеда весит, — мещанка такая!.. Ну теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович! Теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит».

Левину легче — его бабы далеко, а вот у героя другого железнодорожного рассказа — стрелочника Сергея Семеновича Пучкова есть молодая жена Катерина, есть семья, но есть ли счастье и можно ли сказать, что в прозе Платонова второй половины 1930-х годов малая семья противопоставляется семье большой, советской как некий новый авторский идеал?

Маленький мир пучковской избы в рассказе «Среди животных и растений» изображен как непрекращающаяся война «женщин тяжелого поведения» против мужчин (недаром в «Записных книжках» Платонов заметил: «По сравнению с животными и растениями человек по своему поведению неприличен»). Старая недовольна тем, что мужики шляются по лесу и приносят оттуда лишь мелкую живность, она «желала бы быть доброй постоянно, но

ей нельзя было — ведь все поедят, попьют, износят, а мужики перестанут работать, и тогда семейство помрет от нужды, двор зарастет лесом, выйдет заяц из кустов и будет гадить, где жил человеческий род».

Молодую мучает зависть.

«...а ты вот — неудельный! — сказала жена; она отвернулась лицом и заплакала: у людей и патефоны, и кофты, и мужья начальники, а у нее мало всего, одна изба, и то пополам со свекровью».

Катерина глупа, ревнива, мелочна, она встречает мужа «в тоске и в ревностной злобе», уверенная в том, что «муж ее явно любит другую, лучшую женщину, неизвестную ей прекрасную злодейку».

Но примечательно, что, несмотря на ироническое до гротеска изображение женского мироощущения, апогеем которого можно считать страх Катерины Васильевны, что в Москве ее муж полюбит парашютистку («„Ведь они летают, у них личики, говорят, такие хорошие“... Но, вспомнив, что у мужа рука-то правая почти не действует, жена утешалась: калеку едва ли кто полюбит, теперь барышни хитрые. Хотя, что же, рука ведь у него цельная, да и заживет она еще...»), Платонов оставляет решающее слово за стариком Пучковым.

«— Бабы спокон веку зажиточность любят, — сказал отец Сергея Семеновича, — чтобы всего было много: и белок, и рябчиков, и материя в сундуке, — их дело такое: и детей и добро при себе держать...»

И в другом месте:

«— Кто его знает: может, так и надо, чтоб бабы ругали нас постоянно, — рассуждал старик. — Они ведь людей рожают, они хозяйки человечества, им видней...»

«Великая старуха руководит миром», — отметил Платонов в «Записных книжках» и там же чуть раньше сделал более пространную запись, сводя «низкое» и «высокое» воедино: «Мелкая озабоченность,

хозяйственность, экономичность, щепетильная нудность, даже прожорливость, — все это суть — у женщины — лишь компенсация другой части ее души, которая содержит чувство сбережения родных, страх о смерти близких, etc. — детальное, так сказать, конкретное отражение, ограждение и спасение мира». И странным образом рабочая запись 1935 года перекликалась с юношеской статьей 1920-го: «Женщина — тогда женщина, когда в ней живет вся совесть темного мира, его надежда стать совершенным, его смертная тоска. Женщина тогда живет, когда желание муки и смерти в ней выше желания жизни. Ибо только ее смертью дышит, движется и зеленеет земля».

Глава шестнадцатая КАЗЕННЫЕ СКАЗКИ

Восемнадцатого июня 1936 года в доме на Малой Никитской, окруженный любимыми женщинами и членами политбюро, умер своей смертью, из которой сначала современники, а впоследствии потомки сотворили миф о вероломном убийстве, писатель Алексей Максимович Горький.

«Платонов говорил, что без Горького трудно будет в литературе <...> Учительское место отныне остается незамещенным, и нет никого, кто бы мог его занять. Впервые после ста лет русская литература начинает существование без великих писателей», — передавал в мемуарах косвенную речь Платонова Эмилий Миндлин, а далее переходил к речи прямой:

«— Это чепуха, — передернул Платонов узкими и худыми плечами, — чепуха то, что пишут сейчас: мол, давайте общими силами современных писателей заменим Максима Горького! Чепуха. Даже из тысячи средних писателей не сложишь одного гениального... А вот кому будет легче, так это таким, как... — И он беззлобно назвал два-три имени уже умерших писателей, которым не раз сурово попадало от Горького. — У этих теперь руки будут развязаны. То все опасались, как бы им от Горького опять не попало, а теперь им чего опасаться? Совесть без Горького будут меньше...»

Говорил или не говорил Платонов эти либо похожие слова, не скажет теперь никто, но то, что смерть Горького обострила литературную борьбу, — несомненно, как несомненно и то, что новый расклад сил напрямую коснулся собеседника Эмилия Миндлина.

Горький никогда не был платоновским покровителем, а после отвергнутых главным советским писателем «Мусорного ветра», «Такыра», «Глиняного дома в уездном саду» и статьи «О первой социалистической трагедии» даже та известная формула из письма Горького Сталину, касающаяся Булгакова, на которую ссылаются исследователи в качестве аналогии («Булгаков мне „не брат и не сват“, защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но — он талантливый литератор, а таких у нас — не очень много. Нет смысла делать из них „мучеников за идею“. Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. *В данном случае* я за то, чтоб перевоспитать. Это — легко») — к Платонову едва ли может быть применима. Перевоспитать Платонова было не только нелегко — невозможно. «Вы хотите переделать Платонова? Вы его не переделаете, его нельзя переделать, потому что Платонов — гениальный писатель», — привел слова Виктора Шкловского Лев Гумилевский, и даже если ничего подобного Шкловский не говорил, это все равно правда.

Тем не менее во второй половине 1936 года положение Платонова переменилось. Совпало это со смертью Горького случайно или нет, но Платонов отошел от журнала «Красная новь» и сделался автором «Литературного критика»^[58], где за ним давно следили и высоко ценили. Каковыми были истинные причины перехода из одного литературного клуба в другой профессионального игрока, а им Платонов стал весной 1936 года, окончательно уйдя из Росметровеса и зарабатывая отныне лишь неверным писательским трудом, хотя и не оставив изобретательство; что было писателю предложено в негласном контракте с «Литкритиком», за какую цену его купили у «Красной нови», как уговаривали перейти или уговаривать было

не надо, что сулили и на какие уступки он вынужден был пойти и под чем подписаться, — мы не знаем. Но очевидно, что у этого решения имелась подоплека.

Платонов уходил в «Литературный критик», в этот заповедник убежденных марксистов с академической закваской, на волне успеха, которым он был обязан «Красной нови». Но он не просто тихо ушел, не просто перестал публиковаться в одном журнале и начал печататься в другом. Он ушел со скандалом, очень изящным, тонким, и даже не скандалом, — на первый взгляд непонятно за что отомстив и нанеся своим благодетелям точный, как в бильярде, удар. В середине рассказа «Фро» он поместил несколько, казалось бы, ничего не значащих, ничего не меняющих в общей идее и сюжете фраз, легко поддающихся изъятию, однако эти фразы в тексте были, и они не могли не уязвить нежную душу «красноновцев»:

«Один получатель журнала „Красная новь“ предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. „Как вы на это реагируете?“ — спросил подписчик. „Подумаю“, — ответила Фрося. „А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, выходит под редакцией редколлегии, там люди умные — вы видите, — и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка, это что — одиночка, антиобщественница какая-то!“».

Дело не только в иронии. Это было напечатано во враждебном «Красной нови» органе, и при той неопределенной ситуации, которая сложилась после смерти Горького, даже самая невинная шутка могла привести к непредсказуемым последствиям, тем более

что дела у «Красной нови» в 1936 году шли неважно и журнал несколько раз подвергался критике в «Правде».

«Выскажем предположение, что у истоков разрыва Платонова и Ермилова (редактора „Красной нови“. — А. В.) стоит нарушение писателем неких негласных, но весьма жестких и в это десятилетие законов литературной жизни, с весьма четким обозначением своего и чужого литературного лагеря», — написала об этом сюжете Н. В. Корниенко.

Другое дело, насколько Платонов отдавал себе в этом отчет и что именно — какой-то особый, ему одному ведомый смысл, расчет или, напротив, нерасчетливость, шутка, хулиганство, легкомыслие сподвигли его, перефразируя Пушкина, укусить сосок своей кормилицы и заставить ее подготовить ответный грубый удар.

Но остротой в адрес редколлегии дело не ограничилось. В следующем после «Бессмертия» и «Фро» сентябрьском номере «Литературного критика» за 1936 год появилась злая стихотворно-драматическая пародия Ф. Человекова на пьесу В. Соловьева «Улыбка Джоконды», на тот момент еще не написанную, но некоторые ее идеи драматург простодушно изложил в интервью журналу «Советское искусство», и «синопсис» попал к Платонову, умевшему бить куда как точнее и больнее, чем били во дни оны его самого.

«Естественно, что „Литературный критик“ хотел, чтобы автор напечатанных на его страницах рассказов определил свои отношения с „Красной новью“, — расшифровала этот сюжет Н. В. Корниенко. — Имя автора пародии в стихах, опубликованной в сентябрьском номере „Литературного критика“, вряд ли долго оставалось в секрете. Рецензия-пародия Человекова не могла не быть прочитана Ермиловым как определенная дерзость со стороны Платонова, ибо ее темой стала пьеса В. Соловьева, одного из постоянных авторов „Красной нови“. Выскажем предположение, что

и сам Платонов, скорее всего, не был свободен в выборе материала для первой рецензии».

Однако никто не вынуждал рецензента быть настолько едким (текст остроумной и злой пародии републикован в юбилейном выпуске «Страны философов»), а к довольно деликатному в данном контексте выражению «определенная дерзость» можно было бы добавить «черная неблагодарность», «измена», «низкое коварство», «подлость», «вероломство», «предательство» — да мало ли как мог воспринять Ермилов поступок человека, которого он, по своим понятиям, в буквальном смысле слова вытащил из грязи в князи, и кого, рискуя партийным билетом, репутацией, головой, печатал, а тот нанес удар в спину, и это многое объясняет в дальнейшем отношении одного из этих персонажей к другому.

Больше того, пострадавший герой платоновской пародии — драматург Владимир Александрович Соловьев был тем человеком, кто еще в 1930 году тепло отозвался во внутренней рецензии о хронике «Впрок» и вообще Платонову симпатизировал. Знал или не знал об этих нюансах автор пародии, его вина неизбежно возрастала, а неприязнь вчерашних друзей увеличивалась. Платонов собственными руками посеял тот ветхий ветер, что принес ему очередную мусорную бурю, но прежде, чем все произошло, в начале сентября 1936 года писатель успел принять участие в собрании актива редакции «Красной нови», посвященном разоблачению троцкистско-зиновьевского блока.

Сохранилась стенограмма собрания, на котором последним очень коротко выступил тот, кого так тупо-нещадно били несколькими годами ранее за «Усомнившегося Макара» и «Впрок».

«...главное в бдительности — это бдительность по отношению к самим себе. По многим обстоятельствам эта формула, может быть, больше всего применима ко

мне, — говорил Платонов. — Но в чем же эта бдительность к самому себе может выражаться? В особом отношении к своей художественной работе, а именно надо помнить, что те художественные произведения, над которыми человек работает, должны служить новому, с социалистической душой человеку, должны помогать всем строящим социализм».

Более резко Платонов выступил на тему «врагов народа» в начале 1937 года в «Литературной газете», заклеив Радека и Пятакова примерно в тех же словах и выражениях, в каких он поносил белогвардейцев в 1920-м воронежском году.

«Чтобы изменить рабочему классу, надо быть подлецом. Поэтому для всякого изменника существует роковая необратимая судьба. Перефразируя известную мысль, можно сказать: социализм и злодейство — две вещи несовместимые...

Самым жестоким видом злодейства сейчас является троцкизм.

Этот фильтрующийся вирус фашизма пытался проникнуть до самого сердца советского народа, чтобы одним ударом умертвить его... <...>

Разве в „душе“ Радека, Пятакова и прочих преступников есть какое-либо органическое, теплотворящее начало, — разве они могут называться людьми хотя бы в элементарном смысле?

Нет, это уже нечто неорганическое, хотя и смертельно ядовитое, как трупный яд из чудовища. Как они выносят самих себя? <...> Но враг не сдаётся, он будет заострять свое оружие против нас.

Поэтому надо попытаться осветить точным светом искусства самую „середину тьмы“, — тогда мы будем иметь еще один способ предвидения наиболее опасных врагов, а оружие для встречи их у нас имеется.

Для этой работы необходимо обладать очень сильным собственным светом в своем источнике, чтобы

проникнуть до самого „адова дна“ фашистской души, где таятся во мгле ее будущие дела и намерения».

В платоноведении высказывалось предположение, что Платонов писал эти строки вынужденно, заботясь о новом романе, договор на создание которого был подписан им в начале 1937 года, а также о книге рассказов «Река Потудань», сданной в производство в конце 1936-го. Теоретически это допустимо, но вместе с тем предположим и иную версию событий тех лет.

Есть основания полагать, что Андрей Платонов не исключал идеи вредительства и наличия действительных врагов народа в СССР. Отчасти потому, что пусть в малой мере, но доверял советской пропаганде, недаром на экземпляре самой позорной в истории русской литературы, как впоследствии будет названа прославляющая рабский труд коллективная писательская книга о строительстве Беломорско-Балтийского канала имени Сталина, Платонов шутиливо надписал тринадцатилетнему сыну Платону: «Сыну Тоту — маленькому бандиту о больших бандитах, отец, 19/III-36». (Хотя это посвящение может быть истолковано как угодно — в том числе как и невольное горькое пророчество судьбы Платона Платонова всего два года спустя.)

Но существеннее иная вещь. Столкнувшись с противодействием мелиоративным начинаниям в Воронеже в середине 1920-х, а особенно в Тамбове и в Москве в 1926–1927 годах, уволенный из ЦК профсоюза по навету врагов и вредителей, как он сам полагал и о чем рассказывал на своем отчетном вечере в феврале 1932 года, наконец, едва не оказавшийся под следствием и неизвестно что думающий о «деле мелиораторов», погубившем почти всех его подчиненных, Платонов мог допускать существование некоего заговора или россыпи заговоров или лжезаговоров против республики, и этот

конспирологический мотив естественным образом вписывался в ту тревожную картину мира, которая с юных лет существовала в его сознании. Многие его герои, например, кулаки, поджегшие электростанцию в рассказе «Потухшая лампочка Ильича», бюрократы в «Усомнившемся Макаре» и «Городе Градове» («„строительство“ Бормотовых и Шмаковых выступает в моем рассказе именно как *вредительство* и ничем иным быть не может», — объяснял он свою авторскую позицию), активист в «Котловане», открыто названный «вредителем партии» и «объективным врагом пролетариата», перегибщики в повести «Впрок», убийца Божев в «Ювенильном море», трусы-инженеры в «Высоком напряжении», бантики и колхозный ударник-предатель Филипп Вершков в «14 красных избушках», похоронщик целого народа, насильник и изменник Нур-Мухаммед в повести «Джан» — кто они, как не разнообразные враги народа, и почему было не предположить, что подобные им люди есть на самом верху?

Вредительство выступает одним из мотивов пьесы «Шарманка», с ее одновременно трагическим и пародийным подтекстом, когда Мюд восклицает: «Кто нам сдается, мы тому все прощаем!», и ее восклицание имеет прямое отношение как к известному лозунгу Горького «Когда враг не сдается...», так и к реальному делу инженера Рамзина, сначала приговоренного к расстрелу, а после прощенного (и вспомним еще раз убежденность Марии Александровны Платоновой во вредительстве Рамзина, сыгравшего, по ее мнению, губительную роль в несостоявшейся профсоюзной карьере ее мужа, — едва ли сам писатель думал иначе). Примеры вредительства, увиденные собственными глазами, встречаются в «Записных книжках» той поры, когда Платонов работал на производстве: «Вредительство на верфи. Местные рабочие исправляют

машину»; «Вредительство: отсутствие планировки, задержка выпуска больших мощностей; слесаря стояли»; «При испытании бывали случаи вредительства: в корпусах гайки, лезвие ножа и пр. <...> Аварии избегли, благодаря предусмотрительности рабочих стенда».

Вредительство в платоновском мире разнообразно. В написанной во второй половине 1930-х годов пьесе «Голос отца» вредителем оказывается бывший служащий стройзабортреста, который ломает могилы на старом кладбище, потому что ему «так велели». «Камень и железо в утиль, деревья на корчевку, могилы сравнять в ничто, а сверху потом парк устроят — карусели, фруктовая вода, на баянах заиграют, девки придут, и лодыри с ними — на отдых, и ты приходи тогда, — чего на могиле торчишь?» — обращается он к герою, чей отец на этом кладбище похоронен, и за словами осквернителя праха «кладбище уберем, и ты все позабудешь... А родня покойников, которая жива еще, сама придет плясать сюда, — кому тут плакать, кого помнить!..» стояли не вымышленная, а реальная политика и действительные дела в беспамятном СССР: так было уничтожено в Воронеже Чугуновское кладбище, на котором похоронили мать Платонова Марию Васильевну Климентову, и это болело в душе ее старшего, ее «третьего» сына.

В киносценарии «Воодушевление» враги народа — председатель железнодорожного суда, «человек средних лет с огоньком сугубой бдительности в глазах», и его пожилой помощник, которому ни до чего нет дела. Третий, молодой заседатель, несправедливо осужденному главному герою сочувствует, но изменить ничего не может и «с горьким, рассеянным лицом смотрит в стол». Сцена скоротечного суда, будь она снята, была бы пусть слабым, но верным эхом тех приговоров, что произносились повсеместно в огромной

стране, но как и в «Голосе отца», Платонов разрешает трагизм ситуации тем, что злодеев карает сначала глас народа в образе уволенного, ибо он «интриги с политикой не знал», старого механика Нефёда Евстафьева («Нам уголовный суд, а им страшный будет! <...> Вы глупцы безрукие, вам на телеге ездить пора. А мы не можем технику срамить — мы люди одушевленные»), а затем на дуру-тройку находится управа в — лице начальника дороги с говорящей фамилией Иных. Он разобрался в истинных причинах судебного дела и своею властью отправил некомпетентных судейских учиться на смазчиков («Ну тогда придется быть смазчиком: государство велит! <...> Да ведь с нами иначе нельзя! С нами надо строго поступать!» — соглашаются они), а едущему в ссылку машинисту организовал телеграмму: «Возвращайтесь работать домой суд ошибся просьба извинить наркомпуть Каганович».

Но дело не только в реальных или мнимых злодеях, творящих черные дела. В 1934 году Платонов записал в блокноте: «Советская власть абсолютно права: в истории случилось обстоятельство (послевоенное и военное), когда люди — многообразные пиздюки, не поддающиеся никакой коллективности (благодаря специфике этой самой „коллективности“), нуждаются в великом руководстве».

Эту запись трудно истолковать однозначно, и кто ближе Платонову — даже не капризная уже девка, а злющая старая дева советская власть или анархизирующие субъекты — вопрос. В любом случае в сталинской политике писатель мог видеть не произвол, но государственную необходимость. Иное дело, как лично он, не обремененный добровольной ношей государственности, к этой необходимости относился. В те же самые годы несомненный, хотя и несколько своеобразный государственный М. М. Пришвин не в

«Литературной газете», но в свободном, неподцензурном дневнике писал: «Только в эту зиму, после „процессов“, Ягоды и т. п. я наконец разделался с эпохой либерализма, в которой воспитывался...»

Грубое платоновское «пиздюки» напоминает пришвинских «либералов». А вот что думал Пришвин о Сталине: «„Я“ Сталина родилось из кавказской кровной верности, непостижимого упорства „кровника“ в достижении цели, из коварства азиатского, из дружбы, из огромной первобылинной, кровной близости к человеку, из безфантазии и бездосужия, из партии... В Сталине собирается теперь нечто враждебное всей старой русской интеллигенции, мечтательной, бездеятельной, болтливой...» И эта оценка могла быть Платонову в той или иной степени пусть не близка, но понятна, хотя сам он делал скорее акцент на Сталине-отце или, вернее, на необходимости того, чтобы Сталин был отцом. «Пусть отцом будет Сталин, а больше никто», — говорит маленький герой киносценария «Отец-мать», написанного им как раз в эти месяцы, буквально перекликаясь с мыслями большого героя повести «Джан» Назара Чагатаева, который чувствовал Сталина «как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь», а также с «прямой речью» Платонова в статье «Преодоление злодейства»: «...у нас, у нескольких советских поколений, есть общий отец — в глубоком, в проникновенном и принципиальном смысле. Мы идем вслед за ним».

Однако едва ли Платонов испытывал жажду мщения и удовлетворение от того, что возмездие произошло и как оно произошло (то же самое относится и к Пришвину: сочувствие к направлению государственной политики не распространялось на методы ее проведения). И записные книжки Андрея Платоновича, и донесения сексотов, и воспоминания мемуаристов

свидетельствуют о той тревоге, какую он ощущал в эти годы.

«Как ни чудовищно, мы уже начали было привыкать даже к тому, что из близкой нам писательской среды выхватывалось, с кровью вырывалось все больше имен. И все больше и больше людей, которых ты знал хорошо, с кем встречался, даже дружил, исчезали, и чаще всего навек, а имена их публично предавались проклятию как имена заклятых врагов народа, — писал Э. Миндлин. — И все-таки, когда арестовали Сергея Буданцева, мы с Платоновым онемели от ужаса, боли, ошеломления. Должно быть, потому, что Буданцев для нас — почти что мы сами. Поверить, что у Буданцева могла быть тайная жизнь врага народа, ни Платонов, ни я никак не могли <...>

Мы онемели.

Вот так онемевшие, ни слова ни молвящие, глухонемые, словно ослепшие, Платонов и я ходили по Тверскому бульвару в день, когда узнали об аресте Буданцева.

Не помню, сколько времени мы с ним ходили взад и вперед. Помню только невыносимое наше молчание. Мы больше понимали друг друга и больше могли сказать друг другу — немотствуя, чем если бы вздумали обсуждать происшедшее.

Ходили до изнеможения, но, может быть, и изнеможение наступило не от усталости и не от долгой ходьбы. Но как-то разом оба одновременно почувствовали изнеможение и остановились напротив дома Платонова. Платонов, пожимая руку, молвил печально:

— Вот и Сергей Федорович...

И, сунув руки в карманы пальто, пошел через дорогу домой».

И когда от Буданцева случайно пришло письмо с описанием этапа и, собрав самых близких друзей, жена

это письмо прочитала, Миндлин пытался заново завести разговор.

«— Знаете что, не надо, — едва слышно сказал Платонов. — Нет у нас таких слов, чтоб мы могли говорить об этом...»

Нежелание говорить с Миндлиным о репрессиях едва ли свидетельствует лишь об отсутствии нужных слов, тем более известно другое высказывание Платонова, относящееся к этому времени: «Литература должна криком кричать о том, что в жизни творится, а она молчит или лениво улыбается». Тут дело скорее в недоверии, но вот вопрос: насколько реален был арест самого Платонова, чья личность давно находилась в постоянном поле зрения карающих органов диктатуры пролетариата?

Расстрелянный 15 марта 1938 года крестьянский поэт Василий Наседкин показывал на следствии: «У Андрея Платонова я бывал тоже два-три раза. По-моему, он молчаливым был со всеми. Политических разговоров он никак не поддерживал, беседы проходили только в рамках литературных дел. А когда я жаловался на трудности жизни вообще, он отмалчивался. Во время одной беседы я как-то задал ему вопрос — откуда у него такой пессимизм и страдания, которые чувствуются почти в каждом его рассказе? Вместо ответа Андрей Платонов лишь улыбнулся. В общем, А. Платонов представляется мне и психологически, и политически человеком больным и ни во что не верующим».

Однако это субъективные, хотя и очень точные (нет сомнения, именно так себя вел Платонове малознакомыми людьми) впечатления. Объективно же грехов за героем этой книги по меркам времени водилось более чем достаточно: во-первых, корпус опубликованных, а еще в большей степени неопубликованных, но известных конторе

«контрреволюционных» текстов («Чевенгур», «Ювенильное море», «14 красных избушек»); во-вторых, обозначенные в статье из «Литературной энциклопедии» симпатии к троцкизму, и, несмотря на полный абсурд подобного утверждения, это было как клеймо; в-третьих, связь с Пильняком и участие в «Перевале» — пусть тоже мифическое, основанное не недоразумении, но кого в НКВД такие мелочи останавливали? Сажали, как известно, и безо всяких на то причин. И, напротив, по причинам не сажали.

Сохранилось донесение 1937 года:

«22/VI с. г. литератор Андрей ПЛАТОНОВ на вопрос, был ли он в „Перевале“, ответил, что никогда членом этой группы не был, что его путают с Алексеем ПЛАТОНОВЫМ, действительно состоявшим в „Перевале“. На вопрос, откуда он близко знает перевальцев, он объяснил, что встречался с ними у ПИЛЬНЯКА в 1929 году, когда ПИЛЬНЯК с Иваном КАТАЕВЫМ учреждали общество „30-е годы“.

ПЛАТОНОВ рассказывал о тетради, в которую перевальцы записывали свои мысли, и сказал, что даже для 1929 года эти записи звучали совершенно явно контрреволюционно. Точнее он ни про состав людей, ни про содержание записей не сказал, ссылаясь на то, что многое забыл: „Они с тех пор много новой чепухи придумали“.

Он думает, что если этой тетради не оказалось у Ивана КАТАЕВА при аресте, то она, вероятно, осталась у ПИЛЬНЯКА: „Если она попадетя чекистам, многим из этой шпаны достанется“.

Сам он в тетрадь ничего не написал, хотя ему, по его словам, ее подсовывали несколько раз... <...> На другой день после этого он спросил ПИЛЬНЯКА: „Что же это за чертовщина“. ПИЛЬНЯК ответил: „Пусть ребяташки побалуется“».

Борис Пильняк был арестован и расстрелян («...на мой щекотливый вопрос об участии Бориса Андреевича Пильняка, с которым он написал в 1928 году колючее „Че-Че-О“... „Он столько сделал для них, а они его...“ — Платонов не дошептал до конца реплику», — вспоминал позднее Федот Сучков), но прежде Пильняк показывал на допросе в НКВД в декабре 1937 года: «...мы с Воронским решили создать новую литературную организацию и создали кружок „30-е годы“. Мы утверждали, что литература угнетена, что те задачи, которые ставятся перед литературой, невыполнимы, что писатели привязаны на корню и имеют право писать „от сюда до сюда“, что в литературе идет упрощенчество. Активными участниками собраний „30-х годов“ были Зарудин, И. Катаев, Андрей Платонов, посещал собрания раз или два Пастернак, считавшийся по духу приемлемым. „30-е годы“ как литературная группа весной 1930-го распалась, но часть людей осталась в дружбе и общалась до самого последнего времени, помогая друг другу, бывая вместе...»

Если учесть, что и Пильняк, и Зарудин, и Иван Катаев, и Воронский в 1937-1938 годах были репрессированы, если прибавить к этому, что еще в 1935 году в НКВД появилось донесение о том, что трое писателей — Николай Одоев, Андрей Платонов и Андрей Новиков — «писатели, связанные литературным жанром, жанром сатиры и даже злого антисоветского смеха. Кроме того, их соединяет прежняя работа вместе, так называемое» „служебное землячество“ в Воронеже. Успехи наибольших остроумцев членов группировки поддерживаются и рекламируются среди писательской и издательской общественности», — то остается загадкой, какая сила спасла члена антисоветской группы «30-е годы» и «Малой группировки» Андрея Платонова, говорившего о том, что в искусстве у нас «большой зажим», «все строится

случайно, иногда на личной почве» и что статья в «Правде» о Шостаковиче появилась вследствие того, что «кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, и разнес».

Очевидно, что Платонов ходил все эти годы по лезвию ножа, но своих взглядов никогда не скрывал. В первом номере «Литературного критика» за 1937 год была опубликована его статья «Пушкин — наш товарищ».

«Народ читает книги бережно и медленно. Будучи тружеником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить действительности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось точное, истинное слово».

И дальше, рассуждая о жизни Пушкина, о его столкновениях с царизмом, отчасти наполняя пушкинскую жизнь своим катастрофическим смыслом, осовременивая ее, Платонов писал: «Риск Пушкина был особенно велик: как известно, он всю жизнь ходил „по тропинке бедствий“, почти постоянно чувствовал себя накануне крепости или каторги. Горе предстоящего одиночества, забвения, лишения возможности писать отравляло сердце Пушкина». У Пушкина при всей прихотливости его земной судьбы подобного мироощущения не было, и в этом смысле платоновский Пушкин был таким же «моим», как и цветаевский^[59].

Попирая дореволюционную историю, которая «существовала лишь в свернутой, в своей предысторической форме» и которую Платонов так и не простил («Известно, кто в действительности справился с самодержавием, не оставив даже праха его» — чрезвычайно жесткая, можно сказать, беспощадная, особенно в платоновских координатах и при его отношении к мертвым, оценка екатеринбургской трагедии 1918 года), он перешел к анализу «Медного

всадника», и выбор этот был далеко не случайный и очень пронизательный: то было самое злободневное из пушкинских сочинений.

Полемизируя с Луначарским, трактовавшим поэму как «конфликт организующей общественности и индивидуалистического анархизма» (что так напоминало рапповскую трактовку «Усомнившегося Макара»), Платонов в статье предлагал свое видение пушкинского замысла:

«В поэме просто нет таких двух начал — организующей общественности и индивидуалистического анархизма; здесь и сама терминология не пушкинская и не поэтическая, — это уже публицистика новейшего времени.

В „Медном Всаднике“ действует одно пушкинское начало, лишь разветвленное на два основных образа: на того, „кто неподвижно возвышался во мраке медною главой, того, чьей волей роковой над морем город основался“, и на Евгения — Парашу. Вся же поэма трактована Пушкиным в духе равноценного, хотя и разного по внешним признакам, отношения к Медному Всаднику и Евгению. <...> Это не победа Петра, но это действительная трагедия. В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой».

Для 1937 года это звучало более чем рискованно и странную отбрасывало тень на платоновскую статью «Преодоление злодейства» в «Литгазете», опубликованную в январе того же года (то есть одновременно со статьей «Пушкин — наш товарищ»), да и вообще на все, что делалось в стране...

«В повести Пушкина нет предпочтения ни Петру перед Евгением, ни наоборот. Они, по существу, равносильны — они произошли из одного вдохновенного источника жизни, но они — незнакомые

братья: один из них не узнал, что он победил, а другой не понял своего поражения».

Но, пожалуй, самое примечательное в аллюзиях на современность в платоновской статье — это ее окончание.

«Разве не повеселел бы часто грустивший Пушкин, если бы узнал, что смысл его поэзии — универсальная, мудрая и мужественная человечность — совпадает с целью социализма, осуществленного на его же, Пушкина, родине. Он, мечтавший о повторении явления Петра, „строителя чудотворного“, что бы он почувствовал теперь, когда вся петровская строительная программа выполняется каждый месяц (считая программу, конечно, чисто производственно — в тоннах, кубометрах, в штуках, в рублях: в ценностном и в количественном выражении)... Живи Пушкин теперь, его творчество стало бы источником всемирного социалистического воодушевления...

Да здравствует Пушкин — наш товарищ!»

Это окончание не было окончательным. В рукописном, позднее снятом автором, финале статьи Платонов рассказывал о том, как слышал в школе исполнение учеником «Вакхической песни», только последнюю строку ребенок прочел: «Да здравствует Сталин, да скроется тьма!»

«Мальчик ошибся в последней строчке. Учитель поправил ученика. „Надо — разум“, — сказал учитель. Мальчик, не поправившись, сел на место. Пушкин, несомненно, исправил бы стихотворение — в духе „ошибки ученика“».

Тут важно, что речь идет о мальчике. Им мог бы быть Семен из «Отца-матери», у которого родных родителей нет, приемные со своими взрослыми делами разобраться не могут («Вам хорошо целоваться, а мне жить потом приходится»), и кроме как на Сталина-отца ему надеяться не на кого. Это горький упрек, а не

подхалимаж и не скрытая фига. И не случайно в сценарии неснятого фильма на стене комнаты висят два портрета: Сталина и Пушкина, которые целует ребенок, прежде чем броситься из окна.

Что же касается «живи Пушкин теперь...» — то такая звучала тоска в этой фразе: нет Пушкина, нет и источника всемирного воодушевления. И не будет. Невооруженным глазом прочитывалось. Было лейтмотивом «Котлована», «Джана», «Счастливой Москвы»... — всех тех произведений, герои которых мучились от бессмыслицы жизни и непонимания ее цели, потому что смысл кто-то украл.

Пушкин стал для Платонова выходом из советского, безбожного тупика, из «переходного времени». Точнее даже не так: Пушкин был этим выходом всегда, но в 1937-м пушкинский ориентир в платоновской судьбе становится особенно явным, осознанным выбором пути, приведшим автора к попытке реализации еще одного замысла.

В начале 1937 года Платонов подписал с журналом «Знамя» и с издательством «Советский писатель» договор на роман «Путешествие из Ленинграда в Москву». Михаил Пришвин, чей диалог с Платоновым становился все напряженнее, не за горами была резкая платоновская рецензия на «Неодетую весну», а сам Пришвин в эту пору писал «Осудареву дорогу» с ее ориентиром на «Медного всадника», где ставил похожую проблему соотношения личностного начала и государственной необходимости, заметил в дневнике: «Командировка Платонова на лошади по пути Радищева из Москвы в Петербург (признаки отрыва от действительности)».

То, почему Пришвин решил, что это путешествие есть отрыв от действительности, скорее характеризует его собственные поиски во второй половине 1930-х годов, но дорогу от одной столицы до другой Платонов

проделал и действительно тем способом, каким веками проходили ее русские люди. Случилось это как раз в те дни, когда в Москве заседали на торжественных пушкинских мероприятиях гении советской литературы. Платонова среди них не было.

«Ну — счастливого пути. <...> Только бы Ваш возница оказался подходящим. А тулуп себе купили?» — писал своему старинному товарищу «по катастрофам» В. Б. Келлер. Что касается дорожных подробностей, существует окрашенное в юмористические тона предание о том, как идея была осуществлена. Историю эту поведал со слов автора «Путешествия» военный журналист М. М. Зотов, служивший с Платоновым в годы войны в «Красной звезде».

«Был у него, говорит, такой случай. Приближалось 150-летие книги Радищева „Путешествие из Петербурга в Москву“, и журнал „Октябрь“ придумал, чтобы поехал современный писатель по этому же маршруту, с теми же остановками, как у Радищева, — Бологое, Тверь, и на каждой остановке писатель будет делать какую-то зарисовку. Вот и предложили ему проехаться по этому маршруту и отобразить новое в характерах. Заключение они договорились, сел в поезд вместе с супругой. В купе попался им то ли начальник ипподрома, то ли коннозаводчик питерский — такой разговорчивый еврей, одесский балагур, лихой выпивоха. Они выпили коньяку одну-две бутылки. В общем, пока доехали до Питера, договорились, что в Москву поедет Андрей только на лошадях. Попутчик сказал: „Голубчик! У меня в музее на конезаводе стоит возок то ли Анны Иоанновны, то ли Софьи. Я тебе ямщика найму первосортного, он у меня работает конюхом^[60]. Раньше он купцов возил, теперь тебя повезет“. Поехали к ямщику. Приехали на Невский, куда-то на верхний этаж заводят, и хоть это на Невском, но обстановка

совершенно деревенской избы. Сидит дядька с бородой, с блюдечка чай хлебает вприкуску. „Зачем пожаловали?“ — спрашивает. „Хочу я тебя попросить, Васильич (или Степаныч), свезти писателя в Москву“. — „Да как чугунка ж теперь есть, кто же теперь на лошадах-то ездит? Да и на чем повезу?“ — „Да любых возьми на конезаводе лошадей и возок возьми Анны Иоанновны“. Тот говорит: „Тяжесть-то какая!“ — „Ничего, тройку запряжем!“ (Это я рассказываю со слов Платонова, за достоверность не ручаюсь — Андрюша мог и сфантазировать иногда. Но тут, видимо, правда в основе есть.) Конюх сказал, что на подготовку коней ему надо четыре дня. Марию Александровну отправили обратно в Москву на поезде и через неделю тронулись в путь. Все он описал, что в пути видел, только, говорит, черт знает, как это получилось, но все мне попадались какие-то пережитки капитализма... Вот интересно, уцелела эта рукопись или не уцелела?»

Рукопись не уцелела, зато сохранились письма и «Записные книжки» со свидетельствами этих «пережитков капитализма», и тон повествования в них совсем иной.

«Мы едем по метелям. Проехали Чудово. Ночуем в Доме крестьянина. Лошади прошли 150 км от Ленинграда и затомились. <...> Вижу много хорошего, героического в истинном смысле народа... Встречаются деревянные деревни, ребятишки идут в школы сквозь метель <...> Вижу много хорошего народа», — писал он жене, а в блокноте отмечал: «Народ весь мой бедный и родной. Почему, чем беднее, тем добрее. Ведь это же надо кончать — приводить наоборот. Как радость от доброго, если он бедный».

«Какой здесь простой, доверчивый, нетребовательный, терпеливый народ — и дети тоже, как ангелы».

«Народ — святой и чистый — почти сплошь».

Его глаз замечал детей, идущих в метель и вьюгу с сумками книг в Чудове, и пяти-десятилетних детей в Спасской Полисти, плетущих лапти из лыка («В школу ходят не все, за отсутствием одежды-обуви»), одиннадцатилетнюю рассудительную девочку, дочь дворника в чудовском Доме крестьянина, и другую, восьмилетнюю, больную раком; он видел колхозы, где задерживают зарплату больше чем на полгода, глухонемую женщину в Острове, верную сторонницу советской власти, «редкое существо человека по чистоте характера и разуму», девочку-ученицу Нину в доме ночлега, которая «лапти плетет, уроки учит, краюшку хлеба в школу берет, на меня все смотрела непонимающими опечаленными и любопытными глазами»; видел слепых — взрослых и детей, колхозников-погорельцев, нищих бродяг, чиновников прошлого века, высланных из Ленинграда, заик, мешан, заключенных; видел тюрьмы, базары, больницы, постоянные двory, пустые города, где нет настоящего занятия людям, рестораны, заколоченные избы, торговые ряды; его взору представала «костлявая земля» с «деревянными деревьями в деревянных лесах», «великие леса, освещенные солнцем, великая страна наша добрая».

Он понимал, как трудно живут люди («Каждый день бывают случаи, встречи с людьми, когда необходимо помогать (дать 1, 2, 3, 5 рублей). Без этого нельзя, — писал он жене. — Такие люди каким-то образом возвращают свой долг мне посредством хотя бы того, что я люблю их и питаю от них свою душу»), и в его записях постоянно сквозил мотив — земля отощала, нет заботы о быте колхозников, новостройки сосут из колхозов рабсилу.

«О сердце, соковище моего горя!»

Но каким был роман, для которого эти записные книжки создавались, — неведомо. Известно, что 14

октября 1937 года на секретариате Союза писателей обсуждалось «заявление члена СП А. Платонова об отпуске ему средств в сумме 3000 р. для окончания и обработки рукописи „Путешествия из Ленинграда в Москву“», срок сдачи которой намечался на июнь 1938 года. Однако после весны того года жизнь Платонова резко переменилась, работа над книгой была приостановлена, потом возобновлена, а во время войны рукопись пропала и до сих пор не найдена, если только она существовала на самом деле...

В 1991 году в журнале «Новый мир» были опубликованы наброски экспозиции «Путешествия...», уходящие в петербургский предреволюционный контекст, а кроме того, Н. В. Корниенко представила отрывок из платоновского путешествия, который можно рассматривать в качестве предисловия:

«Писатель, если он едет в путешествие для открытия новых людей и характеров, а не для отдыха и удовольствия, путешествует совсем особым способом, чем любой другой путешественник. Цель его путешествия не в достижении конечного пункта, а всюду, по дороге — и в начале ее, и посередине, и в конце, и даже вовсе в стороне от нее: везде, где возможно открытие и наблюдение неизвестного человеческого образа, где возможно явление новой человеческой души, — в этом и заключается истинный смысл писательского путешествия.

Правда, такое путешествие, если страстно предаться ему, имеет одну опасность — оно может никогда не кончиться; маршрут путешествия, благодаря интересу и разнообразным людям, всюду проживающим, разветвится и запутается в лабиринт, из которого путешественник не выйдет вовсе и не успеет запечатлеть в книге открытые им типы людей... <...> для их открытия и точной оценки нужен большой труд, необходимо большее умение вживаться своим чувством,

действием и мыслью во встреченную, незнакомую действительность, а не просто наблюдать ее посредством любопытствующих глаз, и ехать мимо... <...>

Такое путешествие совершил в 1937 году писатель...»

Это немного напоминало зачин хроники «Впрок», но звучало примиряюще по отношению к радикальным призывам броситься в гущу республики в качестве техника-специалиста и неприятно чисто писательской судьбы. Теперь Платонов соглашался с нею, и можно почти наверняка утверждать, это тоже произошло благодаря Пушкину, осмыслению его пути и его жизни.

В 1936-1937 годах прошел срединный рубеж писательской жизни Платонова, и отчетливо видно, насколько меньше и, по-видимому, медленнее он стал писать, хоть и не было у него теперь другого постоянного занятия — напротив, литературные заработки стали единственным средством существования. «У меня все получаются заторы, — говорил Платонов в воспоминаниях Федора Каманина. — А пить-то и есть моей семье надо? Я ведь тоже хлебом от литературы стал кормиться».

Одной из причин этих заторов стали личные обстоятельства его жизни, а сразу после войны — болезнь, но количество написанного Платоновым в последние полтора десятка лет жизни уступает тому, что было написано с 1920 по 1936 год. Этот период творчества Андрея Платонова привлекает гораздо меньше внимания исследователей, особенно западных или эмигрантских. Достаточно сказать, что Михаил Геллер отвел ему всего десятую часть книги «Андрей Платонов в поисках счастья». Но ладно Геллер, записной антисоветчик и космополит. Примерно такое же соотношение можно увидеть и в книгах отечественных исследователей-почвенников —

Владимира Васильева и Виктора Чалмаева, а некто Марлен Инсаров и вовсе написал в журнале «Самиздат»: «Пойдя на капитуляцию перед сталинизмом, он сохранил жизнь, но загубил свой великий гений». Однако независимо отличных пристрастий и предпочтений то, что происходило с писателем при всем трагизме его судьбы, было естественным течением человеческой жизни, входившей в свои берега.

В июне 1937-го в «Литературном критике» вышла статья «Пушкин и Горький», в которой автор в наиболее концентрированном виде выразил свое ощущение пушкинского явления в истории России.

«В Пушкине народ получил свое собственное воодушевление и узнал истинную цену жизни, заключенную не только в идеальных вещах, но и в обыкновенных, не только в будущем, но и в настоящем... Народ тоже себя напрасно тратить не любит, и, кроме того, его тоска бывает велика, ему ждаться некогда, и он рождает и питает свой дар в отдельном, одном человеке, передоверяя ему на время свое живое существо... Пушкин явился ведь не от изобилия, не от избытка сил народа, а от его нужды, из крайней необходимости, почти как самозащита или как жертва. В этом заключается причина особой многозначительности, универсальности Пушкина и крайне напряженный и в то же время торжественный, свободный характер его творчества... Пушкин бы нас, рядовой народ, не оставил... „новый Пушкин“ неизбежен; он есть необходимая, а не только желательная сила коммунизма. Коммунизм, скажем прямо, без „Пушкина“, некогда убитого, и его, быть может, еще не рожденного преемника — не может полностью состояться. Великая поэзия есть обязательная часть коммунизма».

Это понимание коммунизма сильно отличалось от партийно-догматического, но мало того, что Платонов объявлял построение коммунизма без «нового Пушкина» невозможным и недействительным. Вторым героем этой статьи он сделал писателя, которого знал лично и который много значил в его судьбе. Платонов называет его единственным продолжателем пушкинской традиции: «народный, простой и чистый человек по натуре и происхождению», он спас великую литературу от разъедания и разложения ее трупным ядом империализма, однако сам же этим ядом и отравился.

«Прирожденно народное, пушкинское сознание жизни временами как бы искажалось в Горьком враждебными психическими силами прошлого, погибающего и погибшего общества, — писал Платонов. — Горький всегда был на передовой линии фронта борьбы за будущую пролетарскую участь, он одним из первых принимал на себя все атаки буржуазного, а затем фашистского противника. И естественно, что сознание Горького как бы „искажалось“, потому что в бою и победитель получает раны... <...> Так что „искажения“, „ошибки“ и „неудачи“ Горького, о которых он сам говорил много раз (преувеличивая их значение), вероятнее всего, есть лишь результаты долголетних битв с буржуазно-фашистским врагом рабочего человечества, — это есть раны, без которых, очевидно, было нельзя добиться сокрушения противника и победы... был ли Максим Горький писателем, равноценным Пушкину для молодого советского человечества? Нет еще...»

Это было сказано мягко, деликатно, но речь шла не только об определенном умалении роли Горького, в ком, по логике Платонова, было меньше коммунизма, чем в Пушкине, — своими размышлениями автор статьи обесценивал всю современную ему литературу как не

соответствующую высоким этическим идеалам коммунистического общества. То же самое подтверждают и донесения агентов НКВД, зафиксировавшие высказывания Платонова на литературные темы: «Вообще у нас с искусством упадок. И напрасно думают, что если наших литераторов переводят и читают за границей, то это из-за их талантливости или еще по каким иным причинам. Нет, просто там любят временами почитать экзотику. Вот и переводят и издают индусских писателей, китайских, японских, ну и наших. Ради экзотики. А у нас уже торжествуют. Создали комитет по делам искусства. Чепуха это».

А между тем готовился суд над ним самим. Но пока не за критику — за прозу. В октябрьской книжке «Красной нови» за 1937 год была опубликована статья известного по тем временам критика и литературоведа, члена художественно-театрального совета Комитета по делам искусств при Совнаркомом СССР, блестящего шахматного композитора и виртуоза-бильярдиста, умевшего закончить партию одним кием (то есть ни разу не прерывая серию собственных ударов), Абрама Соломоновича Гурвича. Об авторе статьи отозвался позднее поэт Семен Израилевич Липкин: «Вслед за Фадеевым начали топтать Платонова его клеветы, среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии — несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича».

Наказание Гурвича заключалось в том, что в 1949 году, когда в «Правде» появилась статья против безродных театральных критиков, Гурвич угодил с ними в одну компанию и оказался не у дел. Правда, помогли ему в ту трудную пору два писателя, которых обыкновенно к покровителям космополитов на Руси не причисляют: Михаил Шолохов и Александр Фадеев. Если учесть, что оба они Платонова также хорошо знали и

высоко, хотя и каждый на свой манер и в силу своего общественного положения, ценили, то подоплека этого сюжета становится еще более сложной.

Статья Гурвича производит сегодня впечатление довольно странное. В отличие от неведомых членов редакции «Трудовой Армии», разгромивших «Чульдика и Епишку» в 1920-м, отлит-девушки В. Стрельниковой и Леопольда Авербаха в 1929-м, от Сталина, Селивановского и Фадеева в 1931-м, от Щербакова и Горького в 1935-м и прочих платоновских хулителей разных лет — гроссмейстер Гурвич попытался в своем герое разобраться и его понять. В каком-то смысле даже встать на его точку зрения: «Где бы ни скитался одинокий, забытый человек, Платонов следует за ним неотступной тенью, точно боится, как бы чье-нибудь *немое горе* не умерло бы в неизвестности, не родив ответной скорби», — и именно соединение попытки понимания с той гадостью, которой гурвичевская статья наполнена, ставят ее на печальное второе место среди клеветы, к Платонову при жизни обращенной (первое займет в 1947 году В. В. Ермилов).

Причем изначально все было не совсем так. «Я сейчас работаю над Андреем Платоновым. Очень интересный, своеобразный талант, но вместе с тем неполноценный писатель. Платонов принадлежит к числу тех немногих настоящих художников, которые пишут кровью своего сердца, — обращался в октябре 1936 года Гурвич к В. П. Ставскому. — Для него литература есть органическая форма его общественного существования. Гуманизм Платонова, однако, при его крайней обостренности оставляет известный неприятный осадок. Мне хочется на материале шести-семи рассказов („Усомнившийся Макар“ (для трамплина), „Такыр“, „Третий сын“, „Нужная родина“, „Бессмертие“, „Фро“ и „Семен“, последний публикуется в одном из ближайших номеров

„Красной нови“) как можно глубже раскрыть нравственный облик писателя, его социальные мотивы, его манеру письма, особенности его глаза и голоса и вместе с тем, как это я всегда делаю, поговорить о проблемах современности, для которых рассказы Платонова являются интересным поводом».

В результате же получился не задушевный разговор с читателем, а беспощадный погром. «Художник, не видящий хотя бы и в тяжелом прошлом великого русского народа, ничего кроме отчаяния, не видит, следовательно, живых творческих сил народа, не может увидеть и понять движущих сил революции и ее героя».

Это был год 1937-й, когда после официальной критики спектакля Камерного театра «Богатыри»^[61] стало уже не только можно, но и модно говорить о великом русском народе, а заодно топтать тех, кто понимал этот народ по-своему: «Вот до какого абсурда, до какого тупика и до какой клеветы докатился Платонов, подменяя в своих произведениях могучий русский народ, классовое самосознание пролетариата и его боевую революционную партию рахитичными, убитыми жалостью нищими, блаженными великомучениками, косными и отчаявшимися людьми».

Гурвич подошел к Платонову основательно. Он впихнул в свою статью почти все, что на тот момент было ему доступно: и «Город Градов», и «Сокровенного человека», и «Происхождение мастера», и «Усомнившегося Макара», и «Впрок», и, разумеется, рассказы 1930-х годов, настойчиво проводя любезную любому литературоведу мысль о постоянстве авторских мотивов. Если вспомнить фразу Платонова об однообразии его идеалов, то получается, что Гурвич был не так уж и не прав в своих наблюдениях. Однако написанное им было той полуправдой, что хуже лжи.

«Платонов, как и его герои, не только не питает ненависти к страданиям, а, наоборот, жадно набрасывается на них, как религиозный фанатик, одержимый идеей спасти душу тяжелыми веригами. Страдающим он предлагает *не помощь, а утешение*. Он завидует мертвым предметам и травмам, которые, по его представлениям, страдают еще больше, чем люди, и мечтает вобрать в себя пропитавшее даже землю горе. Платонов подстегивает, подхлестывает свое воображение, чтобы вызвать иллюзии, необходимые ему для сострадания, жалости и утешения...»

Но это еще полбеды. Далее Гурвич нашел более сильные ходы: «Непроходимая пропасть отделяет платоновских героев от действительных героев нашего времени. Платонов и его герои не идут к партии. Наоборот, они хотят партию приблизить, „притянуть“ к себе, хотят именем самой великой и боеспособной партии прикрыть и утвердить свою философию нищеты, свой анархо-индивидуализм, свою душевную бедность, свое худосочие и бескровие, свою христианскую юродивую скорбь и великомученичество».

Напомним, это был 1937 год. А Гурвич был не дурак и не фанатик. Он видел, что происходит в стране, и не мог не понимать, что за его обвинениями должно последовать. Он сочинял изысканный донос на своего героя («он ищет в революции замену религии, а не отмену ее <...> ищет новую религию, новую опору для самоотречения, новую христианскую апологию нищенства»), но хотел ли критик физического уничтожения писателя, в чьем литературном таланте не сомневался? Едва ли. Шахматист не был кровожаден. Он хотел написать академично, философски, его тянуло сопоставлять Андрея Платонова со Львом Толстым («У Толстого умирает человек. У Платонова — организм. У Толстого смерть — душевная, психологическая трагедия. У Платонова — биологический факт»), с

Пушкиным, с Достоевским, но он писал не один — у него был соавтор. Только не тот мистический двойник, как у Платонова в пору создания «Котлована». Гурвичу помогали вполне конкретные люди — «ребята» из «Красной нови», которые тащили его в большую политику, и статья правилась, уточнялась всей оскорбленной редакцией журнала или по меньшей мере ее руководящим ядром во главе с В. В. Ермиловым. Это даже по перепаду стиля чувствуется.

«Было бы дико и смешно сейчас, на пороге двадцатилетия Великой Октябрьской революции, возвращаться к азбучным истинам и доказывать, что <...> развитие духовной деятельности человека требует в первую голову разгрома всяческих религиозных оков, уничтожения душного религиозного дурмана, которому так подвластны обмороки, отчаяние, смиренная косность и беспамятная жизнь платоновских героев <...> Платоновский индивидуалист-кустарь лютует и юродствует, насколько ему только позволяет его разнузданное и озлобленное воображение <...> уничтожает все нужное, полезное, общественное, брызжет слюной, называя всех горожан дураками. Это — настоящий бунт, слепой, неудержимый, дикий и жалкий в своей беспомощности. Источник его обезумевшей мстительной страстности — злоба, косность и отчаяние».

Впечатление такое, что это писал или по меньшей мере очень сильно правил Ермилов либо Фадеев, тем более что речь шла о рассказе «Усомнившийся Макар», за который Фадеев еще в 1929-м получил разнос от Сталина, а Платонов от Леопольда Авербаха, на момент написания Гурвичем и компанией статьи «Андрей Платонов», впрочем, уже арестованного. Но важно даже не это обстоятельство, а то, что писателя пытались судить второй раз за преступление, по которому он уже фактически отбыл срок, хлебнув сполна на рубеже 1920

—1930-х. Причина подобной неразборчивости или слишком хорошей разборчивости в выборе средств была очевидна: объектом нападок «Красной нови» выступал не только Андрей Платонов, но и почтенная редколлегия журнала «Литературный критик», на чьих страницах оставил свои следы во время оно и сам Гурвич. И подтекст статьи в «Красной нови» легко прочитывался: гляньте, высоколобые марксисты-литкритики или как вас там, кого вы пригрели и пропагандируете.

«И вот этого старого платоновского героя в его новом состоянии некоторые товарищи воспринимают как образ настоящего большевика, излучающего вокруг себя настоящий оптимизм!

Образ Левина может, конечно, ввести читателя в известное заблуждение, но достаточно произнести имя Платонова, чтобы об оптимизме не могло быть и речи».

И наконец апофеоз, набранный курсивом: «Платонов ненароден именно потому, что в его произведениях не нашли своего отражения истинные чаяния и огромные творческие силы русского народа. Платонов антинароден, поскольку истинные качества русского народа извращены в его произведениях».

Для Платонова это был удар, который ставил под сомнение будущее его книг, пьес, статей, киносценариев. На этот раз в отличие от ситуации 1931 года ему дали возможность публично ответить своему обидчику. Статью А. Платонова «Возражение без самозащиты» с подзаголовком «По поводу статьи А. Гурвича „Андрей Платонов“» опубликовала 20 декабря 1937 года «Литературная газета».

Платоновский ответ был резок («Критический метод Гурвича крайне вульгарен и пошл. Это метод самоучки, но без наивной трогательности самоучек <...> Механика сравнения несравнимого проста и глупа. Было взято мое, так сказать, „литературное туловище“ и

критически препарировано. В результате этого „опыта“ из моего, человеческого все же тела получилось: одна собака, четыре гвоздя, фунт серы и глиняная пепельница»), он содержал обвинения в адрес критика в непреднамеренном плагиате («те места его статьи, в которых он разбирает мои давнишние сочинения, раскритикованы в свое время сильнее и лучше Гурвича»), а самой редакции ставилось в вину, что «некоторые рассказы, разбитые вдребезги Гурвичем, та же редакция (и тот же редактор) печатала в той же „Красной нови“ — с устными и письменными комплиментами по адресу этих рассказов». И далее — опять же выпад в адрес «Красной нови», а не Гурвича: «Теперь редакция, очевидно, „передумала“ вопрос об этих рассказах. Ничего: пусть хоть этим способом учатся думать, раз нет у них других поводов для размышления».

Что же касается непосредственно Гурвича, то — «Пусть ответит тов. Гурвич (если он пожелает), какой критик и про какого писателя станет писать статью в том тоне пренебрежения, далеко выходящем за пределы необходимого и полезного, в каком он, Гурвич, написал про меня... Я бы тоже сумел ответить Гурвичу в его же стиле и интонации, но не стану этого делать — не потому, что мы, очевидно, литературные противники, а потому, что мы с ним члены одного общества и одной страны».

«...вы должны верить, что в нашей стране не найдется ни одного человека, включая и самых вульгарных, который не обрадуется, услышав, что вы поете своему народу заздравную с такой же глубиной и проникновенностью, с какой вы до сих пор пели зауспокойную», — миролюбиво ответил тов. Платонову тов. Гурвич неделю спустя, а редакция «Литературной газеты» подытожила: «...мироощущение автора не так уж безнадежно устойчиво <...> Критику следует

радоваться тому, что писатель, которого он сам называет талантливым, стал думать иначе и правильнее, а не пытаться отрезать писателю путь к перестройке и злорадствовать по поводу возникающих у него при этом противоречий».

Считать ли это победой Платонова? Вряд ли. Гурвича? Тоже нет. Вся борьба была еще впереди, а Андрей Платонов снова оказался в том месте, которое контролировалось и простреливалось весьма могущественными силами. Недаром его томило предчувствие беды. За несколько месяцев до происшествия с Гурвичем, будучи в Господине Великом Новгороде, Платонов процитировал в «Записных книжках» слова беременной цыганки, ему погадавшей: «Против тебя казенный король, но он тебя скоро узнает хорошо, человек ты знаменитый, и в этом году получишь свое дело, тебя любят Маруся и Нюра, а вредят тебе друзья на букву В и Г. Но ты никого не боишься, ты человек рискованный и твое слово любят, — и ты любишь рюмочку».

Про рюмочку все правда, про риск и бесстрашие тоже, а вот про казенного короля не сбылось гадание, не сбылось...

Глава семнадцатая О ЛЮБВИ

Единственным из опубликованных платоновских произведений середины тридцатых годов, не попавшим в поле зрения Гурвича, стала «Река Потудань». С этим рассказом случилось так, что он не был напечатан ни в одном из литературных журналов и впервые увидел свет в сборнике платоновской прозы, которому и дал название. Книга была сдана в набор 15 декабря 1936 года, подписана в печать 21 июля 1937-го и, таким образом, появилась на прилавках не раньше осени — к книжной ярмарке, как сказали бы мы сегодня, да не было тогда ни ярмарок, ни презентаций. Маленькая, объемом в шесть с половиной авторских листов, изданная тиражом в пять тысяч экземпляров под редакцией дочери видного большевика Феликса Кона Елены Усиевич и с визой уполномоченного Главлита за шифром Б 24044 книга стоила два рубля. Семь рассказов в ней располагались в следующем порядке: «Река Потудань», «Бессмертие», «Третий сын», «Фро», «Глиняный дом в уездном саду», «Семен» и «Такыр».

«Есть неудачные книги, в которых все же видно стремление понять нашу современность, показать, чем живет советский человек в нашу героическую эпоху. Причислить к ним книгу А. Платонова нельзя, — отозвался в журнале „Звезда“ в статье „Фальшивый гуманизм“ Борис Костелянец. — Под прикрытием внешнего правдоподобия, а нередко и без этого прикрытия автор настойчиво, от рассказа к рассказу, навязывает нашей современности чуждые ей конфликты, нашим людям — несвойственные им страдания и „радости“. Платонов в своем творчестве касается значительных и важных тем. Он пишет о преодолении одиночества, о дружбе, любви, жизни и

смерти. Однако в своей трактовке названных тем А. Платонов идет не от глубокого проникновения в сущность новых, складывающихся в нашей стране человеческих взаимоотношений, а от дурных традиций декадентской и индивидуалистической литературы».

Под декадентскими традициями двадцатилетний выпускник ЛГУ, впоследствии ставший известным советским теоретиком драмы, которому наверняка было неудобно грехи молодости вспоминать, но все ж примечательно, что была Платонова не шантрапа, а люди все как на подбор образованные и интеллигентные, итак, под декадентскими традициями Костелянец имел в виду, скорее всего, Розанова, и не случайно именно это имя, говоря о Платонове, очень скоро назовет в письме к Жданову еще один интеллигент эпохи — В. В. Ермилов. И хотя к Платонову никакая, даже розановская шкала неприменима по определению, выпадение «Реки Потудани» из своего времени, а вернее, из сложившейся в тридцатые годы традиции это время изображать — бросалось в глаза. К подобному изображению революции, войны, к разговору о любви на платоновском языке и платоновскими словами, противоположными тем, что с гордостью процитировал в «Литературной газете» рабкор товарищ Николаенко — «никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить», — советские критики 1930-х годов не привыкли. Зато хорошо увидел и понял Андрея Платонова из дальнего зарубежья Георгий Адамович:

«Платонов развернул единственную в своем роде панораму бедствий, страданий, горя, нищеты, тоски <...> Платонов один отстаивает человека от пренебрежительно-безразличных к нему стихийных или исторических сил <...> тема сиротства владеет воображением Платонова так сильно, что расстаться с нею он не может!.. За двадцать лет существования

советской России Платонов — единственный писатель, задумавшийся над судьбой и обликом человека страдающего, вместо того, чтобы воспеть человека торжествующего <...> отнюдь не ведет борьбы с революцией, с большевизмом... Нет, Платонов, как и некоторые другие писатели, не довольствующиеся простым прислужничеством, стремится к углублению, к очищению того дела, которое могло бы оказаться делом революции, и не случайно он говорит в одном из своих рассказов „Происхождение мастера“:

— Большевизм должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться.

Признаемся, с таким большевиком можно было бы сговориться <...> Спор возник бы лишь о том, вместит ли что-нибудь пустое, опустошенное сердце, — но самое желание вместить доказывает, что сердце живо».

В СССР этого признавать не хотели, не все, разумеется (арестованный в 1942 году поэт Виктор Боков просил Платонова прислать ему «Реку Потудань» — книгу, которой он спасался в неволе), но значительной части «потребителей литературы» «Река Потудань» действительно могла показаться бредом и галлюцинацией. И прежде всего это касалось первого и заглавного рассказа сборника. А между тем, если бы вдруг по каким-то условиям из всего написанного Платоновым более чем за тридцать лет надо было бы выбрать один, самый важный, самый, как сказали бы ученые люди, репрезентативный текст, то не было бы точнее выбора, нежели «Река Потудань». И не только потому, что эта новелла совершенна, но и потому, что она вобрала в себя многие мотивы тех произведений, которые не были прочитаны при жизни их создателя, и стала их своеобразным памятником, их голосом, свечением, по чьему-то недосмотру дошедшим до современного, а не будущего читателя.

«Трава опять отросла по набитым фунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малоллюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, — шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть — она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их уже переменялась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы, — они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей — они выросли от возраста и поумнели...»

Это немного напоминает известный фрагмент «Чевенгура»: «Революция прошла как день; в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испутившее дух, как скошенная нива, — и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над Чевенгуром...» Но если в романе картина окончания войны предшествует приходу героя в условный город, в котором кончилась история и построен фантазмагорический коммунизм, то в рассказе все обыденнее, и в родной малоизвестный уездный городок направляются не фанатики, не сектанты, не убийцы, а возвращается с фронта домой боец Никита Фирсов, «человек лет двадцати пяти от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом».

Его фамилия совпадает с именем платоновского деда, его имя переводится на русский язык как победитель, и он действительно победитель, разгромивший кадетов и буржуев, но отчего тогда грустно это лицо? И почему с угрюмым напряжением смотрят глаза в скучную природу однообразной страны? Почему снится герою страшный сон, в котором «его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей»? И дальше: «Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи».

Нечто похожее было то ли наяву, то ли в бреду у Козлова из «Котлована» (в черновом варианте), когда слабосильному землекопу пригрезилась забравшаяся в его нутро крыса. Но в «Котловане» присутствовал гротеск:

«Козлов бережно сжал рот и вдавил рукой живот, чтобы крысе было туже выходить, но вдруг почувствовал свою внутренность свободной и сердце легким <...>

— Я вот теперь, как говорится, заявление в охрану труда подам — крысы рабочему сердце грызут <...>

— Ты, наверно, спишь с надбавкой — и тебе снятся животные».

В «Реке Потудани» все очень пластично, и сонное видение странным образом определяет дальнейшее развитие сюжета, а убежавший зверек играет с героем не то зловещую шутку, не то открывает перед ним ту истину, которая не открывалась никому из других молодых платоновских героев.

Но прежде чем это происходит, Никита Фирсов встречается со своим тоскующим отцом, потерявшим жену и двух других сыновей и ждущим младшего скорее по привычке, а еще потому, что «гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической».

Возвратившийся домой Никита — третий сын, чья жизнь обречена на испытания и череду превращений, главное из которых связано с любовью. «Река Потудань» — рассказ о любви, но странная в нем любовь. Она не обнаруживает себя явно, но прячется в воспоминаниях. Никита хранит в памяти образ пятнадцатилетней белокурой учительской дочери, к которой они ходили с отцом в гости, и учительница говорила о «просвещении народного ума и о ремонте школьных печей», отец размышлял, жениться ему на учительнице или нет, но так и не одолел своей робости, а учительница важности. И это несовпадение, взаимонепонимание мужчины и женщины служит экспозицией к будущим отношениям их детей, один из которых остался в учительском смысле слова непросвещенным и всю жизнь тосковал по таинственной, читающей книги девочке, и, можно предположить, что эта тоска занимала мужское сердце во время братоубийственной сечи. И теперь, вернувшись в город, представлявшийся ему в детстве огромным, таинственным и оказавшийся таким маленьким и скучным, Фирсов идет к дому, на котором давно выцвела краска и нет занавесок на окнах, идет потому, что там, в прошлом — Никитина нужная родина, и ему хочется, чтобы дом ожил и кто-то заиграл в нем на пианино.

Это очень важный момент. В начале рассказа, размышляя о возвращающихся с войны красноармейцах, Платонов писал о «великой всемирной надежде, которая сейчас стала идеей их пока еще

небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны». Но все надежды Никиты связаны с возвращением в прошлое, и революция здесь ни при чем.

Она действительно прошла, и снова наступила жизнь. Никита радуется повзрослевшей Любе, которая окликнула его на улице, как проводнице в мир прошлого, и ее голос «сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь» — мотив, повторяющий финал повести «Джан», только в «Реке Потудани» он становится зачином сюжета. Но в отличие не только от Назара Чагатаева, но и от Михаила Щеглова, Саши Дванова, Фомы Пухова, Вощева, Семена Сарториуса, Эммануила Левина, Василия Божко и других душевных платоновских героев Никита не философ, не искатель, не мечтатель и не строитель страны. Он больше напоминает нищего духом Филата из «Ямской слободы». И вся «Река Потудань» есть инвариант давней повести, некий сад расходящихся тропок. В «Ямской слободе» было: «Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее».

В «Реке Потудани» такая девушка находится. «Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой».

Однако внутренняя драматургия рассказа такова, что этой радости героям оказывается недостаточно. Внешне никакой интриги нет, как нет и половодья

чувств, страстей, признаний. Все очень буднично и деловито. Между Никитой и Любой начинается постепенное сближение, оно происходит, перефразируя платоновские же статьи о Пушкине или размышления о природе любви в «Джане», — не от избытка, не от роскоши, а от бедности, скудости, нужды, и выражает себя в заботе друг о друге. Точнее, заботится Никита, а Люба эту заботу принимает, потому что иначе ей не выжить. А ей обязательно надо выжить, чтобы служить народу, пославшему ее учиться, и Никита прилепляется к ней, влекомый чувством заботы. Он приносит еду, топит печку и следит за правильным горением огня в очаге, покуда Люба штудирует книги по медицине, сначала со своей подругой Женей, а потом, когда Женя умирает, одна. В ее жизни есть цель, план, Никита же живет сердцем.

Мужчина и женщина в «Реке Потудани» поменялись ролями. Люба — это Федор из рассказа «Фро», только она практична и у нее нет никаких дальневосточно-китайских завихрений, а Никита — сама Фро, но лишенная женского эгоизма и не умеющая наслаждаться. Это в Никите, а не в Любе есть что-то от чеховской душечки, это ему не важно, кого любить — он мог бы полюбить и Любину подругу Женю, если б узнал ее чуть раньше и если бы она была немного добра к нему, а так вся его любовь выражается в том, что он делает умершей от тифа Жене гроб («По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки»), И напротив, Люба рациональна, разумна, деловита, она сознательно выбирает себе жениха, готовится прибрать его большими хозяйскими руками, но ей надо сперва окончить медицинскую академию и только потом почувствовать свое счастье.

Здесь нет авторского осуждения героини, нет иронии и сарказма. Напротив, то, что делает Люба,

очень важно. Но оно важно дальнему, пусть даже и не очень далекому. «Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?»

Все это очень правильно в координатах современного Любе мира. А Никита... А Никита — ближний. И хотя он готов ждать Любу сколь угодно, «сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности — нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек». Он чувствует опасность в своей любви, он мучается ею, он перегорает в своих чувствах, покуда Люба деловито отодвигает их совместную жизнь и сама становится виновницей их будущего общего несчастья. Но автор ее не винит. Он сочувствует своим героям, и градус этого сочувствия гораздо выше, чем во «Фро».

«Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: „Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива“.

Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. „Я буду читать, — решал он, — и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое особенное — на свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть. Она некрасивая!“».

В этом последнем внутреннем восклицании есть что-то похожее на обиженный детский всхлип. Никита отдает мужское первенство, уступает его, потому что ему кажется, так будет лучше для той, кого он любит,

однако человеческая природа не прощает нарушения своих законов и тело слушается сердца, а не ума. В какой-то момент героев сближает Никитина болезнь, когда Люба перевозит Никиту на извозчике к себе домой, двое переходят на «ты», и Люба говорит Никите: «Ты скоро поправишься... Люди умирают потому, что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас...»

Но до счастья им по-прежнему далеко, и Люба продолжает это счастье отодвигать, предусмотрительно и простодушно не разрешая жениху касаться себя («А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить! — говорила она. — Я ведь не такая вкусная: тебе это кажется!..»), и отражением, индикатором отношений двоих оказывается скованная льдом Потудань, вдоль которой Никита и Люба ходят полуобнявшись и так терпеливо дружат всю долгую зиму, «томимые предчувствием своего близкого будущего счастья».

Каждый переживает это томление по-своему. Люба ждет назначенного, зная, что оно никуда не денется, но исполнится вовремя, а Никитино сердце «лежит в погребении перед весной» и ждет воскресения. Однако что-то нарушается в этом течении времени, и когда, по словам Любы, теперь «можно жениться», когда Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записываются в уездном Совете на брак, когда после вкусного ужина, первого в жизни Никиты, которому никогда прежде не приходилось угощаться задаром, наступает брачная ночь, герой оказывается несостоятелен.

В «Техническом романе» окружавшие Лиду Вежличеву призрачные деревенские женихи были бессильны по причине голода. В «Реке Потудани» естественной причины для мужской слабости героя нет. В «Записных книжках» Платонова той поры встречается фраза: «Пономарев, сын „<нрзб>“ и его трагедия

импотенции, жены». Кто был этот Пономарев, что и почему случилось с его сыном, — все это неизвестно, но очевидно, что Платонов максимально опоэтизировал, одухотворил известную ему драматическую житейскую ситуацию, где тоже трое героев — он, она и его отец.

Половая слабость мужчины — достаточно распространенный в литературе мотив, в том числе и в произведениях писателей того времени: Алексея Толстого, Шолохова, Горького, и у всех эта слабость вызывает брезгливость, и напротив, мужская сила есть свидетельство внутреннего достоинства и правоты героев. Платонов решает ситуацию иначе, полемизируя со своими современниками. Параллель «Реки Потудани» с ранним горьковским рассказом «На плотях» — где в обоих случаях присутствует река — наталкивает на мысли о сознательном диалоге. У Горького отец замещает сына, сожительствова с его молодой женой, у Платонова в голову старику-отцу, который «был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли», приходят похожие мысли: «Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся, но стыдно как-то и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу».

Сюжетно мотив потенциального соперничества отца и сына из-за девушки развития не получает, и на первый взгляд даже не очень понятно, зачем он нужен. Но очевидно, что физическая сила отца, проявляющая себя в волоке по оголенному телу земли, противопоставлена слабости и стыдливости сына. Последнее и есть ключ ко всему, объяснение характера героя, и не случайно в сцене ночной неудачи Никиты противопоставлены пусть не бесстыдство, но отсутствие стыдливости у женщины и стыдливость мужчины. Образованной Любе как будто не хватает природной деликатности, застенчивости, она

утрачивает эти врожденные женские черты, приобщаясь к культуре и науке, и эмоционально, интуитивно, бессознательно не совпадает с непросвещенным Никитой, не чувствует его.

«Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему:

— Ну!

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: „Подождите, у меня сердце сильно заболело“, — и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: „Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба“. Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь, наверно, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

— Не унывай, не стоит, — сказала она, улыбаясь. — У нас все с тобой наладится!

— Давай я пол вымою, — попросил Никита, — а то у нас грязно.

— Ну, мой, — согласилась Люба.

„Как он жалок и слаб от любви ко мне! — думала Люба в кровати. — Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я протерплю. А может — когда-нибудь он станет любить меня меньше и тогда будет сильным человеком!“

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

— Вот я и замужняя! — радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла».

Эта скупая, простая сцена предельно жестока. Трудно унижить героя больше, чем это происходит в рассказе, причем Никита унижает, наказывает себя сам, а Люба позволяет ему это наказание перенести. Она уходит на работу, разыгрывает перед подругами роль таинственной замужней дамы, и это одно из немногих мест в рассказе, где Платонов допускает иронию («Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей, одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы — правда или нет, что любовь — это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье? Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут»), а Никита мучается от стыда и решает покончить с собой, как только сойдет лед на Потудани. Но покуда этого не произошло и река по-прежнему течет подо льдом, супруги говорят о детях, которые должны у них появиться, и о том, что для этих детей надо сделать мебель:

«— Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо, — говорил Никита. — Дети несчастными уж никогда не будут!

— Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! — обижалась Люба.

— Больно будет? — спрашивал Никита. — Лучше тогда не рожай, не мучайся...

— Нет, я вытерплю, пожалуй! — соглашалась Люба».

Все это напоминает игру в дочки-матери маленьких мальчика и девочки с той разницей, что оба осознают ужас своего положения, где никто не может им помочь — ни революция, ни мировой пролетариат.

«В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали».

Драма человеческой жизни оказывается много глубже общественного переустройства, и потом, когда река вскрывается, Никита медлит идти по пути Саши Дванова, а занимается тем, что лепит из глины «фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения, — просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать».

В этих подземных корнях заключен особый подспудный, даже не высший, а низший смысл, тайна человеческого подсознания, и проницательные исследователи платоновских глубин видят в Никитиных фигурках фаллические знаки, а не подозревающий ни о чем подобном плотник просто лепит и уничтожает свои страшные поделки, превращая их в глину, и все боится, как в детстве, приближающейся ночи.

«Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На небе, за окном, началось

смутное прозябание — еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула: может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она накрылась с головой и там мучилась одна, сдавливая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот».

Когда-то молодой Андрей Платонов писал о том, что у совершенных людей будущего не будет потребности в половой любви, человек вступит в царство сознания и освободится от древней могучей страсти. В «Реке Потудани» изображена невыносимость подобного освобождения, при котором жизнь изуродована. В годы войны, то ли возвратившись к старому рассказу, то ли задумывая новое произведение, Платонов сделал запись: «Любовь есть истинное, т. е. божественное представление о ценности человека, но совершается она по поводу полового инстинкта. Пол — повод, истина — следствие. Повод и следствие несоизмеримы». В

«Реке Потудани» они нарушены, и этого оказывается достаточно, чтобы герою не осталось ничего другого, как попытаться свою жизнь забыть.

Никита уходит из родного города в слободу Кантемировку, где спокон века жил зажиточный народ — жадный, жестокий, но охочий до праздности и веселья. Там бывший боец Красной армии устраивается на работу батраком к базарному сторожу, в ком больше контрреволюционности, чем во всех мировых буржуйкахадетах, добитых и недобитых, выполняет за объедки грязную работу — охраняет, как дворовая собака, дом, убирает торговые ряды и чистит отхожее место, и параллель с «Ямской слободой» (а также с «Мусорным ветром») становится особенно очевидной.

Никита постепенно забывает про свое горе, оно зарастает жизнью. Но это время трудно назвать очищением, герой безвинно попадает в тюрьму, освобождается и снова продолжает убирать, выносить, чистить, надеясь к осени полностью забыть, что он такое, и «существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя...». Поскольку одновременно с «Рекой Потуданью» Платонов искал окончание для «Счастливой Москвы» и земных путей ее героя Семена Сарториуса, который тоже отказывается от своего прежнего «я», то мы имеем дело с устойчивым мотивом (и как знать, быть может, подсознательным желанием Платонова в середине 1930-х уйти, переменить судьбу, и отсюда та фраза, которую он бросил Миндлину: «А в сущности, человеку все равно, где жить»), но в действиях Никиты нет никакого расчета, а есть лишь инстинктивное желание умереть.

Его спасает отец, случайно оказавшийся в Кантемировке и узнавший пропавшего, казалось, уже навсегда потерянного сына. «Никита обнял

похудевшего, поникшего отца, — в нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства».

Осознанно или нет, Платонов переосмысливает известную евангельскую притчу о блудном сыне. Положение, в котором оказывается Никита, похоже на то, в какое попадает библейский герой, но Никита не проматывал отцовского состояния, не гулял с друзьями и веселыми женщинами, он безвиновен и расплачивается по чужим грехам. Чем искажена его натура — войной ли, о которой в рассказе говорится вскользь, и мы не знаем, каким был Никита Фирсов бойцом и скольких людей он убил, Любиной ли расчетливостью или тем шерстяным зверьком, что привиделся ему во сне, когда он еще только шел в родной городок? Или же дело в том, что Люба любила его недостаточно, относилась к нему не как к другому человеку, а как к предмету своей обстановки, и лишь исхродив целый месяц вдоль реки Потудани, выстрадала, выплакала свою любовь? Кто из героев более эгоистичен — Никита, бросивший любимую женщину, но бросивший заботливо, точнее было бы сказать, освободивший от себя и оставивший ей детскую мебель, так что ей ничего уже иного не надо, как выйти замуж за другого и родить ребенка, или Люба, которая лишь на холодном берегу Потудани поняла, что не может без Никиты, и бросилась в реку, чтобы его найти, да была спасена — так поразительно переосмысляются мотивы «Чевенгура» — рыбаками?

Ее жизнь после передана в скупом диалоге между отцом и сыном.

«— Я ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась, — сказал отец. — Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать, — она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока еще не умерла, — произнес отец. — У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда утопала, то

простудилась. Она время плохое выбрала, — тут как-то погода испортилась, вода была холодная...

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец. — А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый...

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец. — Пройдет!.. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего... Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо...

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

— Ты ночуй, отец, один, — сказал Никита. — Я пойду на Любу погляжу».

Это тоже реализация федоровской идеи о воскрешении мертвых. Люба выпадает из одного потока жизни и попадает в другой. С ней происходит аналогичное тому, что случилось с Назаром Чагатаевым — образованная героиня спускается с горы своего ума. В «Реке Потудани» Платонов берет классическую для советской жизни коллизию, но в отличие от писателей, занимавшихся перевоспитанием отсталых и слабых, он «перевоспитывает» передового и сильного. Жизнь восполняет ту сердечную недостаточность, от которой страдала занятая слишком умственными вещами Люба, и с этой точки начинается ее преобразование.

Но перемена касается не только Любы. Меняется и Никита. Достаточно сравнить описание двух его ночных дорог в город к любимой женщине. Если первый раз накануне свадьбы Никита не спешит идти к Любе, чтобы «не остужать ее тела из-за своего интереса», то

путь домой после встречи с отцом в Кантемировке описан иначе:

«Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской, — сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом, — она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату, — двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал ее Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном».

Любина слабость вызывает в Никите силу. Сердце его становится сильнее, и, повинувшись ему, расплескавшаяся, истаявшая сила вновь собирается в теле. То, что происходит с героем, можно было бы назвать греческим словом «метанойя» — то есть буквально — изменением ума, только ум следует понимать в расширительном смысле и говорить об изменении поведения. Невозможное раньше стало возможным потому, что оба изменились внутренне.

«Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую, — ответила Люба.

Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением».

Слова о бедном, но необходимом наслаждении стали итогом платоновских поисков в той сфере человеческого бытия, что мучила его с отроческих лет. Они прозвучали примирительно, разрешительно, и рассказ заканчивается как будто счастливо, гармонично^[62], да только призрачно это счастье, что-то обреченное в нем есть с первого появления Любы перед Никитой, когда «кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала, — и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело». И этот сжимающий сердце портрет кажется предсказанием скоротечной девичьей судьбы, о чем догадывалась или она сама, или автор: «...нельзя так мучиться, когда я еще жива». Никакой уверенности в том, что молодая женщина оправится от болезни, нет, а окончание последней фразы «похудевшее тело ее прозябло в прохладном сумраке позднего времени» наполнено эсхатологическим смыслом. Рассказ-плач, рассказ-расставание, рассказ-

послесловие ко всему написанному Платоновым в предшествующие годы.

В современной писателю России о любви так не писал никто, и своеобразным отражением «Реки Потудани» можно считать бунинский цикл «Темные аллеи». И хотя Бунин не описывал ни слабых мужчин, ни стремящихся к знаниям женщин, сопряжение любви и смерти, пола и смерти, печаль о скоротечности жизни двух писателей роднит.

Глава восемнадцатая ДЕЛО И СЛОВО

«В предвоенные годы, во время войны и вплоть до смертельного заболевания у Платонова не было ближе людей в литературном мире, чем В. Гроссман, Р. Фраерман, Л. Гумилевский и Я. Рыкачев», — вспоминал Юрий Нагибин.

Мемуары о Платонове оставил лишь один из этой четверки — писатель Лев Иванович Гумилевский, родившийся почти на десятилетие раньше Платонова, опубликовавший первую книгу еще в 1910 году, познакомившийся по переписке с Горьким в 1912-м и скандально прославившийся в двадцатые годы романом «Собачий переулочек», а позднее успешно переквалифицировавшийся — опять-таки благодаря Горькому — в постоянного автора серии «ЖЗЛ». Он писал о великих изобретателях и инженерах, и на этой почве они с Платоновым познакомились осенью 1936 года. Поводом стало написание платоновской рецензии на биографические работы Гумилевского по заказу «Литературного критика».

Гумилевский вспоминал: «Он был тих и приветлив, говорил негромко, двигался осторожно и ни в чем не торопился. Когда я вошел, он сидел за высоким шведским бюро и писал на стандартных листах бумаги, карандашом, без поправок и так, что строчки к концу листа постепенно отступали от левого поля и ложились, скашиваясь вправо книзу. Он был хорошо одет, как будто для выхода из дома, но видно было, что заботу о его одежде взял на себя кто-то другой.

Черты некоторой старомодности — от карандаша в руке до скромности в каждом слове, в каждом движении — проскальзывали везде, и до сих пор

Платонов представляется обобщенным портретом революционных демократов шестидесятых годов прошлого века. Я чувствовал себя будто бы в гостях у Белинского или по крайней мере у Добролюбова...»

«Мятый костюм и выдавшая виды кепочка были внешними знаками житейской непритязательности и готовности примириться с судьбой. К тому же — попивал, временами сильно. Но и пил не в писательском ресторане, не за пиршественными столами, не за белыми скатертями, не в виде отчаянных возлияний с исповедальными разговорами, а где-нибудь в сумраке и толчее пиво-водочных заведений. Кто-нибудь из друзей постучит в окно — хорошо квартира на первом этаже (это уже на Тверском бульваре). Собутельников в дом Мария Александровна не пускала, чтоб не мешали работать. Но стол Платонова у окна, побарабанив по стеклу, можно вызвать его поговорить во двор или погулять», — по-своему описывал Платонова со слов его жены Исаак Крамов.

А вот и голос Марии Александровны: «Вернется домой пьяный, я уйду на кухню, отворачиваюсь, а он сядет на диван и зовет: „Мария, иди ко мне“. Я не иду, обидно мне, что он пьяный опять. А он снимет ботинок с ноги: „Сейчас вот разобью это блюдо, если ты ко мне не придешь!“ (над диваном у нас висело большое антикварное блюдо папино, мое любимое). „Бей“, — говорю».

«Он очень тихий был, очень спокойный, малоразговорчивый. Но если выпил, то ему тогда хоть замок на рот вешай. Он начинает все рассказывать, спрашивать», — вспоминала Платонова его невестка Тамара Зайцева.

«Андрей Платонович всегда и везде, дома и в гостях, говорил немного, ел мало, как девушка перед страхом растолстеть, никогда не пьянел, ничего не ронял на столе, и во всем этом чувствовалась

человеческая породистость, которая дается не школой, не воспитанием, а чем-то совсем другим», — писал Гумилевский.

«Это было перед войной. Лев Иванович Гумилевский, перешедший от беллетристики к научно-популярной литературе, решил проверить: может ли он еще писать рассказы <...> Гумилевский устроил у себя на квартире — мы жили в одном писательском доме по улице Фурманова, ныне снесенном, — чтение своего рассказа, написанного уже после многолетней разлуки с изящной словесностью <...> Лев Иванович сменил манеру — от пролетарского импрессионизма своих ранних книжек (тех, что „без черемухи“) он перешел к правдивому обстоятельному реализму, думая на этом пути вновь обрести лицо беллетриста.

Рассказ никому не понравился <...> Платонов молчал, пил мелкими глоточками красное цинандали и морщил высокое чело.

— А как вам, Андрей Платонович? — обратился к нему Гумилевский.

Платонов еще сильнее изморщил лоб, казалось, он решает непосильную умственную задачу.

— Это... конечно... рассказ, — сказал он и припал к бокалу.

— Для меня это очень важно, — наклонил крупную голову Гумилевский. — Значит, новеллистической формой я, во всяком случае, владею.

— Да... это... рассказ, — совсем изнемогая от умственной работы, повторил Платонов и потянулся за бутылкой <...>

От Гумилевского мы пошли к нам. Отчим вспомнил, что в графинчике оставалось немного водки. Измученный кислым вином, Андрей Платонович как-то особенно бережно и душевно перелил в себя две рюмки водки. После чего отчим с настырностью максималиста привязался к нему, почему он скрыл от Гумилевского

свое мнение о рассказе. Андрей Платонович отмалчивался, отсмеивался, отфыркивался, но под конец не выдержал и сказал жалобно:

— Да что вы привязались? Пусть пишет рассказы. Это лучше, чем хулиганить в подворотне.

Это было так неожиданно и неприменимо к пожилому, монументальному, словно конная статуя, глубоко серьезному Гумилевскому — он происходил из семьи потомственных священников и сочетал высочайшую порядочность с той неторопливой степенностью, с какой ведут службу, — что мы покатались от хохота», — писал Юрий Нагибин.

По большому счету противоречия между мемуаристами нет — Платонов открывался им с разных сторон. А еще Гумилевский — человек несомненно очень достойный, умный, глубокий, но если обратиться к известному Пастернакову сопоставлению Вересаева и Булгакова как явлений законного и нет, то Платонов по отношению к Гумилевскому был незаконен вдвойне — так вот Гумилевский написал о Платонове строки, свидетельствующие и о наблюдательности, и о добросовестности мемуариста, об искреннем желании понять, сохранить драгоценный облик человека, с которым ему выпало встречаться и разговаривать.

«Пышно расцветавший в те годы, да не вымерший и по сей день, писательский снобизм был совершенно чужд Платонову. Он был равнодушен к одежде, которую носил, к обстановке, которая его окружала. Об этом заботилась Мария Александровна. В то время, когда все писатели уже обзавелись авторучками, пишущими машинками, он по-прежнему писал карандашом, на простой писчей бумаге. Он работал за своим шведским конторским бюро и был им доволен потому, что оно стояло спиной к дивану, обеденному столу, к печке, входной двери и таким образом отъединяло его от семьи, от гостей, если он писал.

Когда вырос сын, стало больше шума и людей, Андрей Платонович выбросил из ванной комнаты ванну и сделал себе там кабинетик, а мыться ходил в баню, как все рабочие люди. Он не собирал ни редких книг, ни картин, ни даже простой библиотеки, да и собственными книгами не запасался.

Дружеские связи Андрея Платоновича устанавливались случайно, по взаимной симпатии, независимо от других соображений, часто в „Квисисане“ — ресторане-автомате на углу Черкасского переулка. Ресторан находился в центре целой кучи редакций и издательств: Гослитиздата, „Молодой гвардии“, Детиздата. Сюда всем было по пути.

— Что вы находите интересного в этих „забегаловках“? — спросил я, после того, как Андрей Платонович рассказал о ка-кой-то забавной встрече в таком однокомнатном трактирчике с высокими столами без стульев.

— Ну, вы не знаете... — с необыкновенной теплотой заговорил он, — какие там бывают люди, какие встречаются типы... Дело не в стопке, не в ста граммах, а в том, что люди там за этой стопкой распахивают свои души, раскрываются настежь. Когда люди встретились, разговорились, чтобы через пять — десять минут разойтись и никогда вновь не встречаться, они могут быть и становятся совершенно откровенными, до дна души открытыми... Ну так, как бывают только наедине с собой, да, впрочем, даже откровеннее, чем наедине с собой... Нет, такого, что вы узнаете, услышите там, вы нигде не встретите, нигде не узнаете... Честное слово!

Круглый стол с бутылкой вина посередине — в домашней обстановке, как и забегаловка, были для Платонова только средством человеческого общения, помощью в честном, искреннем всеобъемлющем разговоре, до конца откровенном. За этим столом у Платоновых я встречал Андрея Новикова и Виктора

Бокова, Алексея Кожевникова и Д. С. Ясиновского. Литературные генералы не появлялись. Неожиданным исключением оказался Шолохов».

О Шолохове чуть позже, а из названных Гумилевским писателей ближе всех Андрею Платонову стал известный впоследствии и до последнего времени здравствовавший поэт Виктор Федорович Боков (он умер 15 октября 2009 года на 96-м году жизни), на момент их знакомства в 1936 году двадцатидвухлетний студент Литературного института, и, пожалуй, ни к кому не относился Андрей Платонович с такой нежностью и серьезностью. Боков тоже оставил мемуары, к сожалению, довольно скудные, но даже сквозь скупость и легкость, как будто несерьезность боковского письма можно различить совсем иные, чем в мемуарах Гумилевского или Нагибина, черты характера его старшего друга.

«Меня притягивало к нему с невероятной силой. Возрастная разница в пятнадцать лет не мешала нашей дружбе. Мы были как товарищи, как одноклассники. Он стал наведываться ко мне в Переделкино. Появлялся Платонов обычно на рассвете. Как ранняя синичка стукнет в окно, подыму занавеску, а он стоит. Сна как не бывало!

Выхожу на крыльцо, садимся на ступеньки, молчим, а нам хорошо, мы единомышленники.

— Пошли на Баковку, — предлагает Платонов.

— Пошли!

И вот мы на Баковке. Маневрируют паровозы, влюбленно встречает их Андрей Платонов, нет-нет да кинет реплику машинисту, выглядывающему из будки, а тот Платонову помашет, как своему сменщику!»

Все это очень лирично, но можно представить такую картину: Платонов, то ли поссорившись с женой, то ли просто подвыпив, не идет домой, а едет в Переделкино к молодому поэту, с которым ему легко, весело и можно

забыть про тяготы собственной жизни, он любит его юностью, непринужденностью, простодушием, умением выкинуть какую-нибудь шутку, ибо у Платонова «душа была юной и озорной», и не случайно позднее, уже после войны, Платонов написал Бокову: «Я буду рад тебе, и хотя я уже пожилой человек, но во мне есть что-то не-подвижно-постоянное, простое, счастливое и юное. Это во мне еще живо, и это чувство обращается к тебе».

Их дружба вызывала раздражение у Марии Александровны, «гордой ленинградки», как назвал ее Боков в одном из интервью.

«Как-то засиделся я у Платоновых, в Переделкино ехать было поздно, остался ночевать. Мария Александровна постелила нам в прихожей. Один диван занял хозяин, другой — гость. Нам не спалось. Тут только и начались разговоры с глазу на глаз. Открываются двери спальни, на порожке Мария Александровна с полотенцем через плечо.

— Вы что, не спали? — Брови взлетели вверх, ноздри порывисто раздулись.

— А разве рассветало? — удивился Платонов.

Румянец залил лицо женщины, она вспылила:

— Андрей, сколько можно разговаривать с этим мальчишкой?

Андрей возразил по-рыцарски:

— С Виктором, Мария, я могу разговаривать до полного обветшания!»

Или в другой раз, во время отдыха в родной деревне у Бокова.

«Вдруг на меня насккивает жена Андрея:

— Куда вы дели Платонова?

Действительно, Платонова среди нас нет!

— Мария Александровна, не волнуйтесь, я его найду.

Где Андрей? Что с ним? И мне не по себе.

Мало ли что бывает.

Иду опять на мельницу. Вижу трактор, а рядом с ним на мягкой пахоте сидят два человека. В синем комбинезоне — тракторист, в светло-коричневом — Андрей Платонов. Горячо о чем-то говорят, забыв все на свете! У них бутылочка, огурец довольно крупный, и вот то один из горлышка потянет, то другой, то один от огурца откусит, то другой. Счастливые люди!»

То, что разговор Платонова с трактористом «о моторах, о смазочных материалах, да мало ли о чем» утерян, хоть и жалко, но понятно, сложнее с ответом на вопрос, почему ничего из своих ночных разговоров с глазу на глаз с Платоновым не вспомнил Боков? Оттого, что не хотел исказить платоновскую речь, забыл или не считал нужным вспоминать — то есть поступил с точностью наоборот по отношению к Эмилию Миндлину, который с Платоновым встречался нечасто, но написал о нем так, как если б они были лучшими друзьями.

«...Андрей Платонович чуть ли не на другой день после приезда пришел ко мне... Я знал, что он любит выпить, а у меня дома, как на беду, оставалась в графинчике самая малость: набралась одна-единственная, правда, большая старинная рюмка... <... > Я подал ее Платонову.

— А вы?

— Я не буду. Выпейте один.

Он не отказался. Глянув мне прямо в глаза, сказал, что пьет за нашу с ним дружбу и за то... и еще за то, чтобы во имя дружбы то, что он сказал мне тогда на феодосийском вокзале, выскакивая из вагона в последний момент, осталось навек только между нами».

И все же дружба была не с Миндлиным, с ним было сожаление о своей откровенности и еще, может быть, опасение, как бы не проболтался, а вот Виктор Боков, знавший куда как больше и вовсе не обещавший

торжественно ни о чем молчать, судя по всему, многого сознательно не сказал.

Разница в воспоминаниях обнаруживает себя порой в деталях на первый взгляд необязательных, случайных. Вот как, например, не сговариваясь, описывают Миндлин и Боков Плато-нова-купальщика.

Миндлин: «Я быстро разделся и вбежал в воду. Уже из воды стал торопить Андрея Платоновича: что вы там мешкаете? Скорее! Скорее!

Платонов пристроился за лодкой, опрокинутой на песке днищем кверху, раздевался, смущаясь, как женщина, и в воду входил, стыдливо прикрывая руками грудь.

Он не плавал. Ему нельзя было плавать из-за болезненной его худобы. Он так и остался лежать у самого берега на животе, едва прикрытый теплой и сонной водой. <...>

А когда вышли на берег, он снова спрятался за опрокинутой лодкой и одевался, как женщина, стесняясь меня».

(Эта стыдливость, заметим, сближает Платонова с Никитой Фирсовым из «Реки Потудани».)

А вот — мемуар Виктора Бокова, и перед нами совсем другой человек: «Дорога привела нас к мельнице, к плотине, к омуту. <...> Кто может соперничать июньским днем с ласковой прохладой воды?! Боковы разделись, попрыгали в омут, плывут, выкрикивают шутки, плывет и Андрей Платонов, а за ним я, как бы охраняю».

Ему не было тогда и сорока, но и физически, и душевно он выглядел и чувствовал себя старше своих лет, да и ощущал себя едва ли не стариком. И, может быть, поэтому так любил дружить с молодыми. С Федотом Сучковым и его друзьями («Платонов был мягок в общении, не любил никаких деклараций, говорил низким голосом, иногда от нахлынувшего

чувства сминал слова, доносил не мысль, а эмоцию», — вспоминал Сучков); с сотрудницей журнала «Мурзилка» Евгенией Таратутой и ее подругой редактором Гослитиздата Екатериной Цинговатовой, которых был всего на двенадцать-тринадцать лет старше...

«Андрей Платонович приходил ко мне с двумя бутылками в карманах плаща. Одна бутылка — водки, другая — с виноградным или яблочным соком. Он их ставил на мой круглый стол и говорил нам:

— Вы же — детский сад, а мне одному скучно...

Я доставала граненые стопочки. Мы сидели за столом друг против друга. Внимательно расспрашивал. И у меня, и у Кати все было тогда сложно».

О том, какие именно сложности были в ту пору у Евгении Таратуты, известно из ее воспоминаний, напрямую с Платоновым не связанных, но все же имевших к нему отношение.

«В начале лета 1937 года всю нашу семью выслали из Москвы как семью репрессированного — у отца был срок пять лет политизолятора. Три мальчика-школьника, мама и я оказались в глухом сибирском селе. С трудом удалось перебраться в ближайший город — Тобольск. Мама работала в библиотеке, я — машинисткой, секретарем, хотя могла бы преподавать в школе и в техникуме, но этого не разрешили, а потом и секретарем не разрешили. В мае 1939 года я потихоньку уехала из Тобольска, будто учиться. Два брата еще раньше уехали — тоже учиться. Мама с младшим оставались в Тобольске.

В день приезда в Москву у меня пропал голос. Совсем. Ни хрипа. Ни шепота... А жить мне — негде. Нашу квартиру заняли НКВДэшники. Братья живут в институтских общежитиях — меня туда не пустят. Денег нет. <...> едва в милиции увидели мой паспорт, выданный в Тобольске, как велели в 24 часа покинуть столицу. Очевидно, серия, обозначенная на паспорте,

служила шифром, понятным для милиции, но не для нас...»

Платонову злоклучения современников были известны не понаслышке, вызывая сочувствие отнюдь не абстрактное, однако выпавшее на долю его семьи оказалось куда страшнее.

«Как Тотик, не скучает по мне? Я уже заскучал».

«Еще Тотка — настолько дорогой, что страдаешь от одного подозрения его утратить. Слишком любимое и драгоценное мне страшно — я боюсь потерять его...»

«Тотику — поцелуй, объятие и катание верхом в далекой перспективе. Ну, прощай, моя далекая невеста, и береги нашего первого и единственного сына».

«Скажи сыну (ведь он уже большой, десять лет), что я его люблю, что я по нем соскучился и часто смотрю на все его игрушки, на столик, которые теперь пусты и ждут его».

«Сильно мучает меня скука по тебе и по Тотику, все время напрягаешься в борьбе с собственным сердцем».

«А Тотик — мой хелей балала, жигит, т. е. любимый ребенок, юноша».

«Я очень хотел бы увидеть, хоть на минуту, как вы там живете с Тоткой, как он учится и ведет себя без меня».

«Я беспокоюсь за Тотика, как бы он чего не нашалил такого, что принесет и ему и нам несчастье. Тотик! Говорю тебе издалека, серьезно, слушайся мать и брось баловаться, пока я не приеду».

«Тотика я прошу вести себя дома, в школе и на улице так, чтобы это было похоже, что он сын Платонова и по-хозяйски замещает отца во время его отсутствия».

Если я узнаю, что он вел себя скверно, учился лениво, тогда у нас дружба пойдет врозь. Я для него стараюсь, так пусть он не хулиганит.

Если же Тотик там без меня ведет себя хорошо, с матерью не дерется, учится хорошо, то я, как приеду, сделаю ему такой подарок, которого он еще никогда не имел, и буду ходить с ним гулять по кино десять дней подряд».

«Много мешает моему здоровью какое-то тяжелое, необоснованное предчувствие, ожидание чего-то худого, что может случиться с тобою и Тошкой в Москве».

В этих строках из платоновских писем разных лет угадывается не только любовь и тоска по сыну в период разлуки. Предчувствие катастрофы, с каким жил Платонов, сконцентрировалось, воплотилось в судьбе его пятнадцатилетнего сына, на чью долю выпало то, что должно было произойти с отцом, к чему была устремлена и неслась его судьба подобно тому, как шли навстречу беде паровозы в его прекрасном и яростном мире. Но случилось не с ним. Случилось хуже, чем если бы с ним, точно кто-то отвел, перевел беду, как железнодорожную стрелку, и направил к пропасти другой состав. Тот, в котором ехали дети...

Платон Платонов, Тотик, был необычным ребенком. Очень одаренным, восприимчивым, рано повзрослевшим и не выдерживавшим стремительного роста. «Он был очень взбалмошный человек. Может, это нам и нравилось, и все наши девчонки в него втрескались. Он был красивый», — вспоминала много лет спустя будущая жена Платона Тамара Зайцева. Ему непросто жилось, его нелегко было воспитывать, но это были трудности, происходившие не от скудости, а от богатства натуры. Если искать параллелей с другими писательскими детьми, то, пожалуй, ближе всего к Платону был его ровесник Георгий Сергеевич Эфрон, сын Марины Цветаевой — Мур. Они и жизни прожили короткие и почти одновременные, и оба были к ним не очень готовы...

«Этого светловолосого, хорошего мальчика в коричневом костюме, белой рубашке с черным галстуком я видел еще два или три раза, каждый раз так же мельком, — вспоминал Гумилевский. — А вскоре затем Андрей Платонович, отвечая на обычный вопрос: „Как поживаете?“ — сказал мне:

— У нас несчастье, Лев Иванович, сын пропал!

И он рассказал с покорным недоумением:

— Пошел к товарищу, сыну Николая Архипова, вы его, верно, знаете, на вечеринку и не вернулся: там ночью всех забрали, и теперь мы даже никак не можем узнать, где он!»

Как писал со слов Марии Александровны Платоновой Исаак Наумович Крамов, «сын, шестнадцатилетний мальчишка, был арестован в 1938 году на улице. Платонов несколько дней носился в отчаянии и горе по городу, пытался дознаться, куда тот исчез, не погибли под машиной, искал в больницах, в моргах, пока не узнал истинной причины исчезновения».

Все верно, только Платону было тогда не шестнадцать, а пятнадцать лет.

«Я очень любила Тотика, потому что жила много в их семье и мне приходилось быть у них вместо хозяйки, — рассказывала Валентина Александровна Трошкина. — Сестра и работала, и училась, а я больше с Тотиком занималась. Он мне почти как сын был, я страшно его любила. Тошка был очень красивый парень. В четырнадцать лет ему давали все девятнадцать — такой он был стройный, высокий, красивый. Наверное, в мать. Не только девушки, а и женщины на него заглядывались.

Надо сказать, что Тошка хорошо танцевал, да и я неплохо. И хоть была намного старше, любила ходить с ним на вечера. Я работала тогда в правлении Госбанка, и у нас всегда были хорошие вечера с артистами, с

танцами. Как-то восьмого марта я пригласила Тошу к нам на такой вечер. Был это тридцать седьмой или тридцать восьмой год. А Тошка говорит: „Ты знаешь, мы вместе с ребятами уже договорились собраться вместе, но, пожалуй, я сперва с тобой схожу, а потом к ним пойду“.

Обычно когда Тошка танцевал, все расступались и смотрели на него. Так же было и в этот раз. Я уступила танец своей знакомой Наде, хорошая была такая девушка. Она Тотику очень понравилась. И вот они танцуют, все расступились, смотрят. И вдруг Надя прекратила танцевать, подходит и говорит мне: „Знаешь, я пришла в носочках, а все смотрят на нас, я сбегая чулки надену“. А жила она где-то неподалеку. И вот из-за такой мелочи, как эти носочки, может быть, у Тоши и жизнь бы по-другому сложилась. Дело в том, что эта Надя так понравилась Тотику, что он уже раздумал было идти на дружеский вечер. Он терпеливо ее дожидался, но ее все не было почему-то, и наконец Тоша сказал: „Ну ладно, Валь, видно, она не придет, я пойду к своим ребятам“. И ушел. После вечера вдруг звонит сестра и спрашивает, где Тоша. Я говорю, что он был со мной, но потом ушел к ребятам. В общем, искали его и не могли найти. Оказалось, что пропал он не один, а еще семь ребят. Их искали несколько дней. Все они были детьми писателей, которые оказались в немилости. Через несколько дней выяснилось, что школьников забрали за политические анекдоты».

В воспоминаниях Валентины Александровны много неточного (арестовано было только двое, и отношения к анекдотам аресты не имели), а также одна явная хронологическая нестыковка: Платон был схвачен на улице в конце апреля 1938 года, и праздник Восьмого марта был ни при чем. Но в ее мемуарах нет той клеветы и фальсификации, которая, как показала дальнейшая история, Платона после смерти ждала и

которая продолжается по сей день, хотя уже двадцать лет назад благодаря работам Виталия Шенталинского картина стала более или менее ясной.

В 1990 году Шенталинский опубликовал материалы из следственного дела Платона Андреевича Платонова, из которых видно, что следствие продолжалось несколько месяцев. Как пишет исследователь, «на допросе 9 июня — его вели капитан Найдман и старший лейтенант Геллерман — Платон рассказал о родителях: „Отец мой — писатель-сценарист и рецензент, мать — литературный работник, работает в газетах и журналах... Родители относились ко мне, по-видимому, как к единственному сыну, с большим вниманием и наличные нужды выделяли мне ежемесячно от 100 до 150 руб. В остальном я находился на полном их иждивении...“».

Это показание тем важнее, что оно опровергает версию Льва Разгона, опубликованную в 1994 году в «Литературной газете» в статье «Отрок Платон», — сюжет, на котором есть смысл остановиться подробнее хотя бы потому, что едва ли существует более резкое свидетельство того, как можно, прикрываясь самыми благими намерениями и сентиментальной демагогией, травить людей много лет спустя после их смерти.

Лев Разгон, сотрудник НКВД с 1933 года, зять Глеба Бокия, проведенный в лагерях более шестнадцати лет и ставший впоследствии одним из основателей общества «Мемориал», был арестован в апреле 1938-го и, по его словам, находился с Платоном в одной тюремной камере в Бутырках. Остальные обитатели камеры мальчика сторонились, а в Разгоне выиграло любопытство, он разговорился с изгоем, и тот признался ему, что он — немецкий шпион, точнее — завербованный германской разведкой агент.

«Его рассказ потряс меня, вызвал смятение, жалость, удивление...

— Били?

— Нет, не трогали. Следователи у меня хорошие. Папиросы дают. И конфеты...

Мне было интересно. Страшновато, гадко, но интересно... Папироса была не нашенькая, не из тюремной лавочки — толстая, дорогая. Следовательская, догадался я...»

Суть этого «интересного рассказа», по версии Разгона, заключалась в том, что Платон Платонов, «счастливый и несчастливый мальчик», который «родился и вырос в бедной и неудачливой семье», где «странноватый отец — писатель своей отчужденной от семьи жизни» тяжело пьет, «сына любит, но кричит на него и не хочет понять, чего ему не хватает», а «ему не хватает модной курточки, какие носят все ребята в округе; а ему не хватает хоть немного своих денег, чтобы не опускать глаза, когда вся компания расплачивается в кафе или ресторашке; ему даже своих папирос не хватает, и он должен делать вид, что только выбросил опустевшую пачку» — так вот этот одаренный от природы парень попадает в сети НКВД, когда под видом немецкого шпиона, интересующегося курсантами Военно-воздушной академии, а с ними якобы дружил Платон, к нему подсаживается человек из конторы и предлагает работать на германскую разведку — передавать разговоры с курсантами. За это «резидент» пообещал платить 400 рублей в месяц — сумму по тем временам огромную. («Мой партмаксимум был 220», — признавал Разгон.)

Целью провокации, по версии «мемуариста», было организовать и раскрыть «заговор» в академии с помощью доверчивого, глупого Платона. Некоторое время спустя мальчика арестовывают.

«— Вас вместе и взяли?

— Нет, меня дома... У меня было много очных ставок, а с ним (с резидентом. — А. В.) ни разу... У меня

было три, а то и четыре следователя. Очень хорошие люди. Меня пальцем не тронули, чаем угощали. С конфетами. Записку домой переслали. Так ведь я же не заперся».

Ахматова говорила, что за прямую речь в мемуарах надо подвергать уголовному наказанию. Случай Разгона — тот самый^[63]. Скончавшемуся в 1999 году в возрасте девяноста шести лет мемуаристу не предъявишь уже ничего, и, возможно, не стоило бы и тревожить его прах, когда бы речь в его «мемуарах» не шла о людях, не единожды оклеветанных сначала при жизни, а потом и после смерти.

Все, что написал Разгон о Platone Platонове, все, что опубликовала «Литературная газета», было постыдной ложью, начиная с того, что арестован Платон был не дома, а на улице и никаких сведений о нем родители не имели много дней. А между тем Разгон демагогически рассуждал:

«Неужели этот мальчик, из-за шмоток и выпивки ставший шпионом, не понимал, что ждет его друзей? Ну, ему дадут пятьдесят восемь — шесть. Статья тяжелая, но по молодости да за помощь следствию дадут семь-восемь — еще вытянет. А те — командиры Красной Армии. Сами не шпионили — содействовали. Нарушили присягу, изменили Родине. Этим могут и вышку дать. Содрогнулся, подумай об этом. И не смог больше поддерживать этот как бы обычный разговор двух сокамерников. Из меня вылетели остатки жалости и человеческого интереса к молодому предателю, агенту немецкой разведки.

И больше не подходил к Платону, старался избегать встречаться с ним взглядом, как бы ощутив тяжесть нависшего над ним общего презрения.

Рассказывал ли, выйдя на волю Платон отцу, матери, своим самым близким историю, как он попал в

западню? Я этого не узнал и не хотел узнавать. У него остались мать, сестра — если они не знают, зачем я буду сыпать соль на их незажившую рану?

Я рассказываю об этом сейчас, через пятьдесят четыре года после встречи в 29-й камере. Рассказываю потому, что свидетельствую».

Лжесвидетельствую... Да и сестра Платона Мария Андреевна была тогда жива, был жив сын Платона Александр, но Разгона это не остановило — он хотел увидеть свой текст напечатанным (и та же версия была озвучена им в голландском фильме «Рукописи не горят», посвященном советским писателям).

Иное свидетельство о пребывании Платона в тюрьме содержится в воспоминаниях его тетки Валентины Александровны Трошкиной: «Рассказывал, что попал в камеру к политическим. Один среди них мальчишка. А там были в основном пожилые — ученые, профессора. Рассказывал, когда его в первый раз привели на допрос, то заставляли подписать совершенно нелепые вещи, что он якобы хотел взорвать Кремль, кого-то убить. Бог знает, что ему приписывали. Он отказался, конечно. Ему зубы сразу все выбили да еще легкие отбили — кашлял. И когда его привели в камеру, то эти старые люди посоветовали ему все подписать: „Если не подпишешь, то все равно жить не будешь, тебя изувечат. Мы все подписали, что они требовали“. И Тоша подписал все бумаги не глядя, которые ему предъявляли. Тогда его оставили в покое. Жил он среди ученых людей, для которых он был ребенок. Они всему его учили...»

Даже если этот мемуар содержит, как и любое воспоминание, неточности, существуют документы, опубликованные, во-первых, В. Шенталинским в 1990 году; во-вторых, журналисткой И. Кутиной и сотрудником архива ФСБ В. Гончаровым в 2000-м, и, наконец, самая последняя и наиболее полная

информация о деле Платона Платонова содержится в исследовательской работе Л. Суrowsкой «Семейная трагедия Андрея Платонова (К истории следствия по делу Платона Платонова)», опубликованной в «Архиве Платонова» в 2009 году. И хотя белые пятна в той истории все равно остаются, а Платон был, говоря педагогическим языком, «трудным подростком», не разбегавшим из дома, а в 1936 году получившим условный срок за соучастие в воровстве, что и позволило его следователям нарисовать ужасную картину «полного морального разложения» юноши^[64], тем не менее ничего похожего на «свидетельство» Льва Разгона в истории его преступления и наказания не было — ни добрых следователей, ни сладких конфет и папирос, ни тем более погубленных по его вине красных летчиков.

В справке на арест П. А. Платонова значилось три пункта:

«1) Являлся участником молодежной фашистской организации, ставящей себе целью свержение советской власти и установление фашистской диктатуры в СССР.

2) Занимался вербовкой в организацию среди учащейся молодежи для антисоветской и шпионской работы.

3) Инициатор установления контактов с резидентом германской разведки — иностранным корреспондентом Перценом».

Если два первых пункта обвинения были чушью, и больше того, 17 июня Геллерман вынес обвинительное заключение, в котором говорилось, что Платон «обсуждал вопросы совершения террористических актов над Сталиным, Молотовым и Ежовым», то с третьим пунктом все обстояло не так просто.

Иностранец, многолетний московский корреспондент газеты «Франкфуртер альгемайне»

Герман Пёрцген действительно был. Он жил в том же доме, где и Платоновы, на Тверском бульваре, и однажды Платон вместе со своим более старшим товарищем, сыном писателя Николая Архипова Игорем совершили поступок странный, бессмысленный и трудно объяснимый. Они написали два письма немцу, чьего имени даже не знали. Текст писем нам неизвестен, но, как сказано в статье И. Кутиной и В. Гончарова, «иностранному корреспонденту предлагалось заплатить деньги в обмен на „интересы“, которые „безусловно“ заинтересуют получателя». Поскольку никакого интереса с точки зрения владения военными секретами авторы не представляли, то логичнее всего предположить, что парни хотели немца, говоря современным языком, развести на деньги, даже не подозревая, сколь безумен и опасен их план. Письма были переданы горничной, от которой, по разумному предположению исследователей, и попали в НКВД.

Позднее, в 1940 году, когда дело рассматривалось вторично, Платон говорил о том, что не помнит содержания писем, так как писал их в женском туалете бара на Тверской, будучи нетрезвым, под диктовку Архипова. Проверить эту информацию было не у кого: 15 сентября 1938 года восемнадцатилетний Игорь Николаевич Архипов был расстрелян. Среди прочего ему вменялось в вину предложение «заразить водохранилище гор. Москвы холерными и тифозными бациллами. Для исполнения этого предполагалась вербовка в организацию врача-бактериолога и устройство своего человека на фильтр». Платона, видимо, спас от казни лишь относительно малый возраст...

Отец узнал о мотивах ареста сына несколько месяцев спустя благодаря вмешательству Фадеева. До этого в неоднократных обращениях в НКВД он писал, что сын арестован по неизвестной причине, настаивал

на том, чтобы его вызвали к следователю для объяснения, просил отпустить перенесшего трепанацию черепа мальчика на поруки под любые гарантии с его стороны или хотя бы дать свидание и возможность сделать передачу, но все было тщетно. Открывшаяся ему частично, с чужих слов «правда» о проступке Платона не могла его не поразить, но заместителю народного комиссара внутренних дел Фриновскому он писал:

«Секретарь Союза Советских Писателей А. А. Фадеев был ознакомлен с обвинительным материалом по делу моего несовершеннолетнего сына, Платона Андреевича Платонова, арестованного в конце апреля сего года (ордер на обыск № 2915 от 4.05.1938), и сообщил существо этого дела.

Тов. Фадеев сказал, что, по его впечатлению, дело моего сына идет к окончанию. Возможно поэтому, что участь моего сына близка к решению.

Я вновь обращаюсь к Вам с убедительной просьбой — облегчить участь моего сына. <...> Я прошу освободить моего сына — под мое поручительство, под любые гарантии с моей стороны. Все условия, которые мне поставит НКВД в отношении воспитания сына, режима его содержания, места его жительства и т. п., я заранее принимаю и обещаю в точности их выполнять».

Это было написано 26 сентября 1938 года, когда Платонов еще не знал, что суд над сыном уже состоялся.

«Приговор военной коллегии Верховного Суда СССР от 23 сентября 1938 года.

Предварительным и судебным следствием установлено, что Платонов Платон Андреевич, 1922 г.р., является одним из руководителей антисоветской молодежной террористической и шпионско-вредительской организации, действовавшей в г. Москве. На почве морального и полового разложения

Платонов П. А., вместе с другими участниками организации, ставил целью вести активную борьбу с Советской властью путем шпионажа, диверсий и террора и в целях изыскания средств для развертывания этой предательской работы пытался установить связь с германскими разведывательными органами.

Таким образом, установлена вина Платонова П. А. в совершении им преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1а, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР.

Военная Коллегия приговорила: Платонова П. А. подвергнуть тюремному заключению сроком на 10 лет с поражением в политических правах на пять лет, конфискацией всего, лично ему принадлежащего имущества».

У нас нет данных, что имелось в виду под «моральным и половым разложением» Платона^[65], хотя, как следует из приведенных выше воспоминаний его тетки, даже в свои пятнадцать лет мальчик пользовался у женщин успехом, и, возможно, именно эта благосклонность и спровоцировала строки в приговоре, да и сам Платон заявил о себе 9 июня 1938 года: «Я в 14 лет стал выпивать, курить и увлекаться женщинами». Известно также, что подельник Платона Игорь Архипов успел до своего расстрела признаться, что вел разговоры с Платоном «о советском искусстве и литературе и о том, как трудно писателям в советских условиях, обязанным казенной тематикой». Асам Платон показывал на следствии: «На меня повлияли процессы правых троцкистов. Я в нашей печати читал отзывы иностранной прессы и воспринял эти отзывы с антисоветской точки зрения. Повлияли на меня также аресты многих людей».

Говорилось это обвиняемыми искренне или под пытками либо угрозами, не скажет теперь никто, но вот

вопрос: можно ли считать арест Платона хорошо продуманной и тщательно спланированной местью его отцу? При всем вероломстве тогдашнего времени едва ли НКВД специально изыскивал способ ударить писателя как можно больнее, и уж совсем наивно полагать, что за всем этим стоял лично Сталин. Да и самому Андрею Платонову казалось более вероятным иное развитие событий. Мария Александровна рассказывала И. Крамову, что, по мнению Платонова, это «Фадеев спас его от неминуемого ареста. Сын был арестован, и Платонову объяснили, что это сигнал, знак, что подбираются к нему, и он ждал, что придут. Не пришли. Фадеев, вероятно, спас — так думал Платонов».

Этого нельзя, разумеется, полностью исключать, но, судя по опубликованным материалам допросов Платона, никто из следователей — а их имена и телефоны содержат «Записные книжки» Платонова — не спрашивал мальчика об отце, никто не требовал давать на него ложных показаний, оговаривать, доносить, клеветать. Платона шантажировали тем, что если он не подпишет обвинения, то родители будут арестованы, однако это был обычный следовательский прием, и даже на издательской судьбе отца арест сына фактически не сказался (очевидно, что книга Платонова «Размышления читателя» была зарезана по другим причинам^[66], и то же самое относится к неизданной биографии Николая Островского, которую Платонов написал для серии «ЖЗЛ»). Если не гоняться за призраками и не умножать числа сущностей сверх необходимого, следует признать, что история ареста Платона не была напрямую связана с личностью неудобного писателя, не была против него использована (или по крайней мере на сегодняшний день нет фактов, которые бы это доказывали), и в

данном случае формула «сын за отца не в ответе» сработала с точностью до наоборот: отец не был в ответе за сына. Да только Платонову от этой перемены легче не было, и он с себя ответственности не снимал.

«Лицо Андрея Платоновича потемнело, стало обожженным от горя, — вспоминал Эмилий Миндлин. — На его жену Марию Александровну страшно было смотреть. Прекрасные черты исказились таким нечеловеческим страданием, что при встрече с ней глазам становилось больно.

Теперь Платонов все больше говорил о битве за освобождение Тоши. Он говорил по-прежнему тихим и ровным голосом, может быть, еще более тихим и ровным, чем прежде. Где и у кого они только не были! К кому только они не ходили с мольбами об освобождении из тюрьмы их единственного несовершеннолетнего и очень болезненного мальчика. Иногда рассказы Платонова о безнадежных хлопотах походили на бессвязный бред. Былая точность речи утратилась. А может быть, это потому так казалось, что то, о чем он рассказывал, скорее походило на бред, на неправдоподобно невозможные сцены из жизни нашего времени».

«Андрей Платонович никогда никуда не писал жалоб, не просил защиты, стоял твердо, несгибаемо, да и кому мог бы он жаловаться на Сталина? — словно возражал Гумилевский. — Падавшие на его голову несчастья Андрей Платонович сносил как-то безропотно, не повышая голоса, не отбиваясь, точно имел дело с землетрясением или, по крайней мере, с проливным дождем.

В те дни я часто навещал этот дом на Тверском бульваре с окнами на улицу. Я не слышал никогда, чтобы Андрей Платонович говорил громче обычного: его всегдашняя ровность граничила с застенчивостью».

«Я был свидетелем того, что Платонов срывался в застолье на истерику, на рыдания. Близким не надо было объяснять, что с ним», — вспоминал свое Виктор Боков, и в противоречиях мемуаристов нет ничего странного — неправдоподобнее выглядело бы единодушие.

Однако точнее всего состояние Платонова передают его письма.

«Больше всего я занят тем, что думаю — как бы помочь ему чем-нибудь, но не знаю чем. Сначала придумаю, вижу, что — хорошо, а потом передумаю и вижу, что я придумал глупость, — писал он Игорю Сапу 30 августа 1938 года. — И не знаю, что же делать дальше. Главное в том, что я знаю именно теперь, мне надо помочь Тошке (некому ему помочь кроме меня), как ты знаешь, и не знаю, чем же помочь реально — не для успокоения себя, а для него».

Тем не менее помощь со стороны, помощь другого человека к нему пришла.

«Как-то, не слишком поздним вечером, я застал Марию Александровну не в своей комнате, с книгой в руках, а на кухне, и Андрея Платоновича — не за своим рабочим столом, а расхаживающим по комнате, — вспоминал Гумилевский. — Открывая мне дверь, Мария Александровна объявила:

— Шолохов приехал. Должен сейчас прийти!

И Андрей Платонович, здороваясь со мной, прибавил:

— Может быть, он что-нибудь сделает... для Тошки!

Затем пришел Шолохов. Тогда он еще не был академиком, держался просто, приветливо и не сторонился обыкновенных писателей. На его кожаной куртке, привинченный, сиял золотом орден Ленина. Как бы смущаемый этим сиянием, Михаил Александрович, поздоровавшись с нами, снова вышел в переднюю, оставил там куртку и, вернувшись в одной рубашке, сел

за стол. Когда подали водку, он первым делом предложил выпить:

— За старшего товарища по нашему ремеслу!

Тост относился ко мне и тронул меня. Затем уже пили без тостов, забывая за разговором о церемониях, лишних между своими, тогда как я все-таки был новым знакомым. Я вскоре ушел, чтобы не мешать старым друзьям говорить совсем откровенно, зная, что разговор к тому же должен идти о вызволении Тошки из беды.

Через какое-то небольшое время я зашел к Платоновым, и Андрей Платонович сообщил мне следующее: Шолохов встретился со Сталиным и рассказал ему историю платоновского мальчика. Тут же, при Шолохове, Сталин запросил по телефону справку о положении этого дела и ему очень быстро доложили, что мальчик находится на пути в Магадан. Сталин распорядился вернуть осужденного немедленно в Москву и пересмотреть все дело.

— Ну что же? Поздравляю вас, Андрей Платонович!

Застенчиво улыбаясь, Андрей Платонович начал расставлять на столе тарелки и стопочки.

Сын ему был возвращен...»

«Когда Тошеньку арестовали, — вспоминала Мария Александровна Платонова, — вскоре пришел к Андрею Шолохов: „Андрей, я буду у Сталина просить за своего племянника-дурака, хочешь, я попрошу у него за Тошку?“ — „Ну, что ж, проси“, — говорит Андрей. А потом Шолохов нам рассказал, что когда он просил Сталина, тот вызвал Берия. „Зачем тебе этот мальчишка, отпусти его“, — говорит ему Сталин. Берия что-то ответил — и тут они стали ругаться по-грузински матом. Ничего у Шолохова тогда не вышло.

Позже он опять просил у Сталина, Тошу отпустили».

Своя, по-женски романтическая версия была изложена в мемуарах Евгении Таратуты: «Андрей Платонович рассказывал мне, как он обратился за помощью к

Шолохову, которого знал давно. На встрече со Сталиным Шолохов рассказал ему о сыне Платонова. Сталин — единственный, кто мог помочь. И Сталин распорядился произвести переследствие. Следователь оказался честным, стал проверять, собирать показания. Он рассказал родителям Платоши, как было дело. Выяснилось, что два мальчика влюбились в одну девочку в классе, ей больше нравился Платоша. Тогда тот, другой влюбленный, чтобы устранить соперника, донес на него, обвиняя его в заговоре против Сталина...»

Даже если Платонов подобное и рассказывал, то наверняка для того, чтобы сделать ситуацию с арестом сына максимально невинной, далекой от политики... На самом деле все было гораздо страшнее, невозможнее, труднее и жутче, чем вспоминали и Гумилевский, и Таратута, и Миндлин, и Виктор Боков.

В первом выпуске «Архива Платонова» были опубликованы черновики двух писем Платонова Сталину, датированных соответственно декабрем 1938-го и январем 1939 года.

«Я обращаюсь к Вам, Иосиф Виссарионович, с отцовской просьбой. В конце апреля этого года арестован мой пятнадцатилетний сын, Платонов Платон Андреевич. Он был арестован вне дома, и я узнал об аресте 4/V, когда пришли делать обыск.

До последнего времени мой сын сидел в Бутырской тюрьме, а недавно мне сказали, что он выслан. Приговор и место, куда его выслали, мне не известны.

Мне кажется, что плохо, если отказывается отец от сына или сын от отца, поэтому я от сына никогда не могу отказаться, я не в состоянии преодолеть своего естественного чувства к нему. Я считаю, что если сын мой виновен, то я, его отец, виновен вдвое, потому что не сумел его воспитать, и меня надо посадить в тюрьму и наказать, а сына освободить.

Сын мой ведь всего подросток. В его возрасте бывают всякого рода трудности, связанные просто с формированием тела человека. Кроме того, сын мой болен.

Если же нельзя меня посадить в тюрьму в качестве заложника, ради освобождения сына, то прошу освободить его под залог:

Иосиф Виссарионович! Я и мать моего сына просим Вас понять наше глубокое горе и облегчить его.

Верящий Вам...»

Так заканчивалось первое письмо, а во втором был еще один абзац: «Мать сына (он у нас один) по естественным материнским человеческим причинам дошла до очень тяжелого душевного состояния. Два раза я предупреждал ее попытки к самоубийству, но может оказаться, что я не смогу уберечь ее. Сам я еще держусь и не отчаиваюсь, потому что верю в человечность советской власти и в Вас, и никогда мое большое горе не перейдет в мелкое душевное ожесточение.

Я прошу Вас указать, чтобы дело моего сына было пересмотрено и чтобы он был освобожден.

Верящий Вам...»

О том, что переживала Платонов в ту пору, засвидетельствовала агентура НКВД.

«Писатель Андрей ПЛАТОНОВ, после двух разговоров с ним писателя М. ШОЛОХОВА, внушившего ему, что его малолетний сын приговорен к 10 годам, наверное, без всяких к тому оснований, — находится сейчас в чрезвычайно подавленном, растерянном состоянии. Он все время говорит только о рассказах ШОЛОХОВА о массовых беззакониях, практиковавшихся органами НКВД, и о том, что, следовательно, Тошка страдает безвинно.

Настроение это усугубляется тем, что Платонов не может никак получить справку о том, где находится

сын, и подозревает, что он умер в тюрьме.

Содержание разговора ШОЛОХОВА он передал И. САЦ<у>, В. КЕЛЛЕРУ».

Это донесение датировано 27 февраля 1939 года. К тому моменту уже был снят с должности наркома внутренних дел Ежов и появилась надежда что-то сделать, но только если шестнадцатилетний парень был жив.

«Писатель Андрей ПЛАТОНОВ, <...> говоря о судьбе своего сына, сказал, что он перестал верить Михаилу ШОЛОХОВУ, который в каждый свой приезд обещает помочь ему, берет у него письма для передачи тов. СТАЛИНУ. „Теперь он говорит, что передавал их не СТАЛИНУ, а непосредственно ЕЖОВУ, а ЕЖОВ все письма и заявления, не читая, бросал в корзину“. ПЛАТОНОВ передает, что ШОЛОХОВ и В. КУДАШЕВ уверяют его, что его сын жертва провокаций, которые применялись систематически в массовом масштабе, особенно по отношению к малолетним. „Я не понимаю, — говорит ПЛАТОНОВ, — на что они меня наводят с КУДАШЕВЫМ. Ведь делать-то ШОЛОХОВ ничего не делает, зачем же он мне все это говорит“... <...>

ШОЛОХОВ рассказал ему об антисоветских методах допросов, которые, по его словам, применялись широко в системе НКВД в 1937 году не только на периферии, но и в центре для получения сознания своей вины со стороны абсолютно невиновных людей. ПЛАТОНОВ не мог не поверить ШОЛОХОВУ — члену партии, депутату Верховного Совета. Вместе с тем, он не мог себе объяснить, что заставило ШОЛОХОВА рассказать такие вещи именно ему, когда он и так встревожен участью сына. ПЛАТОНОВ говорил: „Что это за игра? И зачем ему нужен я, не имеющий никакой роли ни в какой игре?“ Однако эти рассказы ШОЛОХОВА, при всех сомнениях, настолько потрясли ПЛАТОНОВА, что двое его

ближайших друзей, с которыми он об этом говорил, с трудом поддерживали его душевное равновесие».

Что он передумал и почувствовал за эти дни и ночи — Бог весть. Но кого бы ни считал Платонов виновником своего несчастья, ничего подобного «Реквиему» Анны Ахматовой в его творчестве не найти. Это не значит, что арест сына не сказался в его прозе — он сказался и еще как! — но иначе, без обличительной ахматовской ноты, хотя и Платонову выпало стоять в тюремных очередях, думая о сыне и о том, почему тот в неволе оказался: «Ты опять заигрался, ты опять забегался, и ты забыл про меня!»

«— Мама! — позвал он в каменной тишине и заплакал от разлуки с матерью.

Он сел под каменной стеною горы и стал карябать ее ногтями. Он хотел протереть камень и сквозь гору уйти к матери».

Это — из легенды Платонова «Разноцветная бабочка», которую датируют 1946 годом, хотя точное время ее написания неясно и впервые она была опубликована в 1965 году в детском журнале «Костер», а не в «там» или «самиздате»; к ней редко обращаются исследователи, но в этой сказке трагедия платоновского сына и его будущий труд в норильских шахтах отразились с недетской пронзительностью и откровенностью.

«С тех пор, как мальчик Тимоша очутился на дне каменной пропасти, прошло много лет. Тимоша вырос большим. Он нашел куски самого крепкого камня, упавшие когда-то с вершины горы, и наточил их о другие такие же крепкие камни. Этими камнями он бил и крошил ее, но гора была велика, и камень ее тоже крепок.

И Тимоша работал целые годы, а выдолбил в кремнистой горе лишь неглубокую пещеру, и ему было еще далеко идти сквозь камень домой. Оглядываясь от

работы назад, Тимоша видел разноцветных бабочек, которые летали целым облаком в жарком воздухе. Ни разу, с самого детства, Тимоша не поймал более ни одной бабочки, и когда бабочка нечаянно садилась на него, он снимал ее и бросал прочь.

Все реже и реже он слышал голос матери, звучащий в его сердце: „Тимоша, ты забыл про меня! Зачем ты ушел и не вернулся?..“

Тимоша плакал в ответ на тихий голос матери и еще усерднее долбил и крошил каменную гору.

Просыпаясь в каменной пещере, Тимоша иногда забывал, где он живет, он не помнил, что уже прошли долгие годы его жизни, он думал, что он еще маленький, как прежде, что он живет с матерью на берегу моря, и он улыбался, снова счастливый, и хотел идти ловить бабочек. Но потом он видел, что возле него камень и он один. Он протягивал руки в сторону своего дома и звал мать.

А мать смотрела в звездное небо, и ей казалось, что маленький сын ее бежит среди звезд. Одна звезда летит впереди него, он протянул к ней руку и хочет поймать ее, а звезда улетает от него все дальше, в самую глубину черного неба.

Мать считала время. Она знала, что если бы Тимоша бежал только по земле, он бы уже давно обежал всю землю кругом и вернулся домой. Но сына не было, а времени прошло много. Значит, Тимоша ушел дальше земли, он ушел туда, где летят звезды, и он вернется, когда обойдет весь круг неба. Она выходила ночью, садилась на камень около хижины и глядела в небо. И ей чудилось, что она видит своего сына бегущим в Млечном Пути. Мать тихо говорила:

— Вернись, Тимоша, домой, уже пора... Зачем тебе бабочки, зачем тебе горы и небо? Пусть будут и бабочки, и горы, и звезды, и ты будешь со мной! А то тыловишь бабочек, а они умирают, ты поймаешь звезду, а

она потемнеет. Не надо, пусть все будет, тогда и ты будешь.

А сын ее в то время по песчинке разрушал гору, и сердце его томилось по матери.

Но гора была велика, жизнь проходила, и Тимоша стал стариком».

Платонов сочинил свою страшную сказку, по всей вероятности, тогда, когда Платона уже не было в живых, но при жизни мальчика он делал для него все, что мог. В мае 1939 года в письме прокурору Союза ССР Вышинскому он писал о том, что Платон был «оговорен, использован, стал жертвой наиболее гнусной провокации», подчеркивая тот факт, что подросток трижды перенес трепанацию черепа, следствием чего явилась глубокая психическая травма, и в какой-то момент стало казаться, что дело сдвинулось с мертвой точки и его услышали.

Двадцать четвертого июня Платонов сообщал сыну: «Дело твое помаленьку подвигается. И по нашему мнению — успешно. Но только — медленно, и когда оно закончится, т. е. приведет к окончательному и положительному результату — мы с матерью сказать сейчас не можем. Нужно терпеть еще некоторое время. А тебе — учиться, заниматься и вести себя хорошо и спокойно. Главное — не трать там время по-пустому, то есть больше читай, учись, занимайся и веди себя образцово. Готовься к тому, что тебя ожидает более лучшая, свободная судьба, а пережитое тобою больше никогда не повторится».

А Платона еще только ждал этап из Вологды в Норильлаг, и вся борьба за его освобождение была впереди, а исход ее неясен.

Помогали люди. Врачи, когда-то лечившие Платона и подтвердившие тяжелый характер его заболевания: «Ввиду тяжелых операций, перенесенных П. Платоновым, и вызванных ими тяжелых психических

и физиологических травм, П. Платонов нуждается в постоянном бережном наблюдении врачей и жизнь его находится в постоянной опасности...» Писатели, направившие в прокуратуру письмо:

«Мы, общественная организация, наблюдаем в течение последнего года крайне тяжелое душевное состояние Андрея Платонова, отца арестованного. Такое состояние писателя Платонова чрезвычайно отрицательно отражается на его творчестве, между тем как писатель Платонов представляет из себя крупнейшего и талантливого советского писателя.

Мы убедительно просим Вас принять во внимание это обстоятельство, т. к. здоровая и плодотворная работа тов. Платонова находится в зависимости от судьбы его сына».

Кто именно это письмо подписал, неизвестно, но в любом случае Союз писателей в лице Александра Фадеева Платонову помог.

«Александр!

Я хочу только спросить, передал ты или нет мое письмо Панкратьеву и что он сказал, когда я могу с ним говорить! Я тебя здесь дожидаюсь.

Твой А. Платонов 10/VIII 39 г.».

«Позвонить Платонову, что письмо прислал в сопровождении своего сотрудника и 16-го буду узнавать, сможет ли прокурор принять Платонова» — гласила фадеевская резолюция на письме.

Прокурор Платонова принял.

Двадцать седьмого августа 1939 года Платонов сообщил своему товарищу писателю Александру Ивановичу Вьюркову: «На Дмитровке есть некоторое прояснение, виделись с главным шефом учреждения. Но наше дело едва ли пойдет быстро, так что мы не надеемся на быстрый результат. Сегодня или завтра придет Михаил Александрович [Шолохов], буду с ним

видеться. Он кое-что для меня сделал — увижусь и поговорю, а там видно будет».

Дмитровка — это улица в Москве, на которой находилась Прокуратура СССР (тогда еще она не называлась Генеральной), и Платонов встретился с новым прокурором республики Михаилом Ивановичем Панкратьевым, который дал ему возможность ознакомиться с делом сына.

В октябре Платонов отправил Панкратьеву и председателю Верховного суда СССР Голякову обширное письмо, в котором изложил свое видение случившегося. Он доказывал, что следствие в 1938 году велось неправильно: «К подростку, к больному мальчику, устанавливаются отношения как к совершенно взрослому, зрелому человеку. Ни один человек, знавший арестованного подростка достаточно хорошо, ни разу не был вызван ни к следователю, ни на суд. Наоборот, к следователю вызывались юноши, лишь очень отдаленно знавшие моего сына (а может быть, и совсем не знавшие его), но зато хорошо знавшие другого подсудимого, Игоря Архипова, ближайшие товарищи последнего. Они, конечно, были заинтересованы в том, чтобы выгородить, защитить своего друга И. Архипова и очернить, оболгать моего сына, что они и сделали». Он утверждал, что Платона «спаивали, одурманивали, провоцировали, разжигали в нем детское самолюбие и мальчишеское влечение к позе», «подговорили сына написать глупое, нелепое письмо, которое по смыслу совершенно беспредметно».

«Видимо, была кому-то какая-то выгода, чтобы развращать, провоцировать и губить советских подростков, повергая их родителей в жестокое отчаяние. Это мое твердое убеждение.

С моей точки зрения, следственный материал в отношении моего сына порочен, и дело, беря его по существу и во всей его глубине, произведено

неправильно, с нарушением основных принципов советского государства в отношении детей.

Полтора года, которые мой сын томится по тюрьмам, срок больше чем достаточный, какой только может вынести больной подросток. Поэтому я прошу Вас приговор в отношении моего сына опротестовать, а сына освободить».

Десятого декабря 1939 года Военная коллегия по протесту прокурора СССР приговор отменила и передала дело для дальнейшего расследования. Военный прокурор постановил: «Преступление П. А. Платоновым было совершено в 15 лет. Версию об антисоветской организации он сфантазировал. Необходимо допросить П. А. Платонова и провести психиатрическую экспертизу. Дело направить в ГУГБ для дополнительного следствия. П. А. Платонова немедленно этапировать из Норильского лагеря...»

Платоновы ждали сына в конце 1939 года, в Норильск была послана приветственная телеграмма, но лишь 20 марта 1940 года дело было направлено на доследование, и промедление дорого обошлось заключенному, у которого начались необратимые процессы в легких. Только 4 сентября зэка Платон Андреевич Платонов был привезен в Москву, в Бутырскую тюрьму, на доследование.

Двенадцатого сентября Платон обратился с просьбой к следователю разрешить ему получить «передачу из дома, главным образом, вещевую, так как моя обувь и верхняя, и нижняя одежда настолько износились, что мне придется, идя к Вам на допрос, предварительно обернуться одеялом...». И в тот же день о свидании и передаче для сына попросила Мария Александровна: «Я мать, я не видела своего малолетнего сына 2 ¹/₂ года и я прошу разрешить мне помочь своему сыну и увидеться с ним».

«Дорогой Александр Иванович! — писал Платонов Вьюркову в недатированном письме, но логично предположить, что оно было написано той осенью. — Очень прошу тебя позвонить в Литфонд (мне почему-то тяжело туда ходить). Я подавал туда заявление о выдаче мне материала на пошивку летнего костюма. Но ведь я получил только что костюм, поэтому мне, конечно, не дадут второй (хотя бы и летний). А дело в том, что я жду сына и его надо срочно одеть. Ты знаешь, откуда я его жду и что его нужно прямо сразу переодеть».

Двадцать пятого сентября 1940 года П. А. Платонов был допрошен оперуполномоченным НКВД младшим лейтенантом Кутыревым.

«Все мои показания, данные в 1938 году на следствии, не соответствуют действительности, так как эти показания мною навраны...

Я дал ложные, фантастические показания с помощью следователя, который меня допрашивал, — чего фактически не было, а подписал я эти показания под угрозой следователя, который мне заявил, что если я не подпишу показания, то будут арестованы мои родители.

На Военной коллегии я показал, что писал контрреволюционные письма, но так как заседание длилось всего три-четыре мин., меня больше ни о чем не спрашивали».

«В чем бы ни обвиняли Платона, он уверенно ссылается на свое беспамятство, произошедшее вследствие обострения старой ушной болезни. Нет уверенности, что и этот допрос не был придуман ловкими следователями, которым спустили сверху задание составить уже оправдательный, а не обвинительный документ», — заключила Л. Суравова.

Двадцать шестого октября 1940 года Особое совещание при НКВД постановило: «За антисоветскую

агитацию зачесть в наказание срок предварительного заключения. П. А. Платонова из-под стражи освободить».

Прошло больше десяти месяцев со дня отмены приговора и два с половиной года со дня ареста. Платону оставалось жить чуть больше двух лет...

«Он пришел домой ночью. В телогрейке. На третий день своего возвращения из лагеря Тоша приехал с отцом и с матерью ко мне в Переделкино», — вспоминал Виктор Боков.

«Он вернулся из лагерей совсем больным, — рассказывала Е. Одинцову Мария Александровна Платонова, — но успел еще жениться, очень красивый был. Платонов гуляет с ним по Тверскому, придет и говорит: „Мария, невозможно ходить — все оборачиваются, и бабы и мужики“».

«Вернулся Тошка. Как только приехал домой, позвонил, он меня любил: я его нянчила. Прибежал весь обросший, страшный, я его не узнала. Это был столетний старик. Зубы все вставные были, — вспоминала ее сестра Валентина Александровна Трошкина. — Пришел Тоша из лагеря где-то за полгода до войны. Устроился работать, женился. Они жили все вместе на Тверской».

Более подробно и с опровержением слов и В. А. Трошкиной, и М. А. Платоновой («Вполне нормально выглядел. Никаких металлических зубов, как писала в воспоминаниях Валентина — сестра Марии Александровны, у него не было») эта история была рассказана в недавнем интервью, которое жена Платона Тамара дала исследовательнице Н. М. Малыгиной в 2009 году:

«Он, когда приехал, просто боялся кому-то звонить. Он первое время из дома не выходил. Тогда я ему позвонила. Мы с ним сначала перезванивались, потом начали встречаться. Ему даже семь классов не дали

закончить. Он поступил в вечернюю школу рабочей молодежи. Но много пропускал, мы с ним гуляли. <...> Мама почувствовала, что у меня с Платоном назревают близкие отношения, родители мои пошли к Платоновым. После этого Мария Александровна отправила Платона в Ленинград к деду на неделю или на десять дней. Он через три дня позвонил мне: „Встречай завтра. Я выезжаю“. Поезда приходили рано. Я побежала на Ленинградский вокзал, встретила его. Он мне говорит: „Приходи днем, в 12“. Попросил меня взять с собой паспорт. Я взяла паспорт, и мы запросто пошли в загс. Тогда сразу расписывали. Мы и расписались. Идем довольные, счастливые по Тверскому бульвару. Зашли к его родителям. Платон достает свидетельство о браке и показывает отцу. Андрей Платонович с бабушкой нас поздравили. А Мария Александровна даже не вышла. Пошли к моим родителям. Там отметили нашу регистрацию. Но у нас жить было негде — одна комната. А у Платоновых уже была третья комнатка. У них раньше были две комнаты смежные. Но пока Платона не было, они сделали из кухни изолированную комнату. Они ее называли — зеленая комната. Там жила бабушка Мария Емельяновна.

Мы решили, что будем проситься к ним. Пошли к их дому. Платон меня посадил на лавочке на Тверском бульваре. Пошел договариваться с матерью, чтобы нас пустили: знал, что она недовольна его женитьбой. Долго его не было. Потом он пришел за мной. Привел меня. Представил матери как жену. Нас поселили в зеленой комнате.

Стали думать, как устроить свадьбу. Договорились на 23 мая, это была суббота. Мария Александровна любила, чтобы были видные люди. Она пригласила Демьяна Бедного. Он был у нас на свадьбе».

Присутствие попавшего в опалу Демьяна Бедного в качестве свадебного генерала на свадьбе сына Андрея

Платонова представляется одним из трагикомических, но по-своему органичных штрихов эпохи, а вот освобождение давшего против себя показания и осужденного на десять лет лагерей Платона было не торжеством справедливости (хотя формально младшего Платонова освободили по закону, оставив из трех статей одну и засчитав отсиженный в лагере срок как меру пресечения), но чудом.

Однако чуда могло и не быть. Даже несмотря на помощь депутата Верховного Совета СССР Михаила Александровича Шолохова.

Документы, связанные с историей Платона Платонова, были преданы гласности Виталием Шенталинским в 1990 году в библиотеке перестроечного журнала «Огонек». А еще восемь лет спустя в либерально-консервативном «Новом мире» этот же автор, взявший на себя труд воскрешать погибшие на Лубянке писательские судьбы, — опубликовал статью «За гибель Сталина». Речь шла о случае, произошедшем в декабре 1939 года в Доме Герцена, когда Платон был еще в Норильске.

«1 декабря 1939 г. к писателю Платонову зашли Новиков и Кауричев, принеся с собой водки, предложили выпить. Первый тост Новиков предложил за скорейшее возвращение сына Платонова (осужден на десять лет в лагерь). Второй тост сказал Новиков:

— За гибель Сталина!

Платонов закричал:

— Это что, провокация? Убирайтесь к черту, и немедленно!

Кауричев ответил:

— Ты трус. Все честные люди так думают, и ты не можешь иначе думать...»

Это — фрагмент донесения тайного осведомителя НКВД, которое не вошло в свод документов этого рода, подготовленных сотрудниками архива ФСБ Владимиром

Гончаровым и Владимиром Нехотиным и опубликованных в 2000 году в научном сборнике «Страна философов». Подписанное агентом Богунцом, чье имя часто встречается в писательских делах, оно поражает двумя моментами: своей доброжелательностью по отношению к Платонову и неясностью — откуда сексот узнал о содержании застольной беседы трех писателей? Шенталинский предполагает, что донести могли соседи или жена Новикова, которая не любила своего мужа. Так это или не так, сказать трудно, но очевидно одно: кто бы ни был доносчиком, Платонова этот человек по непонятным причинам выгораживал.

Тридцать первого декабря 1939 года Андрей Платонович и сам дал показания в связи со случившимся:

«В конце ноября или в начале декабря сего года в квартире писателя А. Н. Новикова состоялся следующий факт. Нас было трое: А. Н. Новиков, Ник. Кауричев (тоже писатель) и я. Новиков и Кауричев были довольно сильно пьяными. Во время шумного разговора, который вели между собой Новиков и Кауричев, вдруг я слышу возглас Новикова: „За гибель Сталина!“ Я подумал, что ослышался, переспросил. Тогда Кауричев встал со стула и, прохаживаясь по комнате, начал говорить мне, чтобы я не притворялся, ведь мой сын арестован и у меня не может быть хорошего политического настроения.

Я ответил, что за это, что сказал Новиков, пить не буду никогда, что без Сталина мы все погибнем, что, наконец, я не такой глупый и темный человек, чтобы свое глубокое несчастье (арест сына) переносить на свое отношение к Советской власти.

Тогда мне Кауричев сказал, что он меня насквозь видит — по моим произведениям. Я сказал, что мои произведения — дело публичное, общественное, в них все открыто. Пить за предложенный тост я

категорически отказался. Разговор обострился. Я опрокинул свою рюмку и ушел домой не попрощавшись.

Это событие меня озадачило, встревожило, я не ожидал таких страшных слов от своих знакомых, я решил, что они нарочно провоцировали меня.

До этого я ничего подобного не слышал ни от того, ни от другого, хотя иногда слышал ироническое отношение к тому или другому политическому факту, но это было мелкое раздражение обывательского характера, я не придавал значения таким обстоятельствам.

Кауричева я знаю мало, Новикова больше. Я не замечал между ними особой дружбы, основанной на общих принципах. Их отношения — отношения людей, связанных выпивкой. Это известно не только мне. В прошлом Новиков был, как известно, в литературной троцкистской организации „Перевал“.

Прошлого Кауричева я не знаю, кажется, он был учителем. Обычно он подчеркнуто энергично высказывался в правильном советском духе, исключая очень редкие случаи обывательского характера и того страшного случая, о котором я сказал выше, где он, Кауричев, разделил, видимо, слова Новикова.

Вообще же как тот, так и другой избегали говорить на политические темы. Обычно разговор шел о тех или других конкретных литературных произведениях, причем в пьяном состоянии это принимало иногда нечленораздельную форму.

31 декабря 1939 г.

Платонов.

Принял — оперуполномоченный 5 отделения 2 отдела ГУГБ НКВД младший лейтенант ГБ Кутырев».

Как пишет Шенталинский, «перед нами не оригинал, а машинописная копия заявления Платонова, без его подписи. И трудно в той многослойной фальсификации, которую представляют собой

лубянские дела, восстановить в точности происхождение документа. Возможно, что от Платонова потребовали объяснения не чекисты, а какое-нибудь другое начальство, литературное или партийное, — на документе сверху написано: „Копия в НКВД“. В заключении прокуратуры, сделанном спустя много лет после происшедшего, говорится: „Не заслуживает доверия приобщенная к делу копия заявления Платонова в НКВД, так как в Учетно-архивном отделе КГБ никаких материалов Платонова не имеется“».

Теоретически это вполне возможно. Платонов мог написать свое объяснение в Союз писателей, а оттуда бумага попала на Лубянку. Это предположение тем вернее, что «ответственный» за воронежские связи Платонова и его воронежское окружение в Москве Олег Ласунский написал в книге «Житель родного города»: «В апреле 1973 года, при нашей встрече... романист Август Ефимович Явич, один из представителей воронежской земляческой колонии в столице, поведал мне, как все это (гибель Новикова. — А. В.) произошло. В состоянии подпития Андрей (Новиков. — А. В.) неосторожно ляпнул — при всех! — беллетристке Надежде Чертовой что-то про Сталина. Та, конечно, перепугалась и сообщила об инциденте в писательский партком, где, в свою очередь, тоже перепугались (наверное, даже сильнее) и попросили ее официально оформить заявление».

Можно предположить, что подобная просьба поступила и к Платонову. Он ее исполнил — что ему оставалось? У него был заложник — сын, и здесь особенно важны даты. Именно в промежутке между происшествием в Доме Герцена и платоновской объяснительной состоялось решение об отмене Тошиного приговора, и можно представить, что испытывал Платонов в том декабре... Но самое поразительное — фамилия человека, принявшего

заявление Платонова. Оперуполномоченный младший лейтенант Кутырев.

Фамилия редкая, и нет сомнения — тот, кто в сентябре 1940 года допрашивал Платона Платонова и готовил материалы для пересмотра его дела, несколькими месяцами ранее принял объяснительную его отца в связи с известным мыслепреступлением против Иосифа Сталина. И хотя едва ли младший лейтенант мог все решать и в обоих случаях он лишь выполнял указание сверху, а кто был тайным платоновским покровителем, его «евграфом живаго», знает только недоступный архив Лубянки — Платонов вышел из этой ситуации невредимым и вывел сына, а Кауричев и Новиков поплатились головой, и только чудо, а вернее, чья-то воля уберегла их друга от того, чтобы не пойти вслед за ними.

Показания Андрея Новикова на следствии 1940 года могли сыграть в судьбе его товарища по воронежскому землячеству роковую роль. Вот что пишет об этом Шенталинский:

«Особенно подробно рассказывал он (Новиков. — А. В.) о своей дружбе с Андреем Платоновым.

— В чем состояло ваше сближение? — спрашивает следователь.

— С Платоновым я познакомился еще в 1922 году, когда я работал редактором газеты „Рабочий путь“... С 1938 года мы, я, Кауричев и Платонов, стали встречаться более часто, бывать друг у друга на квартирах и при этих встречах систематически вели антисоветские разговоры.

— Какие антисоветские разговоры вы вели?

— Наши беседы, как правило, начинались с критики... Мы говорили, что руководство литературой нужно отдать целиком в руки писателей, чтобы не было в этом вопросе партийного влияния, что политика Советской власти ограничивает размах творческих

способностей писателей, то есть заключает их в определенные рамки...

Платонова мы считали лучшим писателем и критиком. Платонов по своей натуре очень скрытный человек и в разговорах свои взгляды высказывал двусмысленно; если он над чем-либо смеется, то его не поймешь, то ли он этим смехом осуждает это явление или же сочувствует ему. Подобно этому он пишет свои произведения, то есть двусмысленно.

Особенно близко с Платоновым я сошелся после того, как был арестован органами НКВД его сын. Наши встречи, как правило, сопровождались пьянкой. Присутствуя при наших разговорах, Платонов разделял нашу точку зрения и высказывал свои антисоветские настроения...

17 января следователь Адамов подошел к главному преступлению Новикова:

— Вы далеко не все рассказали. Говорите прямо: антисоветские разговоры вы еще вели?

— В конце ноября — начале декабря 1939 года, точно не помню, я и Кауричев выпивши пришли с вином на квартиру к Платонову. В процессе разговора за рюмкой водки Кауричев как будто начал говорить, что писатель Иван Катаев, арестованный органами НКВД, очень хороший человек и арестован ни за что.

Платонов не любил Катаева, а поэтому сказал, что ваш Катаев — дерьмо. У меня вот сидит сын. После этих слов Платонова кто-то из нас предложил выпить за возвращение его сына, а затем провозгласил тост за здоровье Троцкого.

Платонову произнесенный тост за Троцкого не понравился, он демонстративно вылил на пол все вино и, насколько я помню, нас выгнал из квартиры.

В другой же раз, примерно в конце декабря 1939 года, мы пили у него на квартире. Я предложил тост „За

смерть Сталина!». Этот тост Платонов и Кауричев поддержали.

Все эти контрреволюционные высказывания и тосты являлись, конечно, результатом нашего враждебного отношения к Советской власти и руководителям ВКП(б)...

Дальше в лес — больше дров. На последующих допросах Адамов заставил Новикова „признаться“ уже не просто в антисоветских взглядах:

— Значит, вы проводили совместную вражескую работу?

— Да, проводили.

— Какую антисоветскую работу вы проводили?

— Мы, по существу, представляли антисоветскую группу...

Платонова вели к аресту», — заключает Шенталинский.

И — не довели. Как в 1930-1931 годах, когда именно его назначили главным обвиняемым по делу воронежских мелиораторов, но не тронули.

Бог спас. Другого объяснения нет.

В июле 1941 года Кауричев и Новиков^[67] были расстреляны. Третьего участника застолья, похоже, даже не допросили. Но своего земляка, своего друга Платонов, согласно мемуарам Виктора Бокова, вспоминал накануне возможного захвата Москвы немцами в октябре 1941 года.

«— А вы читали повесть Андрея Новикова „Причины происхождения туманностей“?»

Не читали ни я, ни Гумилевский.

— Жаль, — сказал Платонов».

Глава девятнадцатая

Ф. ЧЕЛОВЕКОВ И ДРУГИЕ

«Платонову не приходилось искать трагического — трагическое само находило его. Трагическое постоянно входило в жизнь человека, мечтавшего о повеселении и воодушевлении человечества. Сам он воодушевлялся фактом собственной жизни, полной печалей и потрясений. Жил страдальчески, но, как бы он ни страдал, страдания не выбивали из его рук писательского пера. Платонов писал всегда. Ни на день не замирало на бумаге его перо».

Так вспоминал Эмилий Миндлин, и хотя с утверждением мемуариста, будто бы его герой мечтал о «повеселении человечества» и уж тем более воодушевлялся фактом собственной печальной жизни, согласиться трудно, правда здесь то, что «поднявший перо» Платонов не переставал работать даже в самые «черные для его семьи дни».

«Живу по-прежнему в жаре и пыли Тверского бульвара и занимаюсь сочинениями на бумаге. Работы делается почему-то все больше и больше, так что можно никогда не вставать из-за стола», — писал он А. И. Вьюркову в августе 1939 года.

«Он очень нуждался — денег не было на самое необходимое, но об этом я знала не от него. Он никогда не жаловался, не сетовал», — вспоминала Евгения Таратута.

Более пространное и наглядное свидетельство платоновской нужды привел Федот Сучков, бывавший у Платонова дома:

«В той же компании (я и мои однокурсники Ульев и Фролов) сидели, мирно беседуя за голым, как степь, столом. И вдруг раздался звонок в прихожей. Я открыл

обитую дерматином дверь. Лет тридцати — тридцати пяти человек в форме военно-воздушных сил стоял у порога. Я провел его в комнату...

Нас удивило, что обходительный хозяин квартиры не пригласил к столу застывшего у дверей офицера. И тот, помявшись, спросил, как, мол, Андрей Платонович, обстоит дело. Платонов ответил, что был, дескать, здорово занят, но через несколько дней можно поговорить.

Когда посетитель ушел, Андрей Платонович выругался по-пролетарски. Он сказал, что опорожненную уже поллитровку мы достали с трудом, а у только что удалившегося щеголя ломится буфет от грузинского коньяка и что за перелопачивание романа, которому место в мусорном ведре, он выплатит ему, Платонову, тысячу карбованцев...

Так я столкнулся с использованием писателя в качестве негра. И понял тогда, как все на земле просто, проще некуда».

Других подтверждений того, что Платонов занимался за деньги литературной обработкой графоманских сочинений, нет, зато хорошо известно, что в 1937–1941 годах он часто выступал и под своей фамилией, и под разными псевдонимами как литературный критик.

«Критика, в сущности, есть дальнейшая разработка богатства темы, найденной первым, „основным“ автором. Она есть „довыработка“ недр, дальнейшее совершенствование мысли автора. Критика может быть многократной.

Первый автор обычно лишь намечает, оконтуривает недра и лишь частично их выбирает, а критик (идеальный) доделывает начисто не совершенное автором», — отмечал Платонов в «Записных книжках» в 1938 году.

Та же мысль прозвучала в зачине его статьи «Творчество советских народов». Но, пожалуй, еще более платоновское по мысли суждение было занесено в «Записные книжки» военных лет: «Высший критик был Шекспир; он брал готовые, чужие произведения, — и, переписывая их, показывал, как надо писать, что можно было сделать дальше из искусства, если применить более высшую творческую силу. — Это критика в идеальном виде!!!»

В предвоенное время Платонов написал несколько десятков рецензий, посвященных произведениям известным и неизвестным, классическим и современным, русским, советским, зарубежным. Какие-то из них он сочинял по своему выбору, какие-то по заказу редакций, часть была опубликована в «Литературном критике», «Литературном обозрении» и «Детской литературе», другая отклонена и осталась в писательском архиве либо была утрачена.

«Платонов появлялся в середине дня. Среднего роста, худощавый, бледный, просто и совершенно непритязательно одетый, он держался не только скромно, но даже как-то робко, будто хотел быть незаметным, говорил негромким глуховатым голосом и мало, — вспоминал Ф. Левин. — Совсем был не похож на писателя, а скорее на мастерового человека, слесаря или водопроводчика <...> Он приносил рецензию, и Мария Яковлевна Сергиевская тут же выкладывала перед ним новые, полученные на отзыв книги. Платонов перебирал их, перелистывал, по каким-то своим соображениям выбирал какую-нибудь и уносил с собою, чтобы через несколько дней вернуть вместе с рецензией. В каждом его отзыве была „изюминка“, своя свежая мысль. Писал он четко, ясно, с превосходной простотой, оригинальным, лишь ему присущим стилем».

Из этих статей и рецензий Платонов составил книгу «Размышления читателя», и ее название точно отразило

суть дела. Создатель МОПЛа, «нечитаемый писатель и пишущий читатель» Андрей Платонов по-прежнему играл за команду современных ему читателей, исходя из того, что «высшая мера творчества <...> писателя не обязательно есть предельная мера для читателя. У читателя есть своя мера. Что может быть пределом для писателя, то иногда бывает недостаточным для читателя». Эти слова продолжали мысли, некогда высказанные инженером Иваном Павловичем Воищевым с его лозунгом «Долой вокзальных баб в литературе!». Но много что испытавший за миновавшие более десяти лет пребывания в советской литературе Платонов не без горькой иронии, хотя и несколько мягче писал: «... нам, читателям, чуждо такое попечение о писателях, точно о каких-то несознательных существах, которые могут „избаловаться“ от похвал и почета. Наоборот, писатели должны быть гораздо более сознательны, чем многие из нас, иначе мы не будем их читать и нам нечему будет у них учиться. Если же писатель подвержен порче, дисквалификации от хулы или славы, но не способен улучшить свою работу, учась и у своей славы и у хулы на себя, — то какой же он писатель?»

Иронически-нравоучительная эта точка зрения «нас, читателей» была высказана в рецензии на роман Юрия Крымова «Танкер Дербент», где снисходительность рецензента преобладала над требовательностью. Однако если говорить о наиболее значительных работах Платонова-критика, то, как и прежде, своеобразной мишенью для него становились произведения не тех авторов, для кого литература была «государственным чистописанием», а тех, кто пытался в большей или меньшей степени уклониться от советского, как сказали бы ученые люди, дискурса — Александра Грина, Михаила Пришвина, Константина Паустовского — художников, близких к идее самоценности творчества, и трудно предположить, чтобы этих писателей ему

специально «заказывали». Заказывали скорее тех, чьи имена сегодня помнят разве что специалисты — К. Горбунова, И. Е. Гетхмана, А. Савчука, С. Вашенцева, Г. Фиша, А. Митрофанова, Н. Сухова, С. Белякова, начинающих писателей Красноярского края и прочих городов и весей республики, о ком Платонов отзывался еще более деликатно, чем о Крымове, стараясь не обидеть, не задеть, хотя не всегда получалось, и в тех случаях, когда выведенная им формула «лучше писать рассказы, чем хулиганить в подворотнях», не срабатывала, из человеческого сердца нечаянно вырывалось: «В стране много других счастливых дел, кроме литературы. Зачем же быть несчастным?»

И все же это была стрельба из пушек по воробьям, а вот когда Ф. Человеков писал о профессионалах, здесь был его выбор, и в своих оценках он был жёсток.

«Однажды Платонов пришел ко мне, когда у меня были гости, — вспоминала Евгения Таратута. — Раздеваясь в передней, Андрей Платонович услышал голос одного писателя, который громко что-то рассказывал.

— Я не пойду к вам, — сказал Андрей Платонович. — Я недавно написал рецензию на его книгу, — он кивнул в сторону моей комнаты. — Наверное он и не знает, что это мой псевдоним, но все же ему, наверно, будет неприятно видеть меня. А я к вам приду в другой раз...

Он оделся и ушел».

Таратута дружила со Львом Кассилем, и логично предположить, что речь шла о нем, ибо в двух рецензиях на произведения Кассиля Платонов был каким угодно, но только не доброжелательным. В 1939 году в «Литературном обозрении» появилась статья Ф. Человекова «Реторта для изготовления человек» с подзаголовком «О романе Л. Кассиля „Вратарь республики“». Роман был опубликован в «Красной нови», и платоновской жертвой вновь оказался журнал,

с которым автора «Такыра» и «Третьего сына» связывали отношения весьма прихотливые. Однако появившись «Вратарь республики» в «Новом мире» или в «Октябре», скорее всего, его ждала бы та же участь.

История великого голкипера, написанная популярным детским писателем и ставшая основой одного из известных советских фильмов, вызвала у Платонова неприязнь и даже раздражение, своего рода аллергию на «смесь сахарина с пухом одуванчика». Прежде всего ему не понравился герой романа — журналист Женя Карасик («он же известный, якобы едкий газетчик Евгений Кар»), который обучается ремеслу шарманщика для того, чтобы увидеть скрытую интимную жизнь дворов. «На самом же деле он ничего не видел, потому что таким способом ничего увидеть нельзя: маскируясь сам, он маскировал и всю жизнь, всю действительность. Таким шуточным манером ничего всерьез изучить нельзя. Жизнь не приспособлена для мгновенного постижения ее творческим работником с шарманкой».

В этих словах можно увидеть буквальное повторение тех идей, что высказывал автор в начале десятилетия в своих неопубликованных статьях, но главный недостаток романа Ф. Человеков узрел в том, что описанная во «Вратаре республики» «коммуна друзей», сколь бы одаренными и одухотворенными они ни были, никакого отношения к коммунизму не имеет. «Чтобы приобрести действительно коммунистическую душу, нужно серьезно и героически участвовать во всей жизни человечества, интересоваться всеми его интересами, работать в его передовом, многомиллионном авангарде, а не копошиться в „гармонической“ кустарно-кооперативной артели сплошных благородных друзей, не проживать жизнь в уютной модели мира, в копии с действительности, в реторте для приготовления „человеков“. Ведь такая

„коммуна друзей“, если до конца, до некоего логического предела дать ей возможность существовать, неминуемо превратится в нечто враждебное по отношению к окружающей среде».

Еще более уничижительным было суждение о повести Льва Кассиля «Великое противостояние», в которой рецензент нашел много внешне привлекательного, способного растрогать, вызвать слезы от сентиментального волнения («В этой книге все как будто правильно: верен и оригинален замысел — в художественном и воспитательном смысле — дружба великого артиста и „средней“ конопатой девочки...») и оттого еще более опасного для читателя: «... действительность в книге изложена словно на плоскости, в двухмерном пространстве; в книге этой много убежденности, уверенности в найденных общеизвестных истинах, но нет новых изысканий, нет исследования вперед, нет углубления, и, если и есть в ней глубина, то это глубина фанеры».

Нечто похожее было высказано Платоновым и в рецензии на сборник прозы Александра Грина с довольно жестким, хотя и не столь резким заключением: «...мир устроен иначе, чем видит его Грин в своем воображении, и поэтому сочинения Грина способны доставить читателю удовольствие, но не способны дать ту глубокую радость, которая равноценна помощи в жизни. Удовольствие, которое приобретает читатель от чтения Грина, заключено в поэтическом языке автора, в светлой энергии его стиля, в воодушевленной фантазии. И за одно это качество автор должен быть высоко почитаем. Но было бы гораздо лучше, если бы поэтическая сила Грина была применена для изображения реального мира, а не сновидения, для создания искусства, а не искусственности».

Объективное неприятие Платоновым Александра Грина (притом что Платонов называл Грина «чистым романтическим фантастом», а его прозу «чистой, сверкающей, бесплотной фантастикой») понятно: два писателя расходились в отношении к действительности, и там, где Грин уходил и создавал наперекор всему свой мир, Платонов — оставался в этом, считая, что написать моршанскую Ассоль гораздо труднее, но и благороднее, нежели Ассоль из Каперны. Ни на какую эмиграцию, внутреннюю или внешнюю, он не согласился бы. Вот почему забегаю вперед предположим: едва ли Андрей Платонович был бы доволен тем, что его главные книги сначала увидели свет на Западе, где из него старательно слепили антисоветского писателя и где из уст Михаила Геллера прозвучало обвинение Платонову-критику в том, что «свойственная художественной прозе Платонова многозначность, многоосмысленность, нередко противоречивость, уступают место категоричности, запелляционности оценок и суждений». И больше того: «Литературно-критическая деятельность Платонова была бы адекватным отражением времени и еще одним примером „сдачи“ писателя, пересмотревшего свои взгляды и решившего: „я буду верить“ <...> если бы в то самое время <...> он не написал пьесы „14 красных избушек“». Пьеса, которая поразила Геллера «намеренным, умышленным систематическим опровержением всего того, что утверждается в статьях». Поскольку автор сих обличительных строк грубо ошибся в датировке написанной никак не позднее 1933 года пьесы, то по его логике получается не опровержение, а систематическая «сдача и гибель».

На первый взгляд критик прав, особенно если учесть, что многих платоновских статей он не читал, но нетрудно представить, как бы отреагировал на

следующие, например, строки: «Джамбул — певец Сталина. Он является создателем самого разработанного поэтического образа учителя человечества. В большинстве песен и поэм сборника трактуется, в сущности, как тема, один великий образ. И это обусловило богатство и многообразие песен и поэм сборника, так как, изображая Сталина, поэт изображает весь мир — его счастье и его борьбу за счастье, его историю и будущую судьбу, его труд и его надежды, — писал Платонов под псевдонимом А. Фирсов в статье о творчестве Джамбула в мартовском номере „Литературного критика“ за 1938 год. — Деятельность Сталина имеет всемирное, всечеловеческое значение, и естественно, что, сосредоточив свое творчество на создании образа Сталина, Джамбул изображает нам мир и историю (включая и будущие века) в одном человеке. Это в высшей степени художественно экономно, но в такой же степени и трудно».

В платоновских координатах невозможно было превратить Сталина в фигуру умолчания, как это было изящно проделано писателем в разговоре с Виртой, ибо Сталин стал фактом действительности, и уже одно это обрекало «чудесного грузина» сделаться частью платоновского творчества — прозаического, драматургического, критического. «Ленин и Сталин воспеваются и определяются советским народом как священное и притом совершенно реальное начало высокой, человеческой, истинной жизни. Если кто-нибудь из заграничных интеллигентов, дружелюбно расположенных к нам, способен видеть в любви народа к Сталину некоторые мистические элементы, то это объясняется плохим знакомством с нашей страной и с нашим народом. Советский народ любит Сталина за дело, за добро, материально ощущаемое всеми, за воодушевление разумом и силой каждого простого

человека, отчего этот человек впервые реально познает ценность и славу своей личности. Сталин — это не обещание, а полностью сбывшаяся всемирная надежда на социализм. Сталина любят за то, что „он желает нам доброй удачи“, и за то, что все лучшие желания людей при его помощи исполняются».

Но дело было не столько в Сталине, сколько в отношении писателя к своему народу: «...нужно самому стоять на уровне советского народа, а этот уровень находится не рядом с тобою, а над тобой». Кто из платоновских современников подписался бы, не покрывив душой, под этими словами? Булгаков с его горестным «темный, дикий мы народ»? Пастернак, про которого Платонов, если верить Липкину, говорил: «Писатель, заботясь о читателе, сравнивает неизвестное с малоизвестным, либо с известным. Пастернак поступает наоборот...»? Пришвин с его чрезвычайно жесткими оценками русского крестьянства? И не к ним ли могут быть обращены строки из рецензии на «Великое противостояние», формально относящиеся к Кассилю, но явно более широкие по охвату мысли: «...человек бывает настолько наполнен сам собой, что лишь с большим сопротивлением может вместить инородное чувство или мнение другого. Но не начинается ли истинный писатель именно тогда, когда он приобретает способность к освоению в себе множества „посторонних людей“, пренебрегая эгоистическими интересами своей личности»?

Маловероятно, чтобы названные выше поэты и писатели утвердительно ответили на этот вопрос. Они все же были *par excellence*^[68] творцами, художниками, личниками, и ни у кого из них народ не вызывал тех чувств, что у Андрея Платонова, принимавшего Сталина примерно по тем же соображениям, по каким принял

русскую революцию поэт, с которого мы начали эту книгу: «А лучшие люди говорят: „Мы разочаровались в своем народе“». Для Платонова подобное разочарование было невозможно. В его стремлении принять существо советской жизни заключалась внутренняя правда художника и его пути (как приятие революции семнадцатого года было органично и неизбежно для пути Александра Блока). Даже если любовь к Сталину и сталинский миф были национальной болезнью и умопомрачением, носители этого мифа не вызывали у Платонова ни презрения, ни ненависти, ни отторжения, ибо он признавал их право на эту болезнь, видя в ней единственный и неизбежный выход из послереволюционного сиротства как самого страшного, что случилось с русским народом.

Здесь причина, по которой Платонов думал о Сталине, вводил его в свой мир, отводил роль отца, вешал его портреты в комнатах своих героев, писал рецензии на стихи советских поэтов, творивших сталиниану, и эти простодушные вирши цитировал, особенно если речь шла о творчестве народов СССР (саамский язык: «Поет девушка Анна Антоновна: Будь здоров, до свидания, Сталин!», осетинский: «...Нам Ленин оставил свое тепло. Он, умирая, другу и брату — Сталину — нашу судьбу поручил» или стихи Джамбула: «Сталин! Ты крепость врагов сокрушил! Любимый! Ты житель моей души!..И с солнцем хотел я тебя сравнить. Не мог тебя я и с солнцем сравнить!.. Сталин! Сравнений не знает старик...»), но был гораздо жестче по отношению к русским советским писателям. «У нас в последнее время появилось несколько драматургических и прозаических произведений, в которых осуществлена попытка изобразить руководителей пролетариата. В этих произведениях творческая смелость писателей часто превышает их талант, — деликатно по форме, но жестко по существу

написал он в рецензии на пьесу Михаила Козакова „Чекисты“ и заключил: — автор недостаточно одарен талантом, недостаточно имеет литературного искусства и опыта, чтобы ему была посильна задача создания образа И. В. Сталина...»

Платонов и сам для своих героев эти стихи сочинял — или точнее, у них подслушивал, за ними записывал, когда, например, в «Избушках» Суенита тихонько поет:

Трава на свете теплее стала,
И дождь над родиной идет,
Далек от сердца товарищ Сталин, —
Его Аляйля в колхозе ждет.

И все же того странного, полумистического и не слишком трезвого чувства, того «влеченья рода недуга», которое испытывали на протяжении не одного года к кремлевскому горцу не Джамбул с Анной Антоновной, а Михаил Булгаков с Борисом Пастернаком, у Платонова не было, не говоря уже о том, что никаких концептуальных писем он Сталину не писал, по телефону с ним не беседовал и личных встреч не искал. Его обращение к фигуре вождя определялось не творческим жестом и не поиском литературного кода (Король в булгаковском «Мольере», Пилат в «Мастере»), а причинами, лежащими за пределами литературного поля.

Платонов, если вспомнить его признание в деле о тосте «за гибель Сталина», дал четкую формулу: «Без Сталина мы все погибнем». Это было сказано, написано, выкрикнуто несомненно искренне, без какой бы то ни было примеси лицемерия, как не было лицемерия и в строках из статьи, посвященной Джамбулу: «Сталин является душою, разумом, волей и сосредоточенной

силой движения народа в великие будущие времена его всемирной торжественной судьбы».

В 1930-е годы Сталин представлялся Платонову противовесом давлению на страну извне, был в его глазах той жесткой цементирующей силой, без которой СССР не выстоял бы во враждебном окружении. С этим можно сегодня соглашаться или нет, но, принимая Платонова — автора «Реки Потудани», нелепо отвергать или сокрушаться о Платонове — авторе «Джамбула». И не потому, что полюбите нас черненькими, и не потому, что простите большому художнику малый грех, и вообще его заставили обстоятельства, нужда и пр., а потому, что Платонов-критик не отрицает, не опровергает Платонова-писателя, хотя, возможно, и уступает ему в глубине (и Липкин совершенно искренне писал: «Критические статьи Платонова мне не нравились, за редким исключением...», а Гумилевский, напротив, вспоминал: «В те годы мы, пожалуй, ценили его больше как критика: критические статьи его, даже рецензии изобиловали характерными для него глубокими мыслями и тонкими наблюдениями, просто, но ясно и точно выраженными»^[69]), но дополняет, уточняет, изъясняет, возможно, в чем-то даже упрощает его.

В рецензиях и статьях Андрей Платонов был определеннее, однозначнее, грубее, нежели в художественной прозе. Его критика может рассматриваться в качестве прямого высказывания, в котором происходило, пользуясь его же выражением, «опошление мыслей». Например, в рецензии на романы Федора Панферова Платонов замечал: «Фаллос может и должен оставаться средством жизни, но не следует делать из него мачту для знамени», а рассуждая о рассказах В. Козина, находил в них человека, «фатально скованного ярмом своих элементарных сексуальных

страстей». В прозе эти мысли были выражены тоньше, но важно, что это те же самые мысли.

«Слишком интенсивное превращение животного начала в духовное — любовной страсти в чистое сердце — бывает опасным и даже губительным», — писал он в рецензии на роман Карла Чапека «Гордубал», и что это, как не авторское послесловие к «Реке Потудани»? А в статье о Хемингуэе встречается отсыл к «Фро»: «Любовь быстро поедает самое себя и прекращается, если любящие люди избегают включить в свое чувство некие нелюбовные, прозаические факты из действительности, если будет невозможно или нежелательно совместить свою страсть с участием в каком-либо деле, выполняемом большинством людей. Любовь в идеальной, чистой форме, замкнутая сама в себе, равна самоубийству, и она может существовать в виде исключения лишь очень короткое время».

В цитированной выше статье о романе Кассиля «Вратарь республики» Платонов в более мягком виде продолжает те жесткие мысли о соотношении низшего и высшего, что были высказаны в «Записных книжках» периода работы над романом о Никодиме Стратилате: «...богатыри, ангелы, добряки, великодушные рыцари и т. п. — оттого хуже людей, что они сделаны из одного, чистого, благородного, одноцветного материала, а реальные люди — из многообразного состава различных материалов, и от этого они, реальные люди, устойчивей, интересней и живее ангелов и рыцарей. Очищенное, протертое, профильтрованное не означает наилучшего. Наоборот, то, что иногда считается „грязным“, „неблаговидным“, „нечистым“, что подернуто судорогой временного уродства, — это и является признаком реальности, потому что такой признак означает след борьбы и напряжения, он служит показателем работы и усилия передового, прогрессивного человека — в

нашем, современном мире, где еще не растут сплошь одуванчики».

Даже в «конъюнктурной» статье, посвященной Джамбулу, читаем о сокровенном, платоновско-федоровском: «...мертвые не чувствуют нашей любви к ним. И все же без них — без наших отцов, героев и учителей — наша жизнь была бы невозможна, ни в физическом, ни в духовном, историческом смысле. Поэтому правильное этическое отношение к нашим предкам и предшественникам, вечная память о них имеет глубокое прогрессивное значение. Без связи с ними (в смысле продолжения их исторического дела), без живой памяти о них люди могли бы заблудиться на протяжении одного текущего века и озвереть; человеческий, коммунистический мир может быть построен лишь союзом многих поколений. Могила Утегена священна в глазах казахского народа, могила Ленина священна в глазах всего истинного, трудящегося человечества».

Чем крупнее был избранный им писатель, тем глубже, личностнее становились рецензии Ф. Человекова и тем реже они видели свет при жизни автора. «Голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности: в сборнике помещены стихи, подписанные последними годами. Мы не знаем причины такого обстоятельства, но знаем, что оправдать это обстоятельство ничем нельзя, потому что Анна Ахматова поэт высокого дара, потому что она создает стихотворения, многие из которых могут быть определены как поэтические шедевры, и задерживать или затруднять опубликование ее творчества нельзя». И хотя практически исключено, что неэгоцентричный, неэгоистичный Платонов, пища об Ахматовой, имел в виду себя, судьба героини его так и ненапечатанной рецензии отбрасывала ответ и на его судьбу.

В неопубликованной статье о творчестве Эрнеста Хемингуэя, которую Платонов назвал дорогим для себя сочетанием слов «Навстречу людям», прозвучавшим прямо противоположно тому, что видел рецензент в Александре Грине или Михаиле Пришвине, он утверждал: «Вот почему этику так часто Хемингуэй превращает в эстетику; ему кажется, что непосредственное, прямое, открытое изображение торжества доброго или героического начала в людях и в их отношениях отдаёт сентиментализмом, некоторой вульгарностью, дурным вкусом, немужественной слабостью. И Хемингуэй идет косвенным путем: он „охлаждает“, „облагораживает“ свои темы и свой стиль лаконичностью, цинизмом, иногда грубоватостью; он хочет доказать этическое в человеке, но стыдится из художественных соображений назвать его своим именем и ради беспристрастия, ради сугубой доказательности и объективности ведет изложение чисто эстетическими средствами. Это хороший способ, но у него есть плохое качество: эстетика несет в данном случае служебную, транспортную роль, забирает много художественных сил автора на самое себя, не превращая их обратно в этику. Эстетика, являясь здесь передаточным средством от автора к читателю, подобно электрической линии высокого напряжения, расходует, однако, много энергии на себя, и эта энергия безвозвратно теряется для читателя-потребителя».

Эти рассуждения имели отношение не только к Хемингуэю. В этих потерях, а на самом деле гигантских накоплениях энергии происходило усложнение смысла и сказывалась слишком сильная нагрузка на читателя, который оттого и читал с удовольствием сочинения Льва Кассиля, что там все было просто и легко. Платонова легкость письма оскорбляла, как оскорбляли в других случаях сентиментальность и иные

беспрониимные способы воздействия на человека. «Можно, например, прочитать книгу, посмотреть спектакль, не проронив слезы, не улыбнувшись, и остаться затем на всю жизнь потрясенным. И можно, наоборот, плакать, смеяться, шумно восхищаться и затем — после окончания книги — остаться в удивленном недоумении: что же вызвало смех, слезы... — писал он в одной из неоконченных рецензий. — По нашему наблюдению такие произведения, которые вызывают острую реакцию читателя, зрителя, но оставляют равнодушным его разум и его сердце, эксплуатируют неврастеническое свойство человека <...> Это все наиболее легкие и дешевые пути, потому что на них сила подменяется грубостью, радость — наслаждением, страдание — истерикой, а сочувствие — подглядывающим любопытством».

Он этих путей сознательно избегал, но даже если предположить, что его знаменитое косноязычие есть не что иное, как попытка донести до потребителей литературы прямой, необлегченный и неупрощенный смысл и суть вещей и явлений, то плотность, насыщенность, давление этого языка оказались слишком велики. Да и не на пустом месте сказал Хемингуэй о том, что учился у Платонова...

«Его литературные взгляды не раз меня поражали. Он считал, что в „Войне и мире“ Толстой пренебрег правдой о тяжелом положении русских крепостных крестьян. Восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина, не принимал Мандельштама и Пастернака. Говоря о молодежи, хвалил рассказы Бокова», — вспоминал с долей недоумения Семен Липкин, а из других мемуаров известно, что Платонов не любил Чехова и Зощенко.

В 1940 году он резко отозвался о Паустовском, с которым они вместе ели пирожки на «Конотопских вечерах», обвинив своего товарища (вот, кстати, поразительная вещь: Паустовский был старше Платонова на семь лет, но при чтении рецензии возникает ощущение, что умудренный жизнью человек поучает неопытного литературного юношу) в «оргии гуманизма», в «излишнем, навязчивом, кокетливом благородстве человеческих натур», и посоветовал писать о героизме советских людей «со спокойным, глубоко дышащим сердцем, а не с подпрыгивающим восторгом, и чернилами, а не слезами энтузиазма».

Вслед за тем настала очередь Михаила Пришвина. Казалось бы, чем он мог Платонову не понравиться? Он-то уж ничего не упрощал, не облегчал, да и общего в их взглядах на русский космос было немало, даром, что ли, это одна из любимейших тем литературоведов, пишущих про Платонова и Пришвина через запятую. Однако в рецензии на пришвинскую повесть «Неодетая весна» Платонов написал о ее авторе даже жестче, чем о Грине или Кассиле, Панферове и Паустовском, прямо обвинив старейшего советского писателя (как Пришвин несколько кокетливо любил себя называть) в «елейной сентиментальности», «самодовольстве и благоговейном созерцательстве», в «нечаянном ханжестве», в «дурной прелести наивности» и «просто в глупости». Платонов отрицал пришвинскую «лживую натурфилософию» ухода от действительности, обличал писателя в эгоизме и нежелании «преодолевать в ряду со всеми людьми несовершенства и бедствия современного человеческого общества», укорял в бесплодном поиске «немедленного счастья, немедленной компенсации своей общественной ущемленности в... природе, среди „малых сих“, в стороне от „тьмы и суеты“, в отдалении от человечества, обреченного в своих условиях на

заблуждение или даже на гибель, как думают эти эгоцентристы».

Эта идея, высказанная в конце статьи вместе с пожеланием автору «не быть окончательно убежденным в том, что он все знает, иначе он утратит способность к пониманию», перекликалась с зачином платоновской рецензии и определением пришвинского стремления уйти в «край непуганых птиц» как «самохарактеристики испуганного человека». «Возможно, что у человека есть основание для испуга, возможно, у него есть причина искать эту „непуганую“ страну, созерцая с раздражением, страхом или в отвращении современный человеческий род. Но, несомненно, стремление уйти в „непуганую“ страну, укрыться там хотя бы на время, содержит в себе недоброе чувство — отделиться от людей и сбросить с себя нагрузку общей участи, из-за неуверенности, что деятельность людей приведет их к истине, к высшему благу, к прекрасной жизни».

Психологически все объяснимо, но в этих строках больше личного, платоновского, а не пришвинского. Пришвин ничем напуган не был, он писал в дневнике, что просидел все сталинские годы как отрок в огненной печи и даже в 1937-м его не покидала уверенность, что лично его репрессии не коснутся. Платонову же ужас, страх и не только за себя был ведом, а идея ухода в гриновскую Гринландию ли, в пришвинскую Дриандию ли, уклонение от общей судьбы были неприемлемы и рассматривались как капитуляция перед действительностью. Если вспомнить метафору истории как кипящего чана, куда, по выражению Пришвина, бросился в октябре 1917 года Александр Блок, а сам Берендей так и простоял на краю, то Платонов не просто в этот чан бросился — он из него никуда не выбирался, и недаром антагонистом и Александра Грина, и Михаила Пришвина стал для него Николай

Островский, которого создатель «Чевенгура» глубоко полюбил, в чьей трагической судьбе увидел лучшее, что было в современной ему литературе.

На опубликованную в сдвоенном десятом-одиннадцатом номере «Литературного критика» за 1937 год статью «Павел Корчагин» отбрасывало отблеск двадцатилетие революции, но дело было не в юбилейном торжище. Платонов начал с того, что сравнил мучающегося и горько жалующегося на свою жизнь Пушкина с изможденным, слепым, полуумершим Николаем Островским, прожившим жизнь так, что «у него никогда не появилось желаний проклясть свою участь». «Причина этому, очевидно, в том, что сущность самого исторического времени переменялась. Тогда, при Пушкине, шла предыстория человечества; всеобщего исторического смысла жизни не было в сознании людей, или он, этот смысл, смутно предчувствовался лишь немногими... В эпоху Пушкина не было такого народного, идейного, осмысленного родства людей, как сейчас; силы отдельного человека рассеивались в одиночестве, а не приумножались в воодушевленном соревновании и взаимопомощи с другими людьми, — и вот почему гениальный Пушкин доходил иногда до отчаяния, а внешне полумертвый Островский был счастливым».

Верил ли Платонов в то, что писал? Скажем так, он хотел верить, и в Островском, в его человеческой, писательской судьбе находил для своей веры опору, живое, личностное доказательство. Он не присоединялся к «хору голосов, восхваляющих Корчагина и Островского», в чем с легкостью много лет спустя его обвиняли либерально мыслящие историки литературы, но почувствовал в Островском родственную душу если не с самим собой, то с героями своей юности — Копенкиным, Чепурным, Пашинцевым... Не по художественному, а по человеческому таланту

два писателя были в чем-то близки, и точно так же, сравнивая Островского с Пушкиным, Платонов ни на секунду не допускал мысли об уподоблении их художественного дара, но сопоставлял на ином, личностном уровне как выразителей своих эпох.

«Мы далеки от убеждения, что Корчагин есть готовый, идеальный образец нового человека, — эту вредную и пустую лесть первым отверг бы сам Н. Островский, потому что она затормозила бы дальнейшую работу по открытию и созданию образа социалистического человека. Но мы уверены, что Павел Корчагин есть одна из наиболее удавшихся попыток (считая всю современную советскую литературу) обрести наконец того человека, который, будучи воспитан революцией, дал новое, высшее духовное качество поколению своего века и стал примером для подражания всей молодежи на своей родине».

Корчагинская цельность, ясность, если угодно, простота и односложность были Платонову близки и в чем-то недосыгаемы. Он так не умел. Умел многое другое, к чему приблизиться не мог не только Островский, но и куда более именитые современники, а вот так не умел. И книгу Островского считал замечательной еще и на фоне того, что делалось в тогдашней литературе. «Как закалялась сталь» была вещью искренней, убежденной, и в фальшивом литературном мире подпевал это дорогого стоило.

Сюжет этот имел продолжение. В феврале 1938 года Платонов заключил с издательством «Советский писатель» договор на издание книги об Островском. Несмотря на трагические события весны, связанные с арестом сына, в июне книга была закончена и сдана в «Советский писатель». Однако ее постигла участь тех произведений, что мы уже привыкли перечислять — «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», «Технический роман», «Джан», «Счастливая Москва», с

той, правда, существенной разницей, что задержанная Главлитом книга была передана в ЦК ВКП(б) и сгинула в тамошних архивах, похоже, еще более глухих, нежели архивы ФСБ, во всяком случае, никто ее с тех пор не видел...

Не сложилась судьба и у другой книги — той, что должна была состоять из отобранных автором рецензий «Размышления читателя». Но здесь чувствовалось жесткое противодействие старых платоновских недругов. Рукопись была направлена в издательство «Советский писатель» в августе 1938 года, 22 октября был заключен договор, а редактором, как и в случае с «Рекою Потуданью», стала Елена Феликсовна Усиевич. Однако на сей раз большевичка Федератовна оказалась бессильна. Начались издательские мытарства. Связаны они были главным образом с тем обстоятельством, что в 1939 году, на который был намечен выпуск книги, тяжба «Красной нови» и «Литературного критика» переросла в войну Союза писателей против пригревшего Андрея Платонова журнала.

Первый бой, состоявшийся в апреле 1939 года на заседании президиума Союза писателей, выиграл «Литературный критик», ибо Фадееву не удалось убедить литературную и партийную общественность в том, что «было бы лучше, если бы не было специального критического журнала, который все в себе сосредотачивает». Однако победа носила характер временный. 10 сентября 1939 года в «Литературной газете» вышла статья В. Ермилова «О вредных взглядах „Литературного критика“», где резко критиковались работы Г.Лукача, Е. Усиевич, а также — Андрея Платонова. Одновременно с этим Ермилов как опытный аппаратчик направил письмо в ЦК: «Дорогой тов. Жданов! Считаю своей партийной обязанностью обратить Ваше внимание на то, что журнал „Литературный критик“, как мне кажется, все более

рискует стать центром политически вредных настроений среди литераторов. Одним из основных сотрудников журнала является Андрей Платонов, автор нескольких враждебных произведений, вроде повести „Впрок“. А. Платонов очень часто печатает свои критические статьи на стр. „Литературного критика“. Сейчас эти статьи вышли отдельной книжкой в издательстве „Советский писатель“ под ред. Е. Усиевич. Здесь совершенно откровенно проповедаются взгляды, которые нельзя назвать иначе, чем враждебные».

Ермиловский донос получил и состоящий при должности Фадеев:

«Саша! Отправляю тебе копию моей записки Жданову... <...> Как всегда при острой постановке вопросов выясняется, что обывателю не нравится, когда его глядят против шерсти, так и сейчас выяснились болельщики за Платонова, тенденция „писательской вольницы“ к декадентской розановской „оригинальности“, обыватели также существуют в аппарате „Литературного критика“.

Даже у таких людей, как В. Катаев, Е. Петров, не говоря уже о Рыкачеве, Мунблите, Усиевич, Ф. Левине, имеется нечто вроде культа Платонова. Благоговеют перед ним, как перед Фомой Опискиным?

Кстати! В издательстве „Советский писатель“, мне рассказала Колтунова, что в архиве издательства хранится официальное предложение печатать книгу А. Платонова, с ссылкой на то, что эти статьи печатались в „Литер, критике“. Сообщаю это тебе, чтобы ты учел сей факт».

Фадеев все факты учел, и книгу «Размышления читателя» было велено пустить под нож. Издательство попыталось ее спасти, изъяв как наиболее неприемлемую статью «Пушкин и Горький». «Уважаемый Андрей Платонович! Крайне срочно нужно дать материал взамен снятой статьи. Я жду его от Вас с

подписью редактора Е. Усиевич „в набор“. Пожалуйста, сделайте это в кратчайший срок», — написала автору сотрудница «Совписа» Т. Колтунова. Платонов эту просьбу выполнил, но книга не вышла.

Литературовед А. Ю. Галушкин высказал предположение, что «Платонов не был целью новой критической кампании — его испорченная „впрок“ репутация лишь служила надежной гарантией того, что к „сигналу“ отнесутся всерьез... <...> Ермиловские статья и письмо Жданову метили, конечно, в Г. Лукача и его единомышленников по журналу [„Литературный критик“]. Вряд ли случайно, что выступление В. Ермилова произошло в начале осени 1939 г., после этапного в советской истории события — подписания 23 августа 1939 г. договора о ненападении между СССР и фашистской Германией».

Если это так, то автор «Размышлений читателя» не успел, что самое обидное, совсем чуть-чуть. «Книжка моя (сборник статей) вышла: на днях будет тираж, книжку пришлю тебе, придумал даже надпись (из твоего же рассказа) „Тебе — я“», — писал он Вьюркову 27 августа. Но надпись на сигнальном экземпляре в итоге досталась двоим — только что вышедшему из лагеря сыну: «Дорогому единственному сыну — от отца, автора этой погибшей книги. Ноябрь 1940. А. Платонов» и жене:

«Книга, не вышедшая в свет. — Почему?
Дарю ее тебе, Мария,
Твой муж Андрей Платонов».

Комментарием к этим событиям может служить датированное пятым октября 1939 года донесение агента НКВД, накануне встретившегося с Платоновым: «Беседа 4 октября касалась главным образом вопросов литературного творчества и литературной среды. По мнению ПЛАТОНОВА, общие условия литературного творчества сейчас очень тяжелы, так как писатели

находятся во власти бездарностей, которым партия доверяет. К числу таких бездарностей относятся ФАДЕЕВ и ЕРМИЛОВ.

В ЦК ВКП(б), видимо, не знают о безобразиях, творящихся в писательской среде и издательствах. Он, ПЛАТОНОВ, не может допустить, чтобы на литературные дела нельзя было бы выделить еще 10-20 вагонов бумаги.

Отсутствие бумаги приводит к тому, что издаваться могут лишь избранные.

Сейчас выходят из печати две книги ПЛАТОНОВА: литературно-критические статьи и рассказы. Первая книга задержана выпуском, так как ЕРМИЛОВ потребовал изъятия статьи о ГОРЬКОМ, где им, ПЛАТОНОВЫМ, проводятся якобы фашистские взгляды. Притом ЕРМИЛОВ ссылается на место в статье, где говорится, что ГОРЬКИЙ „иногда слишком близко подпускал к своему сердцу врага, чтобы лучше распознать его“.

ПЛАТОНОВ указывает, что его писания поставлены под особый контроль и этот контроль осуществляется такими „литературными милиционерами и перестраховщиками, как ЕРМИЛОВ“».

Но Андрей Платонов «не шепотом в углу выражал свои мысли». В ответ на ермиловскую статью он написал в редакцию «Литературного критика» письмо, в котором назвал Ермилова «адмкритиком», занимающимся сознательным вредительством.«... цитата из любого произведения, если ей пользуются неумелые или злостные руки, всегда походит на членовредительство; но у административного критика как раз часто бывает нужда в членовредительстве цитируемого им автора, иначе в чем же смысл работы адмкритика; именно так цитирует Ермилов статью „Пушкин и Горький“: служебную иллюстрирующую фразу текста он цитирует, основные же положения

опускает; адмкритик выдергивает из человека ноготь и хочет охарактеризовать им всего человека <...> он берет „предмет“ не за душу и не за руку, а за ухо».

Письмо напечатано не было (что, судя по всему, Платонова сильно задело и заставило изменить свое отношение к самому «Литературному критику»), и неизвестно, знал ли Ермилов о его содержании^[70], но вся борьба была впереди. В ноябрьском номере теоретического и политического органа ЦК ВКП(б) журнала «Большевик» была опубликована редакционная статья «О некоторых литературно-художественных журналах», где Платонову снова досталось.

«А. Платонов считает, что торжество коммунизма, его полная победа, зависит от того, появится или не появится у нас „новый Пушкин“, что только в художественной литературе народ выражает свое истинное существо, может ощутить самого себя во всем своем качестве и достоинстве. А. Платонов... не понимает (или не хочет понять), что высшим достижением русской и мировой культуры является ленинизм, великое учение... Редакция „Литературного критика“ могла бы разъяснить А. Платонову...»

Ирония этого сюжета заключалась в том, что начиная со второй половины 1938 года и в течение всего 1939-го Андрей Платонов, он же Ф. Человеков, он же А. Климентов, он же А. Фирсов, он же Ив. Концов, не напечатался в «Литературном критике» ни разу, фактически уйдя в журнал «Литературное обозрение». Правда, учитывая, что обе редакции располагались в одном здании на Тверском бульваре, 25, а работали в них одни и те же люди, этот уход носил характер символический, и тем не менее.

«ПЛАТОНОВ высоко ценит состав редакции „Литературного критика“, а именно САЦА, УСИЕВИЧА

<sic>, ЛУКАЧА, КЕЛЛЕРА. Однако в этом году он, ПЛАТОНОВ, в этом журнале не печатается, так как находит, что журнал из боевого критического журнала превращается в типично литературоведческий. В особенности он упрекает КЕЛЛЕРА за его статьи об АСЕЕВЕ, КИРСАНОВЕ и АННЕНСКОМ, говоря, что эти статьи не нужны, что КЕЛЛЕР равно, впрочем, как и товарищ ПЛАТОНОВА, — САЦ — трусы и лицемеры. В устных разговорах они сами признают себя только беспринципными прихлебателями, что не мешает им кормиться около журнала», — доносил в октябре 1939 года осведомитель НКВД.

Но били Андрея Платонова за «Литературный критик», а «Литературный критик» — за Платонова. В начале 1940 года в ЦК партии полетела новая цидула за подписью Фадеева, Кирпотина и Ермилова. Называлась она «Об одной антипартийной группировке в советской критике», и ее внимательно с карандашом в руке прочел Сталин, трудно сказать, с какими чувствами вновь столкнувшийся с недобитым в 1931 году подкулачником и подчеркнувший на полях те места, которые мы выделим курсивом (а подчеркивания в тексте были предусмотрительно сделаны для вождя авторами документа).

«Гнилые теоретические позиции группки „Лит. критика“ приводят их естественно к выводу, что политика вредна искусству. <...> Всю советскую литературу „Лит. критик“ считает иллюстративной (т. е. дидактической, второсортной) на том основании, что она пронизана политической тенденцией... В современной же советской литературе Е. Усиевич поддерживает явления, выражающие разбитое буржуазное сопротивление социализму. Поэтому для нее Андрей Платонов, автор „Впрока“, является самым талантливым советским писателем:

„Наиболее талантливым среди писателей, не удовлетворяющихся одними лишь гуманистическими обобщениями, а ищущих жизненных, конкретных и трудных, часто трагических, форм развития, **является у нас Андрей Платонов**“ (Лит. критик, № 9—10 за 1938 г., стр. 171).

„Лит. критик“ сделал Платонова своим знаменем. Его противопоставляют другим писателям. На него указывают, как на образец. *В. Александров в своей статье „Частная жизнь“ предлагает Пастернаку лечиться... Платоновым („Лит. критик“, 1937, кн. 3). Даже рассказы Платонова, забракованные другими журналами, печатались в „Лит. критике“. Платонов стал публицистом и критиком группки. На страницах „Лит. критика“ он доказывает, что вся русская литература после Пушкина сплошной упадок, а Горький вобрал внутрь себя... кусочек фашизма!»*

Далее следовали «членовредительские» цитаты из платоновской статьи «Пушкин и Горький» и административное резюме: «Дальнейшие комментарии излишни! Сборник подобных статей Платонова, редактировавшийся Е. Усиевич, был изъят как антисоветская книга».

Впечатление такое, что Ермилов изо всех сил подталкивал Сталина к тому, чтобы повторить «вроковский» сюжет 1931-го, чтобы «впрок» стало всем: и Платонову, и Лукачу, и Келлеру, и Усиевич... Но тяжелый на подъем и плохо поддающийся манипулированию сатрап на этот раз никаких специальных указаний давать не стал, со стороны наблюдая за дракой тех писателей, какие у него были.

В апрельском номере «Красной нови» за 1940 год появилась редакционная статья, называвшаяся точно так же, как и сентябрьская 1939 года в «Литгазете» — «О вредных взглядах „Литературного критика“». В ней почтенный журнал вновь обвиняли в том, что он

«сделал своим знаменем все творчество Андрея Платонова в целом, со всеми его упадническими чертами», что «своего писателя — Андрея Платонова — представители группы расхваливают при всех удобных и поистине неудобных случаях. <...> И ни редакция журнала в целом, ни отдельные представители группы ни разу не признали ни одной своей ошибки. Они не сделали этого и после того, как редакция „Большевика“ указала на возмутительный характер статей А. Платонова, печатавшихся в „Литературном критике“».

Последнее можно было бы считать проявлением мужества со стороны редакции, которая до последнего не сдавала своих, но Платонов смотрел за битвой гигантов как посторонний («Об одной литературной дискуссии он сказал: „Совокупление слепых в крапиве“», — вспоминал Семен Липкин, и скорее всего речь шла именно об этой идейной схватке), и если верить донесениям агентуры, то оценивал суть и перспективы происходящего так:

«...если дискуссией заинтересуется С-н [Сталин] или кто-либо из членов п<олит>б<юро>, то „наверное влечет обеим сторонам, но особенно культурным“.

Если же дело будет рассматриваться аппаратным путем, то возможно усиление позиций <пропуск> и разгромом „Лит-критики“».

Помимо этого донесения известно письмо, которое Платонов отправил (или собирался отправить) в мае 1940 года в редакции «Литературной газеты» и журнала «Литературный критик», и оно сильно отличалось тональностью от того, что было написано осенью 1939-го.

«Просьба напечатать мое нижеследующее письмо.

В последнее время — уже в течение полугода или более — моя фамилия часто употребляется разными литераторами, которые, стремясь доказать свои

теоретические положения, ссылаются на меня как на писателя, — по любой причине и без особой причины. Убогость аргументации именем Платонова — очевидна. Поэтому я здесь не хочу вступать с этими людьми в какой-либо спор: у меня есть более полезная работа, чем употреблять те средства подавления и коррупции, которые применяют ко мне люди, считающие меня своим противником. Кроме того, я бы не смог употребить эти средства, потому что для того я бы должен превратиться из писателя в администратора. Например, я бы не смог (да и не стал бы, если даже мог) ликвидировать напечатанные и разрешенные к опубликованию книги, как поступили недавно с моей книгой, не стал бы зачеркивать каждое слово в печати, если оно не содержит резкого осуждения Платонова, и прочие подобные поступки я не позволил бы себе совершить и отговорил бы от таких поступков других людей, активность которых опережает их разумение.

В заключение я приведу слова Гоголя, которые в точности излагают мою мысль и просьбу: „Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним во сколько хватило канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории... Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: оставьте меня“.

15/V- 1940 г.».

Однако его не оставили. И не оставили потому, что принудить Платонова к капитуляции не смогли. Он так и не опустил пера, о чем мечталось Ермилову с Фадеевым. В июле в «Литературном обозрении» вышла статья Ф. Человекова «Размышления о Маяковском».

«Великий художник требует, чтобы его завоевывали или по крайней мере осваивали. Превратить его поэтическую работу в реальное благо для себя — это наше дело, мы сами должны затратить усилия, чтобы

труд, завещанный и подаренный нам поэтом, обратился внутри нас в благородную силу, обогащающую нашу натуру, в силу, уводящую нас из захолустья эгоизма и ограниченности в пространство великого мира. Итак, мы озабочены здесь единственной задачей — расширением и углублением своего понимания Маяковского. Эта задача содержит в себе одновременно и доверчивость к поэту, и утилитарную сторону дела. Маяковскому, вероятно, более всего понравилась бы именно утилитарная сторона дела, потому что в его утилитарности и заключается наивысшая поэтическая сила: в пользе и успехе революции поэзия обретает свою цель».

Вряд ли Платонов думал о себе как о великом художнике, которого надо завоевывать и осваивать, но объективно именно таковым он был, а идея утилитарности литературы была высказана еще в 1926 году и с той поры ревизии не подвергалась.

«Чтение классика-новатора, — продолжал он, — всегда сначала работа, а потом уже радость и польза. Конная тяга понятней паровозной, но паровозная интересней и выгодней».

Это уж точно про автора «Сокровенного человека» и «Чевенгура» сказано. Но все же самое важное для Платонова в его размышлениях о Маяковском — трагизм судьбы лучшего из талантливейших советских поэтов.

«И здесь же, в трагической трудности работы, в подвиге поэта, заключается, вероятно, причина ранней смерти Маяковского. Подвиг его был не в том, чтобы писать хорошие стихи, — это для таланта поэта было естественным делом; подвиг его состоял в том, чтобы преодолеть косность людей и заставить их понимать себя — заставить не в смысле насилия, а в смысле обучения новому отношению к миру, новому ощущению прекрасного в новой действительности; преодоление же косности в душах людей почти всегда причиняет им

боль, и они сопротивляются и борются с ведущим их вперед. Эта борьба с новатором не проходит для последнего безболезненно, — он ведь живет обычной участью людей, его дар поэта не отделяет его от общества, не закрывает его защитной броней ни от кого и ни от чего...

Подвиг Маяковского состоял в том, что он истратил жизнь, чтобы сделать созданную им поэзию сокровищем народа. „Мастак жизни“, он обучил живых понимать свой голос и „смастерил“ для них поэзию, достойную создателей нового мира. Мастак жизни — не означает, что поэт был мастером своего личного счастья: он был мастером большой, всеобщей жизни и потратил свое сердце на ее устройство».

Именно это место вызвало возмущение старого врага и полного тезки Маяковского, Владимира Владимировича Ермилова, который увидел в платоновских рассуждениях утверждение «извечной трагичности новаторства», «вечной нормы», которая «неизбежно ведет к трагической жертве». «Перед нами какая-то старомодная восьмидесятническая окрошка, в которой плавает и остаточек идеи Ф. М. Достоевского о том, что „не насилием, а жертвой спасается мир (новатор жертвует жизнью — ‘истратил жизнь’ — для того, чтобы содеянное им стало сокровищем народа)“».

Ермиловские размышления были опубликованы 25 августа 1940 года в «Литературной газете» в статье с неброским названием «Традиция и новаторство». В ответ Платонов обвинил своего оппонента в «поверхностно-традиционном» понимании новаторства, в громогласной шаблонности и в искажении, в уродовании чужих мыслей, в том, что «Ермилов пишет ради какого-то своего расчета, а не в расчете на истину». «Нельзя понять другого, если сам постоянно переполнен собственным благоприобретенным мнением, если постоянно имеешь некое железное

намерение крошить любого, непохожего на себя, если прячешься в ложный вымысел от беспокоящего огня действительности». И дальше: «Смерть Маяковского есть трагическое событие. Но лишь безумец или человек, срочно нуждающийся в перевоспитании, обвинит писателя, заявившего об этом общеизвестном событии, что данный писатель клеветает на современное советское общество, устанавливающее новые нормы, что этот писатель проповедует, дескать, необходимость и неизбежность жертвенной жизни, что он, в сущности, чуть ли не сознательный организатор трагической жизни и самоубийства, как общей судьбы новаторов, что он возвращает нас к архивной теории о толпе и героях и прочей „окрошке“ восьмидесятых годов.

Писатель Человеков этого не проповедовал».

Это письмо постигла участь двух предыдущих — пролежать в архиве до своего воскрешения, так что война носила характер расправы: Платонова разрешалось бить другим, но Платонову не дозволялось дать сдачи. Что же касается войны в более широком смысле — адмкритики и академкритики, — то в конце 1940 года выпуск журнала «Литературный критик» был по решению оргбюро ЦК прекращен, и Фадеев с Ермиловым могли бы праздновать победу, когда бы одновременно с этим не была ликвидирована и секция критики в Союзе писателей. Начальство избрало нулевой вариант, а критическая деятельность Платонова продолжилась в «Литературном обозрении», и непохоже, чтобы о ликвидации некогда пригревшего его, но потом разочаровавшего «Литературного критика» он сожалел.

Глава двадцатая ЦАРСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Он продолжал писать прозу. Пусть и меньше, чем в предыдущие годы, но все же ни рецензирование, ни работа для серии «ЖЗЛ», ни даже «литературное рабство», если таковое действительно в его жизни существовало, не были помехой главному ремеслу, и некогда молодая, ревнивая, а теперь набравшаяся опыта муза относилась к своему любовнику с большим пониманием и терпением...

В период с 1938 по 1941 год Платонов написал рассказы, которые давно считаются классическими: «Июльская гроза», «На заре туманной юности», «Родина электричества», «По небу полуночи», «В прекрасном и яростном мире», «Жена машиниста», «Свет жизни», «Великий человек», «Алтеркэ», «Юшка», «Еще мама», «Корова».

В платоноведении этот период поэтически называют «за рекой Потуданью», «пушкинским периодом», «смиренной прозой» или более сухо — «прозой конца 30-х годов»; его характеризуют как «попытку воплощения гармонического мира» и создания «образа светлого мира», победу аполлонического начала над дионисийским после крушения «антропологического» утопизма, отступление от жесткой эстетики тела в страхе перед «зияющей бездной стихийной телесности». Еще в советское время родилась формула «окончательного становления идейно-эстетического идеала писателя, базирующегося на научном марксизме (в эстетике зрелого Платонова связанном с категорией социальной активности); „пушкинском“ начале, понятом как гармоническое соединение естественного и социального,

реализованном в таланте; фольклорной традиции, несущей в себе воплощение лучших черт народного сознания».

«Эта триединая формула „идейно-эстетического идеала“ Платонова, сочетающая „научный марксизм“, Пушкина и фольклор и представляющая собой современную трансформацию знаменитой триады — самодержавие, православие, народность, служит клеткой, в которую хотят сегодня загнать писателя и в которую хотел войти он сам», — прокомментировал открытие советских ученых Михаил Геллер.

Тут одно можно сказать: новый Гурвич явился. Только знаки поменялись. На самом деле ни в какую клетку Платонов входить не собирался, да и никто его туда не загонял. Никакие бездны его не страшили и ни на какие эстетические компромиссы он не шел. Этот небогатый человек, ходивший, по свидетельству современников, в одном и том же синеватом плаще, казавшийся среди нарядных советских писателей в их ярких галстуках, велюровых шляпах и импортных пальто слесарем, пришедшим починить водопровод («Простая кепка, москвошвеевский синий плащ, стоптанные ботинки, седоватые неприглаженные волосы, неприметное на первый взгляд лицо мастерового», — описывала Платонова Евгения Таратута), был самым свободным писателем в тогдашней России. Даже вынужденный сочинять либретто и инсценировки, внутренне подорванный стремлением побывать за границей и лично встретиться со Сталиным Булгаков в 1930-е годы пал духом и ощутил себя пленником, едва ли не мертвецом. Платонов при невыносимости своего положения, реально куда более трагического, чувствовал себя иначе.

Революционная взвесь, которая насыщала, питала, в хорошем смысле этого слова замутняла и бродила в его

прозе в 1920-х и первой половине 1930-х годов, и следы этой взвеси и брожения можно различить даже в книге рассказов «Река Потудань», не говоря уже о «Счастливой Москве», частью растворилась, а частью опустилась на дно. Но если б жидкость в сосуде оказалась дистиллированной, не было бы чуда поздних платоновских вещей и коротких, простых по звучанию фраз: «Рожь росла тихо». Платоновская зрелая ясность питалась смутой молодости.

В июле 1938 года он написал один из самых известных, самых горьких своих рассказов — «Июльскую грозу». Ни одно из его произведений (за исключением военных рассказов) не было столько раз при его жизни опубликовано. 30 сентября 1938 года рассказ в сокращении напечатала «Литературная газета», а в ноябре он был опубликован в журнале «Октябрь». «Июльскую грозу» удалось напечатать в нескольких отдельных изданиях для детей. Однако считать историю одного путешествия четырехлетнего мальчика и девятилетней девочки среди высоких хлебов жарким летним днем детским рассказом невозможно, а в ее прижизненном признании было что-то необъяснимо чудесное.

«У Платонова есть маленький рассказ „Июльская гроза“. Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью», — отозвался в своей «Книге скитаний» не помнящий зла Константин Паустовский.

Сюжет этого произведения на первый взгляд идеально прост. Двое детей, брат и сестра, отправляются в гости из колхоза «Общая жизнь», где они живут с родителями, в деревню Панютино к

бабушке и дедушке, но, не погостив и получаса, неожиданно уходят, на обратном пути попадают в страшную грозу и с помощью встретившегося им по дороге старичка благополучно возвращаются домой. Главным событием в рассказе становится гроза, и, хотя для русской литературы она явление традиционное, в платоновском мире грозovým ощущением пронизано все бытие. Летняя гроза есть отсыл к раннему творчеству писателя, к тем космическим катастрофам, которые совершались в «Потомках солнца» и «Эфирном тракте», но в «Июльской грозе» со стихией сталкиваются дети, одного из которых зовут Антошкой, то есть Антоном, то есть Платоном... Это было написано в ту пору, когда пятнадцатилетнего мальчика Платона Андреевича Платонова держали в Бутырке и водили на допросы, и рассказ наполнен его присутствием, его страданием, его страхом и болью. «Он еще маленький, измученный, и ругать его нельзя», — думает Наташа о брате, и это имело прямое отношение к узнику тюремного замка на северной окраине старой Москвы.

«Наташа с испугом вглядывалась в эту рожь, не покажется ли кто-нибудь из ее чащи, где обязательно кто-нибудь живет и таится, и думала, куда ей тогда спрятать брата, чтобы хоть он один остался живым. Если ему надеть свой платок на голову, чтобы Антошка был похож на девочку, — девочек меньше трогают, — тогда бы лучше было; или спрятать его в песчаной пещере в овраге, но оврага тут нигде не встречалось, он был около их колхозной деревни. И старшая сестра повязала брату платок на голову, а сама пошла простоволосая, так ей было спокойнее на душе».

Казалось бы, чего боится эта добрая, обещающая стать хорошей крестьянкой советская девочка, идущая с братом посреди колхозного раздолья в самой счастливой стране? Кто может напасть на них из глубины ржаного поля? Почему ей кажется печальным и

страшным бледное небо над головой? Почему она думает, что девочек трогают меньше, чем мальчиков? Платонов не написал, не сказал об этом ни слова, но возникающее на первых страницах «Июльской грозы» ощущение беды не проходит до самого конца.

Бесконфликтная, по мнению некоторых исследователей, «Июльская гроза» — рассказ не мрачный, но по-настоящему страшный, жуткий, и именно потому, что на дне его прозрачной, колодезной ясности покоится не просто взвесь, но адская смесь зрелого коммунизма, сопоставимая, а в чем-то и превосходящая ужасы «Чульдика и Епишки», «Епифанских шлюзов», «Котлована», «Мусорного ветра», «Такыра», «Джана», «Македонского офицера» и прочих платоновских «триллеров». Идущие по дороге дети встречают доброго, маломощного старика с голым притерпевшимся лицом, который напоминает постаревшего Вощева, что глядел вослед пионеркам, и в этом смысле «Июльская гроза» может рассматриваться в качестве развернутого послесловия к «Котловану»: вот что случилось с деревенским царством девять лет спустя той поры, как бродил тридцатилетний искатель смысла жизни Воцев по русской земле, кулаков сплавляли по реке, а Никита Чиклин одним ударом убивал поганца активиста:

«Когда он видел лица детей, ему хотелось или тотчас умереть, чтобы не тосковать по молодой, счастливой жизни, или уже остаться жить на свете постоянно, вечно. Но жить постоянно — разве это упрaviшься, разве это ему посильно, да и охоты уже нету такой, как прежде, и земля как будто наскучила; но иногда ему казалось, что настоящая охота жить только и приходит в старости, а в молодых годах этого понятия нет, тогда человек живет без памяти. Больше всего старику было жалко детей, и он чувствовал, как от них входит в его сердце томительное, болящее

счастье, все еще и до сей поры малознакомое и непрожитое, будто оно было забыто за недосугом, но само по себе давно ожидало его».

Нет сомнения, это авторский фокус, его взгляд и отношение к действительности, к жизни и смерти, и в этом смысле не случайно, что восемь лет, номинально разделяющие Вощева и старика из «Июльской грозы», превращаются в долгие десятилетия, во всю жизнь — именно так протекало для Андрея Платонова время. Не случайно и то, что этот старик помогает детям добраться до дома. Психологически достоверный, носюжетно не вполне ясный, внешне не мотивированный, похожий на бегство уход брата и сестры из бабушкиного дома (столько идти, устать, проголодаться и пуститься в обратную дорогу, не поев блинов с вареньем и не сказав хозяйке ни слова) может быть по-разному прочитан и истолкован. Американский славист Клинт Уокер, автор статьи «Забота о малолетних кадрах в „Июльской грозе“», услышал в этом рассказе «плач Платонова по утерянным ценностям дореволюционного жизнеустройства» и увидел культурный разрыв между «новым советским поколением сталинских колхозов, где живут Наташа с братом, и теми дореволюционными культурными ценностями, которые представляет собой бабушка». Однако, даже будучи убежденным почвенником, славянофилом и плакальщиком по порушенному крестьянскому ладу, согласиться с этим трудно — не было у Андрея Платонова ничего подобного тому, что зовется ностальгией по дореволюционной России. Ни в 1919-м, ни в 1929-м, ни в 1939-м году не было, как бы нам теперь, может быть, ни не хотелось эту ностальгию автору приписать, и едва ли смысл этого рассказа заключается в том, что «платоновские дети еще не научились ценить те простые, вечные ценности, которые представляет собой бабушка и ее дом», за что

они тотчас же подвергаются наказанию, попадая в страшную грозу.

Столь прямая нравоучительная идея не могла отвечать авторским намерениям — Платонов не протестантский проповедник. Все было проще и сложнее одновременно: для детей невыносим разрыв с их *родным* домом, с их родительским двориком, они соскучились, затосковали, а бабушка пугает их старостью и хозяйственностью: при «светлости», теплоте и нежности этого образа («Пусть все поскорее соберутся вместе в одну избу, пусть будут здоровы ее дочь со своим мужем и растут счастливыми внуки, — чего еще мучиться, и так хорошо»), при всей экономности его, нетрудно заметить, как привязана Ульяна Петровна к своему добру, которое она хранит в потайной посуде, как боится умереть в отличие от смиренного «дальнего» странника-старичка с его бесстрашным отношением к жизни и смерти. Она, перефразируя Евангелие, — не Мария, но Марфа, пекущаяся о многом («пойти кур покликать, пусть в сарае побудут») и не знающая главного. Да и менее домовитый, помешанный на рыбалке ее муж, который фактически остается за кадром, появляясь лишь в финале, и представлен в рассказе в размышлениях жены, восходящих к мотивам ранней платоновской прозы («Он только и ждет, только и надеется, что в мире случится что-нибудь: либо солнце потухнет вдруг, либо чужая звезда близко подлетит к Земле, посветит ее золотым светом на вечное заглядение всем, или на бросовом, неудобном поле вырастет сама по себе сладкая, питательная трава, которая пойдет на пользу людям, и ее не нужно будет сеять, а только жать... Ему никогда, никогда ничего не надо было, а всего-навсего сидеть где попало да беседовать с людьми о самой лучшей жизни, что будет и чего не будет, а дома смотреть на свое добро и думать: когда ж это настанет

время, чтобы ему нескучно было!..»), — образ скорее комичный, недаром девочка Наташа недоумеваает, ибо она «не знала такой жизни у больших людей».

В единоличном доме у бабушки и дедушки, находящемся на колхозной или совхозной — ибо на какой еще? — земле («От их дворового плетня начиналось общее ржаное поле»), — в этом доме жарко, сухо, томительно, как в царстве мертвых. В нем растет единственный маленький куст-кустарь, чьи листья «были покрыты пылью, он слабо шевелил ветвями, он истомился от жары и суши и жил точно во сне или как умерший, чужой и грустный для всех, которому не нужен никто», и желание детей поскорее покинуть это тоскливое место и вернуться в свой дом («Если бы Наташу оставили здесь жить навсегда, она бы умерла от печали») естественно и объяснимо. Старая деревня — им чужбина, их отечество — колхоз «Общая жизнь», который худо ли бедно ли, но установился на русской советской земле. Рассказ так написан, что дети идут из колхоза в деревню, словно из настоящего в прошлое, путешествуя не только по пространству, но и по времени, и рубежом, разделяющим два этих мира, оказывается гроза.

Позднее, перерабатывая «Июльскую грозу» для военного времени, Платонов составил план, точно отразивший и его первоначальный, «мирный» замысел: «...дети влекутся в неизвестное... <...> к бабушке, в другую деревню... <...> дети видят неизвестное, но скучают по известному — отцу и матери», а потом «узнают величие и мощь природы».

В военном рассказе июльская гроза рассматривалась в качестве репетиции перед грозой военной, как подготовка к новому испытанию, но в 1938-м Платонов нарисовал обыкновенную летнюю грозу как светопреставление. Дети уверены, что умрут, и эту уверенность помнивший о смерти чевенгурского

мальчика и котловановой Насти автор разделяет, испытывая вместе с маленькими героями ужас, страх, отчаяние.

«Антошка видел: оттуда, из-за реки, шла страшная долгая ночь; в ней можно умереть, не увидев более отца с матерью, не наигравшись с ребятами на улице около колодца, не наглядевшись на все, что было у отцовского двора. И печка, на которой Антошка спал с сестрой в зимнее время, будет стоять пустой. Ему было жалко сейчас их смирную корову, приходящую каждый вечер домой с молоком, невидимых сверчков, кличущих кого-то перед сном, тараканов, живущих себе в темных и теплых щелях, лопухов на их дворе и старого плетня, который уже был на свете — ему об этом говорил отец, — когда Антошки еще вовсе не существовало; и этот плетень особенно озадачивал Антошку: он не мог понять, как могло что-нибудь быть прежде него самого, когда его не было, — что же эти предметы делали без него? Он думал, что они, наверно, скучали по нем и ожидали его. И вот он живет среди них, чтоб они все были рады, и не хочет помереть, чтоб они опять не скучали. Антошка прижался к сестре и заплакал от страха».

Чувства сестры менее эгоцентричны: «Наташа села возле ржи и изо всех сил прижала к себе Антошку, чтобы хоть он остался живым и теплым около нее, если сама она умрет. Но ей подумалось, что вдруг Антошка помрет, а она одна уцелеет, — и тогда Наташа закричала криком, как большая женщина, чтобы ее услышали и помогли; ей показалось, что хуже и грустнее всего было бы жить последней на свете. Ведь, может быть, и дом их в колхозе сгорел от молнии и двор смыт дождем в пустое песчаное поле, а мать с отцом теперь уже умерли. И, приготовившись, чтобы скорее умереть самой, Наташа оставила Антошку и легла на

землю вниз лицом; она хотела умереть первой в грозе и ливне, прежде чем умрет ее брат Антошка».

Миру детей противопоставлен в рассказе мир взрослых, написанный с интонацией не осуждения, но укоризны. Приговор ему выносит председатель колхоза Егор Ефимович Провоторов, «рыжеватый крестьянин лет сорока пяти, медленно глядящий на свет серыми думающими глазами» (вот кто пришел на смену «архилевому» «активисту»), который решает наказать отпустившего детей одних в дальнюю дорогу и не беспокоящегося о них отца Наташи и Антошки. Наказание это состоит в том, что он доверяет уход за племенным быком не ему, а «нестрашному, некормленому» дальнему старичку, помогшему детям.

«— Право твое, — согласился отец. — Ишь ты — какой бдительный! Иль заботу о малолетних кадрах почувствовал? Но бык — дело одно, а девчонка с мальчишкой — совсем другое.

— Верно, — произнес председатель, пряча документ к себе, прочитав его весь снова. — Ребятишки — дело непокупное, а бык не то, быка и второй раз можно за деньги купить...»

«Забота о малолетних кадрах» — выражение, которое, по справедливому замечанию Клинта Уокера, вводит сталинский дискурс, только вряд ли Платонов Сталина осудил, как предположил тихий американец: «Упрек председателя можно прочитать, как упрек Платонова „Отцу всех народов“... <...> автор упрекает „нового царя“ в том, что он свое слово не сдержал... <...> Платонов продолжает давнюю русскую традицию, начиная с од Державина и пушкинских стихотворений „Стансы“ и „Герой“... <...> намекает на то, что Сталин тоже должен перечитать текст своей речи и потом задуматься о ее содержании и о своем обете заботиться о кадрах».

Если и толковать «Июльскую грозу» как послание в Кремль, то в отличие от неподцензурного ахматовского «Реквиема» рассказ содержал не протест, не упрек и не осуждение (Платонов не безумец, чтоб рисковать своим сыном), а вынужденное, выбитое под душевными муками признание писателем личной отцовской вины, недогляда за сыном, мольбу о прощении, о снисхождении с готовностью понести самому какое угодно наказание. Только бы спасти сына. Недаром рассказ по замыслу Платонова назывался «Спасение брата», и этот мотив от платоновских современников не укрылся. «Но я хочу обратить внимание — тут в клинику попадешь. Меня поражает настойчивость, с которой к теме отцовства возвращается Платонов, к теме спасения сына», — говорил на обсуждении детских рассказов Платонова писатель С. Т. Григорьев.

А еще была в этом рассказе очень личная, глубоко спрятанная отцовская печаль, что нет у него дочери. «Может быть, на будущее лето ты уже будешь жить на своей просторной даче и мы втроем разведем сад и огород, потом ты родишь для меня девочку, похожую на тебя. Неужели не хочешь?» — писал Платонов жене в 1935 году, а на детгизовском издании рассказа, подаренном Евгении Таратуте, сделал надпись: «Евгении Александровне, — напомнившей мне мою несуществующую дочь, о которой я сожалею, что ее нет и не будет на свете». В «Июльской грозе» Платонов свою дочку осуществил.

Рассказ заканчивается счастливо: пережившие грозу дети вернулись домой, мать накормила их картошкой, политой сверху яйцами, и последняя фраза «пусть дети растут и поправляются» завершает историю одного путешествия из прошлого в настоящее, однако было в этой концовке что-то нереальное, противоречащее написанному на предыдущих страницах. На самом деле дети не вернулись, погибли

посреди поля, покуда добрая бабушка лазила в погреб и кликала кур, дедушка размышлял, где б ему купить крючков, а отец занимался колхозными делами. И о том, что они не вернутся назад, Платонов знал...

То же самое можно сказать и про внешне благополучный финал рассказа «На заре туманной юности», впервые опубликованного в июле 1938-го в «Новом мире» под названием «Ольга». Сюжет его перекликается с мотивами ранних платоновских вещей: история жизни осиротевшей девушки, воспитанной революцией, ее тоска по умершим от тифа в Гражданскую войну родителям, скитание, изгнание из дома злой и жадной бездетной тетки («у этих людей дети рожаться не любят»), напряженная учеба, когда своей одержимостью Ольга напоминает Любу из «Реки Потудани», но в ее жизни нет ни одного мужчины, кроме маленького мальчика с серыми чистыми глазами по имени Юшка, за которым Ольга ухаживает, а он считает ее своей матерью и сосет «сухую девичью грудь». Невинность, девственность и нереализованное материнство героини составляют суть ее житийного образа. Главное событие в рассказе — подвиг, который совершает семнадцатилетняя девушка, когда у проходящего мимо состава с красноармейцами отказывают тормоза, и Ольга предотвращает катастрофу, совершая то, что не сделал ни один из взрослых людей — ни начальник станции, ни машинист, ни механик. Искалеченную, лежащую во сне или в смерти «незнакомую, одинокую женщину» красноармейцы на руках, сменяя друг друга, несут на железнодорожную станцию, и на вопрос красного командира, кого бы она хотела увидеть из родственников или друзей, девушка отвечает: «Юшку... А больше никого не надо, пусть за меня все люди на свете живут...»

«— Хорошо, — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче.

— А это кто Юшка?

— Ребенок, — произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери и ничего не сказал».

Платонов не поставил на этом точку. Рассказ заканчивается очень странным послесловием: «Она долго и терпеливо болела, но умереть не могла, — Ольга выздоровела, стала жить и живет до сих пор».

Критик Гурвич назвал бы эти окончания «короткими эпилогами, в которых на смену выстраданным словам приходит скупая и какая-то чужая, сторонняя информация». «Положившая жизнь „за други своя“ (Ин. 15, 13) и до конца исполнившая заповедь любви Ольга, по евангельскому слову, переходит от смерти прямо в жизнь», — иначе заключила современная исследовательница Наталья Дужина в статье «„Постоянные идеалы“ Андрея Платонова во второй половине 1930-х гг.».

Еще одним произведением, которое повествовало о железнодорожной катастрофе и ее чудесном преодолении, а также о судебном преследовании, тюремном заключении и извлечении несправедливо осужденного, стал рассказ «В прекрасном и яростном мире», впервые под названием «Александр Мальцев» опубликованный в 1941 году в журнале «30 дней». Рассказ обращен к молодости повествователя, хотя действие происходит в 1930-е годы, когда началась эксплуатация паровоза серии «ИС» (Иосиф Сталин). Таким образом, рассказчик по имени Костя — ровесник не автора, но его сына, однако чувства, которые он испытывает, глядя на могучую машину, платоновские: «Машина „ИС“, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая

растроганная ярость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина».

Главный герой паровозный машинист первого класса Александр Васильевич Мальцев напоминает машиниста-наставника из «Чевенгура», но образ более хрупкий. Мальцев равнодушен к людям, он чувствует превосходство перед ними, ему никто не нужен, и добровольное одиночество повергает советского сверхчеловека в состояние печали, что странным образом заставляет вспомнить Родиона Раскольникова с его признанием: «Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть». Неожиданное происшествие преобразует жизнь Мальцева в его техническом футляре. Когда ведомый им состав попадает в сильную июльскую грозу (в рассказе называется точная дата 5 июля, и можно почти не сомневаться в том, что именно в этот день шли через поле из деревни Панютино в колхоз «Общая жизнь» Наташа с Антошкой — так платоновские рассказы конца 1930-х годов образуют единое целое, своеобразное полотно жизни), машинист на время слепнет и не замечает сигналов светофора. «Я был первым слушателем этого рассказа, — вспоминал Виктор Боков. — Когда автор дошел до того места в рассказе, где молния ослепляет машиниста, голос его дрогнул, спазм перехватил дыхание, навернулась слеза».

Только случай и расторопность помощника уберегают состав от катастрофы, но Мальцева заключают в тюрьму и отдают под суд. «Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?» — ставит перед гуманным советским следователем вопрос повествователь (и поразительно соединение мужества платоновских редакторов с ленью вздремнувшей цензуры) и объясняет свое участие в деле Мальцева. «Я хотел защитить его от горя судьбы, я

был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а не меня, скажем. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни губительных обстоятельств, и эти губительные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, — я чувствовал свою особенность человека».

В ту же самую пору похожее ощущение выразил в письме Платонову и Лев Гумилевский: «...за все почти время нашего знакомства Вы находились в каких-то ненормальных условиях, созданных как бы роком, странным, нисколько не зависящим от Вас стечением обстоятельств, и законно, хотя бы и бессознательно (тем более справедливо), относились к себе как почти к человеку, пораженному случайным заболеванием, что ли, или потерей конечности при трамвайной катастрофе».

Не менее яростным и полным враждебных сил изобразил Платонов мир Западной Европы накануне Второй мировой войны. Главный герой рассказа «По небу полуночи» немецкий летчик Эрих Зуммер во время выполнения боевого задания переходит на сторону республиканской Испании. Выбор профессии и подробное, увлеченное описание полета не случайно. Можно предположить, что в железнодорожном сердце Платонова жила тоска по небу, что так отчетливо сказало в «Счастливой Москве», и Платонов совершенно искренне признавался Гумилевскому: «Если бы теперь пришлось начинать жить, то я был бы летчиком». Да и обращение к фигуре великого русского

конструктора Н. Е. Жуковского, книгу о котором Платонов собирался написать для серии «ЖЗЛ», говорит само за себя. Но дело было не только в возможности осуществить через прозу свою мечту. В этом рассказе, как и в «Мусорном ветре», как и в «Македонском офицере», изображена деспотия, лишенная самой важной сущности — души. «И неизвестно в точности, что такое, но известно, что без нее общая жизнь человечества не состоится. Это подтверждается тем, что мы страдаем...» — размышляет в духе Достоевского летчик, и единственный способ борьбы с этой деспотией — насилие.

«Я его убью, — решил Зуммер участь Кенига. — Он и они хотят нас искалечить, унизить до своего счастливого идиотизма, чтобы мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга, а это все равно, что нас убить. Это — хуже, это ребенок с выколотыми глазами».

Убийство, которое вершит Зуммер, совершается не человеком, но карающим ангелом, что выражается в рассказе открытым текстом («Нет, мне пора быть ангелом, человеком надоело, ничего не выходит»), и отсюда смысл лермонтовского названия^[71]. «Ангел» Зуммер уничтожает в воздушном бою машины бывших товарищей, а потом, спустившись на землю, встречает обезумевшего от горя мальчика и улетает вместе с ним искать «мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум».

Ветхозаветный, глубоко метафизический и очень личный рассказ был прочитан как антифашистский («В последний месяц работа пошла хорошо: ПЛАТОНОВ написал рассказ о немецком летчике антифашисте в Испании („По небу полуночи“»», — доносил в НКВД

тайный осведомитель за несколько месяцев до заключения пакта Молотова — Риббентропа) и успел попасть в июльский номер нового журнала «Индустрия социализма» за два месяца до начала Второй мировой войны. В этом же печатном органе увидел свет рассказ «Родина электричества», переделанный Платоновым из «Технического романа», а точнее, из того фрагмента, где рассказывалось о путешествии Душина в Верховку для починки местной электростанции. Платонов создал новый текст с лирическим героем, заменив третье лицо на первое, но остались в рассказе сцена крестьянского крестного хода и поразительное изображение иконы Богородицы.

«Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвления, и беспощадности; никакой нежности, надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни, — это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия».

«Рассказчик описывает не виденную им когда-то конкретную икону, а рисует свою — новую», — заметил исследователь В. Лепяхин в статье «Икона в творчестве Андрея Платонова», но само явление иконы, пусть даже

прочитанной так, сквозь призму отчаяния и ощущения Богооставленности, говорило само за себя. Платонов не был воцерковленным человеком, но проза его и особенно поздняя проза, когда, по справедливому замечанию бдительного Александра Маковского, пропасть, отделявшая Платонова от советской литературы, становилась все шире, была христианскими образами насыщена. Это напрямую касалось и Ольги из рассказа «На заре туманной юности», и карающего зло «ангела Зуммера», но более всего — платоновских детей.

Одним из них стал мальчик Вася Рубцов, герой рассказа «Корова», житейской истории об обычной семье — отец, мать, сын, свое небольшое хозяйство, кормилица корова, и никакие потрясения не могут этот мир разрушить, а только его укрепляют. Но было что-то бесконечно грустное по интонации во внешне незатейливом повествовании, где снова сталкивались два мира — взрослых и детей, каждый из которых живет по своим законам, один — нужды, а другой — любви. На внешнем уровне детский мир подчиняется взрослому, а на внутреннем все происходит наоборот, и Платонов утверждает правоту и первенство детского взгляда и детского отношения к самым важным сущностям.

«Как я буду жить, я не знаю, не задумывался еще. У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо, его убили и съели. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она — говядина. Теперь ничего нету. Где корова и ее сын — телок? Неизвестно, а всем было от них хорошо. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была

доброй. Я тоже хочу, чтобы всем людям нашей Родины была от меня польза и хорошо, а мне пусть будет меньше, потому что я помню нашу корову и не забуду».

В строках этого сочинения, написанного Васей Рубцовым по заданию учительницы, было больше живого патриотизма, чем во всей громокипящей советской пропаганде. Недаром такую ярость вызвало оно у внутреннего рецензента С. Субоцкого в 1946 году, когда Платонов попытался рассказ опубликовать: «Сочинение Васи, данное как концовка рассказа, будучи по форме ложно-значительным, а по сути бессодержательным, звучит пародийно и, вместе с тем, как бы стремится придать рассказу о *частном* случае характер чересчур широкого *обобщения*». Платонов угадывал и добивался того, что не могла осилить огромная идеологическая машина в СССР, но «Корова» увидела свет лишь в 1958-м... Зато в 1940 году был опубликован рассказ «Мученье ребенка», более известный как «Алтеркэ» — история жизни осиротевшего еврейского мальчика на Западной Украине, занятой Красной армией в 1939 году.

В этом рассказе, как и в «Чевенгуре», как и в «Глиняном доме в уездном саду», как и в «Бессмертии», а также в датированном 1936 годом рассказе «Любовь к родине, или Путешествие воробья», встречается удивительный, сквозной образ воробья — символа человеческой жизни, свободного и несвободного, счастливого и несчастного.

«— А вон видишь, воробей на плетне сидит, — показывал отец в окно. — Видишь, он один живет, видишь — он от холода съежился, и улететь ему некуда, а он молчит — живет, ему ничего не скучно... У него и отца нету, а у тебя есть. Погляди на него!

Алтеркэ смотрел через окно на воробья; черные глаза мальчика начинали светиться вниманием и сочувствием к тому одинокому воробью, и он воображал

его жизнь на холоде и без отца, и на время Алтеркэ переставал скучать, потому что чужая жизнь занимала его сердце больше своей».

В 1940 году в журнале «30 дней» в рассказе «Старый механик» (другое его название «Жена машиниста») прозвучали еще более знаменитые, кем только впоследствии не процитированные слова железнодорожника Петра Савельевича, чья семья состояла из него самого, жены и паровоза серии «Э»: «А без меня народ неполный» — фраза, вызывающе полемичная по отношению к сталинской максиме о том, что незаменимых людей у нас нет, да и к самой советской идее равенства, обернувшейся обезличиванием, хотя этот маленький рассказ был прежде всего о любви и о великом достоинстве простого человека, — тема, которую Платонов не оставлял.

В том же году в журнале «Смена» был напечатан рассказ «Великий человек» — история, суть которой была изложена в «Записных книжках»: «...все хотели быть летчиками, музыкантами, писателями etc., а один мальчуган гончаром, — гений!» Главный герой этого рассказа молодой колхозник Григорий Хромов остается в колхозе, откуда вся честолобивая молодежь уезжает в город и делает добрые, нужные ближним людям дела — чинит колодец, начинает строить школу, причем никакой идейности, жажды организаторства в его поступках нет. Они диктуются органичностью героя, который, застеснявшись, говорит о том, что «привык жить в колхозе и по матери боится соскучиться». Своего рода искусителем подростка оказывается старый конюх Василий Ефремович Анцыполов, твердящий о том, что «тебе самый раз теперь учиться выше, чтоб познать темные тайны и совершить подвиг во вселенной!.. Сколько наших ребят вон уехали, — теперь, гляди, пройдет год, полтора, два, и они будут каждый на

великом деле, на глазах всего человечества — кто летчик, кто артист, кто по науке, кто по прочей высшей части!..».

Но Григорий строит не абстрактный новый мир, а избу для школы, пусть даже в этой школе «никакой карьере все равно не научишься». «Великий человек» с его достаточно ясно высказанной идеей и смысловой внятностью («ты для меня теперь вроде осьмушки всей вселенной представился, потому что от тебя мне хорошо внутри стало!» — говорит в конце рассказа побежденный Василий Ефремович своему «учителю») был доступнее широкому читателю. Предвоенная проза Платонова не случайно печаталась не в толстых журналах с их квалифицированной аудиторией, а в «30 днях», «Смене», «Общественнице», «Колхозных ребятах», «Индустрии социализма», «Вокруг света».

Вряд ли это происходило потому, что толстые журналы печатать Платонова отказывались по принципиальным или конъюнктурным соображениям (для сравнения: в 1937–1938 годах, когда положение писателя было ничуть не лучше, его напечатали «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир»). Точных причин платоновского предпочтения мы не знаем, но можно предположить, это был его личный выбор, обращение к своему читателю, и, пожалуй, так широко произведения Платонова публиковались только в его первые московские годы.

И хотя в конце тридцатых — начале сороковых ему не удалось издать полноценной книги прозы, как не удалось издать книгу критики; хотя не получилось окончить и представить в издательство «Советский писатель» в соответствии с заключенным договором рукопись романа «Путешествие из Ленинграда в Москву»; хотя безуспешными оказались работы для Детского театра (пьеса-сказка «Избушка бабушки») и кино (перед войной был написан и опубликован в

журнале «Вокруг света» кинематографический рассказ «Неродная дочь», представлявший собой сценарий, сделанный по мотивам «Ольги»); хотя продолжалась травля Платонова в печати и его не включали в коллективные сборники прозы и далеко не все рассказы были напечатаны, — несмотря на все эти неудачи и срывы, последний предвоенный год оказался для Андрея Платонова одним из самых успешных в его прижизненной «литературной карьере». Не говоря уже о том, что он стал годом спасения сына — в октябре 1940 года Платон Андреевич Платонов вернулся домой после двух с половиной лет заключения, и тогда верилось, что все страшное у него позади.

«Марии Александровне Платоновой — сей жалкий подарок в воспоминание о тяжком 1940 году и в надежде, что будущий год будет счастливее. Андрей». Такую надпись сделал Платонов на детгизовском издании «Июльской грозы» 30 декабря 1940 года.

Но это не означало, что в сорок первом он ощутил себя действительно счастливее. «Я живу, можно сказать, плохо. Но это ничего: я привык жить плохо. Жив — и ладно. Больше я ничего и не имею, только живу», — отметил Платонов в «Записных книжках» начала года и с горькой иронией добавил: «Когда я бывал молодым, то бывало — то зубы заболят, то икота нападет, то обсерешься в дороге, а теперь ничего этого нет, все перестало, весь притерпелся, живу ровно и неинтересно».

Глава двадцать первая ВОЙНА

«В Доме литераторов на улице Воровского, — вспоминал Лев Гумилевский, — я встретил Платонова в очереди за папиросами и спросил его:

— Андрей Платонович, ну а что вы думаете?

— Победим! — уверенно и твердо отвечал он.

— Но как?

— Как... Пузом!»

История войны доказала не только справедливость этого горького утверждения, но и в целом правоту платоновского трагического взгляда на мир. И когда писатель говорил про одного из своих героев «...он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть», то это чувство вышло из мироощущения автора.

Не случайно в первые месяцы военных действий Платонов сделал запись, которая свела воедино два вида насилия над народом — внешнее и внутреннее: «Тюрьмы, лагеря, войны, развитие материальной цивилизации (за счет увеличения труда, ограбления сил народа) — все это служит одной цели: выкосить, ликвидировать, уменьшить человеческий дух, — сделать ч<еловечест>во покорным, податливым на рабство».

В августе 1941-го по приказу политуправления Народного комиссариата путей сообщения Платонов находился в командировке на Ленинградском фронте. По возвращении он намеревался написать киносценарий «Сестра красноармейца», но замысел осуществлен не был, хотя в «Записных книжках» остались наброски к этой работе, а в платоновском архиве сохранилось письмо ответственного секретаря

Военной комиссии Союза советских писателей А. Карцева с напоминанием «сдать рукопись Вашего произведения (о героях прифронтовых железных дорог), которое Вы должны были написать после поездки по командировке Политуправления НКПС по договору с Трансжелдориздатом».

Помимо этого по договоренности с журналом «Пионер» еще в начале войны Платонов написал рассказ «Божье дерево» (другое его название «Дерево родины») — рассказ-миф, предание, с поразительным образом одинокого старого дерева, покрытого «синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево „божьим“, потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым».

Солдат Степан Трофимов уходит на войну, взяв с собой маленький влажный лист с Божьего дерева и попрощавшись с матерью, причем сцена разлуки откровенно полемична по отношению к известному стихотворению Симонова «Жди меня» с его строками: «Пусть поверят сын и мать / В то, что нет меня...» У Платонова же мать Степана — «маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет».

Рассказ заканчивается на пороге смерти героя, который, убив нескольких врагов в рукопашной схватке, оказывается в фашистском плену на родной земле («он

огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. — „И ты здесь со мной!“ — прошептал Трофимов Пушкину»), а потом, по ошибке принятый врагами за командира и отправленный в немецкую тыловую тюрьму, готовится к тому, чтобы задушить того немца, кто первым войдет к нему в каменный колодец, «потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной армии будет легче».

Ясная патриотическая идея была аргументом в пользу публикации, глубокий и сложный подтекст и непоощряемая тема плена — аргументом против (не случайно в 1942 году «Дерево родины» было снято с радиоэфира цензурой со следующей, не лишенной логики мотивировкой: «...немцы обращались с Трофимовым вежливо, не били и не убили, а посадили в тюрьму. Рассказ не выдержан, своим содержанием противоречит политическим установкам»), и «Пионер» от рассказа отказался. «Дерево родины» увидело свет во втором-третьем номере журнала «Новый мир» за 1943 год и в книге «Под небесами Родины», куда также вошли рассказы «Крестьянин Ягафар», «Дед-солдат», «Железная старуха», «Рассказ о мертвом старике» и «Свет жизни», каждый из которых (за исключением последнего, довоенного) высвечивал философское понимание войны, жизни и смерти, добра и зла, а героями оказались в основном старики и дети. Случайно это получилось или нет, но именно через концы и начала жизни Платонов давал свое восприятие и осмысление самых сложных вопросов бытия в первой военной книге, написанной еще до того, как он стал военным корреспондентом и попал на фронт.

«Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более скупно берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю — все, что будет скоро

удалено от них и страдать отдельно в бедствии... <...> До войны зло было далеко и скрытно, а теперь настала пора уничтожить его вблизи, в жизни, чтобы люди больше не боялись жить на свете, чтобы они не томились больше в разлуке с родными, не горевали от разорения своих дворов, не мучились голодом и увечьем, — чтоб отошла от них тоска, непосильная для человеческого сердца». Так размышляет герой рассказа «Крестьянин Ягафар», а его жена произносит знаменательные слова: «...на войне сила тратится, а в деревне она рождается».

В рассказе «Дед-солдат» говорится не только о мужестве, мудрости и находчивости старого крестьянина, воевавшего еще в турецкую кампанию и уничтожившего теперь с гиперболической, сказочной помощью внука Алеши (обыкновенной тяпкой тот разрушает целую плотину) немецкий танк, но точно так же, как в «Божьем дереве», возникает тема восстановления мирного лада и мирной жизни после войны. «Мы после войны все вместе опять соберемся...» — обращается Алеша к жителям подводного царства, председателем сельсовета которого он себя назначает и которое вынужденно приносит в жертву победе.

«Железная старуха» напрямую с военными действиями не связана, но эта философская притча о жизни и смерти навеяна войной, и ее герой, мальчик Егор (Георгий-победоносец) силой духа побеждает смерть. Мотив победы над смертью звучит в «Рассказе о мертвом старике». Старый крестьянин Тишка остается на родной земле после захвата ее фашистами и, получив вражескую пулю в грудь, не умирает («Тратятся враги зря на меня»), но продолжает воевать с немцами в родной деревне, в «зоне мертвого старика», поражая и чужих и своих неистребимой силой жизни: «Смерти остерегайся и нипочем не помирай! Солдат не должен помирать, он должен победить,

чтобы жить после войны, а то для кого тогда же жизнь?»

Эти рассказы с их сюжетной сказочностью и определенной мерой условности могли показаться наивными, простыми и даже неправдоподобными («выдуманые... с нарочитой инфантильностью повествования», — заметил внутренний рецензент Е. Ковальчик), но, как и в случае с «Великим человеком», автор сознательно шел при сохранении глубины и сложности смысла на видимое, часто кажущееся упрощение формы: теперь Платонов тем более хотел быть услышанным, прочитанным и понятым как можно большим количеством читателей. Его военные рассказы связаны с крестьянской, с деревенской, а не с городской, рабочей или тем более интеллигентской, элитарной Россией, частично описанной, например, в «Счастливой Москве», и для Платонова, которому некогда отечески советовал партийный наставник Литвин-Молотов о деревне не писать, ибо деревня есть косность и рутина, это непослушание и предпочтение было сущностным. Как сказано в «Крестьянине Ягафаре», «народная сила рождается в деревенской материнской земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем».

«Конец крестьянства недопустим — это источник человечества и человечности», — отметил Платонов в «Записных книжках» 1944 года, а очерк «О советском солдате» начал словами: «Россия обильна людьми, и не числом их... <... > — а разнохарактерностью и своеобразием каждого человека, особенностью его ума и сердца».

Книга «Под небесами Родины» вышла в начале 1943 года в Уфе. В этом городе Платонов жил с конца октября 1941 года по конец мая 1942-го. «Андрея с семьей эвакуировали как-то уж очень срочно, даже не

дали времени собраться, а у них ни денег, ни вещей теплых. На Андрее было летнее пальто, сестра и Тошка тоже полураздетые, — вспоминала, хотя и не очень точно (сына с ними в тот момент не было), Валентина Александровна Трошкина. — И поехали они в Уфу. Андрей бросил все рукописи в квартире, наказал моему Петру приглядывать за ними; с собой взял только „Путешествие из Ленинграда в Москву“ (по следам Радищева) — был у него труд такой, писал его лет восемь. Эта рукопись лежала у Андрея в небольшом коричневом чемоданчике, когда он в эвакуацию ехал. На ночь в вагоне он даже привязывал его к руке, когда лежал на верхней полке. И однажды этот чемоданчик в дороге украли, то ли срезали с руки, толи еще как. Воры ли, подосланные специальные люди? Только для Андрея это была трагедия. Он считал эту книгу самой значительной. В Уфе Платоновы жили ужасно. Есть было нечего, продавать нечего. Тошка приехал со своей Тамарой насквозь простуженным. Ехал в теплушке, в легком пальто. После тюрьмы был еще слаб. В Уфе его сразу направили в военкомат проверять. Тоша им говорит, что у него горло болит, а ему на это — здоров как бык, симулянт! Прошло два месяца, и он совсем свалился — началась скоротечная чахотка. А кормить, поддержать Тошу нечем. Осталось много трагических писем той поры от Андрея и сестры ко мне в эвакуацию и к мужу в Москву, где его оставили в народном ополчении. Андрей, как только приехал в Уфу, стал добиваться возвращения в Москву, чтобы оттуда — на фронт. Ведь на Урал его насильно выпихнули. Но пропуска в Москву долго не давали».

Жили Платоновы в небольшом деревянном доме, в условиях достаточно стесненных, и в архиве сохранилось письмо директору гостиницы «Башкирия», датированное 23 февраля 1942 года, за подписью ответственного секретаря Союза писателей Башкирии

Б. Бикбаева с убедительной просьбой «предоставить писателю Платонову Андрею Платоновичу, члену Союза писателей, командированному в Башкирию из Москвы, — номер в гостинице для работы и временного проживания».

Эта просьба, видимо, не была исполнена. Вот что вспоминала встретившаяся с Платоновым в Уфе Евгения Таратута: «...я должна была везти маму (она болела) из Москвы в Уфу. Приехали туда — и вдруг узнаю, что Андрей Платонович тоже в Уфе. Я нашла их адрес, пришла к ним в холодную комнату. Он сидел с Марией Александровной, не зная, что делать дальше».

«В Уфе они жили в крошечной комнате — 8-9 метров. Там с трудом умещались кровать, шкаф и стол. Было неловко, что Мария Александровна и Андрей Платонович уступили нам свою кровать, а сами спали на полу и ноги у них были под нашей кроватью», — рассказывала в интервью Н. М. Малыгиной невестка Платоновых Тамара.

Работы в Уфе не было, а издательские дела складывались неважно. В феврале 1942 года Платонов попытался наладить сотрудничество с московскими журналами.

«Наконец получил Ваш рассказ „Неодушевленный враг“, — писал ему 6 апреля 1942 года главный редактор „Дружных ребят“ Владимир Елагин. — Решил его напечатать, послал с номером в ЦК. Не утвердили. Меня и Вас упрекают в том, что рассказ слишком взросл. Его-де могут читать и понимать люди с высоко развитым интеллектом. <...> Очень жалко, что первый опыт в 42 г. не удался».

Но не брали этот рассказ и взрослые журналы («Неодушевленный враг» был впервые опубликован лишь в 1965 году). Не удалось пристроить в «Советский писатель» новую книгу прозы. Платонов оказался не у дел, и в Уфе ему жилось совсем плохо. «Странный

город: его не любят местные жители, над ним смеются; бестолковщина и глупость здесь обычны; за 25 лет мало что сделано (электрический свет на окраинах; несколько больших домов в центре — и все), — отмечал он в „Записных книжках“. — Это удивительно: город как враг прекрасного, ненавидимый жителями, живущими кое-как, втайне мечтающими уехать отсюда, но умирающими здесь. Внешне город очень красив: холмы, близость Сибири и Урала, огромный чистый континент».

О том, в каком тягостном состоянии пребывал он в первую военную зиму, свидетельствуют и другие страницы рабочих записей, которые после перерыва 1938–1940 годов, связанного с арестом Платона, вновь стали более подробными:

«„Предпоследний поезд“ из Москвы: 3 вагона чекистов, 10 вагонов „ремесленников“. Совместный путь этих вагонов, — два мира, две „стихии“, две силы. Среди чекистов — „курсантки“, одна Матрена Семеновна и пр. Снабжение в пути. Полковник и подполковник. Завхоз. „Топтуны“. Наган в деревянном футляре на толстой заднице. Жены. Кошка белая. И — ремесленник позади, рабочий класс в будущем, сейчас полу-беспризорники, ворующие картошку в полях... etc».

«Вагон 5899 —

(Пьеса). Клавка, фельдшер, Ив<ан> Мироныч Раздорский и пр. — Плачут, что „мало“ едят, истерики, — грязная пена людей. Обжорство, вне очереди, а сами тюр<емные> служащие, кухарки и т. д.

Оч<ень> важно — совершенно автоматические люди — еда, тепло, покой, порядок, эгоизм. С такими можно делать что угодно».

«Жизнь к<а>к тупик, как безысходность, к<а>к невозможность (вспомни вокзалы, евреев эвакуир<ованных> и пр.)...

Особое состояние — живешь, а нельзя, не под силу, как будто прешь против горы, оседающей на тебя».

«Рассказ

„Зимовка в Уфе“ — об эвакуации, озверелости и пр.».

Однако ни пьеса о вагоне № 5899, ни рассказ «Зимовка в Уфе», ни множество других замыслов, оставшихся в «Записных книжках» и относящихся как к войне, так и к миру (рассказы «То», «Генерал Ефим», «Генерал Бабай», «Будущий мир», «Пувак», «Блаженство в Мелекессе», повесть «Бегущий народ», «Два окрашенных домика на краю родного города», «Таранка» «Путешествие в человечество», «Жизнь собственного сочинения», «Марксистка», пьеса «После войны» и пр.), реализованы не были или же нам неизвестны, однако намерение их написать свидетельствует об авторском вдохновении. Платонов был переполнен сюжетами, но то ли силы были уже не те, то ли не хотелось трогать заведомо обреченные, «ненужные», тупиковые темы, или же разрушительно действовала на него судьба заболевшего сына и особенно давили нужда и ощущение собственного бессилия, а только именно там, в Уфе, Платонов сделал запись, которую можно считать по-своему итоговой, выносящей приговор человека собственной судьбе:

«Если бы мой брат Митя или Надя — через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня: что со мной случилось? — Я стал уродом, изувеченным, и внешне, и внутренне.

— Андрюша, разве это ты?

— Это я: я [прошел] прожил жизнь».

Но еще не прожил, не прошел, и на земле осталось немало дел, которые ему было суждено совершить, книг написать и страданий вынести, и отчаяние свое преодолеть, чтобы в одном из неопубликованных

прозаических набросков появились слова, по-своему дополняющие и переосмысляющие трагизм «Записных книжек»: «Если б, когда я только что рожался, или чуть пораньше, показали мне наперед всю мою жизнь: вот какой ты будешь, Николай Сергеевич Тихомиров, вот что с тобой случится, вот что придется тебе пережить, вот когда последний раз вздохнет твое сердце, разбитое жизнью, судьбою или врагом, то я бы наверное удивился, я бы испугался! — сказал Тихомиров. — А жить все равно бы согласился, — пусть будет все, что мне полагается пережить... Бессовестно было бы отказаться от жизни даже самой страшной, самой мучительной!.. Напротив того — всегда надо идти навстречу труду и мученью, здесь будет самый правильный, самый близкий путь жизни, я в этом уверен, я узнал это по судьбе. Не надо сворачивать с этого пути в сторону, куда заманивает нас счастье, там его нет...»

Мы не знаем точно, когда были написаны эти диалогически обращенные и к собственным мыслям строки, но, очевидно, это случилось уже после того, как в конце апреля 1942 года по ходатайству президиума и Военной комиссии при Союзе писателей СССР Платонов получил разрешение вернуться в Москву «для работы над произведениями о военно-медицинских кадрах (в условиях Отечественной войны) по заявке Главного Военно-Санитарного управления РККА».

Однако с Военно-санитарным управлением что-то не сложилось, и летом 1942 года Платонов оказался в положении неопределенном, дожидаясь аттестации в Главном политическом управлении РККА. 8 июля он писал остававшимся в Уфе жене, сыну и невестке: «Сегодня приехал благополучно в Москву. Сажу в маленькой синей (зеленой) комнате. Наружи бьют зенитки <...> Я еще никого не видел, но составил уже

представление о том, что вам пока лучше жить в Уфе. Это необходимо.

Мне здесь скучней, чем вам там — вы вместе, а я один. Я не знаю, что меня здесь ожидает — куда придется ехать, что делать и т. п. Постараюсь работать много, чтобы посылать вам достаточно денег. Москву я еще не разглядел. Все, по-моему, как было, только люди не те, что были; они стали, пожалуй, более серьезными, более глубокими, и внешний вид их изменился».

Благодаря изысканиям Елены Антоновой и опубликованным письмам Платонова военных лет известно, что во второй половине июля 1942 года писатель выезжал на фронт, вероятно, по направлению «Красной звезды», хотя в ее штате еще не состоял.

«Я только что вернулся — несколько дней не был в Москве, был на фронте, — писал он жене. — Я видел грозную и прекрасную картину боя современной войны. В небе гром наших эскадрилий, под ними гул и свист потоков артиллерийских снарядов, в стороне хриплое тьяканье минометов. Я был так поражен зрелищем, что забыл испугаться, а потом уже привык и чувствовал себя хорошо. Наша авиация действует мощно и сокрушительно, она вздымает тучи земли над врагом, а артиллерия перепахивает все в прах.

Наши бойцы действуют изумительно. Велик, добр и отважен наш народ!

Представь себе — в земле укрыты тысячи людей, тысячи пар глаз глядят вперед, тысячи сердец бьются, вслушиваясь в канонаду огня, и поток чувства проходит в твоей груди, и ты сам не замечаешь, что вдруг слезы странного восторга и ярости текут по твоим щекам».

К той поре был написан очень экспрессивный, остросюжетный с фантастическим элементом, заставляющим вспомнить его раннее творчество — да и вообще лихорадочная, гротескная, гиперболизированная военная проза Платонова есть отчасти возвращение к

поэтике первой половины 1920-х годов — рассказ «Броня». Пожилой моряк, инженер-электрик Семен Васильевич Саввин, человек с угрюмым лицом и добрым сердцем, которое болит за незащищенность родной земли («Я с детства люблю нашу русскую землю... <...> Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной. Не может быть, думалось мне, чтобы никто ее не полюбил и не захотел у нас отнять, захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов, и от боли и страха у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло, мой страх за Россию остался...»), изобрел способ производства броневое сверхпрочного металла, но секрет его изготовления находится в занятой немцами деревне под Курском, и Саввин вместе с рассказчиком решают туда пробраться. Для этого им приходится перейти через линию фронта.

«Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленутой в одеяло. Мы остановили ее.

— Ты куда? — спросил у нее Саввин.

— Теперь хоронить хожу, потом сама помирать сюда приду, — сказала женщина и приветливо улыбнулась нам; на вид эта женщина была уже старухой, а может быть, она состарилась до времени.

— Кто там в этой деревне? — указал Саввин на пожар.

Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла. Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас, но взор его равнодушен; он был мертв, и лицо его светилось от нежности

обескровленной кожи. Женщина повела на нас рукой, чтобы мы отошли. Мы послушались ее.

Женщина покачала ребенка.

— Сейчас, сейчас, — сказала она ему, — сейчас я тебя в овражке схороню и лопушками укрою, потом братцев и сестриц тебе принесу, потом сама приду, сама с вами лягу и сказку вам расскажу, новую сказку:

Жили-были люди,
Померли все люди.
Нарожались черви,
Стали черви люди.
Черви все подохли,
И осталась глина.
А на глине корка,
А на корке травка.
В травке той росистой
Сердце наше дышит,
Сердце наше плачет
Об умерших детях.
Все прошло-пропало.
Одно сердце стало
Жить на свете вечное,
Умереть не может,
Потому что плачет,
Плачет-ожидает,
Мертвых вспоминает.
Мертвые вернуться,
Спящие проснутся,
И тогда, что было,
Сердце позабудет
И любить вас будет
В неразлучной жизни.

Потом женщина покрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыбнувшись в нашу сторону, но улыбка ее была столь жалкой, что означала лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно в деревню. Мы тронулись за ней; она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню.

— Ты что? — спросил ее Саввин.

— А я хмельная, — весело сказала женщина.

— А кто же тебя водкой здесь поит, немцы, что ль? — удивился Саввин.

— Они, а кто же, — ответила женщина. — Я детей из яслей хоронить таскаю, их там печным чадом поморили...

— Кто их поморил? — спокойно спросил Саввин.

— Они, — сказала женщина, — а мужиков и баб всех прочь угнали, оставили самую малость, да и тех побьют, — деревня-то каждую ночь горит, они ее сами жгут, а на нас серчают и казнь нам дают».

Этих немцев «спокойный» Саввин в одиночку убивает и получает смертельное ранение, а рассказчик отправляется «выполнять его завещание о несокрушимой броне», зная, что «самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека».

«Броня» была опубликована в сокращенном виде 5 сентября 1942 года в «Красной звезде» и стала первым увидевшим свет военным произведением Андрея Платонова.

«Дела мои в литературе начали складываться пока что блестяще. На днях будут напечатаны мои рассказы в „Красной звезде“ — самой лучшей газете всей Красной Армии — „Броня“ (новый рассказ) и „Божье дерево“. В журнале „Октябрь“ печатается „Крестьянин

Ягафар“. В журнале „Красноармеец“ — „Дед-солдат“. Я приглашен как постоянный сотрудник в „Красную звезду“ (это большая честь), затем в „Красный флот“ и в журналы „Красноармеец“ и „Краснофлотец“. И еще, и еще — работы уйма. Скоро поправятся наши и денежные дела: я смогу выслать денег побольше», — писал Платонов жене 30 августа. И хотя не все из обещанного сбылось («Божье дерево» в «Красной звезде» опубликовано не было), а платоновский победный тон диктовался желанием поддержать и ободрить остававшуюся в Уфе семью, все равно никогда он не чувствовал себя столь окрыленным: «Рассказ „Броня“ произвел на редакцию огромное впечатление, он привел их в „дикий восторг“, как мне они сами говорили. Когда я по их просьбе прочел его вслух, то по окончании чтения большинство моих слушателей плакало, а один разрыдался». А 5 августа, когда рассказ вышел, автор добавил: «Весь день не работал: ко мне началось форменное паломничество. Завтра спрячусь к брату Петру».

«Сталин не отругал нас, ничего не сказал. Фадеев промолчал. Так произошло литературное воскрешение Андрея Платонова», — вспоминал главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг. И сколь ни преувеличивал своей роли в этом «воскрешении» мемуарист, определенная правда в его замечании содержалась: верховному читателю могла сильно не понравиться рассказанная Платоновым история, и ему ничего не стоило навсегда загубить ее создателя одним росчерком пера. Но — пронесло, и больше того, Фадеев не промолчал, как пишет Ортенберг, а в статье «Отечественная война и советская литература», опубликованной в журнале «Пропагандист» в 1942 году, отозвался о военных рассказах Платонова одобрительно, отметив, что они «не являются только репортажем о военных действиях или о жизни тыла, а

вносят новое в наше понимание происходящих событий». Так Платонов получил передышку, какой у него не было за всю его жизнь, и он ощутил себя участником общего дела, тем самым человеком, без кого народ — неполный.

«Будем жить друг для друга, мы еще будем счастливы, — писал он жене. — А если уж что случится, если суждено, то смерть моя будет непостыдной, она будет смертью русского солдата. Жалко, что не все еще написал и сердце еще полно силы». И в другом письме, отправленном из действующей армии: «Здесь совсем другая жизнь. Я впитываю ее в свою душу — жалко только, что душа моя довольно стара и не совсем здорова».

Сюжет, связанный с зачислением Платонова на военную службу в 1942 году, когда, по справедливому выражению журналиста Александра Кривицкого, «армия протянула руку одному из самых тонких и сложных писателей советского времени», по-разному описывается мемуаристами, оспаривающими другу друга честь приобщения своего современника к работе в главной военной газете.

«Осенью сорок второго, когда я, как принято выражаться военным языком, проходил службу в редакции газеты „Красный флот“, ко мне пришел Платонов, — вспоминал Август Явич. — Он получил приказ явиться на сборный пункт как рядовой. „Разве ты не аттестован?“ — „Меня, брат, и в рядовые-то еле аттестовали“, — отвечал он обыкновенно шутливо.

Надо было торопиться. Я тотчас пошел к генералу Мусьякову, редактору, которого хорошо знал еще по Севастополю сорок первого. <...> В тот же день Павел Ильич Мусьяков побывал у Рогова, тогдашнего начальника Политуправления Военно-Морского Флота, и получил приказ об аттестации Андрея Платонова по флоту. Оказалось, Платонова аттестовали и по армии.

Платонов сделался военным корреспондентом „Красной звезды“».

Иначе рассказывал главный редактор «Звездочки» Ортенберг:

«В сентябре 1942 года, в труднейшие дни нашего отступления, Василий Гроссман прислал со специальным корреспондентом „Красной звезды“ записку, где просил приютить Андрея Платонова, взять под свое покровительство этого замечательного, как он выразился, писателя, который беззащитен и неустроен. Вскоре ко мне в кабинет зашел Андрей Платонов — высокий человек в простой солдатской шинели, какую носили в ту пору не только военные, но и гражданские лица. Шинель сидела на нем мешковато, и вообще он показался мне сумрачным, но это было только первое впечатление. Его голубые глаза, светившиеся из глубины, говорили о человеке незаурядном. Что я знал о Платонове? Знал, что в тридцатые годы его честная, правдивая повесть „Впрок“ вызвала недовольствие Сталина...

Андрей Платонов был зачислен специальным корреспондентом „Красной звезды“ с окладом тысяча двести рублей. Конечно, по тем временам это были деньги. Мы условились, что никаких оперативных заданий давать ему не будем, просто советовали ему наблюдать на фронте, в войсках, боевую жизнь и писать о том, что ляжет на душу. Его одели в военную форму, на петлицы прицепили по капитанской шпале, и отправился Андрей Платонович на фронт к героям своих будущих очерков».

В другом варианте воспоминаний Ортенберга называется имя еще одного весьма неожиданного ходатая по платоновским делам.

«У меня сидел Петр Павленко. Я показал ему записку Гроссмана. Петр Андреевич чуть не вскрикнул:

— Платонов! — И после небольшой паузы сказал: — С ним произошла большая драма. Хочешь, я тебе сейчас принесу журналы „Красная новь“ за тридцать первый год, все поймешь...»

Далее следовал пересказ известных событий, связанных с публикацией хроники «Впрок». («Платонов тогда написал то, о чем сейчас говорят прямо и открыто»), а также признание мемуариста: «Да, нелегкую задачу поставил перед нами Гроссман. И все же мы отважились взять Андрея Платоновича в „Красную звезду“».

Правда, здесь есть некоторая неясность со сроками присуждения воинского звания. Как следует из воспоминаний Ортенберга, «со знаками различия была загвоздка. Платонов служил в Красной Армии, воевал в гражданскую войну, а звание у него было самое рядовое — красноармеец. Пустить на фронт специального корреспондента центральной военной газеты с этим хотя и почетным, но скромным званием было нескладно, не всюду бы его сразу пустили, да и пришлось бы беспрерывно козырять всем — от сержанта до генерала. Политическое звание присвоить Платонову нельзя — он беспартийный. Командирское — тоже, нету него командирской подготовки, в Наркомате не подпишут. И вот, нарушив все воинские законы и правила, я сказал начальнику АХО, чтобы писателю нацепили на петлицы одну „шпалу“, а в удостоверении написали „капитан“. Так Платонов прошагал в этом звании почти два года, а под конец войны ему уже официально присвоили звание „майор“».

То есть, по Ортенбергу получается, в сентябре зачислили и сразу дали капитана. Иную картину показывают архивы.

«Осенью 1942 г. Платонов утверждается военным корреспондентом в действующую армию и уезжает на фронт. Приказом НКО № 02757 от 22 апреля 1943 г.

утверждается спецкорреспондентом редакции газеты „Красная звезда“. Военское звание — „капитан административной службы“ — присвоено приказом НКО № 02505/п от 22 апреля 1943 г., воинское звание — „майор административной службы“ — присвоено 16 июля 1944 г.», — уточняют платоноведы. Нетрудно увидеть, что между первой встречей Платонова и Ортенберга и присвоением Платонову воинского звания «капитан» прошло больше полугода, хотя еще 5 сентября 1942 года Платонов писал жене: «Скоро мне дадут военное звание (думаю, надо бы шпалы три)» — что соответствовало званию подполковника.

Кроме того, как свидетельствуют найденные документы, при устройстве Платонова на службу в главную военную газету страны Ортенберг руководствовался не только просьбой Гроссмана, но и подстраховался рекомендациями двух не менее солидных писателей.

«Андрей Платонович Платонов человек, хорошо видящий и знающий свою родину... <...> и идущий, по моему мнению, своей дорогой к коммунизму.

У него блистательное знание языка, необыкновенное чувство пейзажа и глубокое знание человека.

Он — один из пятерки-шестерки лучших советских писателей. Через сердце писателя, как через блок, бежит веревка, поднимающая тяжесть подвига и жертвы», — написал Виктор Шкловский 5 августа 1942 года.

«Считаю писателя тов. Андрея Платонова чрезвычайно интересным и очень талантливым литератором нашего времени», — отозвался Леонид Леонов на следующий день после публикации «Брони» в «Красной звезде».

«В дни Отечественной войны А. Платонов проявил себя как настоящий писатель-патриот, умеющий к

вопросам тыла подойти с точки зрения интересов обороны родины», — подписали характеристику Платонова секретарь президиума Союза советских писателей СССР по оргвопросам П. Скосырев и оргсекретарь Военной комиссии президиума ССП СССР Любанский.

В казенных словах литературных чиновников не было ни тени преувеличения, но не только о «вопросах тыла» писал Платонов, но и о фронте, как, например, в рассказе «Одушевленные люди» (другое название «Одухотворенные люди»), посвященном обороне Севастополя.

Известны авторские строки, обращенные к жене, которые при публикации иногда используют в качестве эпиграфа: «Самая важная моя работа сейчас: я пишу повесть о пяти моряках-севастопольцах. Помнишь — о тех, которые, обвязав себя фанатами, бросились под танки врага? Это, по-моему, самый великий эпизод войны, и мне поручено сделать из него достойное памяти этих моряков произведение. Я пишу о них со всей энергией духа, какая только есть во мне. У меня получается нечто вроде Реквиема в прозе. И это произведение, если оно удастся, самого меня хоть отдаленно приблизит к душам погибших героев. Мне кажется, что мне кое-что удастся, потому что мною руководит воодушевление их подвига, и я работаю, обливая слезами рукопись, но это не слезы слабости».

Герои рассказа — старшина Прохоров, краснофлотцы Красносельский, Нефедов, Цибулько, Одинцов, Паршин, комиссар Поликарпов (о нем говорят бойцы «Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно»), политрук Николай Фильченко, которые «никогда не любили народ так, как сейчас», идут на смерть, потому что «лучше ее теперь нет жизни!», и своими телами, силой духа останавливают врага на подступах к Севастополю.

На первый взгляд получился стопроцентно советский, идейный рассказ, тем более что дважды в нем упоминаются вожди: «...нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали... Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером!» И тем не менее в 1952 году обладавший тонким советским чутьем писатель А. Б. Маковский, которому досталось сочинять внутреннюю рецензию на очередную готовящуюся и благополучно зарубленную книгу прозы Платонова, написал о гибели краснофлотцев: «Их мужество, их патриотизм, ясность ума — все это корнями уходило в социалистическую действительность, не понятую Платоновым. Герои Платонова, остановившие своими телами танки, только внешне повторяют легендарный подвиг. У платоновских героев не могло оказаться внутренних сил для осознанного самопожертвования».

«Морские пехотинцы Платонова действительно из другой, чем у Маковского, России — России „Фро“ и „Высокого напряжения“, „Первого Ивана“ и „Котлована“», — прокомментировала это высказывание Н. В. Корниенко в статье «„Добрые люди“ в рассказах А. Платонова конца 30-х — 40-х годов». — «На небольшом пятачке земли, который они защищают, морские пехотинцы приуготавливаются к смерти с такой же серьезностью, как старые чевенгурцы в „Чевенгуре“ и крестьяне в „Котловане“».

И далее, воспроизведя сцену прощания краснофлотцев друг с другом («Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, — на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть

перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, — отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей»), Корниенко заметила: «Чаковский видел в этом тексте „апофеоз смерти“, Платонов — апофеоз подлинного бессмертия русского солдата, залогом которого оставалась его бессмертная душа».

В военных рассказах и рабочих записях Платонова хорошо чувствуется, как бьются между собою жизнь и смерть, как по-разному эта тема решается, и смерть оказывается то воплощением мирового зла, то самым действенным средством борьбы с этим злом.

«Смерть победима, — во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель», — писал Платонов в рассказе «Неодушевленный враг», а герой рассказа «Офицер и солдат» капитан Артемов был «согласен вечно держать на груди черную тяжесть смерти и злодейства, если бы только мог привлечь к своему телу все железное зло мира и неразлучно томить его на себе; в этом было бы его удовлетворение и признание красноармейского офицера».

Только вот сколько потребовалось для победы таких тел...

«Не пушками лишь решится война, но смертью тысяч... Тут побеждаем мы. Главное, самое главное», — отметил Платонов в «Записных книжках» 1942-1943

годов, а несколькими строками ниже добавил: «По смерти миллионов людей — живых замучает совесть об умерших». Да и запись: «Очень важно. Конечно, лишь мертвые питают живых во всех смыслах. Бог есть — покойный человек, мертвый», — которая соотносится с известными словами Чиклина из «Котлована» о том, что мертвые особые люди, они важнее живых, не случайно появилась в военные годы.

«Смерть страшна чувством, что не стало главного добра, и уходишь, как похищаешь добро из мира, и оно сгниет в твоей груди».

Это новое соотношение добра и зла отразилось в зачине рассказа «Седьмой человек». Герой его, умеющий избежать смерти, упредив пулю мыслью, и беспрерывно стремящийся к мщению за расстрелянную немцами семью, некогда мирно служивший старшим плановиком в облкустпромсоюзе Осип Евсеевич Гершанович воплощает в себе новую природу человека, вызванную из небытия войной.

«...по жизни он был уже другим существом, может быть — святым великомучеником и героем человечества, может быть, изменником человечества в защитной, непроницаемой маске мученика. В наше время, во время войны, когда враг решил умертвить беспокойное разноречивое человечество, оставив лишь его изможденный рабский остаток, — в наше время злодеяние может иметь вдохновенный и правдивый вид, потому что насилие вместило злодейство внутрь человека, выжав оттуда его старую священную сущность, и человек предается делу зла сначала с отчаянием, а потом с верой и удовлетворением (чтобы не умереть от ужаса). Зло и добро теперь могут являться в одинаково вдохновенном, трогательном и прельщающем образе: в этом есть особое состояние нашего времени, которое прежде было неизвестно и неосуществимо; прежде человек мог быть способен к

злодеянию, но он его чувствовал как свое несчастье и, миновавши его, вновь прикидал к теплой привычной доброте жизни; нынче же человек насильно доведен до способности жить и согреться самосожжением, уничтожая себя и других».

Умелый партизан, ангел мщения Гершанович, убивший многих фашистов, погибает сам, напоследок выкрикнув, глядя в «изжитые тайным отчаянием глаза» своего убийцы:

«— Палите в меня... Здесь у меня жизнь, а там мои дети — у меня везде есть добро, мне везде хорошо... Мы здесь были людьми, человечеством, а там мы будем еще выше, мы будем вечной природой, рождающей людей...»

Но, несмотря на эту веру, несмотря на знание, что Россия в войне победит и оттого постоянно присутствующий в военной прозе мотив мирного созидательного труда («До самых сумерек из ближнего леса слышалось пение пил и стук топоров работающих там красноармейцев, начавших заново отстраивать Россию» — в рассказе «Среди народа»), тяжело переживавший смерти людей в мирное время спецкорреспондент «Красной звезды» был измучен тем, что изо дня в день видел на фронте, и привыкнуть к непрерывному потоку новых братских могил и наспех похороненных людей не мог.

«Временами я тут заболеваю каким-то психическим расстройством: оно заключается в том, что голова моя начинает самостоятельно думать какие-то ненужные бредовые мысли, и я не могу овладеть своим сознанием», — писал он жене. И свидетельством физической невыносимости жизни на войне стал рассказ-плач, рассказ-реквием «Взыскание погибших» (другое его название «Мать», под которым он был впервые опубликован в «Красной звезде» 28 октября 1943 года, а позднее в абсолютно изуродованном виде

вошел в сборник «В сторону заката солнца» в 1945 году). Героиня рассказа, «утратившая мертвыми всех своих детей» русская женщина по имени Мария Васильевна, чье имя совпадает с именем матери Платонова, приходит на то место, где немцы похоронили наших солдат: сначала донага раздели, потом бросили в яму от снаряда, а поскольку все не поместились, то проехали сверху танком, навалили новые тела и присыпали землей.

«Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе, точно выплакавшись, там открылись удивленные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому нельзя отвести от нее взора».

Два чувства разрывают душу героини: жажда собственной смерти — «я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых» — и невозможность умереть, «потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях и кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать?» Она чувствует перед детьми свою вину и вину всего мироустройства: «Где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас?.. Сколько я сердца истратила на вас, сколько крови моей ушло, но, значит, мало было, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла... Они что же, они дети мои, они жить на свет не просились. Я их родила, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: готовили только, да не управились!..»

В этом «готовили, да не управились» было очень много личного, выстраданного, относящегося не к одной войне. Весь рассказ пронизан, насыщен собственным авторским горем. Из воспоминаний о Платонове известно, как однажды после боя, на поле которого остались лежать мертвыми молодые советские солдаты, Андрей Платонович бросился к ним и в исступлении стал целовать умерших в губы. Этот поступок был проявлением не только восприимчивой платоновской натуры, но и страшной рифмой к самому горестному событию всей его жизни: 4 января 1943 года в Москве умер от туберкулеза его сын Платон.

Традиционно принято считать, что смертельная болезнь началась в лагере. Об этом пишут все мемуаристы, так считала Мария Александровна Платонова, однако недавнее интервью жены Платона Тамары эту версию уточняет:

«— Отец у меня был строитель. Он получил назначение начальником строительства цементного завода на станцию Астаховка — под Карагандой. В конце мая, после нашей свадьбы, он уехал туда. Я сдала досрочно сессию. И мы поехали 5 июня в Астаховку. Война нас там застала. А это такая глушь, что даже радио не было. Родители поехали в воскресенье в Караганду на рынок и услышали, что началась война. В начале июля мы приехали в Москву. В первую бомбежку мы оказались в Москве. После этого Мария Александровна и Андрей Платонович стали уговаривать нас: „Уезжайте из Москвы“. И мы в конце июля поехали обратно в Астаховку. Там пошли работать. Папа меня устроил техником-нормировщиком. А Платона взял помощником начальник снабжения. Мы работали всю осень. А потом началась страшная зима, с сильными ветрами. Стройка была в степи. Все дома были саманные, и топили саманом. Новый 1942 год встречали там.

— *Когда Платон заболел?*

— Из лагеря Платон вернулся внешне здоровым. Но ему пришлось ездить на открытых платформах, он простудился и заболел. Поднялась температура. Врача не было, только фельдшер из ссыльных немцев. Платон получил повестку в военкомат. Я отвезла в Караганду справку, выданную фельдшером. Потом Платон проходил медкомиссию при военкомате. На лошади отвезли в туберкулезный диспансер в Караганду, выяснилось, что у него туберкулез второй стадии. От армии его освободили».

Болезнь развивалась быстро. Летом 1942 года Платонову удалось с помощью Фадеева устроить сына в санаторий («Дорогой мой Тотик! Как твое здоровье, милый мой, неужели ты таешь там? <...> Как действительно здоровье Тоши? Почему он так мало был в санатории? И дало ли это хоть маленькую пользу?»), но лечение не помогло.

Платон очень хотел жить. В августе 1942 года он писал отцу из Уфы: «Прошу, папа, извинения, что первый раз за время нашей разлуки пишу нитиканское письмо. Я жить не могу в Уфе. Не могу, потому что я еще не успел снова разлюбить Москву после двух-с-половиной годичной разлуки. Мне хочется по-прежнему ходить по тем улицам, какие они были, когда я был мальчиком. У других людей, молодых, вся веселая юность прошла в Москве, в то время, когда мне приходилось кайлить уголь в Норильске. Они под музыку танцевали. Я ночью в штреке рубил и нагружал уголь в вагонетки. Они в веселом, светлом зале смеялись, и им было приятно там находиться. Папа, я люблю Москву, даже если она не та, не веселая, я буду любить ее по воспоминаниям детства, хотя я тогда не понимал жизни, бросался ею. Я дорого, очень дорого, заплатил за это».

В Москву он вернулся, но счастья она ему не принесла, хотя отец так страстно этого счастья сыну желал.

«Моему сыну Платону — во время тяжелой войны, во время твоей тяжелой болезни — в знак нашей надежды на победу и твою долгую счастливую жизнь, — более счастливую, чем она прошла у отца. — Отец. Москва. 10.11.42», — написал Платонов на экземпляре только вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» книги «Одухотворенные люди», но его письма с фронта были полны тревоги.

«Муся и Тоша! Дороже вас у меня никого нет на свете. Меня сильно мучает болезнь Тоши. Как он там один <...> я все время мчусь как Агасфер, и я не могу узнать от тебя, как наш Тотик... <...> Больше всего я беспокоюсь за нашего Тотика. Будем его хранить, а после войны у нас с тобой еще будет ребенок. <...> Что с Тотиком? Нету меня никакой возможности получить от тебя сведения о его здоровье и о твоём положении, — это меня мучит и доводит до галлюцинаций... <...> Я старательно вникаю в войну, вижу много людей, целый день занят, много хожу (десятки километров иногда), очень устал, но сплю плохо, вижу часто тебя и сына во сне. Будь здорова, веди себя кротко, не вступай в дискуссии с писателями, они тебя могут обидеть без меня», — писал Платонов жене в конце ноября 1942 года. Положение больного было настолько плохо, что отца вызвали домой, прервав командировку на Калининском фронте.

А между тем тогда же, в ноябре, у умирающего Платона родился сын. «Платон узнал о рождении сына, увидеть не успел. Умер, когда Саше было пять недель», — рассказывала Тамара Зайцева. Мальчик родился в Свердловске, куда уехала Тамара к своей матери и при последних неделях жизни мужа присутствовать не смогла.

«Тоше становилось все хуже, он уже не вставал, — вспоминала Валентина Александровна Трошкина. — Муж писал мне в эвакуацию, что невозможно смотреть на Тошу, невозможно передать, как он хотел жить. И когда умирал, просил завести патефон с песней „Прощай, любимый город“. Потом попросил мать и отца поцеловать его в губы. И вот так тихо умер. Может, с этого начался у Андрея туберкулез? Хоронить Тошу оказалось не в чем. Петр отдал единственный костюм и ботинки, тапочек не было. Все страшно переживали Тошину смерть».

Версия о том, что именно от умирающего сына заразился Платонов туберкулезом, другими мемуаристами либо подтверждается, либо оспаривается.

«Он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына — в каком-то безумии целовал его в губы», — написал Семен Липкин.

«Говорят, что Платонов заразился туберкулезом от сына, но Мария Александровна резко и непреклонно отвергает это. „Ничего подобного. Заболел на фронте“, — привел суждение вдовы И. Крамов.

В воспоминаниях Эмилия Миндлина говорится о том, что Платонов до последнего часа надеялся на чудо.

„В один из последних дней жизни Тоши Андрей Платонович удивил меня странным вопросом: не знаю я ли случайно, где можно купить часы?»

И стал подробно описывать, какие именно часы вдруг захотелось иметь безнадежно больному Тоше. Какие-то очень редкие, с каким-то особенным ходом. Я не столько слушал описание этих редких часов, сколько со страхом смотрел на черное, вогнутое от страданий лицо Платонова.

Он уверовал, что если для умирающего Тоши достать необыкновенные эти часы, если чудом их раздобыть, чудо спасет умирающего больного. Раз ему

так хочется их иметь, то, получив их, Тоша сможет еще одолеть болезнь...

— Знаете, — бормотал Платонов, — знаете... может быть, это еще и спасет его... Знаете, все может быть...

Но он и сам толком не понимал, какие именно часы вдруг перед самой смертью захотелось его несчастному Тоше“.

„Платонов позвал меня проводить в последний путь Тошу. Мертвый лежал под занавешенным книжным шкафом какой-то совсем маленький, усохший, словно от перенесенных невзгод. С черным, как чугун, лицом стоял над сыном Платонов, непрерывно глядя на него, и вид у Андрея был такой нездешний, отрешенный, как если бы вместе с сыном уходила и его жизнь“, — вспоминал Август Явич.

„За театром Красной Армии была больница, где Тоша лежал, зимой 43-го года меня вызвали врачи: „Мария Александровна, забирайте его, он умрет“. Машины не было, Соболев дал мне бензину, я привезла Тошеньку домой и телеграммой вызвала Платонова с фронта“, — воспроизводил свои разговоры с Марией Александровной Платоновой Евгений Одинцов. — Вдруг начинала сердиться: „Почему он написал, что сын умер на его руках?! Он умер на моих руках. Я сидела около него, мы говорили — и вдруг он мне сказал: „Мама, я сейчас тихо-тихо усну“ — и стал холодеть, я закричала, быстро вошел Андрей, я повалилась перед Тошенькой на колени и стала целовать всего его...“ Похоронили Тошу — и на другой день Платонов улетел на фронт».

«Как Тоша, умирая, говорил: „важное, важное, самое важное“, — и умер, не сказав самого важного. Так самое важное уносится в могилу», — отметил Платонов в «Записных книжках», а жене писал с фронта: «Для меня мертвый Тотик — все равно вечно живой... Поцелуй за меня могилу в изголовье нашего святого

сына... Я так тоскую о холмике земли на армянском кладбище».

Писал он и сыну — туда, по ту сторону бытия, и дарил умершему свои книги.

«Моему сыну — в знак вечной памяти о нем: да сохранится его образ в сердцах лучших людей. Он тайно для всех и явно для меня участвует в моей работе, и в этой книге, всегда. Отец. 3.5.43».

Глава двадцать вторая СВЕТ ГИБЕЛИ

«...пережить пришлось столько, что от сердца отваливались целые окоченевшие, мертвые куски», — писал Платонов позднее Бокову. Но в письмах жене пытался отчаяние преодолеть: «Тоше принадлежит вторая половина моей души и весь мой талант. Я сделал здесь, на войне, столь важные выводы из его смерти, о которых ты узнаешь позже, — и это тебя немного утешит в твоём горе... <...> Я знаю, как тебе трудно, я знаю, что ты плачешь о нашем сыне. Я здесь вижу его часто во сне и просыпаюсь в слезах. Приеду — надо многое сделать в память его, надо написать сразу повесть. Держись, моя дорогая, я тоже держусь».

О своем замысле Платонов сообщал: «Моя новая повесть, которую я тут обдумал, будет посвящена поклонению умершим и погибшим, а именно посвящение будет моему сыну. Я задумал сделать героем жизни мертвого человека, на смерти которого держится жизнь. Кратко трудно сказать, как это получится, но думаю, эта вещь выйдет у меня: у меня хватит сердца и горя».

Повесть написана не была или же до нас не дошла, но была создана уже упоминавшаяся в главе, посвященной аресту Платона, легенда «Разноцветная бабочка», и в ней акцент иной — живой человек отдает другому свою жизнь.

«И вот однажды наступил его срок. <...> Сын обрушил последние камни в горе и вышел на свет к матери. Но он не увидел ее, потому что ослеп внутри каменной горы. Старая Анисья поднялась к сыну и увидела перед собой старика. Она обняла его и сказала:

— Родила я тебя, а ты ушел. Не вырастила я тебя, не попитала и поласкать не успела...

Тимоша припал к маленькой, слабой матери и услышал, как бьется ее сердце.

— Мама, я теперь всегда с тобой буду!

— Да ведь старая я стала, полтора века прожила, чтоб тебя дождаться, и ты уже старый. Умру я скоро и не полюбуюсь тобой.

Мать прижала его к своей груди; она хотела, чтобы все дыхание ее жизни перешло к сыну и чтобы любовь ее стала его силой и жизнью.

И она почувствовала, что Тимоша ее стал легким. Она увидела, что держит его на руках, и он был теперь опять маленьким, каким был тогда, когда убежал за разноцветной бабочкой. Жизнь ее любовью перешла к сыну.

Старая мать вздохнула последним счастливым дыханием, оставила сына и умерла».

Однако как ни держался Платонов и как ни пытался отчаяние преодолеть, о том, что творилось в его сердце, свидетельствовало донесение, направленное в НКВД 15 февраля 1943 года:

«Сейчас он, — ПЛАТОНОВ, вообще в ужасном состоянии. Недавно умер его сын от туберкулеза. Сын его выслан и потом возвращен. Болезнь эту, как мне сказал ПЛАТОНОВ, он приобрел в лагерях и в тюрьме. ПЛАТОНОВ очень болезненно переживает смерть своего единственного сына.

Я чувствую себя совершенно пустым человеком, физически пустым, — сказал мне ПЛАТОНОВ, — вот есть такие летние жуки. Они летают и даже не жужжат. Потому что они пустые насквозь. Смерть сына открыла мне глаза на мою жизнь. Что она теперь моя жизнь? Для чего и кого мне жить. Советская власть отняла у меня сына — советская власть упорно хотела многие годы отнять у меня и звание писателя. Но моего

творчества никто у меня не отнимет. Они и теперь-то печатают меня, скрипя зубами. Но я человек упорный. Страдания меня только закаляют. Я со своих позиций не сойду никуда и никогда. Все думают, что я против коммунистов. Нет, я против тех, кто губит нашу страну. Кто хочет затоптать наше русское, дорогое моему сердцу. А сердце мое болит. Ах, как болит! <...> вот сейчас я на фронте многое вижу и многое наблюдаю (Брянский фронт). Мое сердце разрывается от горя, крови и человеческих страданий. Я много напишу. Война меня многому научила».

Это донесение тем важнее, что оно отражает внутреннее состояние Платонова, о чем мало кто догадывался, и потому можно предположить, что «презренный доносчик», которому мы теперь, как это ни парадоксально, должны быть благодарны за дошедшие до нас платоновские слова, скорее всего, входил в число близких писателю людей.

Другие мемуаристы вспоминают Платонова — военного корреспондента как мужественного, скромного, неприхотливого и по-своему веселого, ни на что не жалующегося человека, говорят о том, что «военные и послевоенные 1942–1947 годы были самыми полными и творчески счастливыми в жизни Платонова», когда «печаталось и издавалось все, что он писал».

Последнее утверждение, принадлежащее Льву Гумилевскому, не только не справедливо с фактической стороны, ибо печаталось и издавалось далеко не все, Платоновым написанное, но еще раз доказывает, сколь скрытен был этот человек и как мало понимали его даже считавшиеся друзьями и искренне любившие его и любимые им люди. Но все же и то, что замечалось со стороны, очень важно, потому что позволяет увидеть Платонова разными глазами — влюбленными, сочувствующими, завистливыми, растерянными, восхищенными, близорукими и дальнорукими.

«Платонов был человеком мужественным, самоотверженным. Он обходил штабы фронтовые, армейские, даже дивизионные, не задерживаясь там, а свой путь держал в полк, в батальоны, в роты, в окопы, в блиндажи наши, встречаясь с героями своих очерков, вел с ними беседы, составлял анкеты, брал интервью. Но Платонов любил слушать. Через отдельные реплики, слова он понимал, чувствовал настроение бойца, его душу. Вот почему он и рвался на передний край, где по-настоящему можно было увидеть боевую жизнь и людей в экстремальных условиях. <...> Его очерки отличались тем, что в них была правда войны, правда жизни. У него не было полуправды. Он писал правду жизни, а на войне — и правду смерти. Не было у него выпененных фраз, не было ура-победных восклицаний. Он писал, как и жил, достойно и честно, не скрывая того, что пришлось пережить и живым, и мертвым», — вспоминал Ортенберг, и он же писал о том, что «в „Красной звезде“ работали Толстой, Шолохов, Эренбург, Симонов, Павленко, Тихонов, Катаев. Всех не перечислишь. Работали дружно, отношения были не такие, как бывало в Союзе писателей. И отношение всех этих писателей к Платонову в газете было самое доброе, сердечное...».

«Сотрудники „Красной звезды“ во главе с Константином Симоновым провозглашали тост в честь „гениального писателя, сидящего за нашим столом“», — писал Гумилевский. И хотя сам он за этим столом, скорее всего, не сживал и знал об этих тостах понаслышке, нет сомнения, что именно так все и было: собратья знали цену выглядевшему старше своих лет сорокачетырехлетнему капитану административной службы («Внешне был худой, желтый, морщинистый. И покашливал. Это не тот Платонов, который глядит молодым с фотографий. Он выглядел очень стариковато. Видимо, это туберкулез сказывался», — вспоминал руководитель группы спецкоров «Красной

звезды» М. М. Зотов). Но и он ее знал и знал также то, что никого из них судьба не обделила так, как его. В том числе Симонова, своеобразного платоновского антагониста по жизни и судьбе.

«Костя Симонов не часто, но наезжал, — рассказывал об отношениях между двумя писателями Зотов. — Помню в Славуте такой эпизод: собрались как-то мы все (что редко бывало), наш шофер Кафий выставил чугунок картошки. Только сели — распахивается дверь, появляется красавец Симонов (он тогда красивый был) и говорит: „Так! А в редакции-то думают, что вы все на фронте, на передовой, а вы вот здесь отсиживаетесь, за чугуном картошки!“ Андрей был к нему ближе нас всех, они обнялись. Андрей кричит: „Кафий! Ложку полковнику!“ (тогда Симонов подполковником был). Кафий вытаскивает из-за голенища ложку, а Андрей говорит: „Ты ее хоть оближи“. Кафий отвечает, что мыл ее. Здесь Платонов немножко поиграл.

Платонов и Симонов товарищами были, но друзьями не были, а Платонов на правах старшего иногда подтрунивал над ним. <...> Он был прожженный окопный капитан, его так и звали — „окопный капитан“. Шинелишка у него, как ни странно, была солдатская. А у нас у всех офицерские, а его как экипировали в солдатскую еще в Москве, так он и проходил в этой солдатской шинели до конца. Никто его с виду за писателя и не принимал. Могли принять за корреспондентского шофера или что-то в этом роде. Он любил поговорить с солдатами, а не генералами. Симонов все-таки больше вращался среди генералов и командующих. Его так и называли: „генеральский писатель“, „генеральский корреспондент“...»

Это на войне, а в литературе — какая была между ними разница! Тот же Зотов искренне признавал, что имя Платонова ему ничего не говорило, как не говорило

оно ничего Ортенбергу и уж тем более солдатам и офицерам, с которыми спецкор «Красной звезды» встречался и брал интервью. Да и печатали Платонова в «Красной звезде» не так часто. Оставившего замечательные воспоминания Зотова надо поблагодарить: он не побоялся сказать то, что наверняка ощущали, думали, но не решились произнести вслух многие: «Насколько я был влюблен в Андрея по-товарищески, настолько я его не понимал и сейчас еще не совсем понимаю то, что он пишет. В разговоре он человеком обычным был — язык, конечно, острый, чистый, интересный, но вот такого фигурничания у него не было, как при писании».

Вот так — фигурничания! И дальше Зотов признавал, что хотя «по долгу службы и должен был его тексты править, этим не занимался. Он был вольный, но опубликованные корреспонденции написаны не по-платоновски, потому что в Москве, наверное, к ним прикладывали руку казенные стилисты, делая из зеленой сосны телеграфный столб».

Это чистая правда: достаточно сравнить «отредактированные» издания рассказов военных лет с более поздними и несколько менее варварскими вариантами (а подлинного Платонова мы прочтем тогда, когда будет полностью издано научное собрание его сочинений), чтобы увидеть, как чудовищно уродовали Платонова и на какие жертвы ему приходилось идти. Попробовали бы так обойтись с Симоновым, Толстым, Эренбургом, Шолоховым, Фадеевым... Вызывало ли это у Платонова зависть, ревность, обиду? При всей своей язвительности («Человек он был мягкий, но в то же время мог сдачи дать за хамство — хамов не терпел. И резко обрезать мог...» — рассказывал Зотов, а другой мемуарист, Виктор Полторацкий, признавал, что Платонов «порою бывал и резок, колюч, всегда абсолютно нетерпим к

фальши и хвастовству») он не был ни само-, ни славолюбив, но по-прежнему шаткое положение в литературе и в журналистике — в отличие от блестящего воронежского прошлого, так и оставшегося его единственным звездным часом, — добавляло горечи в тосты фронтовых собратьев «за гениального писателя», не любившего свое литературное окружение ни в дни мира, ни в дни войны.

Недавно в журнале «Вопросы литературы» были опубликованы фрагменты воспоминаний критика Даниила Данина «Строго как попало» и среди них — «скупое, но живое воспоминание о единственной во время войны встрече с Андреем Платоновым». Эти воспоминания состоят из дневниковых записей Данина и более поздних комментариев к ним:

«„Вечером у Рыкачева сидят Андрей Платонов и Леонид Соловьев“. За этой зарубкой, как за ремаркой в пьесе, сразу же — без расшифровки — цитатно закавыченный голос — гневный, с памятным простудным скрежетом:

„— Я выступал против тебя в печати. Все читать могли. А ты запрещал меня в редсовете — властью!“^[72]

Это Платонов — Соловьеву. Будничный, наглухо застегнутый френч без погонов — праздничному, военно-морскому кителю кавторанга (не меньше). Прозаик-философ — прозаику-беллетристу.

В записи о Платонове так: „карающий, наслаждающийся злой неотразимостью своей честности и правоты“. А о Соловьеве иначе: „большой, почти красивый, и жалкий, посрамленный, ищущий поддержки в каждом взгляде“. И подчеркнуто пристрастное описание их дуэли: „поединок подлинной силы и самонадеянной крикливости“.

В той записи и дальше — всё на стороне Платонова, несмотря на мое тогдашнее молодое и затаенное „не“.

<...> А сверх того, от Андрея Платоновича всегда шло излучение независимости нрава. И это покоряло, даже когда он отмалчивался. А когда заговаривал, собеседники естественно замолкали. Непроизвольно^[73]. Еще до того вечера у Рыкачева, перед самой войной, мне случилось два-три раза быть в числе замолкавших. Сперва показавшееся совсем не запоминающимся, лицо его стало поражать тяжелой значительностью. Без тонкости сработанное сначала природой, потом жизнью, оно было из тех, что годятся для памятниковых фигур, высеченных в камне без полировки.

Без полировки... Это нужные тут слова. Так — без полировки — продолжал он обращаться за столом у Якова Семеновича Рыкачева с Леонидом Соловьевым, хотя, по-видимому, их связывало что-то давнее, если были они „на ты“. В тетради у меня замечено: „Спор изредка перескакивал на невероятные темы“. И о самой невероятной записано:

А знаете, в чем трагедия человечества? — это настойчиво, грустно-знающим тоном — Соловьев.

— Расскажи! А ну, валяй, вкратце расскажи! — это Платонов с недобрим любопытством, издевательски легко и готов-но соглашаясь послушать». Соловьев в ответ рассказывал притчу из своего предвоенного романа о Ходже Насреддине, «что-то глупое и банальное про человека, бога, собаку и войну». И тут Платонов вдруг потерял самообладание. В тетради записано:

«Смотри-ка ты, о боге говорит так, будто сам бывал у него! Ну, я понимаю о собаке, но о боге — как же ты осмеливаешься?! — закричал пьянеющий Андрей Платонович». Он даже сорвался на повеление: — Вон отсюда! (То есть выгонял Соловьева не из собственного дома.)

Уже после войны, когда Рыкачевы переехали в писательский дом на Аэропортовской, в час случайной встречи мы вспоминали их квартиру на Фурманова, и я спросил — помнит ли Яков Семенович, как Платонов выгонял из той квартиры одного прозаика. «Соловьева?» — тотчас сказал Я. С. Так вот какова была температура платоновского негодования: «Вон отсюда!»

Но теперь — в найденной тетрадной записи — этого повеления — «вон!» — я не обнаружил. Там взрыв Платонова кончается совсем иначе. После слов — «как же ты осмеливаешься?!» — записана его фраза, обращенная ко всем нам:

«— Простите, что я так шикарно говорю! — вдруг срезал он самого себя».

И тотчас поднялся, чтобы уйти, мрачно расстроенный. И мы все поднялись, кроме столь же мрачно оскорбленного Леонида Васильевича... <...> вслед за Платоновым не затем, чтобы тоже уйти, а повинувшись безотчетному ощущению его права на главенство. Память догадывается, что Ксения Алексеевна — отчаянная курильщица и любительница застолий — воскликнула: «Куда же вы? Водочка недопита!» Словом, мы не ушли. А в записи моей, к счастью, есть еще целый абзац.

«Проводив Андрея Платоновича, Рыкачев вошел и сказал, восхищенно и тонко улыбаясь:

— Он проговорил, уходя: ‘Вам все равно наплевать на меня, хоть и любите!’ У него желание быть одиноким. Неужели он прав?».

Эта живая, очень точно схваченная сцена («Он был очень сильным спорщиком, но порой, наскучив возражениями противников, задорных и ему неравных, давил их не новыми доказательствами, а эмоциональной вспышкой боли, усталости и насмешки», — писал Нагибин) приоткрывает завесу над

платоновским характером больше иных причесанных воспоминаний и обнажает ту природную мощь, ту колючую боль, что носил в душе этот неприметный с виду, обыкновенно простой и мягкий в общении человек, чаще пряча и скрывая, но изредка давая почувствовать свою колючесть и скрытую силу другим.

Он ни с кем не держал душу нараспашку и мало кому доверял — разве что молодым Бокову да Сучкову, но тех в войну забрали в лагерь, а из оставшихся на воле самым близким Платонову в 1940-е годы стал Василий Гроссман.

«Думаю, что с Платоновым Гроссман подружился во время войны, оба служили в „Красной звезде“», — вспоминал Семен Липкин, очень трогательно эту дружбу описавший: «„Вася, ты же Христос“, — говорил ему при мне Андрей Платонов, и я понимал, почему он так говорит... <...> В тот вечер в июле 1943 года, когда мы собрались в его доме (и Гроссману, и мне удалось достать водку по талонам) и выпили по граненому стакану, я взял со стола кусок американской колбасы из фронтового пайка, кусок показался Платонову слишком большим, и наш хозяин выразился обо мне так: „Садист на закуску“, — писал Липкин и сравнивал двух товарищей: — оба охотно выпивали, но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равнодушен. Разница была в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил с кем попало, лишь бы его угощали, ведь на выпивку денег ему обычно не хватало».

Этот фрагмент из липкинских мемуаров вошел в сборник воспоминаний об Андрее Платонове не полностью, так же как полностью не вошел в него и следующий эпизод: «Однажды, рассказал мне Гроссман, им пришлось зимой ехать по фронтовой дороге вдвоем в машине. Водителем у них был татарин, пожилой, низкорослый и некрасивый. Фамилия его была Сейфутдинов, а Платонов называл его Сульфидиновым.

Этот Сульфидинов пользовался большим успехом у женщин. Продрогшие, усталые, они остановились в прифронтной избе. Нестарая хозяйка бросила быстрый взгляд на водителя. „Сульфидинов, — сказал Платонов, — забрось палку, а нам скажи зажарить яичницу“».

Разумеется, никем более не подтвержденное и не имеющее аналогов в платоновской биографии, больше похожее на анекдот хулиганское воспоминание можно списать на то, что нашего национального гения оболгали двое безродных космополитов, ибо такой Платонов противоречит целомудренному, строгому образу, созданному и Миндлиным («В присутствии Платонова становилось как-то неловко слушать рассказы в духе „Декамерона“»), и Таратутой («Никогда я от него не слыхала ни анекдотов, ни сплетен никаких. Он был как-то на порядок выше тех людей, которые были вокруг меня»), и Кривицким («Платонов был деликатен, даже застенчив»), и Гумилевским («...его всегдашняя ровность граничила с застенчивостью... Его постоянная внешняя мягкость к людям и событиям казалась не врожденной, как у Чехова, а самовоспитанной, как у Толстого»), И все же рискнем утверждать, что именно Липкин нарисовал самый точный платоновский портрет.

Его герой ироничен («Я не сразу узнал Платонова в форме армейского капитана, мы с ним были и прежде знакомы, но шапочно. А Платонов, увидев меня, пробормотал несколько насмешливо: „Моряк красивый сам собою“»), невозмутим, остер и едок. Его пространных высказываний Липкин не запомнил, но запомнил, что Платонов «как-то хмыкал, что-то бормотал под нос, поджимал губы», и «это хмыканье, бормотание, поджиманье губ казались мне значительнее и умнее многих слов... <...> он умел кратко и красочно определить самую суть дела». И это

и есть Платонов, который и в мужской шутке, рассказанной Липкину Гроссманом (человеком «целомудренно чистым... верным жене, в отличие от многих нас, грешных»), был верен себе.

Соотношение низшего и высшего плана бытия оставалось сердцевиной его размышлений над войной, поведением человека на войне, как было центром сосредоточенного внимания к устройству жизни вообще, начиная с рассерженного письма двадцатилетнего юноши в редакцию «Трудовой армии» и заканчивая записными книжками военных лет: «Горе само по себе, осмысленно неутешимо, непобедимо; его переживает человек лишь отвлечениями, суррогатами, подлыми способами — и тем сохраняется от отчаяния и гибели».

«На войне; душа еще живого все время требует, чтобы мелочи (игра, болтовня, ненужный какой-либо труд) занимали, отвлекали, утомляли ее.

Ничего не нужно в тот час человеку — лишь одни пустяки, чтобы снестать ими тоску и тревогу. Внешне идут, происходят лишь одни пустяки, скрывая за собой и подавляя собой высшую истинную жизнь, не замечая того в практическом сознании, делая это незаметно для себя».

Или такое, очень важное: «Надо идти именно туда, в сверхконкретность, в „низкую“ действительность, откуда все стремятся уйти».

Все, но не он. Высшее всегда питается низшим, растет из земли и неизбежно быстро расходуется, если подпитки нет. Он знал этот естественный закон, неизбежная связь внутри бытия занимала его в течение многих лет «построения коммунизма» в литературе, но в отличие от «мирной» прозы в платоновской военной ничего низшего нет или почти нет. Вынесенное за скобки действующих событий, оно осталось в записях, набросках к будущим вещам, а рассказы военных лет

ориентированы главным образом на высший план — дух в них торжествует над смирившейся, умерщвленной плотью, а закон сохранения энергии ввиду военного времени отменен.

«Питай свою душу подвигом и не будешь голоден по наслаждению», — отмечал Платонов в «Записных книжках» военных лет, и эта мысль удивительно перекликается со статьями воронежского периода, утверждавшими торжество духа над плотью.

В годы войны творчество едва ли не самого физиологичного русского писателя XX века стало бестелесным, что едва ли отражало «низкую» правду всей жизни (понятия для Платонова очень важного: «Вся жизнь» — название его первого, так и не увидевшего свет послевоенного сборника) и уж тем более военной жизни, точно схваченную в липкинском мемуаре. Да и Платонов недаром занес в свой военный блокнот: «Образец солдата: экстремально живущий человек; он быстро должен управиться, пережить все радости, все наслаждения, все привязанности. Ест, любит, пьет, думает — сразу впрок, за всю жизнь, а то, м. б., убьют». И больше того: «Отсутствие порока в человеке (выпивки, женщины) есть доказательство отсутствия в нем души». Но об этих радостях, наслаждениях и пороках, за исключением разве что еды (например, сцена обеда, вернее последней трапезы русских воинов в рассказе «Одухотворенные люди»), он не писал или упоминал вскользь, как в рассказе «Молодой майор» («Солдат любит заботиться о своей утробе, и в этой его заботе был не низменный, но существенный смысл»), и переводил любовь в разлуку, ограничивал отношения мужчин и женщин на войне нежными письмами, хранением семейных реликвий, благородством и подчеркнутой супружеской верностью, своего рода иночеством разделенных войной мужчин и

женщин, причем эта разделенность была вызвана не только физической разлукой.

В платоновском изложении темы сценария под названием «Бессмертный солдат» любовная история артиллериста Ивана Свиридова и санитарки Марии Михеевой вернулась обратно за реку Потудань: «Иван Свиридов, не отказываясь от своей любви к Марии, находит для этого своего чувства высшую одухотворенную форму, из которой исключена необходимость телесной близости; самой высшей необходимостью и участью Ивана является бой с врагом. Тема любви решается тем, что *она уходит в сферу звезд. Мария понимает Ивана...*» Выделенные курсивом слова Платонов зачеркнул, но идея была ясна. Автор шел на возвышающий обман сознательно (правда военной жизни и любви будет показана в «Возвращении» — «Семье Иванова»), как сознательно «обманывал» своего читателя и в других вещах.

Недаром по воспоминаниям и Ортенберга, и Зотова Платонов-корреспондент называл себя Лукой в честь горьковского персонажа. Идеальное стало для него в войну реальным, потому что близкая смерть, при которой живет, как дитя при матери, солдат, неизбежно возвышает человека («Где же можно полюбить человека больше, как ни на войне, когда он способен разделить с тобою смерть и спасти тебя от смерти, погибнув сам. Когда мы накануне прощания навек», — отмечал он в «Записных книжках») и меняет систему его ценностей: «Но и нежность его к вещам, внимание к мелочам, — чем бы он ни стал заниматься, — тоже вырастает: он внимателен и к кошке, и к воробью, и к сверчку, etc...»

Родственное, как сказал бы Пришвин, внимание к бытию в полной мере свойственно защитникам деревни Семидворье, героям рассказа «Смерти нет!», верящим в то, что после фашистов они «пойдут против смерти и

также одолеют ее, потому что наука и знание будущих поколений получат высшее развитие». Эти слова произносит командир роты старший лейтенант Агеев, бывший моряк с пухлым лицом переросшего младенца, которому поручено задержать продвижение немецких войск и отвлечь их от направления главного удара.

Агеев и его бойцы обречены. В одном из них умирает Пушкин, в другом Уатт или Ползунов, третий был просто добрый человек, и Агеев, провожая их, понимает, что «нельзя без них счастливо жить... Без них для нас — весь мир сирота». Но, помирая «навек и всерьез», а иначе солдат «помирать избалуется, раз смерть ему нипочем, раз ему сызнава положена жизнь», герои боятся «не вообще смерти, а смерти убыточной». Старшина Сычов на войну смотрит как на хозяйство, воюя «с той же алчной страстью, как копит дом для своего семейства», а связист Мокротягов говорит о том, что «война — это высшее производство продукции, а именно — смерти врага, оккупанта, и наилучшая организация всех действующих частей».

Агеев этого хозрасчета понять не может, он «чувствовал горе от потери своего бойца всегда, убил ли он перед смертью пятерых врагов или никого не убил», и когда наступает час умереть ему самому, обретает в дар и утешение ту истину, что «мир обширнее и важнее, чем ему он казался дотоле, и что интерес или смысл человека заключается не в том лишь, чтобы быть обязательно живым».

Здесь опять два плана бытия: идеальный и реальный. В «Записных книжках» есть наблюдение: «В предсмертный миг часто бывает у солдата: проклятье всему миру-убийце и слезы о самом себе, слезы разлуки навек. Слеза одна, на две не было силы».

А вот как описана смерть Агеева, примирившегося с тем, что интерес и смысл человека не только в том, чтобы быть живым: «И в отречении своем от уходящей

жизни Агеев доверчиво закрыл глаза. Из-под века правого глаза у него вышла слеза и осохла, а на другую слезу у Агеева уже не было жизни».

«Обращает на себя внимание формальное совпадение описания смерти в дневнике Платонова и рассказе (одна слеза умирающего солдата, на вторую сил нет) и полное расхождение по содержанию, — заметила исследовательница военного творчества Платонова И. А. Спиридонова в статье „Оправдание подвига: военные рассказы А. Платонова в контексте времени“. — Там — жалость к себе погибающему, здесь и „в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней“. Там — проклятие миру-убийце, здесь — благословение жизни. Там — падение человеческого духа в бездну отчаяния, здесь — духовный взлет».

Мотив отчаяния и страха в душе советского солдата в прозе за редким исключением отсутствует и не потому, что Платонов его не видел в жизни, и даже не потому, что не считал возможным о нем писать, а потому, что выше страха смерти в его мире и в духовной прозе была любовь. Недаром рассказ заканчивается христианской сценой человеческого преображения: «И, обняв ноги покойного, Сычов заплакал, чтобы облегчить свое сердце. Он не знал, как ему быть теперь, и не мог стерпеть в себе грустной любви к умершему, которой он прежде не чувствовал или она была подавлена в нем обыденной привычкой к своей равнодушной жизни. — Ничего, пускай он так, — сказал боец Морковников. — Это душа в старшине родилась» — и православным обрядом: «Бойцы по очереди стали подползать к Агееву, и каждый человек поцеловал скончавшегося».

В военные годы стремление к воцерковленности у Платонова представляется очевидным. В наибольшей степени религиозное чувство проявилось в отношении к умершему сыну.

«Ты, наверно, часто ходишь на могилу к сыну. Как пойдешь, отслужи от меня панихиду в его вечную святую память. Я тут пережил сильные воздушные бои (недавно), много повидал, но мой сын, должно быть, помог мне избежать гибели», — писал он жене 10 июня 1943 года, а в другом письме прибавлял: «Завтра воскресенье и Троицын день. Ты, конечно, пойдешь к нашему сыну». И еще через год: «4/VII будет полтора года, как скончался Тоша. Это письмо придет позже 4-го июля. Ты, наверно, уже отслужишь панихиду на его могиле. Если почему-либо 4-го не будет панихиды, то отслужи ее позже и я так же, как и 4-го июля, буду незримо, своею памятью стоять у его могилы и плакать по нем. Вечная память моему сыну-мученику, моему любимцу и учителю, как надо жить, страдать и не жаловаться».

Эта церковность передавалась и прозе, проникала в ее состав. Чуткая советская критика была таким поворотом не удовлетворена и увидела в рассказах Андрея Платонова «нагромождение странностей». И эта, высказанная Ю. Б. Лукиным в «Правде» 8 июля 1943 года в статье «Неясная мысль», оценка была еще сравнительно мягкой. Далее повторился сюжет, напоминающий никитинские нападки на «Такыр» в январе 1935-го, когда все тоже начиналось с эстетики, а закончилось политикой. В декабре 1943 года глава Управления пропаганды и агитации Г. Александров и его заместитель А. М. Еголин в адресованном секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову докладе о состоянии художественной литературы доносили: «Рассказ Платонова „Оборона Семидворья“ написан плохим вычурным языком... <...> В рассказе много вздорных рассуждений... <...> Весь рассказ пестрит нелепыми изречениями». А еще год спустя, в декабре 1944-го, В. Лебедев отозвался в «Правде» о Платонове и того резче: «Вместо того, чтобы писать правду жизни, он

сочиняет нелепых, несуществующих людей, навязывает им полумифические, кликушеские мыслишки, искажая этим облик людей нашей Родины».

«Принес Платонов небольшой очерк „Оборона Семидворья“ — напечатали и его. Вдруг совершенно неожиданно для нас в „Правде“ появилась разгромная статья об этом произведении, — вспоминал Ортенберг. — Признаюсь, я встревожился. Подумал: начинается. Каждую минуту ждал звонка Сталина: кто, мол, разрешил нам взять на работу в „Красную звезду“ этого „агента классового врага“? Да и к тому же могли докопаться: почему, на каком основании я самовольно присвоил красноармейцу капитанское звание.

Как раз в тот день, когда появилась статья в „Правде“, вернулся с фронта Платонов. Зашел ко мне. Вид у него был, пожалуй, не веселее, чем у меня. Усадил я его в кресло. Сидит и молчит. Оказалось, что принес рукопись нового очерка, но побоялся мне дать, думал, что теперь не будем печатать его. Я взял очерк, прочитал и сделал надпись: „В завтрашний номер“. Молча он сидел, молча сидел и я, но эта надпись была самым лучшим разговором.

Звонка все не было. Пронесло».

Ортенберг здесь выглядит героем, молодцом, Платонов — проштрафившимся подчиненным, но писать иначе он не умел даже под угрозой своей военной карьере, хотя какая уж там была карьера у прошедшего путь от Курска до Могилева, многожды рисковавшего жизнью («Смерть несколько раз близко проходила возле меня, но чаще она минует тебя столь быстро, что ты замечаешь ее, только когда она уже прошла», — писал он жене), контуженного и получившего смертельное заболевание человека.

«Мы получали звания, ордена, а он — нет. После войны в запас ушел майором. Может, медальки какие и были. Мы вот понахватали всего, на виду были, а он — в

тени. Награждали того, кто у фронтового начальства на виду был. Хамзора, конечно, награждали, он с фотоаппаратом везде маячил, меня награждали, потому что на виду, да и почти каждый день наши корреспонденции шли. А в Москве к Андрею тоже, видно, теплых чувств не питали...» — вспоминал много лет спустя М. М. Зотов. А сам Платонов писал жене: «В том, что я там в Москве „обойден“ хозяйственными умниками, кроме судьбы я вижу еще и простое безобразие. Но я не по ним равняюсь, не с них пример беру, я равняюсь по народу и по нашим солдатам. А если бы все же любого из этих хозяйственных деятелей послать сюда, чтобы он сделал хоть одну перебежку под немецким артиллерийским огнем, километра в 2, как я это делал с больным сердцем, то он бы понял, почему надо быть справедливым, однако все равно не научился бы справедливости. Они знают лишь одну науку — рвать, ничего не давая. Ну, черт с ними, с этими блатными. Не в них сила и соль».

Не испытывал добрых чувств к Платонову и его непосредственный начальник — генерал Ортенберг. Какими бы почтительными ни были его мемуары, сочиненные в ту пору, когда вдруг оказалось, что Платонова надо изображать как великого писателя земли русской, военные письма окопного капитана говорят о том, что ему приходилось трудно под началом жесткого и взбалмошного командира «Красной звезды».

«Редактор прислал мне оскорбительную телеграмму, бессмысленную и сумбурную. Пока я буду работать, но буду принимать меры, чтобы уйти из этой редакции... — писал Платонов жене в июле 1943 года. — Я уже писал тебе, как редактор издевался надо мной, когда я только приехал на фронт. Например, он запрашивал по телеграфу: откуда я приехал и когда? Ему отвечали: из Москвы, вчера. Он говорил по телеграфу: безобразие, как он (я) смеет?.. Я приму

строгие меры и т. д. Я ничего не мог понять, я ни в чем не был виновен, я работал как зверь, ездил на передовую, был в бою. Я подумал, что случилось что-то непонятное для меня. Теперь редактор шлет вдруг ласковые телеграммы, печатает. Бог с ним, не говори об этом никому в Москве, чтобы мне хуже не было».

Он мечтал убедить своих начальников, чтобы его отпустили на волю и дали возможность «работать над самым главным, вместо работы над второстепенным», то есть написать повесть о сыне, но едва ли к этому намерению отнеслись всерьез. Платонов так же плохо вписывался в литературную ситуацию военного времени, как не вписался и в ситуацию мирного. Его «вздорная» военная проза тяготела к жанру древнерусской воинской повести, агиографии, иконописи с их неизбежной, обязательной сменой фокуса и созданием той перспективы, когда не читатель смотрит на героев, а герои на читателя. Особенно это проявилось в изображении женщин на войне. Помимо «Взыскания погибших» есть два классических платоновских рассказа на эту тему: «Девушка Роза» и «Афродита».

Замысел первого возник после того, как осенью 1943 года спецкор «Красной звезды» оказался в освобожденном от фашистов Рославле:

«Рославльский» лагерь

200 гр. эрз<ац>-хлеба с отруб<ями>,

300—400 гр. баланды.

Людоедство.

50—60 трупов ежедневно съедались (нежные части).

1000 чел<овек> 12/XII умер<ли>.

400—500 <человек> в день умирало. Из-за пайка хлеба **удушали друг друга.**

Евреев всех расстреляно —

Голод, эпид<емические> заболевания. Тиф... ~
— 6000 кв. м — пл<ощадь> могил.

40 792 м³ — объем могил близ Вознесен<ского>
кладбища — ~ 120 000 чел<овек>, и еще не считаны
несколько могильников: евреи.

Тюрьма в Рославле. Сожжена. Обгорев<шие> кости
и мясо, черепа. На хозяйств<енном> дворе —
поджегшие. Расстреливали.

Трупы обливали бензином и сжигали. Допрашивали
с собаками. Показ<ал> все — Ник<олай> Гутман,
доктор.

В каске варка человека.

Смертность в лаг<ере> военнопл<енных> ~
1000 чел<овек>. Возили все грузы на людях. В лагере ~
50 тыс. ч<еловек>».

В рассказе *этой* правды нету, хотя ничто не мешало
ее изобразить. Есть другая. Не менее жуткая.

Девушка Роза, которая «красива собой и настолько
хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие,
грустные люди себе на радость и утешение», попадает
в тюрьму после того, как однажды ее уже пытались
расстрелять.

«Розу вызвали на допрос к следователю.
Следователь был уверен, что она все знает о городе
Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею
советской властью. Роза всего не знала, а что знала, про
то сказать не могла. Она пила у следователя
мюнхенское пиво, ела подогретые сосиски и надевала
новое платье. Так называл свое угощение следователь,
обращаясь к своим подручным, которых заключенные
называли „мастерами того света“. Для Розы приносили
пивную бутылку, наполненную песком, и били ее этой
бутылкой по груди и животу, чтобы в ней замерло
навсегда ее будущее материнство; потом Розу стегали
гибкими железными прутьями, обжигаящими тело до

костей, и когда у нее заходило дыхание, а сознание уже дремало, тогда Розу „одевали в новое платье“: ее туго пеленали жестким черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и меж ребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступала наружу из тела узницы; потом Розу уносили обратно в одиночку и там оставляли на цементном полу; она всех утомляла — и следователя, и „мастеров того света“».

То, что происходит Розой дальше, отчасти напоминает историю про Юшку, но с существенной разницей. Искалеченная, выпущенная из тюрьмы для устрашения местных жителей, «образец ужасной муки для непокорных», мученица из мучеников, «полудурка» Роза бродит по Рославлю, но вид ее пробуждает в жителях города не страх или жестокость, а сострадание и милосердие. Враги рода человеческого, слуги ада, каковыми изображены фашисты, стремящиеся к тому, чтобы господствовать над людьми, добиваются противоположного результата: «В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди, как героическую истину, привлекающую внимание к себе все обездоленные павшие надеждой сердца».

Но Роза на земле тоскует, потому что ее отечеством уже стало зовущее к себе небо: «...она хотела лишь уйти из города вдаль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно, и та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза ходит в том краю, там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать».

Сделать этого никто не может, и Роза остается среди людей до тех пор, пока не встречает маленького мальчика, он выводит ее за город, и там на минном

поле девушка подрывается: немцы видят «мгновенное сияние, свет гибели полудурки Розы».

Рассказ был впервые напечатан на испанском языке в журнале «Иностранная литература» в 1944 году, а после вошел в книгу «В сторону заката солнца».

Что же касается «Афродиты», то при жизни Платонова эта история любви мужчины и женщины, которых разлучила война, напечатана не была. Главный герой Назар Иванович Фомин, персонаж во многом автобиографический, попадает в полуразрушенный родной город, освобожденный Красной армией, и, бродя по нему, «собирая семена, чтобы снова посеять Россию», вспоминает молодость с ее воодушевлением и «верой в смысл рабочего класса», сооружение плотин, рытье колодцев, строительство электростанции, сожженной кулаками семь дней спустя после ее пуска.

Так Платонов фактически включил в текст военного произведения «Рассказ о потухшей лампочке Ильича», написанный в 1926 году, только в том рассказе станция погибла навсегда, а в «Афродите» ее отстраивают заново.

Рассказ «Афродита» был написан после посещения Платоновым разрушенного Воронежа, «...мне было очень тяжело. Город стал призраком, как дух, — таким он мне представился. Я даже плакал. Вот какое тут было сражение, родная моя. Как-то ты там поживаешь в одиночестве?» — писал он жене, драматические отношения с которой в «Афродите» в той или иной степени тоже отразились.

В этом произведении происходит воскрешение темы супружеской любви, похожей на мотивы «Реки Потудани» и «Фро», да и переключка имен Фро и Афродита не случайна. В рассказе Фомин вспоминает, как, занятый в течение двух лет восстановлением станции, он теряет жену: «...она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на

монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее и верности, и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил постоянно и единственно».

Фомин продолжает ее любить, может быть, еще более глубоко, чем прежде, понимая, что «всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство». Он чувствует себя свободным и независимым и, соотнося любовь с судьбою своей страны и своего поколения, осознает, что в «стремлении к счастью для одного себя есть что-то изменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, заставшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние».

К нему возвращается Афродита, оскорбленная изменой второго мужа, и дух его более «уже не мог истощиться в безнадежности или унынии». Но действие рассказа не случайно распространяется на войну. Афродита принадлежит одновременно двум царствам — живых и мертвых, и когда тоскующий Фомин подобно пушкинскому царевичу Елисею обращался к синему наивному цветку с вопросом: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу, — жива или нет Афродита?» — то «цветок не менялся от его

тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом, сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита».

С точки зрения главного героя, «Афродиту» можно считать рассказом просоветским, отвечающим тому «необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ». Но если смотреть на вещи глазами повествователя, нетрудно заметить, что Фомину с его метафизическим, вселенским сознанием противопоставлен некий бодрый безымянный товарищ с партийным билетом, не ведающий простых и великих движений человеческого сердца:

«Чего ты ожидал другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире... Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций... Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подымимся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами — что тебе, все тепло от одной домашней печки да от жены, что ль? Ты сам умный — ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь, другое время теперь наступило!»

Отождествить эти барабанные слова с авторской позицией едва ли справедливо хотя бы по причинам эстетическим: слишком плоско выражается мечтающий взобраться на гору коммунист, не говоря уже о том, что «наша партия» напоминает «партию Чумовых» из «Усомнившегося Макара», а еще больше — гневную статью Авербаха, которую Платонов, очевидно,

спародировал, и ссылка на коммунистов в «Афродите» может быть прочитана не как дань цензуре, а как проявление скрытой полемики: в платоновском мире коммунистическая идеология становилась все ближе к механической обезличенности. Об этой механической обезличенности правомерно говорить с определенностью, судя по словам Платонова, записанным агентом НКВД в апреле 1945 года.

«Неделю назад Андрей ПЛАТОНОВ позвонил ко мне по телефону и высказал желание повидаться. Был уже поздний вечер. <...>

<...> Вначале речь его была бёссвязной; тяжелое впечатление производил надрыв, с которым ПЛАТОНОВ рассказывал о себе, о своей семейной жизни, о своих неудачах в литературе. Во всем этом было что-то патологическое. Мысль его все время возвращалась к смерти сына, потери которого он не может забыть. О своей болезни — ПЛАТОНОВ недавно заболел туберкулезом в тяжелой форме — он говорит как о „благосклонности судьбы, которая хочет сократить сроки его жизни“. Жизнь он воспринимает как страдание, как бесплодную борьбу с человеческой грубостью и гонение на свободную мысль. Эти жалобы чередуются у него с повышенной самооценкой, с презрительной оценкой всех его литературных собратий. <...>

„За что вы все меня преследуете? — восклицал ПЛАТОНОВ. — Вы, вы все? Товарищи, — я знаю, преследуют из зависти. Редакторы — из трусости. Их корчит от испуга, когда я показываю истинную русскую душу, не препарированную всеми этими азбуками коммунизма. А ЦК за что меня преследует? А Политбюро? Вот, нашли себе врага в лице писателя ПЛАТОНОВА! Тоже — какой страшный враг, пишет о страдании человека, о глубине его души. Будто так уж это страшно, что ПЛАТОНОВА нужно травить в газетах,

запрещать и снимать его рассказы, обречь его на молчание и на недоедание? Несправедливо это и подло. Тоже это ваше Политбюро! Роботы ему нужны, а не живые люди, роботы, которые и говорят, и движутся при помощи электричества. И думают при помощи электричества. Политбюро нажмет кнопку, и все сто восемьдесят миллионов роботов враз заговорят, как секретари райкомов. Нажмут кнопку — и все пятьсот, или сколько там их есть, писателей, враз запишут, как горбаты“.

Он вдруг закричал: „Не буду холопом! Не хочу быть холопом!“

<...> Он стал говорить о том, что чувствует себя гражданином мира, чуждым расовых предрассудков, и в этом смысле верным последователем советской власти. Но советская власть ошибается, держа курс на затемнение человеческого разума. „Рассудочная и догматическая доктрина марксизма, как она у нас насаждается, равносильна внедрению невежества и убийству пытливой мысли. Все это ведет к военной мощи государства, подобно тому, как однообразная и нерассуждающая дисциплина армии ведет к ее боеспособности. Но что хорошо для армии, то нехорошо для государства. Если государство будет состоять только из одних солдат, мыслящих по уставу, то, несмотря на свою военную мощь, оно будет реакционным государством и пойдет не вперед, а назад. Уставная литература, которую у нас насаждают, помогает шагистике, но убивает душевную жизнь. Если николаевская Россия была жандармом Европы, то СССР становится красным жандармом Европы. Как свидетельствует история, все военные империи, несмотря на их могущество, рассыпались в прах. Наша революция начинала, как светлая идея человечества, а кончает, как военное государство. И то, что раньше было душой движения, теперь выродилось в лицемерие

или в подстановку понятий: свободой у нас называют принуждение, а демократизмом диктатуру назначенцев“.

Эту, не лишенную известной стройности „концепцию“ ПЛАТОНОВ не захотел развить дальше <... > ПЛАТОНОВ стал говорить о том, что он „разбросал всех своих друзей“ потому, что убедился, что люди живут сейчас не по внутреннему закону свободы, а по внешнему предначертанию и все они сукины дети. Здесь последовало перечисление ряда писателей и огульное осуждение их морального поведения.

Исключение составил только Василий ГРОССМАН, которого ПЛАТОНОВ ставит высоко и как скромного человека, и как честного писателя. „Даже критика его хвалит, а вот Политбюро не жалуется, не замечает, даже кости ему не бросило ни разу со своего барского стола“».

Разумеется, доверять стопроцентно агентурным донесениям, воспроизводящим чужую прямую речь, невозможно, и у нас нет никаких доказательств, что Платонова не стремились намеренно потопить, однако внутренней биографии писателя высказанная «концепция» не противоречит. Но главное — здесь хорошо чувствуется, как человек и физически, и психологически устал. Причем не писать устал, а преодолевать давление жизни, гонения, несправедливость, личные несчастья (в воспоминаниях Исаака Крамова приводится со слов жены Платонова фраза, с трудом поддающаяся датировке, но не исключено, что относящаяся именно к этой поре: «Как-то задолго до „Семьи Иванова“ Платонов сказал: „Умереть надо, не хочется жить. Трудно жить под Сталиным и Фадеевым“») и видеть при этом, что страна уходит все дальше и дальше в сторону от того пути, который грезился ему в юности. Если для отвергшего революцию «белого» Михаила Пришвина Великая

Отечественная война, в которой он в силу своего возраста не участвовал, стала доказательством справедливости большевизма и его историческим оправданием («...делать нечего — я коммунист», — написал Пришвин в послевоенном дневнике), то с «красным» Платоновым все случилось наоборот.

Война рассорила бывшего революционера с коммунистическим проектом, и в военной прозе Платонова коммунистов практически нет. Есть простые русские люди, есть башкиры, карелы, украинцы, белорусы, они борются со смертью, мучаются оттого, что «наше добро не сразу осилило ихнее зло», и мечтают «сработать своими руками самое важное и неизвестное: добрую силу, разламывающую сразу в прах всякое зло» (рассказ «Сампо»), они чувствуют вину перед мертвыми, и эта вина дает им силу жизни, а еще эту силу дает людям их историческое прошлое. «Но вся тайна — что у нас народ хороший, его хорошо „зарядили“ предки. Мы живем отчим наследством, не проживем же его».

Речь не о предках-коммунистах, но о более глубоких и древних духовных аккумуляторах. На коммунистическом же была поставлена точка^[74]. Оно не было ни забыто, ни вычеркнуто, оно не стало антикоммунистическим, но осталось на заре туманной юности, в нетронутой поре и на земле революционных заповедников, давно разрушенных. И если Платонов обращался к прежним неизменным и однообразным идеалам, как в рассказе «Полотняная рубашка», герой которого говорит: «Ленин для меня, круглого сироты, стал и отцом и матерью, я почувствовал издалека, что я нужен ему, — это я, который никому не был нужен и брошен, — и отдал ему все свое сердце, отдал навсегда — до могилы и после могилы... Что ж мать — она умерла, а мне велела жить, и жить сильно, гневно

против зла. Но зачем было мне жить — этого мать не сказала. Это сказал мне Ленин, и во мне тогда, в ранней юности, засветилось сердце, мне явилась мысль, и я стал счастливым...» — то это происходило лишь в глубоком плюсквамперфекте.

Ленин заменил Сталина, став уже не на капельку, а на целый пруд лучше. Он олицетворял в глазах Платонова утраченную чистоту революции, а Сталин, которого еще несколько лет назад автор «Джана», «Отца-матери» и «Голоса отца» был готов считать отцом всех сирот на огромном пространстве от Москвы до окраин советской ойкумены, обратился в ничто. Когда в 1960-е годы советские редакторы печатали прозу Платонова тридцатых, им приходилось политкорректно, в духе решений XX съезда, заменять одного вождя на другого, при публикации военных рассказов нужды в этой операции не было — Сталина убрали разве что из «Одухотворенных людей». Другое отцовство волновало Платонова: «Драма великой и простой жизни: в бедной квартире вокруг пустого деревянного стола ходит ребенок лет 2—3-х и плачет — он тоскует об отце, а отец его лежит в земле, на войне, в траншее под огнем, и слезы тоски стоят у него в глазах; он скребет землю ногтями от горя по сыну, который далеко от него, который плачет по нем в серый день, в 10 часов утра, босой, полуголодный, брошенный».

Глава двадцать третья В ОГНЕ ДРАМЫ

Платонов был с действующей армией до тех пор, пока она не перешла исторических границ России. Летом 1944 года, получив звание майора, он был вынужден спецкоровскую службу оставить (демобилизовали его в конце 1945-го) по болезни («Работать приходится много и в трудных условиях, но я все это выношу, только здоровье у меня начало слабеть», — писал он жене 13 июля 1944 года), и последние фронтовые публикации в «Красной звезде» относятся к освобождению Могилева. Бывал ли он после этого на фронте, сказать трудно, но если и бывал, то очень недолго. Его письма той поры неизвестны, а в «Записных книжках», в журналистике и в прозе завершающий период войны практически не отразился, за исключением разве что несколько умозрительных рассказов «Штурм лабиринта» и «Один бой».

«Дорогой Андрей Платонович!

Прибыл к нам тов. Гросман^[75] и сообщил мне печальную весть о Вас, — писал Платонову 31 августа 1944 года его фронтовой знакомый по фамилии Понейко. — От него я узнал, что Вы долго болели брюшным тифом и что в настоящее время Вы еще не вполне выздоровели. <...> Меня очень возмущает и то, что, как сообщил тов. Гросман, начальство Вашего органа даже не поинтересовалось Вашим состоянием. <...> Наше начальство, я скажу смело, больше думает о себе, о лимитных карточках и литеррах для себя, чем о людях, о подчиненных. Этого не должно быть, но есть. Любят нас только до тех пор, пока мы тянем воз, а когда выбываем из строя, нас очень быстро забывают».

Но тифом дело не ограничилось.

«Я уехал с 1-го Украинского в конце сорок четвертого, а Андрей — в конце лета: что-то со здоровьем было, — рассказывал М. М. Зотов. — Только тогда я узнал, что туберкулез у него. Когда прощались, полез я целоваться, а он говорит: „Не надо, Миш...“».

Похожая сцена описана и в мемуарах Ф. Левина, который вспоминал, как его жена отправилась вскоре после войны в туберкулезный диспансер, чтобы сделать рентгеновский снимок дочери. «Внезапно кто-то взял у нее снимок из рук. Она с недоумением подняла голову, перед ней стоял Андрей Платонов. Он внимательно посмотрел пленку, вернул ее и сказал: „Все хорошо, идите отсюда, не надо вам сюда ходить, кругом туберкулезные, мы все заразные“. И стал настойчиво подталкивать жену и девочку к выходу. Сам он в это время уже был болен туберкулезом, заразившись от умиравшего на его руках сына».

«В конце войны его привезли с фронта на носилках, с кавернами в легких, с неизлечимым туберкулезом и сбросили на диван, с которого он все реже вставал, иногда выходил во двор, медленно ходил тут чужим чахоточным мастеровым среди студентов», — писал со слов вдовы Платонова Исаак Крамов.

Он знал, что обречен, а между тем ему надо было жить и не ради себя, и даже не ради великой русской литературы, но по причине более насущной: 11 октября 1944 года у Андрея Платоновича родилась дочь. Ее назвали Марией, так же, как звали его жену и мать. Это была третья Мария в его жизни. «Рождение второго ребенка тоже измена первому? Как измена любви», — записал он в блокноте.

Рождение дочери у немолодых уже мужа и жены во время войны могло показаться со стороны чем-то странным («Это было неожиданным и для нас», — позднее писал Платонов Виктору Бокову), хотя в их ситуации и понятным, но трудные, горькие отношения

супругов, так много сил у обоих отнявшие и бывшие одновременно источником истощения и вдохновения для Платонова-писателя, частично переменялись. «После смерти сына, как ты правильно и хорошо сказала однажды, мы обречены с тобой доживать наши дни под небом меланхолии...» — написал жене он, мечтавший о дочери еще очень давно, и можно предположить, что после того, как не стало Тоши, Мария Александровна наконец захотела родить второго ребенка.

Во время беременности Марии Александровны письма Платонова домой были полны заботы и тревоги: «Я хочу получить от тебя поскорее ответ: как твое состояние, сколько, говоря точнее, ты беременна, и как ты себя чувствуешь? <...> Я хочу тебя попросить **немедленно** продать мой гражданский костюм и башмаки. Только сделать это надо сразу, без всяких сантиментальностей. Я знаю, у тебя нет денег, а тебе нужно хорошо питаться, нужно пить молоко. <...> Как твое положение? Наверное, уж скоро у нас будет сын или дочка. Дочку надо назвать Марией — пусть будет еще одна, но маленькая, Муська. А сына — не знаю как. Тошей — нельзя. Надо выбрать другое имя».

Помимо этого в семье Платоновых жил их внук Александр, сын Платона. Андрей Платонович его очень любил. «Помогай Сашке, сколько можешь, потому что мы очень любим его и я его часто здесь вспоминаю, когда мне бывает тяжело (это бывает часто)... Я скучаю по Сашке... Как растет и существует Сашка?.. — писал он жене. — Я нахожусь далеко. Здесь развалины старинных замков, природа здесь и люди — другие, но я скучаю по тому, что более мне знакомо и привычно, скучаю по тебе и по Сашке. Сашка, наверно, вырос без меня и научился говорить много новых слов. Когда же я вас увижу обоих, а может быть — увижу и того или ту — третью душу?»

Платоновы тогда же хотели усыновить внука, но молодая мать, Тошина вдова Тамара, не согласилась отдать ребенка свекру и свекрови («Андрей Платонович хотел усыновить Сашу, они уговаривали меня, но я отказалась», — рассказывала она позднее), однако пока что его и не забирала, и жить, зарабатывать надо было для двух маленьких детей, хотя сил у Платонова оставалось все меньше.

«Я часто представляю себе, как вы там трудно живете одни, и мне нехорошо, что я здесь избавлен от всех забот, окружен вниманием как больной, хорошо питаюсь, живу на берегу синего моря, — писал он жене в январе 1945 года из военного санатория. — Но в душе у меня непреходящая черная печаль. Дела мои в литературе плохие, будущее мое темно, а от меня зависят маленькие прелестные существа — Кхы и Сашка».

Слова о темном будущем были произнесены не всуе. 18 мая 1945 года осведомитель НКВД доносил о непобедном настроении объекта своего наблюдения: «ПЛАТОНОВ мне сообщил: „Всю войну я провел на фронте, в землянках. Я увидел теперь совсем по-другому свой народ. Русский народ, многострадальный, такой, который цензура у меня всегда вымарывает, вычеркивает и не дает говорить о русском народе. Сейчас мне трудно. У меня туберкулез второй степени, я харкаю кровью. Живу материально очень плохо, а нас б человек, работник я один, все малые и старые. Я устал за войну. Меня уже кроют и будут крыть все, что бы я ни написал. Сейчас я пишу большую повесть ‘Иван-трудолюбивый’ — там будет все, и война, и политика. А главное, я как поэму описываю труд человека и что может от этого произойти, когда труд поется, как песня, как любовь. Хочу написать эту повесть, а потом умереть. Конечно, так как я писатель, то писать я буду до последнего вздоха и при любых условиях, на кочке,

на чердаке, — где хотите, но я очень устал и дома условия невозможные для работы с рождением ребенка. Мне всячески вставляют палки в колеса, дома есть нечего, я ведь не корифей и лимиту меня только 300 р<ублей>. Желание работать сейчас огромное. Мне кажется, я так бы и сидел, не отрываясь“».

Это последнее из представленных на сегодняшний день архивом ФСБ агентурных донесений говорит само за себя, и дело было не только в болезни и нужде, хотя, безусловно, эти обстоятельства играли свою роль, но и в общем духовном состоянии страны-победительницы. В оценке этого состояния Платонов в который раз шел вразрез с официозом, и вряд ли наблюдение за писателем прекратилось и иссяк поток доносов, но по каким-то причинам информация с Лубянки обрывается на весне 1945 года, а между тем Платонова ждали новые испытания и новая травля, связанная с рассказом «Возвращение», который под названием «Семья Иванова» был опубликован в «Новом мире» в 1946 году.

Замысел одной из самых известных платоновских новелл возник давно и относился к его вынужденному уфимскому сидению сиротской зимой 1941/42 года, когда в «Записных книжках» появились строки: «Вот положение: она боевая сестра милосердия на фронте, муж ее в тылу, освобожден от фронта; она в тылу, муж ее на фронте; и эта пара сходится „временно“ — на время войны; затем возвращается с фронта сестра милосердия (жена тыл<ового> мужа), командир (муж тыл<овой> жены) — и — жизнь мучительно выправляется (?)».

И хотя сюжет «Возвращения» построен без этого «любовного четырехугольника», идея мучительного выправления жизни после войны стала для Платонова основной, едва только война началась. Он размышлял над нею в прозе военного времени, но там она вынужденно терялась среди человеческих борений и

потерь, как в рассказе «Смерти нет!», герой которого мечтает «жить своим семейством среди народа» — вот авторский идеал, едва ли в войну достижимый, но после войны оказалось, что психологический переход в состояние мира мучителен и непросто. Эта тема присутствовала в произведениях Платонова и прежде: что, как не возвращение с войны, есть «Бучило», «Сокровенный человек», «Чевенгур», «Технический роман» или «Река Потудань»? Однако человек, вернувшийся домой с Отечественной войны, описан Платоновым иначе, нежели тот, кто воевал в Гражданскую. И дело не столько в различии двух войн, сколько в углубленном авторском интересе к человеческой психологии и в иной расстановке акцентов.

«Я продам душу, я отдам тело, но дождусь тебя живой, а не мертвой, чтобы любить тебя, тело, душу. Для сохранения себя — она изменяет — для сохранения любви к мужу: у нее душа <нрзб> бездушная уцелела бы». Эти не до конца поддавшиеся расшифровке записи из блокнота относятся к сюжету «Возвращения», в котором Платонов воскресил и овеществил все то, что было умерщвлено в его произведениях военных лет, упрощено и облегчено, как, например, в написанной в конце 1944 года пьесе «Волшебное существо», герои которой со сказочной легкостью выходят из трудных жизненных ситуаций, порожденных войной, или же было Платоновым сознательно и художественно точно обойдено в опубликованном в июле 1945 года в «Новом мире» рассказе «Никита». Все события в «Никите» передаются через восприятие пятилетнего ребенка (малый возраст принципиально важен: старше нельзя, старше — уже приближение к рассудительности Петрушки, Петра Алексеевича Иванова из «Возвращения»), а драматизм отношений между взрослыми остался за кадром. Написанное следом

«Возвращение» стало антитезой изображения «бесконфликтности» человеческих отношений на фоне войны и развитием тех мотивов, что были прежде автором сокрыты.

«Возвращение» — не просто рассказ о любви и семье, о супружеской верности и измене, о разрыве и воссоединении хрупких человеческих связей, об отцах и детях нового времени. В своем первом послевоенном рассказе Платонов сделал следующий после «Фро» и «Реки Потудани» шаг в сторону осмысления самой сокровенной для него с юных лет тайны преобразования человеческого естества, его просветления и одухотворения.

Наряду с рассказом был написан сценарий под тем же названием «Семья Иванова», и сохранилась авторская заявка, ценная тем, что в ней Платонов объяснил первоначальный замысел: «Это история одной советской семьи, которая, будучи потрясена войной, доведенная роковыми обстоятельствами до катастрофы, переживает катастрофу и обновляется в огне драмы, — обновляется таким образом, что ее послевоенное положение является более прочным, возвышенным и духовно счастливым, чем до войны. То, что в молодости супругов было лишь чувственным, теперь стало чувством. Закаленные сердца людей теперь обрели способность регулировать свои страсти на свое благо, тогда как прежде их лишь увлекали стихии страсти — иногда на радость, но чаще на муку и на гибель. Характеры же наших героев, воспитанные в подвигах войны и труда, ныне способны стали владеть любовью, не угашая ее и не подвергаясь ее разрушительной силе. В этом моральная новость послевоенного советского мира».

И далее, изложив сюжет, который частично с рассказом совпадает (в сценарий добавлен коллектив тружеников электростанции, участвующий в

перевоспитании главного героя), автор подытожил: «И снова рождается страстная любовь между супругами... <...> уже не прежняя; она имеет теперь совсем другое конкретное воплощение. Это не ревнивая влюбленность юности, а чистый свет двух мужественных и нежных сердец, разлучить которые уже бессильна судьба, разрушительная сила обстоятельств. Идея пьесы ясна. Она заключается в изображении того, каким путем можно преодолеть одно из самых опасных последствий войны — разрушение семьи, где найти нравственную силу, которая сможет противостоять губительным страстям людей, и где находятся источники их истинной любви, любви, так сказать, второго поцелуя, которым люди обмениваются в знак верности и взаимного чувства на всю жизнь».

Сразу стоит оговориться, что эта несколько навязчивая дидактика в рассказе «Возвращение» отсутствует, как отсутствует в ней и мелодраматический мотив «второго поцелуя», и никакие моральные новости Советской страны не нарушают, не замутняют житейской истории о гвардии капитане (в первоначальной публикации гвардии сержанте) Алексее Алексеевиче Иванове, который не может вернуться домой с войны: сначала уехать из части, где его дважды провожают с танцами и вином, клянясь в вечной дружбе, сослуживцы, а потом доехать до родного города, предварительно расставшись с волей и с девушкой Машей, его почти случайной попутчицей и недолгой любовницей, которую клянется не забыть он.

По контрасту с военной прозой «Возвращение» поражает отсутствием описания батальной стороны дела, сохранившегося в сценарии, где есть и война, и отступление до Волги, и наступление Советской армии в Европу, и образы союзников, и европейская девушка Габриэль, зарабатывающая на жизнь проституцией с

согласия своего бель-ами. В рассказе ничего подобного нет. Платонов избегает, казалось бы, единственно возможного пути изображения советского воина как мужественного человека, героя, не говорит ничего о его подвигах, доблестях и славе (если не считать сыновьего разочарования от скудости отцовских наград: «А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету», и так же скупно, с одной-единственной медалью вернулся домой старый солдат в «Никите»), и в этой принципиальной дегероизации, в резком снижении пафоса сказались мучившее писателя и занесенное в «Записные книжки» опасение: «Затанцуют, затопчут память о войне».

Платонов этих бесконечных танцев как в переносном, так и прямом смысле не хотел. Он воспринял победу не только как триумф и торжество народа, но и как новое, посланное ему испытание. «Мы победили всех животных, но все животные вошли в нас, и в душе у нас живут гады» — осталась запись в фронтовом блокноте. Война не только возвысила людей, она одновременно их душевно покалечила, поделив огромный народ на тех, кто воевал на фронте, и тех, кто сражался в тылу, дав каждой из сторон свой опыт жизни, коснувшийся каждой семьи, и помимо видимого присутствия смерти в жизни одних и кажущейся удаленности от нее других это различие сказало в горьких словах не по годам взрослого мальчика Петрушки в ответ на недовольство отца, что его сын «рассуждает, как дед, а читать небось забыл», говорящего: «...пускай я дед, тебе было хорошо на готовых харчах».

То, что война для Петрушки — это прежде всего готовые харчи («Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят»), означает меру правды в детском сознании, для Платонова с его давним вниманием к теме голода особенно страшную и

непоправимую. Но эта же пропасть разделяет мужчину и женщину, которая от невыносимой тоски изменила мужу с другим человеком и «ничего не узнала от него, никакой радости». Пожалуй, никогда у автора не было такого понимания женщины, ее психологии, естества, снисхождения к ней и одновременно возвеличивания ее, как в словах покаяния Любви Васильевны перед мужем: «...мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет! <...> Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..»

Сытый голодного не понимает, человек войны не может понять человека тыла («Что ты понимаешь в нашей жизни? — Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя»), взрослые не понимают детей («„Даты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток“. — „Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...“»), мужчины женщин («Правда говорят, баб много, а жены одной нету»)^[76], и об этой разделенности, о разобщении народа в войну и после нее Платонов и написал в «Возвращении» — произведении, которое можно было бы назвать

пацифистским (недаром Платонова обвиняли в «дешевом пацифизме», пусть даже и не за «Семью Иванова»), когда бы идеи рассказа не лежали гораздо глубже, отвечая не только на толстовский вопрос «что случилось с народом?», но и касаясь самой эгоистичной человеческой природы, чье спасение заключено в преодолении индивидуализма.

Петрушкины слова «у нас дело есть, жить надо» прямым текстом выразили платоновское вероисповедование, тем более драгоценное, что автор рассказа считался глашатаем уныния и пессимизма, «певцом смерти», да и сам уже наполовину ей принадлежал, об этом зная, но все равно — жить надо!

В «Возвращении» нет отрицательных героев и не действуют никакие сознательные злые силы. При всей остроте драматургического сюжета, подразумевающего нравственные конфликты между людьми по линии добра и зла, чести и бесчестья, благородства и низости, две незнакомые друг с другом соперницы — юная Маша, которая не решается спросить Иванова, женат он или нет, и Люба, у которой даже мысли нет задать мужу вопрос, был ли ей верен всю войну он, настолько поглощена она своей «виной», а также два «соперника» гвардии майора — эвакуированный Семен Евсеевич и безымянный инструктор, к которому потянулась Любовь Васильевна, потому что «он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно» — все они хорошие, славные люди. А прямым антагонистом себялюбца Иванова, не злодея, не негодяя, но своеобразного человека горы, взошедшего во время войны на вершину собственной гордости и доблести, оказывается его сосед дядя Харитон, который «тоже на войне был и домой вернулся».

Харитон — представитель народного, простосердечного сословия, которое, как только началась война, знало: «Отвоюемся, тогда все по

родным дворам разойдемся — кто к матери, кто к жене с ребятишками, а кто один был — тот семейство себе заведет». Слова, которые произносит герой написанной в 1942 году в Уфе пьесы «Без вести пропавший, или Избушка возле фронта», с их ясной, но при этом идеальной, сказочной и неизбежно возвышенной картиной мира (и этим опережающим углом зрения отличаются обе платоновские военные пьесы), подвергаются в «Возвращении» испытанию «низшим», и Харитон выдерживает его с той мерой чести и находчивости, которую ценит в нем автор:

«Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Аня, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают... Этот без руки сдружился с Аней, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Аней. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Аня плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом устал, не стал Аню мучить и сказал ей: „Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруся была, и тетка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была“. А сам смеется, и тетя Аня смеется, потом она сама хвалилась — Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: „Обманул я свою Аню, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было, и Магдалинки надобавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки,

его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...“».

История Харитона и его жены, рассказанная маленьким старичком Петрушкой в назидание родителям, — рассказ в рассказе, образец идеальной новеллы, героического анекдота о русском воине, но желаемого эффекта у слушателя, то есть у отца, рассказчик не достигает. Слова Петрушки ложатся мимо цели, хотя и вызывают в душе Иванова нечто похожее на угрызения совести или страх разоблачения. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Заключительные страницы «Возвращения», когда Иванов уезжает из дома, решив начать другую жизнь с дочерью пространщика, волосы которой пахнут природой, и вдруг видит своих детей, — редкий даже в русской литературе пример того, как использование запрещенного приема (в финальной сцене с бегущими за поездом мальчиком и девочкой можно увидеть попытку воздействия, говоря словами Ф. Человекова, на неврастенические свойства читателя) не убивает текст, а непостижимым образом возвышает его.

«Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Большой из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда, в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессиленных детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось

на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем».

Написанный летом 1945 года рассказ «Семья Иванова» предполагался для литературного журнала «Звезда», и здесь редко бывшая по отношению к земной судьбе Платонова его личная небесная звездочка на миг не то что б улыбнулась, но хотя бы перестала хмуриться, и писатель успел забрать текст из обреченного журнала до известного набега на русскую словесность, случившегося в августе 1946-го.

«Дорогой Андрей! Жалею, что ты взял от нас „Семью Иванова“, — писал редактор „Звезды“ В. Саянов. — Мне очень хочется напечатать тебя в „Звезде“, так как тебе хорошо известна моя любовь к тебе лично и твоим произведениям».

Однако автора это не спасло, хотя и смягчило удар: страшно даже представить, что было бы, попади Платонов в постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». С зимы 1945/46 года «Семья Иванова» была прописана в «Новом мире», главным редактором которого в середине 1946 года стал Константин Симонов, и странным образом повторился сюжет пятнадцатилетней давности, связанный с хроникой «Впрок», когда новому начальнику «Красной нови» А. А. Фадееву также вздумалось напечатать непризнанного автора и доказать, что никакой крамолы проза хмурого, нелюдимого, но очень одаренного человека не содержит и в главном он наш, советский писатель. Не исключено, что похожими мотивами мог руководствоваться и Симонов, но в итоге он наступил на те же грабли. Подготовленный, но не напечатанный прежней редколлегией «Нового мира» рассказ про

сержанта Иванова Симонову понравился, и медлить он не стал. «Семья Иванова» была опубликована в первом, подписанном им сдвоенном номере (№ 10-11 за 1946 год). То был демонстративный поступок, несомненно, уверенного в своем положении человека.

«Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в „Красной звезде“ и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов, — вспоминал позднее главный редактор „Нового мира“ 1946-1950 годов (игнорируя то обстоятельство, что „литературная нормализация“ Платонова уже произошла в годы войны, и таким образом Симонов в большей степени был озабочен интересами журнала, нежели Платоновым, что, впрочем, для главных редакторов „Нового мира“ — не в осуждение им будь сказано — всегда было делом традиционным). — Мы с Кривицким не предвидели беды. Ее предвидел только Агапов. Присоединившись к нашему доброму мнению о рассказе и добавив даже, что рассказ не только хороший, а превосходный, мудрый Агапов добавил: „В случае чего, будем считать, что я так же голосую за него, как и вы, но предупреждаю вас, что с этим рассказом у нас будет беда... <...> В свое время, если не изменяет эта стариковская память, ‘Красную новь’ чуть было не закрыли из-за опубликованной в ней вещи Платонова, был невероятный скандал, в связи с чем досталось Ермилову, еще больше, кажется, Фадееву, которого вызывали и мылили шею на самом верхнем полке... <...> В рассказе, — продолжал Агапов, — есть некоторые оттенки того особого, свойственного Платонову отношения к жизни и к людским поступкам, которое в былое время было очень не одобрено, о чем вас и предупреждаю, хотя рассказ, повторяю,

прекрасный, и если быть беде, то будем считать, что я вас ни о чем не предупредил».

Не знаю почему, но мы с Кривицким как-то очень легко отнеслись к этому предупреждению. Внутренне рассказ для нас продолжал то, что много раз печаталось в „Красной звезде“, то же свое, платоновское, не вызывавшее ничьих нареканий, — нам верилось, что так будет и на этот раз. А вдобавок было у нас и еще одно соображение: как-то не принято, только что назначив нового редактора, утвердив новую редколлегию, начинать колотить их за что-нибудь по первому же выпущенному ими номеру. В таких случаях обычно для начала первые грехи было принято отпускать».

Рассуждая умозрительно, Симонов 1946 года рисковал меньше Фадеева 1931-го: к моменту публикации «Семьи Иванова» Платонов был скорее на хорошем, нежели на плохом счету, недаром Семен Липкин приводил в мемуарах обмен репликами между Гроссманом и Платоновым в первые послевоенные месяцы: «Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают», а Платонов серьезно ответил: «Я теперь в команде выздоравливающих». Его если и ругали, то келейно и обреченно, примирившись с его манерой письма и даже с мировоззрением. «Религиозный, христианский гуманизм Платонова лично для меня неприемлем, но ведь в его творчестве это не новость, — написала Елена Книпович во внутренней рецензии на книгу рассказов „Вся жизнь“, которая готовилась к изданию в „Советском писателе“. — И если его рассказы с той же сущностью печатаются много лет, то нет никаких оснований не выпускать эту книгу».

Книги Платонова продолжали выходить, причем не только в Советском Союзе. В 1946 году вышел сборник «Рассказы о родине» во Франции, готовились переводы на немецкий, в издательствах лежали три готовых

сборника прозы. И хотя летом Платонову была возвращена заявка на книгу рассказов «Среди людей», а во второй половине года был неожиданно рассыпан набор сборника «Вся жизнь», это казалось досадной, но поправимой ошибкой, следствием литературных интриг («Это дело, конечно, Союза и издательства — кого включили в свой план и кого нет... Я не равняюсь с теми писателями, с которыми я не равен, однако и я хочу напечатать то, что достойно быть напечатанным», — писал Платонов Фадееву 10 декабря 1946 года), а не горьким предзнаменованием, перечеркивающим счастливый прижизненный эпилог платоновской жизни, однако... «Однако, увы, Агапов оказался прав», — заключил Симонов.

Четвертого января 1947 года, как раз в четвертую годовщину смерти Тоши, в «Литературной газете» появилась статья В. В. Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова», после которой с ее героем при жизни было фактически покончено. «Меня убьет только прямое попадание по башке», — писал Платонов жене с фронта. Три года спустя бомба его нашла...

Почему на сей раз учинить погром не поручили первому платоноведу республики А. С. Гурвичу, нечего и гадать: на носу была борьба с космополитами, и укрываться за спиной Абрама Соломоновича, у которого горела под ногами земля, чуткому профессору было не с руки, а может быть, зачесались пухлые ручки и захотелось самому с воплем разодрать на себе архиерейские одежды.

«Нет на свете более чистой и здоровой семьи, чем советская семья. Сколько примеров верности, душевной красоты, глубокой дружбы показали советские люди в годы трудных испытаний! Наши писатели правдиво писали об этом в своих рассказах, повестях, стихах. Редактору „Нового мира“ К. Симонову следует

вспомнить свое же собственное стихотворение „Жди меня“, воспевающее любовь и верность.

Все это, конечно, не означает, что писатель не должен касаться и отрицательных, порою болезненных сторон в семейной жизни того или другого человека. <...> Но к этой задаче нужно подходить с чистыми руками, с чистой совестью, с критериями нашей, советской, социалистической этики и эстетики.

Что общего имеет с этими критериями клеветническое стремление А. Платонова изобразить как типическое, обычное явление „семью Иванова“, моральную тупость главы этой семьи, цинизм „дяди Харитона“ и его жены!

А. Платонов давно известен читателю и с этой стороны — как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности. Мы не забыли и других мрачных, придавленных картин нашей жизни, нарисованных этим писателем уже после той суровой критики, какую вызвал „Впрок“. <...> Надоела читателю любовь А. Платонова ко всяческой душевной неопрятности, подозрительная страсть к болезненным — в духе самой дурной „достоевщины“ — положениям и переживаниям, вроде подслушивания разговора отца с матерью на интимнейшие темы. Надоела вся манера „юродствующего во Христе“, характеризующая писания А. Платонова. Надоел тот психологический гиньоль в духе некоторых школ декаданса, та нездоровая тяга ко всему страшенькому и грязненькому, которая всегда отличала автора „Семьи Иванова“. <...>

Советский народ дышит чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой цели — коммунизма. Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок героев А. Платонова».

«Мы с Тamarой ходим парой, санитары мы с Тamarой», — написала некогда Агния Барто. Назначивший себя классным санитаром на уроке современной русской словесности Владимир Владимирович Ермилов тоже ходил не один: вместе с ним проверял санитарное состояние советского общества платоновский адресат Александр Александрович Фадеев, назвавший «Семью Иванова» «лживым и грязноватым рассказцем», а о его авторе отозвавшийся как о писателе, который «не видит и не желает видеть лица советского человека, а уныло плетется сзади, в хвосте, являя собой пример обывательской косности и пошлости, перерастающей в злопахательство».

Чего добивался Фадеев, какими руководствовался мотивами и какие ставил перед собою цели, можно только предполагать. Существуют воспоминания Марии Александровны Платоновой, записанные Исааком Крамовым, из которых следует, что статью Фадеева Мария Александровна решила мужу не показывать. «Однако, когда пришла из магазина, увидела его сидящим на диване и газету, торчащую из-под подушки. Кто-то забежал, занес. Платонов был бледен. Горлом пошла кровь. Вечером к Платонову зашел Шолохов и утром следующего дня отправился к Фадееву, рассказал ему, что увидел накануне. Фадеев заплакал, схватился за голову и — выписал Платонову безвозмездно пособие через Литфонд — десять тысяч рублей».

Было ли это на самом деле, знает один Литфонд, подлинная роль Фадеева в судьбе Платонова по-прежнему до конца неясна, но для тяжелобольного Платонова денежная компенсация была ничтожной по сравнению с теми последствиями, которые имела для него зимняя кампания 1947 года, превосходящая по урону даже травлю 1931 года за хронику «Впрок», не

говоря уже о нападках Горького и Щербакова в 1935-м, Гурвича в 1937-м, да и тех же Ермилова с Фадеевым в 1939–1940 годах. После статей в «Литературной газете» и «Правде» Андрей Платонов подняться уже не смог, и все, что в последние годы жизни ни делал, за исключением обработки народных сказок, света не увидело. Впрочем, если быть совсем точным, то в 1947 году Платонова благодаря личному мужеству главного редактора А. А. Суркова несколько раз напечатал «Огонек».

Тринадцатого апреля 1947 года в пятнадцатом номере журнала был опубликован рассказ Платонова «Счастье вблизи человека», представлявший собой своеобразный осовремененный ремейк начальных фрагментов повести «Джан», только теперь действие переносилось в послевоенное время, Чагатаева звали Василием, а Вера была вдовой погибшего на войне офицера. Кроме того, там же, в «Огоньке», вышло несколько рецензий за подписью А. Климентова: на роман Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда» (благодаря чему произошло знакомство двух Платоновичей и появились очень скромные и честные воспоминания Некрасова об их встрече-прогулке по переулкам Москвы от Тверского бульвара до Собачьей площадки с заходом в распивочные — «деревяшки» и с характерным признанием мемуариста: «...о литературе, мне помнится, говорили меньше всего... но помню, что было хорошо»), на сборник сказок русского народа в обработке А. Н. Толстого, на рассказы Василя Стефанника и на роман Михаила Бубеннова «Белая береза». Наконец, в начале октября 1947 года в «Огоньке» был опубликован один из последних, если не самый последний платоновский рассказ «В далеком колхозе», лирический герой которого принимает решение не возвращаться в Москву, а остаться там, «где люди размышляют и работают, заботясь о своем

колхозе и обо всем народе <...> Я там мог бы оказаться полезным: я мог бы рассчитать, спроектировать и начертить водоспуск для прудовой плотины; я работал когда-то гидротехником» — слова, не только выражавшие идею возвращения в молодость, но и несбыточную, Сарториусову, предсмертную пушкинскую мечту автора — переменить судьбу.

Но и этот ручеек к концу 1947 года иссяк, из «Огонька» Платонов ушел, и вряд ли по доброй воле. Точно так же ушел он, а точнее, не смог войти в Детский театр, для которого написал в 1945–1946 годах неоконченную пьесу «Добрый Тит» и законченную пьесу о юном Пушкине «Ученик лицея», но ни та, ни другая поставлены не были, хотя по поводу последней Платонов обратился с письмом к А. А. Жданову с просьбой ее прочесть и дать возможность напечатать и поставить на сцене, «если с Вашей стороны не будет к тому возражений».

«Я обращаюсь к Вам потому, что некому решить этого вопроса, кроме Вас. Конечно, работники в редакции или в театре должны и могут решать такие вопросы, но в случаях со мной (когда я предлагаю им свои рукописи) эти вопросы почти всегда превращаются в практически неразрешимые — и мне либо возвращают рукописи без всякого суждения, либо рукописи вообще оставляются без ответа (они как бы не отвергаются и не принимаются)».

Неизвестно, было ли это письмо Ждановым прочитано, неизвестно даже, было ли оно отправлено (в платоновском архиве сохранился лишь черновик), но загубленная репутация писателя могла сыграть не последнюю роль в решительном идейном отказе Детского театра: «Несмотря на интересный материал, использованный Вами в произведении, и отдельные

удачные сцены, в целом пьеса создает искаженный образ молодого Пушкина и его современников»^[77].

Эта же репутация поставила барьер на его пути в советскую печать: в 1947–1949 годах новые произведения вновь очутившегося в команде прокаженных автора были без внятных разъяснений отвергнуты редакциями «Знамени», «Октября», «Смены», «Звезды», «Литературной газеты» и «Нового мира», а 24 февраля 1949 года в статье М. Шкерина «До конца разоблачить буржуазных эстетов-космополитов» Платонов был вновь упомянут в отрицательном контексте и назван упадочным писателем, причем речь шла о факте само собой разумеющемся и в доказательствах не нуждающемся.

На вопрос о том, почему, за что и с какой целью так жестоко и беспощадно наказали измученного, больного, обреченного на смерть и не причинившего никому зла фронтовика, современные исследователи отвечают по-разному. Самый изобретательный из платоноведов новейшего времени Евгений Александрович Яблоков в статье «Три семьи Иванова (О возможной подоплеке антиплатоновской кампании 1947 года)» высказал предположение, что за кампанией против платоновского рассказа «Семья Иванова» стоял Сталин, чей гнев Платонов сам сознательно спровоцировал, совершив «поступок преднамеренный и даже в известном смысле демонстративный», когда назвал свой рассказ так же, как называлась вызвавшая недовольство вождя пьеса покойного драматурга Александра Афиногенова, и тем самым заставил сатрапа «вспомнить и ту „персональную“ аллюзию, что лежала в основе ее фабулы... не случайным стал и разразившийся скандал: ожесточенная реакция на платоновский рассказ явилась своеобразным подтверждением того, что поступок оказался понят».

Наряду с этой увлекательнейшей гипотезой, подразумевающей изощренную интертекстуальную дуэль двух титанов мысли, каковая, по нашему смиренному суждению, произошла лишь в воображении Евгения Александровича, предположим иную психологическую и историческую подоплеку событий, связанных с «Возвращением», — «Семьей Иванова».

Дело, как нам представляется, было не только в Платонове и в его вызывающе дегероизированном рассказе, хотя конечно же знакомый с автором уже почти двадцать лет Ермилов знал все уязвимые места и «историю болезни» этого писателя и ту аллергию, которая была на него в Кремле. Дело было также и в другом человеке — в Константине Михайловиче Симонове. Платонову, как уже говорилось, невероятно повезло, что он избежал участи стать третьим в компании с Ахматовой и Зощенко, что, нет сомнения, произошло бы, не забирай он из «Звезды» вовремя свой рассказ. Однако, напечатавшись в симоновском «Новом мире» и невольно став неким знаком, новым камертоном журнальной политики, он попал из большого огня в немалое полымя.

История великой советской литературы свидетельствует о том, что двух главных редакторов ведущих литературных изданий «Нового мира» и «Литературной газеты» — Симонова и Ермилова — связывало взаимное чувство стойкой неприязни, отличавшее подлинных советских партийцев и особенно тех, кто имел отношение к изящным искусствам. Платонов со своей сомнительной репутацией, с клеймом, смыть которое не смогла даже война, снова, как и в истории противостояния Ермилова с «антипартийной группой» Лукача и журналом «Литературный критик» в 1937–1940 годах, оказался поводом не только для того, чтобы лишний раз потолковать о партийности в литературе и припречь

«беспринципный, безнравственный, объективистский и клеветнический рассказ» старого литературного врага, но и для того, чтобы обрушиться на выскочку Симонова, сделавшегося главным редактором «Нового мира» в тридцать лет, а тот факт, что Ермилов сам некогда возглавил «Красную новь» в двадцать восемь, ничего принципиально не менял, но скорее усиливал приступ ревности, зависти и ермиловской тоски по утраченному времени.

Второго февраля 1947 года Ермилов написал в «Правде»: «Не так давно вся наша общественность, партийно-советская печать единодушно осудила клеветнический рассказ А. Платонова „Семья Иванова“. <...> Но редакция „Нового мира“ до сих пор не сочла нужным сказать советской общественности, считает ли она ошибкой напечатание этого рассказа или же полагает, что была права, напечатав „Семью Иванова“. На днях вышла первая книжка „Нового мира“ за текущий год. В распоряжении редакции было целых три месяца для того, чтобы определить свое отношение к той критике, которой был подвергнут рассказ А. Платонова в печати. Мы нашли в первой книжке большую статью главного редактора журнала К. Симонова. И с удивлением мы обнаружили, что К. Симонов говорит в своей статье об очень многом, но ни слова не говорит о рассказе А. Платонова».

Симонов действительно не покаялся, позволил себе этот роскошный жест, а вернее, демонстративное отсутствие оного, хотя в мартовском номере «Нового мира» 1947 года это сделал за него старый платоновский знакомец, секретарь писательской парторганизации Л. М. Субоцкий, написавший в своих «Заметках о прозе 1946 года» о «глубоком неверии в организующую силу общественной морали» автора «Семьи Иванова» и обвинивший Платонова в том, что «в рассказе содержится открытая, с предельной ясностью

выраженная моральная санкция на анархизм и распущенность во взаимоотношении полов, всепрощение человеческих грехов», а «образ сержанта Иванова отталкивает читателя вопиющей аморальностью». И тем не менее сей приговор огласил пусть и на страницах журнала, который сам себя высек, Лев Субоцкий, а его начальник изящно умыл руки, и это уже могло больно ранить Александра Фадеева, который, оказавшись в похожей ситуации летом 1931 года, публично от Платонова отрекся, заорав от страха на всю ивановскую «распни его, распни!».

Панская драка литературных генералов больно отозвалась в судьбе отставного майора административной службы, ибо от Фадеева зависела судьба его будущих книг: они были зарублены, несмотря на то, что «Семью Иванова» Платонов из ее состава исключил еще в конце 1946 года, за неделю до ермиловского разноса.

«Дорогой Александр Александрович!

При этом посылаю рукопись (2 экз.) сборника „Вся жизнь“, что была разобрана в издательстве „Советский писатель“. Я немного изменил содержание книги: один рассказ заменил другим, два добавил».

Но дорогой Александр Александрович если что и сделал, то поставил на профессиональной деятельности подателя письма крест, и последующие неоднократные попытки Платонова добиться личной встречи с другом молодости («В этом третьем письме я снова обращаюсь к Вам с тою же просьбой — дать мне возможность увидеться с Вами, чтобы сообщить о своей работе. Есть вещи, которые никто, помимо Вас, не может решить», — писал он Фадееву 4 марта 1947 года), а также просьбы принять участие в его судьбе и даже определенная мера покаянности и признания своей ошибки («Настойчивость, с которой я обращаюсь к Вам, объясняется моим тяжелым положением и

необходимостью лечиться. Я понимаю, что я сам виноват в своем положении, но не из одного рассказа состояла моя жизнь и работа и не из ошибок будет состоять моя будущая работа», — напоминал он о себе 25 мая 1947-го) успеха не имели вплоть до января 1948 года, когда Фадеев Платонова все же принял.

Победила ли в душе Фадеева жалость или удовлетворенная гордыня — платоновские письма с переходом на почтительное «Вы» и просьба стать его личным цензором: «Для меня создалось такое положение, что... <...> я могу надеяться на опубликование какого-либо своего произведения, большого или малого, лишь в том случае, если оно просмотрено Вами и по нему есть Ваше суждение» — он мог рассматривать как акт о капитуляции, но после личной встречи руководителя с рядовым членом литературного союза, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Платонову было назначено ежемесячное литфондовское пособие размером в 750 рублей. Однако книга так и не вышла: поддерживая человека одной рукой, Фадеев другой его изничтожал...

«Зачем он это сделал? Почему? Меня волновало это, — писал в мемуарах „Глазами человека моего поколения“ Симонов. — Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал. Я не стал говорить с Фадеевым на эту тему, потому что, несмотря на всю свою неопытность, чувствовал, что разговор не выйдет или он будет неискренним. В чем дело? Почему он так поступил? Мне казалось, что как опытный политик он не должен был бояться того, что вслед за уже появившимися постановлениями последует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него. Или Фадеев все-таки так помнил рискованное положение, в котором когда-то оказался из-за Платонова, что не хотел даже и доли риска, даже самой малейшей — потому что ведь не ему

бы, случись что-нибудь, досталось в первую очередь. Или, как это было у него по отношению к некоторым людям, с которыми он столкнулся в более молодые годы, с которыми имел разногласия, которых тогда не любил или которым тогда не доверял, — он держал в памяти Платонова как человека, причинившего лично ему, Фадееву, зло? Как человека, которому вследствие этого ничего не следует прощать, ничего и никогда? Я знал несколько человек в литературе, к которым он именно так и относился — без пощады, без отпущения грехов. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в моем представлении дело было именно так.

А может быть, только вернувшись в Союз по инициативе Сталина, ему хотелось в эти первые месяцы показать себя на высоте задачи, одетого в броню твердости, непогрешимости и памяти — политической памяти, и пример этого был показан на Платонове? Не знаю. Во всяком случае, убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу по тому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика. Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова. Но обстановка тех месяцев не располагала к тому, чтобы пробовать куда-то жаловаться на эту статью. Рассказ Платонова был по настроениям того времени и по обстановке, сложившейся сразу после постановлений, в чем-то, конечно, уязвим. Можно было пройти мимо него, не вцепившись в него, но защищать его после того, как в него уже вцепились, да еще так громогласно, как это сделал Ермилов, имевший вдобавок пока что — повторяю, пока что — молчаливую поддержку Фадеева, было опасно, — не столько даже для журнала и его редактора, сколько для автора. В общем, мы проглотили

эту пиллюлю: идти до конца, до самого верха, в этом случае не хватило духу и пороху».

Итак, Симонов отрекся от Платонова не страха ради иудейска и даже не ради спасения журнала, а ради самого Платонова — логика совершенная! Укажем на источник, свидетельствующий о том, что это отречение далось ему не просто и не сразу. И больше того, Симонов сам все хорошо понимал и, возможно, пытался эту ситуацию переломить, тем более она задевала его лично.

Тесно связанная с редакцией «Нового мира» Л. К. Чуковская описывала в дневнике разговор с Симоновым в феврале 1947 года:

«— Мое положение особенно трудное, — сказал он. (Мы коснулись Платонова.) — Многие не любят меня, считают, что я вознесен не по заслугам и пр. И будут делать мне пакости. Но мне не могут пока — так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале. Это мешает мне быть особенно смелым. А зато другие будут в обиде, что я не такой смелый... Но каков подлец Ермилов! Этот товарищ схлопочет от меня по морде. В том же номере, где поносит Платонова, делает передо мной реверанс...

— Что ж Ермилов, — сказала я. — Это ведь только псевдоним. Ведь и „Правда“ повторила его версию, и „Культура и Жизнь“.

— Разве „Культура и Жизнь“ тоже? — спросил он.

— Да, — сказали мы в один голос с Ивинской.

Странно, что он этого не знал.

— Прочтя Ермилова, я немедленно послал в „Новый Мир“ телеграмму: заказать Платонову другой рассказ».

Возможно, такая телеграмма действительно была послана и заказ Платонову на другой рассказ был сделан, да только ни одной платоновской строки при Симонове напечатано не было. Когда в 1948-м Платонов отнес в «Новый мир» «Житейское дело», рассказ

проходной и в каком-то смысле антонимичный по отношению к «Возвращению» — в нем рассказывалась счастливая история рождения новой советской послевоенной семьи, и весь внутренний драматизм уходил во внешнее сплетение обстоятельств, — редакция его отвергла: «Рассказ „Новому миру“ не подходит». Симонов оставил автограф на рукописи и другого платоновского текста, поступившего в редакцию 11 марта 1948 года: «Я прочел. Дать прочесть Федину и Катаеву. К. С.».

Об этих отказах, о фактическом отречении от Платонова, о том, что в 1949 году он, Симонов, рассматривал рукопись последнего, составленного Платоновым авторского сборника прозы «У человеческого сердца», и, судя по всему, никоим образом его не поддержал — а меж тем Платонов просил Льва Славина: «Осмелюсь напомнить Вам о нашем разговоре в больнице: я просил Вас при случае поговорить с К. М. Симоновым. Кстати, я прошу Вас поговорить с ним и о моей книжке (рукопись „У человеческого сердца“), которая давно находится у него» — обо всех этих нюансах и деталях, в коих известно что кроется, автор мемуаров под неброским названием «Глазами человека моего поколения» написал уклончиво и скупно или же просто не написал ничего — забыл, должно быть, либо не придавал значения (а вообще скажи и ему, и Фадееву, и Федину, и Ермилову, и прочим литературным корифеям тех времен, что полвека спустя они будут интересны нам прежде всего потому, что имели отношение к Андрею Платонову, тому самому, кто смиренно «не равнялся с теми писателями, которым не равен» — как искренне, должно быть, удивились бы).

Гумилевский вспоминал о том, что «литературная общественность забросала протестующими письмами „Литературную газету“ и „Новый мир“», но «письма

наши Платонову не помогли». Эти факты также нуждаются в уточнении: кто именно и как протестовал против травли Платонова в 1947 году, не совсем ясно, но известно устное суждение Ильи Эренбурга, которое привела в дневнике Лидия Чуковская: «Симонов думает, что его журнал чем-нибудь будет отличаться, — напрасно. Будет та же серость. Ничего не дадут: вот ведь и Платонова не дали напечатать. Рассказ Платонова для Платонова — не лучший, но в журнале — из лучших...»

В воспоминаниях Симонова есть еще одно темное, точнее, сознательно затемненное место. Описывая встречу у Сталина 14 мая 1947 года, мемуарист воспроизводит следующий эпизод:

«...Фадеев заговорил об одном писателе, который находился в особенно тяжелом материальном положении.

— Надо ему помочь, — сказал Сталин и повторил: — Надо ему помочь. Дать денег. Только вы его возьмите и напечатайте, и заплатите. Зачем подачки давать? Напечатайте — и заплатите.

Жданов сказал, что он получил недавно от этого писателя прочувствованное письмо.

Сталин усмехнулся.

— Не верьте прочувствованным письмам, товарищ Жданов».

В комментариях к своим мемуарам Симонов написал о том, что имя писателя он «тогда, видимо, из чувства такта опустил, а сейчас не может вспомнить». Утверждать, равно как и отрицать наверняка, что этим писателем был Андрей Платонов и, таким образом, санкция свыше на его возвращение была получена, нельзя, но все же «напечатал» Платонова не Симонов и не Фадеев.

Единственным человеком, кто реально помог Андрею Платонову, когда все литературные пути для

него оказались перекрыты, кто добился того, чтобы его товарищу дали возможность заниматься обработкой и изданием народных сказок, стал Михаил Александрович Шолохов.

«Дорогой Михаил!

Благодарю тебя, что ты нашел время и прочитал три сказки. **Теперь нужно твое мнение сообщить в Детиздат.** Как это сделать? <...> Для меня это жизненно важно, — писал Платонов Шолохову 20 ноября 1947 года. — У меня есть несколько вопросов к тебе. Если бы удалось их решить, я бы, может быть, встал на ноги и избавился от своей болезни. Вопросы эти простые, но для меня, для моих сил, неразрешимые. Изложить их в письме долго и трудно. А увидеться с тобой нет возможности, как я ни желаю этого.

Один из вопросов — и самый главный — это организация дела издания русского эпоса. Ты сам понимаешь, что это значит. Оно имеет общенациональное значение. Без тебя мы этого дела не вытянем, с тобою оно пошло бы легко.

Я пишу тебе это письмо потому, что мне уже совестно тебе звонить и внезапно отрывать от работы. Я тебя ожидал вчера весь день, но, видно, у тебя совсем нет времени. С приветом Андр. Платонов. 20/XI 47 г.».

Это письмо примечательно тем, что оно свидетельствует не только о конкретной помощи одного писателя другому, не только о том, что действительно занимало Платонова в оставшиеся несколько лет жизни и кого он считал своим единственным реальным союзником в русском деле. Одновременно оно показывает, как трудно приходилось Платонову об этой помощи просить, но все же последняя его прижизненная книга, сборник русских сказок «Волшебное кольцо», вышла в 1950 году под редакцией автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» тиражом в 100 тысяч экземпляров, и о несколько

интригующей дружбе Шолохова и Платонова литературный мир Москвы был осведомлен (другое дело, что, учитывая напряженные отношения Шолохова и Симонова, Шолохова и Фадеева, эта дружба несла Платонову не только прямую пользу, но и сулила опасности и неприятности).

Еще одним неожиданным платоновским заступником стал писатель, Платоновым в 1940 году жестоко обиженный и очень не любивший, когда его обижали, — Михаил Михайлович Пришвин. Автор сказки-были «Кладовая солнца», незадолго до того получивший премию на конкурсе детских рассказов и вновь подтвердивший этим сочинением высокую литературную репутацию, написал 12 апреля 1947 года необычайно краткий, но столь же емкий и многозначный, по-хорошему резкий отзыв на сказку «Финист — Ясный Сокол», обработанную Платоновым и довольно критично оцененную профессиональным экспертом — фольклористом А. Н. Нечаевым.

Прочитав платоновскую работу и отзыв Нечаева на нее, Пришвин с несвойственным ему лаконизмом заключил: «Сказка Финист — Ясный Сокол в обработке Андрея Платонова удачно выбрана и отлично обработана. Заметки А. Н. Нечаева сделаны во малых случаях правильно и во всяком случае дают автору драгоценную возможность проверить себя в таком ответственном деле, как обработка сказок. Михаил Пришвин. Москва. 12.4.1947».

То есть говоря прямо: не нравится вам, как сделал Платонов, — сами обрабатывайте, только имейте в виду, ничего у вас не получится, ибо вы не из нашего цеха. Примечательно, что похожего мнения независимо от Пришвина придерживался и Платонов, когда, высоко оценив труды А. Н. Афанасьева, заключил, что его собрание русских сказок «страдает, однако, существенным недостатком: сказки обрабатывал

ученый, человек, любящий народное творчество и знающий его, но не художник; не будучи же художником, это дело вполне хорошо исполнить нельзя».

Для Пришвина, который еще в 1909 году, будучи никому не известным членом Географического общества, защищал от нападок и обвинений в плагиате своего младшего товарища и одновременно с тем учителя А. М. Ремизова, так же занимавшегося обработкой сказок и на этой ниве пострадавшего, профессиональная солидарность и помощь собрату по перу в затянувшейся войне писателей и фольклористов была делом чести, похоже, заставившим даже забыть про злую рецензию на «Неодетую весну», тем более что Пришвин эту повесть и сам годы спустя не слишком высоко ставил.

Мнение старейшего писателя свою роль сыграло (а неизвестно, чем бы все обернулось, отзовись Пришвин о довоенном рецензенте дурно), и Платонов получил допуск к теме, которая для него никогда не была чужой, ибо сказочное начало присутствовало в самых разных его произведениях от ранней воронежской прозы до опубликованной в 1947 году в «Огоньке» рецензии на книгу «Сказки русского народа».

«Вмешательство в процесс творчества народной сказки таких корифеев литературы, как Пушкин и Лев Толстой в прошлом, такого большого художника, как А. Н. Толстой в наше время, имеет своей целью восстановление, воссоздание наилучшего коренного варианта данной сказки из всех вариантов, созданных народом на тему этой сказки, — писал в той рецензии Платонов. — Но этого мало, писатели дополнительно обогащают и оформляют народную сказку силою своего творчества и придают ей окончательное, идеальное сочетание смысла и формы, в котором сказка остается пребывать надолго или навсегда».

Таким образом, цель была сформулирована, и Платонов продолжил начатое Алексеем Толстым при всей парадоксальности сближения этих имен дело, за которым угадывалась и важная задача, сформулированная им в вышепротитированном письме Шолохову. Недаром позднее в платоновском некрологе появились строки: «В последние годы своей жизни, будучи тяжело больным, Андрей Платонов отдавал много сил работе над народным эпосом». Глубокая правда была в том, что среди последних страниц начатой много лет назад одной большой платоновской книги, где какие только темы и сюжеты не возникали, какие бездны не разверзались и вершины не открывались, стали и эти, обращенные к детской душе волшебные слова и вечные образы, идеально сочетающие смысл и форму.

О платоновских сказках можно написать целое исследование. Больше того, их относительная по сравнению с другими произведениями писателя неизвестность и не востребованность — еще один пример великой литературной несправедливости, хотя еще в 1971 году в журнале «Вопросы литературы» пронципательнейший и очень хорошо Платонова почувствовавший писатель Сергей Павлович Залыгин отметил:

«Его внимание привлекли прежде всего те сказки, содержание которых касается трагической, очень жестокой и бескомпромиссной борьбы добра и зла, подлинной мудрости с воинственным заблуждением.

В них нет и следа той сглаженности, которая рассчитана иногда на милых деток, а иногда и на милых взрослых.

Здесь рубят головы и руки, и живое тело свертывают в петлю или рассыпают на части, здесь носители добра и не думают изображать ангелов — то и дело они сами заблуждаются, они обидчивы, а отчасти

и легковерны, поддаются подстрекательствам злодеев, и хотя мы всегда на стороне добрых, однако же далеко не всегда и не все их поступки можем одобрить».

Вошедшие в сборник «Волшебное кольцо» платоновские сказки — «Умная внучка», «Финист — Ясный Сокол», «Иван Бесталаный и Елена Премудрая», «Безручка», «Морока», «Солдат и царица», «Волшебное кольцо», а также невошедшие, авторские — «Неизвестный цветок», «Разноцветная бабочка», «Уля» и др. — суть такая же вершина творчества Платонова, как «Епифанские шлюзы», «Чевенгур», «Котлован», «Джан», «Третий сын», «Река Потудань», «Седьмой человек», «Возвращение». Взаимосвязь всех этих произведений, их глубинное родство и общая корневая система несомненны, пусть и не столь очевидны — на то они и корни.

Элемент собственного сказочного, волшебного в каждой из сказок рознится, а их связь с первоисточником, то есть с собственно народной сказкой, чьи сюжеты Платонов «обрабатывал», представляет собой отношения сотворчества. «Платоновское» проступает в каждой из них, но, пожалуй, особенно отчетливо в «Безручке» — сказке, по фольклорному своду хорошо известной. В ней рассказывается о судьбе сестры, оклеветанной своей невесткой, потерявшей по ее навету руки и чудесным образом их обретшей ради и благодаря спасению собственного сына, упавшего в колодец. Однако Платонов пошел гораздо дальше, распространив действие волшебной истории на войну, куда попадают главные герои — Безручка, ее муж и сын. Все они совершают подвиги, защищая родную землю, и в кульминационной сцене встречи-узнавания отца и сына на вопрос, кто у тебя отец с матерью, сын произносит очень важные в контексте платоновского народоведения слова:

«Нет у меня батюшки, и какой он был — не помню. А рос я с малолетства один у матери, земля была нашим ложем, а небо — покровом, а добрый народ был вместо отца.

— Народ всем отцам отец, — сказал так полководец, — я сам перед ним меньшей и наградить его не могу».

Можно почти не сомневаться — последнее было обращено непосредственно к «отцу народов», да и ко всем будущим «отцам нации».

Глава двадцать четвертая В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВО

Сведения о последних годах жизни Андрея Платоновича скудны и разноречивы.

«В 1948 году я вернулся в Москву. Сразу же пошел к Андрею. Знал, что он тяжело болен, что у него туберкулез, — вспоминал отсидевший несколько лет в лагере Виктор Боков. — Лежал он худой, обросший, изможденный. Моя встреча с ним оживила его, он загорелся желанием:

— Мария! Я должен чем-то отметить появление Виктора. Хочу сходить в Палашевские бани попариться.

Никакие возражения жены не могли остановить его. И пошли. И славно попарились.

— Что твой лагерь, — говорил по дороге Платонов, — туберкулез страшнее! В лагере можно отбыть, можно сбежать, а тут ни отбыва, ни сбега».

Еще одно свидетельство Бокова привел В. Шошин, которому мемуарист писал: «Много раз я бывал у Платонова, как вернулся из Сибири, на Тверском бульваре. Он больше лежал, но активность его мысли, его интерес к литературе не теряли своего накала и блеска разговора».

«В следующий мой к нему визит он уже лежал, — вспоминал Виктор Некрасов. — На тахте или диване, между двух окон, выходящих на Тверской бульвар. Болезнь свалила его. И каждый раз, когда я с кем-нибудь приходил к нему, а приходил я всегда почему-то не один, о чем весьма сожалею, он мило, чуть смущенно улыбаясь говорил:

— Вы знаете что? У меня к вам большая просьба. Тут недалеко на Тверской „Гастроном“. Так вот... Мне-то

самому нельзя, но так приятно будет смотреть на вас. Деньги у вас есть?

Собственно говоря, эта фраза произнесена была один только раз, в первый, когда денег у нас действительно было что-то не густо, зато в последующие разы специально бегать в „Гастроном“ уже не надо было — все было предусмотрено».

«...мучительно долго и тяжело умирая от туберкулеза, он уже с величайшей тщательностью отгораживал себя, диван, на котором лежал, посуду, которой пользовался, от других, — иначе запомнилось Гумилевскому. — Когда его навещал кто-нибудь из друзей, он, по нескольку раз, пока тот сидел возле его дивана, тоскливо спрашивал:

— Послушай, как же дальше будет?»

«К Андрею уже нельзя было приближаться, я сделала в его комнату высокий порожек, готовлю на кухне и посматриваю, а Сашка, внук, подползет, перелезть не может, смотрит на Андрея: „Пума, пума“, а Андрей смотрит с тоской, — рассказывала Мария Александровна Платонова. — Сашка жил у нас, они с Машенькой почти ровесники, Андрей очень тосковал, что ему нельзя их приласкать...»

«Он понимал, что уходит, и относился к близкому концу то с усталой отрешенностью, а то с яростью и буйством, готовый в такой миг схватить за глотку и близкого человека. Но стих ослепления быстро отходил, и Платонов обессиленно погружался в безмолвие не то дремоты, не то раздумья, — писал Август Явич, знавший Платонова еще по Воронежу, и разговоры их большей частью касались общей молодости. — „Молодость, брат, к нам уже вернуться не может. Разве что детство...“ — сказал Андрей врасстяжку и засмеялся коротким, негромким, хлипающим смехом, в котором слышались нотки горечи, непримиримости и непощения».

«Последние годы Платонова были омрачены тяжелой болезнью.

Он вел себя мужественно.

Он даже открыл некоторые радости в ней, — подражал рубленому стилю Шкловского Лев Славин. — Дело в том, что в эти горькие для него дни люди старались помочь ему. И Андрей Платонович радовался не только тому, что облегчили его существование, но и тому, что благодаря этому он открыл, что есть в мире целая группа людей, которые бескорыстно и деятельно заботились о нем.

Он говорил:

— Если бы не моя болезнь, я бы так и не узнал о любви ко мне стольких хороших людей».

«Пришел домой с войны совсем больным. Но продолжал постоянно работать, писать. К нему приходили Фраерман, Гроссман, Гумилевский, а большинство боялись к нему ходить, потому что до самой смерти за Андреем была слезка», — по-своему вспоминала Валентина Александровна Трошкина.

«Гроссман навещал его почти каждый день. Один раз мы пришли вместе. Никогда не забуду колючесветящейся долгой тоски в запавших глазах Платонова, его пожелтевшее худое лицо, тихий частый кашель», — писал Семен Липкин.

«Каверин, имеющий связи со светилами нашей медицины, обещал помочь раздобыть нужное лекарство. Он имел уже разговор об этом. Прилагаемое письмецо написано им тому человеку, который взялся устроить твоё лечение, — обращался к Платонову Гроссман 7 января 1948 года и добавлял: — Очень прошу, будь благоразумен, без легкомыслия и откладывания».

«Он болел. Его спасали всеми имеющимися в те времена средствами. Тогда только появился рондомицин.

Его покупали в Америке на золото. Шолохов и Леонид Леонов хлопотали перед министром здравоохранения об отпуске лекарства для лечения Андрея. Он уходил, таял. Лицо его чем-то напоминало лицо пророка. Я думал, что так же мог выглядеть больной Достоевский», — вспоминал Виктор Боков.

«Он умирал долго и мучительно, как Белинский, как Добролюбов», — заключил свой рассказ о Платонове Лев Гумилевский.

Разумеется, эти воспоминания и письма, характеризующие не только Платонова, но и их авторов, относятся к разным периодам времени в промежутке между 1947 и 1950 годами; болезнь то наступала, то отступала, и Андрей Платонович мог по-разному в разных ситуациях и с разными людьми себя чувствовать и вести, и все же сводить последние годы жизни писателя лишь к болезни было бы неверно.

Насильственно исключенный из современной ему литературы, он по-прежнему много работал. Попытка издать книгу прозы «У человеческого сердца» и в мае 1949 года просил Фадеева ускорить дело. В этом письме, впервые опубликованном Владимиром Перхиным, автором архивной работы «Андрей Платонов в письмах к Александру Фадееву (1946–1949)», немало ценного биографического и, что еще важнее, высокого человеческого материала о том, кто, по словам Виктора Некрасова, «в жизни не был писателем, но в писательском труде своем всегда оставался человеком».

«Я, конечно, не занимаюсь тем, что лишь ожидаю решения судьбы книжки, написанной прежде, — обращался Платонов к Фадееву. — В последние два года я работал над обработкой русского эпоса для Детиздата (гл. редактор издания М. Шолохов, и он знает эту мою работу), написал пьесу „Ученик лицея“,

написал одну повесть „На земляных работах“ (неудачную) и пишу новую „Вениамин Кузнецов“.

Но все мои новые работы задержались окончанием, потому что я тяжело болею туберкулезом, болею вот уже почти два года и сейчас лежу в больнице. Я благодарен тебе за твою доброту, за ту помощь, которую я получил в прошлом году. <... > Теперь я все еще болен, и меня не выписывают из больницы, однако врач говорит, что в начале июня меня можно выписать из больницы, но с тем, чтобы я сразу поселился жить под Москвой, т. к. у меня легкие останутся больными и подорвана сердечная деятельность. Выехать же я никуда не могу; для этого надо снять жилище на лето, надо жить и кормить семью, словом, надо иметь деньги. А я почти два года болею, работал от болезни недостаточно и впал в нужду, когда для меня еще возможно выздоровление. Конечно, если бы мои новые вещи, — хоть бы не все, — издавались скорее, я бы никогда не знал нужды, т. к. всегда стараюсь работать.

Я прошу еще, если просьба моя уместна, выдать мне пособие или ссуду на лечение. Беда моя в том, что я болею болезнью, от которой и умираешь долго, а если вылечишься, то лечиться нужно долго.

По выздоровлении я возьму все расходы, понесенные на меня».

Тридцатого мая 1949 года по ходатайству секретариата Союза советских писателей в Литературный фонд Платонову выделили три тысячи рублей. Вопрос об издании книги даже не обсуждался.

Три тысячи рублей были не очень большой суммой, но если учесть, что Платонов получал майорскую пенсию, то говорить о полной его нищете в последние годы несправедливо, как несправедлива версия про Платонова-дворника, убиравшего двор Литинститута и годная лишь для того, чтобы породить известный литературный анекдот. Однако по сравнению с

писателями-современниками он жил действительно скудно, и эта скудость касалась не только его самого, так и оставшегося до конца дней человеком очень нетребовательным и неприхотливым, но и близких ему людей, про которых, разумеется, можно сказать словами булгаковского героя: «...что ж, тот кто любит, должен разделить участь того, кого он любит». Они и разделили, испив эту чашу сполна.

«Сестра прожила с ним труднейшие годы. Сколько людей предлагали ей руку и сердце, она ведь была очень красивой, но у нее даже в мыслях не было бросить Андрея. Так прошли они вместе рука об руку через эту мученическую жизнь», — вспоминала Валентина Александровна Трошкина.

«Многое в ее характере было мне и Гроссману чуждо, но подчеркну ее преданность таланту мужа. Марья Александровна считала, что Платонов выше всех писателей, незаслуженно, по ее мнению, знаменитых, а такую преданность писательской жены надо ценить», — писал Семен Липкин.

В последний год жизни Платонов продолжал писать. Он работал над пьесой «Ноев ковчег», другое ее название (или же подзаголовок) «Каиново отродье». В ней отразились реалии конца 1940-х — начала 1950-х годов, когда человечество вновь оказалось на пороге катастрофы и два мира были готовы столкнуться друг с другом в последней схватке и уничтожить все живое на Земле. Платонову этот конфликт и перспектива подобного финала были более чем понятны, он предсказывал опасность рукотворных катастроф еще в середине двадцатых годов в «Эфирном тракте», где ученый Исаак Матиссен устроил нечто подобное тому, что сотворили в «Ноевом ковчеге» американцы, осуществившие по ходу действия пьесы атомный взрыв в водах Атлантики.

«Американское правительство решило ужаснуть социалистические нации массовым взрывом атомных бомб, чтобы затем атаковать эти нации и поработить их. Как известно, в результате разрушительного взрыва атомных бомб в базальтовой оболочке земного шара образовались скважины и трещины. Через них из глубочайших недр Земли начали фонтанировать могучие извержения девственных вод. Наступил всемирный потоп».

Этот сюжетный поворот может рассматриваться также в качестве своеобразного эпилога к повести «Ювенильное море», и в этом смысле «Ноев ковчег» логически завершал апокалиптические размышления Платонова над взаимодействием человека и природы, суши и воды, царства подземного (котлован) и надземного (Вавилонская башня или гора Арарат).

Антиамериканизм, антиимпериализм представлены в пьесе обильно и широко, начиная от веселой песенки, которую напевает находчивый руководитель американской археологической экспедиции Шоп Эдмонд:

Весь мир — трактир,
Веселые мы янки.
Пропьем мы мир,
Пропьем его до дыр!
Идем мы к вам, прекрасные турчанки! —

и заканчивая созданным американцами же Сильвестром Чадоеком, спецчеловеком Соединенных Штатов Америки, воином авангарда, космополитом земного шара и новым человеком будущего мира — то ли роботом, то ли зомби, выращивающим в своем теле смертоносные бактерии, — так причудливо преобразился один из мотивов «Кутемалийского

офицера» и черновых вариантов хроники «Впрок». Но никакой измены себе в последней пьесе Андрея Платонова не было, а было подтверждение неизменных идеалов: презрение к эгоизму («Я всю жизнь сам себя хочу поцеловать», — признается шпион Секерва) и к наслаждению как высшей ценности человеческой жизни (эту философию гедонизма представляет сластолюбивый Шоп с его жизненным кредо: «Что такое американец без удовольствия?» и основным вопросом своей философии: «Нам некогда наслаждаться — вот в чем драма жизни»). Снова возникает сатирическое изображение мужской похоти («Он смотрел куда-то ниже меня. — Он на ваш таз смотрел, он понимает в женском инвентаре»), противопоставление высшего и низшего планов бытия, причем порой в пародийной форме («Во мне нет ничего возвышенного, есть одно низшее только»), неприятие правящей элиты, относящейся к окружающим как к быдлу.

Речь в пьесе идет о двух Америках — одной, представленной шпионами и интеллектуалами, и другой, от имени которой радист Генри Полигнойс горестно восклицает: «Зачем ты из Америки, из моей родины, делаешь воровку, убийцу?..» Но гротескно изображая никогда не виденный им западный мир, населяя его самыми разными героями — американским конгрессменом, еврейским цадиком, японским православным священником (произносящим замечательную, очень важную для Платонова фразу: «Русский человек говорит: тело у него большевистское, а духу него Божий»), придуманной кинозвездой Мартой Такс (которую Шоп пытается соблазнить и слышит в ответ: «Отойди от меня, негодяй! Тебе страдать нужно, а не наслаждаться, пошлая тварь!») и непридуманным норвежским писателем Кнутом Гамсуном (по отношению к нему автор предельно безжалостен: «...он пишет книги посредством лирического расслабления

желудка»)^[78], Уинстоном Черчиллем, супругой Чан Кайши, папским нунцием и прочими чудаками — и надевая этот мир отчасти советскими чертами — очковтирательством («Неужели вы не понимаете: в самом вопросе было желание положительного ответа, а в желании было приказание, а приказание мы должны исполнить!» — говорит Шоп Секерве и получает в ответ: «Раз они нужны, они будут! Такова воля Америки!»); страхом перед наказанием («Я вас спрашиваю, профессор, — отвечайте мне, или вы ответите за свою ложь, за свой этот Ноев ковчег в Америке, — ответите в худшей, в суровой обстановке, уверяю вас!»); всеобщей слежкой друг за другом («Это его за нами следить прислали. Разведка за разведкой, крест на крест, так вполне бывает. <...> А за ним, за братом, тоже следят, а за тем, кто за ним, тоже... Это великая система!»); претензией на мировое мессианство и цензурой («Америка забивает все станции, она слушает только самое себя»), Платонов демонстративно выводит за скобки реальный советский мир. Он переводит его в идеальный план и превращает Советский Союз в заоблачное царство-государство, у которого не только никаких внутренних изъянов нет, но которому вопреки законам физики потоп не страшен: гору Арарат заливают по макушку, а по ту сторону границы советский тракторист спокойно пашет землю, покуривая трубку и до слез возмущая лишенного из-за катаклизма табака беднягу Черчилля, да московское радио передает игру трио баянистов, когда весь капиталистический мир катится ко всем чертям.

Гиперболическое могущество красной империи в «Ноевом ковчеге» сродни волшебству из сказок, которые одновременно с пьесой писал Платонов: страна не боится внешних угроз и готова помочь всему прогрессивному человечеству кораблями и

продовольствием, она непобедима, широка, горда, но слишком очевидно, что это не та голодающая, разрушенная войной Россия, в которой жил и которую хорошо знал Платонов, в 1946–1948 годах ездивший в Тамбовскую, Воронежскую, Рязанскую и Смоленскую области, написавший статью «Страхование урожаев от недородов», вызванную голодом 1946 года, и направивший в 1947 году в Министерство сельского хозяйства письмо об учреждении общества по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, а некое параллельное образование, большевистский двойник коммунистического СССР, наделенный былинными чертами («Большевиков надо уничтожить трижды, чтобы они погибли один раз»), уцелевший и достигший расцвета Чевенгур.

Этот мир-двойник откровенно пародиен и куда менее реален, нежели мифологические герои пьесы — брат Иисуса Христа Иаков, глухонемая сирота Ева и вечный странник Агасфер, и чего-чего, а двусмысленности, за которую Платонова в иные времена больно били, в его последнем произведении было хоть отбавляй. Вряд ли он этого не понимал, и отзыв А. Тарасенкова на «Ноев ковчег», отправленный им сменившему Симонова новому редактору «Нового мира» А. Т. Твардовскому в начале февраля 1951 года, был несправедлив по существу:

«Я прочел пьесу А. Платонова „Ноев ковчег“. Ничего более странного и больного я, признаться, не читал за всю свою жизнь. Не сомневаюсь, что пьеса эта есть продукт полного распада сознания. <...> Видно, у Платонова был какой-то антиамериканский замысел. Он получил чудовищную деформацию, надо полагать, вследствие тяжелой болезни автора. Диалоги бессвязны, алогичны, дики, поступки героев невероятны. То, что говорится в пьесе о товарище Сталине, — кощунственно, нелепо и оскорбительно. **Никакой речи**

о возможности печатать пьесу не может быть. Представить интерес она может только с научно-медицинской точки зрения».

Опасливый Тарасенков либо не дал себе труда задуматься над прочитанным, либо сообразил, что медицинский диагноз есть наилучшее решение той проблемы с самыми непредсказуемыми последствиями, каковую внутренне очень стройный и логичный «Ноев ковчег» в себе нес. Похоже высказался и Симонов: «Всерьез говорить об этой вещи, по-моему, нельзя, как бы ее ни рассматривать».

Отзыв Тарасенкова на «Ноев ковчег» напоминает реакцию Горького на «Мусорный ветер» («...обнажается ирреальность содержания рассказа, а содержание граничит с мрачным бредом»), Параллель эта тем важнее, что и в «Мусорном ветре» Советский Союз существовал в идеальном абстрактном плане, в мозговых видениях главного героя, не имеющих ничего общего с действительностью — в «Ноевом ковчеге» же мотив ирреальной идеальности Советского государства доведен до абсурда.

«Ноев ковчег», он же «Каиново отродье», не был попыткой написать пьесу на заданную тему с целью пробиться к зрителю (и в этом ее принципиальное отличие от булгаковского «Батума» — тоже последней пьесы своего создателя, но очевидно нацеленной на прижизненный успех). Финальное проявление платоновского хулиганства, поступок, достойный Москвы Ивановны Честновой, горькая и гротескная правда о человеческой цивилизации каинов, которая ничему не научилась и которой ни революция, ни коллективизация, ни война — ничто не пошло впрок, свою историю она проиграла, а потому ничего кроме потопа не заслужила.

Но все же не эту неоконченную, никем пока не поставленную пьесу («Сцена Платонова все еще

пуста», — точно заметил Андрей Битов в предисловии к недавно изданному тому платоновской драматургии «Ноев ковчег») следовало бы считать платоновским завещанием, если о таком позволительно говорить. Его произведения последних лет с трудом поддаются датировке, но можно предположить, что два маленьких рассказа, две философские притчи — «Неизвестный цветок» и «Уля» — стали последним его словом, обращенным к граду и миру, его своеобразным «Памятником» в прозе.

Если идея обращенного в будущее «Неизвестного цветка» достаточно прозрачна и рассказ прочитывается как желание и своеобразное предчувствие автором своего посмертного признания и примирения с судьбой^[79], то с «Улей» все гораздо сложнее. Не вполне ясна дата ее создания (Н. В. Корниенко убеждена в том, что «Уля» была написана в конце 1930-х годов), и тем не менее именно этой сказкой нам бы хотелось закончить книгу о Платонове.

Даже на фоне самых многозначительных, самых трудных для истолкования платоновских вещей «Уля» кажется неким ребусом. История жизни странной девочки, чьи никогда не закрывающиеся до конца глаза показывали людям их истинное лицо, меняя свой цвет и свет, и заставляли от нее бежать, но сама она, показывая людям правду, этой правды не знала («В самой-то ней вся правда светится, а сама она света не понимает, и ей все обратно кажется. Ей жить хуже, чем слепой»), есть, по-видимому, образное выражение платоновского самоощущения, автометафора природы его творчества и его оценки современниками.

Выращенная чужими, пусть даже добрыми и заботливыми людьми, Уля однажды встречается с родной матерью, и та целует ее в полузакрытые глаза.

«Поцелуй матери исцелил Улины глаза, и с того дня она стала видеть белый свет, озаренный солнцем, так же обыкновенно, как все другие люди. Она смиренно глядела перед собой серыми ясными глазами и никого не боялась. Она видела правильно — прекрасное и доброе, что есть на земле, ей теперь не казалось страшным и безобразным, а злое и жестокое прекрасным, как было без родной матери.

Однако в глубине Улиных глаз с этого времени ничего не стало видно: тайный образ правды в них исчез, Уля не почувствовала горя, что правда более не светится в ее глазах, а ее родная мать тоже не опечалилась, узнав об этом.

— Людям не нужно видеть правду, — сказала мать, — они сами ее знают, а кто не знает, тот и увидит, так не поверит...»

Уля излечилась от своего мучительного дара нести людям тайный образ правды (и можно предположить, превратилась в Ульяну Петровну из «Июльской грозы»), а ее создатель — нет. Он был обречен нести свой мучительный дар до конца своих дней, непринятый, непонятый, гонимый современниками, но десятилетия спустя мы судим об их поступках и мечтах, о высотах и провалах их времени, о красном взрыве, едва не уничтожившем и обескровившем в XX веке Россию, — по Андрею Платонову. Не только, разумеется, по нему, но по нему — прежде всего и глубже всего.

Хорошо известна формула Черчилля (старого большевика и боевого коня генерала Сталина, по остроумному замечанию героини «Ноева ковчега» семидесятипятилетней летчицы герцогини Винчестерской), которую иногда приводят в спорах о Сталине: «Он получил Россию с плугом и оставил ее с атомной бомбой». Вошедший в литературу тогда, когда страна пахала плугом, и доживший как раз до атомных бомб, Платонов показал, что за этой формулой стоит.

Почему Платонова не уничтожили при жизни, где он столько раз стоял на краю? Еще в раннем рассказе «Жажда нищего» уцелевший в коммунистическом аду мрачного будущего герой спрашивал: «Почему я еще цел и не уничтожен мыслью? Это было единственной тайной мира, другие давно сгорели...»

Так смыкались концы и начала жизни.

«За месяц до смерти за ним пришли трое молодцов из МГБ, забирать, — рассказывала Мария Александровна. — Я показала им на него, истаявшего — „забирайте“. Махнули рукой, ушли».

Было это на самом деле, не было?.. Но умер он в своей постели.

«5 января скончался талантливый писатель Андрей Платонович Платонов, — начинался некролог в симоновской „Литературной газете“, и после краткой биографии следовало заключение: — Андрей Платонов был кровно связан с советским народом. Ему посвятил он силы своего сердца, ему отдал свой талант».

Под некрологом в следующем порядке стояли подписи: А. Фадеев, М. Шолохов, А. Твардовский, Н. Тихонов, К. Федин, П. Павленко, И. Эренбург, В. Гроссман, К. Симонов, А. Сурков, Р. Фраерман, К. Паустовский, А. Кожевников, М. Пришвин, Б. Галин, В. Ильенков, В. Ковалевский, Л. Славин, И. Сац, Б. Пастернак, Е. Габрилович, В. Московский, А. Кривицкий, Н. Денисов, К. Буковский.

Любознательный читатель может соотнести имена этих людей с той ролью, которую они в судьбе покойного сыграли, а заодно задаться вопросом, кто из нижеподписавшихся был на похоронах, о времени и месте проведения которых газета писала:

«Гражданская панихида состоится в воскресенье, 7 января с. г., в 2 часа дня, в Союзе советских писателей (улица Воровского, 52).

Похороны состоятся в тот же день в 3 часа на Армянском кладбище (за Краснопресненской заставой)».

Его похоронили в воскресенье на православное Рождество.

Сохранилось описание похорон, сделанное Юрием Нагибиным в дневнике: «Этого самого русского человека хоронили на Армянском кладбище. <...> Гроб поставили на землю, у края могилы, и здесь очень хорошо плакал младший брат Платонова, моряк, прилетевший на похороны с Дальнего Востока буквально в последнюю минуту. У него было красное, по-платоновски симпатичное лицо. Мне казалось: он плачет так горько потому, что только сегодня, при виде большой толпы, пришедшей отдать последний долг его брату, венков от Союза писателей, „Детгиза“ и „Красной Звезды“, он поверил, что брат его был, действительно, хорошим писателем. Что же касается вдовы, то она слишком натерпелась горя в совместной жизни с покойным, чтобы поддаться таким „доказательствам“...

— А Фадеев тут есть? — спросил меня какой-то толстоногий холуй из посторонних наблюдателей.

— Нет, — ответил я и самолюбиво добавил: — Твардовский есть.

— И где? — спросил холуй.

— Вон тот, в синем пальто, курит.

Кстати о Твардовском. Один из лучших видов воспитанности — крестьянская воспитанность. К сожалению, она проявляется лишь в таких важных и крайних случаях, как рождение или смерть. Все присутствующие на похоронах евреи, а их было большинство, находились в смятении, когда надо снять, а когда одеть шляпу, можно ли двигаться, или надо стоять в скорбном безмолвии. Твардовский же во всех своих действиях был безукоризнен. Он точно вовремя

обнажил голову, он надел шапку как раз тогда, когда это надо было сделать. Он подошел к гробу, когда стоять на месте было бы равнодушием к покойнику, он без всякого напряжения сохранял неподвижность соляного столпа, когда по народной традиции должен пролететь тихий ангел. Он даже закурил уместно — словно дав выход суровой мужской скорби.

Когда комья земли стали уже неслышно падать в могилу, к ограде продрался Арий Давыдович и неловким, бабьим жестом запустил в могилу комком земли. Его неловкий жест на миг обрел значительность символа: последний комок грязи, брошенный в Платонова.

Наглядевшись на эти самые пристойные, какие только могут быть похороны, я дал себе слово никогда не умирать...

А дома я достал маленькую книжку Платонова, развернул „Железную старуху“, прочел о том, что червяк „был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой старик“, и заплакал...»

Далеко от Москвы на втором лагпункте первого отделения Минлага зэка Федот Сучков написал «натерпевшейся от горя» жене письмо, переданное окольным путем через вольнонаемных рабочих:

«Уважаемая Мария Александровна! (Извините, если я перепутал Ваше отчество.) Сегодня утром, собираясь на работу, я увидел под подушкой товарища по нарам (сам он был в ночной смене) уголки газет. До выхода на „развод“ оставалось минут десять, и я решил просмотреть два-три номера. Когда я приподнял подушку, обрадовался, т. к. это оказались номера „Литературной газеты“, сравнительно свежие. Это были январские газеты... Через минуту я узнал о смерти Андрея Платоновича.

Я не скажу Вам решительно ничего, если повторю слова некролога, написанного в том же неискреннем духе, который Андрей Платонович несомненно чувствовал в течение всей своей жизни...

От нас ушел редкий художник слова. Россия потеряла писателя, который любил ее больше, чем она его...»

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Платон Фирсович Климентов, отец писателя. «Я сильно любил и люблю своего отца»



Мария Васильевна Климентова (урожденная Лобочихина), мать писателя. «Мать не вытерпела жить долго»



***«Я родился в Ямской слободе, при самом
Воронеже...»***



Андрей Климентов. 1900-е гг. ОР ИМЛИ. «Он был когда-то нежным печальным ребенком»



Платон Фирсович Климентов с сыновьями Семеном и Сергеем



Здание четырехклассного городского училища, которое окончил будущий писатель. Воронеж, ул. Б. Девиченская. Начало XXв.



***Михаил Васильевич Лобочихин, дядя Андрея
Платонова***



Андрей Платонов. Начало 1920-х гг.



Здание рабочего железнодорожного политехникума, где в 1919-1921 годах учился Андрей Платонов. «Бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец»



Философ Николай Федоров. Портрет работы Л. О. Пастернака



***Георгий Литвин-Молотов, редактор газеты
«Воронежская беднота», «которому я обязан своим
лучшим и чистым прошлым и, может быть, буду
обязан будущим»***



Философ Василий Розанов: «Я не хочу истины, я хочу покоя»



***Александр Блок: «...сказать такие слова, каких
давно не говорила наша усталая, несвежая и
книжная литература»***



Владимир Келлер, критик, близкий друг А. Платонова. «Нас сблизило и сроднило лучше и выше любви общее нам чувство: ощущение жизни как опасности, тревоги, катастрофы...»



Валерий Брюсов: «В своей первой книге А. Платонов — настоящий поэт, еще неопытный, еще неумелый, но уже своеобразный»



Вожди революции на праздновании второй годовщины Октября. «Троцкий — революционер-артист, гордый, острый дух революции, страсть восстания и ненависти... Ленин — русский ясновидящий мужик, сумевший прямо и просто дойти до сердца другого мужика...»



Андрей Платонов (в центре) среди воронежских мелиораторов. Середина 1920-х гг. «Нам безвольные трусы и пошехонцы не нужны. Нам требуется энергия, знание и бесстрашие, прокорректированное знанием. Воля, распорядительность, железная организация...»



Борис Пильняк. «Пильняк совершил по отношению ко мне дружеский акт»



Виктор Шкловский: «Познакомился с очень интересным коммунистом. Заведует оводнением края, очень много работает, сам из рабочих и любит Розанова»



Первая книга Андрея Платонова, выпущенная издательством «Молодая гвардия». 1927 г.



***Мария Кашинцева, будущая жена писателя.
«Мария, я вас смертельно люблю. Во мне не
любовь, а больше любви чувство к вам»***



***Александр Семенович и Мария Емельяновна
Кашинцевы с дочерьми Марией и Валентиной. ОР
ИМЛИ. 1900-е гг.***



***Платон Платонов, сын писателя. ОР ИМЛИ. 1924 г.
«Родимая прекрасная Мария. Мне сегодня снился
сон: на белой и нежной постели ты родила сына»***



Мария Платонова с сыном в Крыму. ОР ИМЛИ. Лето 1927 г. «Тотка, стервец, слушай маму!»



***Тоша Платонов (на велосипеде) во дворе школы.
ОР ИМЛИ. Москва. Конец 1920-х гг.***



Александр Фадеев: «В „Октябре“ я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова „Усомнившийся Макар“, за что мне поделом попало от Сталина, — рассказ анархистский»



Александр Воронский: «Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя еще неуклюж»



Михаил Пришвин. Соловки. 1933 г. «Возможно, что у человека есть основание для испуга...»



Мария Платонова. «Муза моих рукописей и сердца... Оттого и моя литературная муза печальная, что ее живое воплощение — ты — трудно мне достаешься»



«Тотику — поцелуй, объятие и катание верхом в далекой перспективе». ОР ИМЛИ



Андрей Платонов: «Страна темна, а человек в ней светится». ОР ИМЛИ



***Иосиф Сталин: «Контрреволюционный пошляк!..
Мерзавец; таковы, значит, непосредственные
руководители колхозного движения, кадры
колхозов?!»***



Торжественный вечер, посвященный Максиму Горькому. Москва. 1928 г. «Не нужно ли срочно послать в ваш колхоз ликвидационно-прорывочную бригаду писателей? Я член культбригады... — Писателей?.. А они умные?..»



Воронежские писатели: Андрей Платонов, Андрей Новиков, Николай Тришин. «Среду профессиональных литераторов избегает.»

***Непрочные и не очень дружеские отношения
поддерживает с небольшим кругом писателей»***



***Андрей Платонов. Москва. 1947 г. «Мои идеалы
однообразны и постоянны»***



**Мария Александровна с сыном. ОР ИМЛИ. Алупка.
Июнь 1935 г. «Дорогая Мария. Почему ты не
пришлешь письма? Или ты поступаешь по-
старинному — „с глаз долой — из сердца вон?“»**



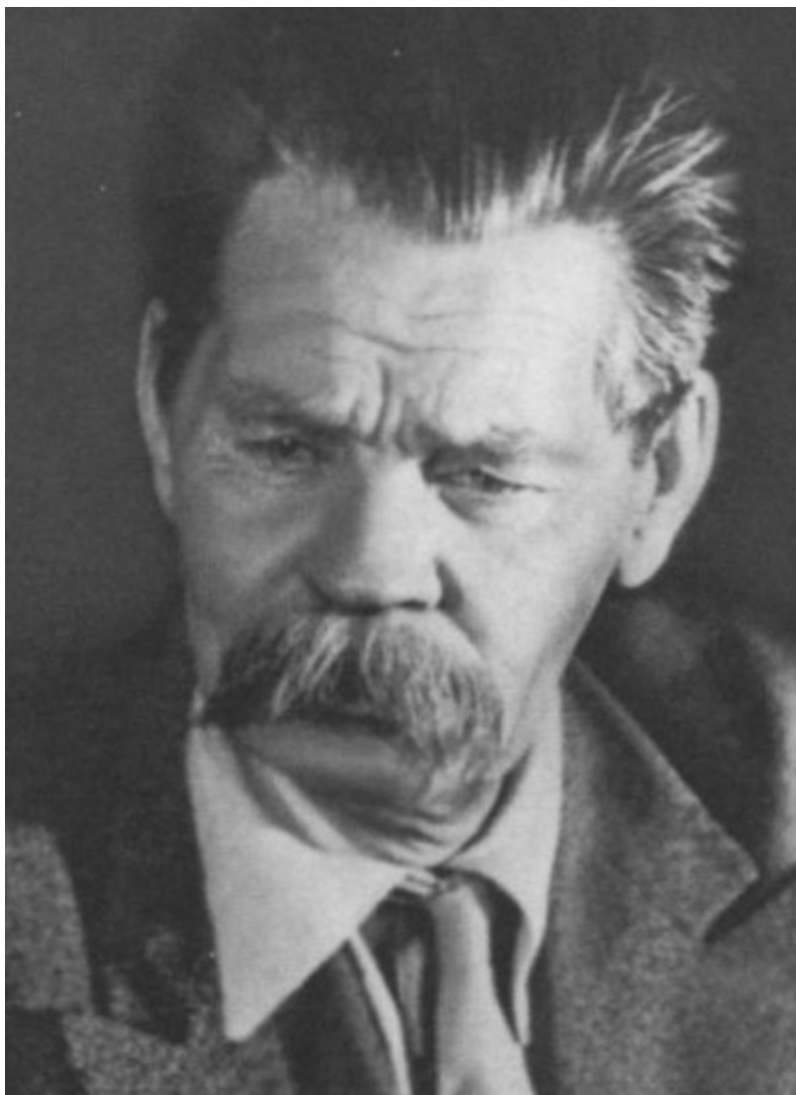
Семья Платоновых на прогулке. ОР ИМЛИ. «По словам жены, за последние месяцы весьма изменил свои резко пессимистические взгляды в творчестве и в разговорах»



Василий Кудашев, Артем Веселый, Михаил Шолохов. Берлин. 1939 г.



Лев Гумилевский и Сергей Буданцев — друзья А. Платонова. «Пусть пишет рассказы. Это лучше, чем хулиганить в подворотне»



Максим Горький: «...не пригодно пессимистическое размышление А. Платонова. Советую Вам отказаться от публикации этого материала, сохранив его для будущего...»



Леонид Леонов: «Отжившая мечта становится ядом»



***Нарком путей сообщения Лазарь Каганович.
«Постойте, я забыла Вам сказать — да здравствует
тов. Каганович!»***



***Григорий Зиновьев, один из лидеров
объединенной оппозиции. «Социализм и
злодейство — две вещи несовместимые»***



Андрей Платонов с женой. «Как бы я хотел любить тебя легко, беззаботно! Нет, я люблю тяжело»



Поэт Виктор Боков с женой: «Меня притягивало к Платонову с невероятной силой»



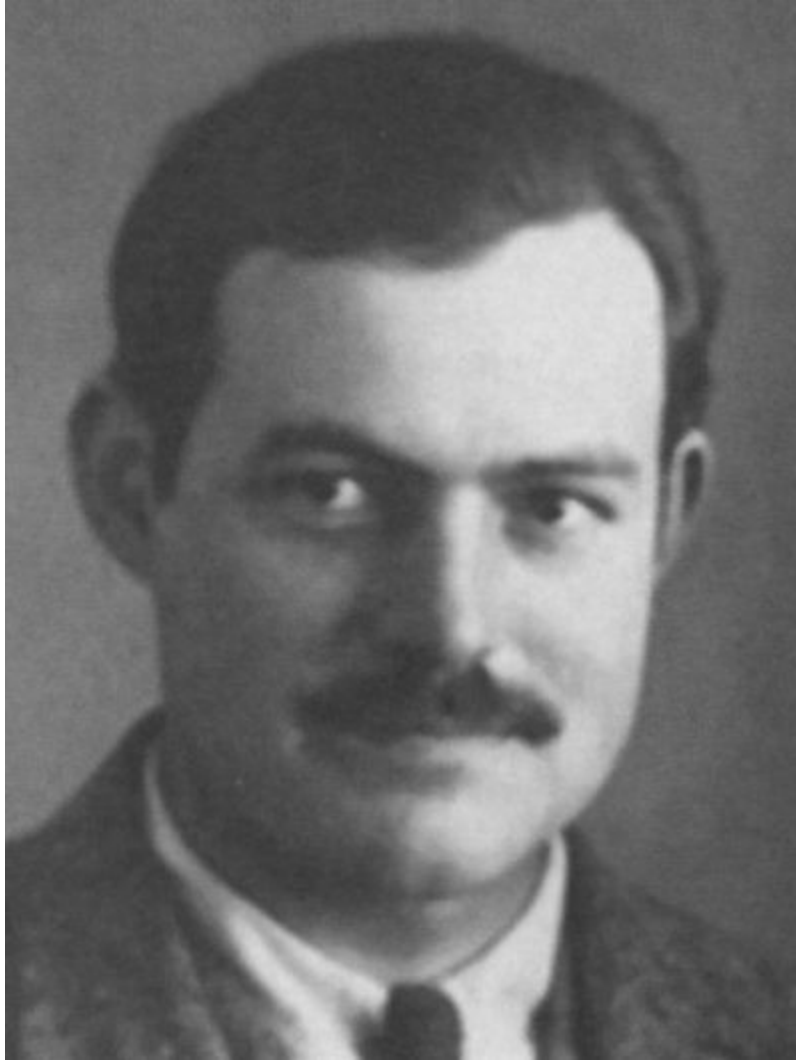
Писатель Андрей Новиков: «За гибель Сталина!»



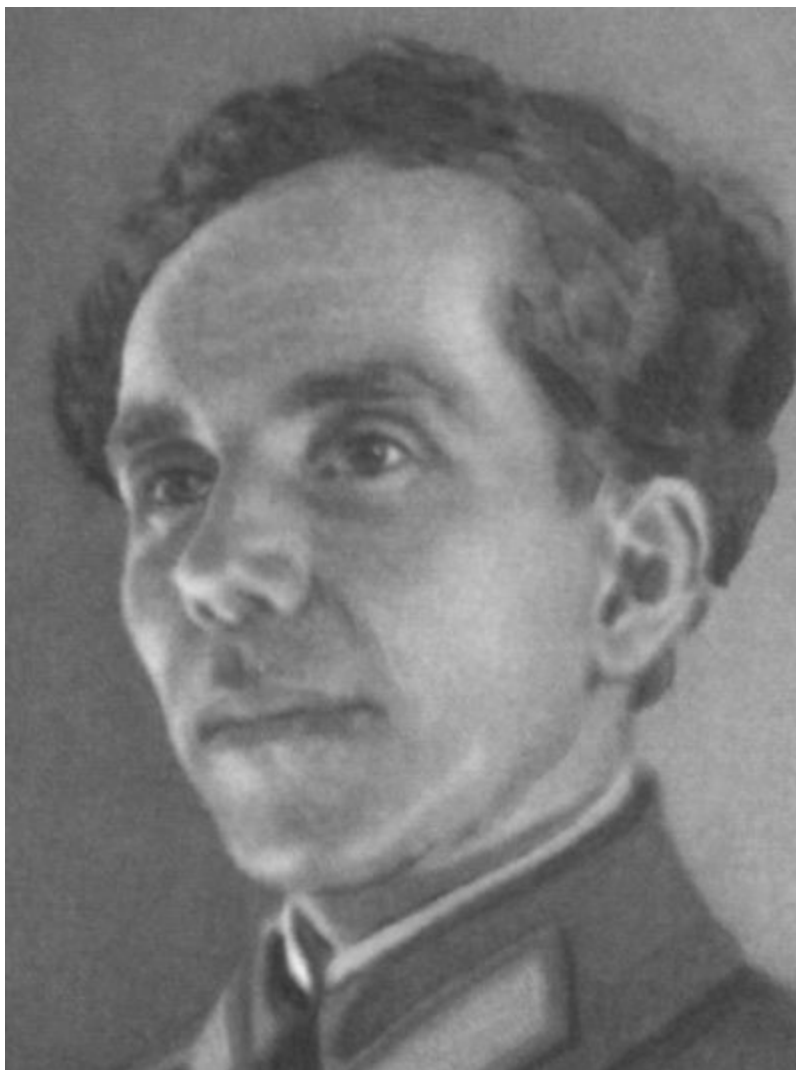
***Андрей Платонов с женой и сыном. ОР ИМЛИ.
Коктебель. 1936 г. «Платонов казался зябнущим
даже на коктебельском солнце»***



«Еще Тотка настолько дорогой, что страдаешь от одного подозрения его утратить»



Эрнест Хемингуэй, прочитав в переводе «Третьего сына», признал Платонова одним из немногих писателей, у которых надо учиться



Николай Островский. «Он был самым нежным, мужественным и верным сыном нашего народа»



***Владимир Маяковский. «Подвиг Маяковского
состоял в том, что он истратил жизнь, чтобы
сделать созданную им поэзию сокровищем
народа»***



Анна Ахматова. «Голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности»



***Платон Платонов с женой Тamarой. ОР ИМЛИ.
1941 г. «Я взяла паспорт, и мы запросто пошли в
загс»***



***Последний снимок с сыном. Ноябрь 1942 г.
«Больше всего я беспокоюсь за нашего Тотика.
Будем его хранить, а после войны у нас с тобой
еще будет ребенок»***



А. Платонов — военный корреспондент. «Здесь совсем другая жизнь. Я впитываю ее в свою душу — жалко только, что душа моя довольно стара и не совсем здорова»



Константин Симонов: «Многие не любят меня, считают, что я вознесен не по заслугам... И будут делать мне пакости. Но мне не могут пока — так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале»



Юрий Нагибин: «Я ему долго подражал, вернее, пытался подражать»



Виктор Некрасов: «А я его знал. Лично знал. Даже книжечку с надписью имею...»



Василий Гроссман: «„Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают“. — „Я теперь в команде выздоравливающих“»



Семен Липкин. «Садист на закуску»



Мария Александровна Платонова с внуком Сашей и дочерью Машей. ОР ИМЛИ. Вторая половина 1940-х гг. «Дела мои в литературе плохие, будущее мое темно, а от меня зависят маленькие прелестные существа — Кхы и Сашка»



Рисунок Андрея Платонова 1940-х годов. ОР ИМЛИ



**Маша Платонова с бабушкой Марией
Емельяновной. ОР ИМЛИ. 1940-е гг. «Целую Кхы и
Сашку. Привет Ещебабе»**



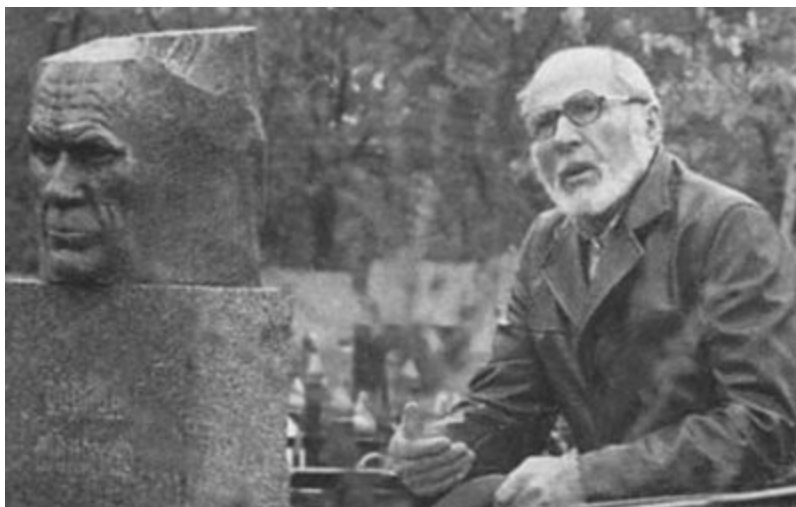
Мария Андреевна Платонова, дочь писателя



Михаил Шолохов. «Один из вопросов — и самый главный — издание русского эпоса... Без тебя, Михаил, мы этого дела не вытянем»



Александр Фадеев, «...я могу надеяться на опубликование какого-либо своего произведения, лишь в том случае, если оно просмотрено Вами и по нему есть Ваше суждение»



Скульптор Федот Сучков: «Россия потеряла человека, который любил ее больше, чем она его»



Кабинет Андрея Платонова в последней квартире



Платоновская научная конференция: Наталья Корниенко, Андрей Битов, Мария Платонова (дочь), Юрий Кублановский. Москва. 1999 г.



Последняя фотография Андрея Платонова с женой и дочерью. ОР ИМЛИ. Москва. 1950 г. «Пока я люблю и могу любить, не может быть, чтоб плохо было на свете, да и не будет плохо»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. П. ПЛАТОНОВА [\[80\]](#)

1899, 16 августа (28 августа по новому стилю) — в семье Платона Фирсовича Климентова (1870–1952) и Марии Васильевны Климентовой, урожденной Лобачихиной (1875–1929), родился первенец Андрей.

22 августа — крещен в Троицком Смоленском кафедральном соборе г. Воронежа.

1906(1907) — поступает в церковно-приходскую школу при Троицком соборе.

1909(1910) — поступает в мужское четырехклассное училище. 1912–1914 — начинает писать стихи, посылает в Петербург в литературные журналы и получает ободряющий отзыв.

1914, июнь — заканчивает училище.

Осень — принят на должность конторского служащего в губернское отделение столичного страхового общества «Россия».

1915 — работает конторщиком в Обществе Юго-Восточных железных дорог.

1916, июль — поступает на трубочный завод на должность литейщика.

1917 — работает в Воронежских железнодорожных мастерских. Опубликован рассказ «Сережка».

1918, весна — осень — служит в Контроле сборов Юго-Восточных железных дорог.

1 июня — в воронежском журнале «Тени» опубликовано стихотворение «Юноше».

5 октября — во втором номере журнала «Железный путь» опубликован рассказ «Очередной».

Ноябрь — поступает на историческое отделение историко-филологического факультета Воронежского

университета.

1919, 19 января — в журнале «Жизнь и творчество русской молодежи» опубликована статья «Об искусстве».

Январь — июнь — работает помощником секретаря редакции «Железного пути».

Весна — знакомится с Георгием Захаровичем Литвиным-Молотовым.

Апрель — публикует статью «К начинающим пролетарским поэтам и писателям».

Май — уходит из университета.

Июнь — поступает на электротехническое отделение Воронежского рабочего железнодорожного политехникума, становится членом-сотрудником воронежского Комсожура.

Июль — командировается в Новохоперск по заданию губернской газеты «Известия Воронежского губисполкома».

Август — работает помощником паровозного машиниста. Сентябрь — переводится рядовым стрелком в железнодорожный отряд.

Сентябрь — октябрь — участвует в столкновениях с казаками 3-го Кубанского кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта А. Г. Шкуро.

28 декабря — начинает печататься в газете «Воронежская коммуна».

1920, весна — становится действительным членом воронежского Губкомсожура.

Март — начинает сотрудничать с ежедневной газетой «Красная деревня».

3 июля — первый творческий вечер Платонова в клубе «Железное перо».

21 июля — принимается в кандидаты в члены РКП(б).

10 августа — опубликован рассказ «Чульдик и Епишка».

22 августа — опубликован «Ответ редакции „Трудовой армии“ по поводу моего рассказа „Чульдик и Епишка“».

Август — входит в состав временного правления воронежского Союза пролетарских писателей.

17, 20 октября — в «Воронежской коммуне» опубликована статья «Культура пролетариата».

18—21 октября — участвует в Первом Всероссийском съезде пролетарских писателей в Москве в качестве делегата с правом решающего голоса.

27 декабря — делает доклад об электрификации на губернском съезде работников печати.

Конец года — знакомится с Марией Александровной Кашинцевой, своей будущей женой.

1921, 1 января — в «Воронежской коммуне» опубликован рассказ «Жажда нищего» под псевдонимом «Нищий».

Февраль — март — посылает свои произведения в Госиздат.

Март — в журнале «Кузница» опубликован рассказ «Маркун».

29 июня — зачислен в курсанты губернского Коммунистического университета.

29 июля — смерть сестры Надежды и брата Дмитрия после отравления грибами в летнем лагере.

Июль — публикует статьи о недопустимости выхода из рядов РКП(б) («Коммунист принадлежит будущему»; «Ответ мещанину»).

Август — пишет резкие статьи в связи с голодом в Поволжье, в том числе не опубликованную тогда статью «Всероссийская колымага».

Октябрь — начинает сотрудничество с воронежской «Нашей газетой», ведет рубрику «Наш край».

30 октября — исключен из кандидатов в члены РКП(б) как шаткий и неустойчивый элемент.

30 декабря — исключен из Губсовпартшколы за систематическое непосещение лекций.

1922, 6 января — публикует статью «Коммунизм и сердце человека» в задонской газете «Свободный пахарь».

Конец января — начало февраля — принимает участие во Втором Всероссийском съезде работников печати.

5 февраля — поступает на работу в Губернское земельное управление.

15 марта — назначается политическим руководителем отделения сельскохозяйственной мелиорации воронежского Губземотдела.

Март — апрель — в краснодарском журнале «Путь коммунизма» опубликован рассказ «Сатана мысли».

Июль — в Краснодаре в издательстве «Буревестник» выходит книга стихов «Голубая глубина».

25 сентября — рождение сына Платона.

7 ноября — присутствует при крещении Платона; опубликован рассказ «Потомки солнца».

1923, начало года — планирует строительство гидроэлектростанции на реке Воронеж.

Март — апрель — в воронежской газете «Репейник» начата публикация неоконченного романа «Немые тайны морских глубин» под псевдонимом Иоганн Пупков.

Июнь — публично отказывается от сотрудничества с новым литературным журналом, организованным Г. С. Малюченко. Июнь — октябрь — руководит Воронежским государственным мелиоративным бюро.

Лето — комиссия по постройке гидроэлектростанции на реке Воронеж, возглавляемая А. П. Платоновым, приступает к проведению изыскательских работ; планируется создание судоходного Воронежско-Донского пути.

Октябрь — ноябрь — в журнале «Печать и революция» выходит рецензия В. Я. Брюсова на книгу стихов «Голубая глубина». Вторая половина года — знакомится с А. К. Воронским.

1924, январь — февраль — публикует ряд рецензий в журнале «Октябрь мысли».

Февраль — вторично подает заявление с просьбой принять его в ряды РКП(б).

1 марта — назначается руководителем Части по электрификации сельского хозяйства (Губэлектрозем) при воронежском Губземотделе.

Лето — отсылает в Комитет по делам изобретений ВСНХ проект паровой турбины внутреннего сгорания и предложение о применении электрического тока при консервировании мяса в растворах. Посылает в Москву на литературный конкурс рассказ «Бучило».

5 июля — пишет письмо Г. З. Литвину-Молотову о желании уехать из Воронежа и заняться литературной работой.

Август — сентябрь — открытие в Воронежской губернии общественно-мелиоративных работ.

23 августа — деятельность заведующего мелиочастью Платонова высоко оценивается представителем Наркомзема.

10 октября — общественно-мелиоративные работы в Воронежской губернии отмечаются центральной властью как лучшие в СССР.

Октябрь — в журнале «Красная нива» опубликован рассказ «Бучило».

15 ноября — в «Воронежской коммуне» опубликована статья «Мелиоративные работы в нашей губернии».

14—22 декабря — находится в командировке на Волховстрое и заводах Ленинграда. Пишет очерк «Огни Волховстроя» (опубликован в «Воронежской коммуне» 1 января 1925 года).

1925, 29 января — 3 февраля — принимает участие в краевом совещании по общественно-мелиоративным работам.

Конец марта — начало апреля — инспектирует строящиеся плотины на реках Воронежской губернии.

Конец июня — встречается с В. Б. Шкловским.

18—20 июля — созывает губернское мелиоративное совещание. Конец года — работает над «Антисексусом».

1926, февраль — избирается в состав ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ на Всероссийском совещании мелиораторов.

25 марта — пленум районного комитета партии утверждает решение об отказе Платонову в его заявлении о приеме в ВКП(б). Конец мая — начало июня — переезжает в Москву.

15—18 июля — пленум Всесоюзного секретариата секции землеустроителей освобождает Платонова от занимаемой должности в ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ.

Лето — пишет статью «Фабрика литературы», отказывается ехать на работу в должности мелиоратора в одну из губерний Центрального района.

Осень — приступает к написанию романа о Пугачеве (замысел реализован не был).

21 октября — принят на должность инженера-гидротехника отдела мелиорации и водного хозяйства НКЗ (народного комиссариата земледелия).

7 ноября — в «Журнале крестьянской молодежи» опубликован рассказ «Как зажглась лампочка Ильича».

Начало декабря — уезжает в Тамбов, работает над повестью «Эфирный тракт».

1927, 1 января — заканчивает повесть «Эфирный тракт».

Январь — работает над «Епифанскими шлюзами».

Февраль — работает над повестью «Город Градов».

Март — возвращается в Москву, поступает на службу в Центросоюз.

Апрель — май — пишет повесть «Сокровенный человек» (первоначальное название «Страна философов»).

Июнь — в журнале «Молодая гвардия» опубликована повесть «Епифанские шлюзы»; работает над киносценарием «Песчаная учительница».

Июль — в издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Епифанские шлюзы».

Лето — осень — пишет повесть «Ямская слобода», приступает к работе над повестью «Строители страны» (будущий «Чевенгур»). Сентябрь — подвергается выселению вместе с семьей из Центрального дома специалистов.

Осень — зима — уезжает из Москвы и живет с семьей в Ленинграде у тестя А. С. Кашинцева.

Ноябрь — в журнале «Молодая гвардия» опубликована повесть «Ямская слобода».

1928, начало года — выходит книга «Сокровенный человек».

Первая половина года — знакомится с Б. А. Пильняком, некоторое время живет у него, продолжает работу над «Чевенгуром». Апрель — в журнале «Красная новь» опубликована повесть «Происхождение мастера».

Май — июнь — заканчивает роман «Чевенгур».

Июнь — в «Новом мире» опубликован рассказ «Приключение», в «Красной нови» — «Потомок рыбака» (оба текста — фрагменты «Чевенгура»).

Сентябрь — октябрь — вместе с Пильняком пишет пьесу «Дураки на периферии».

Декабрь — публикует очерк «Че-Че-О» (в соавторстве с Б. А. Пильняком) в «Новом мире».

1929 — смерть матери (точная дата неизвестна).

Май — пишет очерк «В поисках будущего (Путешествие на Каменскую писчебумажную фабрику)».

Июнь — встречается с А. М. Горьким; в журнале «Октябрь» опубликован рассказ «Государственный житель».

19 августа — посылает А. М. Горькому роман «Чевенгур». Сентябрь — в журнале «Октябрь» опубликован рассказ «Усомнившийся Макар»; получает письмо Горького с отказом в содействии напечатать «Чевенгур».

28 сентября — в газете «Вечерняя Москва» напечатана статья В. Стрельниковой «Разоблачители социализма. О подпольщиках».

14 октября — в «Литературной газете» опубликован «Ответ В. Стрельниковой. Против халтурных судей».

Ноябрь — в журналах «Октябрь» и «На литературном посту» напечатана статья Л. Л. Авербаха «О целостных масштабах и частных Макарах».

Ноябрь — декабрь — пишет либретто «Машинист».

3 декабря — в «Правде» перепечатана статья Л. Л. Авербаха. Конец года — отправляется в составе писательской бригады на Ленинградский турбинный завод им. И. В. Сталина; в издательствах «Молодая гвардия» и «Федерация» подготовлен набор романа «Чевенгур».

1930, февраль — в журнале «Октябрь» опубликован очерк «Первый Иван».

Март — пишет «бедняцкую хронику» «Впрок».

Апрель — в Воронеже в ходе следствия по «делу мелиораторов» бывшие подчиненные Платонова дают показания, обвиняющие его во вредительстве.

Май — принят на курсы химической промышленности при Наркомате тяжелой промышленности.

Лето — едет в командировку от газеты «Социалистическое земледелие» по районам Средней и

Нижней Волги, пишет очерки «По заволжским МТС» и «За большевистского счетовода в колхозе!», работает над повестью «Котлован».

Октябрь — декабрь — пишет пьесу «Шарманка».

1931, первая половина года — работает над «Техническим романом»; получает квартиру в проезде Художественного театра.

Май — в журнале «Красная новь» опубликована хроника «Впрок».

8 июня — пишет письмо И. В. Сталину.

9 июня — направляет «покаянное» письмо в редакции «Литературной газеты» и «Правды».

14 июня — пишет второй вариант письма в редакции двух газет. 17 июня — в Воронеже выносится обвинительное заключение «контрреволюционной группе мелиораторов», возникшей в 1924 году «при руководящем участии б. губмелиоратора Платонова».

3 июля — в газете «Известия» опубликована статья А. А. Фадеева «Об одной кулацкой хронике».

24 июля — пишет письмо А. М. Горькому.

Август — едет в командировку по колхозам Заволжья от общества писателей-краеведов.

Осень — работает над повестью «Ювенильное море» и пьесой «Высокое напряжение».

1932, первая половина года — переезжает на Тверской бульвар, дом 25.

1 февраля — во Всероссийском союзе советских писателей проходит «творческий вечер» А. П. Платонова.

Март — А. М. Горький и Л. М. Леонов дают положительный отзыв на пьесу «Высокое напряжение».

29 мая — поступает на работу в трест Росметровес.

Июнь — вторично направляет пьесу «Высокое напряжение» А. М. Горькому.

Сентябрь — октябрь — находится в командировке в Киргизии.

В течение года — делает первые наброски к пьесе «14 красных избышек», работает над романом «Счастливая Москва» и романом о Никодиме Стратилате. Ни одной публикации; договоры с издательствами расторгнуты.

1933, 23 мая — пишет письмо А. М. Горькому с просьбой о встрече.

Начало июля — пишет письмо Л. Л. Авербаху и просит включить его в писательскую бригаду, отправляющуюся на строительство Беломорканала.

13 июля — обращается с той же просьбой к А. М. Горькому.

23 сентября — пишет письмо А. М. Горькому с просьбой о помощи.

Конец года — работает над рассказом «Мусорный ветер».

В течение года — ни одной публикации.

1934, февраль — в журнале «30 дней» напечатан рассказ «Любовь к дальнему».

19 февраля — посылает А. М. Горькому рассказ «Мусорный ветер».

25 марта — в составе писательской бригады уезжает в Туркмению.

4 апреля — едет в Красноводск и Нефтедаг.

16 апреля — отправляется в Центральные Каракумы.

Середина мая — возвращается в Москву.

Сентябрь — в журнале «Красная новь» и в туркменском юбилейном сборнике «Айдинггюнлер» печатается рассказ «Такыр».

В течение второй половины года — работает над романом «Македонский офицер» и рассказом «Течение времени», продолжает работать над романом «Счастливая Москва».

1935, 18 января — в «Правде» напечатана статья Н. Н. Никитина «Дремать и видеть наполовину» о

рассказе «Такыр».

20 января — вторично отправляется в Туркмению по приглашению правительства республики, работает над повестью «Джан».

17 февраля — Н. И. Бухарину и Л. З. Мехлису докладывают об отрицательном отношении А. М. Горького к Платонову.

Начало марта — возвращается в Москву из Туркмении.

5 марта — выступление на Втором пленуме Союза писателей секретаря Союза писателей А. С. Щербакова, содержащее резкие нападки на Платонова.

Апрель — рукопись повести «Джан» сдана в журнал «Красная новь» и альманах «Две пятилетки».

Лето — работает над различными вариантами повести «Джан». Конец лета — отказ в публикации повести «Джан».

1936, январь — в первом номере журнала «Красная новь» выходят рассказы «Нужная родина» и «Третий сын».

Февраль — едет в командировку по линии НКПС (Народного комиссариата путей сообщения) на станцию Красный Лиман для встречи с героем-железнодорожником.

10 марта — рассказ «Бессмертие» получает высокую оценку В. П. Ставского на общемосковском собрании писателей.

Март — пишет киносценарий «Воодушевление», увольняется из Росметровеса.

Март — апрель — едет в командировку на станцию Медвежья гора. Апрель — работает над рассказом «Лобская гора», рассказ «Третий сын» опубликован на французском языке в журнале «Интернациональная литература».

Июнь — в шестом номере журнала «Красная новь» напечатан рассказ «Семен».

13 июля — в Союзе писателей проходит обсуждение рассказа «Среди животных растений».

Август — «Литературный критик» печатает рассказы «Бессмертие» и «Фро» с предисловием редакции.

4 сентября — выступает на активе редакции «Красной нови» в связи с политическими процессами.

Сентябрь — в «Литературном критике» напечатана пародия под псевдонимом Ф. Человекова на пьесу В. Соловьева «Улыбка Джоконды»; знакомится с Л. И. Гумилевским; пишет рецензию «Книги о великих инженерах».

В течение года — работает над романом «Счастливая Москва»; пишет киносценарий «Отец-мать».

1937, январь — в журнале «Литературный критик» опубликована статья «Пушкин — наш товарищ»; в «Литературной газете» (№ 5) напечатана статья «Преодоление злодейства».

Февраль — март — едет из Ленинграда в Москву по маршруту А. Н. Радищева.

Май — в рассказе «Знамя» опубликован рассказ «Старик и старуха».

Июнь — в «Литературном критике» опубликована статья «Пушкин и Горький».

Август — сентябрь — выходит книга рассказов «Река Потудань». Ноябрь — в «Литературном критике» публикует статью о Николае Островском; в «Красной нови» напечатана статья А. С. Гурвича «Андрей Платонов».

20 декабря — публикует статью «Возражение без самозащиты» в «Литературной газете».

1938, январь — в журнале «Звезда» напечатана статья Б. О. Костелянца «Фальшивый гуманизм», содержащая критику книги «Река Потудань».

Февраль — заключает договор с издательством «Советский писатель» на книгу о Николае Островском; печатает рецензии «Творчество советских народов» в журнале «Литературное обозрение» (№ 3) и «Рассказы А. Грина» (№ 4).

Март — печатает статью «Джамбул» в журнале «Литературный критик» (за подписью А. Фирсов).

28 апреля — арестован пятнадцатилетний сын писателя Платон Андреевич Платонов.

4 мая — на квартире Платоновых произведен обыск.

Июнь — закончена и сдана в издательство «Советский писатель» рукопись книги о Николае Островском.

Июль — пишет рассказ «Июльская гроза»; в журнале «Новый мир» опубликован рассказ «Ольга» («На заре туманной юности»). Август — отдает в издательство «Советский писатель» рукопись книги «Размышления читателя».

23 сентября — Платон Платонов осужден Военной коллегией Верховного суда СССР сроком на десять лет.

30 сентября — в «Литературной газете» опубликован в сокращенном виде рассказ «Июльская гроза».

22 октября — заключает договор с «Советским писателем» на издание книги «Размышления читателя».

Ноябрь — рассказ «Июльская гроза» опубликован в журнале «Октябрь».

1939, март — в журнале «Литературное обозрение» публикует отрицательную рецензию на роман Л. А. Кассиля «Вратарь республики».

Май — в парижской газете «Последние новости» опубликована статья Г. В. Адамовича «Шинель» с высокой оценкой творчества Платонова.

Июнь — в журнале «Индустрия социализма» опубликован рассказ «Родина электричества».

Июль — в журнале «Индустрия социализма» опубликован рассказ «По небу полуночи».

Август — встречается с прокурором республики М. И. Панкратьевым по делу сына.

Август — сентябрь — в журнале «30 дней» опубликован рассказ «Свет жизни».

10 сентября — в «Литературной газете» выходит статья В. В. Ермилова «О вредных взглядах „Литературного критика“» с нападками на Платонова.

Сентябрь — книга о Николае Островском задержана Главлитом и передана в ЦК.

Сентябрь — октябрь — издательство «Советский писатель» отказывается выпускать книгу «Размышления читателя».

Октябрь — пишет письмо в редакцию «Литературного критика», называя В. В. Ермилова адмкритиком (письмо не напечатано). Ноябрь — в теоретическом и политическом органе ЦК ВКП(б) журнале «Большевик» опубликована редакционная статья «О некоторых литературно-художественных журналах», содержащая резкую критику статьи Платонова «Пушкин и Горький».

1 декабря — в компании А. Н. Новикова и Н. С. Кауричева отказывается поднимать тост «за гибель Сталина».

16 декабря — Военная коллегия по протесту прокурора СССР отменяет приговор по делу сына писателя П. А. Платонова и передает дело для дальнейшего расследования.

31 декабря — дает показания в связи с произошедшим 1 декабря.

1940, январь — в ЦК партии направлена докладная записка «Об одной антипартийной группировке в советской критике» за подписью Фадеева, Кирпотина и Ермилова, содержащая резкие выпады против Платонова; документ изучает И. В. Сталин.

Апрель — в журнале «Красная новь» опубликована редакционная статья «О вредных взглядах „Литературного критика“», содержащая выпады против Платонова; «Литературное обозрение» публикует статью Платонова «Размышления о Маяковском»; в журнале «Индустрия социализма» выходит рассказ «Жизнь в семействе».

15 мая — пишет письмо в редакции «Литературной газеты» и «Литературного критика» с просьбой не использовать его имя в литературной борьбе (письмо не напечатано).

Июль — пишет рецензию на книгу стихов А. А. Ахматовой «Из шести книг» (не опубликована).

Конец августа — начало сентября — пишет (но не отправляет) письмо в редакцию «Литературной газеты» в ответ на статью В. В. Ермилова «Традиция и новаторство».

4 сентября — П. А. Платонов перевезен в Бутырскую тюрьму. Середина октября — П. А. Платонов освобожден из-под стражи, проведя в заключении в общей сложности два с половиной года. Декабрь — в журнале «Вокруг света» опубликован кинематографический рассказ «Неродная дочь».

1941, февраль — в журнале «30 дней» опубликован рассказ «Александр Мальцев» («В прекрасном и яростном мире»).

Апрель — в журнале «Смена» опубликован рассказ «Великий человек».

Июль — август — по приказу политуправления Народного комиссариата путей сообщения находится в командировке на Ленинградском фронте; перерабатывает сценарий «Июльская гроза». Осень — пишет рассказ «Божье дерево» («Дерево родины»). Октябрь — эвакуируется с семьей из Москвы в Уфу.

1942, январь — май — живет в Уфе, пишет рассказы «Броня», «Неодушевленный враг», «Крестьянин

Ягафар», пьесу «Без вести пропавший, или Избушка возле фронта».

28 апреля — по ходатайству президиума и Военной комиссии при Союзе писателей СССР получает разрешение вернуться в Москву.

Конец мая — начало июня — возвращается в Москву.

Коней, июля — находится на фронте.

5 сентября — в газете «Красная звезда» опубликован рассказ «Броня».

20 сентября — в «Красной звезде» опубликован рассказ «Старик».

Осень — утверждается военным корреспондентом в действующую армию.

Октябрь — в журнале «Октябрь» опубликован рассказ «Крестьянин Ягафар».

Ноябрь — в журнале «Знамя» напечатан рассказ «Одухотворенные люди».

Декабрь — в журнале «Октябрь» опубликован «Рассказ о старике».

1943, 4 января — умирает от туберкулеза сын — Платон Андреевич Платонов.

5 января — в Уфе подписана в печать книга рассказов «Под небесами родины».

Февраль — март — в «Новом мире» опубликованы рассказы «Сампо» и «Дерево родины».

22 апреля — получает воинское звание «капитан административной службы».

Апрель — в журнале «Знамя» опубликован рассказ «Железная старуха».

Апрель — май — в журнале «Октябрь» опубликован рассказ «В сторону заката солнца».

Май — июнь — в журнале «Знамя» опубликован рассказ «Оборона Семидворья».

Июнь — находится на фронте под Курском, пишет очерк «Земля и небо Курска».

Сентябрь — октябрь — находится в освобожденном от немцев Рославле.

28 октября — в «Красной звезде» опубликован рассказ «Мать» («Взыскание погибших»).

Декабрь — глава Управления пропаганды и агитации Г. Александров и его заместитель А. М. Еголин в адресованном секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову докладе о состоянии художественной литературы подвергают критике рассказ «Оборона Семидворья» («Смерти нет!»).

1944, зима — весна — находится в действующей армии в частях 1-го Украинского фронта на Украине (Ровно-Луцкая и Проскуровско-Черновицкая наступательные операции).

Апрель — в журнале «Иностранная литература» напечатан рассказ «Девушка Роза» (на испанском языке).

Июнь — июль — принимает участие в Могилевской и Минской наступательных операциях.

16 июля — получает воинское звание «майор административной службы».

Конец лета — заболевает туберкулезом и возвращается домой.

11 октября — рождение дочери Марии.

Конец года — пишет пьесу «Волшебное существо».

1945, конец января — начало февраля — находится на лечении в Крыму (в Гурзуфе).

Март — подписана в печать книга «В сторону заката солнца». Апрель — в «Красной звезде» опубликован рассказ «Штурм лабиринта».

Июль — в журнале «Новый мир» опубликован рассказ «Никита». Сентябрь — октябрь — находится на лечении в Крыму (в Ялте).

1946, февраль — окончательно демобилизован из армии.

Весна — заключает договор с Детским театром на пьесу «Добрый Тит» (написана не была, сохранилась заявка).

Лето — не принята к публикации книга рассказов «Среди людей». Ноябрь — в журнале «Новый мир» опубликован рассказ «Семья Иванова» («Возвращение»).

1947, 4 января — в «Литературной газете» опубликована статья В. В. Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова».

Февраль — предлагает дирекции Детского театра заключить договор на пьесу «Юный Пушкин».

4 марта — пишет письмо А. А. Фадееву с просьбой о помощи.

12 апреля — М. М. Пришвин пишет положительный отзыв на обработанную Платоновым сказку «Финист — Ясный Сокол».

13 апреля — печатает рассказ «Счастье вблизи человека» в журнале «Огонек».

25 мая — пишет письмо А. А. Фадееву с просьбой о помощи.

20 ноября — пишет письмо М. А. Шолохову с просьбой о встрече в связи с необходимостью издания русского эпоса.

Ноябрь — выходит книга «Финист — Ясный Сокол».

1948, 9 января — встречается с Фадеевым.

Весна — предлагает в «Новый мир» рассказ «Житейское дело» и получает отказ.

29 апреля — Центральный детский театр отказывается от постановки пьесы «Ученик лицея».

1949, май — пишет письмо Фадееву с просьбой о помощи.

30 мая — по решению Литфонда Платонову назначается пособие размером в три тысячи рублей.

В течение года — занимается литературной обработкой русских народных сказок.

1950, октябрь — выходит в свет книга сказок «Волшебное кольцо».

В течение года — работает над пьесой «Ноев ковчег» (не окончена).

1951, 5 января — Андрей Платонович Платонов умер.

7 января — похоронен на Армянском кладбище в Москве.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Избранные сочинения А. П. Платонова

- Голубая глубина. Краснодар, 1922.
Эпифанские шлюзы. М., 1927.
Сокровенный человек. М., 1928.
Происхождение мастера. М., 1929.
Впрок // Красная новь. 1931. № 3.
Такыр // Красная новь. 1934. № 9.
Нужная родина. Третий сын // Красная новь. 1936.
№ 1.
Семен // Красная новь. 1936. № 6.
Бессмертие. Фро // Литературный критик. 1936. № 8.
Пушкин — наш товарищ // Литературный критик.
1937. № 1.
Пушкин и Горький // Литературный критик. 1937.
№ 6.
Река Потудань. М., 1937.
Июльская гроза // Октябрь. 1938. № 11.
Под небесами Родины. М., 1942.
В сторону заката солнца. М., 1945.
Семья Иванова // Новый мир. 1946. № 10-11.
Волшебное кольцо. М., 1950.
Избранные рассказы. М., 1958.
Одухотворенные люди. М., 1963.
Избранное. М., 1966.
Размышления читателя. М., 1970.
Смерти нет. М., 1970.
Течение времени. М., 1971.
Величие простых сердец. М., 1976.
Живя главной жизнью. М., 1989.
Государственный житель. Минск, 1990.

Чевенгур. М., 1991.
Вся жизнь. М., 1991.
Взыскание погибших. М., 1995.
Котлован. СПб., 2000.
Записные книжки. М., 2000.
Сочинения. Т. 1. Кн. 1 и 2. М., 2004.
Ноев ковчег. Драматургия. М., 2006.
Усомнившийся Макар. Собрание. М., 2009^[81].
Эфирный тракт. Собрание. М., 2009.
Чевенгур. Котлован. Собрание. М., 2009.
Счастливая Москва. Собрание. М., 2010.
Смерти нет! Собрание. М., 2010.

Литература о А. П. Платонове^[82]

Адамович Г. В. Шинель//Литературная Россия. 1994. № 35.

Антонова Е. В. Москва Андрея Платонова // Московский журнал. 1999. 1 августа.

Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994.

Андрей Платонов: Исследования и материалы. Воронеж, 1993.

Андрей Платонов. Мир творчества. М., 1994.

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. Библиографический указатель. М., 2001.

Аннинский Л. А. Откровение и сокровение. Горький и Платонов // Литературное обозрение. 1989. № 9.

Аристов С., Чепрасов А. Рядом с Андреем Платоновым. «„Дело мелиораторов“ как источник для изучения биографии А. Платонова» // Сборник работ победителей Всероссийского конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия — XX век» // <http://www.urokiistorii.ru/node/308>

- Архив А. П. Платонова. Кн. 1. М., 2009.
- Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов. М., 1989.
- Битов А. Г. Пустая сцена // Андрей Платонов. Ноев ковчег. М., 2006.
- Блок А. А. Интеллигенция и революция // Блок А. А. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1955.
- Бродский И. А. Пик, с которого шагнуть некуда // Платонов А. П. Котлован. Анн-Арбор, 1973.
- Васильев В. В. Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества. М., 1982.
- Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917-1953. М., 1999.
- Вьюгин В. Ю. Повесть «Котлован» в контексте творчества Андрея Платонова // А. П. Платонов. Котлован. СПб., 2000.
- Гальцева Р. А., Роднянская И. Б. Помеха — человек. Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12.
- Геллер М. Я. Андрей Платонов в поисках счастья. Париж, 1982.
- Гнедина Н. Платонов А. П. // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 8. М., 1934.
- Данин Д. С. Строго как попало // Вопросы литературы. 2005. № 6.
- «...Живя главной жизнью» (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках) // Волга. 1975. № 9.
- Залыгин С. П. Сказки реализма и реализм сказочника (Очерк творчества Андрея Платонова) // Литературные заботы. М., 1979.
- Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». М., 2005.
- Из творческого наследия русских писателей XX века: М. Шолохов, А. Платонов. Л. Леонов. СПб., 1995.
- Зотов М. М. Окопный капитан // Москва. 1999. № 9.

Кабанов В. Фантасмагории Федота Сучкова // Вопросы литературы. 2006. № 1.

Корниенко Н. В. Комментарии к роману А. Платонова «Счастливая Москва» // Новый мир. № 9. 1991.

Корниенко Н. В. Свет платоновского творчества // Платонов А. П. Вся жизнь. М... 1991.

Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (1926–1946)//Здесь и теперь. 1993. № 1.

Корниенко Н. В.«...Увлекая в дальнюю Америку» // Новый мир. 1993. № 9.

Корниенко Н. В. «Добрые люди» в рассказах А. Платонова конца 1930—1940-х годов // XX век. Литература. Силь. Екатеринбург, 1999. Вып. 6.

Корниенко Н. В. Невозвращение Платонова // Литературная газета. 1999. № 35.

Корниенко Н. В. Предисловие // Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000.

Корниенко Н. В. «Сказано русским языком...» Андрей Платонов и Михаил Шолохов: встречи в русской литературе. М., 2003.

Корниенко Н. В. «„Авторство“ Шолохова как доходная тема, или Почему Андрей Платонов не писал роман „Они сражались за Родину“» //

Наш современник. 2005. № 11.

Кутина И., Гончаров В. Платонов. Прерванный полет// Московская правда. 2000. 21 января.

Лангерак Т. Андрей Платонов: Материалы для биографии 1899–1929 гг. Амстердам, 1995.

Ласунский О. Г. Житель родного города. Воронеж, 2007.

Липкин С. И. Записки жильца. М., 1992.

Литературный фронт. История политической цензуры. 1932–1946 гг. М., 1994.

Малыгина Н. М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М., 2005. Малыгина Н. М. Он знает, что похож на деда. Малоизвестные факты из жизни семьи

Андрея Платонова // Литературная газета. 2009. № 47-48.

«Меня убьет только прямое попадание по башке». Материалы к творческой биографии Андрея Платонова. 1927-1932 годы // Новый мир. 1993. № 4. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и очерк творчества Н. В. Корниенко.

Нагибин Ю. М. Московский роман Андрея Платонова // [http:// www.belousenko.com](http://www.belousenko.com)

Нагибин Ю. М. Дневник. М., 1996.

Найман Э. Андрей Платонов между двух утопий // Новое литературное обозрение. 1994. № 9.

Никонова Т. А. Комментарий к повести А. Платонова «Епифанские шлюзы» // Творчество А. Платонова. Воронеж. 1970.

Осуществленная возможность: А. Платонов и XX век. Воронеж, 2001. Полонский В. В. Дневник// Новый мир. 2008. № 1-6.!

Разгон Л. Э. Отрок Платон // Литературная газета. 1994. 1 июня.

Одинцов Е. В. Позовите Марию // Общая газета. 1999. 2 сентября.

Ортенберг Д. И. Правда жизни и правда смерти // Москва. 1999. № 9. Свидетельский В. А. Андрей Платонов вчера и сегодня: Статьи о писателе. Воронеж, 1998.

Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1988.

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 1. М., 1994.

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 2. М., 1995.

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 3. М., 1999.

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000.

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 5. М., 2003.

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 6. М., 2005.

Смирнов В. П. Мастер всеобщей жизни // Московский журнал. 1999. 1 августа.

Сучков Ф. Ф. На красный свет (Об Андрее Платонове — мастере прозы) // Платонов А. Избранное. М., 1966.

Сучков Ф. Ф. Он походил на сельскую местность // Москва. 1999. № 9. Таратута Е. А. Драгоценные автографы. Книга воспоминаний. М., 1986.

Творчество А. Платонова. Вороне*, 1970.

Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 1. СПб., 1995.

Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 2. СПб., 2000.

Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 3. СПб., 2004.

Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 4. СПб., 2008.

Трошкина В. А. Рука об руку... // Москва. 1999. № 9.

Чалмаев В. А. Андрей Платонов: К сокровенному человеку. М., 1989.

Чуковская Л. К. Полгода в «Новом мире» // Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 2000.

Фатющенко В. И. А. П. Платонов // История русской литературы XX века (20—90-е годы). Основные имена. М., 1998.

Шенталинский В. А. Предисловие и комментарии // Платонов А. П. Технический роман. М., 1991.

Шенталинский В. А. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995.

Шенталинский В. А. Охота в ревзаповеднике // Новый мир. 1998. № 12.

Шенталинский В. А. Донос на Сократа. М., 2001.

Шубин Л. А. Критическая проза Андрея Платонова // Платонов А. П. Размышления читателя. М., 1970.

Шубин Л. А. Поиски смысла отдельного и общего существования:

Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М., 1987.

Шубина Е. Д. Приключения идеи. К истории создания романа «Чевенгур» // Литературное обозрение. 1989. № 9.

Яблоков Е. А. На берегу неба (Роман Андрея Платонова «Чевенгур»). СПб., 2001.

notes

Примечания

1

Попразднство — дни после праздника, в которые на богослужении совершаются молитвословия и песнопения, посвященные данному празднику; так, попразднство Пасхи длится тридцать восемь дней — до Вознесения, других праздников — от одного до восьми дней; попразднство Успения Божией Матери длится восемь дней. — Прим. ред.

Размер зарплаты и цены на основные продукты питания в начале XX века взяты из статьи «Становление Кинельского железнодорожного узла (1877-1917 гг.)», опубликованной Российским государственным архивом научно-технической документации.

З

Так, с ошибкой, в оригинале.

Ср. также в письме будущей жене, написанном в 1921 году: «Мария, вы та самая, о которой я одиннадцати лет написал поэму».

5

Лето Господне (лат.; буквально: год века Господня).

6

Так в оригинале.

Ср. также в письме Платонова жене летом 1928 года: «Вишелся со Шкловским — все-таки чужой он мне человек».

8

Наркомат земледелия.

Дело Промпартии — крупный судебный процесс по делу о «вредительстве в промышленности», состоявшийся 25 ноября — 7 декабря 1930 года. Весной 1930 года, после ряда забастовок рабочих на шахтах, была арестована группа видных инженерно-технических специалистов, которые обвинялись в создании антисоветской подпольной организации («Промышленной партии»), вредительстве в различных отраслях промышленности, связях с «Торгпромом», объединением бывших российских промышленников в Париже, в целях свержения советской власти (см. в частности: А. Хомяков. Дела академика Стечкина и «Дело „Промпартии“» // Новый мир. 2006. № 12). — Прим. ред.

10

В этом слове не зазорность, а уважение: монтер — организатор, мастер, комбинатор косных веществ. — Прим. А. Платонова.

В. А. Попов — главный редактор журнала
«Всемирный следопыт».

В 1869 году Лев Толстой по дороге в Пензенскую губернию покупать имение остановился на ночлег в Арзамасе в гостинице, где ночью пережил потрясение, «...вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал, — писал он жене, — ...и никому не дай Бог испытывать». Много лет спустя он описал этот случай в незаконченной повести «Записки сумасшедшего». Герой повести, как когда-то автор, едет покупать имение, останавливается в арзамасской гостинице и просыпается ночью от необъяснимой тоски: «„Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь“. — „Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут“». Потом герой еще раз переживает «арзамасский ужас», как не раз переживал его автор. — Прим. ред.

Этот фрагмент платоновского письма хорошо известен по публикации в журнале «Волга» в 1975 году. Но обратим внимание читателя на редакционную правку: вместо платоновского «слёз» было «глаз».

Этой фразы в публикации 1975 года не было.

Освальд Шпенглер (1880–1936) — немецкий философ, культуролог, автор книги «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории» (т. 1 — 1918; т. 2 — 1922), книги «дерзкой, глубокой, филигранной, абсурдной, подстрекательской и великолепной» (Льюис Мэмфорд) с прогнозом автора «о ссыхании, упрощении, переходе в феллашество европейского человека» (К. А. Свасьян). — Прим. ред.

Что вызвало, судя по всему, ревность Марии Александровны. «Сразу о Валентине, — писал Платонов жене 26 января 1927 года. — Ты невнимательно читала. Валентина любила не Михаила Кирпичникова (отца), а сына его — Егора».

К этому стоит добавить, что Мария Александровна скептически относилась к иным из сочинений Платонова. «Если ты считаешь „Эфирный тракт“ — сумбуром — твое дело. Тут я ничего пояснять не хочу, — писал Платонов жене 26 января 1927 года. — Смешивать меня с моими сочинениями — явное помешательство. Истинного себя я еще никогда и никому не показывал, и едва ли когда покажу. Этому есть много серьезных причин, а главная — что я никому не нужен по-настоящему». Больше того, из писем Платонова жене следует, что Мария Александровна была недовольна тем обстоятельством, что Платонов посвятил ей «Епифанские шлюзы». «По-моему, ты не имеешь права зачеркивать посвящения, написанные не тобой. Когда книга выйдет с посвящением, а ты им будешь возмущена, ты имеешь возможность и право выступить в ежедневной или журнальной прессе с заявлением, что ты отводишь от себя авторское посвящение, т. к. автор и его сочинения для тебя крайне неприятны, подлы, лицемерны и пр. — в таком духе. Это ты можешь делать и сделаешь, когда наступит твое время. А чужими желаниями распоряжаться нельзя и плевать на них не стоит», — писал он в письме от 26 января 1927 года.

Так у автора.

19

Наплевать (фр.).

Ср. также в других письмах жене этой поры: «Все равно без самоубийства не выйдешь никуда. Смерть, любовь и душа — явления совершенно тождественные» (3 июля 1927 года); «Маша, если правда, то ты сможешь полюбить меня, когда я стану лучшим, то я благодарен и за то. Но ты говоришь, ты жалеешь, что я не нужен тебе буду, когда надорвусь. Тогда „дряхлость будет верностью“. Ты жалеешь, что тратишь молодость на перевоспитание такого хулигана. Я постараюсь, чтобы ускорить это дело и доставить тебе быстрое счастье, сколько оно зависит от меня. Но не надо жалеть меня, хотя я люблю твою теплоту. Сопьюсь, окоченею и выброшусь с четвертого или шестого (обязательно четного: иначе не умрешь) этажа. Это будет несомненно. Надо ждать удачного часа и копить в себе горе. Как хороши слова „вечная память“ и навсегда уставшее сердце» (14 июля 1927 года).

Этой публикацией автор остался недоволен: «В №-ре шестом напечатан мой рассказ „Приключение“. Я за него несу только часть ответственности, потому что он значительно изменен редакцией — в отношении размеров и внутреннего чувственного строя. Андрей Платонов. 11/VI — 28. Просьба обязательно напечатать эти четыре строчки в 7 №-ре „Нов. Мира“». Правда, по мнению современной исследовательницы Елены Роженцевой, «чем именно был возмущен Платонов, приходится только догадываться, т. к. в сравнении с известным текстом „Чевенгура“ правка в журнале незначительна».

Определенное исключение составляет отзыв довольно известного критика Д. Л. Тальникова: «Творчество этого молодого писателя говорит, что мы имеем дело с подлинным художественным дарованием, требующим самого внимательного и бережного отношения к себе. <...> Язык Платонова — крепкий, сжатый, свежий, как и весь динамический стержень рассказа».

Деталь автобиографическая. В статье Олега Алейникова «О „навсегда потерянном времени“» приводится воспоминание С. П. Климентова (брата писателя): «В гражданскую болели часто. Зимой 18-го или 19-го слег Андрей. Мать его лечила травами, парила в русской печке, а нас не пускала к брату, боялась — заразимся. Сосед рассказывал в ту зиму, что городские морги забиты трупами. Тиф косил людей, а хоронить некому... Но Андрей выжил».

Ср. также в статье Д. Тальникова: «Я бы только предостерег писателя от замечающихся у него (и в других рассказах) натуралистических излишеств и сгущенности в описании отдельных моментов. Когда писатель, описывая падение раненого героя, отмечает, как деталь, что „природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был создан: семя размножения“ и т. д., описывает и другие низшие моменты реакции организма (нечистое белье и пр.), то ведь писатель должен помнить (а редактор должен напомнить ему, если тот забывает), что перед нами не физиологический трактат, а художественное произведение, и художественная правда не пострадает, а только выиграет от лишения ее некоторых элементов правды житейской. Художнику, говоря образно, нечего возиться с „нечистым бельем“ в жизни».

В «Строителях страны» вслед за тем шла фраза: «Широко развернутый череп говорил либо об идиотстве, либо о глубокой одаренности».

Здесь и далее в цитате курсив наш. — Прим. авт.

Ср. также с другой «мифологемой», о чем Платонов писал жене летом 1928 года: «...и охота афишировать себя, — особенно теперь, когда Малашкин и другие распускают про меня слухи (в „Красной нови“ и др. местах), что я работал писателем еще до войны, что я „очень талантлив“, но... и т. д. Следовательно, мне уже лет 40 и я в литературе старый прохвост. <...> Малашкиных и прочих буду есть в открытую, т. к. не я, а они пошли на меня войной».

Примечательно, что в опубликованной статье Платонова никаких указаний на получение сребреников нет.

Эту ситуацию Платонов предвидел еще в 1925–1926 годах, когда в неопубликованной при его жизни статье «Победим ли мы засуху?» с горечью писал:

«Специалисты работали с огромным перенапряжением и личным техническим интересом, сооружения строились качественно отлично, количественно план был превзойден. *Но сооружения общественных работ сейчас десятками разрушаются, стихии крестьянской некультурности и паводковых вод совместно равняют с землей и расстилают по балкам сотни тысяч кубических саженой плотин.*

Отчего это? Работы были непродуманы, неправильно организованы, земельные аппараты не выдерживали такой нагрузки, *бюрократизм душил строительство* и т. д. (...) строились сотни плотин без укрепленных водосливов, с простыми земляными канавами, т. к. деньги давались только на рабсилу, а на материал нет. Тогда строить не надо, чтобы ничего не компрометировать».

Официальное название: «Дело об экономической контрреволюции в Донбассе». На судебном процессе в мае — июле 1928 года ряд инженеров и техников, работавших в Шахтинском и других районах Донбасса с дореволюционных времен, были обвинены в том, что с 1923 года по заданию «Парижского центра» и бывших владельцев шахт совершали акты вредительства; пятеро обвиняемых были приговорены к расстрелу, остальные — к разным срокам заключения. — Прим. ред.

Впрочем, с отчеством уверенности нет. Во всех источниках он просто Алексей Платонов. Но в картотеке РГБ — Алексей Платонович Платонов.

«Перевал» (1923-1932) — литературная группа, возникшая при журнале «Красная новь» во время редакторства А. К. Воронского (в разное время входили А. Весёлый, М. А. Светлов, И. И. Катаев, Э. Г. Багрицкий, М. М. Пришвин, А. Г. Малышкин и др.); противостояла сектантскому администрированию и левачеству «напостовцев» (журнал «На посту»), рапповцев (РАПП), рационализму и формализму левовцев (ЛЕФ); выступала за преемственные связи советской литературы с традициями русской и мировой литературы. — Прим. ред.

В рукописи: смысл жизни.

В рукописи вслед за этим шел зачеркнутый автором при правке диалог: «— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея.

Есть, — сказал Елисей. Ступай ей скажи, что Чиклин, мол, на тебе женится, — пускай горницу убирает».

В советской редакции — «от гниения».

В советской редакции — «от вида».

В советской редакции — «стояла и просила».

В советской редакции этого фрагмента нет, как нет и предшествующего описания прогуливающихся по городу женщин: «...их ноги ступали с силой жадности, а телесные корпуса расширились и округлились, как резервуары будущего, — значит, будет еще будущее, значит, настоящее несчастно, и — далеко до конца. Вид этих тревожных женщин доставил Прушевскому терпение на свое дальнейшее неизъяснимое существование, вплоть до ближайшей сознательной гибели».

В первых западных и в новомирском издании было:
«...я теперь ни во что не верю!».

Письмо было любезно предоставлено нам М. М. Шолоховым (сыном писателя).

Еще дальше шел Платонов в «Записных книжках»: «Искусство должно умереть, — в том смысле, что его должно заменить нечто обыкновенно человеческое; человек может хорошо петь и без голоса, если в нем есть особый, сущий энтузиазм жизни».

«Попутчики» — так называемые «непролетарские писатели» (принявшие советскую власть), которых Ассоциация пролетарских писателей (РАПП, ВАПП, МАПП) громила как «стародумов», застывших «перед гранитным монументом буржуазно-дворянской литературы», то есть не «бросивших с корабля современности» традиции дореволюционной классики. — Прим. ред.

В 1937 году Беспалов будет расстрелян.

В РГАСПИ (Российском государственном архиве социально-политической истории) сохранился еще один относящийся к этому сюжету документ — письмо Сталину бывшего члена редколлегии «Красной нови», профессионального революционера Семена Ивановича Канатчикова, датированное 6 июня 1931 года, «...на одном из последних заседаний Политбюро рассматривался вопрос о напечатании рассказа Андрея Платонова в № 3 „Красной нови“ за 1931 год „Впрок“. Вызывали на это заседание меня и т. Васильевского как бывших редакторов журнала „Красная новь“, **меня почему-то не нашли**, хотя я находился в момент вызова вместе с т. Васильевским. Во избежание всяких кривотолков считаю своим долгом заявить: **я считал и считаю этот рассказ возмутительно издевательским, контрреволюционным.** При обсуждении его я категорически протестовал против его напечатания. Ныне по редакциям журналов путешествует такой же возмутительный рассказ об ударничестве того же автора. Боюсь, что найдется „великодушный“ редактор, который его напечатает».

Возможно, опечатка, и следует читать «забота».

МТП — Московское товарищество писателей.

В нем видят Алексея Толстого, хотя не вполне ясно почему.

Ср. в письме жене, написанном летом 1935 года: «С Костькой (писатель Константин Большаков. — А. В.) я не вижусь по простой причине. Мы серьезно поссорились как-то стоя на дворе в присутствии Луговского. Он (Костька) изволил меня упрекнуть (потом он говорил, что это он иронически) в некотором недостатке революционности. Я его отпел так, что он завизжал, забрызгал слюной, как прапорщик. Луговской был на моей стороне».

Так в оригинале — вместо «Такыр».

50

Ошибка; верно — Александровна.

Так в «Записных книжках» обозначено слово Господь.

Выделенное курсивом зачеркнуто автором.

Так же.

Феликс Дзержинский.

Хуже, когда сегодня Рой Медведев пишет (на этот факт указала Наталья Дужина в статье «„Постоянные идеалы“ Андрея Платонова во второй половине 1930-х годов»): «К сожалению, в компанию по восхвалению Кагановича включился и такой выдающийся писатель, как Андрей Платонов. Автор „Котлована“ и „Чевенгура“... <...> оказавшийся в немилости и получивший теперь отказы от журналов и издательств, Платонов опубликовал в конце 1936 года рассказ „Бессмертие“, который нельзя оценить иначе, чем подхалимский по отношению к Кагановичу».

56

Так, с ошибкой, в стенограмме.

По мнению Н. В. Корниенко, «репертуар хора затейников — кажется, самое грустно-смешное и точное описание многотрудных акций секции музыкальных драматургов по созданию песен радости, которые робко „бормочет“ и под которые вслед за затейниками мучается „ради радости“ платоновский народ. <...> Не случайно советские писатели так не любили рассказ „Фро“, уникальную энциклопедию литературной жизни 1935–1936 гг.».

И — хотя, разумеется, это уж точно случайное совпадение — он ушел ровно тогда, когда состоялся переход М. А. Булгакова из МХАТа в Большой театр. В русской культуре не иначе как начались «Юрьевы дни».

Имеется в виду очерк Марины Цветаевой «Мой Пушкин», впервые прочитанный ею на своем вечере в Париже 2 марта 1937 года; после вечера она писала В. Н. Буниной: «Никто не понял, почему Мой Пушкин, все, даже самые сочувствующие, поняли как присвоение, а я хотела только: у всякого — свой, *это — мой*». — Прим. ред.

Ср. в письме жене: «Он как ямщик и человек — среднего качества».

Опера-фарс «Богатыри» на музыку А. П. Бородина была поставлена в 1936 году А. Я. Таировым, основателем Камерного театра; либретто написал Д. Бедный, точнее, переработал старое либретто В. А. Крылова (Бородин и Крылов в 1876 году создали комическую оперу «Богатыри» как пародию на оперные штампы и заимствования у итальянской оперы); Д. Бедный перенес действие из удельного Куруханского княжества в Киев, трех былинных богатырей, Илью, Алешу и Добрыню, представил бесшабашными пьяницами, которых можно обратить в любую веру, и ернически прошелся по Крещению Руси, желая, видимо, угодить партии. Партия ответила незамедлительно: в «Правде» 15 ноября 1936 года вышла статья П. М. Керженцева «Фальсификация народного прошлого (О „Богатырях“ Демьяна Бедного)»; «Богатыри» как пасквиль на русскую историю были запрещены, а Бедный исключен из рядов ВКП(б). В Испании уже шла гражданская война с примеркой внешних сил, репетиция назревающей большой войны, в которой никто не сомневался, и понадобились исторические герои и настоящие примеры, словом, «петух клюнул». — Прим. ред.

Именно так сыгран финал в современной постановке рассказа на сцене Театра-студии Сергея Женовача.

Ср. также в интервью Ф. Сучкова, опубликованном впервые в журнале «Литературное обозрение» в 1989 году: «Я с предубеждением отношусь к так называемым „воспоминаниям“ и к мемуарным произведениям вроде „Непридуманного“ Льва Разгона, в котором придуманного, сочиненного во время писания книжки не менее, чем в биографической повести Ирины Одоевцевой. <...> И я возьмусь, если вам интересно, расчленить „Непридуманное“ Разгона на выдуманные им слова и заведомо подтасованные речения».

Суть этого дела Платонов изложил в черновике письма прокурору Союза ССР М. Панкратьеву: «Некий юноша (старше моего сына лет на 5-6) плохо жил со своей матерью. <...> он задумал скверное дело — сделать воровство, продать машинку и уехать на вырученные деньги к отцу. Он подговорил кого-то из товарищей, чтобы тот постоял „на стреме“, пока он полезет в помещение за машинкой. Его товарищ согласился, потом ушел домой. Тогда этот юноша встретил моего сына, шедшего из кино, и сказал ему, что он жить больше дома не может, он измучился, он уезжает к отцу, но денег у него нет, — так пусть мой сын постоит „на стреме“. Мой сын постоял „на стреме“, и за это потом поплатился. <...> В этом деле, которое проводилось через народный суд, было выяснено полное бескорыстие моего сына и рыцарское отношение к одному своему более старшему товарищу...»

Не исключено, что здесь какая-то путаница, и правильно было бы читать «полное моральное разложение». Именно это сочетание слов использовал Платонов, когда, защищая сына и стремясь доказать, что его показания были на следствии сфабрикованы, писал: «Надо же понимать точно, что значит полное моральное разложение; и у кого, по каким причинам оно может быть, а у кого не может, даже если бы человек сам сознался в этом. Сознание своей вины не всегда есть правда, — наоборот, в некоторых обстоятельствах, особенно когда мы имеем дело с натурой подростка, оно противоположно истине».

Хотя ее редактор В. Б. Келлер был так подавлен случившимся, что отказался от работы над книгой. «Вл. Бор. занят своими делами. Ты ошибся, что я деликатничал, — писал Платонов Сацу 30 августа 1938 года. — Дело хуже, Вл. Бор. распсиховался до того, что даже наше детище остерегается редактировать».

К делу Новикова был косвенно причастен А. С. Гурвич. Вот что пишет об этом В. Шенталинский: «В качестве вещественного доказательства к нему (делу. — А. В.) была приложена повесть Новикова „Причины происхождения туманностей“, вместе с рецензией критика Гурвича, написанной по заказу НКВД и обвиняющей автора во всех смертных грехах: „... Можно сказать, что автор в этом произведении сам себя уничтожил... Он как бы повторяет действия своего героя... он кончает жизнь самоубийством... Не удался смех Андрею Новикову...“».

Преимущественно (фр.).

Еще поразительнее тот факт, что в 1967 году, заполняя анкету, посвященную Платонову, в связи с намечавшейся в Воронеже и в последний момент отмененной конференцией, Гумилевский на один из ее вопросов ответил так: «Драматургия Платонова ниже его прозы, а критические статьи — выше его прозы».

Хотя пройдет много лет, и на Втором съезде писателей в 1954 году Ермилов скажет так, словно мысль Платонова глубоко усвоил и выдал за свою: «Проработчик отличается от критика тем, что когда проработчик не любит — то он не любит не ошибку писателя, а самого писателя. <...> А уж если проработчик любит, то он любит не произведение и не автора, а высокий пост автора в Союзе писателей, в издательстве или журнале».

Взятого из стихотворения «По небу полуночи ангел летел...».

В 1938 году в журнале «Литературное обозрение» была опубликована отрицательная рецензия Ф. Человекова на роман Леонида Соловьева «Высокое давление».

Ср. также в интервью Л. В. Карелина «Литературной газете» в 2003 году «Иммунитет Лазаря Карелина»: «Во время войны я много сидел за одним писательским столом с Андреем Платоновым и Юрой Нагибиным (мы были с ним друзья по ВГИКу). Платонов приголаживал, был пьющий человек. Но когда говорил, то было ощущение чуда. Как будто срезал пласт второй, третий, четвертый земли и где-то около золота говорил».

Это почувствовали и рецензенты. В отзыве на неизвестное нам произведение Платонова военных лет Сергей Бородин просил автора учесть следующее пожелание: «Тайна нашей победы заключается не только в национальных воинских доблестях русского народа, но и в организующей силе нашей партии».

Так, с ошибкой, в оригинале.

Но примечательно, что в сценарии «Семья Иванова» это понимание у героя присутствует: «Я вот и сам еще не знаю, кто больше для родины и для победы сделал — я или моя жена. Скорее всего она... я не считаюсь здесь своей кровью, когда там у женщины и у подростка кости сохнут от работы круглые сутки, когда они там хлебом с картошкой не всегда наедаются... Наши жены там, наши советские женщины, наши дети и старики, — вот какие там богатыри. Это они нас всю войну и кормят, и одевают, и оружие делают в достатке с избытком».

И то же понимание ощущается в словах Иванова, когда он еще не знает об измене жены, но размышляет в споре с сослуживцами:

«ИСАЕВ. Скажи, Алексей Алексеевич, а если бы, допустим, что-нибудь случилось подобное с твоей супругой? Ты как тогда бы?

ИВАНОВ. Да я что!.. Я солдат, дорогой мой, а солдат и смерть стерпит, когда нужно. А раз я смерть прощаю, то и жену не обижу.

ИСАЕВ. А все-таки?

ИВАНОВ. Чего тебе — все-таки? Моя жена не железная копилка для добродетели... Все люди, брат, сейчас раненые, — зачем же упрекать жену, если ее поранила жизнь и судьба. Не одни же осколки и пули бьют человека».

Правда, надо отдать должное Детскому театру, отказ завершился фразой: «Дирекцией театра возобновлено ходатайство перед Главным Управлением театров Комитета по делам искусства при Совмине СССР о списании выданного Вам гонорара».

И дело здесь, очевидно, не только в сотрудничестве Гамсуна с фашистами во время Второй мировой войны, но и в целом в его мировоззрении, в его ищущих личного счастья героях, что было Платонову в Гамсуне чуждо (как было чуждо в Александре Грине или Михаиле Пришвине) и нашло отражение в иронических словах персонажа пьесы: «Гамсун. Ах, прекрасно, прекрасно: император! Это великолепно: император! Тогда будет всемирный очаг, а у очага один хозяин — старик, брат бога. Это хорошо. Это превосходно! А где я? А я тогда буду возле вас, я буду советником всемирного императора. Порядок, тишина, девушки в белых платьях, сосновая хижина, и мы с вами — два старика! Утром мы будем есть хлеб с молоком, а вечером хлеб с молоком и сыром...»

В статье Н. Г. Полтавцевой «Текст и интертекст в детских рассказах А. Платонова 50-х годов» есть очень ценное замечание: «По свидетельству М. А. Платоновой, вдовы писателя, приведенному в беседе с автором статьи, этот рассказ был написан Андреем Платоновым незадолго до смерти и рассматривался им самим как творческое завещание, в котором Платонов по существу говорил о своей грустной жизни и о том, как бы он хотел, чтобы на его место пришли те, кто поймет его, полюбит и оценит».

Автор выражает благодарность О. Г. Ласунскому за замечания, высказанные по датировке воронежского периода жизни А. П. Платонова.

Собрание (составитель Н. В. Корниенко; издательство «Время») продолжается: из намеченных восьми томов на сегодняшний день вышло пять.

При составлении библиографии автор не выносил отдельно статьи, документы и комментарии, вошедшие в научные сборники «Страна философов Андрея Платонова» (вып. 1-6); «Творчество Андрея Платонова» (вып. 1-4); «Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии»; «Андрей Платонов. Мир творчества»; «Андрей Платонов: Исследования и материалы»; «Архив А. П. Платонова»; «Осуществленная возможность: А. Платонов и XX век»; «Андрей Платонов. Сочинения. Т. 1» и др.